

ВЛАДИМИР
КАВТОРИН

ВЛАДИМИР КАВТОРИН

УТРО ТРЕТЬЕГО ДНЯ

УТРО
ТРЕТЬЕГО
ДНЯ

©

ВЛАДИМИР КАВТОРИН

УТРО
ТРЕТЬЕГО
ДНЯ



ВЛАДИМИР КАВТОРИН

УТРО
ТРЕТЬЕГО
ДНЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1988

ББК 84.Р7
К 12

Художник
Николай Васильев

К $\frac{4702010201-391}{083(02)-88}$ 50-88

ISBN 5—265—00267—7

© Издательство
«Советский писатель», 1988 г.

Кешка и Макегон

ПОВЕСТЬ
В СЕМИ РАССКАЗАХ

Рассказ первый

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ



анеся домой ведра и прихватив с собой пайки, направились они к шестому дому.

До войны этот дом был единственным, и почему он звался шестым, никто объяснить не мог. Здесь, за парком, хотели построить для заводских целых поселок из таких домов с садами, чтобы хорошо отдыхалось после горячих цехов. Мать рассказывает, что до войны, когда Кешкин отец работал начальником цеха, а сам Кешка был маленьким, пухленьким и смешным, все они жили в этом доме, в средней квартире, от которой не осталось даже печки. И мать набирала в сито черешни на компот, когда прибежала соседка и сказала, что уже война. Кешка ничего этого не помнит.

Они приехали из Первоуральска в середине прошлой зимы, и мама привела его сюда, сидела прямо в сугробе и плакала — это он помнит. А потом им дали комнату в четырнадцатом бараке, напротив Македона, и Кешка считает, что лично ему здорово повезло. Ведь у него никогда еще не было такого друга, как Ванька Македон. Правда, Ванька на год его старше, но это значения не имеет — роста они почти одинакового и осенью пойдут вместе учиться в пятый класс, потому что Иван жил два года под немцем и учиться не мог, а Кешка тоже год пропустил — из-за разных переездов и болезней.

Тут у шестого дома, среди развалин и трудно оживающих после войны деревьев, много было укромных,

пыльных и тихих уголков, где никто не мог помешать. После того как прошлым летом подорвалось здесь на mine трое пацанов, охотников до дармовых зеленых абрикосов сильно поубавилось. Одни они ничего не боялись. Ведь Македон сам видел, как ходили солдаты с миноискателем, заглядывали в полуобвалившийся погреб и потом увезли на машине несколько гранат и одну мину.

У этого погреба буйно разрастался паслен. Каждый день они ели с хлебом эти черные сладкие дробины, а назавтра созревали новые, и это было чудесно. От нагретых стеблей шел пряный помидорный дух, кружащий голову.

Они уселись у самого погреба на крохотной полянке, поросшей редким, кочковатым пыреем, и Македон вытащил из-за пазухи холстинку с зеленым луком, а Кешка положил рядом носовой платок, в котором были завязаны деньги. Денег было много.

— Посчитаем?— предложил он с видом человека, который знает уже, что он герой, и торопится получить награду.

Но Македон остался равнодушен.

— Не, пожую сперва, а то в брюхе урчит,— сказал он.— Теперь хлеб хорош. Бабка говорит, директору пекарни десять лет дали, вот новый и боится... Самое время сейчас хлеб есть. Ишь, пайки-то какие!— он засмеялся.— А осенью, тебя не было еще, я три дня хлеб с медом ел. Не веришь? Хошь, побожусь?

Кешка верил не очень-то, но божбы не потребовал — Македон все может.

— Вот чтоб мне с этого места не сойти,— все же побожился Македон.— Бабка одна тут мед продавала. Я сперва говорю: «Кружки, мол, нет, намажь на хлеб». Она намазала, а я: «Дорого, говорю, не хочу твоего меду, смазывай назад и хлеб мой отдавай!» А мед густой, сахарный... У-у! Ругалась!.. Да как ни сошкребай, а хлеб-то все равно сладкий.

— А врешь!— все же поймал его Кешка.— Сперва три дня, мол, хвастал, а теперь...

— Вру? — Македон даже подпрыгнул.— Вру? Да? А водой тебя кто торговать научил? А паслен есть? А калачики? Я вру?! А кто на базар боялся идти?

Это верно. Если бы не Македон, он, Кешка, никогда не додумался бы продавать воду кружками, да и доду-

мавшись, не решился бы. Стыдно... Или когда базаркомша на них накинулась — его так и подмывало удрать.

— А здорово ты с ней!— сказал Кешка.

— С кем?

— А с базаркомшей.

— А чего ж с ней? Ишь, выдра: «Уходите». Сама наела бока на спекулянтских подачках, а другим жрать не надо. С такими, Кеха, самое первое дело — кричи! Кричи, чтоб народ собрался. Они ужас как народа боятся.

Помолчали, сосредоточенно жуя хлеб. Не спеша жевали, с сознанием того, что если и удастся сегодня пожрать еще раз, то хлеба уже не будет. Но и за этим важным занятием мысли, очевидно, не покидали Кешкиной головы, шевелились, упрямо морщина его конопатый лоб. Он думал о базаре, перед ним кружились, толкаясь, разные лица, орала, ругались, пели пьяные песни, равнодушно совали деньги, равнодушно ждали сдачу или говорили что-то строгое и неприятное.

— А как ты думаешь, Македон,— вдруг спросил он,— что с нас вырастет?

— Люди, чего же еще?

— Да нет... Вот ты — кем будешь?

— Мне...— Македон задумался.— Мне моряком бы, подводником. И кормежка у них, Кеха, и форма, и всё что надо!— он вздохнул.— А можно и к Сене-инвалиду в ученики: у него стружкой хорошо пахнет... Он мне постругать уже дает, только сноровки у меня нет.

— Мамка говорит: завод пустят, и жизнь пойдет сытая,— сказал тихо Кешка,— знай только учись тогда. На кого хочешь, на того и выучишься: и на летчика можно, и на машиниста. Только, говорит, не испортились бы мы к тому времени.

— Чего это?

— Ну, там, воровать станем...

— Ты что — сдурел?

— Да это не я. Мамка все боится, и сегодня двое мадамов у нас воду покупали и между собой спорили, а я все слышал. Одна и говорит: «Ты же видишь, какие у них ужасные наклонности!»— это у нас то есть.

— Дура она!— равнодушно подытожил Македон и повернулся на живот.

Сонная, пустая тишина стояла вокруг. Даже вездесущие воробьи, зная меткую македонскую рогатку

и то, что их можно отлично жарить в костре, предпочитали держаться подале. Только в пыльной траве скрипела, трещала и пищала незаметная жизнь, и Македон, склонив набок лохматую черную голову, с интересом прислушивался к ней, прикидывая: а нельзя ли и ее как-нибудь приспособить для собственного пропитания?

— Слышь,— толкнул он Кешку,— кузнецы... Наживка — во! Даже линии берут.

— Ты же говорил, на Желтую старицу за пескарями пойдём.

— Ладно,— согласился Македон,— пескарь на червя лучше идет. Там, сказывают, полно их, пескарей. Бабка моя печет их здорово.

Но Кешка чертит по пыли веткой, думает и словно не слышит, а потом вдруг спрашивает:

— А в церковь твоя бабка ходит?

— Ну и чего?— недовольно спрашивает Македон.

— Так...— Кешка замялся.— Это дед один говорит мне: «Как ты смеешь с меня за воду драть? Это грех, она ведь дар божий!»

— Во загнул!— удивился Македон.— Слушай ты их, как же! Вот я в родительский день на кладбище бегал, и там мне крашенку дали и пирожок с картошкой — это, верно, дар божий. Если бы бабки в бога не верили, то и не дали бы. А так говорят только: «Молись, отрок». А я: «Денно и ночью буду!» Меня дядь Сеня научил. А воду мы от бабы Катиного колодца перли — это ему что? Пусть сам бы пер, вот и пил бы даром...

Македон зло сплюнул. Кешка тоже сплюнул и выругался, чтобы не отставать от друга.

Македон полежал, глядя в небо, рябоватое от мелких облаков, и поглаживая свой временно сытый живот. Ему ясно вспомнился базар, толпа, ее веселое кружение, неумелая чья-то гармошка, запахи съестного, свой собственный торговый азарт, и он вдруг засмеялся от удовольствия.

— Это у нас здорово вышло!— хлопнул он Кешку по плечу.

— Что?

— Все это с водой... Посчитаем?

Денег оказалось много. Они даже не мечтали, что будет так много.

— Ну,— сказал Македон, снова завязывая платок тугим узлом,— видишь?

— Полбуханки?— с неуверенной радостью подсчитал Кешка.

— Ни, цэ нэ дило. Зараз сьимо и нэма.

О делах Македон всегда говорит по-украински, отчего кажется Кешке очень солидным и деловым, и при этом задумчиво скребет пальцем в своем вечно сером от пыли затылке.

— Ну, пидэмо!

Перед вечером брызнул минутный дождик, но сразу развиднелось, и в конце улицы, за парком, садилось и никак не могло сесть солнце. Оно все цеплялось за крыши, за деревья, за кусты, а потом и совсем пропало, но долго еще чувствовалось его присутствие в золотом свечении над коньками крыш и в оконных стеклах, игравших красными и синими огнями.

Рыжая дорога сплошь была в черных оспочках непросохших капель, они шли по самой середине, где пыль лежала толще и сохраняла в глубине ласковое для ног тепло. И если совсем молчать и ни о чем не думать, то казалось, что дорога нарочно ласкает ноги, чтобы веселее им было и не так утомительно идти. А вот руки — руки болели по-настоящему.

— Держи лапу,— сказал у крыльца Македон,— завтра будить не буду, а вставай затемно. И возьми котелок, а я соли — уху сварим.

— Ага,— согласился Кешка,— вкусно будет. Я встану...

Поднимать кошелку не было уже охоты, и он волоком перетащил ее через кухонный порог.

— Это ты, Иннокентий?— спросила мать.— Ну, слава господи, и где ты только шляешься?

Она уже пришла из клуба, где заведовала библиотекой. Шила что-то, склонясь к маленькой лампочке, и на стену за ней ложилась угловатая, растрепанная тень.

— Нигде,— сказал Кешка.— Мы с Македоном были.

Мать встала и, отряхивая с себя ниточки, вышла в кухню.

— Ох,— сказала она,— чует мое сердце: не кончится добром эта твоя дружба с Македоном. И что мне

с тобой только делать, чтобы ты не носился по улицам?.. А это что?

— Картошка.

— Какая картошка?

— Обыкновенная, молодая. Ты свари в мундирах,— посоветовал Кешка.

— Картошка...— Мать смущенно заглянула в кошелку.— И как много... Иннокентий, что это значит?— Она выпрямилась, и стекла очков ее блеснули строго и подозрительно.— Что это значит, Иннокентий?

Кешка только моргал. Да и что могла значить картошка?

А мать беспомощно охнула, засуетилась, шаря в потемках свои тапочки.

— Немедленно пойдем! Ты покажешь мне, где это вы... набрали, извинишься. Мы отдадим, и тебя простят. Ты не бойся, тебя простят. Это со всяким может случиться, только надо отдать, и тебя простят. Пойдем, ведь ты не будешь больше?

— Я не украл!— Кешка неожиданно для себя всхлипнул, и слезы бурно потекли у него по щекам.— Да! Это у бабы Кати... Мы руками картошку подрывали, и не всю брали, а только крупную, а мелкая пусть растет еще. Нам баба Катя за это дешевле отдала... И мы хотели вперед хлеба купить, а Македон говорит: «Давай картошку, пусть и мать твоя ест, а то она худая больно». Вот! А ты... ты...

А потом мать хлопотала у плиты, и красные узоры от горящего кизяка дрожали на беленых стенах. Свет отключили. Так часто бывало: ломается что-нибудь или на заводе много требовалось свету и не хватало его на поселок. Кешка дремал, сидя у стола и вдыхая сытный дух картошки, кипевшей в чугушке.

Он слышал бормотание матери, ее голос, виноватый и ласковый, но слов уже не разбирал. Стоило ему чуть опустить веки, как сегодняшний день превращался в синее кружение, в шум, и вдруг возникали парень в рваном пиджаке и с гармошкой, базаркомша, инвалид с костылем, дамы... Каждый что-то выкрикивал ему, и он испуганно вскидывал голову, моргая глазами, а потом дрема снова одолевала его.

Когда мать поставила на стол дымящийся чугунок, он уже мирно спал, положив руки под голову. Она взяла его на руки и отнесла на топчан под окном.

— Мам,— вдруг спросил он, укладывая поудобнее

свое неловкое и худенькое тело на жидком, продавленном тюфячке.— Мам, а кем мы вырастем?

— А кем ты хочешь?

Но он уже снова спал очень крепко.

Рассказ второй

ЗА РЫБКОЙ

Часов в девять, когда солнце, забиравшееся все выше и выше, полностью осушило росу и прогрело воду, когда рыбы, набив брюхо водорослями, жучками, стрекозами и прочей меньшей братией, утомленные и счастливые своей сытостью, ушли спать в прохладные норы и бочажки, когда угомонились даже такие хлопотуньи, как береговые ласточки, когда вообще все утреннее шевеление жизни пошло на убыль,— тогда наконец-то и Македон оторвался от своих удочек и заглянул в плетеную корзину, что стояла в тенечке, наполовину погруженная в воду, чтобы рыба не уснула раньше времени. В корзине лениво, засыпая, копошились десятка три плотвичек, подлещиков, окуньков и ершей. Прикинув вес улова, Македон неодобрительно покачал головой и сердито закричал своему другу:

— Ну, чего расселся, чего? Клев, что ли, высидишь? Лучше бы костер собрал, а то у Македона брюхо совсем подвело. Пора бы его и ушицей побаловать, брюхо-то, а?!

И Кешка с готовностью встал и пошел вдоль берега, собирая всяческий деревянный мусор и засохшие ветки лозняка, ломавшиеся в руках с веселым хрупом.

— Да камыша сухого нарви!— закричал ему вдогонку Македон.— Рази ж твои чурбаки просто без ничего загорятся? Совсем народ без понятия.

Кешка хотел было возразить, но промолчал. Он вообще чувствовал себя вроде бы виноватым, так как все утро рыба шла к нему далеко не так густо, как к Македону, а делить ее Ванька будет поровну. От этого он и злится небось, а скажи, что не надо, мол, поровну,— обидится. Даже закричит: «Мы с тобой кореша́, или у меня, может, уши собачьи?!» Даже в грудь кулаком себя стукнет, пожалуй. Пусть уж лучше так, без разговоров перезлится.

Македон между тем принялся тереть песком немецкий котелок и потрошить ершей и плотвичек, отобран-

ных им для варева. Ворчал он не переставая, а уколовшись пару раз о растопыренные ершовые плавники, да же плюнул с досады.

— Не хнычь, паскуда,— прикрикнул он на себя,— ни хрена с твоими клешнями не будет.

Не ругаться и не сердиться, занимаясь хозяйственными делами, Македон не умел. Так уж положено было... Не зря ведь и бабка его, и старшая сестра Женя, и даже соседка тетя Глаша — все нещадно ругались, хлопоча у плиты, обвиняя друг друга в лености, прожорливости и во всех прочих грехах.

Хоть рыба варится быстро, а все же друзья успели таки, отщипывая по «ма-асенькому» кусочку, съесть весь свой хлеб еще, как говорится, «под парок».

— Эх ты! Лук ты забыл, хлеб весь до ухи слопал,— обвинил Македон Кешку,— растяпа ты!

— Ну и пусть! А ты зачем съел?— беззлобно огрызнулся Кешка, но себя Македон оправдал:

— А ты думал, будешь чавкать, а я смотреть буду, да?— спросил он торжественно.— По шее бы тебе съездить, да уж ладно, пользуйся, что я добрый...— И длинной палкой с загогулиной на конце он подцепил котелок, стащил его с углей и поставил в маленькую ямку, чтоб не опрокинулся случаем.— Ну, навалились...

Они улеглись по обе стороны котелка животами на траву — так и черпать было удобнее, и уха не расплескивалась по пути ко рту.

— Дураки мы!— сказал Македон огорченно.— Мимо огородов шли. А сюда бы картошечки забросить... М-м-м,— замычал он от воображаемого удовольствия.— Одно слово — дураки! Да ладно,— вздохнул он,— голодное брюхо до вкуса глухо. Это моя бабка так говорит.

Ел Македон не спеша, тщательно дул в ложку и подолгу обсасывал рыбы кости. Кешка торопился, обжигался, накалывал язык... Но оба они при этом одинаково блаженствовали и наслаждались жизнью. Уха была жирной, а рыба сама распадалась на куски и таяла во рту.

Выцедив все из котелка и тщательно облизав ложку, Македон повалился на спину и раскинул руки.

— Ох,— вздохнул он удовлетворенно и разрешил:— Лягай! Пусть теперь брюхо работает.

Кешка тоже улегся животом вверх и, пожалуй, только теперь увидел, каким прекрасным, спокойным и мягким было это июльское утро. Тишина стояла над рекой, и только с того берега, из плавней, доносился крик далекой беспокойной птицы. Над Кешкиным лицом качались легкие высокие травинки, и на одной из них сидела беленькая бабочка-капустница. Кешка подул, и бабочка снялась, взмахнув своими мягкими крыльями. Там, повыше, наверное, был ветер, хотя у земли он совсем не чувствовался. Но там, наверное, был, потому что легкая бабочка никак не могла лететь прямо — что-то толкало ее, отбрасывало то в сторону, то вниз, а она все поднималась и поднималась, пока совсем не исчезла из глаз и, казалось, слилась с небом, с нежными хлопьями кучевых облаков, лениво скользившими в бесконечной, сиреневатой глубине воздушного купола. Кешкины глаза уставали от этой бесконечности и слипались сами собой. Чтобы не заснуть, он перевернулся на живот и спросил:

— Удочки здесь оставим?

— Ага, только лески снимем. Это дядь Сеня меня так научил. Идешь себе так просто, комар носа не подточит. В корзине у тебя, положим, трава для козы... С удочкой когда идешь, то всякий на твою рыбу и соблазняется. А дразнить народ, говорит дядь Сеня, ни к чему. Народ нынче разный, обнаглел за войну народ.

— Скажешь тоже... народ на войне Гитлера бил!

— Вот и я говорю дядь Сене, а он мне: «Бил-то, говорит, по делу, а вот обнаглел — зря!»

— Дурачок он поселковый, твой дядя Сеня... — обиделся за народ Кешка. — Даже мамка моя так говорит.

— Это точно, — согласился Македон, — которые умные, то и сейчас живут — дай бог всякому. А дядя Сеня — он знаешь как мог бы жить? У него руки золотые — это у кого хочешь спроси. Да и инвалид, а инвалиду ничего не запрещают. А он у себя в сарайке на стружке спит...

— А ты правда к нему в ученики пойдешь? — вспомнил вдруг Кешка.

— Да ну, — махнул рукой Македон. — Я хотел, да только он не серьезно все это. Ты, говорит, летом у меня учись, если хочешь, а зимой чтобы все равно в школу ходил. Больно надо мне такое учение.

- А шкафчик он свой доделал?
— Ага. Завтра на базар повезет.

Историю с этим шкафчиком знал весь поселок. Македон захаживал иногда к дядь Сене — построгать. Вот. Ну и дня за три обстругал доску. Ничего себе получилась досочка. Кешка ее видел. Не такая, понятно, гладкая, как у самого дяди Сени, но на заднюю стенку или еще куда, чтоб не очень видно, сгодились бы. Народ у них в поселке был не привередливый. Покупал все — лишь бы прочно стояло. Ну вот, а дядь Сеня потрогал доску и говорит: «У-у, Ванька, а какой бы из нее самокат!» У Македона, как на грех, даже подшипники были. Он их в подбитом «виллисе» нашел. Новенькие. В масле и в бумаге. Вот они и сделали самокат. А шкафчик, куда предназначалась доска, простоял в сарайчике целую неделю.

Возможно, об этом никто бы и не узнал, но и с самокатом вышло нескладно. Македон принес его домой, а бабка у них встает рано, даже раньше Ваньки. Ванька проснулся, хватъ: где самокат? А бабка смеется: «Я тебе на нем уже картошку сварила. Садись, жри...» Македон так разозлился, что даже картошку есть не стал. Первый раз в жизни! Дядя Сеня потом старую Македониху стыдил, да ведь ей все это до одного места... Им она и повернулась к дядь Сене, местом этим, по нему и похлопала. «Вот, говорит, видел? Он будет раскатывать, а я за щепками бегай, да ему же потом и вари... И не мне, а тебе, одноногий черт, стыдно должно быть! Чем с ребятней дурака валять, лучше бы мне лавочку починил. А я б тебе — десяточек кукурузы молодой. У меня ранняя. Даже и сварила бы сама», — добавила она заискивающим тоном. Но дядя Сеня на лесть не поддался.

— Дура ты, а еще старая, — сказал он. — Жратвой меня соблазняешь. Разве ж я на фронте за жратвой тосковал? Я за радостью ребячьей больше скучал. Эх вы! — и плюнул с досады.

— Ну, повставали! — скомандовал Македон. — А то так и обратно проголодаться недолго.

Они сняли с удилиц лески, крючки и поплавки, аккуратно смотали и засунули все это в гильзу от крупнокалиберного немецкого патрона. Лески у них были кру-

ченые, трехжильные — предмет зависти всех поселковых мальчишек. На эти лески ушло полхвоста орсовской кобылы Маньки, а Македон так кнутом поперек спины за них получил — рубец целую неделю горел. Терять такие лески им было не резон.

А вот удилища они побросали в камыши. Никто их тут не тронет до следующего раза, а если и тронет — не жалко. Вырезать новые — это ж раз плюнуть. Даже Кешка умеет.

— Ну, — сказал Македон.

Они взялись за корзину и побрели к видневшейся за камышами узкоколейке.

По весне смирная Лаптевка в этом месте превращалась в настоящее море, и вода поднималась до самой насыпи. Впрочем, это только говорилось так: насыпь. На самом деле узкоколейку проложили по краю обрыва, подровняв его и перекрыв кое-где овражки. Раз в три или четыре в день тут пробегал паровозик. Задыхаясь, пища и постанывая, тащил он пять платформ, груженных чистейшим, ослепительно белым песком. Платформы были старенькие, щелястые, и песок сыпался так, что было вообще удивительно, как-таки что-то попадает на бетонный завод. А потом и с завода стали возить сюда разный строительный мусор и сваливать его под откос... Вот местами теперь и вправду казалось, что проложена узкоколейка по насыпи.

Сразу же за железкой начиналось большое село, тоже называвшееся Лаптевкой, потом им предстояло идти еще километра полтора по Херсонскому шоссе, потом... Впрочем, все это было за насыпью, а она пока виднелась сквозь растущие тут и там высокие камыши только чуть-чуть. Шли они извилистой тропкой между крохотными заболоченными старицами, полными черной, густой водой, поросшей ярко-желтыми кувшинками. Местами под ногами чавкало. Лягушки с тяжелым плеском срывались с насиженных мест по краям луж. Стрекозы висели в воздухе целыми гроздьями и непрерывно поедали мелких, как мак, мошек, но это не уменьшало аппетита самой мошкары. Иногда Кешка и Македон, не сговариваясь, пускались бегом, чтобы оторваться от серого зудящего облака. Наступала минутная передышка, а потом опять надо было хлестать себя свободной рукой по щекам и плечам. Только у самой насыпи дорога заметно потянулась в гору, подул ветерок, и идти стало легче.

— Передохнем?— спросил Македон.

Кешка кивнул.

Они постояли, искоса и горделиво оглядывая свою добычу, аккуратно уложенную и присыпанную травой.

— У бабки как раз пшено есть. Ты кашу с рыбой не ел?

— Не-е... Моя мамка так и не готовит. Она жарит только.

— Ишь, бары вы...— не одобрил Македон.— Рыба и так жирная, чего ж постное зря жечь?

— Зато вкусно!— Кешка зажмурился и причмокнул языком.— С корочкой...

— Ну ладно,— согласился Македон,— сцибришь и мне кусок. Я попробую.

— Я не сцибрю,— сказал Кешка,— я так принесу. Мамка разрешает.

— Хорошая стала?— удивился Македон.— Или она и вправду у тебя за фиксатого замуж собралась?

Кешка не ответил. Недели две уже как перестали ему нравиться шуточки о предполагаемом замужестве матери.

Помолчали.

— Теперь так,— скомандовал Македон.— Беремся — и единым духом до самой Херсонки. Ясно? Если что, то не бежать — все равно догоню. А ори погромче. С надсадом ори. Понял? Ты хоть и психованный, а не ввязывайся — прибьют.

— Брось,— усомнился Кешка в необходимости этой инструкции,— никто отбирать и не будет — что же они, сами поймать не могут? Живут рядом... В тот раз ты тоже говорил, а никто и не тронул.

— Раз на раз, что мед на квас!— прикрикнул Македон.— Вот отберут все, да еще шею наkostenяют, так будешь рассуждать мне...

Улица, начинавшаяся сразу за железкой, была тиха и пустынна. По левому краю ее стояли новенькие столбы с голубоватыми чашечками изоляторов. В прошлый раз под эти столбы еще только ямы рыли. Кешка и Македон шагали молча, по самой середине, глядя себе под ноги в густую рыжую пыль. Тишина отдавалась в душе смутной тревогой. Всюду в дырочках плетней мерещились чьи-то глаза. Вдруг раздался негромкий свист. Македон вздрогнул и глухо процедил: «Чеши ногами!»— но было уже поздно. Из-за старенького ко-

лодца навстречу им вышел совсем еще маленький хлопчик в бумазейных штанах с одной лямкой.

— Рыбки дадите?— спросил он противным голосом.

— Нет у нас рыбки. Проваливай!— прикрикнул на него Македон.

— Чего ты?— хлюпнул тот носом.— Как здоровый, так сразу драться, да?

— Вы чо тут хлопчика забижаете?— спросил неизвестно откуда взявшийся верзила, на целую голову выше Македона. Тут же из-за плетня выпрыгнули еще двое. Они подскочили сзади и молча дернули корзину к себе.

— Ты чего? Чего?— закричал Кешка.— Это же наше! Мы его не трогали, он к нам и не подходил. Отпусти!

— Нашей рыбы нахапали, да еще и «отпусти». Цыц!— сказал верзила и стукнул его ребром ладони по шее.

Огненные брызги полетели из Кешкиных глаз. Он выпустил ручку корзинки, с размаху сел в пыль и не видел уже, как побежал вперед Македон, крича во всю глотку, и как верзила погнался за ним, а двое других кинулись поднимать вывалившуюся рыбу.

Когда огненные круги перед Кешкиными глазами распались, лаптевцы уже не спеша бежали прочь и корзина моталась в их длинных руках.

От злости, ярости и отчаяния Кешка даже не закричал, а только вскочил и кинулся к плетню за камнем. Кровь ударила ему в голову, и себя он уже не чувствовал — только свою обиду и ярость. «Убью»,— решил он. Камней не было, зато у самого плетня валялся прут — кусок толстой железной проволоки, которой рабочие скручивали столбы. Он лежал чуть в сторонке, и то, что Кешка увидел его, было высшей справедливостью судьбы.

С прутом в руках он не чувствовал себя так отвратительно бессильным. И он метнулся вперед, ни о чем не думая и почти ничего не видя от душившей его ярости.

— Атаc!— закричал кто-то из лаптевцев, и те двое, с корзиной, рванулись вперед, но Кешка успел хватить прутом по чьей-то руке. Рыба снова покатилаcь в пыль, а лаптевцы метнулись от него в стороны, как брызги.

То был недолгий момент страха и оторопи, как это всегда бывает при столкновении с непонятым. А что

могло быть непонятнее этого тщедушного шкета, вдруг кинувшегося на них со своим жалким прутом?

— Убью!— с силой выдохнул Кешка.— Убью!

Но в этот же миг снова взбесились огненные кольца перед его глазами, Кешка схватился за висок и, почувствовав что-то горячее и липкое, успел сообразить, что он убит. Он уже не слышал ни плача Македона, ни женского голоса, кричавшего: «Ах вы, бандюги, чумы на вас нет!», ни топота убегающих ног...

Очнулся он от тишины и ласковых прикосновений. Женщина в белом платочке, держа его почти на весу, обмывала висок колодезной водой и приговаривала:

— Ничего ж тут у тебя и нет, царапины только, ничего, потерпи, мы промоем, подорожничку приложим... Ты потерпи.

— А голова у меня целая?— спросил Кешка.

— Целая, целая, только царапины туточки. Больно?

— Не-е-е...— протянул Кешка.

— Во бандюги, чумы на них нет... Камнем... это надо же — камнем. И все Степанидин губошлеп-то заправляет. Совсем оторви мальчишка растет. Хоть в милицию жалься. Сейчас полегчает,— пообещала она, прикладывая к ранке разлапистый лист подорожника.

— Угу,— сказал Кешка,— я сам подержу.

— Ну, подержи. Ты у меня молодец, хлопчик.

— Ага,— подтвердил Македон,— он на них с прутом как побежит.

— Ох, ребятки, ребяташки, горе вы наше,— огорчилась женщина.— То ж бандюги, чумы ж на них нет! Не занимались бы вы с ними.

— Мы и не занимались,— обиженно сказал Кешка.— А зачем они рыбу забрали?! Мы по темноте еще за ней шли.

— Рыба не ихняя,— подтвердил Македон.— Она в реке живет, а река и через поселок бежит. Только тут травы в ней больше, рыба сюда пастись приходит.

— Ишь ты, понимает,— удивилась женщина.— Что же мне с вами теперь делать?— Она положила руки им на головы, большие хлопотливые руки.

— А вы проводите нас до Херсонки,— подсказал Македон.

По шоссе шли они молча. Македон все оглядывал своего друга и не решался спросить: как же так он кинулся? Камнем — это ведь ничего еще. Камнем — это еще хорошо. А если бы у них был нож или свинчат-

ка? Хотел сказать Кешке, что он дурачок, что так нельзя, гори она огнем, эта рыба, своя голова дороже. Но рыба все же осталась у них благодаря Кешке. И хотя Македон понимал всю неразумность Кешкиной атаки, ему самому очень хотелось сделать что-нибудь похужее...

У заводской развилки они присели на край кювета отдохнуть. Садына уже подсохла, и подорожник Кешка выкинул. Теперь он обтер руку о штаны и, осторожно подняв пальцы к виску, ощупал бугорки запекшейся крови. Щека произвольно дергалась при каждом прикосновении.

— Болит?— спросил Македон и тоже потянулся к ране.

Кешка вдруг закрыл лицо руками, неловко, боком повалился на траву, и Македон услышал яростные, задушенные всхлипы.

— Ты чего, Кеха?— тихонько спросил он.— Это же пока только больно, до завтра и то пройдет. У меня самого сто раз было! Под салютом всех вождей! Сто раз было!

— Я не плачу!— крикнул Кешка и сел, яростно сдирая кулаком остатки слез.— И мне не больно — мне обидно.

— Ну, брось... Рыба ж у нас. Хочешь, я тебе сопру одну, когда бабка в духовке спечет? Шамовка будет... язык проглотишь.

— Не хочу,— сказал Кешка.— За что они нас?!

— Они рыбу своей, вишь, считают, и вообще... Вымахали здоровые, полицейские морды, и радуются. А ты молодец! Как врежешь! Как это ты не побоялся?

— Я не помню,— честно сознался Кешка.— Я сейчас боюсь. И мне обидно! Мы же с тобой ловили, мы встали — еще темно было, а они...

— Ладно,— сказал Македон,— мы в другой раз на Суслицкое пойдем. Там тоже хорошая старика есть.

— А там не дерутся?

— Там...— Македон почесал в затылке.— Не знаю, я там и не рыбачил еще...

— Гранату надо найти,— сказал вдруг Кешка,— они сунутся, а мы ка-ак ахнем!

— Ты что?— испугался Македон.— Заарестуют же.

— А их не арестовывают?

— Они руками. Это другой компот,— он вдруг улыбнулся, вспомнив смешное,— мне, знаешь, дядь Се-

ня как сказал: «Вы, говорит, сами должны из себя чело-
веков делать. Народу теперь, говорит, некогда, на-
род — он заводы отстраивает, порушенное все подыма-
ет, ну и кормит вас иногда. А все остальное вы сами
должны». Чудной он!

— С одной рыбы да с картошки не очень-то вы-
растешь,— усомнился Кешка.— А мамке моей не гово-
ри. Скажем, удочкой сам себя треснул.

— Ладно, скажем. Ну, пошли?

— Пошли,— Кешка поднялся и отряхнул штаны.—
А все-таки несправедливо это.

— Что?

— Ну, что мы маленькие, а они большие.

— Чудак!— засмеялся Македон.— Они родились
раньше.

Рассказ третий

В БЕГАХ

Выцветшее за день небо снова заметно голубело,
солнце сваливалось куда-то за насыпь, и, опережая со-
бытия, высоко над горизонтом уже проклюнулась блек-
лая вечерняя звездочка. Надвигались короткие южные
сумерки, и те, кто после смены пришел сюда погород-
ничать, увязывали в узлы, складывали в кошелки тя-
желенькие желтовато-зеленые початки молодой куку-
рузы. Узлы и кошелки эти поддевались на тятку, тятка
вскидывалась на плечо и тяжело пружинила при ходь-
бе, как бы дружески похлопывая человека по плечу
и говоря ему: ничего, мол, проживем! И люди улыба-
лись, словно предвкушая, как минут через двадцать во
дворах поселка потянет уютным дымком горящего ки-
зяка, будылья, а в огромных, тяжело булькающих
кастрюлях будут подпрыгивать уложенные рядками
молодые початки, и запах из этих кастрюль будет такой
сытный, что хоть бери и откусывай его кусками.

И вот от этого сытного запаха, от всего этого уют-
ного мира людей, торопящихся после работы домой,
навсегда был отрезан Кешка.

Отрезан — и все!

И некуда было ему торопиться, полеживал себе
в небольшом овражке, на спине, заложив за голову ру-
ки, и над ним лениво покачивалась, шершаво касаясь
щеки, голенастенькая, узловатая травиночка. Она тя-

нулась выше других и заканчивалась не метелочкой или колоском, а обыкновенным узким листком, торчащим в сторону, из-за пазухи которого высовывался еще один, совсем новенький, свернутый в острую трубочку. Видимо, эта травинка еще росла, хотя стоял уже август и все ее соседи — все кастрюки, мятлики и трясунки — поспешили отцвести и даже кое-где побурели... А эта все тянулась куда-то вверх, хотя выше нее и так не было ничего, кроме пустого вечернего неба. Ни птицы, ни бабочки — ничего! Пустеющая степь, вечеряющее небо — и Кешка, всеми покинутый и забытый, всеми, кому в их обычной жизни сейчас так хорошо, и уютно, и сыто... «Ну и пусть им будет прекрасно и распрекрасно!» — со злостью решил он, садясь, и, цыкнув сквозь зубы липкой слюной, сплюнул.

Голоса владельцев огородов смолкли наконец вдалеке, и теперь Кешка мог позаботиться о собственных харчах без особого риска.

Дойдя до ближней межи, он пригнулся, быстро, на карачках, проскочил пустое пространство и плюхнулся животом в мягкое междурядье высоко и тщательно окученной картошки.

Это местечко он высмотрел еще днем. Ботва здесь была пониже, цветки фиолетовые, картошины под такими кустами должны быть ровные, продолговатые, а кожура на них розовая. Не картоха, а мечта!

От пряного запаха привядшей на жаре ботвы желудок его мучительно сжался, словно жаловался на непонимание и требовал заботы. И Кешка, успокаивая его, пополз на локтях вперед, то тут, то там разрывая пальцами крохкую землю, и осторожно, чтобы не повредить всего куста, выковыривал молоденькие клубни, плоские и влажные, как крупная речная галька. Сердце его при этом гулко билось от стыда и страха.

Только спустившись со своей добычей обратно к ручью, бежавшему меж огородов в довольно глубоком, поросшем лозняком овражке, Кешка успокоился. Здесь было его место. И здесь он еще днем приготовил костер — притащил несколько шаров прошлогоднего перекасти-поля, а поверх них набросал старые кукурузные корни, которые в изобилии кучками догнивали на межах. Корни эти вообще-то горели ужас как плохо, но Кешке от костра надобно было не тепло, а побольше горячей золы, чтоб испечь картошку. Золы корни давали много.

Сухое перекасти-поле загорелось в момент. Веточка, к которой он поднес спичку, как бы сжалась, малиновая краснота побежала по ней, обламывая ее и капая крошечными огоньками вниз, и оттуда, снизу, тоже метнулась по веткам легкая краснота, и вдруг весь шар фукнул белым прожорливым пламенем.

И сразу же стало заметно, что вокруг уже вечер, а здесь, в овражке, по которому бежал ручей, можно сказать, что и ночь. Ручей этот выбегал из-под заводского забора. Все время углубляя и расширяя свой овражек, добирался до высокой железнодорожной насыпи и нырял под нее — в большую каменную трубу. Что с ним делалось дальше, Кешка не знал, потому что перейти эту насыпь он так за весь день и не решился.

В ней было что-то завораживающее — в этой насыпи. Начинаясь от заводских ворот, широким полукругом охватывая огороды, она уходила куда-то далеко, к горизонту... Иногда ворота открывались и на насыпь выползал небольшой, чумазый, задыхающийся паровичок, толкая впереди себя не вагоны, а огромные черные чаши. Воздух вокруг них струился и мерцал от жара.

Бока у насыпи были черно-рыжими, крутыми и высокими, так что выше рельсов Кешка видел только дрожание знойного воздуха, небо — и ничего больше! А солнце светило ярко, и отбитые колесами рельсы пускали в глаза солнечные зайчики. Это был обрыв, край земли, и от одного намерения заглянуть за этот край становилось сладостно-жутко.

Насыпь называлась так: шлакоотвал.

Костер быстро прогорел. Кешка разгреб жар лозинной, высыпал туда свои картохи, а поверх них стал нагребать горячие угли. От этого костер совсем загас и подернулся розовато-серым пеплом.

Стало еще темнее.

Жару все же было мало, Кешка сбегал еще раз за кукурузными корнями и накидал их поверх тлевших углей. Они загорались лениво, а когда загорались, то от них пахло печкой, которую только что подмазали глиной и теперь протапливают, чтобы быстрее просохла.

Знакомый, приятный запах. Сразу представляешь себе бабу Катю Кривенчиху, сидящую на своей скамеечке, ломающую не спеша хворост и заталкивающую его в раскрытую печку, пышущую желтым жаром... До войны баба Катя была настоящим печником, но потом обезножела. То есть не совсем, конечно. Ноги у нее в сохранности, только толстые они, как столбы, и передвигает она их только чуть-чуть, тяжело переваливаясь с боку на бок. Соседям и знакомым она по-прежнему и перекладывает и мажет печки, но при этом почти все время сидит на скамеечке, а таскают ей воду, кирпичи, месят глину Кешка с Македоном, получая за это по миске картохи, сдобренной луком и мелкими кубиками желтоватого сала. Возятся обычно от утра до обеда.

А когда печка наконец готова, ее затопят, и она затрещит, загудит, сжирая хворостины и мелкие полешки, тут баба Катя их и подзовет поближе, и начнет ими перед хозяйкой вроде бы как хвастаться. «Ишь, Марковна,— скажет,— бандюги какие у меня вымахали! А? И с чего только растут? Вроде бы как с одного пшику». А потом хозяйка ей поднесет стакан водочки, она выпьет, вытрет слезу краем платочка и снова о них: «Голота вы, говорит, голота... Хоть тебе, рыжий, и недолго голотничать. Тебе Антоновна отца спроворит быстро. Баба она молодая, да справная, да приглядная, а только при чужом-то отце вдвойне сирота будешь...» — и плачет.

А он и не будет! Он взял — и убежал. Не будет — и все!

Жаль только, что один. Одному, по-честному, и страшновато, и скучно. Но Македон утром еще сказал твердо, что сбегать не может, потому что осенью должен вернуться из армии его старший брат, и тогда наступит расплата за все Македоновы грехи. Так по крайней мере обещала ему бабка. А грехов у Македона и без побега хватает. Зато он вынес Кешке соли в желтой тряпице и подарил ножик, сделанный из пилки Сенеи-инвалидом.

— Ты только смотри не потеряй,— предупредил он про ножик,— а то мне Серега обещался завтра три пробки принести, так я из них поплавцы вырезать буду.

— Так я не вернусь же...— пояснил Кешка.— Я навсегда сбегáю.

— Это здорово, что навсегда,— поддержал Македон.— И правильно делаешь: чего они? У тебя отец офицер был, и ты за него геройски стоять должен. Я бы и сам, Кеха, сбег, милое дело, да мне никак.

Пока пеклась картошка, Кешка принялся за кукурузу, прихваченную им по дороге. Не подумав прихватил, потому что сварить ее все равно было никак нельзя. И сейчас он повертел ее в руках, подумал и решил съесть сырую. Ели же они сырую рожь! Ободрал листья, натер солью... Ничего вообще получалось, хотя, конечно, не то что вареную. Хлебное молочко зерен было вяжущим, язык делался от него немножко как деревянный, Кешка все же с наслаждением проглатывал сладковатую кашу, и ему казалось, что он видит, как она идет у него внутри и укладывается в желудке приятной тяжестью. Привыкать к такой еде было непросто, но Кешка решил привыкнуть.

И тут над самым краем его овражка кто-то оступился, ругнулся негромко, и вслед за этим мелкие комки земли прошуршали вниз совсем близко от Кешки. Он вздрогнул от неожиданности и рывком метнулся в кусты. Сердце его гулко торкнулось, предвкушая ужас погони и сладость ухода от нее. Но погони вроде бы не было. Спустившийся вниз человек приблизился к костру, спокойно разгреб угольки, выкатил из них картошку, покидал ее с руки на руку, разломил и вкусно щелкнул языком.

— Кеха,— негромко позвал он,— шуруй обратно, а то перепекутся картохи, ей-бо!

Кешка вышел из кустов со смущенно-независимым видом.

— Драпанул?— спросил Македон.

— Ага,— признался Кешка.— Я думал, это они.

— Не-а, они тебя на речке искали, а сейчас на станции ищут. Меня все спрашивали: «Не знаешь случайно, где Иннокентий?» А я: «Случайно не знаю, а собирался вчера на старицу за карасями...» Пусть, думаю, сбегают... «А ты чего ж не с ним?»— пристают. «А чо я — к нему привязанный чи обязанный?» Ну, они и ушли. С бабкой на кухне потом шептались, матка твоя все ей, значит, ах-ох-квох, какой подвох!.. А этот, хахиль ее который, все так: бу-бу-бу! Как в бочку, зна-

чит.— Рассказывая это, Македон ловко, не разрушая жара, одну за другой выкатывал картохи.— Все вроде,— сказал он,— семь, да?

— Еще одна была...

— Ну да. Вот она, подлая... А соль у тебя идé? Садись, повечеряем.

Кешка вынул из-за пазухи и кинул ему желтую тряпицу с солью.

— Облупляй!— тоном радушного хозяина пригласил Македон.— В самый раз испеклась.

— Ну,— поторопил Кешка,— а мамка — чо? Плакала?

— И плакала, и ругалась — по-всякому...— равнодушно сообщил Македон.— Он, говорит, такой раньше тихий был, ты то исть, ничего такого за ним не водилось... «Ну и что, говорю, вы тоже замуж не выходили раньше».—«А я и не выхожу, кто тебе сказал?»— «А Кеха, говорю, думал, что выходите, раз у вас этот вот ночевал». А он, Барызин значит, как кашляет: «Сопляк ты еще, говорит, чтоб о таких вещах рассуждать!» Ого, да у тебя и кукуруза?— приятно удивился Македон, выхватывая из травы кукурузный початок.— Э, Кеха, да ты чо — сырую грыз, как кабан, чо ли?..

— Ну, сварить же никак,— виновато оправдался Кешка.

— А на углях? Вкуснотища же! В один момент мы...— и Македон быстро и расчетливо уложил початки в костер так, чтобы они попали не в самый жар, но и не в прогоревшую золу.

— Ну, а ты зачем пришел?— нетерпеливо спросил Кешка, очень, впрочем, невнятно, потому что в это же время язык его торопливо ворочал во рту кусок горячей картошки, чтобы тот скорее остыл.

— Я-то?— переспросил Македон.— Да чтоб ты тут без меня не пропал, а то вечером сырую кукурузу жрать, а утром животом маяться, так недалеко убегешь.

Как ни рад был Кешка другу, но тут обиделся.

— Больно нужно,— сказал.— Можешь домой дуть, как пришел.

— Домой мне теперя нельзя,— не согласился с ним Македон.— Мне вообще так: куда ни кинь...— вздохнул он, укладываясь на траву у костра.— Вернись — бабка поколотит, не вернись — братухан приедет, задаст перцу... а?!

— С бабкой-то чего — поругался?

— Да нет. Они с ней около плиты на дворе шушукались, а я в комнате был. Гляжу, значит, бабка в барак идет. Заходит: «Что же ты, говорит, пацана смущаешь, безотцовщина, против родителей подговариваешь?» А руку все за спиной держит. Вот так. Я и говорю ей: «Ничего я, мол, не подговаривал, больно нужно!» А сам — шмыг к окну. Толечко один раз и успела догнать веревкой, а я на двор — и привет-буфет!

Костер их давно уже не рвался ввысь, а тлел у самой земли ровным багровым пятном. Только иногда в нем что-то лопалось с тихим фуканьем и несколько искр вылетали во тьму... Но и они быстро гасли, не в силах пробить безлунную ночь, обступившую костер.

Македон выкатил лозиной кукурузины, а лозину бросил на угли, и она медленно прогнулась, недовольно шипя, и вдруг пыхнула мелкими желтыми язычками.

— На! — Македон протянул Кешке обтертый травой початок. — Это тебе не сырую исть!

От початка сытно пахло свежее испеченным хлебом, и Кешка с наслаждением вонзил зубы в сочную душистую мякоть молодых зерен.

— Ух! — сказал он. — Здорово! А откуда ты знал, что ее печь можно?

— Раз варят, то почему б и не спечь?

Его объяснение показалось Кешке таким простым и убедительным, что даже стыдно ему стало: как же сам он до такой простоты не допер?

— А нашел ты меня как? — спросил он.

— Обыкновенно. Не дурак же ты, чтобы сразу на вокзал переть. Значит, где-нибудь по дороге вечерок коротаешь. Вечеряешь, значит, на огородах. Ну, я и решил, что мы с тобой повечеряем и пойдем. Матка твоя небось оттуда уже ушла, так что мы в самый раз придем. Ночью товарняков много, особенно под утро. Сядем себе и тю-тю на юг... Где-нибудь на разъезде соскочим, похарчимся на огородах, а потом опять. Ой люлю! — мечтательно пропел он, потягиваясь, и вдруг снова сел, с размаху хлопнув Кешку по плечу. — Не трусуй!

Кешка и не трусил. У Македона все получалось так легко и, главное, убедительно, что не только трусить, но и беспокоиться было незачем, и Кешка уже начисто забыл не только свои дневные страхи, но и свои мечты о том, как будут все плакать, когда найдут его, умер-

шего с голоду. Теперь побег представлялся уже приятным путешествием и виделся золотистый юг, синее море и они с Македоном...

— А главное,— без всякого перехода продолжил Македон,— ты, как тебя драть начнут, сразу кричи и проси прощения. Это все страсть как любят. Как только ты, значит, запросился, им тебя драть уже никакого интереса нет. Ну там... немного поддадут еще для остротки и ладно.

— Так мы же на юге будем...— удивился Кешка.— Кому же нас драть?

— Обыкновенно кому. Меня — бабке, а тебя — матке, а может, и Барызину.

— Барызину?— Кешка даже кулаки сжал.— Не боюсь я Барызина твоего. Драться буду. Он права не имеет!

— Ишь ты!— удивился Македон его внезапному гневу.— Сказано, психованный ты. Одно слово! Никто твоих прав и не спрашивает, так что ты уж лучше сам выворачивайся, без прав. А еще, если милиция поймает нас, то сразу признавайся: кто и откуда. Понятно? Тогда прямо до места свезут. А я в детприемнике мыкался уже, знаю.

— Да как же они нас поймают, если мы только на полустанках и будем сходить и по огородам харчиться?— удивился Кешка.

— Так оно бы и не должны,— согласился Македон,— но кто ж его знает... А то еще и путейцы сцапать могут — на кого нарвешься.

Такая многовариантность жизни до того огорчила Кешку, что он, пока не погасли до конца уголья, сидел молча, обхватив руками колени и глядя вдаль, где по насыпи давешний паровозик таскал шлаковые чаши. Они светились теперь темно-вишневым, зловещим светом.

— Нет,— сказал Кешка,— ни за что домой не вернусь, пусть хоть кто ловит! Пусть они себе...

Он не договорил, а только махнул рукой, и этот жест должен был означать, что ему все равно, как и что здесь будет с мамкой и ее Барызиным. Но Македон истолковал жест по-своему.

— Это верно,— сказал он.— Пусть помыкаются. Думают: раз — и мы поймали вас? Фигос под нос! Только давай двигать, а то все догорело и зябко становится.

Выкарабкавшись из овражка, пошли они по широкой меже. Уже светила луна, тропинка поблескивала впереди серовато-зеленым таинственным блеском, и казалось, что она может вдруг исчезнуть из-под ног.

Кешка шел сзади. По правде говоря, ему хотелось спать, ужасно хотелось. В траве что-то сонно трещало, шуршало — наверное, укладывалась поудобнее на ночь всякая мелкая живность. Прокатка на заводе ухала все тише, как будто тоже засыпая.

И чтобы не думать о сне, Кешка стал вспоминать сегодняшнее утро. Раннее утро, когда и солнца еще не было, а только голубоватый свет постепенно заполнял комнату, пробиваясь от окна все дальше в разные углы и закуточки. И как он вышел на кухню, чтобы напиться, и вдруг, повернувшись, увидел огромную волосатую грудь Барызина, его открывшийся в сонной улыбке фиксатый рот и мать с голыми плечами, как-то робко, жалостливо уткнувшуюся лицом в край этой груди, чуть ли не под мышку... И Кешка, так и не напившись, попятился бесшумно к раскрытому окну и, ничего не сообразив еще, перекинул босые ноги на улицу.

Трава была еще холодная, вся в крупной росе, и пыль на дороге тяжелая, точно отсырела за ночь. Выскочил он в одних штанах и в майке, забыв рубаху. И потом, сидя во дворе шестого дома за погребом, все думал, идти ему за рубахой или нет? И решил наконец идти, поднялся, постоял и вдруг заплакал. Заплакал оттого, что понял: теперь этот фиксатый поселится у них, и не один, а еще и Вальку своего приведет — задиру и ябеду. И мать будет его, как и Кешку, гладить по голове и называть «сына моя».

Он представил себе ее улыбку, мягкую руку, длинного Вальку, и волна бессильной, жаркой, ревнивой ярости прокатилась по нему от макушки до пят, выжав из глаз слезы. Впрочем, о матери он тут же перестал думать, а все только представлял себе огромные волосатые барызинские руки и его фиксатую улыбку и давал себе самые страшные клятвы, что никогда, ни за что не вернется домой...

На станции было тихо и пустынно, и только низенькие фонари на стрелках словно плыли над путями блеклыми пятнами, да в отдалении, на горке, посвистывал

маневровый паровоз и протяжно переругивались башмачники.

Македон деловито вглядывался в то, что делалось на горке, но что он там видел и понимал — оставалось для Кешки загадкой.

— Не-а,— наконец протянул Македон разочарованно.— Это прибывший растаскивают, а отправлять, значит, не будут.

— Откуда знаешь?— усомнился Кешка.

— Значит, знаю,— не очень-то определенно пояснил Македон.— Вполне пока в ожидальном зале подремать можно. До утра далеко. Да чо ты боишься? Не будет товарняков — уедем на рабочем, где-нибудь перекинемся...

Зал был маленький, и три большие лампочки, забранные в проволочные сетки, ярко освещали заплыванный, весь в подсолнечной шелухе и окурках пол, черную круглую печку посредине и несколько казенных фанерных диванов, на которых, бдительно обняв свои узлы и корзины, подремывали в ожидании утреннего поезда десятка полтора баб и мужиков из окрестных сел.

Кешка, прятавшийся весь день, и тут поспешил забиться в дальний угол, где на диване спала только одна бабка и еще оставалось место. Зато Македон деловито и озабоченно прошелся по всему залу, подозрительно приглядываясь к окуркам, и осмотром этим остался ужасно недоволен.

— Ну, народ!— сказал он Кешке.— До самых губ смолят, хорошему человеку даже курнуть нечего.

Угрюмый длинный дядька, спавший напротив, придерживая рукой штук пять круглых корзин-сапеток, вставленных одна в другую, заворочался, потревоженный их разговором, сел и, отхаркавшись со сна, стал скручивать сигарку. Македон сразу же устался на нее так пристально, что дядька смутился.

— Курнуть хочешь?— спросил он, отчего-то недоверчиво оглядывая их обоих с головы до ног.

— Ага! Оставил бы на двоих нам.

— Ишь ты! Еще и на двоих... А то тебя, может, еще и покормить, и рупь дать? Га?

— Мог бы и дать,— резонно заметил Македон.— Вона корзин сколько, а гроши небось во все карманы понатолкал и булавками позакалывал.

Подобная наблюдательность владельца корзины не порадовала.

— Ишь ты!— удивился он.— А ты, значит, по чужим карманам спец, га?— он недовольно нахмурил брови.— Шляется всякая тут шантрапа, глаза прикрыть нельзя,— и беспокойно оглянулся вокруг, словно хотел удостовериться, много ли этой шантрапы.

Кешка дернул друга за штанину: не заводись, мол. Но Македон не послушался. Для него такие разговоры были родной стихией.

— А ты и не прикрывай,— нахально посоветовал он,— гроши целей будут. А то лучше докурить дай, вон уже пальцы дымятся.

— Ну на!— неожиданно согласился дядька.— Пусть твои пальцы жарит.

— Мои не будет!— заверил его Македон и ловко подцепил окурочек на отстегнутую от воротника булавку. Это был давно освоенный им способ, при помощи которого из любого бычка можно было извлечь две-три лишние затяжки.

— Ловок ты!— одобрил его дядька.

— Махорочка хороша,— похвалил и Македон,— дерётся!

— С одеколончиком. А вы что ж, местные или откудова едете, га? Чтой-то брат твой не очень на тебя похож...

— У мамки соседей много было, а чо?— подмигнул Македон.

— А то, что мал ты еще так охальничать. Так местные вы или откуль?

Македон промолчал, равнодушно отвернувшись.

— Тебя спрашивают!— напомнил дядька.

— Он чо — мильтон?— спросил Македон у Кешки.

— Не-е,— с сомнением протянул Кешка.

— А чо тогда спрашивает?— удивился Македон.— Спрашиватель нашелся. Я ж не спрашиваю, де ты гроши кладешь.

Дядька беспокойно заерзал по лавке и оглянулся вокруг. Все спали.

— Ну-ну,— примирительно и в то же время с угрозой сказал он,— не очень-то балуй! Тут и милиция есть.

И в это время послышался тяжелый стук колес.

— Поезд,— сказал Кешка.

Дядька покосился на окна.

— Рано,— сказал он,— рано еще... Товарный, наверное.

— Глянем?— предложил Македон, вставая.

— Зря ты с ним,— сказал Кешка на перроне,— он подумал, что мы карманники.

— Курнуть хотелось,— виновато пояснил Македон.— До чего народ пуганый!

— Спекулянт, наверное, вот и боится, чтоб ворованное не украли.

— Кто его знает,— усомнился Македон,— а только мы с тобой сейчас на какую-нибудь крышу — и ищи нас, свищи нас, а? Здорово?

Но когда поезд остановился у перрона, они сразу же поняли, что тут им не обломится. Прикрученные толстой проволокой, стояли на платформах укрытые брезентом пушки, зарядные ящики, полевые кухни. И на каждой платформе с обоих концов сидели солдаты с винтовками, мутно поблескивавшими в темноте прикнутыми штыками.

Прямо перед хлопцами остановилась не платформа, а теплушка. Дверь ее, чуть только притормозил поезд, с треском отъехала в сторону, маленький солдат выпрыгнул и помчался вперед, размахивая котелком. Другой, большой, без пилотки, уселся на краю вагона, свесив в дверной проем ноги, расстелил перед собой чистую тряпицу и стал толсто нарезать хлеб и с хрустом испарывать банку тушенки.

Тушенка была такая пахучая... Не то что в носу, а словно в самом желудке защекотало у Кешки.

— Лошадей везете?— деловито спросил Македон.

В глубине вагона и в самом деле слышалось шумное лошадиное дыхание и пофыркивание. А если уж очень принюхаться, то сквозь тушенку пахло и сеном, и свежим навозом тоже. Так что лошади там точно были, но солдат не захотел этого признать и серьезно сказал, что нет, мол, собак...

— Ну да!— засмеялся Македон.

— Собаки только у пограничников бывают,— серьезно пояснил Кешка,— а вы артиллеристы.

— Грамотный,— добродушно признал солдат,— да откуда же ты это определил?

— По погонам. У вас там две пушки скрещены.

— Это точно. Скрещены.

— А его Кешкой зовут,— сообщил Македон,— у него отец офицером был. И тоже артиллеристом. А у меня брат моряк.

— Ну что же, Иннокентий,— сказал солдат,— будем знакомы: рядовой Скобцев. А ты, значит, сын артиллериста, так?— он усмехнулся, и улыбка у него была такая, точно брызгала в разные стороны.

— Так.

— А стихи про сына артиллериста знаешь? «Был у майора Деева товарищ майор Петров...»

— Нет,— сознался Кешка.— У меня отец не майором был, а только старшим лейтенантом.

— А, лейтенант,— сказал Скобцев,— лейтенант — это тоже, брат, звание что надо. А стихи ты все равно прочти.

— А вас куда везут?— спросил Македон.

— Куда везут, нам не говорят, а тебе и подавно знать незачем. А сами, Одиссеи, куда путь держите?

— Мы из дому сбежали,— как-то мимовольно и чуть ли не радостно сознался Кешка, которому ужасно понравился Скобцев, и его руки в конопушках, далеко высунутые из подвернутых рукавов, и его голос, дурашливый и серьезный одновременно.

— От бабки убёгли,— добавил Македон.

— Дралась, верно?

— Ага.

— Ну, это не страшно. Побегайте и возвращайтесь.

— Нет,— сказал Кешка,— она замуж выходит.

— Бабка?— обрадованно удивился Скобцев.

— Мамка.

— А, замуж,— Скобцев помолчал, посмотрел куда-то вдаль, прищурившись.— Тогда, брат, дело сложнее. Ну, ничего! Вот подкрепитесь пока, а там что-нибудь и придумаем,— и он протянул им вдруг по куску хлеба с тушенкой, по огромному такому лаптю, до того толстому, что, когда Кешка откусывал, у него за ушами что-то потрескивало.

Держи кипяток, заваривай!— крикнул второй солдат, появляясь с дымящимся котелком из темноты и протягивая его Скобцеву.— Опять ты, Андрюха, гражданское население подкармливаешь,— с досадой добавил он, запрыгнув в вагон и разглядев оттуда ребят.

— Какое же это гражданское население?— удивился Скобцев, разливая чай в кружки.— Вот тот

ушастенький — сын артиллериста. О нем, Васильев, брат ты мой, целая поэма написана. Знаешь? «Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать! Ничто нас в жизни не может вышибить из седла», — такая уж поговорка у майора была...»

— Какая? — переспросил Македон.

И в это время поезд дернуло, он хрустнул всеми суставами и медленно, поскрипывая сцепками, покатился вперед.

— Будь здоровы, Одиссеи! — крикнул им Скобцев.

— Счастливо... — Кешка махал рукой, идя следом за вагоном.

— Чайку вот попейте! — крикнул Скобцев и выкинул им на перрон котелок.

Македон побежал его подбирать, а Кешка все шел за вагоном и слышал даже, как маленький солдат что-то сказал Скобцеву, но тот только махнул рукой: «Новый достану, пусть Одиссеи побалуются». А потом уже ничего не стало слышно, кроме грохота колес, и вот мелькнул красный фонарь на последней платформе и стал быстро уменьшаться, опускаясь к земле. И только рельсы все еще гудели долгим, тоскливым звоном.

— Ну, чего ты? — спросил Македон, подходя сзади.

— Жалко, — сказал Кешка непонятно о чем.

— Это верно, — согласился Македон, — душевный, видать, мужик — страсть! Вот поехать бы с ними...

Кешка только вздохнул.

В зал ожидания они вернулись с котелком кипятку. Скамейка, на которой спал дядька, была уже пуста — ни дядьки, ни его сапеток. К утру похолодало, и среди спящих пассажиров началось робкое шевеление. Наверно, всем стало под утро зябко и спины затекли от неудобных поз, но впереди было столько еще работы и суеты, что просыпаться по-настоящему и начинать день никто не торопился. Одна только старуха, что спала на Кешкиной скамейке, проснулась и теперь завтракала.

Кешка и Македон уселись напротив и стали по очереди прихлебывать из котелка кипяток, постукивая от холода по котелку зубами.

— Ой, хлопчики, — обрадовалась бабка, — та у вас никак кипяточек? — Она засуетилась, вытащила из ко-

шелки измятую алюминиевую кружку и протянула им:— Плеснить и мне!

— Это же с какого такого разза?— удивился Македон.

— Да вишь,— виновато пояснила бабка, показывая рукой на корзину,— всухомять-то плохо, а отлучаться несподручно.

— Было бы чего мять, так можно и всухомять,— не согласился с ней Македон.— У нас вот ничего нема...

— Ишь ты!— засмеялась бабка.— Шустрый! Ты так не пропадешь!

— А зачем мне пропадать?— удивился Македон.

— И ты мне кипяточку не плеснешь, хлопчик?— повернулась бабка к Кешке.

— Я? Пожал...— Кешка смущенно потянулся за котелком, но отдернул руку.— Не, я как он. Вот. Мы это — мы вместе.

Он, конечно, догадывался, чувствовал, что подобные разговоры Македона со взрослыми — что-то вроде игры с определенными правилами, исполнение которых доставляет удовольствие и той и другой стороне, но суть правил для него оставалась загадкой. Участвовать в этой игре он не умел, что Македон считал большим недостатком.

— Ну, гарненько,— согласилась довольная ими бабка,— а как я вам крамелю дам? Сама варила.

Македон тут же схватил ее кружку, наполнил кипятком и протянул бабке обе руки сразу. В одну она вложила ему длинную, завернутую в красную и синюю бумажки самодельную «крамелю», а из другой взяла кружку с кипятком, причем проделать это пришлось строго одновременно.

«Крамеля», которую они поделили пополам, была кисло-сладкая, пахла забродившими вишнями и оставляла во рту металлический привкус. Кешка и Македон сосали свои половинки, благодушно прихлебывая кипятком. Их слегка даже разморило от тепла и везения.

— А военные нам хлеба с тушенкой дали,— сообщил Кешка,— с американской!

— У военных паек добрый,— согласилась бабка.— А за что же они вам?

— Ни за что, просто так.

— Бегить-ка, хлопчики,— вдруг прошептала бабка, наклоняясь к ним.

Но было поздно. Кешка даже рвануться толком не успел, как чьи-то цепкие руки ухватили его за плечо и припечатали к спинке сиденья. От внезапной боли, отчаяния и обиды, что это чудесно начавшееся вольное их житье вдруг может закончиться вот так, по-дурацки, без всякого толку, у Кешки потемнело в глазах, и, плохо соображая, что и зачем он делает, он снова отчаянно рванулся, упал на четвереньки и, мгновенно прокатившись под лавкой, выскочил с другой стороны, чтобы бежать, бежать...

— Стой, бандюга!— закричали у него за спиной.— Держи его! Вор! Держи!

— Сам ты морда спекулянтская!— кричал Македон.

Кто-то из вскочивших мигом мужиков успел подставить ногу, Кешка больно упал, и в него сразу вцепилось несколько рук. Но он все равно дергался, пытался уку-ситься и кажется-таки укусил кого-то, и тогда ему больно закрутили руку назад, к самой лопатке, и так повели по перрону через всю станцию, к маленькой дощатой будке с надписью на двери «Милиция».

— Больно?— спросил Македон, когда их усадили рядышком на скамейку.

Кешка кивнул.

— А чего ж ты, дурак психованный, кинулся? Все одно поймали,— ругнулся Македон.

Кешка ничего не сказал. У него болело плечо; не столько от боли, сколько от обиды, что все так глупо кончилось, ему хотелось плакать. И этот отчаянно сдерживаемый плач трусил его худое тело мелкой тряской, отнимая все силы.

— Ну,— спросил милицейский сержант, усаживаясь за колченогий стол,— отгулялись, голопупенки?

Сержанту было лет пятьдесят, и лицо его было все в длинных подвижных морщинах, а усы — рыжие с сединой. Сердитые такие усы.

— А котелочка-то у них не было, товарищ начальник, не было. Ворованный он, котелочек,— продолжал услужливо суетиться и рассказывать дядька, у которого они стрельнули бычок до прихода военного поезда. Это он привел сержанта в зал и кричал, чтобы держали Кешку.

— Сам ты ворованный, жмот несчастный,— сказал ему Македон.

— Цыц!— стукнул рукой сержант.— У вас, гражданин, ничего не пропало у самого?— устало спросил он дядьку.

— У меня, товарищ начальник, не очень-то сибиришь, я вполглаза сплю. Но они тут всю ночь шастали. Их бы обыскать надо.

— Ладно. Раз у вас лично жалоб нет, то вы можете идти. А за помощь спасибо.

— А котелок,— поспешно напомнил дядька,— котелочек-то явно ворованный. Не было у них котелочка.

— Нам его рядовой Скобцев подарил, вот!— сказал Македон.— Хотите проверьте. Хлеб с тушенкой и котелок.

— Какой еще такой рядовой?— удивился сержант.

— А с поезда. Артиллерист.

Милиционер подумал.

— Поезд останавливался, верно,— подтвердил он наконец.— А вы, значит, не воруете, а побираетесь, так?

— Сам пусть побирается, рожа спекулянтская,— сказал Македон.

— От тоби то!— удивился сержант.— Ты без словес давай. За что же вам Скобцев-рядовой все отвалил, если вы не побирались?

— А за то, что вот про него стихи написаны,— гордо сообщил Македон.— Поэма целая.

— Про кого это?

— Про Кеху, кореша моего. «Сын артиллериста» называется. Вот он-то сын артиллериста и есть.

— От тоби то!— опять удивился сержант.— Постой! Ты мне про поэмы не вкручивай. А как, ты говоришь, твоего друга зовут-то?

— Кешка, а что?

— Это Иннокентий значит, да?

— А что?

— Так,— милиционер потянул на себя ящик стола и заглянул в лежавшую там бумажку.— Точно,— сказал он.— Точно, голопупенки! «Иннокентий, двенадцать лет. Рыженький. В голубой майке и серых штанах без лямок». Все верно. Что же это получается, гражданин Иннокентий?— строго обратился он к Кешке.— Мать тебя цельный день ищет, изревелась вся, а ты шляешься и тушенку с хлебом попрошайничаешь?

Кешка промолчал, чтобы не расплакаться.

— Эх, голопупенки вы, голопупенки,— горестно сказал милиционер,— одно слово — безотцовщина! Ну да ладно.

Он долго крутил телефонную ручку, долго кричал на какую-то девушку, снова крутил ручку. И за это время, пока никто на него больше не смотрел, Кешку отпустило немного, и даже злость прежняя вернулась к нему.

— Зря стараетесь,— сказал он милиционеру, когда тот положил наконец-то трубку.

— От тоби... почему?— удивился милиционер.

— Все равно я с мамкой жить не буду. Убегу!

— Ух ты, нух ты!— насмешливо вытянул лицо сержант.— Это с чего же ты строгий такой? Чего с мамкой-то враждуешь? С мамкой ссориться не дело, гражданин Иннокентий.

— А зачем она замуж выходит?— грозно спросил Кешка.

— Такое, значит, дело ее молодое да женское,— пояснил сержант,— и в замуже ее тебе ничего такого нет, чтоб сбегать.

— А папка? У меня папка офицер был. И пал как храбрый.

— Ну, папка...— милиционер подумал, морщина лоб.— Папка — понятное дело... если бы он был. Так ведь его нет, да и давно, поди?

— Ну и что?

— А то, брат, все то...— милиционер шумно вздохнул, выдувая из себя воздух в усы.— Нет его, папки-то твоего, больше. Нет! А жизнь — она есть, гражданин Иннокентий,— он встал из-за стола и повел рукой, показывая на стенки, оклеенные желтыми газетами, словно на этих-то стенах и была жизнь.— Жизнь, она не стоит. Идет себе потихоньку, налаживается, вот прокатку на заводе пустили, допустим...

— Что ж, раз прокатку пустили, так и замуж обязательно выходить?— обиделся Кешка на странную логику.

— Ну, не обязательно,— смутился милиционер,— но желательно. Желательно, гражданин Иннокентий, потому как молодой женщине одной маяться, да еще и с таким вот голопупенком — это тяжело. И так уж заведено, брат, что...

— Нет!— выкрикнул Кешка.— Не буду я! Не буду!— и вдруг заплакал, отвернувшись к стенке.

— От тоби то!— удовлетворенно сказал сержант, словно только этого от своего арестанта и добивался.— От... ты пореви, оно все ревом и выдет. Потому что обидно — оно, может, тебе и обидно, а все ж таки мамку мучить негоже.

А потом Кешка спал, свернувшись на лавке, укрытый сержантским кителем, и сквозь сон мерещились ему голоса и красное от слез, смеющееся лицо матери; и сквозь сон он чувствовал, что его куда-то несли, и Македон что-то просил у мамки, и она соглашалась, что ладно, мол, не скажет, хоть поступил он все-таки не так, как настоящий Кешкин друг.

Один только раз Кешка вполне проснулся и увидел себя в глубокой подрессоренной бричке. Она, как воробей, мелким скоком подскакивала на колдобинах станционной дороги.

И тотчас же ему снова показалось, что это не бричку трясет, а он сам бежит, высоко подпрыгивая, бежит за красным фонарем поезда, откуда ему улыбается и призывно машет рукой рядовой Скобцев.

Рассказ четвертый

ЗАЗИМОК

Дядь Сеня говорит так:

— Кто все может переменить, Кешка, так это одно только время.— Тут он вынимает изо рта свой наборный мундштук из лимонной латуни, черного эбонита и красноватого вишневого корня и долго не то смеется, не то кашляет. Наконец, со свистом отдышавшись, спрашивает:— Понял? Вот когда я мальцом был, то мне говорили: «Все в руке божьей», а я, брат, так скажу, что все в руке времени, все, брат, перемены, какие кому только ни желаются... Вот! Ты так себе и представляй: идет где-то потихонечку время и за ручку ведет перемены. Было, скажем, человеку кисло, а станет сладко. Понял?

Это-то Кешка понял. Чего тут не понять? Он даже может закрыть глаза и представить себе это самое время: оно ходит, как дядь Сеня, постукивая протезом: тик-так, тик-так, тик-так! Но идет ли оно по правде или только на месте для обмана тикает? Вот в чем Кешка сомневается. А в последние дни — все больше и больше.

Просыпается он теперь очень рано, садится на постели, подтянув ноги к подбородку, и, накинув на плечи одеяло, укутавшись, долго смотрит, как по черному стеклу окна медленно ползут черные капли.

Капли — это потому, что сегодня туман. Он оседает на стекле и превращается в воду. Но даже когда тумана нет, Кешке бывает видно немногим больше: чуть синее небо да черные тени голых деревьев у сарая. Когда тумана нет, обычно дует ветер и деревья тянут к бараку свои худые, дрожащие ветки, словно умоляют о помощи. Ветер посвистывает в них тоненько, жалобно.

Впрочем, насчет свиста — это Кешка только догадывается, потому что Барызин давно уже вставил двойные рамы, а через них — что услышишь?

Тишина. Мыши под полом поскребутся и перестанут. За окном ничего не видать. Ходики тикают, точно припадая на одну ногу: тик-так, тик-так! Но сколько ни сиди, ничего вокруг не меняется, и потому непонятно: идет время или обманывает только.

Нет, честное слово, со временем случилось что-то такое, чего Кешка понять не в силах. Летом, только глаза закроешь — чик! — и нет ночи! И Македон уже тебя будит, стоя на завалинке и перегнувшись через подоконник. А тебе вставать неохота. А день летом какой! И вспомнить-то сейчас странно. Тянется, тянется, даже надоест иной раз. А сколько всякого разного за этот день случиться успевают, так это — ужас!

А осенью время движется лениво, точно сонное. Не оттого ли и люди осенью так спать любят? Кешка засыпает позже всех, а когда он встает, то Валька и мамка все еще спят.

Впрочем, мамка, наверное, уже вставала. Она всегда встает, чтобы проводить Барызина на работу, а тот уходит рано — все «бурилку» свою пускает и никак пустить не может. Мамка, наверное, грела ему чай и ходила по кухне в одной рубашке и халате, а Барызин на нее смотрел... Почему вот ей не стыдно? Ведь он же — чужой. Потом Барызин завтракал, а она сидела напротив, подперев рукой щеку, и все говорила с ним, все говорила...

Мамка с ним теперь только и говорит. С Кешкой редко. Кешку она теперь больше ругает. А так — все про все у Барызина спрашивает, будто он такой умный, что куда там.

Она и Барызин спят теперь на кухне, а Кешка с Валькою в комнате, но ведь двери-то нет, одна ситцевая занавеска, и ему все равно слышать, как она жалуется по вечерам.

— Вот ты сам сегодня убедился, сам говорил с ним,— начинает она, когда все улягутся спать.— Ну что мне с ним делать? Что? Скажи.

— Да ничего, Нинок,— говорит Барызин успокаивающим голосом.— Надо мальчишке привыкнуть. И вообще ты преувеличиваешь. Разве это плохо: такой, понимаешь, человек еще, а уже свое «я» у него... Нет, мальчишка он гордый, и ему, понятное дело, тяжело, но все же мне твой Иннокентий нравится.

— А я за него боюсь, Леша, так боюсь! Весь в Сергеева — это надо же. Тот тоже был — как упрется, так хоть кол на голове теши. И этот на мою голову.

— Ну-ну... Это ведь хорошо, что сын на отца похож, это так и должно быть. На кого ему и походить-то еще?

Голос у Барызина хриплый, медленный. Чувствуется, что ему ужасно спать хочется, а мамка не унимается, опять заводит свое.

— Чего уж тут хорошего,— говорит она, вздыхая,— и от того счастья не видела, а от этого одно горе. Вот взять твоего Валю...

— Ну, так уж и горе...— не верит Барызин.— Растет, понимаешь, мужик. Упрямый, правда, так мужик и должен быть упрям. А я вот знаешь, Нинок, что думаю? Надо бы им яблок купить, что ли, пока недорогие,— все-таки растут они, витамины нужны.

— Не знаю даже, как и выкроить,— голос у матери на минуту делается по-деловому сухим и озабоченным.— Варезки им надо обоим. Я на толкучке видела подходящие. Такие, знаешь, двойные, из байки. И недорого, и тепло. А тебе бы надо носки теплые и свитер.

— Да мне не к спеху,— говорит Барызин,— мне — перетерпится. Я насчет холода терпелив. И вообще, Нинок, нам с тобой пора быть терпеливыми, не такие уж мы с тобой и молоденькие. Очень терпеливыми...

Голоса их становятся все глуше, фразы все отрывочней, и наконец Кешка, утомившись от долгого напряжения слуха, засыпает.

А проснувшись, он садится на своем топчане, накидывает на себя одеяло, смотрит в окно и думает. Вокруг ночь, ползут по стеклу черные капли оседающего тумана.

на, ходики тикают, точно припадая на одну ногу, и от щели в низу оконной рамы тянет сырým холодом.

Кешка потягивается и зябко вздрагивает. Хочется ему снова нырнуть под одеяло, в сонное тепло, но он себе этого не позволяет. Мало ли что холодно... Значит, так и положено, чтобы ему холодно было. А нежиться и проситься у кого-то, чтобы пожалели, он не будет! Это пусть Валька просится.

Сунув ноги в незашнурованные ботинки и накинув на себя первый попавшийся ватник, он ударом плеча вышибает забухшую от тумана наружную дверь и ныряет в холод и сырость.

Наперерез ему из тумана бросается Шарик. Опять он где-то шлялся ночью — весь мокрый, и язык висит из пасти жарким фитилем.

Вообще-то, Шарик пес барызинский, но своего нового хозяина он любит, похоже, больше, чем старых. Факт! Так и норовит в губы лизнуть.

— Отстань, дурак! — сердится Кешка и шлепает его по морде. Шарик притворно рычит, выражая свой восторг и желание поразмяться. Успокаивается он только тогда, когда Кешка на обратном пути останавливается на крыльце, чтобы как следует уж продрогнуть и вместе с холодом набраться раздражения и упрямства на целый день.

Серый холодный туман обступил крыльцо. Он кажется Кешке неподвижным, как вечность. Туман поглотил все. Даже фонарь, что стоит в конце переулка, видится только маленьким желтым пятном. И деревья — тоже как пятна. Только черные, безобразно большие, замысловатые. Ни пространства, ни звуков, ни запахов — один туман.

Половина седьмого. Летом — это давно бы уже день был.

— Это ты, Иннокентий? — спрашивает мать, разбуженная стуком двери. — Спал бы ты, пока не будят.

— Я сам встаю, — угрюмо сообщает Кешка, — у тебя теперь народу много, за всех не справишься.

— Управлюсь, не волнуйся, — досадливо говорит мать, — лучше бы ты немецкий повторил — вчера совсем мало читал.

— Больно нужен он мне, — говорит Кешка.

Ему совсем не хочется ждать, пока она управится. Он зажигает керосинку и ставит на нее чайник, долго, солидно моется под дребезжащим ручкой, потом достает из духовки чугунок с крупитчатой, еще с вечера хранящей душистое тепло картошкой, отсыпает немного в миску, крошит туда лук и все это скупо поливает постным. Он не жадный, ему лишнего не надо.

Ест он теперь солидно и обстоятельно, как Македон.

Мать тем временем уже сходила в комнату и разбудила Вальку. Седьмые классы занимаются во вторую смену, и в школу Вальке к двум, но все равно правильно: чего зря бока пролеживать? Только встанет Валька еще не скоро — долго будет ворочаться с боку на бок.

А мать, вернувшись в кухню, садится за стол и пристально смотрит, как ест ее двенадцатилетний сын, насколько старающийся стать взрослым.

— Кеш,— говорит она, покрывая своей мягкой теплой ладонью его руку.— Кеш, ну? Ну хватит, сына. Давай уж помиримся, что ли... Ты же у меня взрослый совсем, понимать должен, что одной матери трудно было.

Кожа на Кешкином конопатом лбу сбегается к переносице в упрямые бугорки, он еще ниже и сосредоточеннее наклоняется к миске.

— Мне — чо?— говорит он.— Я не ссорился,— и убирает руку.

А мать вздыхает и медленно встает, чтобы налить ему чай.

Сейчас, с утра, она чувствует себя виноватую перед ним. За Барызина, наверное, за то, что ей с ним хорошо, а Кешке плохо. Утром и Кешке жаль мать. В халатике своем, накинутом поверх ночной рубашки, она кажется ему куда более худой и старой, чем летом, когда стремительно бегала по поселку в легком, развевающимся ситцевом платье с короткими рукавчиками и когда бабки, глядя ей вслед, говорили, что женщина она справная, молодая еще, а всю войну без мужика — так сколько же ей терпеть, бедной... Жалели.

А Кешка — он уже знает, что такое «с мужиком» и «без мужика». Он вообще знает много таких вещей, из которых взрослые тщетно стараются сделать тайну. И когда он нечаянно задумывается об этом, его окатывает волна горячего, мучительного стыда, и он понимает, что никогда уже не сможет смотреть на мать так, как раньше, не сможет переломить своего брезгливого

неприятя ее нового существования; да и сама она, смутно ощущая его невысказанную гадливость, раздраженная его молчаливым упрямством, начнет к вечеру кричать, хвататься за голову и говорить, что он все делает только ей назло и что этот невозможный ребенок когда-нибудь ее погубит.

Все это Кешка знает заранее, и оттого даже чай кажется ему невкусным, хотя теперь к утреннему чаю мать дает грудочку настоящего сахару — белого, очень крепкого и сладкого-сладкого. Такой сахар не по карточкам, его получает Барызин по своему пайку СПБ. Кешка со вздохом отодвигает кружку и смотрит в окно. С тех пор как он проснулся, прошло никак не меньше получаса, а небо все так же чуть только сереет вверху, и плотный туман стоит, ничем не порушен. Времени нет. Оно где-то остановилось, запропастилось куда-то и больше никаких перемен не приводит. Ходики тикают, но это один обман. Даже в самом этом тиканье Кешке слышится что-то ехидное.

Вздохнув еще раз, он берет свою прошлогоднюю холщовую сумку с книгами и направляется к двери.

— Почему опять без портфеля идешь? — останавливает его мать.

— Потом, — обещает Кешка машинально, — в другой раз.

— Когда оно будет наконец — твое «потом»?

Портфель Барызин купил ему еще к первому сентября, но так ни разу и не взял его Кешка в руки. Мать каждый день ругается, а портфель лежит себе на этажерке — новенький, из рыжей парусины, с ременной ручкой и металлическими уголками. Если бы только купил его не Барызин, то не было бы для Кешки лучшего подарка! Но так... Уж не думает ли мать, что он станет за этот портфель любить Барызина? Нет уж, если Кешка решил кого-то не любить, то тут никаким портфелем дело не поправишь.

— Скоро, — как всегда, говорит Кешка и торопливо исчезает за дверью.

Бараки, заборы и деревья — все укутано серой ватой ночного тумана. Возле Македоновой калитки стоит огромный мужик и машет Кешке рукой. Это Македон. А огромным он кажется из-за тумана.

Молча пожав друг другу руки, они двигаются дальше. Впереди Македон, за ним — Кешка. Путь им неблизкий: мимо всего Третьего участка, через парк, мимо

Четвертого участка, по соцгороду... И все это молча, сквозь непроглядную мокреть, по скользкой от грязи тропинке.

Только в самом конце парка, когда воздух вместо синего уже приобрел какой-то молочный оттенок, Македон вдруг остановился, поднял руку к небу и спросил:

— Глянь-ка, Кеха!

Кешка послушно поднял голову: по блекнувшей синеве быстро, но спокойно тянулись плоские светло-серые тучи и ближе к горизонту, по-над деревьями сливались в сплошную серую мглу, а уж ей-то не было ни конца ни края...

— Ну и что?— спросил он.

Македон еще немного подумал.

— Снег будет,— предсказал он,— как пить дать.

— Ну и хотя бы! Надоело мне все это!

— Тебе хорошо,— позавидовал Македон,— тебе что... Тебе Барызин небось и валенки купит.

— Иди ты со своим Барызиным к...— грязно выругался Кешка.

Он так в последнее время ругался, что даже Македона переплюнул. И сейчас Македон не стал с ним состязаться в этом деле — продолжал спокойно, о чем говорил:

— А я в свои шкрябы вчера картонку подложил, так она уже и размокла. Слышь, как цыкают?— он покачался с носка на пятку, давая другу послушать, как хлюпает в его худых ботинках жидкая грязь.— Не... Мне снег ни к чему,— заключил он и вдруг совсем неожиданно засмеялся.— Слышь... А в Одессе — Гришка письмо прислал — тепло еще и с пристани бычков ловят, рыб таких с песьей мордой. А? Эх, Кеха, до чего жалко, что нас тогда на вокзале поймали. Вот жили бы!

— А про дембель свой пишет он?— поинтересовался Кешка.

— Пишет... Приказ уже есть, и все едут, а без него пока не могут. Он смену должен учить. Его задерживают.

Помолчали.

— Да-а, летом здорово было!— мечтательно протянул Кешка.

И снова помолчали, вспоминая каждый по-своему самостоятельную, веселую и добычливую летнюю жизнь.

— Ничего, перезимуем, — обнадежил наконец Македон, — не трусь. Эта зима, не в пример прошлой, веселее. Даже бабка моя уж на что жадная, — а и та картоху маслом поливает и еще хлеба дает. Она, правда, не прочь запас держать, да Женька не дает. «Для чего тогда я, говорит, на ваших огородах корячилась? Да с меня и так одни мослы за лето остались, а мужики — они не собаки, на мослы не кидаются. Вы, говорит, запасы держите, а мне всю жизнь в девках сидеть? Раз так — так я лучше одно ведро продам и полушалок себе куплю». Ну, бабка и обмякла.

— Какое ведро? — не понял Кешка.

— Да постного, — пояснил Македон.

— Масла? Ведро?

— Вот чудик! У нас же свое. Не помнишь, что ли, как семечки на маслобойку возили? Ты же с нами и ездил.

И правда! Как это Кешка мог забыть маслобойку — все эти ремни, бегущие сквозь потолок к таинственным маховикам, горячее пенящееся масло в миске с крошеным зеленым луком. От одного воспоминания об этом запахе у него дрожь прошла по скулам. А как таскали они с Македоном горячую еще макуху! А на дворе — сытые лошади, возы, запах сена, навоза, сивушный дух самогона — весело все, шумно, гармонь наяривает! И надо всем этим — ритмичное, ободряющее похлопывание, пощелкивание приводных ремней...

А Женька тогда все смеялась. Как же! Кешка и сейчас помнит, как лупила она по рукам механика и хохотала: «Ишь, лапальщик! Ты меня лучше в загс сведи, так я потом тебя и сама полапаю!» И механика он помнил, молодого, с черными тонкими усиками. Одна рука у него была затянута в черную кожаную перчатку и неподвижна, зато живая за двоих шустрила и успевала-таки прорывать Женькину оборону. И тогда он радостно ржал: «Да зачем тебе загс, когда у нас вон сеновал пустой!» Механик, похоже, был в восторге от Женьки и от ее упорства. А может, и не от Женьки, а просто так... Потому что кто ж его определит: отчего все они были тогда в таком восторге — все, кто приез-

жал на маслобойку? Отчего так заразительно и охотно хохотали и еще охотнее угощали друг друга желтоватой самогонкой и горячей макухой, в которой полно было остренькой перемолотой шелухи, больно залезавшей между зубами? Об этой шелухе так никто тогда и не сказал механику, хотя все знали, что она — по его вине, из-за плохо отрегулированной веялки. Но после голодной весны и лета была наконец урожайная осень, и людям хотелось веселья и благополучия, если они и ругались, то только беззлобно, спяну... А вообще-то были добрыми и веселыми.

Это были последние деньки бабьего лета — воскресенье в конце сентября. Недавно.

А теперь небось все эти веселые люди сидят в тесных домах, хмурятся на беспроглядную мокреть за окном и ругаются друг с другом из-за масла.

— Хоть бы зима уже скорее, — сказал Кешка тоскливо, — зимой весну ждать можно.

— Это точно, — согласился Македон и пообещал: — Как только лед пойдет, так уклеюку подъемками ловить будем. Мне дядь Сеня покажет, как подъемку сплесть. Эх, и уши мы с тобой поедим!

Медленно, лениво таяла, истончалась вокруг них ночная мгла, приоткрывая все новые и новые подробности окружающего мира — сначала беленые стены бараков, потом заборы, серые крыши с трубами и ленивыми утренними дымками... Воздух медленно наполнялся светом, который брался непонятно откуда, потому что небо с каждой минутой все плотнее застилала серая пелена.

За парком начинался Четвертый участок — небольшой, всего двенадцать бараков. Между этим участком и соцгородом стояла котельная, а от нее до школы было уже совсем рукой подать.

Котельная помещалась в приземистом каменном бараче с большими окнами, за которыми всегда была чернота. Иногда только, когда в темном чреве здания кто-то невидимый распахивал и шуровал топку, все окна заливал кровавый отблеск, и даже сквозь толстые стены было слышно, как злобно гыкало растревоженное пламя. А еще реже из черного провала двери выскакивал полуголый кочегар в армейских галифе и латаной маечке. Он проворно бежал по доскам, толкая впереди себя одноколесную тачку. Доски вели на огромную кучу жужелки — спекшихся от непомерного жара грудками

угольных отходов. Там тачка опрокидывалась, и вываленный шлак раскатывался по склону, шипя от соприкосновения с сыростью и источая удушливый серный запах.

У этой котельной Македон и Кешка всегда останавливались погреться. Жужелка остывала медленно, и если немного постоять на ней, то от ботинок начинал идти пар и по ногам к самому сердцу поднималась блаженная истома тепла.

Пока они тут стояли, ветерок, разгонявший туман, как-то незаметно утих, и большие серые мухи медленно-медленно пошли к земле. Они возникали из серой мглы где-то невысоко, почти над головой, и исчезали, даже не садясь на черную землю. Тотчас же в воздухе, неизвестно почему и откуда, запахло крепким яблоком, и Македон, шумно, с наслаждением втянув в себя этот запах, засмеялся довольный.

— Зимой пахнет! Ну, Кеха,— хлопнул он друга по плечу,— будем живы — перезимуем, а летом нам сам черт не брат, а Барызин твой так и вообще за мелочишку сойдет!

— Я и так его не больно праздную,— угрюмо заверил Кешка.— Да он и дома-то редко — все больше «бурилку» свою пускает. Вчера вот только... Смехота!— Кешка коротко хохотнул, вспоминая конфуз отчима.— Да! Подзывает он меня, значит. «Давай, говорит, Иннокентий, поговорим всерьез, как мужчина с женщиной. Ты, говорит, человек упрямый, и я тебя за это уважаю. Но раз уж мы с тобой живем под одной крышей, то надо бы нам подружиться... Как смотришь?»

— Ну, а ты?— подогнал Македон.

— А чо я? «Я, говорю, к вам под крышу не просился, это мамка в вас влюбилась, так вы с ней и дружите».

— Во даешь!— восхитился Македон.— А он? Дрался?

— Не. Он ничего. Мамка только, как он на кухню потом вышел, полотенцем огрела. «Осел, говорит, второй папочка на мою голову выискался!»

— Наплюй!— посоветовал Македон.— Вот меня бабка веревкой когда — это да! А полотенцем — чо?.. А портфель?— вдруг вспомнив, спросил он.— Ну тот, что на этажерке, с уголками такими еще... Все так и не дает таскать?

— Да дает,— досадливо возразил Кешка, дает он, а только я сам не хочу. И не буду! Больно он нужен мне, его портфель.

— Ну и дурак! С портфелем все лучше, чем с такой вот...— Македон похлопал по Кешкиной сумке — Конечно, офицерский если планшет, как у Леньки, так это еще важней, конечно.

— Да?— ядовито скривил губы Кешка — Может, мне за портфель его еще и папочкой называть, да?! Вот ему!— и он сунул под нос Македону старательно, до побеления в пальцах, выкрученную фигу.

— Себе возьми, псих несчастный,— обиделся Македон.

До войны в их школе пацанва успела отучиться только один год. Важная была школа — большая, четырехэтажная, с белыми колоннами у главного входа. Но во время войны ей здорово не повезло. В сорок первом ее немцы сожгли, сбросив зажигалки, а в сорок четвертом еще и наши добавили из тяжелого танка — выбивали из подвала пулеметчика.

Ремонтировали ее, понятное дело, наспех, и то крыло, куда били из танка, решили временно не трогать совсем. Так и стояло оно, зияя закопченными проломами, в которые видны были косо торчащие балки и ржавые батареи парового отопления, висящие на скрученных трубах.

В этом крыле обычно проходила та часть школьной жизни, о которой педагоги, да и вообще взрослые, не знали или делали вид, что не знают. Тут устраивались, например, драки на первенство класса, коридора и школы. В ту осень на драки была большая мода. Дрались по твердым правилам — до первой крови — в тесном кругу болельщиков. Драться ни Македон, ни Кешка особенно не любили; но были в этом разбитом крыле и иные, хорошие вещи. Тут всегда можно было найти партнеров для игры в «котел», в «чикалку», в «жесточку». И вообще можно было провести урок-другой гораздо интереснее, чем в классе.

— Ну как?— спросил Кешка об этом молчаливо подразумевавшемся выборе, когда они подходили уже к школе.

Но Македон на сей раз только грустно покачал головой.

— Гришка приедет,— пояснил он,— голову отвинтит, если двойки будут. Так и пишет: отвинчу и скажу, что так и было. А к концу четверти он приедет.

Кешка посочувствовал.

— Знаешь,— сказал он вдруг без всякой связи с предыдущим разговором,— еще вот и светло не совсем, а день кажется уже таким длинным — прям надоел! Отчего бы это, а?

— Оттого, что опаздываем,— поторопил Македон.

— Да ладно тебе,— досадливо проворчал Кешка,— у нас же немецкий первым.

Немка у них такой уж человек, что ни ее уроки, ни ее самое никто не воспринимает всерьез. Жалкий человек! Опоздав к другому учителю, они бы вежливо постучали и, сдернув шапки, смиренно попросили разрешения войти. У немки они, кинув небрежно «здрасте», идут прямо в конец класса и шумно усаживаются на свою предпоследнюю парту.

— Македонов,— говорит немка высоким хриплым голосом,— вы зря уселись, Македонов, я вам не разрешала. Встаньте, Македонов.

Ей-богу, она странная, эта немка. Хотя свои коленца они всегда выкидывают вдвоем, она упорно одного только Ваньку считает хулиганом. А Кешку не трогает. Но Кешка тоже встает — вместе так вместе...

— Почему вы опоздали, Македонов, разве вы не понимаете, что это неуважение к учителю?— Голос у немки явно простуженный, и одна щека еле заметно дергается.

— Чего?— недоуменно переспрашивает Македон.

Кешка вглядывается в ее морщинистое, старушечье лицо, и острая жалость вдруг сжимает его сердце. Широко открытые и постоянно слезящиеся глаза придают этому лицу такое выражение терпения, безнадежности и немой мольбы, которое раньше Кешка замечал только у старого пса Махорки, покорно и даже заискивающее сносящего издевательства мальчишек и взрослых всей округи.

— Мы это... у котельной ноги сушили на жу-желке,— поспешно и даже просительно говорит Кешка.

И немка, подняв брови, долго смотрит на Македо-

новы ботинки, на лужицы черной воды, натекшие из них, и шевелит морщинистыми губами, будто жует какие-то мысли.

— Извините меня, мальчики,— тихо говорит она,— садитесь,— и, отвернувшись, идет к доске.

— Ну ты и артист,— восхищенно шепчут сзади, толкая Кешку,— ну и артист!.. До чего Семеновну разжалобил, она даже извинилась. Надо же...

И бог весть почему, от этих слов так же внезапно, как жалость, в Кешке закипает злость. Разжалобил? Он? Больно нужно! Пошли они все со своей добротой к... Он торопливо отрывает от промокашки уголок и скатывает пулю «Тью-у!»— взвизгивает резинка, и комок промокашки летит через весь класс, чтобы опрокинуть чернильницу на учительском столе.

Но чернильница только вздрагивает. Удар слишком слаб, чтоб выковырнуть ее из деревянного углубления.

— Не-а,— говорит Македон,— далеко. А хоть и зашьешь ты ей журнал, так она все двойки все равно помнит.

Да господи! Ну при чем тут журнал? Ну при чем тут двойки? Ничего никто не понимает! Никто не хочет понять его. Никто! Раньше понимали, а теперь никто, нисколечко! Ни упрямства его, ни внезапной доброты, ни столь же внезапного раздражения... Может, у других все не так и даже ничего такого не бывает? Ну и пусть. Пусть! Они все сами по себе, а он сам по себе, и никто ни к кому никакого отношения не имеет... И хочется от этого заплакать, хотя он, конечно, не заплачет — еще чего не хватало.

Мел скрипит по доске. Потрескивает, разогреваясь, металлическая обшивка голландки, кто-то кашляет, кто-то просит линейку, чтобы «толечко поля провести». Длинный, длинный школьный день. Урок, перемена, урок, перемена...

На перемене выйдешь в коридор — там даже туманно как-то от всех этих бегущих, орущих, занятых собой людей, которым до тебя, как до лампочки.

В классе хоть в окно можно смотреть. За окном снег идет. Идет и тает, все время тает, а все-таки все заборы, крыши, переплеты окон, ветви деревьев — все это

уже обведено легкой белой каймой. Снег ужасно упрямым...

— Сергеев... Сергеев!— окликает его математичка Анна Максимовна.— О чем замечтался, Сергеев? Что тебе за окном надо? Ты примеры решил?

— Решил.

— Ну, иди тогда запиши на доске.

— Зачем?— спрашивает Кешка.

— Что — зачем? Что с тобой, Сергеев? Ты странный какой-то. Ты не заболел?

— Откуда я знаю?— зло говорит Кешка и уже на полпути к доске облегченно вздыхает, услышав звонок.

— Ну ладно. Можете идти на перемену. Странный ты мальчик, Сергеев.

Все не странные, а он странный. От этого, наверное, что он ни скажет, его никто и не понимает. Даже Македон, даже дядь Сеня. «Никаких таких у тебя особых несчастий нет,— говорит дядь Сеня.— Это вот и помни». Он помнит. Но отчего — скажите хоть кто-нибудь!— ему тогда живется на свете так неуютно и зябко, а?

Слава богу, осталась одна история. Такой, казалось, длинный предстоит день, а мелькнул — что был, что не был. Пора домой идти. А чего дома хорошего-то? Мамка опять начнет: когда упрямиться перестанешь, когда портфель будешь носить, когда человеком станешь?

Нет, пожалуй, лучше сделать уроки поскорей, пока мамка еще в своей библиотеке, и — айда с Македоном к дядь Сене! Если дядь Сеня сегодня не пьяный, конечно, что вполне может быть, так как вчера он продавал шкаф. А продав что-нибудь, он себе «позволяет».

Снова потрескивает печка, но теперь это оттого, что она остывает и сжимается, медленно отдавая тепло классу.

И мел снова скрипит по доске, и Македон сопит от усердия, списывая даты, потому что к Новому году придет Гришка, который вполне может за двойки отвернуть ему голову и сказать, что так и было. Грустно. И снег идет совсем не так, как на прошлом уроке. Снежинок теперь мало, и они все кружатся, кружатся в воздухе...

— Сергеев! Прирос ты к окну, что ли?

— Сергеев, Сергеев,— бурчит он, отворачиваясь,— как будто бы кроме Сергеева и людей нет больше.

Снег, который падал весь день и, казалось, будет падать вечно, неведомо когда прекратился.

Выйдя на школьное крыльцо, Кешка и Македон увидели над собой высокое, чуть сероватое, спокойное небо. Казалось, оно задумчиво отступало в вышину, чтобы посмотреть, что стало теперь с этой землей, которая утром еще была сырой, продрогшей от осенних дождей и сиротливо голой.

А землю было уже не узнать! Она лежала вся ласковая, притихшая, как будто ее гладили по головке. Только тропинки кое-где да еще жужелка у котельной были так же черны и голы, как и утром. На всем остальном лежал снег, и мягкий белый свет, исходивший от него, делал мир просторнее и чище... Но небу этого показалось мало, снова заскользили в воздухе неторопливые снежинки, и, опускаясь на веки, на нос, на протянутую вперед ладошку, они быстро таяли, оставляя после себя легкие, щекочущие пятнышки холода. Все встречные улыбались и широко, бодро размахивали руками, словно хотели сказать снегу, что ничего, мол, брат, давай! Давай, дело пойдет, хоть это и долгое дело — зима.

Деревья в парке были опушены снегом и казались легкими, точно они плыли в воздухе. Кешка с Македоном шли гуськом и, не сговариваясь, старались не ступать без нужды обочь узкой черной тропинки, чтобы не оставлять лишних пятен на молодом, нежном теле начинающейся зимы. А эта узкая, не запорошенная снегом полоска тянулась почему-то у самого края старой тропы, у самого края утоптанного бугорка. И ходьба тут получалась — как у ходиков. Короткое «тик» — нога проваливается с бугорка, и долгое «так» — вытаскиваешь ее наверх. Тик-так — совсем как ходики.

— Тик-так, — сказал Кешка вслух, — тик-так, — и засмеялся.

— Ты чего это? — догоняя друга, поинтересовался Македон.

— Мы как ходики ходим, правда? Тик-так! Тик-так! — Кешка снова засмеялся. — Как время, правда?

— Придумаешь тоже, — усомнился Македон. — Ходики на месте висят. А тикают они оттого, что там пружина маятник толкает. И чтобы она не раскрутилась — там собачка еще такая есть. Враз колесико закусывает. Мне дядь Сеня показывал. Здорово! Знаешь что? Айда к нему сегодня! Он сказал: если трубу найдем, он нам

с тобой санки загнет. Кататься будем... Тикэ дэ б нам оту трубу сцибрить?— Македон даже остановился и поскреб пятерней под шапкой.

Но Кешка не слушал его практических соображений. Ему дядь Сеня рассказывал про время совсем не то, что Македону. А уж дядь Сеня знает, кому что рассказывать.

— Тик-так,— сказал Кешка, прихрамывая уже нарочно, так как тропинка выровнялась,— тик-так! И пришла зима. Зима ведь, Ванька, а?

— Да ну,— сказал Македон,— какая же это зима, Кеха? Дневной снег и до ночи не живет. Это у кого хочешь спроси! Не-е, это еще не зима, это так только — зазимочек...

Рассказ пятый

БРАТУХАН

— А, рыжий?— сказал дядь Сеня, поворачиваясь к двери и разглядывая его.— Ну заходи, чего в дверях стоять? Заходи, зараз вечерять будем.

На улице чуть только смеркалось, а в дядь Сенином сарайчике было уже совсем темно, и только через дверной проем падала сюда узкая полоса сумеречного полусвета. В конце этой полосы стоял у верстака сам хозяин сарайчика и заправлял керосином большую одиннадцатилинейную лампу. Пахло сосновой стружкой, гретым столярным клеем и еще той особой, свежей сухостью, которой всегда пахнут столярные мастерские.

— Македона не было?— спросил Кешка.

— Не заглядал. Да ты проходи, проходи...

Кешка двинулся в обход смутно белешего посреди сарая вороха свежих стружек и мелкой деревянной обреси и чуть было не наступил на собаку. Та сердито зарычала и даже щелкнула на него зубами.

— Ишь ты,— удивился дядь Сеня этому рыку,— обнаглел до чего. Рычит, а? Что значит, дом у человека появился! Да ты проходи, не узнал, что ли?

— А кто это у вас?— спросил Кешка.

— Да Махорка, кому ж еще! Ишь, охламон, обнаглел... я тебя!— Дядь Сеня метнул какой-то щепкой, и собака, подхалимски взвизгнув, шмыгнула под верстак.

— Махорка?— недоверчиво переспросил Кешка.

Как-то не поверилось ему, чтобы этот несчастный, измызганный пес, так поражавший его недавно выражением бесконечного, заискивающего терпения и покорности в своих желтоватых, гноящихся глазах, мог на кого-то рычать. С чего бы? Ведь эта бездомная псина, казалось, даже рада бывала, когда поселковые мальчишки принимались ее мучить. Когда его ловили, чтобы привязать к хвосту гремящие консервные банки или горящую паклю, он только покорно падал на спину, поджимал к груди лапки и противно повизгивал, точно хотел сказать: «Делайте со мной что хотите, но позвольте пожить еще немножко».

И вот — на тебе! — рычит.

— Рычит... — удивленно протянул Кешка, заглядывая под верстак.

— Не говори, Кешка. Такой наглый стал, страсть! — согласился дядь Сеня. — Думает, раз я его тут кормлю, так это уже его место. Хозяин, мол. Вообще-то, кто его знает? Может, отожрется и будет еще сторожем, а? — дядь Сеня нагнулся и тоже заглянул под верстак. — Ну? Ну что хвостом стучишь-то? Говори сразу: будешь добрым псом? Ну? Ну что?.. Будешь, да? Ну, молодец, молодец... — дядь Сеня, кряхтя, разогнулся, потер поясницу. — Нет, брат ты мой, — сказал он, разочарованно цыкая языком, — нет... Не быть нашему Махорке сторожем, как его ни корми. Не быть! Исподличался слишком. Собака, она, брат, как девка — себя соблюдать должна. А этот паразит — ну, наглости он наберет. Это нехитро. Это — может. На своих рычать будет, а отваги такой, брат, собачьей и преданности ему уже не видать — исподличался.

Зажгли наконец лампу и подвесили ее над верстаком на крюк. Желтоватый трепещущий свет упал на кучу стружек, на развешанные инструменты, на свежеструганные доски, стоящие горкой в углу. В другом углу были сколочены невысокие нары и на них брошен черный овчинный полушубок. Тут дядь Сеня спал все лето, особо пьяненький если.

Вообще-то он был человеком совсем не таким уж бездомным. В орсовском общежитии у него была койка и тумбочка, но ходить туда было далеко, да и зачем? Общество взрослых, озабоченных жизнью людей он не любил, разговоры водил в основном с мальчишками, а пил хоть и круто, но в одиночку. В общем, был он, как говорили в поселке, «с поворотом». Зато уж мастер, ка-

ких поискать, и потому орсовское начальство делало вид, что не замечает ни его левой работы, ни незаконных ночевок в казенном помещении мастерской.

— Кинь-ка мне вон с полки кастрюльку и торбочку синюю,— попросил дядь Сеня гостя,— будем кулеш сочинять казацкий. А собаку, Кеша, как человека, испортить — плевое дело, а починить — ни один, брат, клей не берет. Эка закоптилась,— поморщился он, беря кастрюлю,— ну да хрен с ней!

— Давайте песочком потру у крана,— предложил Кешка с готовностью.

— Думаешь? Ну вали... Да постой,— остановил дядь Сеня Кешку у порога,— а Ванька-то придет, что ль?

— Не знаю,— пожал плечами Кешка,— обещал.

— Да, про него теперь знать трудно,— согласился дядь Сеня,— не по своей воле ходит. Ну, дуй!

Водоразборная колонка стояла на перекрестке, чуть ли не у самой середины, и дворы всех ближайших барачных просматривались отсюда отлично. Собственно поэтому Кешка с такой готовностью и побежал мыть кастрюлю. Конечно, Македон придет как только сумеет, уговор был железный. А все же разведать, что у него и как, было не вредно.

Легкие весенние сумерки уже опустились на поселок, сделав его как бы меньше, уютнее и тише. Последние солнечные лучи играли в оконных стеклах, на востоке проклюнулся тонкий молодой месяц, и было очень странно видеть его в светлом, почти дневном небе. Стояла середина мая, для этой поры было как-то необычно тепло, сухо, и большинство хозяек готовило ужин на летних печках, во дворах. Сизые дымки, столбами поднимавшиеся к небу, и вкусные запахи, и молодая, блестящая зелень акаций у заборов — все говорило о том, что уже лето, лето... Слава богу, лето!

Кешка, сидя на корточках, усердно драил кастрюльку мокрым песком и поглядывал то в сторону своего двора, то в сторону Македонова. В Кешкином было по-прежнему все тихо и безжизненно. Значит, мать опять задерживается у себя в библиотеке, а Валька где-то гуляет. Так что все в порядке. Чем позже они придут, тем лучше.

В Македоновом же дворе топилась летняя печка, и бабка суетилась возле нее. Окно в комнату было распахнуто, а что там за ним творилось — было не разглядеть. Наверное, Македон еще сидел за уроками. Сегодняшние задачи Кешка ему растолковал, и их он должен бы сделать по-быстрому, но братухан обычно дает ему и дополнительные, так что — кто знает?

Потом на Македоново крыльцо вышел сам Гришка. Постоял, похлопал себя прутиком по широким флотским брючинам, что-то коротко сказал бабке и уселся за врытый под окном в землю летний стол. Бабка тут же засуетилась еще сильнее, подала ему хлеб на досточке и потом — большую дымящуюся миску. «Во гад, — осудил Кешка, — в одиночку жрет, точно шах персидский».

Гришка Македонов был невысокого роста, очень крепок и широк. Дома и по поселку ходил он обычно в старых тельниках, которые плотно обтягивали бугристые мышцы рук и груди. И когда он шел по улице, облитый своей шикарной тельняшкой, когда шел, на свистывая или презрительно кривя губы, то за версту было видно, что человек этот очень собою доволен и искренне убежден, что все вокруг втайне ему завидуют, и если не подражают, то только потому, что «кишка тонка». Он словно бы не ходил, а показывал себя: вот он я — какой молодец!

Кешка, встречаясь с ним, видел его как-то не целиком, а одни только руки — чуть длинноватые для такого туловища руки, с тяжелыми, кирпичными от загара кистями и массивными запястьями, и думал, что к таким рукам очень бы подошел красный балахон палача, о котором он читал в одной книжке. От этих мыслей точно тяжелый холодный камень поворачивался в Кешкиной груди, надавливая на сердце, — так ненавидел он Ванькиного брата.

В поселке Гришку Македонова не любили многие, хотя никто не мог бы толком сказать за что. В родных местах он не был почти восемь лет, приехал недавно и никому особо насолить не успел. До войны же он был совсем еще пацаном, в сороковом связался с дурной компанией и угодил в колонию.

Оттуда осенью сорок первого Гришка попал прямо на фронт, потом — в госпиталь, но не раненый, а с обмороженными ногами. Из госпиталя его почему-то по-

слали не обратно в пехоту, а на Кавказ, в Черноморский флот, и там уже Гришка прослужил до самого конца войны и потом еще два года с лишним. Служил он, видимо, хорошо, дослужился до звания главстаршины и должности старшего боцмана охотника «Могучий», получил две медали... В общем, не хуже людей.

Хотя ранен Гришка так за всю войну ни разу и не был, он считал все-таки, что дурное свое прошлое смыл кровью и вышел на верную дорожку в жизни, за что, кстати говоря, ужасно себя уважал. Он вообще считал, что уважения заслуживают только те, кто живет «понимаючи», то есть стремится выйти в люди, любит порядок, почитает старших и еще, как он выражался, «имеет в себе правила». Всех же остальных он искренне презирал или стремился исправить.

Наверное, за это и не любили Гришку в поселке. Правильных здесь было и по углам не наскрести, а неправильных — хоть отбавляй.

У Кешки же для ненависти были еще и особые причины.

Приехал Гришка зимой, в начале февраля, и Кешка отлично помнит этот день, потому что назавтра Македон появился в школе в матросской тельняшке вместо рубахи, и брюки у него были подпоясаны широким ремнем с флотской бляхой. Только и разговору было на всех переменах, что об этих шикарных вещах, даже из соседних классов забегали посмотреть и потрогать. И каждому Македон рассказывал, что после школы брательник хочет послать его, Ваньку, в Ленинград, в Высшее военно-морское училище.

Внезапная слава друга льстила Кешке, тем более что косвенно ее отсвет как бы падал и на него. Не у всякого друг носит тельняшку и матросскую бляху на ремне. Но притом она его немного и злила, особенно тем, что поговорить с Македоном наедине не было теперь никакой возможности.

Только по дороге домой, да и то уже в парке, они остались одни.

— Ну,— сказал Кешка,— теперь у тебя житуха пойдет масляная. В офицеры готовиться будешь. Что значит — брат!

— Это-то верно,— сказал Македон с внезапной злостью,— родной брательник, никуда не денешься. А только лучше бы он, Кеха, не приезжал. Шел бы себе

в торговый флот деньги зашибать, как писал. Нет, принесли черти, как же!

Кешка даже остановился от неожиданности.

— Ты чего?— спросил он.— Чего это ты вдруг?

— Чо слышишь! Вот! Держи!— сунул он ему сумку с книгами и стал поспешно, с каким-то ожесточением стаскивать с себя пальто и куртку.— Держи! И это держи...— Он повернулся к нему спиной и дернул вверх свой шикарный тельник.— Бачишь?

— Бачу,— рассеянно протянул Кешка и даже пристынулся.

По всей Македоновой спине вперехлест шли узкие багровые рубцы.

— Кто это тебя?— спросил Кешка.

— Он, кто же... Специально линек привез, гад! Веревка такая.

— Так за что?— удивился Кешка.— Еще ведь...

— Спроси его! «Чтоб чувствовал, говорит, и бузу всякую враз бросал. Я, говорит, приехал, и я с тебя человека сделаю». Понял, гад какой!

— Дела!— протянул Кешка сочувственно.— А что же ты им,— руки у Кешки были заняты Македоновым барахлом, и он только неопределенно кивнул в сторону школы,— им говорил, что...

— А что ж, я им жалиться буду, что ли? Ну их! Пусть краше завидуют.

Завидовали Македону все равно недолго. Поговорили — и забыли. А жизнь у него пошла что ни день, то хуже. Влетало ему теперь за каждую тройку по математике, а выше тройки он и не прыгал. И за немецкий влетало. И за историю. Гришка его твердо знал, какие предметы надо учить, чтобы стать человеком. Историю и немецкий Македон, положим, действительно подтянул, но когда математичка вызывала теперь Македона, его еще у парты начинала бить мелкая дрожь, а у доски он говорил не своим голосом и чаще всего невпопад.

— Что же это с тобой делается, Македонов? Язык проглотил?— спрашивала Анна Максимовна и ставила в журнал очередную пару.

Перед майскими Гришка наведалься в школу и узнал, что годовая оценка по арифметике колеблется у его брата между двойкой и тройкой.

Что было потом, Иван даже Кешке не рассказывал, сказал только, что больше жить он так не станет и надо сбегать, а то замордуют. С тех пор — готовились. Су-

харей напасли почти торбочку, денег четыре рубля с лишним, сала... Всего этого было, конечно, мало, и никогда бы они не решились бежать сегодня, если бы не очередная пара. Сегодня Иван мог после школы соврать, что дневник на проверке, а завтра... В общем, надо было драпать. Кешке это было немножко грустно, потому что все вокруг уже давно зеленело и виноград его даже усики выпустил, начиналось лето, а летом — чем не жизнь? Но если другу надо, значит, надо. Он на все готов!

— Ну, видел Ваньку?— спросил дядь Сеня, когда Кешка вернулся в сарайчик.

— Не, братухан его сидит только. В одиночку жрет, точно шах персидский.

— Да-а,— протянул дядь Сеня, поджигая спичкой стружки и обрезки, напиханные в маленькую железную печку.— Тоже, доложу тебе фрухт — Гришка его. Порченный человек, вроде нашего Махорки, только в другую сторону.

— Ну да,— усомнился Кешка.— Махорку все обижали, поэтому он. А этого жлоба здорового обидишь, как же!

Щепки разгорелись. Дядь Сеня поставил на огонь кастрюльку, потом потянулся, прикрутил фитилек в лампе и задул ее.

— При печке посумерничаем,— предложил он,— на душе как-то тише, правда? Подвинь-ка, несподручно мне...

Кешка подвинул ему чурбачок, и дядь Сеня уселся прямо против огня, так что тень от его кудлатой головы заняла всю противоположную стенку сарая. Уселся он капитально, удобно вытянув вперед свою деревяшку. Долго выстукивал об нее мундштук, прочищал его проволочкой, крутил сигарку. Молчали.

— Нет, брат ты мой Кеша,— сказал он наконец, выпуская дым.— Гришка человек порченный. Так порченный, что и не говори даже. А что не били его, так ведь... Вот, скажем, я молотком по зубилу стучу. Так? Зубило, значит, бью. А погляди на молоток — и он весь расклепался. Вот тут в чем петрушка вся.

— Выходит, все равно: что тебя бьют, что ты бьешь?— сильно сомневаясь, спросил Кешка.

— Верно,— подтвердил дядь Сеня,— в смысле, брат, подлости — один хрен, что кулак, что морда.

— Ну уж...

— А чего нужкать?— спросил дядь Сеня.— Ты сам суди...— но тут он закашлялся, уронив сигарку, и долго пхекал, потирая под гимнастеркой грудь.

От боли ему, видать, даже говорить расхотелось, молча скрутил новую сигарку, сидел, затягиваясь едким самосадом и тихонько покашливая после каждой затяжки. Пламя в печке гудело ровно и сдержанно — в самый раз была тяга. Кешка и Македон с бабой Катей еще прошлым летом постарались.

— Подбрось еще пару щепок, вставить мне лень,— попросил дядь Сеня спустя несколько минут.— Печет у меня, понимаешь, в культе-то. Тут вот, у деревяшки, особенно к концу дня. Может, они мне сделали что не так, или культя растет... а? Может она расти? Как думаешь? А то к концу дня так спасу нет прямо.

— А вы к врачу ходите,— посоветовал Кешка.

— Надо бы, да не ходок я по врачам. Ну что, брат, пора и сало кидать. Вон на досточке нарезанное. Ага! Не поспеет наш Ванька к кулешу. Жалко. Кругом мне с Ванькой этим жалость, кругом. Человека, Кеша, как доску — гнуть можно, загнешь, дело нехитрое. А вот выпрямить — никак. Не та, брат, прямизна потом получается. И все же ты как хошь, а нехорошо это устроено на свете, не ладно.

Он выбил из мундштука бычок на пол и тут же затоптал его, наступив деревяшкой.

— Ходил я к энтому жлобу здоровому, ходил...— вспомнил он со вздохом.

— Я знаю,— напомнил Кешка, но дядь Сеня не обратил внимания.

— Поговорили мы с ним. Тьфу!— он зло сплюнул.— Поверишь ли, до сих пор во рту от такого разговора противно. По ляжкам себя прутиком похлопал: «Я тебя, говорит, как инвалида уважать должен». А? Понимаешь, Кеш? «Из этого, говорит, только уважения и бить не буду. А так — чтоб духу твоего не было! И Ваньку у тебя еще увижу — прибью, потому как ты пьяница и шалопут. Чему ты пацана научить можешь? И помни, говорит, нога у тебя одна. Поломаю, так на длинном языке своем далеко не ускачешь». Это он меня, значит, испугать хотел, а?

— Да гад он! — не выдержал Кешка. — С ним и говорить не надо было!

— Это верно. С такими толковать, что воду пахать. За зебры их брать, Кешка, надо, за зебры... Чтоб и не трепыхались! — Он сжал кулак, поднял его к лицу, посмотрел недоуменно и опустил. — Вот только как их возьмешь — в своем праве они. Куда ни кинь — в своем праве.

— Все равно гад, хоть и в своем праве, — твердо сказал Кешка. — А Ваньку ему не лупить боль... — он оборвал себя на полуслове, соображая, проговорился он или же еще нет, но дядь Сеня, похоже, и вовсе не заметил его слов.

— Или вот возьми такой факт, — продолжал он рассуждать. — Бугай этот Гришка — дай бог всякому! Куда ж он робить пошел? В прокатку? В кузнечный? Нет ведь — пристроился бригадиром. Бабы бульгой дорогу мостят, а он ходит и на них покрикивает. Руководит. Руками за титьки их водит. Те дуры и рады. И вот ты мне тут и объясни: с чего это в человеке такая подлость берется, а?

Между тем почти стемнело. Пшено разварилось, за густело, и кулеш в кастрюльке булькал теперь медленно и тяжело, словно кто-то там, на дне, вздыхал и ворочался. Даже сало уже было заброшено, а Македона все не было. Кешка то и дело подходил к двери и выглядывал. Было уже явно за девять, и каждую минуту могла прийти из библиотеки мать и хватиться, что нет на месте ни Кешки, ни его портфеля. Не хватало только, чтобы его начали искать.

— Да он, может, и не придет, — сказал дядь Сеня, когда Кешка очередной раз вернулся от двери. — Он ко мне теперь не часто заглядает.

— Да нет, придет, — в Кешкином голосе против его воли звучало все же сомнение.

— Аль сговаривались?

— Ага.

— Ну, тогда дело твердое! А что опаздывает, так не своя воля, — дядь Сеня зачерпнул кулеша ложкой, подул и внимательно пожевал его, прикрывая глаза. — Почти в самый раз, — сказал он, — еще постоит трошки и...

— Подложить?— Кешка кивнул на распахнутую дверцу печки. Пламени там уже не было, а только золотые искорки иногда пробегали по малиновому жару.

— Ни-ни... Кулеш, Кеша, на малом жару доходить должен, чтобы, понимаешь, взопреть... Тогда это — да!

Дядь Сеня снова уселся на свой чурбан, вытянув деревяшку вперед.

— Жалко, Ванька не идет. Скучаю я по нему,— он помолчал, словно собирался сказать что-то важное, но вместо этого закашлялся и опять долго пхекал, крутя головой, потирая под гимнастеркой грудь.— Я про что говорил?— спросил он, одыбавшись слегка.

— Про Ваньку.

— А... Дак понимаешь, рыжий, не то плохо, что не своя воля у человека. По своей воле человек вообще ходит редко, да... Мне, допустим, ушицы хочется, а рыбки нет — что делать? Кулеш вот варю. Да и все в жизни так. Или тебе задачу решать не хочется, а надо. Верно? Не своя воля, а надобность, поскольку жизнь такая, а не другая, верно?

— Верно,— удивленно протянул Кешка. С этим нельзя было не согласиться. Станным показалось другое: как это он никогда раньше не замечал, что так редко живет по своей воле?

— Вот я и говорю: не то плохо, что не по своей воле живешь, а то, что своей не понимаешь. Вот Женьку ихнюю возьми. Ведь Гришка — он поначалу и за нее принимался не хуже, чем за Ваньку: «С этим не гуляй, да того у ворот увижу — морду набью...» Но Женька ему отворот быстро дала. Враз и замолк, верно?

— Ей хорошо,— сказал Кешка, защищая друга,— она взрослая.

— Ну уж... Восемнадцать лет всего-то. Нет, рыжий ты мой, не во взрослости дело, а в том, чтоб себя человек чувствовал, чтоб пружина в нем такая была.

— Она раз — и в общежитие уйдет! И ничего ей Гришка не сделает. Она говорила...

— Говорила...— насмешливо откликнулся дядь Сеня.— Да не дадут ей места в общежитии. Хата есть. Это она просто так говорит, чтобы: вот, мол, я, а вот, мол, ты. Ясно? Такой границы и держись, ко мне не суйся. Гришка и держится. Не-е, гришки — они ведь люди трусливые. Чуть только себя не в своем праве почувствовал, так и сник. И в струнку вытянулся! Эх, пойти бы

и сказать: хватит, мол, мальчонку мордовать! Так, понимаешь, сказать...

— Вы же ходили,— напомнил Кешка, но дядь Сеня только рукой махнул.

— Разве то ходьба — один срам. Человек я, понятное дело, пьющий, зашибающий, верно... А тут надо бы не так...— он помолчал.— Ну, да ладно. Давай краше кулеш исты.

Кулеш почему-то пахивал слегка керосином, но был ужасно вкусным. Особенно если сало попадалось. Печка загасла, лампу больше не зажигали, ели не спеша, поглядывая на голубеющий квадрат двери.

Македона не было.

— Стой!— вдруг сказал дядь Сеня.— Стой, не те ложки дал.— Он потянулся к верстаку и вытащил из ящика две деревянные, смутно белевшие во тьме.— На! Ты вот этой попробуй.

Кешка попробовал. Деревянная ложка была легкой и прохладной.

— Ну как — вкусней?— спросил дядь Сеня.

— Ага,— удивленно ответил Кешка и понюхал ложек черенок,— она пахнет чем-то, а чем — не разберу.

— А... Это, брат, кедр. Всем деревьям дерево и еще сверх немножко. Случайно чурбачок попался среди дров. Он в Сибири растет, далеко, а к нам заехал как-то. Режется, как масло: хочь так, хочь этак, хочь наискось. Понял? Ни жилки в нем, ни сучка. А возьми березу или клен... Еще ничего, когда ровные, а то бывает, жилы у них скручены, спутаны. На ровные доски и то не разрежешь. Это, Кешка, как с человеком: если у него жилы вот так натянуты, то другого не сделаешь из него, хоть ты трижды Гришка. Сломать можно, а сделать — ни-ни.

Они помолчали.

— Вот,— вдруг строго сказал дядь Сеня,— вырастешь, так гляди: никогда из людей человека не делай! «Я из тебя, мол, человека сделаю...» Зачем? И так ведь не скотина? Пусть сам растет. А то начнешь его поперек жил рубить, а он — раз и треснул наискось. Понял?

— Понял,— серьезно сказал Кешка,— не буду.

И тут раздался наконец свист.

Македон стоял за сарайчиком, в кустах, как и договорились. Только руки у него были пустыми.

— Что ж сухари не взял?— спросил Кешка торопливо.

— Да никак, понимаешь...— виновато замялся Македон.— Все время старая возле кладовки крутилась.

— А соль взял?

— Взял. Вот,— он протянул маленький узелочек с солью.

— Ну, спички у меня есть,— сказал Кешка,— двинули.

— Постой, Кеха.

— Чего стоять-то? Пока хватятся?

— Чо скажу,— Македон стыдливо отвернулся и пробормотал куда-то в стенку сарая:— Не дрался он сегодня, понимаешь? И завтра, сказал, не будет.

— Добрый стал?— спросил Кешка подозрительно.

— Не, он у Анмаксимовны был — она просила. Он и говорит сѣдни: бить не буду, но берись за ум, без математики все равно человеком не станешь, будет тебя жизнь мытарить еще хуже, чем я. Даже объяснял сегодня задачку, только я не понял,— торопливо пояснил Македон.— Такая задачка — про велосипедистов. Знаешь? Там...

— Ладно,— сказал Кешка,— по дороге расскажешь.

— Да постой,— почти жалобно сказал Македон,— постой. Может, не будем, а?

— Чо?

— Сбегать. Попробую я. Возьмусь, а? Днями сидеть буду! Честное слово! Может, и вправду...

— А если все равно пара?— спросил Кешка, почему-то сбиваясь на свистящий шепот.— И... договаривались же мы, чего же взад пятками?

— А куда мы денемся с одной пятеркой денег и без сухарей даже?— таким же свистящим шепотом ответил Македон.— Поймают опять, как и тем годом.

— Да есть у меня деньги, есть!— досадливо сказал Кешка. Весь день он готовился неожиданно обрадовать друга этим известием, а вон оно как теперь выходило.— Вот! Семьдесят рублей.— Он торопливо сунул руку в карман и, выхватив оттуда пачку зеленых и желтых бумажек, протянул ее Македону, как бы предлагая ему самому пересчитать и убедиться в значительности суммы, но Македон и не притронулся к ним.

— Ну и что? Все равно ненадолго ведь. Я узнавал: без паспортов никуда не возьмут, даже в колхоз. Вер-

нут через детприемник и все, кранты!— пояснил он и, громко сглотнув слюну, добавил:— А тогда он точно меня убьет.

Вид у Македона был жалкий.

— Права не имеет!— заверил Кешка.

— Так и спрашивать будет твоих прав, как же.

— Да и не поймают нас! Точно говорю! Что мы, лето по огородам не прохарчимся, что ли?

Македон молчал, сунув руки в карманы и полуотвернувшись.

— Ну, пошли...— сказал Кешка.— Мне ведь теперь домой никак.

— Не, не пойду,— сказал Македон с неожиданной твердостью.— Глупость это одна — бегать. Все равно поймают. Да и что он мне — зла, что ли, желает? У офицеров зарплата знаешь какая?! И форма, и кортик, а? Чем плохо? Да и не от бабки сбегает. Та покричит, подерется и отойдет, а этот...

Он замолк, прислушиваясь к голосам, долетавшим сюда с улицы. Его звали. «Ива-ан!»— нараспев кричала бабка, и Гришка спокойно, но с какой-то неясной угрозой высказывал свою догадку: «Видать, к рыжему сбежал, салага! И шо за человек только!» В теплой зеленоватой тьме молодой ночи все слышалось отчетливо, будто говорили рядом, а не за двумя бараками.

— Надо идти,— сказал Македон, передергивая плечами, как от холода.

— Подожди, а как же деньги?

— Какие деньги?

— Да эти. Семьдесят рублей...— Кешка снова выхватил пачку денег.

— Ну, вернешь как-нибудь незаметно, подумаешь!

— Да не могу я! Как? Я же...

Голоса за бараками становились громче. «Стой-ка, бабань, я сам его покличу,— сказал Гришка и заорал во всю глотку:— Иван! Марш домой! Придет, собачий сын»,— добавил он тихо. «Придет, как же...»— усомнилась бабка.

— Ну, я пойду,— сказал Македон.

Щека у Кешки дернулась, и сами собой сжались кулаки.

— Иди. Иди!— тяжело выдохнул он.— Иди! Целуйся! Ползай!

— Ты.. — Македон даже отступил от него на шаг.— Чего кричишь-то? Услышит Гришка — так мне влетит, не тебе.

Но злости у Кешки уже не было.

— Не кричу я,— сказал он устало,— иди, иди...

— Будь здоров!

— Буду!

Македон бесшумно скользнул вдоль сарайки и, только выскочив на улицу, закричал: «Иду-у! Тут я!» «То-то же»,— сказал Гришкин голос удовлетворенно.

Кешка постоял еще немного и двинулся задами на край поселка. Ему-то дороги домой не было.

Пройдя вокруг Кривенчихинового огорода и задами мимо своего барака, Кешка свернул к перекрестку, где стояла водоразборная колонка. Пить ему хотелось ужасно, да и все равно не миновать было этого перекрестка — хоть в степь иди, хоть на станцию, а все в эту сторону...

Трещали под заборами цикады, и треск этот странно сливался с мерцающим лунным светом в одно ощущение обманности и ненадежности дороги. Все вроде бы было видно: заборы, камни, канавки, но в то же время все было не таким, как днем, и темное пятно, издали принятое за канаву, вблизи могло оказаться кустом или тенью от столба. Далеко, на противоположном краю поселка, пели два женских голоса.

Возле водоклонки стояла густая акация, и от нее тоже падала тень. Когда Кешка подошел поближе, в тени этой что-то зашевелилось, какая-то фигура.

— Кеш? Ты, что ли?— окликнула его фигура дядь Сениным голосом.

Кешка промолчал.

— Да подойди ты, помоги культияпому,— сказал дядь Сеня.— Застрял, черт! У-у, з-зараза... твою мать,— выругался он.

Кешка подошел. Возле колонки свалены были булыжники, которыми собирались мостить сток, чтобы грязь на улице не разводилась. Дядь Сеня, верно, оступился, и круглую его деревяшку зажало между камнями.

— Дрын возьми у забора,— посоветовал дядь Сеня.

Кешка сбегал за дрыном, просунул его в щель и чуть подвинул тяжелую булыгу. Дядь Сеня оперся на его

плечо и вытащил протез. Постоял, сильно наваливаясь на Кешку, крепко держа его за плечо. Отдышался.

— До дому меня проводи,— попросил,— так надергался, что страсть до чего разболелась культишка треклятая.

Кешка молчал, не двигаясь с места, и дядь Сеня, точно догадавшись о чем-то, добавил:

— Ничо! Да и нет никого уже. Все спать лягают.

На улице и во дворах действительно никого почти и не было. Только светились в бараках окна да кое-где сумерничали, сидя на крылечке. Дошли до поворота к сарайчику, и тут дядь Сеня, нагнувшись к самому Кешкиному лицу, вдруг спросил:

— Быстро и без дураков! Откуда семьдесят рублей взял?

— Портфель продал,— так же быстро и почти мимовольно прошептал Кешка, не успев сообразить даже, откуда дядь Сеня может знать про семьдесят рублей и нужно ли ему сознаваться.

— Тот самый?— спросил дядь Сеня, выпрямляясь.

— Ага. Я сегодня его взял, мамка даже обрадовалась, а я на толкучку и...— Кешка горестно хлюпнул носом.— Сколько дали.

— Ничего,— сказал дядь Сеня задумчиво и, отпустив Кешку, поскреб всей пятерней небритый подбородок,— ничего... Не на дурное дело брал. Товарища выручить хотел. Верно?

Кешка молчал. Плечи его дрожали. Дядь Сеня снова положил на них свою руку и потрепал слегка:

— Вот я и говорю: брал на доброе дело, а что не пригодились, то не твоя вина.

Помолчали. Издалека, от самого Семенихинского ручья донеслось кваканье лягушек. Лягушки орали радостно и настойчиво. Им что! Было бы тепло, да светила бы луна, да мошек побольше. Им столько не нужно, как человеку. Ни честности им не нужно, ни верности, ни дружбы — ничего! Хорошо живется занудам!

— Ну, я пойду?— спросил Кешка и сделал попытку освободиться от дядь Сениной руки. Но тот словно не понял его.

— Погодь!— сказал он.— Зараз вместе пойдем. Отдохнет нога чуток только — и двинем. Раз про себя знаешь, что на доброе дело брал, значит, бояться нечего, так и скажешь: на доброе дело, мол, брал, но уже не надо... Я Барызина знаю малость: мужик понимающий.

У Кешки дома все сидели за кухонным столом и пили чай.

— Валя,— сказал дядь Сеня,— подь погуляй на минутку, а? У меня дело сугубо секретное.

Валька фыркнул, дернул плечом и не спеша направился к двери. Мамка и Барызин сидели молча, широко и недоуменно открыв на них глаза.

— Ну,— сказал дядь Сеня и слегка подтолкнул его.

Кешка сделал два шага к столу и выложил на него пачку желтых и зеленых бумажек.

— Вот,— сказал он,— это я портфель продал. На доброе дело брал, но уже не нужно. Уже все,— голос был не его, а чей-то чужой, надтреснутый.

— Как же...— начала мать, но Барызин положил на ее руку свою огромную ладонь и сжал слегка, и она сказала совсем не то, видимо, что собиралась:— Как же это мы Семена Алексеевича не приглашаем,— сказала она.— Садитесь, вот...— и, встав, смахнула с табуретки невидимые крошки.

— Чаю ежели нальете, то и сяду,— сказал дядь Сеня, улыбаясь очень довольным,— до чаю я пьяница знатный, хуже, чем до водки.

— Нальем, нальем,— сказала мамка и поспешно засуетилась.

— Ну, а вы все прилавки ОРСу сочиняете?— спросил Барызин.

Все говорили не своими голосами.

Кешка постоял минуту у стола и тихо поплелся в комнату. Лег, не раздеваясь, на кровать и укрыл голову подушкой. Слез не было. И мыслей не было. И слушать никого не хотелось. В груди было пусто и в голове тоже. Вокруг Кешки во всем мире была только одна огромная зияющая пустота, похожая на черную дыру. Хотелось сунуть туда голову и захлебнуться этой пустотой навсегда.

— Чай для русского человека — первое дело,— говорил на кухне дядь Сеня,— а вот заваривать мы его не умеем. У нас в роте азербайджанец был, Али его звали, вот тот чай заваривал — это да. И не то что там какой-нибудь, а наш же, плохонький...

Голос его звучал весело и беззаботно, словно все было в порядке.

Но Кешка чувствовал, что и разговоры о чае — это тоже пустота. Черная дыра, за которой ничего нет. Даже утонуть в ней было нельзя.

И где-то в бесконечном пространстве этой пустоты сидел братухан и в одиночестве, важно, как шах персидский, хлебал свой флотский борщ. Между ним и Кешкой была пустота. Больше ничего. Но страха не было. И душно было Кешке не от страха, а от ненависти и еще — от огромной черной пустоты, которую братухан все наваливал и наваливал на него.

...Он проснулся и, поворачиваясь на другой бок, заметил, что раздет и укрыт тяжелым ватным одеялом. Наверное, с вечера его трясло, и мать решила, что он простыл. Все вокруг тоже давно уже спали.

Рассказ шестой
УТРО ПОСЛЕ КОШМАРА

Обычно Кешка встает не поздно, но, когда он встает, по полу уже, от самого топчана и до комода, тянется косою солнечный квадрат. Некрашенные доски кажутся тогда желтее, суше, и словно бы синеватая пыльца или дымок какой чуть клубятся над ними. Это значит, что опять будет жара, сухмень, задуха, и только под самый вечер, быть может, ударит короткая гроза — облегчит душу. Да Кешке-то что в этом за печаль? Он рывком выпрастывает ноги из спутавшейся простыни, вскакивает и осторожно, на носочках, балансируя руками, проходит по самой кромке солнечного квадрата. Все время ступает по тени, но тень разная. По левой стороне квадрата, от топчана до комода, ногам тепло, а по правой чуть холодно и даже вроде бы сыро. И когда переходишь на холодное, сон сразу пропадает, хочется куда-то побежать, подпрыгнуть. И обычно...

Впрочем, что ж говорить об обычном, если в этот день все было не так? Глаза Кешкины открылись, когда за окном не совсем еще ободнилось и только в середине потолка, у лампочки, бродили мутные голубые тени, а к углам все еще было синё.

Он увидел только потолок, так как лежал на спине, и сразу же со стыдом и ужасом вспомнил, что и не мог бы проснуться иначе, так как вчера был связан. По рукам и ногам. Двумя полотенцами и старой узластой веревкой.

А вспомнив, он осторожно, словно испытывая степень своей свободы, пошевелился. Нет, ничего, никаких полотенец! Он свободен, раздет и спит в одних трусах,

как всегда. Грудь его было поднялась и опустилась в беззвучном облегчительном вздохе, и тут же четко, ясно, будто звучал именно сейчас, вспомнился Македонов голос:

— ...с места мне не сойти, — божился он на кухне. — Туда и собирались, по щавель. Мы такую полянку с ним надыбали — хоть косою его, а бабка щавель этот страсть вкусно варит. Вот! А только я прихожу...

— Ну хорошо, — сказал Барызин, и табуретка под ним жалобно пискнула. — Хорошо. Ты, Иван, иди... Он пока спит — пусть спит. Сном все проходит. Завтра уж! — Половицы проскрипели под ним, и узкая полоска света, падавшая из-за неплотно придвинутой дверной занавески, исчезла. Остался только маленький треугольник у самого комода.

— Господи, — сказал мамкин голос, — у меня это в голове не уместается.

— Ты, Нинок, зря так. Ничего страшного не произошло. Подрались мальчишки — что за трагедия? Родные и похлеще дерутся.

И снова тяжело скрипнула половица, и треугольник света, лежавший у комода, быстро вытянулся до самой двери.

— Хорошенькое «подрались», — сказала мамка, — с ножом...

— Ну-ну, — успокоительно сказал Барызин.

Кешка его хорошо видел. Ситцевая занавеска просвечивала, и темный барызинский силуэт появлялся на ней и исчезал, словно в кино.

Из сна это вспомнилось или на самом деле было? И когда? Вчера? И при чем тут нож?

Кешка даже дыхание затаил, чтоб ничего не спугнуть, подождал — дальше в памяти все было пусто, сумеречно и тихо, как за окном.

И люди и собаки в поселке еще мирно спали, и даже ветер не шурудил листья — тихо. Только где-то далеко нечто тяжелое, железное лопалось иногда со страшным стоном и, занывая, срывалось в бездну. Это был звук всегдашний, заводской, Кешке теперь казалось, что в нем есть какая-то грозная тайна... Потом через ближний перекресток простучала телега; Шарик, зашуршав подстилкой из кукурузных листьев, вылез из будки, лениво брехнул и тут же с подвывом и судорогой зевнул, прищелкнув зубами.

«Шарик молодец и больше всех меня любит»,— ни с того ни с сего подумал Кешка, а за этой необязательной мыслью шевельнулось что-то еще, уже неприятное, но ни додумать этого, ни вспомнить Кешка не успел — вошел Барызин.

Странно, все время прислушиваясь и различая малейшие шорохи во дворе, Кешка не уследил, как он встал, как оделся и вошел в комнату.

Тяжелая прохладная барызинская рука вдруг опустилась на лоб, и Кешка тут же, рывком, как бы только сейчас очнувшись от чего-то, вскочил с постели.

— Не спишь?— шепотом спросил Барызин.

— Нет,— еще тише ответил Кешка, и сердце его глухо тукнуло странной смесью страха и облегчения. Отчего-то он твердо знал, что должен быть наказан и что наказание его должно быть тяжким, даже унижительным, но справедливым, и, стоя перед Барызиным, покорно опустив руки, он ждал этого наказания. А Барызин мял рукой свой подбородок, видимо не зная толком, с чего бы начать.

— Ну, раз не спишь, то позавтракаем и давай-ка проводи меня немного,— сказал он наконец и тотчас же вышел, стараясь полегче ступать на стонущие под ним половицы.

На кухне, приложив палец к губам, еще попросил:

— Только тихо. Мать под утро уснула, понял?

Мамка спала на краю кровати, свесив из-под простыни руку. На переносице ее розовел тоненький шрам, надавленный очками, а щека все время дергалась, точно ей снилась назойливая муха.

На столе стояла теплая картошка, переброшенная маслом и зеленым луком, и малосольные огурцы в глиняной плошке. Кешка сел, Барызин молча подвинул ему ложку.

Машинально отломив и сунув в рот кусок картохи, Кешка принялся осторожно разминать ее языком и зубами, прислушиваясь, как под ложечкой у него мелко, противно дрожит какой-то комок. Потом он поднес ко рту руку с огурцом, увидел на ногте большого пальца черную корочку подсохшей крови, и тотчас же дрожащий комок подпрыгнул, рванулся в горло, в рот, и Кешка, зажав его ладонью, пулей сиганул на крыльцо.

Его стошнило. Отплевываясь, потирая рукой то место, где мучительно дергался желудок, он обессилен-

но опустился на сырые доски крыльца и тут только сообразил, что кровь на пальце — его собственная. Он порезал руку, разбивая стекло. Вот он — подсохший шрам.

И сразу вчерашний день со всем ослепительным солнечным блеском, жарой и кошмаром событий рванулся из глубины его замученной памяти и закрутился перед ним мешаниной отдельных сцен, выкриков, гримас. Особенно ярко — точно это и было самое главное! — вспомнилась белесая дорожная пыль на обвявших виноградных листьях, дрожание синеватых теней на беленой стене и этот, вдруг пыхнувший из сарайной тьмы колючий солнечный сверк ножа.

А начинался день как раз неплохо. Даже здорово начинался. Они с Македоном купались в ручье, и был смех, солнце, особая телесная легкость от долгого летнего купания, разговоры. К обеду побежали по домам, чтобы взять кошелки и отправиться в плавни за щавелем, и им даже за перевоз не надо было платить, так как Лаптевка обмелела от бездождья и Македон знал брод. Думалось, что и до конца дня будет только эта легкость и радость в груди, и хотелось ее еще и еще...

За нею и пошел к винограднику.

И даже не сразу поверил тому, что холодом ярости и бессилия шибануло ему в голову, едва он опустился на корточки возле лоз и раздвинул вялые, теплые виноградные листья. Нет, не сразу! Он для чего-то шарил по другим лозам, — точно не знал, где она росла, его кисть! — зло отпихивал тыкавшегося в колени Шарика и с ужасом чувствовал, как все тяжелее и невыносимее толчется в висках кровь... Кисти не было!

Виноград родил впервые. На четырех лозах было всего две грозди. Меньшую они с Македоном давно расклевали, пробуя, не созрела ли, но вторую Кешка берег — она была огромной, тяжелой, со слипшимися полупрозрачными ягодами, в них медленно таяла, рассасывалась недозрелая муть, высвечивались темноватые зернышки. Он ждал, когда эта муть растает совсем. Тогда он срезал бы кисть и принес ее — вот вам! Вы мне не верили, смеялись, хотели выкопать лозы — вот вам!

Но кисти не было. Кешка нашел только маленькую ранку на лозине. Кисть не срезали, а сорвали. Ворovski... Подло!

Он выпрямился. Синеватые тени на беленой барачной стене качнулись, подмигивая, и в затылке его что-то хрупнуло — сдвинулось, заломило внезапной догадкой.

Ну, а дальше все замелькало как в бреду — резко, стремительно и бессвязно.

Кисть... Не кисть, а ее обглоданный мокрый скелет лежал на алюминиевой тарелке. Валька полусидел на тахте скрестив ноги, с книжкой в руках и этой тарелкой на коленках. Когда Кешка вошел, он швырнул в рот несколько отщипнутых ягод и скорчил недовольную рожу: кислятина, дескать!

...И звон этой тарелки, и раздавленная на Валькином лбу ягода, подтекающая зеленоватым соком, и — ужас, стыд полного отчаяния и бессилия, когда Валька легко, будто балуясь, заломил ему руку, вышвырнул за порог и потом с гаденьким смешком советовал через запертую дверь: «Давай-давай! Головой постучи — умней станешь!»

А дальше — и вовсе кошмар, бред, дергающееся солнце в пустом небе и душная сарайная тьма — забиться туда, исчезнуть! — и этот солнечный сверк на садовом кривом ноже, узенький луч спасения, справедливости и мести. Шершавая рукоятка, от которой как ток прошла к сердцу леденящая решимость: «Убью!» И — разбитая кулаком шибка, распахнутое окно, раздирающий горло крик и позеленевшее, перекошенное внезапным ужасом Валькино лицо...

Вот тут только, перед этим лицом, каким-то боковым, опережающим события зрением Кешка вдруг увидел все: и как войдет нож, и как Валька дернется и хлынет кровь — и холодный пот ужаса перед самим собой прошиб его от головы до пяток.

Он слышал еще, как стукнул выпавший из руки нож, и видел, как Валька, поспешно рванувшись, наступил на него ногой. Страх в Валькиных глазах уже не было — одно только злорадство. Это Кешку задело мало. Все остальное он и совсем почти не помнит — только боль, только лай и потом злобный скулеж почему-то оказавшегося в комнате Шарика...

Мозг Кешкин вырубился от перегрузки, как вырубался иногда поселковый трансформатор.

Он очнулся только на минуту уже при закатном солнце и увидел себя связанным, увидел засохшую кровь на своей руке и решил, что все то ужасное, показанное ему опережающим зрением, все-таки случи-

лось. И он до боли сжал веки, желая одного: как можно скорее провалиться в темное небытие и чтобы никогда не наступало утро.

Утро все-таки наступило.

Вошел Барызин с ковшиком воды.

— Вырвало? Это к лучшему. Давай прополощи рот и умойся!

Потом, сунув Кешке в руку опустевший ковшик, сказал:

— Поклади там и пошли. Вернешься — тогда поешь.

Когда они вошли в парк, у них из-под самых ног снялась и, сухо профырчав крыльями, взметнулась на деревья небольшая воробьиная стая. Солнце уже встало, и не так уж было холодно, а Кешкина кожа под рубашкой вся стянулась густыми острыми пупырышками и зуб колотился о зуб.

Барызин шел будто бы не спеша, почти не взмахивая руками, угрюмо склонив к земле голову, но Кешка и бегом еле за ним поспевал. Ему казалось, что отчим нарочно шагает так, чтобы его унизить. Это еще было ничего. Кешка и на худшее был готов.

Только у самого выхода из парка Барызин попридержал шаг.

— Знаешь, — спросил он, — все же никак не могу понять: с чего ты такой крученный?

Кешка молчал, насупясь.

— Ломаный, — уточнил Барызин. — Вот вижу ведь: сам от вчерашнего не в себе, вижу... Но — зачем надделал? И окно, и нож этот дурацкий! А... — он досадливо махнул рукой и двинулся дальше.

— А он чего? — шмыгнув носом, спросил Кешка, мимовольно припуская бегом.

— Он? Он обыкновенный поросенок, — не снижая ходу, пояснил Барызин. — В вашем возрасте даже естественно. Уверен, понимаешь, что весь виноград для того и растет, чтобы его Валька Барызин слопал. Нехорошо, так хоть понятно. А с ножом бросаться, шибки кулаком вышибать — это... Это уж, сам понимаешь...

Кешка не понимал, а Барызин об этом не очень-то и переживал. Он говорил, нетерпеливо взмахивая руками и не снижая ходу, словно не Кешке, а себе объясняя вчерашнее. А Кешка бежал рядом.

И вынужденный этот бег свое дело делал. Кровь, разогретая в мышцах, обдавала измученные, оцепеневшие и как бы примороженные кошмарами грудь и голову свежим, телесным теплом. Эта теплая, радостная кровь как бы смывала в Кешке ледяной стыд вчерашнего. И из-под этого стыда проступало уже нечто иное.

Уже помнилось, как позапрошлой весной перли они с Македоном вязку сухих, безжизненных на вид лозин от самого Суслицкого; перли — и сами себе не верили, что это будет настоящий виноград. Было еще довольно холодно, ветрено; руки покрывались красными и белыми разводами, как мрамор, и болели. И как пришли домой, мамка все смеялась, что их надули: что же это за кусты, если без корней. И как он копал яму, как мамка грозилась повыдергивать эти палки и посеять редиску, пока не поздно, как в июне уже, когда вокруг все давно цвело, наконец выклюнулись из его лозин первые лаковые, все в мелких зазубринках листочки. На зиму он укутывал лозы ворованной на конном дворе соломой и притыкал рогатками, а весной... Нет, все было невозможно объяснить. Это было давно, когда Барызина и его Вальки еще не было в их с мамкой жизни. Они появились потом и все сами испортили, а теперь еще...

И Кешка забежал на полшага вперед и крикнул отчиму, сжимая кулаки:

— А чего он? Как сильней, да? А я с Суслицкого пер, и два года...

Барызин не дал ему договорить.

— А знаешь,— сказал он, останавливаясь и хватая его за плечо,— знаешь, это он ведь не просто потому, что поросенок,— это он назло тебе сожрал. В отместку. А?

Он даже пригнулся и прямо в глаза Кешке глянул тем щурким голубым взглядом, от которого почему-то щекотно холодело в груди.

— А? Ведь назло... И если хочешь знать, ты в этом зле тоже виноват. Оба хороши! Он ведь дружить с тобой хотел, он не такой уж и злой по натуре, совсем даже не злой.

Кешка молчал, сопя и неловко дергаясь из цепких барызинских рук.

— Но куда там! Ты гордый,— говорил Барызин,— ты сам по себе, и виноград у тебя свой, и дела, и гулянья. А ты на его место себя ставил? Нет уж, друг мой Иннокентий Сергеевич, нельзя с людьми жить и нос от

них, как от дерьма, воротить, нельзя. Они этого не просят. Только злобу тогда и наживешь. Это помни!

Голос его помягчал под конец, чуть не ласковым стал, но когда он выпрямился и двинулся дальше, по-прежнему держа Кешку за плечо, Кешка рывком сбросил его руку и, обогнав на полшага, снова заступил дорогу.

— А за что его мамка любит? «Валечка, Валечка»,— скривил он рот.

— Это ты брось,— Барызин даже оттолкнул его слегка.— Это, брат, даже подло — так это... Ты запомни: никого, как тебя, мать не любит. Видел бы ты ее вчера! И вообще... А если хватает у нее ласки и на других, так потому, что она добра, а не так, как ты.

Потом, до самой асфальтированной дороги, они шли молча. Барызин вышагивал, наклонив голову, и ничего нельзя было понять по его лицу, спрятанному в тени большого, почти квадратного козырька офицерской фуражки. Кешка тоже хмурился и потирал ладонью лоб.

Из всего, что единым духом выпалил ему, схватив за плечо, отчим, он понял, пожалуй, только то, что не один он обижен и несчастен. Были и другие. И мамка, и Валька, и сам Барызин — все были обиженные, и обиды у всех были правильные, а кто в них виноват — непонятно.

— Ты мне все ж таки объясни,— приостановился вдруг Барызин,— как же ты на такое решился? С ножом-то, а?

Кешка сразу сник весь, съежился.

— Не помню,— признался он.— Само как-то.

— Эх, Иннокентий Сергеевич, живешь ты по-собачьи — один!— с досадой и горечью сказал Барызин.— И мать у тебя есть, и я, а ты все один, все в себе, на всех искоса. Молчком, брат, одни волки жить могут!— Он помолчал, потом снова скривился.— От черт! Обидно, к дьяволу! Тогда с этим портфелем тоже — дурацкая история. А главное, мне все как-то казалось, что ты сам все поймешь, что можешь понять. Верил я тебе, понимаешь, а ты...

Барызин еще долго рассуждал так сам с собой, а Кешка, шагая рядом, все слушал, но мало чего понимал. Несмотря на это, а может, благодаря этому, ему было неведомо чего жалко, досадно и хотелось плакать. Но расплакаться было бы унижительно. Поэтому он

с силой отер рукавом глаза и сказал, зло сжимая кулаки:

— Все равно не буду извиняться! Лучше бейте! Бейте!

— Дурак ты еще!— спокойно сказал Барызин и совсем небольно дал подзатыльник.— Дурачишка!

Он много еще о чем говорил, но Кешка не запомнил.

Как только вошли в прокатку, Барызина сразу позвали. «Стой тут!»— крикнул он Кешке. Тот послушно остановился и следил, как там, куда позвали Барызина, железный брусок, желтый, как масло, от жара, с гулом вползал в черные валки, выскакивал, пытался куда-то катиться, а его возвращали, и земля под ногами снова дрожала от страшных усилий, с которыми сталь мяла сталь. Потом багрово светящаяся колбаса вдруг побежала к тому месту, где стоял Кешка. Постукивая о ролики, она шелушилась темно-вишневой окалиной и сыпала белыми искрами. Вдруг остановилась, уткнувшись в крохотный и раньше Кешкой не замеченный щиток, черная огромная пила двинулась ей наперерез и вдруг, жутко взыв и выбросив перед собой громадный веник искр, отхватила от колбасины порядочный кусок.

У Кешки даже будто в животе что-то оборвалось. Он сразу же признал в этой пиле то самое орудие и со звоном срывающееся в бездну чудище, что так страшно гукало по утрам. Вот это что, оказывается... И сразу же ему стало легко и радостно.

А потом Барызин угощал его газировкой и спрашивал: «Ну как?»— а Кешка только закрывал глаза и гладил свободной рукой пузо в знак своего удовольствия.

— Иди!— сказал ему Барызин.— Восьмой час Сейчас народ будет.

Кешка пошел. Навстречу ему било лучами невысоко стоявшее солнце и шло множество народу, и ему казалось, что у всех них так же недавно и так же хорошо полегчало на сердце.

А потом был парк и звонкая воробьиная гомозня, и трое рабочих, натянув на колышках веревки, превращали заросшую пыреем тропу в плавно изгибающуюся ровную аллею. Возле них пахло сырой, быстро подсыхающей землей, и казалось, что день будет легким и прохладным, как и положено быть дню, наступившему после мучительной ночи, полной кошмаров.

Дома никого не было, и Кешка, поев с аппетитом картох и огурцов, отправился на улицу уже просто так, покозлякать...

Между бараками было пусто, тихо, и, подумав, Кешка двинул задами к Семенихинскому ручью — солнце уже припекало порядочно.

Здесь, на задах, за лето разрослись лопухи, мясистые и грязные, как кабанчики у Кривенчихи, да лебеда, да красная марь, чьи листья будто бы сбрызнуты буро-кирпичной краской. У шестого дома, на пепелище, все вытесняли паслен и чернобыльник, который, несмотря на ранний час, уже вывернулся, подставив солнцу свою белесую волосатую изнанку.

«Ишь хитрый,— с уважением подумал о нем Кешка,— сам себя прячет».

Но чернобыльник прятал не только себя. За обвалившимся погребом, где Кешка и Македон прошлым летом любили греть на солнышке пузья, теперь что-то странно хыркало и постанывало, и, подойдя поближе, Кешка увидел дядь Сеню, спавшего лицом вверх в странной неловкой позе, подломив под себя деревяшку. У него на щеке по чернильным раздавленным пасленам ползали деловитые муравьи.

Кешка постоял над ним, соображая, что же в таких случаях полагается делать, но так ничего и не сообразил. Дядь Сеня сам вдруг поперхнулся от храпа, закашлял и открыл глаза.

— Драсте!— сказал Кешка.

— Ты?— спросил дядь Сеня неестественно хриплым голосом и тут же снова закашлялся, весь сотрясаясь, багровея лицом, и, перевалившись на живот, стал подыматься.

— От ты господи!— сказал он, откашлявшись.— Водички бы.

— Да как...— Кешка рассеянно огляделся вокруг, ища глазами хотя бы банку консервную, что ли...

Дядь Сеня хотел что-то сказать, но, протянув Кешке свою черную лепешистую кепку, только махнул рукой в сторону перекрестка. Лоб у него побагровел, жилы вздулись, и длинные волосы по краям лысины, свалывшиеся, обсыпанные пылью и крошками сухой травы, были похожи на две конопляные мычки. Кешка схватил кепку и, ошпаренный внезапным страхом, что дядь Сеня может так вот и умереть под забором, как пророчили ему поселковые бабы, стреканул к колодцу.

Пока добежал обратно, воды в кепке было так... на доньшке.

Дядь Сеня и той обрадовался, плеснул ею себе в лицо, утер лысину мокрой подкладкой и вздохнул облегченно.

— Что водка с человеком делает, га?— удивленно оглядываясь вокруг себя, спросил он.— Вот падла!

— А вы не пейте,— сказал Кешка.

— Да я и так, ты уж не серчай. Две тумбочки вчера продал. Обмыли, то да се...

— А я к вам шел,— зачем-то соврал Кешка. Точнее, так ему теперь и казалось. Про ручей он забыл.

— Ко мне? Это хорошо. Я чичас...— дядь Сеня поднялся, неловко помахивая руками, и тотчас же скривился от боли.— А культя-то, культя,— пожаловался он,— прям мозжит, окаянная! Ну, пошли, рыжий, пошли!

И потопали: Кешка впереди, а дядь Сеня чуть сзади, держась за его плечо, что почему-то было Кешке особенно приятно и наполняло его чуть ли не индюшачьей гордостью.

На перекрестке встретили бабушку Македонику.

— От нищebroды!— сказала она им, упирая одну руку в бок, и даже кулаком погрозила.— Стыд-то совсем пропил? Ишь, в обнимочку — фулюган и пропойца. Тьфу!— и сплюнула им под ноги.

С тех пор как вернулся Гришка и Македоны заботели, а особо как купил себе Гришка велосипед, бабушка чувствовала себя важной поселковой фигурой и потому считала нужным стоять на страже приличий и нравственности. Но дядь Сеня и не таких отбывал.

— Ты, бочка старая!— возмутился он.— К ставцу лицом сесть не попадаить, юбки проветрить не может, а туда же — учить! Да за тобой же за ветром ходить нельзя. Тьфу!— и тоже сплюнул, но только вслед, потому как Македонику предпочла не дожидаться конца перепалки. Дядь Сенин язык славен был по поселку не меньше, чем руки.

Уже отойдя на несколько шагов, она вдруг обернулась и крикнула:

— Побачу Ваньку у тэбэ, вухи оборву!

— От!— возмутился дядь Сеня.— Бачь? И кто б срамил? Ай народ, ну нар-род!

— Все оттого, что вы один живете,— не задумываясь, брякнул Кешка.— Все в себе, все в себе... Молча только волки живут.

— Ишь ты, шпингалет, рассудил!— удивился и даже вроде бы обиделся дядь Сеня.

Возле своей сарайки, умывшись из бочки, он заметно повеселел. Даже, открывая замок, свою «через реки, горы и долины...» замычал. Но работать, конечно, не стал. Присел на чурбак и, отстегнув деревяшку, закатав штанину, принялся оглаживать культу. Она свисала с чурбака, сморщенная, неестественно розовая, и, как некий отдельный живой зверок, вздрагивала при каждом прикосновении заскорузлой руки хозяина.

— Оно, может, и верно ты рассудил,— сказал вдруг дядь Сеня,— да культяпый я, вишь. И с лысиной. Пьяница опять же! Где же мне, брат, бабу искать? Да поди и не найдешь такой, как Ирина моя была, верно? Где теперь такие? Нету теперь, брат ты мой, таких, нету.

Кешка посмотрел на него удивленно. Вроде бы он ничего насчет женитьбы не говорил.

— А ежели это ты так просто, вобще,— сказал дядь Сеня,— так я тутошний народ не уважаю. В хату, все в хату, в хату... Пряма муравьи, а не люди.

Помолчали.

— А може, опять же не все,— сам себе возразил дядь Сеня.— Какие есть и с понятием живут. Эт ты верно, что я все молчком, как волчком.

— Кеха не заглядал?— просунулась в дверь озабоченная физиономия Македона.

— Да туточки, заходи.

— Ну, Кеха, отмочил ты вчера! Так отмочил...— от самого порога удивился Македон.

Кешка ничего не ответил, только отвернулся, засопел тяжело, как перед дракой. Вот оно, оказывается, как — никуда не исчезло вчерашнее. Барызин простил, так другие преподнесут.

— Опять бузили?— спросил дядь Сеня.

Но Македон не обратил внимания ни на молчание друга, ни на этот вопрос. Он считал, что у него немалые заслуги, что без него бы Кешке пришлось куда солоней, и торопился о них сообщить, застолбить, так сказать, да и вообще вчерашние впечатления его прямо распирали, скакали на язык все сразу, кучей.

— Я уж по-всякому перед Барызиным. Мол, и не пойму, мол, и все нечаянно, с кондачка... И мы вообще-

то в плавни собирались. Думаешь, чего он так с тобой чикается? За нож враз в капээз упрятать можно,— пояснял он Кешке и тут же поворачивался к дядь Сене:— А тетку Нину я так разжалобил, что прям до слез. То сперва все: «Это ужасно, это ужасно...» А как сказал я...

— Чем же это ты разжалобил?— как-то нехорошо кривя губы, спросил Кешка.

— Да про то, как ты удавиться хотел, рассказал.

— Чего? Врешь ты.

— Вру?— Македон с досады даже по ляжкам себя хлопнул.— Вру? Да ты ж сам мне говорил. Я ж развязать тебя хотел, а ты... Мы по щавель собирались,— тут же, захлебываясь, пояснил Македон нахмуренному дядь Сене.— Я пришел, а его нигде нету. Я думал, спит. Залез, а он, бачу, весь связанный, голову закинул, и рот спекся. Даже спужался: «Ты, грю, живой?» А он мне, значит: «Мне теперь все равно, живой чи нет, потому как я человека хотел зарезать».

Дядь Сеня, разглядывая на свет, чистил проволочкой свой мундштук. При этих словах руки у него свалились на коленки, как подрезанные.

— Как?— переспросил он и повернулся к Кешке.— Это ты-то? Рыжий?

— Да он ничего, легонько только пырнул,— великодушно вступился за друга Иван,— в руку вот сюда толечко.

— Кого?

— Да Вальку-зануду! И вообще — за дело.

— Я не пырял!— угрюмо сообщил Кешка и впервые выступил из полутьмы своего угла.

— Ну да!— сказал Иван уверенно.— Это ты не помнишь. Он целым полотенцем руку замотамши ходил

— Я не пырял!— с отчаянием повторил Кешка.— Это Шарик цапнул. Он за мной в окно вскочил.

— Кто? Валька?

— Да Шарик же! Валька мне под дыхало дал и за дверь кинул, а я со злости шибку высадил и в окно, а Шарик за мной... Ну, как Валька меня повалил, Шарик его и цапнул. А нож я сам бросил раньше еще...— угрюмо добавил Кешка.

— Иди ты!— равнодушно удивился рассказанному Македон.— Молодец псина! Вот так замотамши.

— Не пырял я!— еще раз повторил Кешка с отчаянием, наступая на Македона грудью и сжимая кулаки,

как бы требуя от него немедленного признания этого факта.

— Не пырял, и ладно!— согласился тот.— Уже и сказать нельзя, чи шо? Попужал толечко, значит, попужал.

А дядь Сеня ничего не сказал, только вздохнул.

Помолчали. Даже как мухи в бутылке с засохшей олифой гудят, слышно стало.

— А ведь хреновые мы с тобой люди, рыжий, а?— едруг спросил дядь Сеня и сам себе ответил:— Хреновые. Тебе-то, может, еще повезет, а мне чего уж...

Кешка от этих слов как бы очнулся, со стуком кинул на верстак рубанок, ставший противно влажным в его руках, и торопливо, решительно вышел.

Августовский зной тяжело наваливался на поселок. Солнце висело почти над головой маленьким белесым пятнышком, от толевых крыш ближних барачков всходило лиловое марево. По соседней улице проехала машина или телега, и там висела, не оседающая, бледная пыль. Как всегда.

Было слышно: Иван расспрашивал, как ставить верши, а дядь Сеня отвечал. Поговорили о Кешке и забыли. От обиды шекотало в горле.

— С чем же мне повезет, а?— кинул Кешка в сумеречную глубину сарайки.

И оттуда дядь Сениным голосом тотчас же отозвалось:

— С людьми, Кеш... И везет, и не везет — все с нами, с паразитами.

«Это верно»,— согласился в душе Кешка и, ничего больше не говоря, решительно двинулся прочь.

Ему надо было как можно скорей затеряться, исчезнуть, чтобы никого рядом, чтобы один-одинешенек... Он чувствовал, что только одиночество может прояснить все то смутное, что начинало бродить в его душе. Ну, не все, так хотя бы о прошлом, от которого — вот видишь?— никуда не денешься, потому что, даже объясненное и прощенное, оно все равно уже не твое. Над ним ты уже не властен. Хотел бы иначе, да фигу. В люди оно выходит. Как говорила тетя Катя: «Все в люди выходит, а люди из всего выходят, а ты — из людей».

Это было давно, в октябре; земля была уже изгваздана, расквашена холодными дождями, и они с Македоном, таская тетя Кате воду и глину, натоптали от двери до печки грязную дорожку. А в печке гудел, ра-

дуясь хорошей тяге, огонь, и свежая обмазка на ней светлела, подсыхая, и запах гретой глины мешался с запахом картошки в мундирах, булькавшей в тяжелом чугушке. Теть Кате поднесли уже стакан водочки, и маленькие глазки ее слезились, ей хотелось и похвастать, и пожалеть кого-то, и она все оглаживала печные бока и бормотала, что вот так все в жизни — все в люди выходит, а люди из всего, а ты — из людей.

Весь день до самых сумерек провел Кешка один, на ручье, иногда купаясь, больше валяясь на бережку и до одури засматриваясь в спокойное белесое небо. И когда завечерело и первые блеклые звезды проклюнулись в сосущей глаза зеленоватой голубизне, то и они смотрели прямо в Кешкину душу и, перемигиваясь, рассуждали о вчерашнем.

Рассказ последний

ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ

Вокзал был, конечно, новый.

Глупо это было — представлять, будто увидишь обшарпанный дощатый барак с шелушащейся, как после скарлатины, побелкой и с двумя железными печками посередине, — такой точно, как покинул два с половиной десятка лет назад. Но и понимая, как это глупо, приезжий все же долго стоял на перроне, похлопывая себя тощим черным портфелем по ноге. И все озирался, все озирался...

Ночью в поезде было душно, спать не хотелось, сердце барахлило... И при всем этом, лежа на второй полке, так хорошо думалось о том, что завтра же он будет стоять на дощатом перроне возле той самой будочки «Кипяток», где когда-то до боли в плече махал рукой рядовому Скобцеву. От этого почему-то делалось покойнее, легче и даже прохладнее на душе.

Но вокзал был новым, станционные пути разрослись, разветвились, и будочек никаких не было. Да что там! Не было даже бескрайних степных увалов, вид на которые открывался когда-то со станции. Теперь на ближайшем к путям взгорке выгибали свои ребристые стеклянные и пленочные спины бесконечные ряды теплиц. Утреннее солнце дробилось в них на тысячи зайчиков, и если долго смотреть в ту сторону, то на глаза сами собой навертывались слезы.

По другую сторону вокзала, сразу же за залитой асфальтом пустынной площадью, стояли дома. И в помине не было той ухабистой, пахнувшей сквозь сон подсыхающей пылью и зрелой картофельной ботвой дороги, по которой он когда-то ночью трясся в подрессоренной двуколке. Хотя в двуколке ли? Помнилось нечто тряское, покачивающееся, пахнущее сеном, лошадьё и старой сухой кожей... Ну, еще черные жестяные крылья над колесами.

Но не было, не было теперь никакой такой дороги!

Как и всякий город, до войны очень маленький, а затем разросшийся, этот не повышался, а понижался от окраины к центру. У самого вокзала стояли две девятиэтажные башни, потом шли блочные пятиэтажки, потом — двух-, трехэтажные из красного кирпича дома со штукатуркой и без, давно и прочно обжитые, обросшие вьющейся зеленью, сохнувшим бельем, вялящейся на солнце уклеей.

Приезжому иногда казалось даже, что он узнает некоторые из них, что он помнит, как строили этот, как заселяли тот. Во всяком случае, шагал он довольно уверенно, нигде не задерживаясь и ни у кого не спрашивая пути, и вышел верно.

Вывеска «Паспортный стол» выглядела теперь маленькой облезлой табличкой, и он невольно улыбнулся, вспомнив, что когда-то почти такая же, даже похуже, представлялась одним из главных украшений города и что после уроков делался иногда специальный крюк, чтобы показать язык этому черному зеркальному стеклу на новенькой кирпичной стене. Теперь стена была почти черной, заношенной. Что ж... Четверть века, добрая половина человеческой жизни — впрямую хоть кому постареть!

У девушки, сидевшей за высоким крашеным барьером, приезжий, запинаясь, поинтересовался, нельзя ли ему узнать, проживает ли в этом городе некто Македонов Иван, тысяча девятьсот тридцать четвертого года рождения, и если да, то по какому адресу.

— Отчего же нельзя?— Девушка была улыбочива, мила и, встав, машинально, но очень кокетливо оправила на себе голубое платье с пояском.— Отчества не помните? А предположительный район проживания?

— Когда-то проживал в бараках Первого участка.

— Где-где?

— Ну, это, наверное, еще до вашего рождения было, — виновато улыбнулся приезжий.

Девушка ничего не ответила, отошла к ящичкам картотеки, стоявшей в глубине комнаты. Взялась за один, но тут же повернулась снова, обрадованная своей догадкой.

— Так, может, вам Ивана Илларионовича надо?

— Илларионовича? Гм... Возможно.

— Ну, так бы и сказали. Его у нас все знают. Завод, знаете, хоть и большой, но ведь один, так что главный инженер у нас фигура заметная.

— Главный инженер? — еще растерянной переспросил приезжий. — Хотя... Вполне возможно, что и так, но вы все-таки посмотрите, нет ли еще какого-нибудь Ивана Македонова. Мы, понимаете, расстались давно, и я не уверен...

— Да, конечно, конечно.

— Вот, — сказала она через две минуты, подходя к барьеру с карточками в руках. — Вот. Иванов Македоновых у нас прописано только двое. Иван Григорьевич — сорок девятого года рождения...

— Нет-нет, — поспешно сказал Сергеев. — Тридцать четвертого. Это как раз точно.

— А тридцать четвертого — тогда один Иван Илларионович. Вам адрес?

Заполняя бумажку, она искоса продолжала рассматривать посетителя. Тот был высок, худ, темно-кофейный костюм его не очень был свеж, поношен, лоб под шляпой взмок, а когда мужчина снял и положил шляпу на барьер, открылась шишковатая, обширная лысина. Эта вот лысина девушку и смущала. Все остальное сходилась. Наконец, не выдержав, она спросила:

— А вы не артист часом?

— Что вы? — чуть ли не испугался тот. — Я по снабжению.

— А... А то очень схожи. Знаете с кем? Иннокентий Сергеев такой, который в «Зарницах» играет. Не видели?

— Не успел, — равнодушно сказал посетитель, — дела, знаете.

— А я еще почему подумала? — оправдывающимся голосом сказала девушка. — Этот Сергеев — он ведь из наших мест. Когда картина шла, в нашей газете писали.

— Возможно.

— А может, вам и телефончик его записать?

— Это бы чудесно,— равнодушно согласился посетитель и затем, взяв протянутую ему бумажку, поспешно вышел, уже в дверях пробормотав слова благодарности.

На крыльце он приостановился, покрутил головой и сказал почти вслух: «Вот как, а? Главный инженер и Иван Илларионович... А что? Очень возможно!»— и решительным шагом направился к ближнему перекрестку, где у тротуара сквозь зелень акациевых кустов проглядывала красно-серая телефонная будка.

Женский и, как показалось приезжему, довольно игривый голосок сообщил, что Иван Илларионович в горкоме и будет только через час. Что ему передать?

— Да, собственно, ничего. Вы только скажите мне: ваш Иван Илларионович — он, вообще, как... Здесь и родился?

— Кажется — да. Но, собственно...

— Да я, понимаете, просто хочу уточнить,— поспешно пояснил он,— тот ли это Иван Илларионович, который мне нужен. Тот родился здесь. А ваш?

— Наш тоже. Впрочем, я могу узнать наверное.

— Нет-нет, не беспокойтесь, я ему самому позвоню. Приезжий повесил трубку и снова покрутил головой.

Теперь, когда единственное заранее намеченное дело было сделано, точно пружинка какая-то выскочила из человека, даже походка его отрухлявела. Тащился нога за ногу, не обдумывая пути, и все озирался, и лицо чем дальше, тем становилось растерянной и расстроенной.

Не так он мечтался ему — этот город. Мечталось, что с порога его омоют здесь чем-то, обновят и сердце по-другому забьется,— вот как мечталось! Но одна за другой оставались позади улицы, мелькали иногда ползнакомые дома, но ни о чем таком не говорили они сердцу, и в голове было пусто, как бывает после обмана или с похмелья.

На углу бульвара приезжий остановился.

Слева, за забором из решетчатых бетонных плит, стояло неказистое одноэтажное строение с большими, фабричного типа окнами. И что-то такое давнее забрезжило вдруг в памяти, отчего и жалко себя стало и потеплело в груди. Приезжий медленно огляделся,

как бы надеясь отыскать еще и кучи остывающей жу-желки, на которых они с Македоном подолгу выстаивали, ожидая, пока по ногам подыметесь к животу и груди жалкое, разленивающее тепло.

Правда, тогда не было ни бульварчика со стриженными тополями, ни бетонного заборчика, и все вокруг было как бы черно-красным, а не бело-зеленым.

И все же приезжий усмехнулся облегченно. Никуда его прошлое не подевалось. Здесь оно было, здесь, только слегка заросло новым. Котельную вот на газ перевели, забор поставили.

А вот и четырнадцатый дом. Из самого большого он стал почти самым маленьким, но это пустяки. Куда-то девались пестрые тряпичные половики, вечно сохнувшие на его балконах, крыша обросла антеннами — чуть не на щетку стала похожа.

И еще, наверное, многое так же хорошо переменялось, но приезжему были эти перемены грустны.

В последнее лето, когда тетя Катя Кривенчиха совсем обезножела и уже не могла класть печи, она подрабатывала плетением модных тогда тряпичных половиков. Соседки, работавшие на заводе, таскали ей «концы» — мелкие обрезки, лоскутки всяких материй, выдаваемые для протирки оборудования. Из этих лоскутков и суровых ниток тетя Катя вязала круги, дорожки, ковры целые... А что? Он пользовался тогда спросом — этот пестрый, толстый, узластый суррогат домашнего уюта. Дом, где ходили по таким половикам, считался уже справным, едва ли не зажиточным.

Набежал откуда-то порыв ветра, перешерстил на тополях листву, погнал-погнал сор вдоль каменных поребриков тротуара и вдруг угас, исчез, и листва с тихим шуршанием укладывалась на привычные места, пряча серебристую подкладку. Приезжий настороженно прислушался к этому затухающему сонному звуку. Ему подумалось: само время прошелестело над ним одним этим порывом. И как, оказывается, долго живет он на земле! Сколько вещей, людей и людских представлений о красоте, уюте, богатстве уже прошумело, как этот ветерок, и кануло в небытие, а он за это время даже не состарился, а так только — обвял чуть-чуть. Разве не чудно?

Если стать у самого забора котельной, из-за плеча четырнадцатого дома по-прежнему виден угол школы с разросшимися, разлапистыми акациями, одну из ко-

торых он когда-то и посадил. Дерево выросло, а он еще даже не старый. Вот как! А ведь, поди, доведется умирать, так еще и жаловаться станет, что мало, что не добрал своего на земле!

«Однако у нас странные отношения: я узнаю город по самым старым и некрасивым его зданиям, а меня узнали по худшей моей роли. В этом есть какая-то окольцованность, как в хорошей пьесе, — подумал приезжий. — А впрочем, все это... Не стоит об этом! Я ведь о чем-то сейчас куда более важном думал».

Но колесико мысли уже повернулось, зубчик его потянул соседнее, и сама собой потянулась вся длинная и бесплодная цепочка раздумий его о себе, и без того надоевшая и так утомившая его в последнее время.

Взять хотя бы ту же роль в «Зарницах». Сколько уже было о ней передумано, а ведь все, как и в первый день, оставалось непонятным.

Считалось, что с этим фильмом ему крупно повезло. Безвестный провинциальный актер, по сути — дебютант, и вдруг главная роль, и вдруг — фильм имеет успех, получает отличную прессу, а актер — новые приглашения и т. д. и т. п. Что еще человеку надо? И если бы кому сказать, что это-то его и угнетает, что он обижен, едва ли не оскорблен своим внезапным успехом, так на него бы, пожалуй, тюкали да пальцами показывали. А? Он у себя в театре сыграл тьму ролей. Были среди них прекрасные, были вечера, когда все ему удавалось, когда он даже сам себе и то нравился! И вот — никто этого не знает. Для всех он только красавец офицер из «Зарниц», умеющий элегантно носить форму, лихо щелкать каблуками и сдержанно улыбаться при встрече с героиней. Ну, разве не мало? И разве не обидна эта малость?

А впрочем, на что и обижаться? Он что — гений? Он обыкновенный провинциальный актер-актерыч первой категории, получающий свои сто десять в месяц и честно выкладывающий за них на своей областной сцене все, чему его когда-то учили и что он понял потом сам. Не народный, не заслуженный, тем более не лауреат. Артист Сергеев. Без всяких добавлений.

«Сам виноват», — твердили ему частенько, и он понимал, что это правда, — он сам себе напортил. В зыбком ранге «подающего надежды» перессорился на радио, на телевидении, чтобы его не вызывали «на низкопробные халтуры». И его не вызывали никуда. Очень

долго. Когда до него дошла та элементарная истина, что режиссеров, делающих спектакли и ставящих фильмы, гораздо меньше, чем «подающих надежды» актеров, было уже поздно. Он был уже немолодым и неизвестным, он был никаким. Просто актер-актеричем. А впрочем, не об этом грусть его.

И тут, совсем неожиданно, приглашают сниматься в этих вот «Зарницах». Сценарий не «ах», постановщик тоже. Но с другой стороны — что особенно кочевряжиться ему-то, отнюдь не гению? А сниматься — значит, неделями не бывать дома, не выяснять отношений... Какая благодать, а? Да и с деньгами был дикий зарез.

И вот тут-то — на тебе! — успех. Не там, где мучился, метался, душу выкладывал, а — на тебе! — тут.

И потом — как странно все же совпал этот успех с личным... Даже вот и не знал он теперь, как сказать: крахом или наоборот? Короче, с разводом. Разошлись после шести лет взаимных неудовольствий, попреков, обманутых надежд, неискренней ревности, неискренних слов о мнимых жертвах и прочих подобных прелестей, именовавшихся «семейной жизнью». При такой жизни разойтись естественно, но зачем так было жить?

«Это можно было предвидеть заранее, — иногда утешал он себя, — тебе было за тридцать, ей девятнадцать. Ты любил, она хотела какой-то необыкновенной судьбы — судьбы рядом с талантом, а таланты в провинции редкость, а девичья красота вянет быстро... Это как два клина: они ее давили, она их боялась, и от страха ей нетрудно было убедить себя, что и ты «талант, большой талант», а ты...» Тут он всегда себя обрывает: «Вздор, мол, все вздор! Дело проще: тебе всегда не везло по женской части больше, чем по всем остальным!»

В ранней юности, когда девичье внимание так нам лестно, что составляет едва ли не главный интерес жизни, Сергеев был очень некрасив, застенчив, болезненно самолюбив и вспыльчив — девушки таких любят редко. Потом, годам этак к тридцати, стал он им нравиться больше, да вот беда — в этом возрасте слишком ясно видятся мелкие их хитрости и игра самолюбий как раз там, где должно бы видеть одну поэзию. В тридцать человеку влюбиться, быть может, труднее, чем в шестьдесят. Влюбленность в тридцать лет — это вроде кори в зрелом возрасте — бывает редко и кончается по большей части плохо.

В последнее время ему вообще ничего не хотелось: ни примирений, ни выяснений, ни новой любви. Жил одной надеждой: когда в их семейных отношениях будет наконец поставлена последняя точка, наступит вожделенный покой, ясность.

А вместо этого навалилась тоска, мусть, неразбериха... Его понятия о себе, да и о других, в бесплодных — по кругу — размышлениях становились все неопределеннее, все путаннее, и все сильнее тянуло его сюда. Да и то сказать: так вот живешь, живешь, а ведь надо же когда-то и остановиться! Хоть пощупать, что ли, из чего же спрядались те ниточки, за которые дергает тебя судьба!

«Ах, рыжий, ничего-то ты не понимаешь в своей жизни!» — этими вот дядь Сениными словами попрощался когда-то с ним город.

Жаль, что штуковатый поселковый философ давно уже умер, наверное. Поговорить бы с ним теперь, сказать бы в свое оправдание, что за все эти годы так и не встретилось ему ни одного человека, хоть что-нибудь понимавшего в собственной жизни. В чужой — это пожалуйста, в чужой мы все пророки, а в своей — дубари.

Так, в невеселых размышлениях, он добрал до школы и двинулся дальше — широченной улицей, ведшей когда-то в обход парка к Четвертому участку. Тогда дома тут стояли только по одной стороне, а дальше, до самой деревни Каменки, был пустырь, поросший мелким колючим кустарником; по пустырю шла узкоколейка, бегали рабочие поезда — возили народ из Суслицкого.

Теперь улица была как улица — ровная, с бульваром, обсаженным тополями, и залитая асфальтом. Под желтой табличкой автобусной остановки стояло несколько женщин.

— Это автобус не на Четвертый участок случайный? — подойдя, спросил Сергеев.

Та, у которой он спрашивал, только посмотрела на него и отвернулась. Но более пожилая ее соседка сказала, что да... то есть нет. Там был когда-то Четвертый участок, а теперь там знаете что? Там теперь больничный городок.

— Вот как? — сказал Сергеев. — Извините, — зачем-то добавил, — я давно здесь не был, — и пошел дальше.

Через два дома он разменял у какой-то бабуся пятак на две двушки и, укрывшись в тесной, пахнувшей гретой краской и железом телефонной будке, набрал номер Ивана Илларионовича.

— Алло. Слушаю... — тотчас же пророкотала теплая пластмасса трубки.

Голос был густой, баритонистый. Твердый голос человека, привыкшего, что его слушают и слушаются. Владелец этого голоса был не слишком терпелив и, еще раз алекнув, попросил перезвонить, ибо ничего не слышно, — и тотчас в ухо Сергееву затукали короткие гудки.

Сергеев осторожно опустил трубку на рычаг и, усмехаясь, покрутил головой.

«Иван Илларионович Македон, — произнес он про себя со значением, — главный инженер!»

Нет, это все-таки было удивительно, это почти невероятно было, что Ванька, сеченный бабкой и Гришкой, битый лаптевцами, воровавший с голодухи кукурузу, даже ведь и не Ванька, а только Македон, приученный жизнью всем подыгрывать, ко всем подлаживаться, легко и даже весело со всем примиряться, — этот Македон теперь руководит! Командует, а? И не чем-нибудь там, а огромным заводом, от которого кормится не меньше половины жителей этого, ставшего вполне приличным, городка.

А впрочем, разве есть неудивительные судьбы? Разве не странно хотя бы то, что он сам, прозванный когда-то за неуживчивый и буйный нрав Баскервильской собакой, не желавший ни с кем ладить, распираемый собственными страстями, никак не умевший понять других и приладиться к ним, — он выходит теперь ежевечерне на сцену, чтобы объяснять и показывать другим людям их же самих. Чего не сделает время!

Овражек засыпали, и улица теперь продолжалась прямо. А узкоколейка когда-то поворачивала тут и делала крюк через Каменку и Шестой участок к заводу.

И у этого поворота Сергеев пережил когда-то величайшее в своей жизни унижение. Происшествие это с высоты лет казалось ничтожным, даже смешным, но разве это имеет значение? Масштабы наших чувств и вызвавших их к жизни событий совпадают до смешного редко, и даже теперь, понимая ничтожность при-

чины, Сергеев ни на минуту не сомневался: унижение это было величайшее!

...В конце ноября по утрам стояла сухая и ясная колоть. Земля звенела под каблуком, изношенная трава вдоль заборов седела от заморозков и становилась хрусткой, а в воздухе крутился реденький сухой снежок. Шли в школу — была почти что зима. Потом появлялось солнце, по-осеннему низкое, но яркое в безоблачном небе, и размякала напитанная дождями земля, и рыжела трава, и из садов и придорожных канав веяло пьянящим спиртовым духом палой листвы. Когда выходили после уроков на улицу, тревожными запахами, яркой голубизной неба и гомозней бесчисленных воробьев шибала им в души — весна!

И эта путаница с временами года производила лень в теле и сумятицу в голове и, конечно же, мечты — яркие, как сны наяву.

Бывало, шел он из школы, прикрыв глаза и подставив лицо солнцу так, что на кончиках ресниц дрожали оранжевые кольца. Нога за ногу тащился, а в душе в это же время бежал огромными скачками, и они делались все шире, и вот он уже перебирает ногами в воздухе, вот уже летит... Иной раз и поворот к своему бараку случалось так проскочить, ничего не заметив, — брел, бывало, до самого Херсонского шоссе и там только спохватывался, и становилось отчего-то ужасно радостно и стыдно.

Так вот однажды после школы шел он, ни о чем не думая, и вдруг оказалось, что не своим он идет путем, а кружным, вдоль этой узкоколейки, и впереди него, шагах в десяти, тесной стайкой идут девочки — семеро девчонок из их класса.

Теперешний Сергеев объяснял все очень просто: Кешке хотелось пройтись рядом с одной из них — Рачкой Мировец. Но объясненная так причина делалась слишком банальной. Выпадало главное — странная та осень, похожая на весну, полеты почти наяву, оранжевые кольца на кончиках ресниц, запах палого листа и мучительная, до боли в ребрах — неизвестно к чему и к кому — нежность.

Тогдашний Кешка вообще ничего не объяснял и, вдруг найдя себя посреди этого пути, даже не подумал, что ему надо удивиться. А чо? Захотелось пойти так — и пошел! Не все же одной дорогой ходить?

Шел и терпеливо ждал, когда девчонки начнут разбредаться. А они не разбредались. Шли стайкой и только все тревожней и недоуменной оглядывались на Кешку. Он все шел за ними, не отставая и не приближаясь, а сам по себе, и даже насвистывал что-то. Он и понятия не имел, что девчонки шепчутся о нем, а не расходятся потому, что Раечка боится его хуже черта, ни за что не отпускает подруг, умоляет не бросать ее на растерзание психу и хулигану.

Тут где-то недалеко девчонки вдруг и повернули на другую сторону узкоколейки. И Кешка, независимо глядя по сторонам и посвистывая, повернул за ними. Они оглянулись, фыркнули и вернулись обратно. Он тоже. Тогда они приостановились, и самая нахальная из них, Надька Малявина, прокричала визгливым голосом:

Семь девок, один я,
Куда девки — туда я!

И они все захохотали, показывая на него пальцами.

Можно было, наверное, засмеяться и сказать им, что они дуры, или плюнуть и уйти. Можно было даже догнать Надьку и дать щеля! А впрочем, это только говорится: можно! Ничего было нельзя! Нельзя потому, что мгновенные серые паморки гнева и обиды заволокли перед Кешкой свет, и он сам чувствовал, что если сойдет с места, то натворит нечто ужасное...

А Надька кричала противным голосом:

— Чо вызырился? Ишь, бельки кровью наливает! Ишь! Псих! Идиот! Недоношенный!

И девчонки кинулись врассыпную, дразня его и распевая насчет семи девок, а он все не мог сдвинуть себя с места. А потом что-то отпустило, тело сделалось ватным, и он тихо, ни на кого не глядя, побрел домой...

Последний год в этом городе был для Кешки вообще удивительным. Школа их так переменялась — ужас! Из мужской сделали смешанную. Теперешним школьникам и не вообразить масштаба этой перемены. Как вдруг сразу все осложнилось, как запуталось!

Учителя видели в девчонках некое горькое, но чрезвычайно полезное для мальчишек лекарство. Семеро самых хулиганистых получили свои пилюли — соседок по парте. Кешке досталась Раечка Мировец, самая маленькая и самая чистенькая. Этакое непонятное су-

щество с точеной и вымытой-вымытой шейкой. С Кешкиной стороны по этой шейке под молочно-розовой кожей протекала голубая жилка, на которую почему-то было так жалко смотреть, прямо сердце ныло. Чтобы побороть недостойную жалость, он решился на крайнее средство — взял и наkostenял однажды по этой самой шее! Мамку вызывали в школу, Кешке влетело, но — ничего не помогло, жалость стала только острее, к ней подмешивалось еще и терпкое чувство собственной вины и несправедливости.

К тому же существо в саржевом передничке было прямо напичкано знаниями и чуть ли не на каждом уроке с тайным злорадством тянуло вперед и вверх, к самому учительскому носу, свою тонкую, жалкую руку. Когда подымалась эта рука, Кешке сбоку было заметно под крылышком саржевого передника нечто такое, не совсем еще определившееся, но уже вызывавшее у него острую сухость в горле. А тут еще солнце било в окна, запахи всякие лезли...

Одним прекрасным морозным утром, по дороге в школу, Кешке вдруг стало легко и радостно — он понял, как просто избавиться от этого наваждения. Надо подойти к Раечке и что-то у нее спросить или сказать, и чтобы она тоже что-то спросила или сказала. И улыбнулась. Чуть-чуть. Уголком губ. И ему тоже тогда можно улыбнуться и что-то сказать. И, быть может, взять ее за руку. И все это так просто!

Но он увидел Раечкину фарфоровую шейку и белый воротничок и в одно мгновение понял полную свою неспособность к простым и ясным действиям. Правда, он еще надеялся себя как-нибудь заставить, даже поплелся за девочками вдоль этой узкоколейки...

Через три дня после этого своего унижения он увидел, с необыкновенной, почти фантастической зоркостью — из одного конца полутемного коридора в другой, — как Македон подошел к стоящей у стенки Раечке и оперся нахально рукой возле самого ее уха, и что-то сказал, а она ответила и улыбнулась, и еще что-то сказала, и даже подняла руку и поправила завернувшийся уголок воротника на Македоновой «бобочке».

А потом была драка. Нет, кажется, до драки не дошло. Македон просто сказал: «Окстись, псих несчастный! Я за тебя же и сказал, чтобы она не боялась, по-

тому как ты просто втюрился!» И тут ему Кешка врезал кумполом в подбородок... Или нет? Дальше все как-то терялось в других воспоминаниях, словно в тумане.

Улица, по сути, кончилась — дальше шли траншеи, заборы, пыль — короче говоря, стройка. И возле самой стройки, приткнувшись к глухому дощатому забору, стояла, соблазняя, серая с красным телефонная будочка. «Вообще-то, это смешное и дикое дело: возобновлять знакомство через столько лет,— подумал Сергеев.— Что из этого может выйти? Ничего. Ну да ладно!»— и он решительным шагом прошел в будочку и опустил в щель последний свой семишник.

Трубку взяла секретарша, и это Сергеева даже обрадовало.

— Это опять тот самый знакомый Ивана Илларионовича,— напомнил он.

— Да-да, я помню. Вас соединить?

— Да, то есть минуточку,— поспешно сказал Сергеев.— Скажите только... Вы не знаете, жену вашего Ивана Илларионовича не Раисой зовут?

— Нет! Екатерина Михайловна, а что?

— Уже легче.

— Что-что? Не слышно.

— Я говорю: в таком случае соедините меня с ним, пожалуйста!

И до того, как щелкнул переключатель, Сергеев еще успел услышать, как его собеседница хмыкнула и — он очень ясно это себе вообразил — пренебрежительно и заносчиво вздернула плечико.

УТРО
ТРЕТЬЕГО
ДНЯ

ПОВЕСТЬ

Что же остается человеку за его труды и томление сердца?

Из древней книги



е слишком ранняя, но дружная, бурная выдалась в том году весна. Дожди и туманы в несколько дней дочиста съели снега, сразу же ударило неистовое солнце, заструило сизый парок над черною пашней, и пошла, поперла всякая зелень, обгоняя друг дружку, торопясь быть, расти, занимать землю... В два дня распустились березы, сирень расцвела почти одновременно с черемухой, а люди уже на Первомай примеряли летние наряды и спешили подставить взбесившемуся солнцу свою бледную, анемичную после долгой зимы кожу, густо высыпая на чуть просохшие волжские пляжи. Все торопилось, все летело куда-то очертя голову и вдруг как бы разом задохнулось на бегу, в радостном угаре бытия, в безумной своей жажде хватать, грабастать жизнь, тепло, солнце. Листья на липах и кленах стали ко Дню Победы серыми от пыли, обвисли тряпочками; во всех низинках недавняя грязь схватилась коркой и растрескалась, точно в Голодной степи. Жара перевалила за тридцать.

Вот тогда и ударили грозы.

1

Михаил Шапкин проснулся в начале пятого, и первая мысль его была о том, что все — праздник кончился, пойдут опять нормальные дни, нормальная жизнь. Все, что за эти дни было выпито, съедено и наговорено,

давило еще и жгло, но — слава богу! — все было уже позади.

Он тяжело поднялся (последняя бутылка вчера была явно лишней) и, придерживаясь за стенки, мотая чугунной головой, вышел в одних трусах на крыльцо. Солнце чуть показалось над лесом в безоблачно-голубом небе, опять обещая бестолковую, не ко времени пришедшую жару.

Узкой дорожкой, вздрагивая от прикосновений мокрых смородиновых листьев, Шапкин прошел за сарай, где в дощатой загородке устроен был у него летний душ. Вода в бочке успела за ночь порядком остыть, он едва не задохнулся, когда тугие струи хлестнули по заросшим рыжеватым волосом плечам, по начинавшей плешиветь голове. Но не отскочил, а, побряхтывая, торопливо поворачивался то одним, то другим боком. И — словно гайка какая поджималась и поджималась в его теле, выдавливая похмельную муть, расслабленность и желудочную тяжесть.

Выпустив чуть не полбочки, он докрасна растерся жестко накрахмаленным полотенцем, бегом кинулся в дом, привалился к теплому боку ничего не слышавшей жены и легко, быстро соскользнул в новый сон, уже лишенный похмельного чувства вины, тревоги и смутных видений.

Окончательно он проснулся, когда Лена ушла на работу. Пашка собирался в школу, что-то бормотал в своей комнате, видно, зубрил, и одна только Светка, старшая, наводила порядок, мела, двигала мебель и брякала в кухне посудой, все время тихонько напевая.

Холодильник был забит недоеденной вчера праздничной снедью, но аппетита она не вызывала. Шапкин, стоя, попил кислого молока из широкогорлой бутылки, запрокидывая ее над собой.

— Чего эт ты навстояк, из горла? — Светка вошла и поставила перед ним чашку.

— Цыть, — сказал он, — много понимаешь! Так вкуснее.

И пошел в огород, приборматывая в такт шагам только что услышанную дочкину песенку: «Ваше благородие госпожа удача, для кого вы добрая, для кого иначе...»

В огороде была тьма работы. Даже картошку Шапкины еще не сажали, хотя земля не только прогрелась, но и пересохнуть успела. Впрочем, картошку удобней

вдвоем, это завтра, а пока Михаил принялся разделять грядки под лук, под помидоры. Он насыпал их высокими, пухлыми, точно перины. В Порфирине никто так еще не делал, хоть это и удобно: какая б ни была засуха и жара, пусть только воду в межгрядочные канавки, и растения напьются, насосутся вдоволь. Конечно, засуха и жара в Порфирине редкость, но если дожди — опять-таки хороши эти канавки: в них стечет все лишнее, ничего не погниет.

Михаил с удовольствием представлял себе, как за несколько лет эта серая, чересчур быстро сохнущая земля станет у него жирной, черной, маслянисто поблескивающей на срезе, как на ней поднимется и разрастется сад, а напротив сарая встанет летняя кухня, как он проведет туда свет и как здорово этот свет будет смотреться в поздние сумерки с улицы, сквозь купы разросшихся деревьев. «Ваше благородие госпожа удача...» Нет, господи, да какое может быть сомнение, что она для Шапкина добрая? При таких-то его планах наполеоновских?

И все-таки... Ни веселая работа, ни всякие хозяйственные соображения, так всегда его взбадривавшие, — ничто не могло придавить тонкого, как волосок, вездливого червячка тревоги, неведомо когда и как заползшего в душу. Чуть остановишься, переведешь дух — и сразу слышно: грызет, посасывает сердце, мутит... Откуда бы ему, с чего бы? Ведь ты, черт возьми, имеешь все, что хотел когда-то, и даже лишку. Новоселье вон отгрохал — дай бог каждому!

Новый дом, в котором жили теперь Шапкины, был куплен Михаилом в ноябре, едва он вернулся с Сахалина, за одиннадцать тысяч. Прежние хозяева так здесь и не пожили. Строили, строили, а потом разошлись и продали, торопясь поделить деньги. Михаилу дом этот понравился сразу, несмотря на все недоделки, — просторен и прочен, в хорошем месте, а остальное приложится, были бы руки.

После Нового года, как только Михаил смонтировал в кухне купленный по случаю финский котел и протянул в комнаты трубы и батареи, сразу же и переехали, хотя до конца всяких нужных по дому работ было еще — мамочки мои! И тогда же, расхаживая с Ленкой по теплым, пустым комнатам, радуясь их простору, реши-

ли настоящее, большое новоселье справить весной, когда полностью обживутся, обставятся.

Зима мелькнула быстро, почти незамеченная за хлопотами и ожиданием этого праздника. В последние дни Михаил только им и занимался, праздником; даже за закусками они с Леной специально в область ездили — благо на своих «Жигулях» всякий путь близок, — убили там целый выходной по магазинам. И вот праздник отшумел, все довольны, только хозяину не по себе.

Нет, не то чтобы ждал он от гостей каких-то особых восторгов... Хотя — зачем же кривить душой? — ждал и восторгов, удивления: не хухры-мухры показывал людям, а плоды своих десятилетних трудов, мечту во плоти. Так что восторги тут бы не помешали. Но они и были — эти восторги, эти ахи, эти деловые: «Где достал, сколько на лапу?», всякие тосты...

А не было... Не было чего-то другого, труднообъяснимого. Того, что смутно грело, манило зимой, когда, после утомительного дня хлопот и беготни, он вдруг просыпался среди ночи и начинал представлять: вот отсюда поведет он по двору свою родню мимо синих «Жигулей», мимо обсыпанных цветом яблонь, к лодочному сараю на задах, к баньке с просторным кленовым полком, а оттуда, мимо пленочной теплички, к четырехкомнатному своему дому, к цветному телевизору и богатой закуске.

Вот, дескать, родичи дорогие, соседи ненаглядные, помните Мишку-голодранца? А как он до полочки десятки стрелял и вы не всегда ему давали, помните? И правильно, кстати, делали, что не давали, — не обижаюсь я на вас совсем, — правильно делали, потому что не было чем отдать у тогдашнего Мишки.

Помнишь, Лиза, как дарила Ленке свои поношенные платья и та была рада-радешенька? А вы, Мария Анисимовна, как шпыняли Мишку рваными Светкиными туфельками, пустыми шами, чужим добром? Нет, не помните? Зря. Он-то все помнит, все до последней шпильки, не умеет забыть унижение, это уж так. И не потому, что злопамятный. Зла он как раз ни на кого не держит. Наоборот: жрите его дорогие закуски, пейте марочный коньяк, пойте песни, да так, чтоб стекла дрожали во всех тринадцати окнах его дома — Мишке Шапкину ничего не жалко. Он рад. Он все зашиб двумя вот этими, трудовыми. Таскался больше десятка лет по общагам, без жены, рубль прикладывал к рублю и обо-

шел-таки вас всех, объехал на кривой козе. А? Ведь объехал? Тут вы уж не кривите душой, сознайтесь: завидно? То-то и оно, что завидно! Ему и самому иной раз на себя завидно.

Как сладко представлялось все это зимними ночами, в полудреме! Даже казалось: вот тогда-то он и ошутит себя по-настоящему хозяином всех благ своих, когда другие посмотрят и удивятся им. Нет, даже не хозяином ему хотелось себя почувствовать, а свершителем, настоящим мужиком, задумавшим однажды свою жизнь и все по задуманному сработавшим. Может, это и глупо представлялось, но сладко. А вышло, конечно, не так...

Гости собирались недружно, одна почти ближняя родня и была в сборе, когда Шапкин уже не утерпел, повел показывать свои владенья. Впереди всех пошла, конечно, Мария Анисимовна, теща, под ручку с небольшим, важным и круглым мужичком, новоиспеченным шапкинским тестем Тихон Захарычем.

Замуж теща вышла два года назад; Шапкин был тогда на Сахалине, а так как зимой этой она бегала к ним хоть и часто, но почти всегда одна и «на минуточку», то в торжественной роли замужней дамы Михаил видел ее чуть ли не впервые, и, как ни странно, это ему все время мешало.

Каждый раз, взглянув на нее, он делал подчеркнуто серьезную мину и хмурился, чтоб задавить рвущуюся наружу ухмылку. Смеяться, по правде, и не с чего было. Пара как пара. Но в самый первый еще момент, еще только из окна увидев, как Тихон Захарыч открывал калитку и, заботливо придерживая ветки сирени, пропускал вперед вальяжно выступающую жену, Мишка, на беду свою, вспомнил вдруг, какой она была когда-то поджарой и костистой и как они с Ленкой, в растерянности перед внезапными и бурными вспышками ее недовольства, решили, что все из-за критического возраста, и зубоскалили тайком: вот, хорошо бы найти ей мужика, да еще бы не слишком старого, — он бы ее маленечко успокоил. И частенько, когда они, затаившись, прислушивались, пережидали последние в избе шорохи, Ленка, кивнув вдруг на заборку, за которой спала мать, шептала в самое ухо: «А что? Мы бы тут — они бы там... И никто не прислушивается — красота!»

Ленка, в сущности, была тогда совсем еще соплюшка, а Мария Анисимовна чуть старше теперешней Ленки. Но — вот поди ж ты! — не только им — всем казалась старухой. Жизнь была такая, ничего не поделаешь.

Работала она тогда на заводе, шлепала на край тарелок затейливый зеленый штампик «Общепит» и, чтобы заработать рубль, этих тарелок надо было перекидать что-то очень много. Во всяком случае, когда она переводила в число тарелок чужие заработки, то получались такие громадные тысячи, переворачивать которые никаких сил не могло хватить. Несправедливая легкость чужих заработков постоянно держала ее в каком-то напряжении недовольства, раздражения, хотя надо отдать должное: когда, хорошенько разозлившись, Мария Анисимовна бралась за какое-нибудь дело, сам черт не угнал бы за нею! Мишке иной раз даже казалось, что злит, накручивает она себя нарочно, чтоб хватче работалось.

Почти двадцать лет прошло с тех пор, половина жизни! Давно уже общепитовский штампик оттискивается автоматом, давно перестала теща считать чужие рубли на тарелки, подцепила своего персонального пенсионера местного значения, устроилась в общежитие кастиляншей и сама стала широкой, сияюще-белой и округлой, как подушки, которыми теперь заведует.

И кто его знает, до замужества или после, но характер ее и в самом деле переменялся к лучшему. Стала если не добрей, то как-то все же снисходительней, уживчивей. Михаил за целую зиму ни разу с ней не погавкался, а это в сравнении с прежним громадный рекорд.

Но теперь, на новоселье, то ли теща почуяла этот смешок, все время рвущийся прыгнуть Шапкину на губы, то ли еще что, а только словно черт вселился в старуху — шла по пятам за зятем и все ей было не то и не так. И сарай лодочный неудобно поставили, далеко от воды, и машину не по-хозяйски бросили, не прикрыв брезентом (он-то нарочно его снял, чтоб видели, какая она новенькая, сияющая)... Даже финский котел — уж на что завидная штука! — и про тот нашла что сказать: вот, мол, у Лепилиных точно такой был, так на третью же зиму колосники прогорели.

Все только усмехались и головами покручивали, ее слушая.

Даже Тихон Захарыч, заботливо, умиротворяюще поддерживая ее под локоток, все время пытался что-то смягчить, пригладить.

— Ну, почему же, Машенька?— скромно рокотал его басок.— Ты не совсем права, мамочка. Мне очень даже нравится, как Михаил Константинович это придумал, я только бы посоветовал...

— А чо ему твои советы? Он сроду никого не слушал!

Ленка тоже не вытерпела, сказала вроде бы шутя, со смешком, но и обиженно:

— Что это ты, мам, как не родная? Все тебе у нас не так.

— А что, думаешь, все у вас так?— взорвалась старуха.— Думаешь, вы уже и забогатели, уже и бога за бороду ухватили?

— Забогатели не забогатели, но хоть поживем как люди. А то какая наша жизнь была?

— Какую тебе твой муженек обустроил, такая и была.

Шапкин посмеивался, вспоминал старое, помалкивал, говорил себе, что не обращает внимания, но если честно, то старуха сбила-таки ему настроение. А от этого, может, и дальше пошло все без должной размеренности и торжественности. Как-то торопливо сели за стол, погнались взашей тосты...

Но ведь все это чепуха. Праздник как праздник — гости сыты, пьяны, довольны. Чего еще? Никто не ругался, не дрался. Вот только Ленька Бочков...

Ленька приперся очень некстати. Пожалуй, даже назло. Ведь знал, паразит, что здесь и Лизка, и муж ее новый, Аркадий этот, а нет, приперся: здрасте вам! Да еще и с бабой. Конечно, будь все хорошо, Шапкин постарался бы его как-нибудь сплавить. Но тут — словно черт подмигнул — подумалось: «Ах, вы-де меня еще и подкусываете, так вот вам Ленька! А я что? Я сбоку: нельзя же за праздничный стол человека не пригласить, раз уж он пришел, верно?»

Ну, а Ленька — это Ленька. Уселся прямо против своей бывшей жены, Тихона Захарыча стал величать — «мой дорогой несостоявшийся тесть»... Лизка и пяти минут не высидела — шмыгнула на кухню, за ней уныло потащился Аркадий. Зато остальным Ленька очень даже понравился. И то, в самом деле, что за застолье без хвастуна и враля?!

— Я так вам скажу,— размахивая ветчиною на вилке, вещал он,— так скажу, что отпуск у нас — это не один месяц в году, а единственный, когда ты человек. Я вот на данный момент автобиографии в Сургуте, нефтью народ обеспечиваю, так? Там тебе — и морозы, и комары, и иные сласти, но как популярно у нас поется: «Жила бы страна родная, и нет нам иных забот», так? Я согласен. Вкальваем. Но! Но одиннадцать месяцев. И ни днем больше! А уж как я из своей тайги улетел, то тут мне чтоб никаких трудностей — желаю жизнь на полную катушку. И жизнь, я вам скажу, очень это, между прочим, уважает — такое отношение. Вот такой, например, нюанс про один фитанец: приезжаю я с бабой в Сочи...— Он проворно крутнулся к своей молчаливой спутнице, погладил ее по голове, заулыбался:— Это еще не с тобой, Нинон, ты уж меня извини, но ты еще не озарила тогда моего сердца. Да! Так вот... А приезжаем, надо сказать, вечером, ночью почти. Что тут делать? В частный сектор не пойдешь, а гостиницы там для нашего брата сроду не было, так? Идем все же в гостиницу. «Мне бы, говорю, девушка, номер. Переночевать. И хорошо бы люкс». Десятку в паспорт. Она все это мне назад в окошко — ффрр! «Мест нет и люкс у нас семнадцать пятьдесят в сутки!» Вот тебе, мол! А я не обижаюсь. Вынимаю десятку, кладу полсотни. «Вы, девушка, только не угрожайте. Подумаешь, семнадцать пятьдесят! Я если хочу спать, то мне ничего не жалко!» Во! Зато номер, я вам скажу, у нас был: два гальяна, царская кровать, так? Широценная... Мы как начали с одного боку пересадки, так до другого и не доехали.

— Ленька!

— А что ж, Ниночка, я ж честно! Каюсь: изнемог, уснул. Моя любовь широка, ты знаешь, но кровать оказалась шире!

У Тихона Захарыча от смеха пузо, как поршень,— вверх-вниз, вверх-вниз. Он его даже руками придерживает. Но тещи за столом нет. На кухне, что ль? Лизка, что ль, обиделась? Ну и черт с ними! Ленька-то уже совсем готов: носик красный.

— Граждане бывшие родственники, ша! Предлагаю этот хрустальный бокал за моего ученика и последователя Мишку Шапкина — так? Это я не из нахальства говорю, а по факту, так, Мишель? Мишелюнчик ты мой! Ведь если бы я тебя из-под Ленкиной юбки не вытащил,

так ты бы там и сидел, а не в этих прекрасных стенах. Но я сказал: «Мишка, плюнь!» Так, старичок? И потому предлагаю всем основательно выпить за настоящих мужчин, умеющих зашибить деньги, и тех настоящих женщин, кто умеет их дожидаться. Тут ты меня обошел, старик, тут ты многих обошел, потому как иная сучонка...

— Выдь на минутку,— позвала его от двери Мария Анисимовна.

— Виноват, господа, но вынужден закругляться. Бывшая теща вызывает меня на дуэль! Мишель, прошу в секунданты!

— Во клоун!

— Совершенно верно, я человек веселый. За настоящих!— он лихо выпил, пролив коньяк по подбородку, и, отирая его платком, пошатываясь, пошел к двери.

Больше, естественно, не вернулся; был какой-то шумок, родственник колотунчик. Ленка бегала на кухню уговаривать сестру, отлучался тесть, и наконец за столом снова появились Лизка с Аркадием, слегка обиженные, но все величаво прощающие, не желая портить родственникам праздник.

Так что ничего особенного, все обошлось. А хоть бы и не обошлось, хоть бы и скандал, так ему-то, Мишке Шапкину, что? Ихнее, так сказать, лично-собачье, пусть сами и разбираются.

...Солнце давно стояло над головою, жгло нещадно. Шапкин все перекопал и теперь разравнивал, хребтом граблей разбивая крупные комки земли и с тревогой следя, как быстро они сохнут, точно сединой подергиваются.

«Ничего,— как бы утешая эти не ко времени сохнувшие комья, думал он,— тут у меня все уже продумано, встану завтра пораньше, вытащу шланг в кухонное окошко и всех вас, милые, напою, со мной не пропадете! Все будет хорошо, а то, что немного не по себе, так это похмельный бзик. Бзик, и ничего больше. Было бы, по правде, из-за чего тревожиться, так вспомнилось бы из-за чего, не так уж я был и пьян».

А сам все вспоминал, все вытаскивал из забвения вчерашнее, присматривался: что же там было такого плохого, что и сегодня мутит душу?

Осоловелые Пашкины глаза?

Это, конечно, не подарочек папаше. Тем более что Михаил увидел их как-то внезапно. За столом Пашка

сидел скромно, пил красное по полрюмочки, потом вдруг исчез.

Молодежь вообще крутилась больше в Светкиной комнате, магнитофон там аж хрипел от натуги, тасовались какие-то девчонки, парни, все очень мало знакомые. Да и когда мог Михаил познакомиться с ними, если в ноябре только приехал, если дня свободного от разных хлопот еще не имел? Даже теперь, на празднике, хоть и тянуло туда, а все как-то не выпадало минуточки, чтоб зайти, присмотреться, что к чему, кто к кому...

А там, как и за столом в большой комнате, то появлялись новые лица, то исчезали, вспыхивали какие-то обиды, кто-то сидел в углу, надувшись сычом, кто-то в изнеможении от смеха падал на диван и дрыгал ногами. Мелькнула одна приметная фигура: длинный, лицо все в нежно-розовых бугорках прыщей. Михаил даже собрался спросить: неужто у Светки такие ухажеры? — но прыщавый быстро исчез, да и не понять там было, кто танцевал со Светкой, кто вообще с кем? Как это решить, если они все вскидывают ноги и вертят тощими задами в одном общем кружке? Вот только Пашка и Колька Бочков, племяш Ленькин, стоят у магнитофона, рассуждают.

Тут вдруг и резануло: э-э, да они там, оказывается, при деле! — бутылка у них, рюмки. Колька наливает и что-то говорит, говорит, убеждает в чем-то, а Пашка смотрит на него бессмысленно выкаченными, совершенно пьяными глазами.

Шапкин поманил сына в коридор.

— Немедленно умойся холодной водой, и чтоб я тебя больше не видел! Тут же спать! Сопляк, понимаешь...

Тот вяло кивнул, послушно поплелся. Шапкин вернулся назад, но Кольку уже как ветром сдуло.

То-то Пашка и сегодня как побитый, рожи на глаза не кажет. А отец-то и забыл было. Хорош! Надо бы с ним основательно поговорить, но это и вечером не уйдет. А что же еще? Что еще там было?

Так он и на работу пошел — снова приняв душ, свеженький как огурчик, бодрый, как редко бывают бодрые люди после трехдневного праздника, но так и не задавив, не разгадав этого въедливого червяка, мутившего душу.

Было без пятнадцати четыре, участок наш не совсем еще пошабашил, Антищев даже не выключал своего строгального, остальные чистились, а Славка Моторин, недавний ученик и нынешний сменщик Михаила Константиновича Шапкина, весь уже умытый и прихорошенный, в немыслимо оранжевой — аж глазам больно! — тенниске торчал перед желтоватым осколком зеркала, вставленного в дверку его шкафа, и тщательно, уголкем расчески поправлял на висках прядки мокрых блестящих волос.

— Красив, — подходя, насмешливо сказал Михаил. — В кино?

— На танцы.

— О! Дело! А что ж ты, — Михаил критически окинул взглядом невысокий штабелек подрезанных Славкой уголков, — вроде бы и на входные билеты сегодня не зашиб, а? Или тебя девки на свои водят?

— Иногда, — Славка захлопнул дверку шкафа и одернул тенниску. — Главное ведь, дядь Миша, что? Главное, что станок я почистил отлично, постарался. И дядь Миша может теперь башлять сколько его душе угодно, а я... я как-нибудь. Деньги, дядь Миша, это вообще прах, дым!

— Да ну?!

— А ей-богу! Знаете народную мудрость? «Чем меньше на дворе, тем легче голове». Во! И я с этим совершенно согласен!

— Эхе-хе... Не клевал тебя, юнош, жареный петух куда следует!

— А вас, дядь Миш? Покушался? Неужели?

— Было, юнош, было, к сожалению.

— Как интересно! И куда же? — театрально всплеснул руками Славка.

А народ вокруг, праздный уже и никуда не торопящийся, невольно прислушивался, подходил поближе, предвкушая обычную их словесную дуэль — невиннейшую забаву наших пересменок.

Заводик наш был нов, и все мы были на нем люди новые; каждый только присматривался, прислушивался к соседу: что за человек? Откуда такой? В маленьких тесных городках на новом месте работать всегда особенно интересно. Вдруг открываешь: есть и такие люди, каких ты, оказывается, еще не знал! Это бодрит, подхлестывает любопытство.

Зимой, когда у Шапкина с его учеником эти споры о богатстве и деньгах еще только разгорались, я и сам прислушивался к ним с большим интересом. Шапкин тогда у меня, как и у всех, впрочем, ходил в куркулях. Шикарный дом у него, машина, лодка, куча всякого прочего... Ну, а Славка — Моторины жили в общем-то нормально, — но сам Славка, как и все в его неполные восемнадцать, был бездумно нищ и бесконечно богат только собою.

Да и потом, когда Шапкина с Моториным развели в разные смены, а споры их стали привычным ритуалом нашей пересменки, когда доводы, шуточки и подкусывания обоих пошли скучнеть и повторяться, я все равно неизменно подходил к спорщикам — посмотреть.

Длинный и тощий Славка вился вокруг своего противника как коршун, забегая то с одной, то с другой стороны и принимая картинные позы. А невысокий, лысоватый и уже начинавший тяжелеть Шапкин только не спеша поворачивал за ним голову, усмехался, поглаживал пальцем крылья толстого носа и говорил, нарочито затягивая паузы. Только иногда, и порой без всякого повода, он начинал недобро щуриться, а на висках у него мгновенным гневом набухали узластые синие жилы. И он либо замолкал, без церемоний обрывал спор, либо начинал говорить о другом. Какая-то неизжитая, давняя боль, глубокая обида мерещилась мне за этими внезапными переходами. Я недоумевал: откуда она у Шапкина, человека богатого и, следовательно, благополучного?

— Успокойся, расскажу я, расскажу, как он клюет, — говорил теперь Шапкин, не спеша разминая в пальцах сигаретку. — Вот ты представь себя папашей. Детей у тебя, скажем, двое. У младшего туфли порвались, у старшего — колготки, в доме ни хрена, а до полочки пять дней. Как быть?

— Ну и что? Да занять! Свет не без добрых людей.

— Ага. Идешь ты занимать. Свет не без добрых людей, верно, но денег у них всегда почему-то в обрез. Ну, а у кого они есть, те, понятно, не такие добрые и тебя считают дурачком, раз ты займы просишь. Почему, дескать, у них есть, а у тебя нет? Потому только, что ты жить не умеешь. Ну и прежде чем дать, надо тебя поучить, так? И вот стоишь где-нибудь во дворе или на кухне, слушаешь эту лекцию и хочется тебе плюнуть на все, послать подальше, но... сглотнешь и стоишь. Сто-

ишь, поддакиваешь и чувствуешь, как даже в позе что-то такое собачье у тебя проявляется. Вот так, Вячеслав Батькович, постоял бы ты этаким макаром на чьей-нибудь кухне, так узнал бы, что человека портит больше — деньги или их отсутствие?

— Отсутствие, значит? А присутствие?

— Знаешь поговорку: «При деньгах и Панфил всем людям мил!» Заучи. Это все ж таки тоже народная мудрость.

— А эта мудрость, дядь Миш, что дышло. Есть и такая: «Для чего мне ум? Были б деньги да спесь...»

— При деньгах можно быть и умным. Без них ты все равно дурак. Деньги, юнош, тем и хороши, что дают возможность быть самим собой. Заработай и живи свободно.

— Не... Я, дядь Миш, и, не заработав, очень даже могу быть собой. Мне для этого много не надо. Тем более что на билеты мы скидываемся.

Жила на виске у Шапкина набрякла и мгновенно опала, словно он вспомнил что-то, но тут же раздумал злиться и спорить.

— Иди-иди. Танцуй!

— А все ж таки, Константиныч, сѣдни мальчонка тебя срезал, а? — посмеиваясь, сказал Кузьмич. — Шустер спорить. Тебе и крыть нечем было.

Шапкин не ответил, открыл дверку шкафа, вынул комбинезон.

— Ничего, — пообещал за него кто-то. — Мишка завтра отыграется, приходи послушать, Кузьмич.

Мы расходились, цех пустел.

Наш заводик металлоконструкций еще достраивался. В нем и первая-то смена была неполной, а вторая — совсем тихой. На механическом участке только Шапкин, Кузьмич на пресс-ножницах, два сварщика да девчонки по покраске. Я никак не мог понять, как это люди соглашаются работать одни в гулкой пустоте огромного пролета, забитого мертвым металлом. С тоски ведь взвоешь!

Но Шапкин любил вторую смену, и как раз за то, от чего другие бежали, как черт от ладана, — за безлюдство ее, одиночество, тишину, отсутствие начальства. И сейчас, крепя к столу своего фрезерного станка тяжелую заготовку штампа, неуклюже вырезанную автогеном из восьмидесятимиллиметровой листовой стали,

он с удовольствием следил, как все вокруг затихало, как редела пыль в косых солнечных столбах, тянувшихся от стеклянной кровли, как в большом пролете в последний раз, гудя моторами и тенькая, покатыл мостовой кран. «Нет,— думал он,— все-таки здорово, когда никто над тобой не указчик, не подсмотрщик. Хочешь — песню затяни, хочешь — поднажми, повкалывай на двух станках и смойся пораньше, хочешь — просто так посиди...»

Залустив станок, послушав для порядка, как, ровно постукивая, фреза легко входит в металл, он пошел было по цеху, посвистывая, руки в брюки, но вдруг, точно вспомнив что-то, поспешно вернулся, прибавил оборотов, подачи. Потяжелевшие стружки смачно защелкали в проволочную сетку, зашипели, зафыркали, попадая в лужицы масла на станине, а Шапкин постоял-постоял, да и принялся настраивать строгальный.

Вряд ли он смог бы и сам внятно сказать, что такое вспомнил, отчего заторопился, почему решил, что надо ему сегодня пройти две стороны у всех десяти заготовок (а это, если поднажать на двух станках, можно часам к десяти справиться) и отваливать... Но только когда и строгальный зашаркал, отщелкивая на пол тяжелые синие стружки, Шапкин немного смог успокоиться и впервые за весь день, без всякой натуги, просто так, почти нечаянно подумал о приятном — вспомнилось ему вдруг, что Ленка беременна и, значит, где-то к зиме запищит в его новом доме некто крошечный, потянет к Шапкину ручонки, словно перевязанные у запястий розовыми ниточками... То-то славно! И что, в самом деле, за дом, стены которого ни дитячьего писку не слышали, ни старческой воркотни?

Ленка баба еще молодая, здоровая, родит как из пушки, а что сейчас вроде бы не хочет, ворчит и кочевряжится, так она и Светку носила — спорила, и Пашку рожать не хотела, да и все они, Евины дочки, любят, чтоб поуговаривали их, поупрашивали. Ему поупрашивать не жалко, ничего!

Вот только разговор об этом, бывший у них перед праздниками, вышел неприятным. Хотя — нет, неприятным там было что-то другое. За суетой оно рассеялось, а теперь снова откуда-то полезло, стало вспоминаться, и робкая улыбка довольства, чуть тронувшая шапкинские губы, исчезла.

Была уже ночь, ребята спали по своим комнатам, а они еще разговаривали. Ленка стелила. Он, полуголый, сидел на окне, с наслаждением дыша ночной прохладой и свежестью.

— Подумал бы хоть, что люди-то скажут,— говорила она, доставая из тумбы и раскладывая подушки.— Дочь невеста, а мать себе пузо завела. То-то красиво!

— Чего они понимают — люди твои? Ты у меня еще вон какая...

Он потянулся, чтобы обнять, она увернулась.

— Балуй, балуй! Мальчишку все из себя строишь. В мои годы, если хочешь знать...

— А сколько тебе? Семьдесят?

Нет, в самом деле смешно: разве это годы — тридцать восьмой? Да она сейчас получше, чем в восемнадцать была. Только лицо немного отяжелело, оплыло книзу, в щеки, а зато какие она волосы отрастила?! Когда, вынув все шпильки, встряхивала головой, волосы ее в голубоватой мгле ночника казались такими легкими, летучими, что у него перехватывало дыхание. И руки, что, выскользнув из широких рукавов, вынимали эти шпильки, белые, полные руки, были куда женственнее, соблазнительнее, чем когда-то.

Конечно, годы, разлуки... На Сахалине, перед самым отъездом, ему вдруг стукнуло: а что, если они давно стали чужими, забыли друг друга, охладели? Подумалось вроде бы так, ни с того ни с сего, и он строго одернул себя: о чепухе, мол, думаешь! — а все ж таки чуть не месяц это его томило, не уходило из души. Главное, не за Ленку он тут боялся, а за себя. И, вспомнив это, Шапкин счастливо засмеялся: на пятом десятке его тянуло к жене так же всечасно и бездумно, как сразу после свадьбы.

Ленка подозрительно обернулась на его смех:

— Ты чего это?

— Так... В твои годы иные бабы первенцев рожают. И рады-счастливы.

— А куда ж ты-то торопился, а? Мог бы тоже в молодых ходить, а теперь гляди, как бы дедом не стал.

— Ой, испужала! Жениха еще нет, а уже внуками грозишься.

— А и что? Нынче знаешь как: без жениха, без свадьбы, а бац — внуки!

— Во дура! Эт ты про свою дочку так-то?

— Охо-хо,— вздохнула она.— Все мы чьи-то дочки. Ложись.

А ему вдруг расхотелось лечь. Спрыгнул с окна, полез в брюки за сигаретами.

— Интересно говоришь, мать!

— Дымить на крыльцо дуй. И так голова болит.

— Ладно, пойду,— он накиннул на голые плечи пиджак, но у двери остановился.— Загадками говоришь, мать. Ты лучше не темни, давай сразу!

— Чего тебе давать?

— Про Светку. Рассказывай.

— А чо тебе про нее рассказывать?— Ленка даже на кровать села, уставилась на него, округляя глаза.

— Ну-ну! Сама завела, я не тянул за язык. С чего начала про внуков?

— Да ты дурак, что ли, иль с тобой и пошутить нельзя? Подхватился, заметушился! Ложись лучше, а то смешной какой: в трусах, в пиджаке, злой,— она хмыкнула.— Ну, вот те крест, ничего нет! Просто подумалось мне вдруг.

— Чего подумалось?

— Так просто, вспомнилось. В ейной комнате прибиралась сегодня, а мне и попадись под руку брошюрка «Гигиена беременной». «Ты, говорю, читаешь?» Она зашла как маков цвет: «Что ты! С чего я стану?»— «Ну, говорю, не Павел же? Он к таким делам ни при чем».— «А я при чем? С ума ты, что ли?» А потом смотрю, она между делом все на себя этак в зеркало поглядывает. Поглядит и вроде засмущается... И опять поглядит.

— Так, господи, понятное же дело! Ты, что ль, в девках про эти дела не думала?

— Так и я про что?

— Ну, бабье!

— Бабье, бабье... Не всем же мужичьем быть. Чай, заскучаете?

Сейчас, припомнив весь разговор, Шапкин только подивился своей бог знает откуда взявшейся нервности. Что, в самом деле, и тогда могло его напугать, и сейчас при воспоминании заставило екнуть сердце? Все ведь хорошо, нормально. Светка у него, сравнительно с другими, очень даже тихая.

Но рядом с этим, разумным и успокаивающим, глубоко в груди сидело, жгло угольком: а вдруг?

Все эти годы в отпуск приедешь — родня, то-се, вроде бы и не до детей. Только подарков навезешь да по головкам погладишь. Волосики у обоих Ленкины — легкие, шелковистые. Погладишь — и на сердце теплет, и кажется, что вот ты отец, детей любишь. А они ведь растут. И выросли уже, а ты все думаешь, что по головке погладил — и хватит.

Какие за всю эту зиму разговоры были? «Сделай! Сходи! Подай!» — словно не дети родные, а у него в бригаде они, сорвут шабашку и разойдутся.

А ведь уже взрослые. В марте, когда оклеивали и красили Светкину комнату и она, стоя на столике, тянулась, чтобы разгладить верхний край обоев, он невольно отводил глаза, точно чужой. Всего три года назад, когда приезжал в последний отпуск, была совсем пигалица, руки, ноги, казалось, не сгибались, а складывались наподобие плотницкого метра. А теперь...

— Это ты мне такие обои выбрал? — спросила она, когда уже заканчивали клеить. — Или мама?

— Какие?

— С намеком.

— Чего-чего? — не понял он.

— Да вот.

Она ткнула пальцем, и тут только он заметил, что меж желтых и розовых полос рассыпаны на обоях парно сцепленные золотые колечки.

— Смотри-ка... ишь ты! А я и не видел. Надо же!

— Не видел? — немного даже разочарованно протянула она. — А я думала, вы нарочно. Мамка, чуть что, сразу: тебе замуж пора. А что значит пора?

— Считаешь, рано?

— Ну, почему рано? Просто это в принципе неправильно: пора — не пора, возраст подошел... Вот когда ты влюбишься да в тебя влюбятся, правда? Это же должно совпасть, а не возраст?

— Само собой, — он усмехнулся. — Только это как раз в нужный возраст у всех и совпадает.

— Вовсе нет. У нас многие девчонки еще в седьмом классе повлюблялись, а у меня и в училище мальчика никогда не было.

— Не было? А теперь?

Она засмушалась, опустила глаза. Ему бы, дураку, подождать, помолчать. Может, разговор бы душевный

вышел. Но — поздно было, двенадцатый час, торопились.

— Поддай ножницы, — попросил он.

Она подала, он принялся вырезать кусок обоев, чтобы наклеить над дверью — и все!

...Да ведь он дом заканчивал, дом! Понимают ли они это? Понимают ли, что дом — это, можно сказать, всей жизни пуп, корешок всего, чем мается и счастливится сердце. Вряд ли! Откуда им?

2

Как ни была бы широка, противоречива и бестолкова порой человеческая мечта, можно всегда отыскать один символ, одно слово, к которому все в конечном счете и сводится. Для одних это, скажем, Слава, Открытие, для других — Положение, для третьих... Ну, всего не перечислишь. Было такое слово и у Шапкина — Дом.

Правда, само оно появилось в его мечтах довольно поздно. Зато потом, оглядываясь назад, он всякий раз с удивлением и радостью убеждался, что, и внезапно, безгласное, оно уже очень давно все стягивало к себе, объединяло все неясные желания и представления о должном.

Уже в том смутном, полуосознанном детстве, когда он жил в крошечной комнатке в конце длиннущего — сквозь весь барак — темного коридора, пахнувшего кошками, жареным луком, гремящего патефонами и пьяной руганью, уже тогда, казалось ему, он чувствовал, что дом — это не совсем то, что есть у него. Дом — это у других. Скажем, у Оли.

Эта самая Оля ничего не оставила в памяти: ни фамилии, ни черточки какой. Даже не помнилось, беленькая она была или темная. А дом вспоминался долго, сладко-замедленно.

Летом там надо было открыть калитку, пройти по усыпанной толченым кирпичом дорожке, вытереть ноги о тряпку, а еще лучше совсем разуться и босиком взбежать на крыльцо, застланное толстым ковриком, плетеным из пестрых тряпочек. Дом таил тьму интереснейших, необыкновенных вещей. Например, на подоконниках зимой там не стояли, как у них, холодные лужицы, а лежали толстые желтоватые фитили, и вода с оттаивающих стекол сползала по ним в темно-корич-

невые бутылки, подвешенные на суровых нитках. Комнат было несколько, и в самой дальней жил Олин дедушка, который даже от окна к столу не ходил, а ездил в деревянном креслице на скрипучих колесиках и совсем никого не видел. Они приходили туда, просили сказку; дедушка рассказывал одну за другой без конца, так что им даже надоедало; они потихонечку убегали или начинали тут же, у его ног, во что-нибудь играть.

Но даже лучше, чем в самом доме, было у Оли в саду, где под большой рябиной за врытым в землю столом в сумерки пили чай с картофельными пирожками, а им с Олей в чай насыпали свежих вишен без косточек. Мишка ложечкой вылавливал их со дна стакана, и они сразу же обдавали весь рот горячей кисловатой сладостью, какой-то очень свежей, щекотной, от которой хотелось смеяться и болтать ногами.

Так все это и стоит до сих пор в душе одним куском, слитно: вкус горячих вишен, чей-то смех, черная, скрипуче-кожаная рука Олиного отца, синеватые сумерки, теплая, толстая пыль под ногами и мамкин голос издалека, нетерпеливо зовущий его: «Мишка, домо-ой! Мишка!» И Олина мама. Большая, в мягком капоте с красными разводами, вкусно пахнущая борщом. Она наклоняется и испуганно шепчет: «Тебе ничего не будет?» Его рот забит до отказа, он мотает головой, торопливо вылавливает оставшиеся вишни, спеша насладиться этой удивительной сладостью.

Мамка, конечно, опять пьяная, даже по голосу слышно, но чего ее бояться? Ну, шлепнет пару раз на крыльце или за ухо дернет, так это чепуха! Он даже и рад бывал: пусть она на него позлится, пусть поругается с кем-нибудь из соседок, это все ничего. Нет, самой матери он никогда не боялся, а все-таки память о ней как-то сама собой переплеталась с самыми сильными страхами, пережитыми им.

Страшно было, если уже на улице она принималась целовать его, тискать, а потом вдруг кидалась плакать, бухалась, не притворяя дверь, у самого порога на колени и ползла к комоду, на котором стояла фотография отца, моля с неожиданными взвизгами и подвывами: «Костенька! Пожалей! Некому дуру твою пожалеть и поучить некому, до чего докатилась, себя забыла, сыночка твоего, кровинушку, не холит, не оберегайт...» Мишку начинало мелко трясти, он убегал и долго сидел

за сараем, за поленницей, пока кто-нибудь из соседок на него не натыкался и не уводил к себе ночевать.

Страх помнится даже ясней, чем сама мать. Она, как ни напрягай память, видится смутно: невысокая, черная, очень худая. Вся одежда ее, и та, что на ней, и висевшая на гвозде за дверью, пахла совсем не так, как капот Олиной мамы, а чем-то нищенским, кислым.

И тот, самый страшный день... Сумерки, но света еще не давали, он делал уроки, пристроившись боком у подоконника. Вдруг в бараке забегали, запричитали, кто-то ногой, с треском распахнул дверь в их комнату, и женщины внесли на руках, положили на кровать маму.

Мишка кинулся к ней, она хотела ему что-то сказать, но половина лица у нее была странно неподвижной, точно мертвой, слова не получались, лишь бестолковый хрип вылетал из груди. Взрослые сразу куда-то исчезли; дали свет, а она все манила его рукой, все пыталась что-то сказать, закатывала живой глаз. Мишка никак не мог понять, чего она хочет, приносил воды, держал у нее перед глазами портрет отца в резной фанерной рамочке, но она смотрела на него недолго, потом снова замычала, задвигала морщинистой щекой. Тогда он встал на табуретку и снял со стены декоративную тарелку, на которой в веночке из незабудок изображен был лапотный мужик с балалайкой и сверху выведено чудными буквами со множеством завитушек: «Каков Дема, таково у него и дома». Эту тарелку, он знал, когда-то давно, когда его еще не было, расписал и подарил маме отец. Теперь она долго смотрела на нее, помаргивая живым глазом, и вдруг усмехнулась одной стороной рта. Это было так неожиданно и жутко, что Мишка выронил тарелку, упал возле кровати на колени и заплакал, а она чуть гладила его по волосам, с трудом дотягиваясь живую руку.

Окно совсем уже почернело, когда комната снова наполнилась взрослыми. Среди пришедших были две тетки в белых халатах под пальто. Они сразу стали перекладывать мать на рыжие брезентовые носилки, толклись у кровати, и тарелочные осколки с каким-то всхлипом хрупали, попадая им под галоши. Мишкин страх сделался нестерпимым, он кинулся к стоявшей у двери Олиной маме и спрятался лицом в ее холодное, пахнущее морозом пальто.

Но когда унесли маму, вовсе не она, а костлявая, громкоголосая Мочаиха, приходившая иногда ругать и стыдить мать, а то и бить ее пьяную по щекам, велела ему одеться, взять школьную сумку и, крепко ухватив за руку, вывела в темь.

Они долго шли по черным безлунным улицам сквозь редкий брех невидимых псов. Мочаиха шагала молча, крупно, все время подергивая Мишку за руку, как бы подгоняя. Повизгивали снегом ее галоши, набитые поверх самодельных стеганых валенок, шумела при ходьбе грубая серая юбка. Они пересекли рельсы, даже сквозь мороз слабо отдающие запахом мазута, и сердце у Мишки совсем замерло, потому что по эту сторону дороги, в Андронихе, он никогда еще не был. В сгустках тьмы угадывались по бокам дороги деревья, кривые колья, лоза и проволока заборов, изредка смутной прожелтью светились окна изб, а они все шли и шли.

Наконец, обметая ноги в темных сенцах, поднялись в избу. Здесь горела керосиновая пятилинейка, две девчонки-растрепки сидели за столом и, печально подперев мордочки, неподвижно глядя на лампу, пели что-то очень тонкое и грустное.

— Я вот вас!— сказала Мочаиха.— Ишь, керосин жечь!

— А страшно.

— Развылись, ишшо и страшно им! Ну-к, сей минут спать!

Девчонки брызнули из-за стола, Мочаиха прикрывала и задула лампу. За ее спиной голубоватой мутью проступило окно.

— Ты где, Мишук?— сняв ватник и опускаясь на лавку, спросила она.

Он шагнул от двери на голос.

— Ну вот,— она развязала его шапку, взъерошила волосы,— у нас и поживешь, пока все прояснится. Сей день один бог знает, жилица твоя матря, нет ли... А в школу тебя Лизка сведет, понял? Есть хочешь?

Он отрицательно затряс головой.

— И правильно. Не то что мои оглоедки. Им только сваря — все сметут и чихнуть забудут.

Она на ощупь сдвинула на печи заслонку и полезла туда ухватом. Шептавшиеся девчонки разом смолкли.

Проснулся Мишка на печи и очень испугался, обнаружив себя так близко к потолку, да еще не к беленому; как у них в комнате, а дощатому, темному. Он поспеш-

но повернулся на бок, чуть не свалился и расплакался, а девчонки внизу засмеялись.

Завтракали. Каждому досталось по большой картофелине в мундире и горстке кислой капусты. Попили теплого чаю, заваренного сухим брусничным листом, пошли в школу. То есть он с Лизкой пошел, а меньшая осталась дома, отчего-то напоследок заревев и получив подзатыльник.

На улице было так же темно, как и вечером. В сумном снеговом свете блазили то ли кусты, то ли чьи-то страшные, скрюченные руки; Лизка шагала молча, как Мочайха, и никак было не понять, была ли эта изба, ночь, завтрак или он, как шел вечером, так все и идет неведомо куда, прочь от своего барака, от мамки, от Олиного дома. Зачем? Куда? Быть может, он давно когда-то заснул в своей жизни и вот проснулся совсем в чужой, холодной и страшной? Было так себя жалко, что, не удержавшись, он всхлипнул. Глубоко, горько.

— Ты чо?— испуганно обернулась Лизка.— Дурак, что ль? Вот возьму дрын...

Мишка примолк.

Медленно светлело, и, когда подошли к школе, уже можно было различить под ногами узкие, гладкие вдавинки, оставленные на бугорках чьими-то санками.

Он ходил тогда в первый класс.

А к весне Мишка жил уже в детдоме, в другом городе. Сначала там все очень ему нравилось: и черное пальто с белыми железными пуговицами, и то, что по городу они ходили строем, как военные, и марш, который каждый вечер играла Аделаида Карловна на аккордеоне, пока они расходились по своим палатам. Но потом, когда сошли снега и распустилась во дворе зелень, когда дни удлинились и вечерний марш звучал в реденьких сумерках, Мишке стало трудней засыпать.

Детский дом стоял у самой станции. Сразу за забором начиналась сортировочная горка, в открытые настежь окна пополам с черемуховой сладостью втекал едкий, душный запахок мазута, колесной окалины, хриплые селекторные команды, цоканье буферных тарелок. И представлялось, что какой-нибудь из этих вагонов непременно покатится в Порфирино,— вот бы узнать какой и спрятаться на нем между ящиков. Он бы только чуть-чуть подсмотрел, кто живет в их комнате, да

Олина мама напоила бы его чаем с вишнями, а он сказал бы ей о детдоме.

Мишка думал об этом каждый день, все думал и думал, не засыпая, и от этой первой детдомовской весны на всю жизнь осталась у него неистребимая привычка тянуть последние минуты дня и яви, до отказа набивая их то смутной тревогой, то сладкими мечтами о будущем.

Очень рано, классе уже в шестом-седьмом, вошла в эти мечты и женщина, но совсем не так, как в разговоры на заднем дворе, где за огромным, едко вонявшим хлоркой мусорным ящиком они тайком курили подбренные бычки и говорили о самом-самом.

Больше и дольше всех девчонок нравилась ему тогда Рита Воеводина, дочка Нины Александровны, русички.

Русичку все любили за то, что перед каждым праздником она непременно звала всех детдомовских к себе в гости. Жила она в новых больших домах, за станцией, в двухкомнатной квартире, и, когда приходили детдомовские, там всегда уже пахло пирогами.

Разрезал пироги за столом сам хозяин дома, Ритин отец. Он торжественно снимал, вешал на спинку стула китель с орденскими планками, подкатывал рукава защитной рубашки и стоял наготове со странным ножом, похожим на пилку, когда Нина Александровна вносила на большой доске пирог. Пирогов всегда было даже два: один с мясом, другой с чем-нибудь сладким. Ели их до отвала, пили темный, прозрачный чай из тяжелых чашек с кобальтовой росписью, смеялись, болтали. За этим столом всем было легко и просто даже тогда, когда Нина Александровна просила почитать стихи или Ритка садилась на табурет перед пианино и надо было хором ей подпевать.

На самом закате из-за угла соседнего дома медленно вываливалось красное морозное солнце. Застывшие волны тюлевых гардин делались тогда розовато-голубыми, теплыми. Казалось, зима куда-то исчезла, везде тепло, покойно. И чем сильнее, глубже захватывал этот обман, тем делалось грустнее. Все притихали, никому не хотелось уходить, хоть и знали — пора!

А зима за окнами только притворялась теплой и розовой. Пока они грелись и нежились, она набирала синеватой вечерней стылости и — только выскользни из подъезда! — наваливалась, пригибая плечи, гнала бе-

гом через пустырь до самой станции и со злобным шипом: «Я васс!» — осыпала колючей поземкой.

Рита Воеводина была младше их, девичье в ней еще только проступало чуть-чуть, только угадывалось. Главный знаток по этой части Колька Шиткин говорил, что она похожа на белого мышонка. Мишка беспечно соглашался. Но наступал очередной чай у Нины Александровны, и опять мучительно, до сухости в горле хотелось легонько провести пальцами по тоненькой с голубыми жилками Ритиной шейке и как бы нечаянно чуть-чуть коснуться того неопределенного, что на вздохе остренько подпирало ее цветастое платье, отделанное блестящей голубой лентой.

А потом, когда расслабляющая теплота сна уже обволакивает тело, когда распускаются в душе все узелочки, что упорно держишь затянутыми весь день,— потом выплывал к нему из серой мглы некий большой дом с распахнутыми в цветущую сирень окнами, где светловолосая женщина качала детскую кроватку с блестящими никелированными спинками (он видел однажды такую на рынке), и в дом этот входил мужчина, руки у него были большие, волосатые, улыбка широкая; светловолосая женщина поднималась навстречу, заранее вскидывая руки для объятий...

Или представлялось раннее утро, косое солнце, квадратами лежащее на полу и постели; женщина спала, разметав волосы по освещенной солнцем подушке, а мужчина, весь мокрый от утренней росы, на цыпочках, боясь разбудить ее раньше времени, крался от двери с пригоршнею синева-спелой садовой малины. Присев на край постели, он проталкивал ягодку в ее влажные полуоткрытые губы, и женщина просыпалась, смеясь. Этим мужчиной был он, а женщиной — Ритка Воеводина.

Вдруг, как бы очнувшись, он открывал глаза и думал, что до войны вот так же, скармливая ягоды, его отец будил маму. Никак было не вспомнить, от кого он это слышал, но сам выдумать, конечно, не мог. Как не мог и понять, где же это было, где они жили тогда, его родители? Ведь не в бараке же?

У Мишки грудь ныла от нежности, когда он представлял себе эту сцену. И потому он ни за что бы не согласился, чтобы это происходило в бараке, в их зачмуханном бараке, где помои выплескивались прямо с крыльца, где женщины обзывали друг друга сучками,

а мальчишки кому-то в отместку или просто для развлечения ловили и вешали за сараем кошек!

В его мечтах нежность была с таким несовместима. Все девчонки, все женщины виделись ему в окружении особых, сияющих чистотой и светом, ласковых и добрых вещей, хотя в жизни его такие вещи мелькали лишь изредка, в чужих руках, недоступные... Мечты были щедрей. В них он окружал будущую свою женщину лучшим из всего, что видел, а когда не мог уже придумать, что бы еще такое поставить рядом с ней, то засыпал, утомленный, так легко и светло, будто в самом деле повидал заманчивый краешек будущей жизни.

И — господи! — куда же все это потом делось? Как незаметно растаяло, сквозь какие утекло пальцы?

Любовь, женщины... Все это вошло в его жизнь совсем не так, не таким. Первая любовь его была какой-то душевной. Его пускали часов в одиннадцать, когда было совсем темно, и выгоняли задолго до рассвета. Если он, торопясь и путаясь в брюках, задевал стул или звякал пряжкой, на него шипели с неподдельной злобой: «Нишкни ты! И откуда взялся на мою голову, охламон бестолковый!» Утром на душе бывало паскудно и больше всего хотелось вымыться.

А все-таки больше года он жил только ожиданием этих ночей, через две на третью, когда муж ее, бригадир поездной бригады, уезжал с ночевкою. Остальные дни как-то вообще потеряли для него интерес и значение, были заняты компанией, пивом и вермутом где-нибудь на травке, за танцплощадкой, той самой топталовкой, на которой ни одна девушка не сумела отказать деповским. Тем, кого это не устраивало, лучше было совсем здесь не показываться. Частенько все кончалось дракой, милицейскими свистками, драпом врассыпную по скверу.

И только иногда, вполпьяна валясь на койку, Мишка смутно, с тоской вспоминал свои предсонные светлые видения и клялся себе, что так живет он только пока и только потому, что его скоро заберут в армию.

В армию его провожали гулко, гуляли сперва в общежитии, потом на чьей-то квартире, потом в скверике у депо, где на старых полуголых березах сгустками тьмы висели вороньи гнезда и грай над головами казался то безумно забавным, то зловещим.

Наконец укатил поезд, и замелькали в окне золотые рощицы, замельтешили перед глазами остриженные наголо, странно белые лопухие головы, показалось, что все позади — жизнь начнется совсем другая, но и в армии, по сути, очень долго продолжались все те же «так только» и «пока», все тот же единственный сегодняшний, неизвестно откуда вырванный день, даже не день, а минута полусна, потому что как раз дневной ясности и не хватало этой жизни, тянущейся «только так» и «пока».

На третьем году службы сержант погранвойск Михаил Шапкин надолго попал в госпиталь — с туберкулезным очагом в правом легком.

Врачи говорили, что это опасно, а он никак не мог поверить в серьезность своей болезни. Ничего у него не болело, вообще ничего не было, кроме кашля и противного пота по ночам. Житье же в госпитале было скучное. Целыми днями дулись то в шашки, то тайком от врачей в карты, десятками пили противнейшие таблетки паска, безуспешно и не очень даже старательно приударяли за сестричками. И все это разом переломилось.

Однажды ночью Шапкин проснулся в тоске, в тревоге, весь облитый холодным, знобящим потом. В незашторенные, а только закрасненные снизу окна светила неяркая луна, путанные тени тополиных веток шатались по стенам. Было тихо, но сразу почувствовалось, что никто не спит.

— Эй! — окликнул соседа. — Чего не спишь?

— Не знаю, — тут же отозвался тот, — а ты?

Шапкин встал и осмотрелся. Одна из коек в дальнем углу была пуста, даже застлана одеялом. Накинув халат, он тихонько вышел в коридор. Тут у самой двери его остановила сестричка.

— Ты куда это?

— А где Дунаев?

— Вот те раз! Тебе-то что? Его в другую палату перевели.

— Ночью?

Перед отбоем он травил ей анекдоты, она смеялась, и теперешний строгий тон ее показался ему подозрителен.

— Тебя забыли спросить. У Дунаева кровотечение, ему капельницу будут ставить, понял? Иди-иди, спите все!

Он вернулся и в самом деле уснул.

А назавтра за обедом вдруг стало откуда-то известно: ночью Валерка Дунаев умер. Все встали из-за столов как никогда тихо, старательно делая вид, что ничего особого не произошло. Поболел человек и умер. Очень естественно.

Следующая ночь выдалась ветреной. Тополь за окном все время качался, тонкие ветки его, обросшие льдом, чуть слышно позванивали и странно вспыхивали в лунном свете. Луна стояла полная, спокойная, очень круглая. Не было ни страха, ни тоски, но не было и сна. Только и оставалось, что лежать и думать о покойнике.

Этот Валерка Дунаев был парень шепутной, даже, пожалуй, глупый. Голова у него была смешная: маленькая и будто пришлепнутая с боков. Он ни о чем никогда не говорил, кроме как о себе, да и о себе всегда рассказывал одно и то же: какая у них деревня Бортниха, какая его там ждет невеста Валя и к какой вдовушке он ездил до армии в соседнее село, когда окончил курсы и шоферил в колхозе. Он и теперь, ежели комиссуют, собирался заехать к ней на недельку, а потом уже домой, к матери и невесте.

— Так к вдове-то на кой?— спрашивали его.

— Так ведь у нас как?— тянул он, свешивая свою маленькую головку на плечо.— У нас пока-а оженят, а солдату не грех и поджиться чуток, верно?— и хитренько подмигивал: знай, мол, наших!— Не, на недельку это, паря, обязательно, это как закон.

Теперь он лежал в морге на обитом жестью столе и зеленоватые пятна тлена проступали на его заостренных щеках.

И еще в ту ночь Михаил думал о письме, что третий день лежало в его тумбочке. Ребята с заставы сообщали, что после дембеля хотят всей компанией податься на трассу Абакан — Тайшет, звали с собой. «Надо, пока молодые, хоть кой-что в жизни поглядеть. Как ты об этом мыслишь, старичок?» А его мучило от этого словечка — «пока». Оно вдруг стало ему ненавистно, казалось маленьким, скользким и дурно пахнущим, как серый банный обмылок.

Утром он написал ребятам, что ни на какую великую стройку не хочет, а поедет в свои края, пойдет обыкновенно работать, потом построит дом или получит квартиру — как выйдет. Ну, и женится, конечно. И еще в госпитале успел получить ответ, написанный всей за-

ставой, каждым по фразочке: «Счастливо стирать пеленки!», «Старик, не будь бабой!», «Обменявшему стройку века на стройную Веру»— и так далее в том же духе. Он не обиделся, даже похохотал, читая, но решения не изменил.

В начале мая его комиссовали и, не спросив почему именно туда, выписали билет до Порфирина. То, что не спросили, показалось обидным. Зря, значит, так часто и подолгу обдумывал, что сказать, если спросят. Но, в конце концов, не все ли равно — спросили, не спросили,— про себя-то он теперь точно знал, почему именно туда.

Поезд, постукивая, почти приплясывая на рельсах, помчал его в новую жизнь. За окном блестела молодая мокрая зелень, белые купы черемух то и дело проскакивали назад, растаивая в голубом небе, а черные распашанные поля не спеша поворачивались, торжественно показывая себя.

Ночью он сошел с этого поезда на небольшой станции. Было холодно, пришлось раскатать шинель. «В Порфирино?— спросили его в деревянной будке дежурного.— В Порфирино у нас запросто. Поезд вон стоит, на четвертом пути. Может, ночью и отправим, а может, и завтра».

Поезд был товарный, а в самом конце — три старых пригородных вагона, выкрашенных шелушащейся зеленой краской, с деревянными скамьями. Стекла выбиты, холодрыга. Мишка завернулся в шинель, лег на скамью и уснул.

Проснулся — все та же сырая ночь за окном, тьма, запах тумана. Кто-то шел вдоль состава, дзинькая путейским молотком, глухо поскрипывая гравием. Мишка поспешно вскочил, высунулся в окно:

— Эй, дядя, Порфирино уже, да?

— Станция Моховое Болото...

Путеец, не поворачиваясь, удалялся, тая в слезящейся мгле со своим подслеповатым желтым фонарем.

Кто-то всхрипнул совсем рядом, во тьме. Мишка осветил фонариком: через скамейку от него спал мужик в сером дождевике, обнимая туго набитый и тоже серый мешок с лямками. Откуда он взялся? Неужели Мишка так крепко уснул? Или наоборот: мужик уже спал, когда он пришел?

Шапкин стал было снова укладываться, но почувствовал, что не может ни лежать, ни сидеть. Зуб на зуб не

попадал, и не от холода, а от того, что все в нем странно натянулось. Счастливое, восторженное нетерпение пробегало по всему телу крупной дрожью. Не зная, что делать с собою, он вышел в тамбур, распахнул дверь и, жадно вдыхая мельчайшую холодную влагу, слушал сонный паровой шип и железное полязгивание станции. Явные эти звуки казались почему-то лишь жалкими, случайными помехами общему, почти неразличимому, но мощному и ровному гулу.

Похоже, он уже слышал этот гул когда-то давно в детстве. Или, может, гул этот сопровождал его всю жизнь, незаметный и неостановимый, как ток крови? Во всяком случае, он будто вернулся домой, услышав его снова.

«Нет-нет,— думал он,— гул вовсе не чудится. Это шумит лес. Настоящий лес, не лиственный. Не лопочет, не волнуется под ветром, а мощно, протяжно вздыхает, гудит».

И в одно мгновение, точно он был птицей или богом, Шапкин ясно увидел этот лес с огромной высоты. Он был бесконечен. Ниточки рек, железных путей, станции, города, клочки распаханного подзола — все это было случайно, все могло возникать и исчезать, а зеленый океан леса будет все так же гудеть на ветру и все новые и новые люди, пьянясь восторгом, будут вдыхать его ночной, горчащий туман.

Шапкин думал о Валерке Дунаеве, умершем так внезапно и нелепо, и одновременно о своем отце, пропавшем без вести, словно потонувшем, затерявшемся в этом лесу, и о доме, что отец собирался, да так и не успел срубить в Порфирине,— вдруг, бог весть из каких глубин памяти мелькнуло, как мать водила его показывать ихний участок,— и о том, что такой дом все-таки должен быть и будет, и в нем вырастут дети, и старый, ослепший Михаил Шапкин будет доживать свои дни в дальней комнатке, в скрипучем креслице на колесиках. И еще думалось, что человек лишь частичка чего-то огромного, прекрасного и неведомого ему, и что это хорошо, потому что надежно.

Тоска счастливого нетерпения в нем все усиливалась. Не выдержав, он схватился за вагонные поручни и стал дергать их изо всей силы: «Ну! Поехали же!» Тяжко хрустнув всеми суставами, будто с трудом, нехотя поддаваясь его раскачке, поезд медленно тронулся с места.

Первый его день в родном городе вышел необыкновенно удачен. Рабочие заводу не требовались, но демобилизованного токаря все же взяли, и даже нашли в общежитии койку. Гул и бред счастливых ночных мыслей еще не выветрился в его голове, а его уже вели по барачному коридору, чтоб показать эту самую койку — в предпоследней комнате, у окна, в углу.

Он сунул под нее свой чемоданчик, постелил белье, пристроил шинель на общую вешалку и, не зная, чем бы еще заняться, присел к окну.

Как-то странно пусто было в этом окне. Будто он уже сидел тут однажды и что-то там видел, а теперь вот ничего нет.

«Точно! — вдруг пробормотал он, поднимаясь. — Точно».

Как пелена сошла с глаз: да здесь же, на месте этих куч мусора, стоял их барак. Конечно! А напротив, в другом бараке, то есть в этом, в котором он сейчас, и тогда было общежитие, только между ними сарай еще были, поленницы, а теперь ничего.

Михаил вышел на улицу и спросил у первой же бабки: что тут собираются строить, для чего снесли барак?

— Вроде, сказывали, магазин будет, да давно уже. Потом бросили. А ты чей будешь? Не наш? Не порфиринский?

— Когда-то в этом вот бараке и жил, — сказал Михаил. — С матерью.

— Ну? Тогда тебе жалко, конечно. А мы привыкли уже. Завод теперь новые дома знаешь где ставит? За рынком. Не видал?

— Нет еще.

— Сходи, милоч, дома хороши, двухэтажные. А старое не бери в сердце, бог с ним со всем.

Старушка была маленькая, в сером мужском пиджаке с подвернутыми рукавами и в белом платочке. Лет ей, судя по всему, было немало, но голубые глазки не выцвели, помаргивали слезливо и добро.

Шапкин попрощался с ней и без всякой цели пошел дальше по Заводской улице. Давешний восторг ознобом погуливал по спине. «Надо же, — думалось, — как все совпадает! Будто и вправду судьба ведет. И сейчас вот иду, ни у кого не спрашивая. Неужели знаю, помню эту дорогу? Да нет же, не знаю, другому бы, пожалуй, не подсказал, а сам вот иду!»

Мочаихина изба оказалась не так уж и далеко. Старуха была дома, но Мишку не узнала, да когда он и назвался, ничуть не помягчала лицом, не открыла калитки.

— На матрину могилку, выходит, приехал, уважить?— строго глядя, спросила она.

Он растерялся под этим взглядом.

— Конечно. То есть не совсем так. Я совсем приехал, работать. Завтра уже первый день выйду. Да вот к вам зашел, поблагодарить, что приютили тогда.

— Ну что ж,— она открыла калитку и чуть отодвинулась на край тропы.— Проходи, раз пришел. Мы с матрешей твоей подружки были, и даже вроде родни, мужья-то у нас двоюродные, знаешь небось?

— Нет,— сказал он.— Я совсем мало помню. Так, несколько моментов. Что я тогда был? Первый класс, малявка.

— Соплениш, а нравный. У нас все молчал было. Спроси — ответишь, а так ни-ни, молчок.

— Ну? А мне казалось, я ревел тогда много. Нет?

— То-то и есть, что ни капли. Я и то удивлялась: нечувствительный совсем, думаю, мать помирает все-таки.

Полы в избе были недавно вымыты, еще влажны. Неловко потоптавшись у стола, Шапкин вытащил из кармана бутылку портвейна.

— Вы извините, может, что не так, а я думал — за мамину память.

— Чего тут извиняться? Закусить что-нибудь придумаю.

Принесла стаканы, немного кислой, мягкой от долгого лежания капусты, пару моченых яблок.

— И я с тобой согрешу. Люблю сладенькое. Ну, за Ксану, легкого ей лежанья!

Помолчали.

— Эх,— вздохнула старуха,— в молодости ведь матреша твоя была огонь-девка, плясунья, хохотушка, а потом... не я ей судья, а все ж жаль: сошла баба с пути, да и сгнула.

— Трудно ей было, наверное?— спросил Михаил.

— Дак кому легче? Все ж таки я Гришкиной крови не уронила, подняла дур-то своих, хоть их у меня и двое, а Ксана балованная была, уж очень любил ее Костя. Где ты приткнулся?— вдруг спросила она.

— Общежитие дали, а там — как получится. У нас после дембеля билет до любого места, так ребята все

в Абакан звали. Стройки, говорят, посмотрим, надбавки там всякие, — он пощелкал пальцами в воздухе. — А я говорю: нет уж, подамся в родные места. Где родители жили, там, значит...

— Ну и дурак! — перебила старуха. — Разливай остатки, что ли? Бог с тобой, и за тебя выпью.

— А почему же дурак?

— Да, а чо? Парню-то после армии самое на стройку и ехать. Там деньга — ему одеться, прикупить чего, собрать. А здесь что иметь будешь? Так, думаешь, тут тебе и разогнались платить?

— Ну, почему же? У меня...

Он что-то хотел возразить, но в сенях послышались шаги, кто-то взбегал по ступенькам, легко напевая; дверь хлопнула и — в желтых цветах платье, светлые волосы, перетянутые красной лентой, легкая рука, — больше он и рассмотреть не успел, так быстро она исчезла за заборкой. Брошенное «здрасьте» было коротким и рассыпчато-звонким, как нечаянно дернутый колокольчик.

— Старшая ваша? — спросил он.

— Ленка-то? Да ты все забыл. Старшая — она и тебя-то старше, замужем давно, я и бабка уже — во! А эта тогда и в школу не ходила. Ленк, подь-ка к нам на минутку.

— Младшая, как же, я помню.

А вспоминалось что-то белесо-болезненное, жалкое, искривленный обидой и плачем рот... Ничего похожего!

Года через четыре — семейные уже были люди, двое детей — как-то раз напал такой стих: стали перед сном вспоминать, говорить, какая у них была встреча, какая любовь. Вернее, это Ленка все говорила: ох да ах, да у нас с тобой почти как в книжке!

А Шапкин курил, осторожно поддакивал, а сам думал: «Неужто и в самом деле? Может, она присочиняет?» Вроде ничего особенного в ихней любви не было. В первый раз, у Мочаихи, они почти не глянули друг на друга, и только недели через две очень обыкновенно встретились в клубе на танцах, поговорили, он пошел провожать. В общем все, как у всех. Неужели и про мечты говорил, про лесной гул, про дом, который хотел построить отец? Наверное, говорил, раз она вот помнит, а сам он ничего не помнил по отдельности. В памяти

время их любви возникало как бы одноцветным, как бы сплошным, с гулом летящим мимо. Все мимо, мимо, завод, ребята — все мимо, сердце зашлось нетерпением в ожидании чего-то необыкновенного, скорей, скорей!.. Будто бежишь куда-то, задыхаясь, все в гору, и вдруг все оборвалось, вокруг тишина и прохлада, и некуда торопиться, ничего впереди не надо, только бы этот латунный закат все горел и горел в окне, не исчезая, не слабея. Что действительно запомнилось ему подробно и ярко — так это закат, пылавший в тот вечер в окне Мочаихиной избы.

Жара еще не спала, окно не закрыли, от улицы их отделял только густой, сильно разросшийся куст бузины. И Ленка раздевалась на пылающем фоне заката, зажмуриваясь от собственной смелости и бесстыдства. Она вся была тогда такой легкой, прохладной, шелковой.

Даже не сразу скажешь: один был такой закат или сотня? У Ленки надо спросить. Полтора месяца? Так мало? А в памяти вроде бы целая полоса жизни или один бесконечный закат, а потом сразу — та ночь.

Ну и дождь тогда был! Ну и гроза! То и дело все вокруг заливалось синюшным трепещущим светом, дождь налетал порывами, сад глухо шумел, роняя яблоки. Ленка боялась молний, уткнулась лицом ему в грудь: «Ой, мамочки, мамочки, мамочки...» Потом гроза ушла, она заснула, а он все лежал, все слушал, как бормочет дождь, стекая по жестяному желобу в бочку, все ждал, когда можно будет уйти, и вдруг увидел себя бредущим по лесу, под дождем, а там вроде бы полно телег, мужиков, баб, и он у всех спрашивает, как же отсюда выбраться, а все от него отмахиваются, всем некогда, сгружают, валят с телег на землю ржавые железные коробки. Лязг, гвалт.

Проснулся... Мария Анисимовна за заборкой двигала своими конфорками с такой яростью, что ничего, никаких слов нельзя было разобрать, но слышно было, что она кричала и Ленка кричала, и ему надо было, конечно, встать, выйти, объяснить, защитить. Он натянул поспешно штаны, схватил рубаху, да так с рубахой в руках и застыл, как бы выпал из времени. Стоял у окна и глядел на листья бузины, осыпанные бусинами дождя. Нет, сбежать не думал, просто оцепенел. Как бы холод какой вдруг пробежал по сердцу.

Даже не вспомнить, чем это все кончилось, куда исчезла Мария Анисимовна, он ли вышел наконец, Лена ли зашла к нему за заборку?.. Просто он увидел ее робкую улыбку, линялый ситцевый халатик, голые до плеч руки и — словно лопнула вокруг него какая-то пленка — стало совершенно непонятно: пред чем цепенел, о чем думал? Вот она Ленка — его жизнь, его дом. Ничего не надо решать, не надо думать — надо просто жить, просто жить и все тут!

Никогда он и потом не задумывался, хорошо ли это вышло у них, плохо ли, как в книжке или, может, как в кино? Это ж жизнь, а не шашки: ход назад не попросишь, по-другому не двинешь. Что было с ними, то ими и стало, жизнь свою уже нельзя представить без этого, да и зачем? Поперек своему сердцу он не ходил, а ошибается сердце или нет — судить трудно.

После той грозовой ночи все пошло уже совсем другое, семья пошла, дети. Хотя... почему же другое?

Жизнь течет сплошняком, как река, границ в ней нет. Это потом, в памяти, она делится на полосы: тут все было хорошо, а тут пошло плохо. Вот, скажем, светлая полоса — первые два-три года после женитьбы. А потом все темней, темней и перед его отъездом совсем черно.

Ленка, когда вспоминает их первые годы, так даже жмурится, словно кошка на солнышке: «Вот, Миша, когда мы жили-то...»

Но если говорить всерьез, полосы — и темные, и светлые — это обман зрения, не больше. Все, что отравило жизнь потом, — все началось сразу же, а что было хорошего, то так и осталось при них. И если не ахать, прикрывая глазки, как Ленка, а вспоминать все по порядку, то выходит, что полосы эти только мерещатся, что даже в самые розовые годы такие порой выпадали минутки — черней сажи, почти сумасшедшие!

Одна такая и сейчас все крутится в мозгу.

Пашке месяцев семь; Ленка не работает, у нее грудница, соски нарываюи; у Светки корь, гамма-глобулина в аптеке нет, теща достала где-то через кого-то, по пять рублей ампула. В доме детский плач непрерывный. Ленка так от него осатанела, что Светку — большую, крошечную! — отшлепала.

На эту картину Шапкин в избу и заскочил. Из сарая, с охапкою дров. И такое было у Ленки лицо, что он даже испугался, бросил дрова, выхватил Светку: «Тихо

ты, тихо!» Та обхватила его шею горячими, обсыпанными краснотою ручонками, прижалась всем тельцем, вздрагивающим, всхлипывающим, тоненьким. Он запахнул ее шинелью, что-то забормотал, заходил по комнате, и она там, под шинелью, постепенно угрелась, перестала вздрагивать, притихла, как собачонка.

— У нее совести ни капли! Бессовестная совсем!— это Ленка про нее, про кроху. Да криком!— Видит, я Пашку кормлю, у меня и так глаза от боли на лоб лезут, так нет — и она еще тут давай! А я... я... — и вдруг шлепнулась на стул, расплакалась.

Он подошел, погладил свободной рукой по голове, она схватила ее, прижала к лицу:

— Мишенька, родненький, что ж это со мной такое? Я как с ума схожу, Миша!

— Ничего, ничего, просто сорвалась маленько, ничего.

Чуть всех так заспокоил, печь затопил, на порог — теща. И с порога:

— Вот, дорогой зятек, курицу я вам купила, как ты и велел...

— Марья Анисимовна, да разве я? Врач же, для Светки бульончику.

Но теща его если уж что хотела сказать, то встретить было бесполезно.

— Да, зятек, как ты и велел. А знаешь, почему они нынче, куры твои? Не знаешь? Семь рублей отдала. Семь! Последние.

— Да наплевать, перебьемся как-нибудь, одолжим.

— Ну да! Он будет голь плодить, а я огород скородить, так вместях и проживем, как же! Тебе ж семья — что? Плюнуть и растереть. Посмотрел бы хоть, как другие живут, поучился. Вон Ленька с Лизкой!

— Так ведь, Марья Анисимовна! У них Игорь один, а...

— А я тебе, что ли, дитёв делала? Я б на Ленкином месте такого вообще не подпустила. Это какой дурой надо быть, чтоб тебя-то за мужика принять?

— Мама, да что ж ты, как не стыдно?— это Ленка.

А может, она и не говорила этого тогда — не вспомнить. Наверное, не говорила. Матери она еще долго как огня боялась и, если та начинала кричать, забивалась где-нибудь в уголок тихую мышкой. Да и вообще не вспомнить, чем же этот колотунчик семейный кончился,

как унялся. Начинаешь вспоминать — и душно делается, горло перехватывает.

И все-таки, все-таки... Что горло перехватывает, это правда, но ведь не гневом, не горечью, а одной жалостью. Не только Светку-кроху, не только Ленку, старуху — и ту жаль делается до боли сердечной. Что у нее, в самом деле, за жизнь была? Только-только один воз на горку вытянула, дочек на ноги поставила, тут бы человеку дух перевести, оглянуться, ан нет — впрягайся в новый, тащи внуков! Жаль, жаль старуху... И себя жаль. Да и во всем этом колотунчике теперь — через столько лет! — неожиданно проглядывает какое-то... умиление, что ли? Минута черная, а всматриваешься — и, будто соринка в глазу, все мерещится светлая, яркая точка, счастье в несчастье, вроде осколочного зеркальца, вмазанного в закоптелый печной бок.

А ведь было еще и настоящее счастье, без дураков.

Была их первая с Ленкой осень — необыкновенно долгая, яркая, сухая. На кусте бузины под окном до середины ноября, тихо осыпаясь, пылала листва, горели гроздья ягод, воробьи и синицы возились каждый погожий вечер на закате, а когда ночью, все оглушив, упал первый снег, наутро прилетел важный полногрудый снегирь, гулял, посвистывая, по веточкам, клевал ягоды, крутил головой от удовольствия, и веточки под ним покачивались, роняя летучий, искристый в солнечных лучах морозный пух. Они с Ленкой стояли у окна, пока не продрогли. Она была в одной рубашке, вся мягкая под рукой, теплая, притихшая, — навеки родная и неотделимая от плоти его плоть.

Пусть это одна только минуточка — что с того, если по каким-то законам она все перевесила, если заслонила в памяти целые годы?

Но уж слишком это своенравная штука — память.

3

Вот он сейчас стоит у станка, на душе сумрачно, тревожно, и о доме он думает, и о детях, о прошлой своей жизни. Он весь в этом, так? А глаз почти сам по себе, почти тайком от него любитесь солнечным лучом, падающим из кровельного окна. Вот луч этот, медленно двигаясь, дотянулся наконец до станка и задрожал, замерцал на вращающемся шпинделе, затрепетал крошечными зайчиками, будто не луч вовсе, а солнечная

струйка, и шпindel разбивает, разбрызгивает ее во все стороны... И может, где-то там, в старости, вспомнится этот день одним радостным фонтанчиком солнечных бликов. Что же тогда — считать, что так оно и было?

Нет уж, памяти тоже ни к чему особо доверяться. Она жизнь нашу упрощает, делит ее так и этак, а на самом деле в жизни все спутано, все, и хорошее и плохое, начинается одновременно, из одного корешка прет.

Вот хоть бы так рассудить: что в его жизни было самое лучшее? Жил он честно, работал по совести, семью свою любил от души! А худшее? Худшее — это, понятно, нехватки, долги, вечно унижавшее его чувство бессилия, невозможности сдвинуть с места застрявший семейный воз. Но разве все это не та же любовь?

Они иногда ссорились, если Ленка покупала что-то такое, без чего можно обойтись. Он, бывало, ворчит, а у самого сердце ноет, и сам он, дай ему волю, наверное, полсвета скупил бы ей и детишкам.

Помнится, один раз несли полсотни — Бочке долг отдать, да по дороге зашли в магазин. Просто так зашли, минута была свободная. А там кофточки ксилонковые, голубые с белым: яркие-яркие. У Ленки глаза разгорелись.

— Денег у нас нет, не хватай!

— Я померить только, подожди.

Натянула за ширмочкой, позвала его. Как на нее и шито. К лицу, по фигуре — до того здорово, что она даже и не просила, он сам сказал: «Выписывай!»

От магазина повернули обратно. И радостно, и кошки на сердце скребут, а Ленка кошек этих заметила и вроде бы даже обиделась.

— Нашел, — говорит, — с чего расстраиваться. Подождет твоя Бочка. Она ж Ленке на машину собирает, не знаю я, что ли?

— На что ни собирает, а мы в долг брали.

— Ага, интересно по-твоему выходит! Ну и отдай, чтоб ей на машину хватило, а мы будем голыми ходить. Отдай, отдай...

Дурной спор. И ежу ясно: раз взяли, отдавать надо. А все ж затевали его не раз и не два, потому что, по сути, спор шел не о том, как говорилось словами. И тут-то, в подспудном, Ленка была права.

Вокруг, на кого ни глянешь, все уже вроде бы лучше них жить стали. Время такое наступило. Легко быть

бедным, когда все бедны или, по крайней мере, многие, а тут... Люди обрастали телевизорами, стиральными и швейными машинами, строили дома, покупали мебель.

Как-то разом, в одну, считай, зиму все женщины стали щеголять в сапожках на меху, за которыми специально ездили в Москву и платили за них чуть не месячную зарплату. У Ленки таких, конечно, не было, бегала в катанках, которые стали казаться всем такими неуклюжими, непрактичными, старушечьими. Но все же она и не заикнулась, что вот бы и ей сапожки, только все удивлялась: как же это люди такие траты себе позволяют? И сколько за этим удивлением стояло зависти и страстной мечты о том времени, когда и они смогут себе позволить! Иногда он не выдерживал, они что-нибудь себе «позволяли», а потом снова жали копейку и выговаривали друг другу за какой-нибудь кулек конфет, купленный перед получкой, а Ленка кричала на Светку и шлепала ее за порванные колготки.

Худо это — смотреть вокруг жадными глазами опоздавших, нехорошо для сердца. Ну, а что было делать?

Вот с ним, с Шапкиным, любят спорить те, кто считает его куркулем. С настоящим-то куркулем не поспоришь, а с ним вроде бы можно. Славка Моторин хороший парень, а так и кружит каждый день, ищет, куда клюнуть больней. Но этот — пацан. Походя по носу его — щелк! — и привет, Ваня! На Сахалине был орешек покрепче — Васек Горбоносый. С ним Шапкин прожил целый месяц в Ногликах, в командировке. Оба детдомовские, и так сперва по-хорошему сошлись, разговорились, а потом вдруг заспорили и пошли спорить из вечера в вечер, да чуть не до драки! Придешь с работы, а он уже за столом, уже за пивом сбегал.

— Садись, — говорит, — побалакаем!

Надо бы, наверное, махнуть рукой и уйти, но Васек парень был очень даже неплохой, вот что! Гулевой, но добрый и как-то задиристо, нервно справедливый. Спор с ним Шапкина как за ребро задел, захотелось вдруг, чтоб этот человек его понял, признал за ним правду. Шапкин ему даже про детские мечты свои рассказывал, про девчонок, что, раз понравившись, начинали сниться ему непременно в хороших домах, среди красивых вещей.

— Вот ты подумай, почему так?— говорил Шапкин.— Да потому, что я ж их по-настоящему любить хотел, оградить от всего, защитить! А когда женился, от чего я ее оградил? Чем порадовал? Только что забот прибавил, хлопот, боли... А совесть? Мне ж это поперек совести.

Васек ничего этого не хотел понимать. Ржал, скаля прокуренные зубы.

— Ишь ты!— радовался.— Мы были куркули еще с пеленок, а? А мне вот девчонки только голенькими снились, с самых моих молодых ногтей. Это почему?

— Да потому, что ты так и любил потом: одну бросил, другую.

— Но-но! Другая, положим, сама смылась, не в этом суть. Чем твоя любовь лучше моей вышла? Который год ты здесь, она там, только и общего у вас, что кубышка.

— Дурак,— говорил Шапкин устало.— Какая у меня кубышка? У меня не кубышка, а дети, понял?

— Ха! Удивил! У меня их, может, и больше по свету бродит.

— То не твои дети, то сироты.

— Врешь! Оттого так и рассуждаешь, что думаешь, в жизни главное — барахло. А душа, а добро?

— Барахло, если хочешь знать,— это добро и есть. Если на русский перевести.

— С какого же это?

— А черт его знает! Может, с татарского. Татарамто — что? Они ж кочевники были. Налетят, нагрябят, остальное пожгут, конями растопчут... А русский испокон веков кто? Хлебороб, ремесленник. Он эти вещички делал, берег, душу вкладывал. И для него они звались не барахло, а добро — во как! Потому что добро от человека к человеку только через вещи и переходит. Тебе голые девки снились, так ты думаешь, они что — ангелочки? Как бы не так. Оставь кого-нибудь в самом-то деле без вещей, без ничего — и кто он будет? Зверь ведь, вот кто!

— Зверь тот, кто другого за глотку хватает.

— Так вот он-то, голый, первый и схватит.

— А такой куркуль, как ты, и голого схватит, чтоб еще и шкуру с него содрать!

Зряшная все-таки была затея — этот спор. Ваське признать его, шапкинскую, правду было все равно, что сказать: жил я дураком и помру без пользы. Кто ж на

такое согласится? Они, эти гулевые мужики, богатая голь перекатная с окраинныхстроек,— они, может, и хорошие сами по себе люди, да мало от них в жизни проку. Жизнь ихняя вся раскрошена, разбросана по земле не глядя, пущена на чужую волю, и редко где прорастает. Как и семя их, выплеснутое в пьяном угаре и тяжелой грязи загула.

Но как ни чувствуй свою правду, а назовет тебя куркулем неплохой в общем-то парень — и долго будет тебе икаться. Васька давно в Корсаков уехал, в рыбаки подался, а Шапкин все еще с ним спорил. Не в письмах, конечно,— в душе. Один только раз этот спор незначай наружу выплеснулся. Аньку он им напугал тогда, любовь свою временную, сахалинскую.

У той такая манера была: везде она читала, даже после этого дела в постели. Он подремывает себе, а она лампу включит и за книжку. Спросишь: «Ну, что там умного нашла?»—«А вот послушай!»— и вслух. И все больше стихи. А Мишка, сказать честно, стихи напрочь не понимал. Читают — вроде бы красиво, а что к чему — не разберешь.

Поинтересовался так один раз спросонок, а она и выдала:

— «Зачем любить, копить добро, других опережать?..»

То есть стихи были длинные и, может, действительно совсем о другом, но Шапкин не стал слушать дальше. Резко перекинулся на другой бок, выхватил книгу.

— Ну-к, покажь! И вправду умный мужик: чуть «любить», так рядышком и «добро копить» ставит. А порознь и не ходи. Во здорово!

— Да ты что?— ошалело и даже как-то испуганно уставилась на него Анька.— Вовсе здесь нет такой мысли.

— Да есть, Аня, есть, не спорь. «Зачем любить, копить добро». Это точно. Это я как понимаю? Копить, вкалывать не хочешь, так и не люби, семью не заводи, детишек.

— Ты шутишь, что ли, Миш? Я вот тебя люблю, так что же мне...

— Тут другое дело, ты женщина,— увильнул он.

Не объяснять же было, что совсем не ихнюю, совсем не такую любовь имел он в виду.

Так что — вот так что.

Это только кажется, что стал мужик про любовь вспоминать, а сам все про деньги, про барахло — отвлекся, мол, жадности волю дал. Нет, милые, любовь и денежка по земле рядом ходят и одна без другой не живут, зря вы тут с Шапкиным спорите.

Мария Анисимовна все было возмущалась молодыми: «Нет чтобы впрок нажать — они вперед зажили». И точно. Когда уезжал, было у них девятьсот рублей долгу. Откуда, когда, почему могло столько набраться? Уму непостижимо!

Ленка, правда, на это легко отвечала: все, мол, из-за Бочки вышло, из-за ее жадности и сволочного характера.

Бочка, то есть Олимпиада Егоровна Бочкова, Ленки Бочкова мать, конечно, баба еще та! Как схватила их за горло, так Мишка только захрипел, только ручками затрепыхал. Это так. Но это не сразу. Шапкин не может по-бабьи все валить на неприятного ему человека. Он должен по справедливости. А по справедливости выходит, что Бочка их бедам не причина. До поры до времени еще и выручала от души, за что ей от души и спасибо, хоть баба она в общем-то вредная.

Первое время, впрочем, и разговору такого не было, что Бочка чем-то нехороша. Наоборот! После того как они с Ленкой расписались, Мария Анисимовна только и ставила ему в пример, как Бочковы живут да что у них есть. От старшей дочери она возвращалась всегда возбужденная, с широко распахнутыми глазами. Еще в сенях, разматывая платок, начинала:

— Слышь, Ленк, у Лизки-то благодать теперь какая! Ленька газовую плиту купил. Газ на улице в баллоне, в будке, а плита в кухне, если что сготовить надо, милое дело. До чего варко горит! Лизка чайник поставила, так в пять минут вскипел. Во! Живут же люди! Девяносто восемь рубликов за одну плиту отвалили. Зато важно как! А у тебя керосинка, словно не при мужике живешь.

— Да, мама, откуда ж нам такие деньги, почти сотня ж, — говорила Ленка.

Мария Анисимовна входила в комнату и, улыбаясь, потирая руки, подчеркнуто не глядя в Мишкину сторону, продолжала:

— Вот и я Лизку спрашиваю: откуда? А она: «Какое мое дело? У нас деньгами Ленька ведает». Не, старший зять у меня, слава богу, мужик.

Такая у нее тогда воспитательная тема была: старший зять — ого! — а младший — охо-хо. Тема понятная, да платили-то ему на заводе повременно, один голый тариф, сто двадцать рублей. Разве на них разгонишься? А мамочки богатой не было.

Когда Пашка родился и Светка болела, они за полгода больше пятисот рублей в долг набрали, все у Бочки. Да и потом не раз одолжались. Она к Мишке какую-то слабость питала, Бочка эта. Может, как раз потому, что ни невестки своей, ни сватьи терпеть не могла, головушку сына оплакивала принародно. Часть этой жалости, видать, доставалась и Мишке, в долг ему давали. А он брать-то брал, но отдавать — никак не получалось.

И вилась, вилась эта веревочка, пока не вышел ей довольно-таки неожиданный конец.

Полгода не одалживались уже, кроме как по мелочи. Даже надежда появилась: выровняемся, мол, выправимся. Тем более Ленка снова работать стала. И тут как черт попутал — угораздило Шапкина потерять с получки тридцать рублей.

Получил, сосчитал, сунул в карман пиджака — почему-то показалось неудобным при всех кошелек вынимать, прятать. А тут из ребят кто-то отвлек, решили ударить по пиву, пошли в коопторговскую столовку, он доставал из кармана носовой платок, мелочь, и ничего не зацепилось, не хрустнуло, и в памяти не было, что там деньги. Когда пришел домой, на месте была только пятерка и две десятки. Когда, как обронил он еще три — ума не приложить!

Если б это сегодня, так не стоит и хипишиться. Потерял и потерял. А в тогдашней жизни эти три десятки выбивали огромную дыру. Все ведь было давно высчитано и распределено: семнадцать отдать долгу, двадцать — дожить пять дней до Ленкиной получки, остальные — на какие ни на есть туфли. Дело было к весне, днями на солнышке сильно таяло, ходить в катанках было уже и мокро, и стыдно, а прошлогодние Ленкины туфли развалились еще осенью.

Она, бедняга, услышав про потерю, только ладошками щеки сжала, посмотрела на него испуганно, непонимающе и расплакалась.

— Да ты что?— Он виновато обнял ее, погладил по мокрой щеке.— Что ты как маленькая? Теперь-то ничего не попишешь. И как только меня, дурака, угораздило! Давай твои старые посмотрим, может, как-то все же починю и доходишь до аванса, а?

— А Зинаиде Гавриловне?

— Ей — конечно. Восемь останется, на них и перекрутимся, на картошке пересидим. Пять дней не велик пост.

На эти его слова и вошла теща. Очень она это умила — входить некстати.

— Что это вы опять на картошке сидеть собрались? У нас ее и осталось-то разве на семена.

Ленка стала рассказывать, а теща все вроде не понимала.

— Нет, как же он потерял?— переспрашивала, раз от разу повышая голос.

— Обронил где-то. Может, с платком вытащил, разве упомнишь? Задумался, наверное.

— Дак о чем задумался-то, о чем? Я рубль несу и то помню, думаю: рубль в семью несу! А у тебя что за мысли такие, что ты и про деньги забыл?— с вызовом спросила она.— Голову положу, не о детях.

— Не помню,— буркнул он.

— Еще б тебе помнить! Тебе б только с шаромыжками пиво, а что дети молоко не пивши — это тебе наплевать! «На кар-то-шке перекрутимся...»— передразнила она.— Ишь, умник! Картошка-то не твоя. А эта дура и уши развесила!

— Да ладно вам,— миролюбиво сказал он.— Со всяким ведь бывает.

— Нет, не со всяким, дорогой зятек. Не со всяким. Со мной не бывает. С тем, у кого про дом, про семью голова болит, с тем не бывает! А ты вот нищеты наплодил, мелкоты полно избу настрогал, так ты о них думай, думай!— Голос у нее вдруг сорвался на визг.

— Хватит вам меня учить,— озлился Шапкин.

— Ишь ты! А я б тебя и не учила, будь ты квартирантом, не мучайся за тобой Ленка.

— И прекрасно! Считайте, что квартирант!

— А коль квартирант, то вот тебе моя условия: со-роковку в месяц за избу, а то хоть завтра съезжай! Понял?— и вышла, хлопнув дверью.

— Слышала?— повернулся он к Ленке.

— Да эт ничего, это она так, ничего,— быстро забормотала та.— Не обращай внимания. Нам, Миша, только бы сейчас перекрутиться, рублей бы двадцать...

— Да достану я! Достану! Рожу!— неожиданно для себя рывкнул он.— На все достану! И тебе! И ей! Всем! Жрите!— и прямо как был, в одном пиджаке, выскочил из дому.

Только добежав до угла, задумался: куда он, зачем?— но не остановился. «Ну, нет уж... Я вам покажу!»— бормотал. А что мог показать, что? Двадцать рублей занять, чтоб перекрутиться? Они и так всю дорогу перекручиваются! И потом: нельзя же не обращать внимания, когда тебя из дому гонят. Вот Ленька-свояк — тот молодец! Поссорился с матерью, продал телевизор, взял жену за ручку и — адью, маманя! Лизке комнату снял, а сам и вовсе укатил за большой деньгой. А тут как на цепи сидишь и только зубами щелкаешь. Господи, нельзя же так жить, нельзя позволять, чтоб тебя сдуру пинали ногами! Вот бы ему хоть чуть-чуть подфартило, на какую-то лишнюю сотню — выскочить бы, оглядеться, старухе на стол сороковку бросить: на, мол, жри! Ей, понятно, не сороковка нужна, ей Мишку унизить надо, бессилие его ему же в нос ткнуть. А ему что же... и глотай, и глотай?

Не заметил, как добежал до Бочкиного дома. У той сидели гости, вся ее торговая родня — массивная, красномордая. В дом влетел как бы с разгону, незаперто было, а завернуть сразу оглобли не сообразил.

— А, родственничек, да куда ж ты? Заходи, заходи...— Бочка даже из-за стола приподнялась, хлопотала.— Подвинься, Иван Авксентьевич, сюда вот родственничка мово пристроим. Ленькин свояк, как же,— пояснила кому-то,— на другой Мочаихе женат, на младшей.

— Я лучше потом, Олимпиада Егоровна, я по делу.

— Да ты мне на дверь не мигай, тут давай, все свои. Выпей вот, садись!

«А, была не была, чего мне терять!»— он опустил на угол дивана, взял протянутую рюмку.

— Да что ж за дело-то у тебя?— радостно всплеснув руками, спросила Бочка.— Небось денег надо?

Он кивнул.

— И много?— еще сильнее обрадовалась она.

— Да нет, не очень... сотню бы.

Сидел с полною рюмкой, водка плескалась на вздрагивающие пальцы — так вдруг надавили на него все эти веселые, любопытные взгляды Бочкиной родни.

— Немного, значит, сотню,— Бочка умильно сложила пухлые ручки на огромном своем, высоко подпиравшем грудь животе.— Вишь, скромненько как! Вот за что я мочаихинскую родню люблю, так это за скромность. А сколь же ты мне должен уже? Не забыл?

— Восемьсот семьдесят.

— Так возьми сто тридцать, чтоб для ровного счета. До тысячи уже, а?

Тут только поставил он на стол свою рюмку.

— До тысячи возьми, а?— весело подмигивала Бочка.— Уж тысячу наверняка не отдашь, небось и не видел таких денег?

— Почему же не отдам?— он растерянно встал.

— Да ты не убегай, родственничек! Совести хватило прийти, так слушай! А то интересно у нас с ним выходит,— снова повернулась она к гостям.— Ленка евонная по всем углам несет: такая-сякая Бочка, воровка! Ленке, дураку моему, письма писать взялась: все, мол, врет твоя мать. Так? А он, вишь, приходит к доброй тете, сотенку ему дай. Ворованное, значит, берешь?

— Чего ворованное, какие письма?— не понимая бормотнул он.

— Вон! И чтоб духу твоего здесь не было, пока не отдашь до копейки. Чтоб духу, духу! Хватит! Залили сала за шкуру, поездили на старухе. Вон!

Он выскочил как ошпаренный; шел, оскальзываясь в подталые лужи, пряча глаза от резкого закатного солнца.

Бормотали ручьи в придорожных канавах, вовсю горланили воробьи, затевали веселые драки где-то там, вверху, на сухих уже, прогретых солнцем березовых ветках, но все это было не с ним, а далеко, в другом мире. В нем что-то остекленело. Он даже не думал о том, из-за чего это Бочка так вдруг окрысилась. Вообще ни о чем не думал. Только стыд и бессильная ярость жгли душу.

В начале сумерек пришел домой, разделся и, ни слова не говоря, лег, укрылся с головой. Ленка звала его ужинать, подходила, гладила плечо, даже плакала — он не поворачивался и не отвечал.

Назавтра был выходной. Шапкин проснулся поздно и с ясным сознанием, что так дальше жить нельзя, все надо менять. Обшарил жадными глазами углы: что продать? Телек? Кто теперь купит такой? Швейную машинку? Дадут за нее немного, а как без нее детей одеть? Себе дороже. Ленка распахнула шифоньерку, стояла перебирала, перебирала... Все стираное, штопаное, полцены ни за что не возьмешь. В доме вроде вещь, а на рынок вынесешь — тряпка. Ленка молча шмыгала носом, и слезы потихоньку капали на каждую вынимаемую вещичку. Но он не разжалобился, сказал жестко:

— Язык чесать умела, умей и расхлебывать.

— А что я? Как она наворовала полны руки, так я уже и молчи про все? — внезапно озлилась Ленка. — Она вон какие гадости про Лизку Ленке написала, ты б видел! Вонючка толстая! Если мы ей должны, так пусть она и барахвостит на всех, да?

Шапкин не стал отвечать. Он вообще в эти дни ни с кем не говорил, потемнел лицом, резкая складка пролегла меж бровей. Даже теща стала его побаиваться — обходила молчком. Дурацкое у него было положение: и денег взять неоткуда, и без денег ничего нельзя. Нельзя даже на заработки уехать, как Ленка, на которого оставалась единственная надежда. Должен был он вот-вот в отпуск приехать и, судя по всему, с деньгами. Правда, Лизка ничего им не обещала, говорила, у самих, мол, долги, но все-таки надежда была.

— Вы!.. Вы!.. А что вы? Мужик-то и настоящий — скотинка хиленькая. Растить долго, зато уходить в одночасье можно. А вы — какие вы мужики?

Так моя мама любила говорить. В редкую отдохновенную минуту, за праздничным столом, приголубив рюмку-другую.

Это, кстати, тоже ее словцо — «приголубить рюмку». Не опрокинуть или шлепнуть, а приголубить. Так она и пила — медленно высасывала стопку вытянутыми в трубочку губами и, опустив ее на стол, вежливо выдыхала в кулачок: «Ху-у, крепка!» И распускались на лбу морщинки заботы, темный румянец загорался на впалых щеках...

Ах мама, вечный мой укор, неизбывная тягость внезапных полночных мыслей! Отчего, почему, всегда ее так любя, я не умел, пока была рядом, ни ценить, ни

понимать по-настоящему? Отчего стыдился этого выдоха в кулачок и частушек, что певала она за столом высоким надтреснутым голосом, и разных ее шутейных словечек, а больше всего — этой самой фразы о тайной мужской хилости? Почему был уверен, что это всего лишь несмешная шутка, почти глупость?

Мама, конечно, шутила. Она улыбалась и даже подмигивала, произнося эту фразу. Это так. Но при том — какой искренний вздох жалости и недоумения перед несправедливым чудачеством природы срывался с ее губ, так рано увядших, обсыпанных мелкими сухими морщинками!

Конечно, мама не могла знать, что после любых исторических потрясений — не только войн, но и эпидемий, губительных неурожаяв — мужчин на земле всегда оставалось много меньше, чем женщин. Это я вычитал потом, в разных книжках. Но тому, на чьи плечи неожиданной и непосильной ношей рухнуло страшное одночасье, повыбившее «всего мужика», — тому, наверное, вовсе необязательно знать законы истории, чтобы понять и удивиться: насколько все-таки более живучее существо женщина («Вон, на одни аборт сколь кровушки, дурищи, тратят, а все живут!» — говаривала она) — возмутиться этой обидной несправедливостью природы и сетовать, что вот убить мужчину легче, а вырастить трудней и дольше, чем женщину. Хотя тут-то уже дело было не без тайного хвастовства — ведь мы, трое, сидели за тем же столом, выращенные, выученные: кандидат химических наук, учитель и я, самый младший и шепотливый, но и тот не совсем пропащий, а лишь слегка непутевый.

Да, пока мама была жива, мы еще сходились за одним столом все трое, заводили споры, мальчишеские самолюбия кипели... А она только поворачивала голову слегка то к одному, то к другому, посмеивалась, прикрывая уголком платочка беззубый рот, и видела каждого насквозь, хоть мы в хвастливом своем высокоумии были уверены: куда, мол, ей до наших споров?

Ах, мама... Но зачем же здесь, именно здесь я вспомнил вдруг и заговорил о ней? Зачем вообще врываюсь с прямою речью в размышления моего героя Михаила Шапкина? Может, не доверяю ему? Боюсь, что он не так что-то подумает и скажет? Да нет. Шапкин мужик упрямый, поболее меня тертый и мятый жизнью, так что он до своего додумается.

Но он одно, я — другое. Он видит свою судьбу так, я — чуточку иначе. И вот мне кажется, что рассказ о Шапкине будет неполон и невнятен, если вы не представите себе нашу Андронику, те несколько улочек, на которые он пришел в зятя примерно тогда же, когда я, выращенный ими, уходил в армию.

Андроника выросла перед войной, на самом тогдашнем краю нашего городка; участки здесь давали заводским — муфельщикам, формовщикам, обжигальщикам — мужикам крепким, добычливым, хватким. Они сами рубили себе избы, рыли колодцы, сажали яблоневые сады.

И как любили потом наши мамы, сойдясь, вспоминать недолгое свое житье за ними, благословенное это «до войны»! Иногда я, послушав их вздохи, хватал бумагу, подсчитывал заработки, цены на мясо, сахар, картошку, спорил до хрипоты, чтобы доказать им очевидное и всем поголовно известное, уже даже пройденное нами в школе, — что страна давно превзошла довоенный уровень и мы, следовательно, живем лучше, богаче.

Под напором цифр они отступали, полусоглашаясь: «Оно, конечно, так. Особого зажитку и не было, а все ж таки жили надежно, крепко, не то что теперь». И я никак не мог понять: что за надежность такую видели они в своей жизни? Что могла быть за надежность, когда фашизм стоял у ворот? Да они и сами уже не понимали, не могли объяснить. Жили крепко — и все тут!

А мы вот жили некрепко.

Улиц, подобных тем, на которых мы выросли, теперь, я думаю, уже и нет в природе. На улицах тех мужские шаги раздавались так же редко, как грохот автомобиля. Сто семь мужчин ушло из Андроники на войну, вернулось — четверо.

И кособочились избы, заваливались заборы, бурьяном зарастали широко-проложенные улицы, а мы, боконогие, в рваных трусах и майках, пасли на них коз, устраивали игры и шухеры, и судьбы наши с зеленого детства частенько кривились и заваливались без отцовского строгого окрика, без материнской ласки.

Но почему же без ласки, матери-то были у всех? Нет, милые, не думайте, что поймали меня на слове! В том-то вся и печаль, что быть-то они были, да ведь без отца рядом и мать не совсем мать, потому что не совсем женщина. До ласки ли им было, до тихого ли

материнского слова, когда на заводе то и дело сверхурочные, картошка не окучена, грядки не выполоты, с нами ни сладу, ни управы, когда вся жизнь ежедневно грозит сорваться в голод, в нищету, в болезни и гибель детей, и, чтобы она не рухнула, надо тянуть и тянуть лямку, от которой сердце коченеет, точно руки в лютый мороз.

И вот эти нежные женские руки в отчаянии машут кулаками, отвешивают затрещины, эти ласковые голоса то и дело срываются на крик, в скандал! А сердце не выдерживает непрерывного напряжения страха и злости — требует передышки, ждет праздника. Но и собравшись за чьим-то столом, заводят они все одно и то же, залихватски-надрывное «и корова я, и бык, я и баба, и мужик»... И тут же, пристроившись рядом, подтягивают им девчонки, готовясь впрячься в ту же лямку и заранее ожесточаясь на жизнь сердцем, чтоб выдюжить.

А потом... Все-таки все они одолели, перегнули и перемучили, и вот стали наконец подрастать мы, не отданные кори, дизентерии и туберкулезу, не загремевшие в колонии, даже одолевшие кое-как семилетку.

И что? Мы подрастали, а где-то далеко гремели уже великие стройки и, судя по газетам и объявлениям оргнабора, осыпали своих новобранцев деньгой и славой, а что светило нам, какие подвиги? Нас и на завод-то брали с большим скрипом. Как-то стерлось у всех в памяти, что были до войны муфельщики, обжигальщики, поливщики. Теперь брали муфельщиц, обжигальщиц, поливщиц. Это было уже привычней, да и проще: женщины народ более дисциплинированный, покорный жизни, тяжелый на подъем. А мы... Мы только до паспорта или до армии притыкались в лесхозе или какой-нибудь шарашке, а там...

Каждую весну и осень сбивались мы в косяки, как перелетные птицы. Плача, укладывали мамы нам чемоданчики, и наши девушки где-нибудь в слезах, наспех отдавались нам, не вслушиваясь в клятвы и не веря в наш новый прилет, а может, и просто не желая его ждать, потому что жизнь-то идет и сердцу необходимо ощущать ее ход. Оно властно требует своего — любви, материнства. А мы... Ничего мы не понимали! И даже гордились своей перелетностью, от многого нас освобождавшей. Нам ведь казалось: чем свободней, тем лучше.

— А вы — какие вы мужики? — с горечью дивились нам матери.

Мы жили некрепко. Точнее, наша жизнь шла, покачиваясь, как машина на выбоинах, легко швыряя нас из угла в угол просторного своего кузова — из сибирской палатки в кособокий барак столичной общаги строителей-лимитчиков, а оттуда — в тесный кубрик СРТ или куда-нибудь еще. И где-нибудь совсем неожиданно, как бы нечаянно настигала нас самая главная, самая неодолимая ее потребность, и тогда пределом наших мечтаний становились утепленные полвагончика, способные уберечь от простуды вдруг появившегося на свет малыша. И если мы даже возвращались наконец в свою Андронику, то, конечно же, не к тем, кого когда-то оставили, — к другим женщинам с их чужими детьми и чужим прошлым. И ни капли это нас не смущало, мы любили таких, какие есть, да и они не спрашивали, где и как мы шлялись по жизни.

Только потом, когда жизнь наша вроде бы устоялась и вошла в колею, — потом вдруг стало холодом подкатывать к сердцу старое, и мы, подолгу разглядывая среди ночи потолок, с удивлением и оторопью прислушивались к чужому дыханию рядом, дивились причудливости наших нескладных судеб и гнали прочь опасные мысли о том, что если в жизни все так действительно изменчиво и многовариантно, то на что же в ней надеяться и ради чего биться той неугомонной мышце, что уже начинала пошаливать, обмирать и жечь у грудины, окрашивая ночные мысли черной тоской безвозвратности.

И вот я думаю: откуда она в самом деле — та торопливая, та захлебывающаяся жадность богатеть и обрастать вещами, незаметно захватившая чуть ли не всех нас где-то на рубеже шестидесятых? Только ли от того она, что новые возможности рождают новые потребности? А может, больше от того, что люди, не умея удовлетворить трудные, главные потребности своего сердца, часто спешат подменить их чем-то близлежащим, легко достижимым: культуру — модой, надежность жизни — богатством, сердечную привязанность — случайной связью?

Может, вовсе и не случайно, что все это как-то разом ворвалось в нашу жизнь — и моды, и богатство, и свобода нашей любви, в которой, увы, все больше свободы и все меньше любви?

Чем больше я думаю об этом теперь, на пороге своих сорока, тем чаще вспоминаю давнюю мамину фразу и — кажется мне — теперь только начинаю понимать ее по-настоящему.

Однажды повихнувшись, жизнь долго не может войти в берега. Все откачку дает, противоток. Может быть, наши жены, подруги и любовницы, так легко и гордо умеющие обходиться без опоры на мужское плечо, а иногда даже и не тоскующие о той надежности жизни, что любили вспоминать наши матери,— может, они... не совсем еще женщины? Ведь и мы, поколение мужчин, выросшее без отцов, привыкшее к легкой перелетной жизни,— ведь и мы, если честно, не совсем мужчины — уж слишком легко нас сорвать с места и вывести из равновесия.

Хотя... Кто знает? Не окажется ли на поверку, что все эти объяснения — только длинные и путаные фразы, процент истины в которых ничуть не выше, чем в тысяче других, произнесенных ранее?

Была уже середина мая, и Шапкин, сидя на крыльце в старых армейских галифе и майке, резал картошку для посадки. Картошка была некрупная, с яйцо, но и ту решили резать, хоть чуть выгадать, поприжать денежку.

Свояк возник перед ним неожиданно, весь в сиянии. Костюм с особой какой-то блестящей ниткой, галстук переливается золотом, заколот булавкою с камешком.

— Айн!— Ленька выхватил из одного кармана плоскую бутылку коньяку.— Цвай!— из другого плитку шоколада.— Драй!— из третьего такую же.— Ну, цвай и драй — это детишкам дай. Нате, гаврики! Ленка, тащи сюда стопки. Иди ты со своей избой, чего я там не видал? Мне дышать, может, надо, у нас там пониженное содержание кислорода в атмосфере. Поняла? Глинистая пустыня у нас, а она, брат, шуток не шутит. А ты, значит, Мишельчик, картошечку режешь, экономишь? Эх, неважнец ты, старичок, экономист, неважнец!

Ленка вынесла стопочки, капустки; выпили, зажевали.

— У нас тут, понимаешь, какие дела...

— Да знаю я, знаю, старичок, знаю все ваши беды.

— Лизка говорила, у вас долги, но мне...

— Слушай ты ее! Врет все. Чтоб Ленка Бочков любимого свояка не выручил? Да за кого ты меня принимаешь? Я же, брат, теперь рабочий класс, опора Страны Советов. А Лизке я, конечно, шубу обещал, но эт ничего. Давай по второй. Она перетопчется-перетоскует, а тебя выручить надо. Что я — мамочки своей не знаю? Она ж с тебя все жилочки по одной вытащит и на катушечки наматает. Тем более Ленка с Лизкой ей хвоста прищемили. Она и мне-то рубля не дала, как с Лизкой поссорилась. Любит, чтоб ее уважали, понял? «За мои деньги», — говорит. Но мне — плевать. Я в коротких штанишках отходил, хватит. Насчет воровства только зря они. Мать с магазина не больше других-прочих тянула. Но это я так, не в этом дело. Не пей по целой, жарко. По половиночке. Хорошо все-таки он идет, не то что водка, верно? Так о чем я, старичок, тебе толкую? Ты вот сидишь тут, картошку режешь, копейку жмешь, очень даже понимаю. И что за выходной выжмешь? Рубля два? Три? А я, брат, если выхожу в выходной, так мне меньше четвертного и не заикаются, чтоб закрыть. А? Чувствуешь разницу? Не-не-не... Теперь по полной, по самой полной, старичок, за дело будем пить. Слушай сюда! Значит, так: завтра заявление пишешь, понял? «Прошу уволить в связи с возникшим желанием...» Понял? Ленке в зубы рублей двести на первый случай, и десятого мы с тобой летим Москва — Махачкала — Актау. Ша, старик, ша! Я все напишу. Вызов тебя будет ждать в Махачкале, Главпочтамт, до востребования. Итак, старичок, дернули, оторвались и попрощались! Разом, как бинтик с ранки. Ну, жарко у нас немножко летом, не без этого, так в тебе ж сала нет, таять нечему! Хватит! Ты, Ленка, ша! Твое дело бабье. Думаешь, если б я твою сеструху слушал, у нас бы что — хоть вша в кармане водилась? Иди лучше нам запить принеси. Кваску холодненького. Иди-иди!.. Мишка, плюнь! Думаешь, там и переспать не с кем? Найдем! Найдем, старичок. И по головке нас будут гладить, и ботиночки пьяненьким расшнуруют — все найдем. Мне мать такого под злую руку понаписала, что если б это раньше, то я, может, и головой в петлю, а теперь ничего. Пошел к одной — очень даже помогает. Ладно, думаю, если там и есть что, так и я не в долгу. Понял? Ша, старик! Сам знаю: не в этом дело. У тебя дети. Оттуда ты, старичок, во как их накормишь, во! Бога за тебя будут молить. Четыре сотни в месяц я тебе

на Мангышлаке гарантирую. У тебя ж, Мишка, руки, ты ж мастер!.. А сидишь, картошку режешь, как баба кривоногая. Все! Все замечано, слышать не хочу, дура! Спасибо мне скажешь потом. Разливай остаточки, за это самое «спасибо» и выпьем, которое ты мне потом скажешь. Не-не, потом, потом, счас не говори, счас ты и понимать не можешь. Я тебе, старичок, если хочешь знать, новую жизнь открываю. Остаточки за новую жизнь. Поехали!..

Они бегали за подмогой, пили после коньяка «Померанцевую», опять же на крылечке, почти без закуски, заранее чувствуя себя одинокими, бродячими мужиками. Набрались порядочно; Шапкин пошел зачем-то в сарай, свалился там и на дровах уснул. В избу пришел вечером, когда Ленка уже уложила детей, и тяжело ему было, нехорошо. Так нехорошо, будто хлебнул он уже предстоящей ему вольной жизни и оказалась та мутна, затхла.

Рядом с этой мутью уживалась какая-то тоскливая, прощальная ясность взгляда. Все запомнилось: лампочка под зеленоватым с бахромой абажуром горела слабо, освещая не всю комнату, а только середину ее, в углах клубился уютный сумрак, ярко поблескивали красные цветы на рисованном коврикe, неясными полуулыбками светились детские мордашки. Он стоял у кровати (Пашка со Светкою спали тогда еще в одной кровати, только валетиком), смотрел на детей, на Ленку, хлюпающую носом над шитьем, и оторвать себя от всего этого казалось ему так страшно, что он вдруг широкими шагами подошел к столу и грохнул перед Ленкою кулаком:

— Ясно?— сказал.— И не смей со мной спорить!

Она мелко, испуганно закивала: ясно, мол, ясно, успокойся.

А в июле он уже точил фланцы на Мангышлаке, в мастерской пятнадцатой мехколонны.

Здесь июль был похож на осень: все выгорело, степь лежала плоская и ржавая, как старая тарелка. Ржавчина эта скрипела на зубах и оседала на дне кружки с водой красноватой мутью толщиной в палец. Недели две стояло полное безветрие, а потом вдруг слабо потянуло из степи какой-то еще большей сухостью, глушью, и горизонт, обычно к семи утра

уже струившийся светлым маревом, задернуло желтизной.

К концу работы стало почти темно — так густо летела за окнами белесая степная пыль. Все разошлись. Он подзадержался, а когда вышел, не было ни горизонта, ни неба — бесформенная серая муть со свистом неслась над землей; стрелы кранов стонали и вздрагивали от ее напора. Он попытался было прикрыть лицо полою рубахи и повернуться к ветру спиной, но пыль летела со всех сторон сразу, секла лоб, мгновенно схватывалась на губах острой солоноватой коркой. Откуда-то из-за спины выскочил, сухо прошуршав в воздухе, серый шар перекасти-поля, ударился о капот трактора, резко подпрыгнул, запутался в крановых тросах, подрожал там несколько секунд и с новым порывом ветра ринулся дальше, выше, растаивая в этой глинистой мгле, сухо пахнувшей тысячелетним тленом древних могильников.

Шапкин вернулся в мастерскую. Пережить не имело смысла: вряд ли эта круговерть могла быстро улечься. Но и пробиваться сквозь нее никуда не хотелось. Масло на станке уже схватилось черными потеками. Воздух был изжелта-мутен, необмазанные стекла тенькали. Чтобы не смотреть, ни о чем не думать, он принялся снова за фланцы, закончил всю партию и потом улегся спать на верстаке, положив под голову скрученный рваный ватник.

Приснился ему лес. Ветер гудел в вершинах сосен, но он не подымал взгляда и, задыхаясь, бежал вдоль болотистого ручейка, который вот-вот должен был кончиться, должен был открыться проход, которым к дому близко, напрямик, — там его ждут Ленка и дети. Он отчаянно торопился, но ручей все тянулся, приходилось то и дело огибать могильно-холодные валуны, озера ржавой воды, оскальзываться, задыхаться... А Ленка с детьми ждут его вовсе не дома, Бочка их выгнала, они сидят посреди улицы на узлах, на перевернутых стульях, Светка закутана в его пиджак, который на ней до земли. И все это он видит каким-то странным, двойным зрением. То есть видит и Ленку с детьми, и в то же время знает, что не видит их, что до них очень далеко, вокруг только лес, он все бежит, пытаясь обогнуть проклятый ручей, ноги уже гнутся с трудом, трясина засасывает, он почти падает, ложится на плоский холодный камень, говоря себе, что это только на минуточку, чтобы набраться сил, опять вдруг видит Светку, тянущую

к нему тонкие ручонки из закатанных рукавов пиджака, и вскакивает, чтобы опять бежать, но просыпается.

Вокруг было темно, душно. Вскочив, он больно наткнулся на какой-то ящик, зашарил вокруг — под руки попадалось то холодное железо, то промасленное, занозистое дерево, и никак было не сообразить, где он, как вырваться, куда бежать? Потом все разом вспомнилось, он опустил на верстак облегченно и разочарованно.

Снова лег, поерзал, отыскал удобное положение. Удобнее всего оказалось на спине, подогнув ноги. И то ли еще в предсонном размышлении, то ли уже во сне снова проплыл над ним бурый шар перекасти-поля, проплыл, зацепился за крановую стрелу, скачком поднялся ввысь — туда, в самую муть и круговерть, — и растаял в ней...

Проснулся он рано и сразу же почувствовал себя отлично выспавшимся, легким и бодрым. Умывшись из бачка с питьевой водой, вышел на улицу. Ветра не было, воздух был необычно сух, холоден, солнце всходило блеклое, точно впаянное в шар из желтоватого, мутного стекла.

Страха при воспоминании о вчерашней буре в душе не было, не было и ставшей уже привычной тоски по Ленке, по детям. Около сердца он чувствовал только холодный, нестигаемый стерженек — свою мечту и решимость.

Казалось, что только теперь, после этой бури и душевного, обессиливающего сна он окончательно понял, зачем уехал из дому.

Три свои года на Мангышлаке отбыл он нелюдимо и замкнуто. Вечерами был всегда занят — устроился еще на одну работу, а ночами спал крепко, без сновидений. Даже с Ленкой виделись редко, а если и сводила их круговерть стройки, разговора не получалось. Ленка шумел и хвастался, он молчал.

В Москве накупил всего — выпивки, закусок, всякой подарочной дребедени — столько накупил, что даже подрастерялся: в поезде-то доехать — полбеды, а там, как от станции? Руки оборвешь да половину побросашь. Но прошел одной короткой улицей, свернул в другую, на мягкую, пружинящую после дождя тропку, петляющую меж луж, и вон она уже за углом, изба твоя, —

выглядывает из-за морковно-зеленой рябины — серая, низенькая, точно прилепнутая к земле тяжелой дражной крышей с зеленоватыми моховыми проплешинами.

Даже обидно сделалось, настолько все это — и путь, и изба, и город весь — показалось теперь и меньше, и плоше того, что он помнил. Да и в избе было тесно, неподручно, точно в чужом жилье.

Первой появилась теща.

— Ишь ты! — сказала. — Уже и закусочка на столе. Прямо как принц приехал. Ну, подойди, что ль, поцелуемся!

Он вроде бы и не расслышал.

— А Лена где? — спросил.

— Придет. За Пашкой небось забежала. Она ж теперь в ДПО, знаешь?

— Где-где?

— В добровольном пожарном — вот где. Шишкой стала — бухгалтер!

— Да... она писала. А дети что?

— Живут, чо им станет? Ну-к, пойду я в огороде пошарю: какой ни на есть, а огурчик к этому надо бы, а, как думаешь? — и пощелкала пальцем по длинному прозрачному горлышку «Столичной». — Ишь, стоит-то важно как, точно лебедь!

Вышла и сразу же заговорила с кем-то на крыльце. Он стоял посреди комнаты, опустив руки, и сердце тукало громко, точно будильник... Наконец:

— Мишенька, жданный мой! — сжав щеки его своими прохладными ладошками, вглядывалась, вглядывалась, вглядывалась... Зрачки были черными, огромными. Потом оттолкнула, затормошила, потянула к порожку, к полужнакомому шестилетнему толстячку в матроске.

— Пашенька, ты что — не узнал? Это же папка. Кричи: «Ура! Папка приехал!» Да поцелуй, поцелуй его, — и целовала сама, а мальчишка жался к стенке, готовый вот-вот зареветь.

— Ну, не узнаешь? — Мишка присел перед ним на корточки.

— Ты — папка.

— Так и иди ко мне. Помнишь, как я тебя верхом катал? — И тут же к Ленке: — А Светка где?

— В лагере. Завтра поедем, это в Краснокутье, на Низовку автобусом, помнишь, где за белым груздем ездили?

Пашка получил подарки и уже дудел, раздувая щеки, маршируя вокруг стола. Игрушки так сразу его заняли, что про родителей он, наверное, и забыл, а они все еще стояли, разделенные столом, говорили о чепухе, вроде бы стыдились этого и никак не могли вспомнить, что же, кроме этой чепухи, должны были сказать друг другу.

Вошла со двора теща, захлопотала...

Вечером Шапкин лежал в прохладных домашних простынях, нежился, а Ленка все еще что-то там укладывала, поправляла на детской кровати, наводила порядок.

— Ленка,— позвал,— он спит? Брось все. Завтра тебе дня не будет?

— Я сейчас, Мишенька, сейчас.

Она на секунду застыла, безвольно опустив руки, и вдруг, вздохнув, стала торопливо все с себя стаскивать, точно в те, полузабытые, самые первые, самые молодые их дни. «Отвыкла»,— думал Мишка и чувствовал, как мимовольно улыбается чему-то.

Проснулся на рассвете. Ленка спала, уткнувшись в его плечо. Теплое дыхание щекотало кожу. Он лежал на спине, следил, как серело, голубело окошко. Думал не думал, а так как-то...

Все-то ведь было у него решено насчет дальнейшего. Вызов лежал в бумажнике. А тут вдруг показалось: ничего этого нельзя. Или в крайнем случае, нельзя сейчас. Надо остаться хоть на год, что-то такое важное определить в себе, в детях, в Ленке. Такая была минута: душа дрогнула.

В тот приезд он пробыл дома больше двух месяцев и все нервничал, метался, ходил даже на стройку, но она тогда только начиналась, станочки там были ни к чему. В «Сельхозтехнику» брали, но там что за деньги, как на них жить?

Ленка уверяла, что можно.

— Очень даже просто. У меня теперь сто десять, и если тебе даже голый тариф дадут, то это уже двести пятьдесят. Мы с тобой и на меньше жили.

— Значит, все по-старому?

Они сидели на Волге, под обрывом. Пашка с прутиком в руке воинственно гонялся по мелководью за стаей

мальков, Светка выгребала из ямы влажный песок и лепила на отцовской ноге домик, трамбовала, шлепала по нему ручками. Ленка сидела рядом, но отвернувшись, видно, начинала злиться.

— А чем же тебе плохо было — как раньше? Да я каждый раз эту жизнь без тебя как вспомню, так и плачу, что прошла.

— Брось,— сказал Шапкин.— Опять в нищету головой, стрелять десятки, перекручиваться? Отвык я как-то, да и... Нет, скажи, это жизнь была? Жизнь?

Он потянулся к жене, не рассчитав движения, и обрушил дочкин песчаный домик. Та только вздохнула:

— Ну, какой же ты, папка!

— Извини,— отмахнулся он.— Нет, ты уж скажи, это называется, мы жили? Может, у нас и дом был, как у людей?

— Ой, да что ты все глупые слова забыть не можешь? Мама потом и сама жалела. Сколько переговаривала: сгоряча, мол, лягнула, зря!

— За это ей спасибо, конечно, а...

— И долгов у нас теперь нет, и обуты, одеты. До иных, конечно, далеко.

— Вот именно! А чем мои дети хуже иных?

— Тут тебе не жизнь, а там?

— Там у меня хоть надежда есть. В Охе обещали: по пятьсот в месяц выходить будет. Ну, пусть сотни полторы я буду проживать, сотню вам, так еще ж останется! Года за три-четыре на приличный дом соберем. Нет, Ленк, дом — это непременно. Пашка,— спросил он, подхватывая на руки пробежавшего сына,— в своем доме жить хочешь?

— Не, на машине хочу ездить, би-бип!

— Видишь, Ленк, сейчас и дети как жить хотят — с машиной. А глас младенца — глас божий. Поеду. Поеду! — закричал он, подбрасывая и ловя сына.

— Как хочешь,— сказала она, поднялась на ноги и пошла прочь, сбивая с себя ладошкой прилипший песок.

Он смотрел ей вслед и вдруг подумал, что она не должна была этого говорить и не должна была отворачиваться. Да и не сказала бы, если б в самом деле думала, что он должен остаться, а то ведь и она понимает поди, а так только...

— Пап,— Светка тихонько потянула его за палец,— не уезжай, ладно?

Она как-то незаметно подлезла светлой своей головенкой под руку и сейчас заглядывала в глаза снизу, как маленькая умная собачонка.

— Почему?— растерянно спросил он.

— А бабушка добрая, она поругает, потом забудет, и мы с тобой будем дружить, на лодке кататься, ага?

Дочку Шапкин всегда замечал меньше, чем сына. Любил, может, и так же, но замечал — меньше. А она все пыталась незаметно, словно бы исподтишка, к нему приласкаться и все, как нарочно, в какую-нибудь неподходящую, грустную или злую минуту.

— Конечно, будем, обязательно,— пробормотал он, ероша ее светлые волосенки, а сам все на Ленку косился. Та стояла у воды и, не оборачиваясь, глядела куда-то за Волгу. И Шапкин, вздохнув, добавил:— М-да... А ехать, мышонок, все-таки надо.

Вечером того же дня вышел небольшой раздор с тещей. Светка капнула вареньем на новое платье, старуха хотела ее наказать, Михаил не позволил. Полаялись. Это был даже не повод, а так — вроде иллюстрации, чтоб с полным правом сказать Ленке: видишь, я ж говорил тебе — не в своем доме живем. На самом деле, все было уже решено в душе. Надо было ехать и строить жизнь, как задумано!

Восемь лет отрубил Шапкин на северном Сахалине. Восемь! Иной раз, особенно вначале и перед отпуском (отпуск через год, двойной), так было — хоть волком вой. Он не взвыл.

И вот — сбылось. Все у него есть — и дом, и «Жигули», и лодка, — все, о чем дуриком мечталось на волжском песочке. Сказать бы ему когда-то, что он так жить будет, — не поверил бы! Мыкался по свету ради этого, вкалывал, а сказать бы, что сбудется... Но — сбылось!

А восемь этих лет — они как в яму канули. Со всеми потрохами, с тоской, с выпивкой под корейскую капустку, от которой горит все нутро, с Аниной любовью, с ее матерью, старухой суровой, от всего сердца ненавидевшей Шапкина и с ним заодно всех, кто приезжает в Оху лишь на время: «Ездите тут, жизнь путаете!», с Васьком Горбоносом и Санькой Мосиным, дорогими его корешами; с необыкновенно крупной, сладкой черникой, с грязным парком из кедрового стланика, с метелями, с дождями — со всем, со всем — все слепилось в один

ком и кануло за плечи, в черную бездну. Нет их, этих восьми лет, как не было! Будто и не он их прожил.

Ну и пусть их — не жалко!

4

За окнами быстро темнело. Шапкину казалось, что уже поздно, и, прибираясь возле станка, он торопился, нервничал, но, выйдя на улицу, понял, что дело не во времени.

Надо всем притихшим городом, над телевизионными антеннами, казавшимися ниже обычного, как бы втянутыми в плечи нахохлившихся домов, над пыльными липами, стоявшими вдоль дороги, обреченно уронив обвялые листья, — надо всем этим тяжело, безмолвно ползла громадная туча, шевеля отвисшими серыми лохмами. Только за Волгою виднелась еще полоска чистого светло-зеленого неба. Туда-то туча и надвигалась, клубясь рваным краем.

Пахло теплой, напитанной бензиновым выхлопом пылью, разогретым за день асфальтом, было душно. Так душно, что хотелось потянуться и вздохнуть глубоко, до боли в ребрах. Но и вздох не облегчал груди.

«Ох и дождина будет!» — подумал Шапкин, сворачивая на Речную, вдоль Волги, улицу и надавая шагу. Он не успел даже сообразить, радуется ли этому, как откуда-то сбоку плеснула в глаза трепещущая мертвенная бледность, почти над головой грохнуло, и тотчас же резкий, холодный порыв ветра, чуть не сорвав с него кепку, взвихрил, понес вдоль поребрика песок, окурки, какую-то щепу. Крупные капли темным горохом сыпнулись по асфальту.

Придерживая рукой кепку, Шапкин растерянно оглянулся и бегом бросился под бетонный козырек автобусной остановки. Туда было всего шагов пятьдесят. Он не успел сделать и десяти, как кто-то с маху ожег тучу огненной пятихвосткой, она отчаянно рывкнула, разваливаясь на пылающие куски, и вокруг серой кипящей стеной встал обломный ливень.

Шапкин влетел под навес, почти задыхаясь, в насквозь мокрой рубахе. Здесь было совсем темно. Страхивая с кепки воду и вытирая платком лицо, он почувствовал, что рядом есть кто-то, настороженно за ним следящий, машинально шагнул к дальнему углу. Там торопливо шевельнулись.

— Михаил Константинович, это вы?— спросил мальчишеский голос.

— Я,— сказал Шапкин.— А ты кто?

Ответа он не расслышал, да и не надо было. Ослепительно белый трепетный свет новой молнии облил бетонные стены остановки и выхватил невысокую фигуру, сидевшую крепко ухватясь за скамейку руками. В этом неверном свете на полном круглом лице особенно заметны были темные веснушки.

— Колька?— спросил Шапкин.

— Я...

Голос был сиплый.

«Господи,— подумал Шапкин.— Боится, что ли? Здоровый парень, ухажер, зимой каким франтом за Светкой заходил, шипром на весь дом несло, а тут...» И на какую-то секунду вспомнились и нелепо связались в душе и брошюрка, что тайком почитывает Светка, и то, что этот вот все бегал к ним зимой, а теперь и носу не кажет, и вчерашние Пашкины осоловелые глаза. «Так, может, вон он чего, а? — мелькнуло.— Чует кошка?..»

— Ты что же это, Николай,— нехорошо кривя рот, спросил Шапкин,— в чужом доме вести себя не умеешь? А? Что это ты...

— А что? Что? Я ничего. Он сам все, ей-богу! То есть я и сам, дядь Миш, но...

Новая молния ударила дальше, свет был короче, сильней. Смертельно бледный, с прыгающими губами, Колька растерянно поднимался со скамьи навстречу ему, Шапкину, и вся боль, недоумение, бессильная тревога сегодняшнего дня вдруг дурнотой ударили в сердце. С ужасом, но и с наслаждением Шапкин понял, что рука его уже сама собой ухватила, сжала в горсти скользкий шелк Колькиной рубахи.

— Дядь Миш, ты что? Дядь Миш...

— Ну, гаденыш, слушай сюда! Я тебя научу в порядочный дом ходить. Ну? Что натворил?

— Ничего! Дядь Миш, мы ж только по рюмочке, я и не думал, я пришел, а он...

— Обидишь кого — убью! Понял?— Шапкин брезгливо, как бы отряхивая руку, толкнул его назад, на скамью.— Сядь!— и, резко повернувшись, вышел под дождь.

— Дядь Миша! Ей-богу! Я ж и не пью, я...

Но Шапкин и на секунду не задержал шага.

А дождь быстро стихал, сваливаясь за Волгу, к большому Петровскому болотам. У наплавного моста через Борховку он уже только чуть-чуть, реденько шелестел по осоке. Река шла вся в ошметках серой пены, взбитой быстро скатившимися с крутых берегов ручьями. Мост покачивался на понтонах, невпопад проседая под ногами, сбивал с мысли.

А в душе и без того была какая-то мешанина, каша, не разбери-пойми. Пожалуй, стыдно было. И не столько того, что схватил за горло малознакомого, в сущности, человека, как перед дочерью, хотя, слава богу, подозрение, ожегшее сердце, так и не сорвалось с губ. А если б сорвалось?.. «Господи,— чтоб хоть перед собой как-то оправдаться, думал Шапкин,— нервы совсем ни к черту стали! Наплетется черт знает что — и бросаешься на людей с кулаками. Хорош!»

В бору дождь совсем перестал, в небе открывались целые поляны глубокой вечерней голубизны, настойчивый ветерок шумел в соснах, охлаждал мокрое тело. Чтобы не простыть, Шапкин все наддавал и наддавал ходу. Но даже быстрая ходьба не спасала, на душе было худо. «Надо бы,— думал он,— идти через большой мост, как все люди, не встретил бы тогда Кольку».

У нас в цехе многие, да и я сам в том числе, жили в старой части города, но через бор, дорогой, облюбованною Шапкиным, никто не ходил. Она была и длиннее, и неудобней, по грязи, а не по асфальту. И поскольку Шапкин числился у нас в куркулях, это пристрастие его к особой дороге глас коллектива приписывал жадности. Дело в том, что у края нового поселка, примерно на середине нашего общего пути, стоял стеклянный шалманчик, торговавший пивом, а втихаря и водкой, и мы частенько-таки заглядывали туда по дороге, а Шапкин-де давал свой ежедневный крюк, чтоб сэкономить.

Я, признаться, и сам так думал, пока не понял однажды, что через бор он ходит просто потому, что новая часть города ему не по душе.

Не помню уже, зачем мне надо было к нему, кажется, за коловоротом. Денек был с молодым снежком, слегка морозный, плотный и свежий, как яблочко. Пошли обычной, общей дорогой, и Шапкин чем дальше, тем заметнее хмурнел, подергивал щекой.

— И что здесь ходите?— ворчал.— Такой день... Самое Волгой дышать, бором, а здесь что?

— Здесь? Цивилизация, прогресс.

— Прогресс! Лепят одно и то же, что здесь, то и в пустыне, что в пустыне, то и в тундре! В таких домах только тем и жить, кто с корня сорвался. Я таких на-смотрелся — им все равно, где бы ни жить, абы на шармака.

— Загибаешь, Миш! Чем здесь плохо жить? Все удобства.

— Ну да! А что — ничего в жизни уже и не надо, кроме удобств? Так, что ли?

Даже потом, когда мы шли уже по старому Порфи-рину, с его курящимися розовато-голубой морозной пылью снежными застрехами, с наростами желтоватого льда на углах у водозаборных колонок, шапкинское сердце все никак не могло успокоиться, мучилось рев-ностью: любимая часть города казалась ему неза-служенно обижаемой кем-то.

— Вот смотри, как живут теперь, смотри,— то и дело требовал он.— Забор заваливается, наличника сто лет как нет, крыльцо подгнило, а хозяину хоть бы хны! Он, видишь ли, решил, что ему тут не век вековать, так пусть все к черту и рушится.

— Ну уж! Будет раньше такого не было? Еще и не такие развалюхи стояли.

— Раньше по бедности. Несколько лет на пару вен-цов копили. А теперь? На этого посмотри, вон! Мото-цикл с коляской есть, мужик денежный, а изба с покло-ном. На городскую квартиру, значит, нацелился. Ждет, когда ключик ему поднесут — на! С удобствами, без забот. Не землю обустроить, а свое удовольствие со-рвать поскорей — вот как вы живете!

— А новые дома, по-твоему, сами растут?

— При чем здесь это? Вам-то их дают, на блюдечке преподносят, вот что!

— И чем это плохо?

— Тем, что только и слышишь: дали, не дали. Такие развелись мастера — у власти что хочешь выпросят. Хоть Коркина нашего возьми: ведь мужик — лентяй, запивоха, руки кривые, а еще и в обиде вечной: краси-вую жизнь ему не устроили, обошли, дескать! А что б он имел, если б у нас все действительно по труду было? Свою трехкомнатную имел бы? Нет, ты скажи, имел бы?

— У него трое детей.

— Я и говорю: не по детям, а по труду если б? И не спорь, плохо это — когда «дают». Люди себя по работе ценить разучились. Сопляк, понимаешь, какой-нибудь, гайки толком не завернет, а закрой ему двести, не то уйдет!

— Загибает, Миш.

Я заглядывал сбоку в раскрасневшееся, злое шапкинское лицо и невольно улыбался. Вот, думал, ходит человек в куркулях... Но если так, то что ему за дело до нового поселка, до чужих обвалившихся наличников и изб с поклоном, до неухоженных яблонь в чьих-то садах? Он должен бы радоваться, что живет богаче. Вон у него какая домина, не чета всем прочим. И сад у него будет — дай боже! Через два-три года он на зиму чердак такими яблочками завалит, за килограмм которых житель блочной пятиэтажки с поклоном понесет ему пару трудовых своих рваных и сделает его еще богаче. Радовался бы! Так нет — злится человек, ругается, душу тратит. Почему? Я все взглядывал на него, и нечаянная радость разгоралась в душе. Люблю я это — открыть вдруг, что человек не так прост, как думалось, очень люблю!

«Он мечтатель, — дошло до меня. — Нормальный русский мечтатель, вот в чем все дело!»

Ведь русского мечтателя вообще определишь не сразу: он вроде бы и к слову этому не подходит. «Мечтатель»... Произнесешь и видишь этакого херувимчика, поэтично закатывающего глазки. А перед тобой — угрюмый, раздражительный мужик, да еще небось и небритый. Ходит, ворчит, теребит окружающих, надоедает им, бедным. Не сразу сообразишь: оттого это, что мечтает он... как бы это сказать?.. не за себя одного, за всех! Мало ему, понимаешь, чтобы задуманное им для него лично и осуществилось. Нет, подай ему, как минимум, целый город, а то и весь мир, чтоб он с восторгом глядел на дела нашего мечтателя и понимал, как именно надо быть счастливым. А без этого нет ему покоя и удовлетворения.

И не надо, не надо, милые, кривить губы: тоже, мол, мне — мечта была у человека! Домик, садик, тишь да гладь. Я ведь понимаю, что в самом слове «мечта» мы все привыкли видеть нечто масштабное и беспокойное, вроде того, когда человек чуть не выше головы прыгнуть хочет.

Ну, что ж... Давайте и о такой мечте поговорим. Тем более один случай мне помнится подлинный, документально, так сказать, зафиксированный. Одна газета напечатала письмо. Молодой человек, его автор, сообщал, что мечтает стать министром, и просил — нет, даже требовал! — чтобы ему помогли, чтоб разъяснили, где надо для этого учиться, как строить карьеру и так далее. Даже для приличия не оговаривался, что хочет он стать министром для того, чтобы... То ли некогда было, то ли и вовсе не подозревал, что большой должности приличнее быть средством, а не целью. Да, вероятно, именно так, ибо все письмо дышало гордостью: вот-де я какой — министром хочу, и не меньше! Масштаб заворожил.

Но уж он-то, автор этого письма, никак, я думаю, не мечтал, чтобы все человечество по его примеру сделалось министрами. Упаси бог! Наоборот, я уверен, что уже на вступительных экзаменах в вуз он начнет подозрительно поглядывать на соседей и при случае пускать в ход локти. Вот так. И не получается ли у нас в итоге, что мечта о домике и саде — большего масштаба, чем о министерском кресле?

Конечно, в текучке жизни такой молодой человек приметней, чем Шапкин. Вечно он шумит, шебаршится, взбивает вокруг себя пену. Кому-то покажется, пожалуй, что он-то и есть главный делатель жизни, хмель ее, дрожжи. Но...

Жизнь, как и вода в реке, движется на разных уровнях. Можно, скажем, стоя на берегу Волги, любоваться белыми барашками волн и думать, что ты, мудрый, зришь течение великой реки. Разве нет? Потом-то приглядишься: барашки твои наискось бегут, река совсем не так течет. А потом поживешь на ней годика три и поймешь, что не то что ветер — ей же и собственные берега не указ! Она их меняет каждый год как хочет — образует новые мели, подмывает и рушит обрывы. Да и вообще там, на глубине, где капли влаги плотно слиты в тысячетонную массу, — там течением управляет лишь таинственное, нигде не приметное глазу нечто, именуемое уклоном земной поверхности. Вот так.

Когда Шапкин подходил к своему дому, почти стемнело. Фонари не горели; он нечаянно влетел в лужу и еще больше расстроился. Сердце опять заколотилось

дуриком. Только в прихожей, когда стаскивал с себя промокшие хлюпающие туфли и когда выскочила Светка: «Ты, папульк? Промок? Чай будешь? Ужинать будешь?»— и, не дожидаясь ответа, исчезла на кухне, у него чуток отлегло, отмякло.

Такая она была легкая, так подсвечивал ее, будто подхватывал, косо падавший из распахнутой двери свет, и голосок ее звучал так быстро, рассыпчато, что он невольно улыбнулся.

Вышла и Ленка, вынесла ему к умывальнику сухие носки, чистую майку.

— Вы там чо,— спросил он,— телек смотрите?

— Разговариваем. Ужинать здесь будешь?

— По телеку чо?

— Не знаю, не смотрела.

— Ну, все равно давай там, раз уж все там.

«Хорошо все-таки дома»,— думал он, переодеваясь в сухое и чистое.

И только потом, когда, наскоро поев заветренной, еще до праздника нарезанной колбасы с картошкой, он взялся обеими руками за большую кружку чая, с наслаждением чувствуя, какая она тяжелая и горячая, и когда, сделав первый глоток, отдуваясь, поднял глаза — горячая игла тревоги вновь, как мгновенная боль, прошла от виска к виску.

— Так,— сказал.— А что это вы молчите?

Никто не ответил.

— Случилось чего?

— Случилось. Детки родителей радуют. А!— Лена встала, прихвативши опустевшую тарелку.— Кто наносил, пусть и рассказывает,— и вышла.

Шапкин посмотрел сперва на дочь, потом на сына. Оба сидели по углам, опустив глаза.

— Ну?

— Да ничего страшного, папульк, так...— словно вдруг спохватившись, затараторила Светка.— Маленькие неприятности. Ты не расстраивайся, ладно? Мы его уже ругали, ругали...

— Погоди, не трындычи! Что у тебя случилось?— он выговаривал слово за словом медленно, тихо, и сердце опять колотилось в груди овечьим хвостом.

— У меня?— Светка округлила глаза.— У меня все о'кей! Мы Пашку ругали. Только ты не думай, ничего особенного они не сделали, а...

— Да кто они-то? Помолчи уж лучше. Павел, говори толком.

Тот молчал, пытаюсь ногтем скovyрнуть что-то на своей не слишком чистой ладони.

— Ну?! Подрался, двоек нахватал?

— Да, папульк, что ты его спрашиваешь? Он же у нас теля на веревочке, дурачок.

— Ничего я не теля!

— Ага, конечно! Скажешь, не Длинный все придумал, да? Господи, я бы этого Длинного... Просто тошнит, на рожу его прыщавую глядя!

— погоди ты!— Шапкин со стуком поставил на стол чашку.— Ты — потом. Пусть он сам скажет. Что стряслось, Павел? Ну-к, хватит тапочки разглядывать, посмотри на меня!

Тот послушно поднял глаза.

— Ничего,— буркнул. И сразу же:— Мне, бать, денег надо, триста рублей. Герман Степанович сказал, если все отдадим, то только разберут на собрании и — все!

— Кто это Герман Степанович?

— Директор школы нашей. Я даже не верю...— снова выскочила Светка.

— Не встречай! Так. Триста рублей, значит? Они, сынок, на дороге не валяются, их за красивые глаза не дают.

Пашка молчал.

— Зачем же они тебе? За что отдавать надо?

— За пленки. Мы с Длинным пленки продавали, с записями.

— Где брали?

Так вот по словечку и вытянулось: еще зимой этот поросенок со своими двумя дружками — Длинным и Вяткиным — придумали переписывать на магнитную пленку модные пластинки (у Длинного отец моряк, везет пластинки из-за границы) и продавать записи по двадцать пять рублей за бобину. Больше всего Шапкина удивило, что покупатели у них сразу нашлись и с ценой согласились. И пацанва, и взрослые дяди. И обалдуй этот, сынок его, никак до сих пор не мог взять в толк, что ж тут плохого, во всей ихней коммерции?

— Спекулянтom стать — это, по-твоему, хорошо, выгодно?— Шапкин поднялся из-за стола.

«Вот оно что меня весь день маятило,— думал он, глядя на сына.— Но ведь я же не знал, и в мыслях не было...»

— Ну, так что ж молчишь?— спросил он вслух.

— А чо говорить?— буркнул сын.— Мы не спекулировали, за труд брали, за перепись.

— По четвертной? И сколько ж вы их переписывали, а? Штуку?

— Часа два.

— По двенадцать пятьдесят, значит, в час? Профессора!

— А таких пластов ни у кого. Самый же хип! Вяткин и то...

— Да плевать мне на Вяткина! А если б Вяткин украл? Мне ты, ты объясни, как у тебя совести хватило на это, ну?

Он подошел к сыну вплотную. Тот смотрел на него снизу вверх, недоуменно помаргивая. Мальчишеские губы обмякли, распустились безвольно.

— Ну?

— Так а чо? Они ж сами давали.

— Может, тебе еще и спасибо сказать, что спекулировал, а не грабил? «Да-ва-ли»,— передразнил Шапкин.

— Мы переписывали... У нас всякий труд почетен,— Пашкины губы искривились скользкой, двусмысленной улыбкой.

— Молчи!— вдруг выкрикнул Шапкин с отвращением.— Молчи! Ты!

Голова у Пашки дернулась. Пощечина получилась неожиданно сильной.

— Ты что?— ошалело спросил он.

— Чтоб понимал!!

— Что ты, Миша, что ты?! Миша, успокойся, я тебя прошу,— это уже Ленка вбежала, раскудаhtалась, за руки схватила.

Да Шапкин и сам шел уже назад, к столу. Сел там, обхватил голову руками. На лысине под пальцами вздрагивали вздувшиеся жилы. Когда сын отшатнулся после удара, одна старая фотография вдруг мелькнула перед ним: двухлетний Пашка плакал о чем-то, распутив губы и утираясь кулачком, а на кулачке тоже висела слеза. Губы у него были и теперь такие же мягкие, припухлые и так же приоткрылись, выражая обиду

и недоумение. Только рыжий пушок уже густо выступал на них. Господи, господи!..

— Это чтоб понимал, что такое спекуляция, — сказал он Ленке. — А то, видишь ли, они за труды свои брали... Что ты можешь понимать в труде, ты, сопляк?!

— Успокойся, Миша, — Ленка умиряюще положила руки на плечи, зашептала в самое ухо: — Их же только так, поугатать вызвали.

И Светка тоже все порывалась что-то вставить, один Павел обалдело смотрел на него, потирая обиженную щеку.

— Ты чо? — наконец выдохнул он. — Во дает! Нас же не за это и вызывали. Никто б и не знал, если б Воз не пожаловался, что мы ему накостыляли. А ему как надо было музыку на праздник, так все вокруг увивался: я заплачу, я заплачу! Три месяца мы ждали, а он потом обратно пленку принес. Три месяца крутил, а потом не нужна, это честно, да? Еще и залупаться стал. Длинный и всего-то пятерку за амортизацию требовал, а тот сразу: «Гады вы, фашисты!..» И поднавалили мы так только, слегка. А мамочка забегала: сыночка обидели! При чем тут твоя спекуляция?

— И ты бил?

— Я? Да я разок только.

— За пятерку товарища избили, значит? — Шапкин тяжело поднялся. — Вот клянусь, если б только знал, что таким гаденышем вырастешь, лучше б я... лучше б маленького головой об стенку шмякнул!

— Папульк, не расстраивайся, — подскочила Светка, — честное слово, все будет хорошо. Он просто дурак, вот поверь! Честное слово! Если б он не водил с Длинным компании... А часть денег и я могу дать, если у нас прогрессивка будет.

— Иди ты, знаешь... — с тоской выговорил Шапкин и тут же со злостью: — С тобой у нас еще особ разговор будет, поняла?

Та отскочила, Ленкиным жестом приложив ладошки к горячим щекам:

— Да, господи, какие ж вы все! — и слезы в глазах. — Какие вы! Я ж хочу, как лучше, чтобы все, все...

— Вот как? — крикнул Шапкин. — А я, значит, хочу, как хуже? Свои предлагает! Думаешь, мне денег жалко? Дура! Мне плевать на деньги, мне жалко, что вы такие вот выросли, смотреть на вас тошно!

И вдруг вышел, хлопнув дверью. На кухне пометался туда-сюда, прежде чем вспомнил, что надо делать. Открыл кран, сунул голову под воду. Холод успокаивал, даже сердце стало биться реже, мягче. В спальне вытерся, посидел немного у раскрытого окна. В голове была пустота-а...

Когда вернулся в залу, там одна Ленка расставляла все по местам, наводила порядок.

— А они где?

— Спать погнала. Да и нам, Миша, пора. Мне ж на работу завтра,— она присела на стул, опустив на колени руки.— Устала я что-то. Вот уж не ожидала от Пашки-то. Учится вроде неплохо.

— Забыл спросить: на что они хоть деньги эти тратили?

— Вот уж не знаю.

— Хреновые мы, Лена, родители, ничего не знаем, пока такое вот... не вылезет.

— Ой, Миша, да кто сейчас про них знает? Вон у Фомичевых Яшку совсем посадили, а что они знали? Пойдем-ка ложиться. Сходишь в школу, все и узнаешь. А думаю, их пугают только. Вяткин — тот своего в обиду не даст, а?

Он молчал.

— Ну пошли, пошли.

— Подожди,— сказал он, поднимаясь.— Пойду на крыльце покурю, охолону малость.

— Охолонь,— вздохнула,— только недолго.

В прихожей он невольно задержал шаги перед Светкиной дверью. Слышалось пение, бормочущее, вполголоса: «Ваше благородие госпожа удача, для кого вы добрая, для кого иначе..»— и тихий смешок. Представилось: окно у нее открыто, а сама сидит у зеркала, за столом. И с тянущей сердце, болезненной нежностью подумалось: «Господи, дура какая! Втюрилась небось и ослепла. Какая тут удача, не было бы большей беды — на маленькую уж наплевать».

Из Пашкиной комнаты окно выходило прямо на крыльцо. Михаил заглянул. Сын спал в неловкой позе, уткнувшись в подушку лицом и свесив с тахты руку. «Надо же!— с обидой удивился Шапкин.— Весь дом перебаламутил и уже — спит!»

Легкий послегрозового воздух омывал тело. Курить вдруг расхотелось, он щелчком отправил окурочек подальше, и несколько секунд на дорожке еще светилась

малиновая точка тлеющего табака. Когда погасла, Шапкин встал и пошел к калитке. Стоял тут, смотрел вдоль пустой улицы, таинственно клубящейся во мраке темными деревьями, редкими огнями...

Вышел он с сознанием, что должен что-то додумать о детях, но как раз о них ничего и не думалось. Верно, душа устала, нужен был ей роздых, хоть мимолетная отрада. Вспоминался куст бузины, что рос когда-то у Ленки под окном. Хорошо бы и здесь посадить такой, а? Чтоб после дождя каждый раз пахло мокрой бузиной. А Ленка тогда была такая же тонкая и все что-то напевала, вроде теперешней Светки. Тоже не мимо, а по ней прошла жизнь! Шутка ли — лучшие бабьи годы одной, с двумя детьми. И ведь ни-ни, никогда у нее не было никого! Не такой Порфирино городок, чтоб можно было что утаить. Да и он бы почуял, не смог бы быть так спокоен, а то ведь никогда — ни за семь тысяч верст, ни здесь, рядом, — ни разу не усомнился в ее верности. В любви — да, в любви иногда сомневался, но не в верности.

Думалось это ему смутно, почти без слов, только отливала тяжесть от головы да разрасталась нежность и благодарность к женщине, что ждала его в постели сейчас, как ждала всегда, многие годы. Он вспомнил куст бузины, грозу, мокрые ветки у самого окна и думал, что хоть раз в жизни ему отчаянно повезло: «Золотая ж она все-таки баба...»

5

Светка действительно сидела у себя за столиком, но уже ничего не напевала, и все перед ней было задернуто туманом, безобразно расплывалось, морщилось, слезы обильно и беззвучно катились по щекам. Они подступили как-то вдруг, внезапно и неудержимо.

А ведь какой был у нее сегодня день! Такой день — никто б и подумать не мог, что он закончится слезами. Легкий, радостный. И слезы от этого делались теперь еще горше, обидней.

С утра сегодня ей все хотелось рассмеяться, показать кому-то язык или хотя бы крутнуться на одной ноге, вздув юбку парашютом. И вокруг весь день все были веселы, улыбались. Лялька Сухова, первая модница и задавака на весь ихний универмаг, все шурилась на нее от своей галантереи и наконец не выдержала:

— Что это ты сегодня какая-то этакая? Платье, что ли, новое? Ну-к, покажи.

Светка, скинув на минуточку форменный халатик, крутнулась перед ней.

— Вот? А?

— Хорошо! Нет, правда. И грудь подчеркивает, и вообще. Простенько и нарядно. В стиле.

Светка засмеялась.

Платье было старенькое, из голубой вольты с белыми кружавчиками. Сшила она его еще осенью и на работе в нем уже была, только тогда никто не обратил внимания.

И все-таки Лялька была права. Светка и сама чувствовала, какая она нарядная, легкая, даже, пожалуй, умная. Во всяком случае, все, что сегодня ни скажет, ни сделает, все будет впопад, все хорошо, потому что это ее день.

И до самого вечера день не изменял ей, не подводил. Даже Мария Аркадьевна, когда Светка пошла отпрашиваться на час раньше с работы, ни капли не рассердилась, а будто даже обрадовалась — заулыбалась, закивала: «Конечно, конечно». И потом, когда пришел Герка.

Может быть, дело даже не в том, что весь день был хорош. Будь он даже плох, будь мрачен и тосклив, — все перевесила бы одна секундочка. Особая секундочка, лучшая из всех в ее жизни!

Выпала она уже под вечер, когда шли с Геркой из загса, где подавали заявление. На бетонном мосту Светка вдруг потихоньку высвободила руку, приотстала на шаг и посмотрела сзади на его мальчишеские костистые плечи, обтянутые голубовато-серым батником с погончиками, на темно-русые кудряшки, рассыпанные по воротнику, смотрела...

Один миг смотрела она так, а успела увидеть его словно издали, взбирающимся на какую-то гору. Это было вроде сна наяву, все было перевернуто, как во сне. Он был близко, а виделся издали, она смотрела ему в спину, а видела лицо и знала, что он идет к ней. И еще будто вся жизнь ее, и прошлая и будущая, преломилась вдруг и собралась в эту секундочку, как солнечные лучи собираются линзой в одну обжигающую, нестерпимо белую точку.

Длилось это миг, потому что, как ни старалась она вынуть руку легко и незаметно, Герка тут же забеспокоился, обернулся: где ты, мол, куда делась?

— Ты чего?— спросил недоуменно.

— Так... Смотрю.

— Ах, смотришь? А кто разрешил? Ну-к, иди сюда...

Они сбежали по откосу прямо от моста, и он, с ходу перескочив ручей, протянул ей руку. Она прыгнула следом, спросила с задышкой:

— А зачем мы этой дорогой?

— Тсс!.. Секрет!

Но она, конечно, знала, знала зачем. Тропинка ныряла вниз, в густо разросшийся прибрежный ивняк, и там можно было целоваться хоть до упаду.

А в поздние предгрозовые сумерки они стояли на повороте к ее дому. Она была без плаща, без зонта, Герка боялся, что под дождем она простынет, и всю дорогу они почти бежали, а здесь остановились, словно ждали чего-то. То есть она-то ничего не ждала, просто не стало вдруг силы сделать следующий шаг, шаг от него, одной. Настолько не стало, что даже не жаль было Герку, который, задержавшись, наверняка должен был промокнуть. Мысль об этом пришла позже, а пока они стояли, держась за руки и делая вид, что любят друг друга, чем-то другим, происходящим вне их, на остальной земле.

За Волгой еще светило низкое солнце, и туча над головой была необычного, темно-стального цвета. На ее фоне особенно ясно, выпукло смотрелись зеленые кроны деревьев, красные и серые коньки крыш, и чей-то голубь, беспорядочно метавшийся там, вверху, под стальным небом, поблескивал ослепительно белым крылом.

— Здрово!— сказал Герка.— До-ждь будет! Гроза-а!

Он обнял ее одной рукой, она послушно, доверчиво прижалась, почти спряталась к нему под мышку.

— Ой, Герочка, страшно!— и засмеялась.

— Чего страшно?

— Всего. Домой идти, говорить...

— А смеешься?

— Так... Хорошо мне. Страшно и хорошо.

Она чмокнула его в щеку и, вывернувшись из-под руки, побежала к калитке.

А дома была уже вся эта катавасия с Пашкой, с пленками его дурацкими. Он сидел в зале, ковырял ладонь, мать кричала из кухни, что и не знает даже, как сказать об этом отцу, уж как он нашкодил, так пусть сам и говорит.

— А я чо такого сделал?— канючил Пашка мальчишеским нарочитым баском.

— Отец придет — узнаешь.

Светке показалось, что во всей этой истории для матери самое худшее, быть может, и вправду в том, что надо говорить отцу. И даже подумалось, что это как-то странно и, пожалуй, нехорошо, но душа не пожелала задерживаться на этой мысли. Зато Светка сразу же присела к столу и принялась расспрашивать Пашку о деле, решив про себя, что отцу она может сказать все и сама, без мамы, объяснит, какой Пашка дурак, что связался с этим Длинным, и вообще все как-нибудь уладит, всех успокоит, а потом скажет и о главном, о своем, чтоб окончательно их обрадовать.

Пашку было жалко, конечно. Высплют ему теперь все: и отец, и в школе на собрании. Но сам и виноват. Разве же можно водиться с такими, как Длинный?

— Да чо ты понимаешь? Молчала бы!— цедил Пашка, презрительно топыря губу.

— Побольше тебя понимаю. И уж отцу-то насчет Длинного все расскажу, будь спок.

Говорила, а сама все в зеркало поглядывала — какая она в самом деле легкая в этом голубом платье.

— Господи!— сказала мать, перехватив ее взгляд.— Я думала, хоть ты-то серьезный человек, а ты... Тут голова кругом идет, а ты все перед зеркалом вертишься.

— Ничего не верчусь!

А сама думала: «И ничего я не серьезная. И не надо мне этого. Я легкая, радостная, простая, за это меня и любят. Вот вам!»

Все время она чувствовала эту странную свою раздвоенность. Вроде она была и дома и в то же время в каком-то другом, легком, смеющемся мире, где все можно, все легко и хорошо.

Даже потом, когда все кричали, когда у отца вздувались на висках гневные жилы, а глаза стали круглые, жалкие, — даже тогда она как бы и видела и не видела это, и ей все казалось, что это только так, несерьезно,

вот сейчас она что-то такое скажет, что всех успокоит, все объяснит...

И вот когда все наконец утихло, все разошлись и она оказалась у себя в комнате в одной рубашке и с расческою в руках, — тут до нее и дошло по-настоящему, что ничего и никому она уже не скажет, что никто не порадует ее радостью ни сегодня, ни завтра.

«Господи, какие они все!» — с обидой подумала она, и волна горячей жалости к себе и неприязни к ним обдала ее всю. Главное, она почему-то знала, что никогда уже не будет как сегодня — такой счастливой и способной так одаривать счастьем других. Никогда-никогда!

Тут-то все и подернулось вдруг радужным соленым туманом, а через минуту слезы текли так, что она уже и не пыталась их остановить, прикусывая губы, а только мстительно думала, что все это пройдет, и хорошо, и пусть проходит, раз ее любовь — самое сильное и хорошее в ней — никому не нужна, никого не радует, то и пусть проходит! Пусть она станет скорей морщинистой, согнутой каргой, злой и горбатой, — да-да, и горбатой! — раз она никому не нужна счастливая и молодая.

Слезы лились, но она уже немного улыбалась, самым краешком губ. Ведь раз она плачет, значит, не такая уж и счастливая, и вообще, может, ей только казалось, что она не сможет жить дальше, не поделившись с кем-то этой громадной для сердца ношею счастья?

Чистый и сладкий послегрозово́й воздух втекал в окно, шевелил тюль. Большая круглая луна, запутавшись в ветвях не расцветшей еще рябины, стояла прямо над окном. И, глядя на эту луну, казалось, что где-то далеко кипит жизнь — радостная, легкая, в которой и она тоже могла бы быть красивой, любимой, а ей надо ложиться и спать здесь, одной в этом глухом доме, где все, накричавшись, разбежались по углам, каждый со своей злостью, обидой; и эта лунная ночь канет зря, пролетит мимо, как пролетело целых восемнадцать лет — скучно для себя, безрадостно для других.

Горько, судорожно вздохнув, Светка разобрала постель, легла в сыроватые холодные простыни и стала думать о своем прошлом, которое уже не казалось ей настоящей жизнью. Ведь жить — это любить, быть любимой. Да-да, смеяться, обнимать, шептать ласковые

слова, полной душой помнить и себя, и его, и весь мир. Только это — жить.

Конечно, ее и раньше любили. Например, мама. Она добрая, спокойная. И отец — он справедливый, он не мог ее не любить. Даже бабушка. Только они редко вспоминали об этом. Ее даже ругали как бы за компанию: то с классом, то с Пашкой.

Вот бабка шаркает за заборкой веником, стучит конфорками и оттуда, из-за заборки, их ругает.

— Наплодили вас, что тараканов, — и сидите по углам, и нишкните мне! Ишь, вздумали что! Я вам покажу карамель походя трескаться! Напасешься на вас...

Ругает она обоих, обоих по углам поставила, хотя конфеты таскал один Пашка.

— А я чо? — обижается Светка. — Я не брала.

— Ты — старшая.

Сколько она себя помнит, столько слышит: «Ты старшая». Пашка обычно канючит и плачет и всегда что-нибудь выплечет, а она только рот раскроет — сразу: «Ты старшая. Ты понимать должна! Тебе стыдно должно быть!» Она и понимала, и стыдно ей было, но так иногда хотелось чего-то — прямо до слез.

Во втором классе, например, хотелось большой белый бант в красный горошек. Даже до сих пор обидно, что так и не было у нее такого банта. И до сих пор кажется: получи она его — и жизнь хоть чуток, а пошла бы по-другому, веселей.

У всех девчонок были эти банты — большие, они сидели на головках как громадные бабочки, готовые вспорхнуть. У нее одной — обыкновенная ленточка. И Лидия Ивановна как начнет, бывало, их ругать: «О, господи! До чего же вы тупые, никогда у меня такого класса еще не было. Да думайте же, думайте!» — и, проходя, ладошкой Светку по затылку — раз! Не больно, конечно, совсем не больно, а обидно. Ругает-то она всех, зачем же по затылку только ей? Конечно, у других бантики, мять жалко.

Особенно красивые и пышные банты были всегда на соседке по парте, Адочке Безруковой. И Адочке никогда не попадало. Правда, она и училась хорошо, не то что Светка, у которой за все восемь лет учебы было две пятерки: по рисованию и пению. А Лидия Ивановна ей вообще никогда и ничего, кроме троек, не ставила, сколько бы она ни учила, а уж она-то за уроками сидела, аж пока мать не накричит и спать не отправит.

Один раз только, под самый конец третьего класса, и на Светкину долю выпала радостная минута. И то, если честно, не настоящая это была радость.

Задача у нее в тот день, как всегда, не решилась, она стала ждать, пока решит Адочка, чтобы списать, а Лидия Ивановна заметила, что она ничего не делает, рассердилась и вывела ее из класса за ухо, да так больно — все ухо красное было. И еще говорит: «Без матери не приходи, портфель не отдам!»

Светка прибежала домой с ревом, а дома — папка. В отпуск приехал. Мамка сразу стала ругаться, какая она тупая и ленивая, а он: «Погоди, говорит, Лена, давай разберемся». Взял Светку за руку, пошли они, и всю дорогу он спрашивал, как и что, и всему верил, кивал. Она на радостях все и рассказала впервые — про бантики, про подзатыльники.

Пришли, а Лидия Ивановна как раз в коридоре со своим Вовкой стоит. Он у нее в пятом классе тогда был, такой толстый, противный. Отец подошел: «Здравствуйте, говорит, я Светин папа. Она вам что-то очень не нравится?»—«Да, я ею недовольна. Она сегодня...»—«Так вот,— не слушая, говорит он,— а мне, допустим, ваш сын не понравился,— и хватъ Вовку за ухо.— Давайте им будем вместе уши обрывать, а?»

На следующий день Лидия пол-урока ругалась, аж красная сделалась: какие есть родители бессовестные, приходят в школу пьяные и позволяют себе хулиганские выходки! Но Светку до самого конца года даже пальцем не тронула.

И очень долго этот день был лучшим Светкиным воспоминанием. Лучшим еще и потому, что было оно связано с отцом, которого Светка очень любила, хотя довольно странно.

В ее глазах он был, конечно, самый справедливый и сильный, но это как-то не имело никакого к ней отношения. Она никогда не думала, что отец может за нее заступаться, должен ее любить, что у него можно, скажем, попросить подарок. То, что он иногда все-таки заступался и привозил подарки, было нечаянной радостью, прообразом прекрасного будущего, не более. Во-первых, он почти всегда был очень далеко, а во-вторых, когда и бывал рядом, Светке чаще хотелось не ему пожалиться, а его пожалеть, утешить в какой-то обиде.

Сколько ей было, когда он уехал? Еще в школу не ходила, а очень хорошо запомнила весь тот день —

и как они резали картошку, то есть резал, конечно, папка, а она сидела рядом, подкладывая из корзины в кучку перед ним рогатые, мягкие картофелины, и как пришел потом дядя Леня, как их с Пашкой прогнали в избу; дядя Леня стал на папку кричать, размахивая руками, папка кивал, а потом они прогнали и мамку, она тоже сидела в избе, тревожно прислушиваясь к дядь Лениному голосу.

Назавтра мамка сказала, что отец, наверное, скоро уедет, потому что иначе им всем из нищеты не выбраться. «Его дядя Леня прогнал?— спросила Светка.— Да?»— и получила подзатыльник.

Очень долго оно незыблемо держалось в ее душе — это ни на что не опиравшееся убеждение, что папку ее обидели и прогнали. Да и зачем ему было опираться на что-то? Разве мало того, что ею самой вечно все были недовольны, и разве душа ее, так рано ущемленная, остуженная сознанием своей второсортности, могла полюбить кого-нибудь не обиженного и не гонимого?

Отец, справедливый и далекий, добрый и кем-то все время незаслуженно обижаемый отец, был у нее в душе той точкой, вокруг которой строилась и оборачивалась вся мечтательная жизнь. Он уезжал, и она тоже мечтала когда-нибудь уехать. Да, мол, уедет, пропадет и потом через много лет приедет показаться — такая вся умная, на своем автомобиле, в голубых брюках, пахнущая духами, с умным лысым мужем и маленьким пухлым сыночком в белой рубашечке с кружевами на груди — точно с такими, как приезжала иногда Адочкина тетя Варя. И как она пройдет по улице, а бабушка...

Но это все не очень-то утешало и успокаивало, ибо самым трудным было для нее поверить в то, во что, не задумываясь, свято верили все девчонки — в будущего мужа и детей.

Еще в четвертом-пятом классе она уже знала, как мужья любят жен и отчего у них рождаются дети. И иногда, сидя за столом и вроде бы делая уроки, принималась упорно разглядывать в вырезе сарафана намечавшиеся выпуклости или, приподняв юбку, тощие бедра в царапинах и острых зябких пупырышках. То, что она видела, казалось ей уродливым, ненастоящим, как плохо сделанная кукла. И она с грустной покорностью как бы соглашалась с кем-то, что нельзя же любить такую тощую уродину той любовью, от которой рождаются дети

и для которой, по словам всех девчонок, так важно быть красивой, иметь фигуру.

Она так много думала об этом, так отчаянно плакала по ночам, что позже, когда начались всякие записочки и шуры-муры между мальчиками и девочками, уже оставалась ко всему спокойной, передавала записочки и выслушивала признания подруг с благожелательным равнодушием старшей.

Так и прокатились восемь ее школьных лет — в неизбывной, но хорошо затаенной обиде, в нелепых мечтах да в заботах о брате, которого вечно кто-то обижал, собирался бить, подговаривал нашкодничать... Так и пролетели. Она даже не огорчилась, когда сказали, что лучше ей не оставаться в девятом классе, а идти в торговое училище. Другие девчонки рыдали, мамы их бегали умолять, она же встретила перемену судьбы спокойно. Так — значит так.

Первым, кто заметил, что и она девушка, был, как ни странно, Колька Бочков. Но с ним — это было просто так, чепуха, она даже не кокетничала. Единственно, что ей нравилось, это когда он заходил за ней в универмаг или домой, расфранченный, пахнущий «Шипром», и все видели, что она идет куда-то с мальчиком. Дальше бывало совсем скучно.

Зимой, в семь часов, когда закрывают универмаг, уже темно, ночь. Пока идешь по улице Свободы, еще так-сяк — фонари, народ, — а свернешь на Гагаринскую, потом на свою, и тут уж совсем темно, пустынно. Только скрипит под ногами снег и сердце гулко колотится от страха. А если впереди никого нет, до двора далеко, а сзади шаги, настойчивые, догоняющие, — тут и совсем ум потеряешь.

Она пошла быстрее, и за ней пошли быстрее. У поворота она не выдержала, бросилась бежать, и тогда там, сзади, побежали, потом крикнули: «Шапкина, подожди!» — догнали, схватили за плечи, и очень вовремя, потому что она вдруг так обессилела от пережитого страха, что чуть не упала.

— Идиот, — выдохнула. — Совсем чокнулся?

— Я от самого универмага за тобой иду и думаю: ты или не ты?

— Ну напугал, господи, надо же!

— Нет, правда, иду и думаю: Светка, думаю, не Светка, не знаю, как и окликнуть.

— Вот дурак, ну дурак,— бормотала она.— От, господи, до чего перепугалась, надо же! — а страху уже ни капельки не было в душе, просто не знала, что же ему сказать, этому Герке Чересседельнику, когда-то давным-давно, когда она была в восьмом, бывшему самым красивым и высоким мальчиком в десятом.

— Погоди,— вдруг спросил он, отпуская ее плечи.— Ты ж не в этой стороне совсем жила. Или замуж вышла?

— Ты что? Совсем, что ли? Мы просто дом купили.

— А я училище кончил. Теперь на заводе работаю, в живописном.

Они еще часа два ходили и болтали, и так с ним сразу стало ей просто... Сразу как-то, с первых слов очень легко, радостно! Тогда она не понимала, что душа ее просто вспомнила его и, вспомнив, проснулась, захотела радости для себя и для всего мира. Она тогда и слов-то таких не знала. Это ж совсем недавно попала ей на глаза одна индийская сказка, в которой принц говорит своей невесте: «Вспомнила тебя душа моя!» И Светка, прочитав, ужас как поразились: сказка, а какая, оказывается, правда!

Ведь неизвестно когда, не в этой, наверное, жизни, но и она знала своего Герку, знала, ждала эту будущую радость. Нет, тут даже больше, чем в сказке, страшней, потому что душа ее и себя-то вспомнила по-настоящему, только вспомнив его. Оказывается, где-то в середине, в зернышке, Светка всегда была легкая, радостная и простая, а все, что было снаружи, все эти тайные страхи, что она какая-то не такая. Некрасивая, угрюмая, обидчивая,— все это были только одежды на душе — неловкие одежды, стесняющие. И вот душа ее вспомнила себя и сбросила все мешавшее. А если бы не вспомнила? Господи, и подумать страшно, как было бы плохо, как грустно было бы ей жить дальше.

У них все получилось просто и как бы само собой. Даже когда перед Первوماем она поняла, что беременна, то не испугалась, а только удивилась каким-то невнятным, как далекое эхо, удивлением: надо же, дескать, и она как все. А Герка обрадовался. «О!— сказал.— Старуха, так это же прекрасный повод, чтоб нам расписаться, скажи?»

Она давно, заранее знала, что они поженятся, настолько знала, что почти и не думала об этом, но как

здорово он про это сказал! Так, как умел только он и больше никто.

Единственно, на что всю зиму ей тяжело было решиться,— это чтобы Герка пришел к ним домой. Тут она всегда пугалась, тянула, откладывала. Все ей казалось, что они, то есть ее дом и Герка, не понравятся друг другу. Отец, мама — с ними всегда так напряженно, трудно. Может, отцу Герка бы и понравился, думала она, но потом, а сейчас папка только и говорит, что о доме, красках, обоях, и все какой-то злой... Он может Герку так же не заметить, как не замечал Кольку, когда тот в начале зимы несколько раз заходил за нею. А это было бы слишком ужасно — если бы пришел ее Герка, а его даже и не заметили.

Так он и не побывал у них ни разу. Зато Светка очень полюбила заходить к ним, особенно вечером, после работы. Так замечательно было идти через мост, против сырого мартовского ветра и знать, что сейчас поднимешься по лестнице, позвонишь, тебе откроет он или его мама, откроют и улыбнутся. Ты ничего еще не сказала, просто вот стоишь, а человек уже рад, и ты тоже рада, потому что вот же он, стоит — через порог. И всегда она поражалась этой радости, как самому важному чуду.

А с мамой его было так же легко, как с ним. Наталья Дмитриевна сразу ей понравилась. «Вот,— сказала она сыну, когда тот привел Светку знакомиться,— теперь все! Как мы и договаривались: одна девушка у нас появилась, остальных я и на порог не пушу, понял?»— и засмеялась.

«Господи!— вдруг подумала теперь Светка, поспешно откидывая одеяло и садясь.— Живут же люди! И все у них легко, хорошо, не то что у нас». И тут же: «Зачем это я села? Что, сейчас прямо к нему и бежать? Вот сумасшедшая!» Она представила, как бежала бы через весь город, к новому поселку, в одной рубашке, лавируя между лужами.

«А что,— думала,— вот прибегу, позвоню... Он откроет, тоже смешной, в одних трусах, откроет — и обрадуется. Не удивится, не испугается, не спросит ничего, а обрадуется. И тетя Наташа обрадуется. Конечно, потом спросят и посмеются, может, и напугаются, не простыла ли? Тетя Наташа станет поить чаем с малиной... Но это все потом, а сначала обрадуются. Ведь это

так и должно быть, чтобы всегда люди видели друг друга и прежде всего радовались».

Эта мысль ей показалась такой умной и так много обещающей на будущее, что она, успокоенная, юркнула под одеяло и быстро уснула, улыбаясь, будто прямо здесь, перед ней, стояло ее двадцатилетнее чудо — Герка Чересседельник.

6

Оставшись одна и не спеша освобождаясь от дневных туговатых одежд, Елена Григорьевна впервые ясно, словами подумала то, что давно уже нетерпеливо скулило и скреблось на задворках души, точно щенок, которого не пускают в комнаты.

«Да, это так, — подумала она. — Или я совсем от него отвыкла, или он какой-то не такой стал. А заново привыкать — охо-хо...»

Многое собралось в этот вздох — все, что копилось по капельке, до поры скрываемое даже от себя, все раздражение, недоумение.

Зиму прожили — точно их кто в шею толкал. Ни в гости, ни в кино. С работы беги домой и опять работай, работай! Конечно — дом. Ей ли не знать, что без дома и жизни, считай, нет? Это так. Но зачем теперь-то было им торопиться, дух из себя выгонять? Что они — без той же баньки не могли пока жить, ходить в городскую? Нет, как загорелось ему: давай! И то давай, и это — все! А всего хуже, что и сам он какой-то стал дерганный, злой. Иной раз не знаешь, как и слово сказать. Раз! — и губы уже затряслись, перекосились... Ну, сегодня ладно, Пашка крупно нашкодил, хотя кто из них сейчас не шкодничает? А перед праздником, когда она чуть-чуть, робкой шуточкою попробовала намекнуть про Светку? Тоже ведь глаза налились, вскочил: «Говори все!» Чуть не за горло схватил. Будто матерям так все и говорят. Тем более Светка. Из нее с первого класса клещами, бывало, тянешь, что да как.

И сейчас ничегошеньки она, конечно, матери не говорила, толком Елена Григорьевна ничего и не знала, но чем-то тайным, женским, ревниво чуяла в дочке большие перемены. То ли просто созревает девка, к самой поре подходит, то ли... И не то чтоб уж очень это пугало материнское сердце — в конце концов хоть и опасная пора, а все ее проходят и все живы остаются

ся,— но все-таки хотелось поговорить с кем-то, обсудить. А с кем, как не с мужем? Вот и заговорила, а потом весь день испуганно вздрагивала, вспоминая.

Нет, Мишка очень переменялся. Может, истаскался по бабам на своем Сахалине? Или любушка была там такая, что и теперь тоскует? Но с ней-то он хорош по-прежнему, так что иной раз и неловко: вроде бы сама уже не та. А что поделаешь, если отвыкла?

И эта мысль об отвычке, о холодности к мужу была так нова, так несогласна с тем, что всегда привычно думала о себе Елена Григорьевна, что, выпущенная теперь с задворок души, налегла на сердце тоскливой, неподъемной тяжестью.

«Ах, господи!— думала Елена Григорьевна.— Ведь это что ж?.. Ведь худо тебе будет, бабонька, а? И когда ж это случилось? Ведь как любила когда-то, взалхлеб ведь, кислороду без Мишеньки не было. На что мать тогда была суровенька, а в то утро сразу дошло: во всем можно тебя сокрушить, все отобрать — а здесь отступить надо».

С привычною тихой радостью опять встало в ее памяти то утро, когда она проснулась потому, что кончился дождь, ливший всю ночь. Рассвет чуть занимался, мутная густая синева стояла в комнате, и не глазами, а душой, всем телом, помнившим ласки, увидела она его детски-счастливую улыбку, эти припухлые губы, шевелившиеся, точно и во сне искавшие ее губы, ее грудь... Увидела и поняла: никаких нет сил его будить, гнать, да и зачем? Это как-то сразу спросилось: зачем? И сразу, без всяких сомнений ответилось: «Будь, что будет, а не отпущу!» Даже мать, хоть и пошумела потом для порядку, а учуяла: тут Ленка кремень!

Господи, как все это давно, как молодо!

Елена Григорьевна чуть улыбнулась — нечаянное воспоминание как бы потеснило, отодвинуло тоскливо придавившую сердце мысль об отвычке, дало возможность перевести дух, скинуть наконец с себя надоевшие тряпки.

Ее, прожившую всю жизнь в тесноте, в скученности, все еще будоражил простор нового дома. Особенно в эти минуты вечернего переодевания. За всю жизнь не было у нее такого, чтоб раздеваться не торопясь, не прячась, не пригибаясь за спинкой кровати, не прислушиваясь с тревогой: а спят ли дети? И ведь какая это

благодать для бабы — хотя бы вот так, голой уже, протянуться, не торопясь оглядеть, что ты за баба такая?

Нет, она была еще ничего, очень даже ничего. Немного чересчур поплотнела, но Мишке так вроде и нравится, а на сидячей работе от этого не уйдешь.

Сейчас, конечно, все на диетах. Вон сегодня опять бабоньки списывали новую, где все по-бухгалтерски, на подсчете калорий. Но, честно говоря, каждый кусок себе обсчитывать — это ж с ума сойдешь, да и обидно: полжизни, считай, и так на диете отсидела. Пусть уж другие считают — она свои килограммы носит пока легко! Да и другие диетами интересуются больше для форсу, килограммов в них ничуть не меньше. А так, — она провела руками по бокам, оглаживая бедра, — так-то она бабонька еще ничего, хоть куда бабонька.

Вот тут некстати и вспомнилось ей о беременности. То есть этого она и не забывала, но все уже было у нее решено, договорено, а потому как раз и можно бы ни о чем не думать, так нет — выскочило, дрожью прошло по всему телу. И опять — не только о теперешнем, о хлопотах, о предстоящей боли, а почему-то и о давнишнем, томительно-сладком, молодом.

Когда она... А кажется уже, что вроде бы и не она, совсем другая, смешная такая дурочка, толком не пришедшая в себя от той радости, что вот и она женщина, и у нее муж, любит ее, ласкает... Короче, в той туманной дали времен, где она была беременна еще Светкой месяце на третьем или четвертом, пошли они как-то с мамой в заводскую баню. Зеркала там были плохонькие, с потрескавшейся амальгамой, точно желтой паутиной затянутые. Но ее — как приковали: все рассматривала себя с удивлением, даже немного с обидой. Казалось, уже давно, целую вечность известно, что у нее будет ребенок, так почему же ничего, ну ничегошеньки еще не видно? Уж не порченная ли она?

И такая еще была дурочка, что не удержалась, спросила у матери: где же он помещается?

— В глупой вашей башке, где ж еще? — отрезала та. — Чай, было бы там хоть чуток мозги, так разве б вы о детях думали? Ведь голь вы еще, голь подзаборная, самая что ни на есть нищета! И чего боисси! Мы и до бабок бегали, а вам теперь в больнице, честь честью, так чего кочевряжиться?

— Я и не потому вовсе, а Миша хочет.

— Что Миша? Сядни он Миша, а завтра, может, и Ваня. А дите всегда при тебе, ты мать, тебе не уйти, не уехать. Так ты по-умному — ничего не говори, а придешь, он еще и рад будет, слово тебе даю!

Нет, тогда она не решилась. Шептала, просила, плакала, а все равно по его вышло, по-Мишкиному. И со Светкой, и с Пашкой.

— Дура ты!— говорила мать.— Боисси, уйдет? И что то за мужик, что детей больше бабы любит?

Она не боялась, нет. Скорее всего, нет. Просто он говорил: «Семья без детей одно баловство». Что тут возразишь? Или он говорил: «Я, Ленка, сирота, и больше всего хочу, чтоб у моих детей было все, чего у меня не было,— родители, дом, братья, сестры, игрушки, сад — все!» Хорошо он тогда говорил — всю жизнь наперед расписывал. Потом-то сказал другое. Сказал: «Что у нас с тобой была за жизнь? Одно унижение». Вот еще когда он такой был! Такой же тяжелый, неудобный, мучительный. Всю любовь ее, всю жалость забыл, одну свою гордость помнил!

Елена Григорьевна потушила свет и раздернула шторы. Воздух был замечательный. В почти очистившемся небе, над старой соседской рябиной висела полная луна, и тонкие кисейные облачка голубым пояском тащились через ее завораживающее чело.

«Нет, все правильно!— еще раз подумала она, укладываясь.— Когда-то же надо и пожить человеку. Скотине и той надоест в упряжке».

Господи, когда она так жила, чтоб не тер хомут шею? Взять даже эту зиму — тоже ведь одна слава, что богатые, с машиной. А какое она с этого богатства удовольствие имела? Чем себя потешила? Хоть на машине той куда-нибудь съездила? Раз за картошкой в Новинки да перед праздником в область. И то, за картошкой — это еще зимой было, почти всю дорогу накат, гололед, КРАЗы со стройки летят как угорелые, аж земля дрожит. Больше страху, чем удовольствия. А так — стоят себе их «Жигули» под брезентом, даже двор не украшают. Уж просила, чтоб хоть Мишка на работу ездил, хоть для форсу, так он смеется: «Пока, говорит, мне их заводить да выводить, так я уже добежал».

И так во всем, всегда! Другие живут, а она только детей растит, да мужа ждет, да дом обихаживает.

Луна-то, луна!.. Облачко чуток наехало на нее и насквозь кипит ведьминским светом — вот сейчас потечет

через край голубовато-серебристой пеной. Невозможно смотреть на такую луну, себя не жалеючи! Немо, безъязыко, неразрешимо томит она всю, точно мужик во сне, манит неведомо чем, но чем-то тобой упущенным, безвозвратно упущенным.

И ведь так разобраться — многонько проворонено в ее жизни! Молодые годы протекли в вечных долгах, в беспокойстве, в зависти к Лизкиным тряпкам, но все же, как вспоминаешь, только они и были похожи на человеческую жизнь.

В молодости ведь что? — какая ты ни усталая, ни несчастная, ни замотанная, а погладит тебя муж по головке, и ничего больше не надо, стоял бы так, жалел... И не то даже, чтоб жалел, а чтоб только был. Домовничаешь, выглянешь в окно, а он у сарая дрова колет, по пояс разделся, пар от него по осеннему холодку так и валит, спина розовая. Выглянешь, и сразу в тебе никакой заботы, суеты, одна нежность, такая нежность, даже утерпеть нельзя, беспременно какую-нибудь чепуху ему прокричишь в форточку, а он выпрямится, улыбнется, лоб утрет и рукой тебе помашет...

Когда Мишка решил уехать, у нее одно это и сидело в душе занозою: как же так — проснешься, а его нет? Выглянешь — а во дворе пусто, ждать некого? Ведь с тоски взвоешь, с ума сойдешь, по городу искать кинешься.

Потом, в злую минуту, мать все ей выговорила жестко:

— Я, говоришь, за богатством его погнала? Так бы он и поехал. А и ладно, пусть я, только и ты смолчала. А? Смолчала? Не распнулась на пороге? Потому и смолчала, что вечной нищеты испугалась, не захотела до скончания веку так жить. А не схотела, так и теперь молчи! Нишкни!

Да разве кто знает чужую душу, даже мать? Вовсе не из страха перед вечной нищетой она отпустила мужа. То есть такой страх, может, и был, но он сидел у нее глубоко, точно мышка в норке, взгляда ее боялся, сунуться на порог не смел. Было другое. Она хоть и дурочка, а Мишеньку своего знала. Из одних денег он бы и сам не поехал. Гордость человеку прищемили. Задели, всколыхнули что-то тяжелое, темное, чего она никогда в нем не любила, а лишь опасно поджималась, обходя стороной. Не нищеты испугалась — его самого. Ну как заступишь путь, а он только отбросит тебя со

злостью и не оглянется?! Вот в чем страх был. Хотя... Если б знала, что это на одиннадцать лет растянется, то — все равно ведь пропадать! — белугой бы взвыла, уцепилась когтями... А думали — на три года всего! Три года — что? «Если бы, — думалось, — вышла, когда он в армии еще не отслужил?»

Как упустила его из рук, так жизнь ее и кончилась. Остались одни побегушки. С работы в магазин, оттуда — в садик, заберешь детей — беги домой, а там их накормишь, да вдруг сядешь и руки опустишь: куда бежала, к чему торопилась? Пусто, тихо. Такая пошла жизнь — вспомнить тошно.

Шторы, что ли, закрыть? Не уснуть с этой луной — томит, шепчет, что жизнь прошла. Не прошла — промелькнула. Так, бывает, набросишься на что-нибудь голодная — раз! — и съела. А потом жалко самой — куда спешила, зачем не смаковала каждый кусочек, соком сладким не упивалась? Умеют же другие жизнь растянуть, все в ней перепробовать. Вон Воробьева, инженерша, всего на год младше, а только-только замуж вышла. И все баба успела: и к немцам ездила в ГДР, и в Болгарии на курорте отдыхала. Мужиков, поди, без счета перепробовала, а теперь вот и замужем, и ребенок.

Ну, мужики — бог с ними! Ей одного на всю жизнь хватило, не о том речь. Пожить хочется, вот что. Ей скоро сорок. Будешь после этого бабой или нет, а бабкой будешь точно. Как ни крути, жизни остался краешек, кусочек. Вцепиться в него зубами и жить, жить!.. На краешке жизнь во сто крат заманчивей и слаже в каждой своей прелести.

Были молодые — замахивались на многое: на гордую бедность, на детей-погодков. У кого они и сейчас — погодки? Но — ладно. Молодым все нипочем. Вытянули! Так хоть сейчас бы пожить — поехать к морю на своей машине, загорать на надувном цветастом матрасе, сидеть в ресторане... У нее в груди холодело от восторга, когда она думала о такой жизни, когда видела себя в ней чужими завистливыми глазами. И можно ведь, все у них для этого есть. А вместо этого опять рожай, беги на старых сбитых копытах по тому же молодому кругу, и все ради того, что Мишеньке так хочется, что для него, видишь ли, тот дом еще не свой, где дети не плакали?

Нет, муженек, поумнела твоя жена за одиннадцать-то лет. Что от тебя отвыкла — это ей и самой жалко, а что тебя слушать отучилась — так это на пользу! Сейчас, кого ни спроси, все тебе скажут — время такое, что за свою жизнь самой и думать надо. Мужики за себя, за свой интерес, а мы за себя. И что на завтра намечено, тому быть, хотя Пашка-паршивец и встрял не-кстати со своими шкодами.

Тому быть, хоть и мутит ее тайный страх: а вдруг как в тот раз? Но — нет, не за что. Судьба по справедливости отмеряет. В тот раз поделом ей было. Хотя... А кто и за тот-то раз бросит в нее камень, кто сам-то святой?

Как ей худо было без мужа, особенно в первое время,— это все видели и сочувствовали. В цехе — и то вечно ее покрывали. Кто ни спросит — «Вот только тут была, вышла!», «Ее на склад позвали», «Да не на склад, в бухгалтерию», — так голову заморочат, прям вся в делах девка. А она в это время в очереди стоит за ребрами свиными копчеными. Или за куриными потрохами. Ну, потроха — это у них тогда за лакомство шло. Хоть головки, пупки да лапки, а все ж курятина. Бульон наваришь, Светка сидит, большой ложкой цербаёт и аж потеет от удовольствия. Зато ребра никто не любил — ни с картошкой, ни в супе, а все равно — как радовалась, когда удавалось ухватить, прямо светилась вся! Как же: сэкономила, выгадала! Честно говоря, уже и нужды не было так жаться. Ну, может, первые полгода. Потом-то и долги роздали, и запасец стал появляться. Да над душой висело: человек к черту на кулички поехал, от нищеты вас спасать, а вы тут пузыря распускаете? Вот и крутилась, на детей цыкала, гандо-била, копейки выгадывала.

А если и были в этой заверти какие щелочки, минутки покоя, так их зорко сторожила, высматривала тоска. Углядит, выбьет все из рук, навалится — хоть волком вой!

И когда так прикручивало, что, думаете, она вспоминала? Ночи? Слова всякие, ласки? Как бы не так! Об этом она и думать себе запретила, чтоб совсем не свихнуться.

Сидела, выскивала в прошлой жизни, чем казнить, распинать себя по мелочам. Вот хоть ночнушку, что

когда-то купила себе, шелковую, с желтыми цветочками... Дорого было, восемнадцать рублей, а рука сама заплатила. Уж очень ясно представила она себя в ней перед Мишкой. Никто тогда не заругал, всем понравилась. А тут — через семь-то лет! — тошно вдруг станет за радость свою дурную, за нетерпеливое дрожание рук. Вот, думаешь, не дрожала б ты возле всяких тряпок, так и жила б сейчас как человек, с ним рядом. Или еще что-нибудь выищешь — и казнишь, казнишь себя целыми днями.

Видно, душа понимала, что нельзя ей радоваться, замереть надо, замерзнуть. Душа понимала, а Ленка нет. Человек вообще редко понимает, как и чем живет. Вот отживет какое-нибудь время, тогда и начинает до него доходить: вот оно, оказывается, за какие ниточки меня дергало!

И что в этой тоске, в заверти этой житейской единственное ее спасение — это она тогда, и сказали бы, не поверила. Думала: вырваться бы, оглянуться, вспомнить, что ты за человек!

А как вырвалась, оглянулась — господи, тошнехонько!

Работала уже в ДПО, начальница цеха сама ее и порекомендовала, пожалела. Работа хорошая, не зря она на ней вот уже десятый год досиживает. А тогда особенно хороша казалась, в новинку. И денег больше, и сама себе хозяйка: хочешь — в магазин выйдешь, хочешь — на рынок, не устаешь... Первое время — просто блаженствовала, даже мордашка округлилась.

А тут и лето началось; огород посажен, Светку в лагерь отвезла, в Краснокутье, Пашку мама с собой взяла, поехала на три недели в Калязин к своей двоюродной. И как-то Ленка вдруг остановилась, выпала из карусели. Домой прибежишь — а вроде и делать нечего, сидишь, телевизор смотришь.

И тут как раз от Мишки письмо: ждет он каких-то бумаг и как получит — сразу на самолет. Прочла письмо и нет бы обрадоваться — дождалась-таки! — а на нее страх напал, тоска. В зеркале такой себе глянулась, что Мишка, поди, и не узнает: лицо все как-то выцвело, обвяло. Вон у той, на старой фотке, бесенки в глазах, а у тебя что? И заплакать-то страшно: от слез еще больше подурнеешь. Вынула нарядное платье из белого маркизета в букетах — больше всех он это платье любил, — нагладила, надела. Лучше б и не вспоминать про

него! Как не на нее шито: в бедрах вроде нормально, а на груди мешком.

Вечера три так промыкалась. Руки к чему приложить не знаешь, а на душе тоска, маета, чувство такое, будто надо спешить, бежать куда-то, а куда — позабыла.

Чтоб о себе не думать, к Лизке пошла. После Мишкиного отъезда она с сестрой как-то раздружились. И обида была: все ж таки через нее скандал с Бочкой вышел. Но даже не в обиде дело, а стала она Лизки вроде побаиваться. Глаз ее насмешливых, советов простых да скорых.

Пошла, а у сестры дым коромыслом: сама мясо на пироги перекручивает, а в духовке уже гусь сидит, скворчит, фыркает жиром, сладкая гарь от него по всему дому. Что такое?

— Да вон телеграмма на столе.

Прочла: «Выгони зпт завтра буду Леонид».

— Ой, Лиз, кого выгони-то?

— А хахаля моего, — смеется.

— Что ты смеешься, лошадь старая, а как он вправду знает? Может, ему Бочка опять написала?

— Пускай пишет! Так он ей и поверил!

— Так пишет же.

— Что пишет?! Вот он завтра приедет, я его покормлю, в баньке вымою, обниму, и никому он, милая, кроме меня, не поверит. Мужиков понимать надо.

Посмотрела на старшую: руки полные, щеки с ямочками — все при ней! Эдакая и вправду забыть все заставит, всему поверить. Мишке, слава богу, ничего забывать не надо, а все ж еще горше стало, смутнее на сердце.

— Смотри, — сказала только, — по жердочке ходишь.

— Это уж не твоего ума дело.

Назавтра после работы прибежал Игорек, нацелил с порога большой автомат:

— Та-та-та-та! Падай, тетя Лена, ты вся застреленная!..

— Ишь ты! Откуда ж у тебя пушка такая?

— Папка в Москве купил.

— Так он приехал, что ль?

— Мамка сказала, чтоб ты бегом!

Она побежала. Как же! Уж Ленка-то о Мишке все знать должен, недавно, чай, виделись.

Гусь, весь в красных зажаристых корочках, с капустой и яблоками, выпиравшими из расшитого брюха, лежал посреди стола в окружении разноцветных бутылок. Еще красней, еще жирнее гуся, сидела за столом Бочка, на всех недовольно поглядывая. Ленке, впрочем, улыбнулась.

— Твой-то что? Все на меня злится?

— Нет, что вы...

— То-то же! Я, коли хошь знать, всем добра желаю да по справедливости,— и так через стол на Лизку глянула, что у Ленки аж мурашки по коже.

А Лизка ничего, только усмехнулась презрительно:

— Лёнчик, как тебе мой гусь?

— Ммм... Не гусь — обжорство. Толя, подтверди!

— Ну, что ты! Никогда такого не ел и даже не видел,— солидно усмехнулся сильно лысый рыжебородый мужичок, сидевший рядом с хозяином. Волосы у него начинали расти лишь возле ушей. Видать, все на бороду пошли. Но зато был трезв, не то что Ленька.

— Леньк,— окликнула Бочка строго.— Что ж ты про Мишку не скажешь? Чай, евонная не на тебя поглядеть пришла.

— А не хочу! Он там обабился совсем, Мишка твой!

У Ленки сердце упало.

— Ни выпить с человеком, ни по бабам. То есть, Лизунчик, по бабам — это не я приглашал, вот те крест! Это Толя.

— Я, я,— с готовностью закивал рыжебородый и, повернувшись к Ленке, добавил:— Но Миша ваш — ни за что! Кремень!

— Точно!— пьяно заорал Ленька.— Я, говорит, по шлюхам не ходок. А какие шлюхи, какие шлюхи? У нас там все — порядочные женщины! То есть, Лизунчик, не у нас, а у него, у него!

Лизка смеялась.

— За вашу верность!— сказала, поднимая стопку.

Ленке налили сладкого румынского вина из длинногорлой бутылки. Она выпила и неожиданно почувствовала, что в этой развеселой компании ей вроде и легче.

— Дак когда он приедет, мой-то, не говорил?

— Приедет, приедет. Видишь, уже не ходит никуда, силы копит, значит, приедет.

— Дурак ты, Ленька!

— Да я не дурак, я сроду так.

Рыжебородый подлил ей вина.

— Давайте отдельно за вашего супруга!

— Вы его знаете?

— Разумеется, хоть погулять с нами на прощание он и не захотел, и правильно, кстати, сделал. Была б у меня такая жена, я б тоже не пил, не курил, честное слово!

Было очень шумно. Игрок беспрестанно во всех палил из своего автомата, на хмурую Бочку никто не обращал внимания. Ленька выложил на стол маленький магнитофон, заигравший неожиданно громко, и все его двоюродные полезли из-за стола танцевать. Что-то их много собралось в тот раз — Ленькиных двоюродных.

Во время танцев рыжебородый бормотал насчет ее неотразимости, она смеялась, потом пили за Ленькину удачу...

Домой пошла уже в совершенной тьме, под неизвестно когда начавшийся реденький дождик. Через два двора вышагнул из-за тополя рыжебородый, забормотал:

— Леночка, светлая женщина, что же вы делаете со мной, кто так уходит?..

Она ни капельки не удивилась, не испугалась, позволила обнять себя за плечи и сама, озоруя, прижалась боком чуть-чуть. Дошли до угла, до Октябрьской улицы.

— Ой, там что?— спросила вдруг, указывая в сторону.— Видите, Толя?

Он отпустил ее, повернулся:

— Где?

А она уже бесшумно скользнула в Журавихин двор, за густые смородиновые кусты, присела.

Он крутился на месте, звал ее так растерянно и глупо, что еле сдерживаемый хохоток дрожал у нее под грудью. Потом кинулась Журавихиным двором на свою улицу и через три минуты, чуть запыхавшись, была уже у себя.

Путь старый. Она еще в школе отделялась так от нежелательных провожатых и, может быть, потому, когда бежала через дворы, казалась себе очень молодой, легкой. Да только стукнула щеколда, как вся эта легкость вышла из нее одним долгим вздохом. Как опустилась в сених на лавку, так и сидела, не ощущая в себе ничего, кроме пустоты. Ни мыслей никаких, ничего. Один холодок черный, точно в пустом подвале.

Так и не помнила она толком, как постучался он, как открыла...

Когда выпроводила, на улице серо, туманно занимался ранний рассвет. Зябко поеживаясь, вернулась в избу, прилегла, и тут будто в сердце ее толкнуло: должен же был он у кого-то спросить, где ее дом, и, значит, все уже знают, куда он ходил. Пошел — и пришел на рассвете. Ой, мамочки!

Вскочила, держась за сердце. Кровь гулко дергалась в висках: «Все! Все! Все!..» Торопливо накинула поверх халатика Мишкин старый пиджак и задами бросилась к Борховке. Борховка на всем течении мелкая, быркая, но есть омутки. Один совсем неподалеку. Там, говорили мальчишки, какие-то страшные коряги... Да, господи, не все ли равно!

Город и река, ни перед кем не виноватые, спали крепчайшим предутренним сном, даже вода не бормотала на камнях. На берегу, у большой ивы, Ленка скинула пиджак, халатик. Вся дрожа, вошла в воду, зачем-то перекрестилась, присела и поплыла. Над серединою омута глубоко выдохнула, сложила руки и стоймя стремительно пошла ко дну.

Вдруг сами собой открылись глаза. Зеленая полутьма давила на грудь, звенела в ушах. Внизу, под ногами, в зеленовато-серой мути было что-то черное и страшное, леденящее живот. Ужас, как судорога, передернул ее тело, и вода тотчас стремительно вытолкнула его на поверхность. Она что-то крикнула, глотнула воздуха, воды и, отчаянно колотя руками, поплыла к берегу. Когда выскочила, не было ни стыда, ничего. Холод, радость избавления и запоздалый ужас перед тем, на что она без раздумий решилась, трепали ее крупной дрожью.

Пошла на работу, но к обеду поднялся такой жар, что ее под руки привели домой, уложили в постель, сбегали за аспирином. Пришла докторша, и она, стуча зубами, хватала ее за руки, умоляла спасти, кричала, что у нее дети... А сама даже сквозь бред и жар с ужасом помнила, что там, в реке, ни муж, ни дети ей на память не пришли. Тело само захотело жить, один животный страх спас ее, вытолкнул из воды, по-настоящему животный, возникший в животе, помимо души.

Проболела недели две. Маму вызвали телеграммой; Лизка и Ленька уехали в отпуск, заходили прощаться, жалели ее. Никто ни о чем не знал, не намекал. Па-

шенька тоже что-то разболелся, капризничал, мать металась от одной постели к другой; потом все улеглось, прошло; к концу месяца, когда приехал Михаил, все было по-старому, и, видит бог, как она его любила и как обрадовалась приезду. Одна, правда, секундочка была в первый вечер, когда неудержимо потянуло броситься на колени, зарыдать... Она пересилила себя, зажала. Да и кому они нужны — такие признания?

Потом стало легче. Лишь где-то в самой глубине своей она будто замерла, лишь там чувствовала, как все эти два с лишним месяца, что Михаил был дома, все время и надо всем — над их любовью, планами, ссорами, над каждым словом, что они говорили или не говорили друг другу, — надо всем висела, покачиваясь, наливаясь свинцом, эта убойная гирька, стыдная ее тайна.

Может, если бы тайной была только та ночь, она пересилила, убила бы память, заставила себя считать ее дурным сном, бредом. Но еще до того, как приехал Михаил, она знала, что беременна. И ничего — ни болезнь, ни всякие ухищрения вроде таскания тяжестей и парки ног (матери сказала, чтоб мозоли срезать), — ничего не помогло. У греха семя цепкое.

А насчет Сахалина... Если б могла она тогда сказать решительное нет, как мать говорит — «на пороге распнуться», остался бы Мишка. Это она помнит точно. Она и умоляла, даже плакала, но в самый последний момент всплывала память о ее тайне, меняя голос, лишая напора, путая мысли.

Он уехал. Аборт вышел тяжелый. И Ленка как-то не удивилась этому. Есть, значит, что-то, решила, что воздаст каждому по грехам его. И потом, когда поправилась, вдруг с удивлением почувствовала, что очень глубоко, в чем-то самом тайном и важном она успокоилась.

Ровно так зажила, без дрожи. Дети болели — она не терялась, не паниковала, спокойно и разумно делала то, что нужно, не больше. Мать ругалась, она слушала, не спорила и все делала по-своему. Муж приезжал, она его любила, уезжал — словно бы и забывала, что женщина, что тело ее создано богом еще для чего-то, кроме работы. А ведь восемь лет — это не шутка. У Лизки их вон сколь за это время перебывало! Хоть и сестра, и старшая, а надо сказать честно: блудливая бабенка. Ленка совсем не такая. И если вправду есть что-то, что карает и награждает, то эти восемь лет должны ей за-

честься, должна наконец выпасть такая карта, чтоб пожила она и в свое удовольствие тоже. Конечно, завтра будет ей больно и горько, зато потом... А «потом» — это больше, чем «завтра».

«Вот только Пашка... — думала она. — А может, и ничего, обойдется. Вяткин — сила, своего в обиду не даст, ну и наш рядом выкрутится».

Елена Григорьевна совсем уже было закрыла глаза в ожидании сна, как в коридорчике послышались шаги и откуда-то из предсонной тьмы надвинулась, разлеглась на сердце давнишняя тяжелая мысль о том, что она отвыкла от мужа. Отвыкла, а вот он идет — беспокойный, непонятный, мучительный человек, которого она когда-то любила.

7

— Ты спишь? — спросил он, ложась.

Ленка промолчала, но тут же — и полминутки не прошло — резко повернулась на спину.

— Как же, — сказала, — с вами уснешь! У меня поясница прям на разлом. Еле лежу.

— Серьезно? Ты не подняла ли чего? — испуганно спросил Шапкин.

— При чем тут подняла, господи! — какое-то застоявшееся раздражение подрагивало в ее голосе. — Думаешь, мало мне это нервов стоило?

— С ними тяжело, да ты...

— А с тобой легче? Так заорал, у меня аж на кухне сердце екнуло: убьет, думаю.

— Сорвался, — Шапкин почувствовал себя виноватым, осторожно погладил ее по плечу. — Завтра разберусь спокойно. А ты спи, тебе ни к чему нервничать.

Он тоже повернулся на спину, завел руки за голову и вздохнул.

— Торговые замашки я из него, конечно, вытрясу, — сказал.

Для того в основном и сказал, чтоб Ленку успокоить: все, мол, устроится. А та в ответ так и вскинулась, будто пружинка соскочила.

— Ну, вот что! Хотела не говорить, а скажу, — она приподнялась на локте, распущенные волосы голубовато вспыхнули в лунном свете. — Что ты этaким коршун-ном-то на него, а? Пугали все, ругали, а отец пришел — еще и по морде! А за что? Украл он, убил, да?

— Да ты что, Лена?— растерянно пробормотал Шапкин.— И тебе, что ль, объяснять?..

— Не надо мне. Сама не вчера родилась. Ну, продавали... Так дорого тебе — не бери. Нет, возьмут, как же, а потом жалятся, в милицию тянут.

— Да, Лена, ты сама-то подумай: ведь нехорошо! Мальчишки совсем, а какую цену драть додумались!

— Что ж, по-твоему, как мальчишки, так они и по сторонам не глядят, и ничего не видят? Кто дороже плаченого не берет? Покажи мне! Ты белила почему покупал? Или тес? А у Длинного я и сама мохер по пятнадцать рублей брала. Конечно, будь он в магазине, разве б я стала? Жизнь такая!

— Погоди, погоди,— остановил Шапкин,— чтой-т я не понял: вроде ты и меня обвиняешь? Я, Леночка, трудовыми платил, не найденными!

— Трудовыми, да за ворованное.

— А где б я иначе взял... хоть белила те же?

— А я про что: вот и дети такие растут. Что ж их-то виноватить? Думаешь, один Пашка такой? Ох, Миша, все они сейчас... Мамочки мои!— она откинулась на подушку и махнула рукой.— Вот Пашка рассказывал: на Восьмое марта вечеринка была, с классом собирались. А перед тем заспорили: кто первый девчонку поцелует и чтоб не обиделась. Так Длинный этот хоть и с противной рожей, а всех обскакал.

— Ну?

— Есть у них такая вострушечка, Галя Малитвина. Мать у нее вся из себя, юристка. В седьмом классе на родительском собрании учила нас девчонок воспитывать, когда, мол, да про что им говорить. Со своей-то, видать, наука не впрок.

— Ее, что ли, Длинный чмокнул?

— Ее. Да все дело в том — как. Собрались, значит, он и спрашивает: «Кто, девчонки, джинсы будет шить?» Ну, все они собираются, мода же. «А у меня, говорит, есть лейблы американские».

— Чего?— не понял Шапкин.

— Ну, нашлепка такая на задницу, где не по-нашему написано. «Две, говорит, штуки, и обе за один поцелуй. Кого целовать?» Вот эта Галочка и выскочила: мения! А Пашка наш вроде б...

— Бррр...— Михаил аж передернулся весь.— Не рассказывай ты мне, стошнит ведь! Во шлюшонка растет!

— А ты говоришь — Пашка! Никого он не хуже. И давай-ка спать, мне на работу завтра.

— М-да, поколеньице у них... Спокойной ночи!

Полежали молча.

— Лен! — окликнул Михаил. — А что за Длинный?

— Да Попцов. Был у нас на празднике: рожа такая противная, вся в буграх. Этак исподтишка ковырнет в них, потом ноготь рассматривает. Я даже боялась, не заразно ли? Мать евонная в разводе, с одним нашим печником живет, с одноногим. Пьют вместе. И отец посылки не матери шлет, а прямо на Серегино имя. Тот сам получает, сам и продает.

— А наш-то откуда с ним?

— В одном классе учатся, а там — кто ж их знает? Думаешь, я не ругалась, не запрещала? Да сто раз!

Снова помолчали. Лена вздохнула.

— Не наговоришься о них, деточках этих!

— Спи, спи...

Она отвернулась, повозилась немного и уснула. Так быстро, словно и не она только что волновалась, не ее голос дрожал от слез. А Шапкин долго еще лежал на спине, глядя на голубоватый диск луны, выпутавшийся наконец из соседской рябины и медленно всплывавший сквозь тонкие облака. И думалось ему, что все эти одиннадцать лет жил он, по сути, очень легко. Считалось наоборот — трудно: на двух работах, жара, морозы, неуют барачный... Да все это пустяки! От того же мороза ничего ты хорошего себе и не ждешь, одеваешься, иной раз фляжечку прихватишь, а главное, озлобляешься, твердеешь внутри. А тут ты не на мороз, тут домой идешь. И дома ты внутри мяконецкий, беззащитный, а тебе — бац! — новость эдакую под ребро. И для чего, из-за чего? Ну, какая нужда была Пашке эти пленки продавать? Дурость какая-то!

Луна заползла за верхний срез окна, стало темней, глуше; он качнулся, поплыл и вдруг увидел себя на рыжей дороге, крутым виражом падающей с сопки вниз, в изумрудно-зеленую марь. Там, внизу, на гусенице трактора Санька Мосин прощально помахал ему кепкой и, плавно отделяясь от своей машины, поднялся, медленно покачиваясь, как детский воздушный шарик, растаял в блеклой голубизне неба. Трактор исчез совсем не страшно: не черная болотная жижа, а изумрудная сочная трава сомкнулась над ним.

И вот Шапкин бежит, прикрывая локтями лицо, сквозь колючий кедровый стланик, а уже сумерки, густые тени, все вокруг серо, только у стадиона горят огни. Аня сидит в своем сереньком осеннем пальто, с зонтиком, и он оказывается с ней рядом.

— Знаешь,— говорит она,— это, может, единственный в мире парк с тундровой растительностью, а посмотри, как замусорили, точно он никому не нужен.

Шапкин оглядывается — всюду бумажки, бутылочные осколки, даже скамейка разломана, и Аня сидит просто на врытом в землю столбике.

— Да,— говорит,— тебе места нет. И мне очень жаль.

— Мосин улетел, знаешь? Как шарик.

— Как шарик,— печально кивает она.— Мы тоже улетим, и ничего не останется, даже детей.

— Аня!— с упреком говорит он.

— Да-да, я знаю... Не надо.

Она встает и тянет его за собой.

— Ты куда?

— Тут недалеко, к лиственницам.

Идут. Все темнеет, как перед дождем. Вокруг уже не парк, а какие-то гаражи, железные, безобразные. Он идет меж них один, все ищет проход и наконец понимает, что сам виноват, зашел слишком далеко, а выхода тут нет. Останавливается, в отчаянии хватается за виски, хочет закричать — и просыпается.

«Фу, черт!— думает он, потирая грудь.— Хоть совсем не спи! Так вот наплетется...»

Берет с тумбочки сигарету, закуривает и в свете спички смотрит на часы. Половина второго. Он проспал минут сорок, не больше.

На дворе самая глухая пора — ни звука, ни шороха. Шапкин закрывает глаза и даже пальцами надавливает на веки, но все бесполезно. На Сахалине с ним так часто бывало: проснется среди ночи — и все! Голова ясная, в теле никакой тебе ломоты, тягости, вообще, было бы уже утро — встал бы и пошел самым замечательным образом. Но все спят, идти некуда. Лежи себе, кури. Мысли плетутся чудно, совсем не о том, о чем надо бы думать, о чем думал бы днем...

Этот Санька Мосин, воспаривший во сне, аки ангел, в жизни был мужиком маленьким, вечно расхристаным, худым, язвительным и, честно говоря, бестолковым. Точнее, таким «ни пришей, ни пристебай». Мест-

ный, а жил в общежитии, двухкомнатную квартиру отдал жене всю, хотя детей у них не было, могли бы и разделиться. Добрый был, привязчивый, а вечно со всеми в ссоре, все на него в обиде.

Погиб нелепо и геройски. Съехал с дороги и утонул в мари со своим С-100. Когда трактор неожиданно стал крениться, он, говорят, не воскрылил, аки ангел, не выпрыгнул на дорогу, а вцепился в рычаги, пытался выехать... Шапкин видел его труп, добытый водолазами,— безобразно разбухший, вымазанный черно-зеленым илом.

Поминки по Саньке, забыв обиды и ссоры, устроили пышные, всем общежитием; на поминках этих Михаил с Аней и познакомился. Оказались рядом за столом.

Санька когда-то учился с ее старшим братом, дружил, бывал в доме. «Он всегда был удивительно добрый»,— сказала она. «И добрый, и злой — всякий!» — «Нет, что вы! Злой он был только говорун, а человек очень добрый и чистый!..»

Больше между ними ничего и сказано тогда не было. Если и запомнилось, то из-за Саньки, не из-за нее.

А недели через три встретились снова, столкнулись вдруг в толпе выходящих из кино. Удивиться Шапкин не удивился — не такой город, чтоб можно было не встретить знакомого человека,— но пригляделся к ней с какой-то тревогой. Уж очень она показалась худенькой, просто жидкой, как после тяжелой болезни. Одни глаза были на лице — большие, карие. Об этом он и спросил ее, о болезни.

— Нет, что вы! — она слабо улыбнулась. — Просто полоса нехорошая. Саня умер, потом тетя моя, еще один знакомый... За три недели трое похорон. Жуть!

А голос показался ему веселым.

Поговорили опять о Саньке. Мелкий охинский дождик все усиливался, Шапкин был без плаща, и она предложила зайти переждать и выпить чаю. Жила недалеко, в новых домах.

Чай пили на кухне. Тут же, распятый на спинке стула, поближе к зажженной газовой плите, сох его пиджак. Говорили все почему-то о смертях; она стала рассказывать, как шесть лет назад погиб ее муж-летчик, попав на своем ЛИ-2 в буран, заплакала, и Шапкин тихо, как дочку, погладил ее по волосам. Успокоившись, сказала с благодарной улыбкой, что он добрый и что

она это еще на Саниных похоронах поняла, какой он добрый.

— А я вашу фразу о нем запомнил,— сказал он.— Насчет того, что трепач он был злой, а человек чистый.

Она всхлипнула в голос, резко повернулась на скрипнувшем стуле и припала к его груди.

За окном гудел серый простудный дождь, было почти темно, вздрагивающие плечи ее были так худы и жалки, что в них прощупывалась каждая косточка. Он целовал ее в лоб, потом в мокрые от слез губы, и она все бормотала, что он ее, конечно, не любит, но это ничего, ничего...

Потом они долго лежали молча. Она все перебирала его пальцы, будто хотела сплести из них косичку, и вдруг стала говорить немного не своим голосом, растягивая слова,— про любовь, похожую на птицу, что, почуяв болезнь, летит под облака и падает на камни.

Он приподнялся, смотрел на нее обалдело.

Она жалко улыбнулась, точно хотела сказать: «Не обижайте меня, пожалуйста!»

— Это стихи,— сказала она.— Правда, хорошие?

Он кивнул.

— А вы, наверное, не любите стихов?

— Нет, почему? Красиво. Я, знаешь, хотел тебе сказать... Я нездешний, у меня на Большой земле...

— Жена и двое детей,— подхватила она.— Я все знаю о вас, Миша. И то, что случилось, наверное, нехорошо, даже точно нехорошо, только что же делать? Я понимаю, но ведь я ни на что... и я ничего... А думать обо мне вы можете все, что хотите.

— Я ничего не думаю. Я хотел...

Она зажала ему рот ладошкой.

— Не надо. Ведь сейчас вам хорошо со мной, хорошо? И ничего больше не надо, ладно? Я, знаете, когда родилась, одна старуха сказала, что такие дети — а я была совсем-совсем лысая, даже без пушка на голове,— что такие дети рождаются на радость другим, но не себе. Вот я все живу и жду: а вдруг, вдруг немножечко и себе? Ведь бывает?

Он остался на ночь (старуха тогда ездила к старшей дочери в Тымовск), и они не столько спали, сколько говорили. Между прочим, она-то знала его давно, да и работала, оказывается, на том же механическом заводе, в плановом отделе.

А потом это тянулось больше трех лет, до последнего его дня на Сахалине. До самого последнего. Хотя и немного, наверно, приносило ей радости.

Виноват ли он, что сошелся с хорошей женщиной вот так, без любви? Ведь с другой стороны рассудить: не мог же уйти он в тот вечер? Силы бы не хватило. И даже не силы. Тут не сила нужна, а что-то похуже. А потом порвать — так это б ей вообще было как нож в спину, верно? Когда начинаешь вот так рассуждать, то получается, что тут скорей перед Ленкой вина, как-никак изменил. Но в сердце перед Ленкой вины нет.

А перед Аней... Конечно, он и обижал ее по мелочам, и может, гораздо чаще, чем думает, — этого не избежать, если сходишься не любя, да эти вины — бог с ними, не о том речь. Это уже и за плечи кинуто, как все отжитое. В чем-то ином виноват он перед ней по-крупному, капитально.

До сих пор она снится ему все время такая жалкая, обиженная, что у него душа ноет. Ведь это ж не зря? И Анина мать, наверное; не зря его терпеть не могла, чуть не в глаза звала кровососом. Старуха была замечательная; он очень это понимал и только посмеивался, когда Аня, чтоб он не обижался, говорила, будто мать просто выжила из ума и не надо обращать на нее внимание. В своей любви к нему Аня была с матерью беспощадно жестока, как, впрочем, и мать с нею в своей к нему нелюбви.

Дарья Афанасьевна жила на Сахалине с двадцать шестого года и когда-то была первой учительницей в поселке. Ее фотография даже в музее висела. Двух ее сыновей убили на войне, один утонул в Тыми, а четверо дочек разлетелись кто куда. Аня была последышек, поскребышек послевоенный. Когда родилась, матери было уже сорок шесть; время даже здесь, на Сахалине, голодное. И Аня все болела, болела... Даже на фотографиях в семейном альбоме она то и дело мелькала с завязанным горлом. Так и осталась потом хиленькой. Несмотря на это, а может, именно поэтому старуха всю жизнь страстно желала для нее какого-то особого счастья, наивысшей пробы, а дочери, как назло, все выпадали неопределенные полусчастья. Поэтому отношения с матерью у нее все время были напряженные: та упрекала, эта оправдывалась, обе мучились.

Шапкин как-то сидел на кухне, ждал, пока Аня переоденется, а вместо нее, тяжело шаркая тапочками, вошла старуха, посмотрела на него, посмотрела...

— Господи,— говорит,— голубчик, сделай ты одну надо мной божескую милость: уезжай поскорей.

Он уже привык тогда ко всему, только хмыкнул.

— Чем я вам так надоел, Дарья Афанасьевна?

— Вот у тебя дочка, да?

Он кивнул.

— Ну, и представь.

— Вы хотите, чтобы я не встречался с Аней? Не ходил к вам?

— Ходи. Не будешь ходить — она сама к тебе побежит. Чтоб тебя совсем не было — вот чего я хочу. Совсем! Всех денег все равно не заработаешь, не соберешь... Вот едешь ты в отпуск, так и оставался бы там, а? Очень прошу! — старуха молитвенно сложила руки. — Ведь ты из нее всю жизнь высосешь!

Он нахмурился, не находя в душе никакого ответа на столь неожиданную просьбу, а тут как раз влетела Анька, сразу же, увидев мать, проглотила улыбку, напряглась, жестко поджимая губы.

— О чем это вы здесь... молчите?

— О детях говорили,— сказал он.— У Дарьи Афанасьевны дочь, у меня дочь...

Старуха промолчала, глядя в стол.

— Мама! Я сколько раз просила, чтоб Мишу оставить в покое. Ты прямо не знаю...

— Ладно, хватит тебе! — сказал он.— Собралась? Ну и пошли. А с Дарьей Афанасьевной мы отлично друг друга поняли.

Он и вправду тогда собирался в отпуск; Анька, видать, ужасно злилась, нервничала и наказывала себя за эту злость тем, что ходила с ним по магазинам, выбирала подарки его детям, даже Ленке. Хорошо, кстати, выбрала. Всем все очень понравилось.

Вот как у них было. Хоть и любила, а привязать к себе не старалась, никаких таких планов не строила, за детьми своими нерожденными не плакала, тем более в парке, хотя детей и любила, очень всегда Пашкой и Светкой интересовалась, все спрашивала, а почему они сами ему не пишут? «Да о чем? Мать все напишет, а они еще... что они понимают?» — «Все равно, отцу всегда надо писать».

А что из всего сна было на самом деле — так это лиственницы, посаженные Аниным отцом в парке. Семь лиственниц недалеко от стадиона, вдоль главной аллеи. И она в самом деле водила Шапкина смотреть их.

Была уже осень, шел дождь пополам со снегом, ржавые однобокие деревца выглядели жалко, как сама Аня. Ежась от холода, она рассказывала о каком-то субботнике еще до войны, где каждый должен был посадить в парке деревце, а отец посадил семь, целый ряд. «И представляешь, как угадал, выросло у него семь лиственниц и семь детей, а ведь когда сажал, было еще только трое...» А Шапкин думал, как бы поскорей увести ее в тепло, пока не простыла.

В тот вечер они поссорились. В постели, как обычно, все говорили, говорили...

Вот что с ней Шапкин любил — это говорить. Легко говорилось!.. То, чего ты и сам еще не понял, не почувствовал, она чувствовала, понимала и тут же тебе пересказывала, объясняя, какой ты умный, добрый. Может, это одно его и держало. На все остальное смотрел как на честную мужскую плату. Тут ведь расчет не всегда прямой. Бывает, этим баба платит, бывает, и мужику приходится. Во всяком случае, никогда его не тянуло к таким, как она, хиленьким и книжно-умным, и любить ее по сердцу он никогда не умел, даже когда понял, какой она человек. Да и не собирался он никогда ее любить!

А она отдавалась ему всегда молча, иступленно и только потом как бы оттаивала, отмякала, начинала потихоньку играть, перебирать его пальцы или волосы и шептала, рассказывала о себе, о маме, о братьях.

В тот вечер и он непутем разговорился. Началось, кажется, все с тех же лиственниц, посаженных ее отцом. Очень его Шапкин одобрял.

— Знаешь, — говорил, — хорошо, когда люди живут на месте. Разве это дело: тут пожил, там пожил? С одной бабой, с другой бабой? В Ногликах у меня приятель есть, Васек, так у него дочка растет в Киеве, а сын в Алма-Ате. А жизнь — она должна целая быть, понимаешь? Чтоб начало, середка, конец — чтоб ни выбросить, ни позабыть ничего не хотелось. У нас ведь как? Сегодня ты колхозник, завтра — строитель, а послезавтра вообще рыбу ловить нанялся. Так? Это ж непорядок. Вот отчего человек подлость сделал, а ему

наплевать? Оттого, что он временный, свое забашлял и уехал, и тем перед собой оправдался, что он тут временный, ни до чего ему дела нет... Те же браконьеры отчего? А человек должен жить на месте, и все у него должно быть свое: дом, баба, дети, работа...

Он говорил и не замечал, что она как-то притихла вся, не трогает его, не ласкает. То есть как раз замечал, да думал, что это так и должно быть, что он так интересно говорит.

— Вот я иногда проснусь среди ночи, и такое, понимаешь, вдруг чувство, что вроде я дома. Даже подумать что-нибудь такое успеешь. Ну, там: не проспять бы Пашку в садик или еще что. Он-то лоб уже здоровый, в седьмом классе, а все равно думается — «в садик». А потом что-нибудь заметишь, вспомнишь, где ты есть, и такая тоска сразу! «Как, думаешь, я здесь очутился, зачем?» А главное, вроде ты не живой... Работа, общежитие, дела там всякие — это будто просто так, как бы и не со мной, а рядом, а моя жизнь — там где-то и пропадает зря, потому что я-то ею не живу, понимаешь?

— Понимаю,— сказала она очень тихо.— Еще в древних летописях, если отнимали у кого-то дом, двор, пашню там, то писали: «Всю жизнь мою отнял».

— Да нет, я не про дом. Дома у меня и нет своего, только купить думаю. Знаешь, по-моему, дом — это всему центр, всей жизни.

Она перебила:

— Что ты про Ваську какого-то, а у тебя?— и пальцем вычертила на груди знак вопроса.

— Что у меня?

— Ну... Сколько лет уже едешь, что ж у тебя, нигде и детей не осталось?

— Вроде б нигде.

— А вдруг?

— Милая моя, это не вдруг делается, а с кем «вдруг», у тех не остается, не боись.

— И все-таки? Ну, если б тебя и не спросили?

«Вон оно что,— как бы очнувшись, подумал он недобро,— вона куда ее повело...»

— Не знаю,— сказал медленно.— Как у кого, конечно, а у меня душа к одному привязана. И очень мне было бы тогда погано.

— Почему?

— А ты думаешь? Сам без отца рос, без матери, знаю, что тут почем. И если б узнал, что где-то мой ре-

бятеное растет,— это бы еще как поперек совести легло!

— А не узнал бы?

— Чего не знаешь, о том не думаешь, понятно. Только... А баба тут как? Ваша-то сестра? Вы-то наперед такие дела знаете и наперед, выходит, сиротите?

— Выходит...— Она помолчала и вдруг приподнялась, заглянула ему в глаза.— Нет, тут не сходится у тебя, родной. Несправедливо получается.

— Ты чего? Что получается?— не понял он.

— У тебя, значит, вся жизнь там, тут ты таким ка-давром...

— Чем-чем?

— Кадавром, живым трупом, призраком! А у меня, выходит, тогда и жизни нет, да? Любовь призрак, муж чужой, дети ворованные. Так, да?

— Какие дети? О чем ты?

— Ты, значит, цельной жизни хочешь, а мне хоть вообще не живи?

— Да брось ты, все у тебя будет! Выйдешь еще за хорошего парня, родишь...

— За хорошего желаешь?

— Ну да.

— Вот именно, нуда ты! И знаешь,— она вдруг села на постели, решительно и гордо вскинув подбородок.— Двенадцати еще нет, общежитие открыто, давай... Дуй!

Он хохотнул, потянулся обнять.

— Я серьезно!— вскочила она.

— Брось! Ложись, Аня. Не идут голой бабе гордые позы, ей-богу!

— Ничего, пойдут,— она озлилась не на шутку, побежала, швырнула ему брюки.— Давай, не задерживай, мотай отсюда.

— Ты чего?

— Ничего! За хорошего парня пойду.

Он покрутил пальцем у виска и, ни слова больше не говоря, торопливо оделся, ушел.

Она, конечно, и дня не выдержала. Прискакала уже утром, встретила по дороге на работу, плакала и говорила, что она злая, с придурью и чтобы он не обращал на это внимания. Помирились. Он не умел с ней не мириться, когда она плакала. Только после этого его еще сильней, нетерпеливей потянуло домой.

Где же его вина тут, в чем, как ее назвать? Непонятно... А ведь есть где-то!

Сигарета давно погасла, новую зажигать не хотелось. Лунный свет за окном побледнел, как бы выцвел; где-то далеко, пробуксовывая в лужах и подвывая мотором, проехала машина.

Странно успокоенный первым этим звуком приближающегося рассвета, Шапкин облегченно повернулся на бок, зевнул. Почувствовал: бессонница отпустила его. Может, сжалилась, может, просто поняла, что ничего уже не выжмешь из его усталой души, и — отпустила. А он поспешил воспользоваться ее неожиданной милостью.

8

За завтраком Ленка пожаловалась:

— Поясница — прям на разлом. И голова не лучше.

— Что, поросенок, — сказал Михаил, — довел мать?

— А чо я сделал?

— По-твоему, ничего?

— Господи, дайте уйти спокойно, — Лена сморщилась и потрогала пальцами висок.

Доели в молчании. Уже на крыльце, провожая жену, Шапкин попросил:

— Может, лучше дома отлежишься, в покое?

— Ага, у нас покой! Ты потом зайди, расскажешь.

— Само собой.

Он вернулся, постоял у раскрытого окна в зале, глядя, как жена переходит улицу. Походка была уже не та, что в молодости.

Вдали, в створе улицы, струилось голубое марево. Будто с блеклого неба текла на землю сухмень, духота... И никаких сил в душе не было, никакого напора. Надо было звать Пашку, говорить, он все тянул, все вроде бы хотелось сперва что-то додумать, хотя думался всякий вздор — о том, что они с Ленкой уже не молоденькие и если что, то заново жизнь не начать.

Наконец, крепко потерев плешь, крикнул:

— Павел!

Тот испуганно сунул в дверь длинноволосую башку.

— Чего?

— Садись.

— А в школу?

— Успеешь. Ты мне пока вот что скажи: что у тебя общего с этим Длинным?

— Ничего. Дружим просто.

— Ничего общего, а дружите? Эт как же понимать?

— Нормально. У него «Грюндиг», диски всякие... Сейчас, бать, все музыкой увлекаются, ансамблями.

— Мохером спекулируют,— подсказал Михаил.

Сын поднял невинный, недоумевающий взгляд.

— А чо? Батя шлет, так ему ж не самому вязать? Повисла пауза.

«Промазал,— подумал Михаил.— А о чем еще спросить, за что зацепиться?» Пашка сидел, чуть помаргивая. Ресницы и брови были у него замечательные: густые, темные, с чуть заметной рыжинкой по кончикам волосков — как когда-то у Ленки. Но — и только. Лицо все спокойное, без огонька, без ожидания. Как Шапкин ни вглядывался — ничего там не дрогнуло, не приоткрылось. Сын, плоть родная, а вот встала загородка — ни объехать, ни обойти.

— Ну, хорошо,— трудно сглотнув слюну, сказал Михаил,— вот ты говоришь, денег вам надо...

— Да не надо уже! Так сойдет.

— Погоди. Дело не в деньгах. Если сказали выкупить эти пленки, так выкупим. Ты мне наперед вот что скажи: всему заводила, я понял, Длинный, но денег он не дает, так? Шкодили, выходит, вместе, а выпутываетесь врозь? Или дает?

— Не,— с готовностью сказал Пашка,— не даст!

— Почему же?

— А он сказал: пусть сажают, хуже, чем дома, не будет.

— Во как? Что ж так плохо ему?

— Откуда я знаю? — Пашка дернул плечом и опустил взгляд.

— Ну, хорошо! — Михаил прошелся по комнате и с силой, точно хотел вмять свою плешь, провел ладонями по голове. — Хорошо! Не хочешь говорить — сам разберусь. Живет-то он где?

— Кто?

— Не придуряйся. Как его звать — Сергей?

— А тебе зачем?

— Давай адрес!

— Не знаю.

— Врешь! — сказал Михаил, круто останавливаясь перед сыном. — Дурачка с меня строишь? Ну!

Пашка, побледнев, поднялся со стула.

— Не знаю, и все!

Михаил пристально посмотрел в вытаращенные, зеленые от страха Пашкины глаза. Сын глядел не на него — на руку, уже замахнувшуюся для удара.

— Так,— сказал Шапкин, опуская руку,— хорошенько ты его боишься, а?

Пашка смолчал.

— Спасибо. Каждый день подарочки преподносишь, сынок. Вчера узнали, что спекулянт, сегодня — что еще и трус. Спасибо.

Не взглянув больше на парня, отошел к окну и оттуда, через плечо, бросил:

— Иди уж, ладно!

Несколько секунд была тишина, потом сын вышел.

Душно, боже мой, до чего душно! Аж к горлу что-то подкатывает, так душно...

По той же тропке, что и Лена, Пашка торопливо пересек улицу, скрылся за ближним углом, в высоких кустах сирени.

«Граблить надо,— думал Шапкин, оглядывая прибитые вчерашним ливнем грядки,— граблить, все сохнет...»— а не было, затерялось где-то то радостное нетерпение, тот зуд в руках, что всегда возникал в нем при мыслях о хозяйстве. Хуже того — и в школу идти не хотелось. После бессонной ночи в нем все как бы застыло, замедлилось, и надо было подталкивать себя к житейским делам, понуждать.

— Ты здесь?— спросила Светка, входя.— Я насчет Длинного хотела. Они его все боятся, а по-моему...

— Где он живет?— спросил Шапкин.

— Длинный? В двухэтажках за рынком. По-моему, во второй, а может, и в третьей. Спросишь — любая собака покажет. Его, по-моему, просто надо пугнуть. Еще в седьмом классе...

Шапкин слушал и почти не слышал ее, кивал машинально. «Родные люди,— думал он,— а что друг о друге знаем? Решила ж она вчера, что мне денег жалко, и поэтому я...»

— Ну хорошо,— сказал,— а про себя ничего не скажешь?

— Про себя?— она на секунду смешалась, как бы запнулась на бегу.— Про себя я в другой раз, ладно?

Он покивал, грустно выпячивая нижнюю губу, махнул рукой в сторону окна:

— Сохнет все, граблить надо.

— Ага,— пообещала Светка, выскальзывая в дверь,— если успею.

«Может быть, надо задержать ее, сказать что-то? Но кто его знает?.. Кто вообще знает, что с ними со всеми надо?— думал он.— Вот идти — это точно надо. Жаль, что не выпался».

В начале первого Шапкин сидел в небольшом запущенном скверике, выходявшем одной стороной к обрывистому берегу Борховки, а другой — на улицу Свободы. Когда-то тут был самый центр; напротив, в двухэтажном бревенчатом доме, помещался райком партии, в скверике был тогда нарядный киоск с газводой, аккуратные дорожки, окруженные беленым кирпичом клумбы.

Теперь порфириновый центр был далеко, здесь остались только ивы, постаревшие, дававшие густую, дремучую тень, да под ними скамьи, сплошь изрезанные мальчишескими ножами. На одну из них Шапкин и сел. Прочел старательно вырезанное рядышком похабное слово и накрыл его белой кепкой. Мокрым, грязным платком вытер плешь. Сил не было двигаться куда-то в такую жару. Да и везде он уже побывал, где думал, только без толку.

Директор школы, этот самый Герман Степанович, оказался седым, важным толстяком. Он мученически поглядывал в окно на набиравшее высоту и силу солнце и все направлял на себя вентилятор.

Когда Шапкин пришел, там уже сидел Вяткин. Михаил он, конечно, не узнал, хоть когда-то и работали в одном цехе, но с директором с самого начала говорил как бы и за него.

— Мы, конечно, не отрицаем вины своих ребят,— говорил он.— Однако и школа не сделала...

Очень солидно у него получалось. Куда Шапкину.

— Все трое способные, учатся неплохо,— вздыхал директор,— но моральный облик...

— Зачем же, Герман Степанович, сразу «моральный облик»,— Вяткин улыбался.— Отдельный проступок, так скажем. Сглупили, не ведали, что творят. Да и сейчас не понимают, что сделали плохо, и то, что не понимают, это ведь наши с вами недоработки, не так

ли? Вот если бы те, кто покупал, сразу подняли вопрос... Меня, знаете, удивила ваша идея вернуть им деньги. Как не ваша? Позвольте, мне Коля прямо сказал... Ну, почему же сразу «врет». Возможно, он не так вас понял.

«Ага, черта лысого не так,— думал Шапкин.— Сговорились, это ясно, а зачем?»— но сам помалкивал.

Один раз только не утерпел, вставил словечко — когда речь о драке зашла.

— Подрались — это бывает,— сказал,— а худо, что деньги замешаны и трое на одного. За это я бы...

Вяткин презрительно опустил уголки губ и чуть этак рукой повел, словно отодвинул его:

— Может, как раз и неплохо, что им неведомо джентльменство кулачных боев. И не этому надо бы их учить.

— Но...

— А во-вторых,— нажал Вяткин,— участие моего сына в этом эпизоде минимально.

В общем, чепуха получилась, не разговор. Еще хуже, что и в милиции Вяткин его опередил. Участковый — или кто он там был, этот лейтенант? — молодой, весь очень начищенный, наглаженный, в больших очках, еще у двери окинул Шапкина таким холодно-отталкивающим взглядом — осмотрел всего, точно на вытянутой руке подержал.

— Отец Шапкина, значит? Садитесь.

А сам встал и прошелся, хмыкая в светлые холеные усики, свисавшие по бокам тонкогубого рта.

— Что же вы молчите, не рассказываете, как хорошо учится ваше чадо, какое оно послушное дома?

— Слушается ничего,— не понимая, что к чему, согласился Шапкин,— только лодырь.

— Гм! Лодырь? Уже слава богу! Папаша перед вами все рассказывал мне, какой у него паинька-мальчик, маме посуду мыть помогает... М-да! Сейчас сидит у начальства, жалуется.— Тут только лейтенант уселся наконец за стол и, взяв в руки карандаш, нацелился им на Шапкина.— Скажите, а вас тоже радует, что детки эти никак не могут понять, почему я, такой нехороший, называю их делишки спекуляцией, а не честной коммерцией?

— Да нет! Я ему даже вчера маленько за это по физии, чтоб понимал, а он...

— Ну?— вроде бы даже обрадовался лейтенант.— Значит, вас это не устраивает? Тогда...

Тут зазвонил телефон, лейтенант взял трубку, и лицо его сразу отвердело.

— Так точно! Нет, серьезное. У меня посетитель. Слушаюсь!— он повесил трубку.— Извините, меня вызывают. И боюсь, что надолго,— он встал.

— Сын ваш существо, по-моему, не злое, но безвольное,— добавил он уже в коридоре, запирая дверь.— Это учтите.

— Я его дружбу с этим Попцовым покончу,— торпливо сказал Шапкин.

— Ну, это может утешить вас, а не меня. Постарайтесь еще раз увидеться с вами. Всего хорошего.

«Так вот походишь — у всех свои дела,— думал Шапкин теперь, сидя в сквере.— Одного начальство не любит, другому пятно на школу, а у меня — сын. И что в его черепушке за мягкогубой улыбочкой — этого я не знаю. Даже вот к чужим дядям ходил, чтоб про сыночка рассказали. Хорош папа!»

Слабый ветерок от Борховки жары не облегчал, даже пота не высушил, хотя Шапкин сидел в сквере довольно долго. Собирался здесь все о сыне обдумать, а как-то не думалось. Тоска была. Казалось, вдруг перестал понимать, ощущать свою жизнь, потерял целый кусище. «Как и не жил. Там живым трупом, здесь таким вечным отпусником, вроде Ленки Бочкова,— думал он.— Картинка выходит, а? Там была жизнь не своя, тут своей не было,— он растерянно огляделся по сторонам, помял рукой плешь.— Куда ж я-то тогда девался? Здоровье, волосы вот, душа? В «Жигули», в дом? Дом-то пустой стоит». От мыслей этих что-то в нем совсем замирало, точно соглашалось исчезнуть. Но до конца все же не согласилось, вздрогнуло, плеснуло в сердце глухою обидою, злостью. Он почувствовал необходимость куда-то двигаться, что-то превозмогать, и тотчас же вспомнился ему Длинный. «Да,— подумал чуть ли не обрадованно,— прямо сейчас к нему, за глотку схватить: «А, гаденыш! Дома тебе плохо? В колонию хочешь и других тянешь?»»

Шапкин решительно поднялся, но, едва выйдя из сквера, сразу и передумал. Как всегда в минуты сильного волнения, нестерпимо захотелось увидеть Ленку

и, увидев ее, успокоиться. «Посоветуемся. Она же все время с ними жила, должна понимать что-то».

Контора ДПО помещалась тут же, недалеко от старого порфиринаского центра, занимая половину обшарпанного пятистенка, две комнаты. В маленькой, дальней, сидел начальник, а Лена в большой. Кроме нее тут трудились еще четыре женщины, в должностях которых Шапкин не очень-то разбирался.

Когда вошел, они странно смолкли, даже не ответили на его «здрaсте». Стол Лены был пуст, без бумажек.

— А Лена...— начал он.

— Вы разве не знаете еще?— как бы спохватившись, спросила самая пожилая, полная.

— Откуда им знать, тетя Аня,— заторопилась молоденькая.— Я должна была по дороге на обед зайти и сказать вам, мне как раз все равно по дороге, я на Гагаринской живу, а раз вы сами зашли...

— Что? Что такое?— глухо спросил Шапкин. Сердце его вдруг заторопилось, заторопилось и сорвалось в пустоту.

— У Елены Григорьевны еще утром началось кровотечение, ей было очень плохо,— тихо, неторопливо и вроде бы даже с укором сказала пожилая,— мы вызвали «неотложку», и ее увезли.

— Куда?— не понял Шапкин.

«На тебе,— пронеслось у него в голове.— Только этого не хватало».

— Вы не пугайтесь, ничего страшного. Она даже до машины шла сама, так что...

— Да-да, понятно,— пробормотал он,— спасибо!— кинулся было к двери, остановился.— Я это... А может, ее домой?

— Нет-нет, в больницу.

— Как же ее там найти, в смысле, с ней как?.. Не говорили?

Женщины переглянулись.

— Вроде бы нет...

— В справочной, я думаю, можно узнать,— сказала пожилая.

— А, да-да, конечно.

Кинулся по инерции в сторону базара, но шагов через десять, хлопнув себя по лбу, повернул назад. «Конечно!— думал, надавая шагу.— Светку отпустят, ее сразу к матери, а уж потом я к Длинному. Это тоже нельзя откладывать».

На месте Светки, обмахиваясь платочком, стояла Марта Иосифовна, заведующая ее секцией.

— Михаил Константинович,— она схватила Шапкина за руку, потянула в сторонку,— нам надо поговорить. Вы знаете, как мы все относимся к Светочке...

— Да-да, конечно, а где?..— он озираясь.

— Она отпросилась до обеда.

— К матери побежала?

— К матери? Не думаю. Тут один молодой человек заходил.

— Полный такой?

Зубы Марты Иосифовны блеснули всем своим золотом.

— Колю Бочкова мы знаем, это уже кто-то другой. Она не так давно с ним встречается, и, по-моему...

Тут подошли директорша и какая-то молоденькая продавщица, которую они называли Лялечкой («Вот и Лялечка подтвердит»), и все наперебой говорили, как хорошо относятся к Светке, если был какой дефицит, разве ей когда-нибудь отказывали? А если она обиделась насчет ковра, так вы сами понимаете, как это сложно. И потом: ей же не отказали, а только подождать, вот и Лялечка ждет.

По шапкинскому лбу ползла крупная капля пота, и это странным образом мешало ему слушать и понимать, что они говорят.

— Я считаю, никаких нет резонов ей от нас уходить. Ни-ка-ких!

— В каком смысле?— растерянно спросил он, охлопывая карманы и не находя носового платка.

Дамы переглянулись. Завсекцией радостно всплеснула пухлыми ручками:

— Так вы не знаете? Я так и думала! Так и думала, что дома ничего не знают!

Капля пота, пересекавшая шапкинский лоб, сорвалась и стремительно покатила вниз, по носу.

— Да-да, я выясню. Вы извините, да-да...— заборотал он, поспешно направляясь к выходу.

На крыльце нашел наконец платок, стал вытирать лоб и шею и, наверное, слишком резко крутнул головой. Все поплыло перед глазами, закружилось, на какую-то долю секунды деревья, здания и пухлые белые облака, точно детки его скаженные, стремительно бросились врассыпную.

Он успел ухватиться за водосточную трубу. Постоял, отдыхая. «Господи, что же это я? Это ж никак нельзя. Лена там...» — и на ватных ногах прошел он к водозаборной колонке, умылся, распахнув тенниску, смочил рукою грудь, вытер голову мокрым носовым платком.

Стало легче.

«Кровотечение — это ж, наверное, выкидыш, это опасно, — думал он. — Это она вчера перенервничала. Довели мать и разбежались. Про какой она ковер? Ах да, был зимой разговор. И маленького не будет. А Ленка, Ленка как? Вот деточки!» Мысли были отрывочны, вялы — в такт сердцу.

Он все-таки пошел, сердце поневоле подстроилось, забилось ровнее.

На высоком бетонном мосту через Борховку его догнал порыв прохладного ветра. Шапкин приостановился, обернулся — вся старая часть города была накрыта черною тучей. Далеко, над Селиховским лесом, почти у самого горизонта блеснул просверк, но грома не было. «Она ж грозы боится, как маленькая, — вспомнил он. — Как же она?» — и прибавил шагу.

Когда входил под бетонный, далеко выдвинутый к дороге козырек новой больницы, его со всех сторон обгоняли хохочущие девчонки, служилые мужики с портфелями, бабы — вся улица разбегалась, пряталась в подъезды и под навесы, ветер всех подгонял, взвихривая, швыряя вслед придорожную пыль. Рыжая обочина была уже вся в черных оспинах.

В справочной, как и всегда, ничего не знали. Крашенная девица говорила по телефону, повернувшись к окошку задом, потом все же скользнула наманикюренным пальчиком по каким-то замызганым листкам и буркнула, что Шапкина не поступала.

— Вы что, дурака валяете? — трясущимися от внезапной злости губами, с трудом выговорил он. — Я сам сажал человека в «скорую»...

— А я что — виновата? — обиделась девица. — У меня какие есть сведения, те и... — тут она, правда, взглянула на стоявшего перед окошком и смутилась. — Она сердечница?

— Нет, выкидыш у нее.

— Так бы сразу сказали! — обрадовалась девица. — Это не у нас, это в роддоме.

— А роддом где ж?

— Здесь, здесь, у нас во втором корпусе. Только у них своя справочная. Вам придется...

Тяжкий гром заглушил ее, девица даже пригнулась, хватаясь за уши; большое окно за ее спиной все загнуло под напором рухнувшего дождя.

— Ой, мамочки,— сказала девица.— Вам сейчас и не дойти туда, я позвоню. Или вон,— она быстро показала рукой в другой угол вестибюля.— Вон у самого Аркадия Соломоновича спросите, даже надежнее.

Шапкин погнался за стремительным старичком в белом халате. Старичок был вроде знакомый, в старые времена заведовал, кажется, роддомом на заводской стороне.

— Шапкина, Шапкина...— бормотал он теперь, припоминая, и, откинув полу халата, вытащил сигаретку.

Михаил с подхалимской поспешностью выхватил зажигалку, щелкнул.

— Экая у вас какая,— удивился доктор,— прямо произведение искусства. Наша?

Он что-то все оттягивал, хитрил.

— Японская. Так Шапкина, Елена Григорьевна?

— Елена, Елена... А! Да! Как же,— доктор вдруг просиял.— Так это же вы прибегали ко мне, когда у вас сын родился двухкилограммовым? Да? Как же! Еще спрашивали, все ли на месте, ручки-ножки? Хе-хе... Как он теперь?

— Выше меня!

— Ну? Я вам обещал. Школу заканчивает?

— В девятом еще.

— Ах да, у вас дочь старше, как же, помню...— Старик, похоже, и вправду помнил всех принятых им детей.— А за жену вы не беспокойтесь. Все у нее в порядке, и завтра, надеюсь, будет дома. Это вовсе не опасная штука, уверяю вас!— и мягко, успокаивающе взяв Шапкина под локоть, он чуть повернул, подтолкнул его к двери, как бы заверяя, что в больнице вполне обойдутся своими силами.

— Ну? Спасибо вам громадное. А то, честно говоря, струсил малость,— говорил Шапкин.— На работе говорят: «скорая» забрала», а сюда прибежал: «по «скорой» не было...»

— По «скорой»?— старичок удивленно поднял свои детские водянисто-голубые глазки и тут же потупил их.— Да-да, как же, меня еще вызывали, я был в глав-

ном корпусе... Но сейчас все, абсолютно все в полном порядке. Уверяю вас! Желаю здравствовать!— и ушел.

Шапкин вышел на крыльцо. Туча, слабея и светлея, но еще попыхивая молниями, сваливалась за Волгу. Рядом две женщины рассуждали о том, что каждый день гроза, дожди, а они постоянно забывают зонтики. И так всё удивлялись этому, так громко удивлялись, почти открыто любуясь собой, своими мокрыми платьями, бог знает чему радуясь...

Из-под навеса он вышел последним. Где-то сзади, чувствуемое спиной и затылком, выглянуло солнце. Надо было ехать в старый город, какие-то там были дела, но, дойдя до автобусной остановки, Шапкин так и не вспомнил какие и уселся на подсыхающей лавочке. Автобусы подходили и уходили, а он все сидел и сидел, чувствуя, как быстро набирает солнце прежнюю силу.

Он будто выпал из жизни, из срочных ее забот, деловых соображений... И понимал, что выпал, что надо себя дернуть, вправить, поставить на место, как вывихнувшийся сустав, но это требовало усилий, обещало боль, а ни на усилия, ни тем более на боль он не был сейчас способен.

9

Тех, с кем видишься ежедневно, уже как бы и не видишь. Скользят себе мимо, ничего в тебе не тревожа, привычные и понятные, и если вдруг чем-то заденут, значит, что-то не так, что-то случилось. Это банально, я знаю. Но что поделаешь? Боюсь, без этой банальности не объяснить мне, почему я все-таки остался в тот день на вторую смену.

Тулупов, начальник нашего участка, уже минут двадцать зудел у меня над плечом, то суля золотые горы, то обещая все припомнить, закрывая наряды, а я стоял, как скала:

— Сегодня не могу. Все!

— Ну, хорошо,— сказал он,— если так...

Тут-то я и увидел Шапкина. Не просто отметил: вон, мол, Шапкин, а именно увидел — он шагал через двор как-то странно, чуть припадая на левую ногу и нелепо, не в такт взмахивая руками. Белая полотняная кепочка, всегда такая на нем франтоватая, была смята, сдвинута на затылок. Это бы все ничего, конечно, но было в нем что-то еще, тревожащее.

Вот, знаете, в конце марта, в апреле, каким-нибудь серым днем, когда вроде бы и не тает, а между тем заметно оседает и темнеет снег, идешь ты... ну, скажем, за картошкой идешь или просто мусор выносишь — и вдруг налетит, ударит из-за угла сырой теплый ветер, хлебнешь его, как отравы, и почувствуешь в груди тянущую пустоту и жалость ко всем, кто живет в этом дне так же, как ты, — тускло, бескровно, а мог бы... Нет, даже не так! То, что исходило от шагающего через двор Шапкина, можно, наверное, назвать проще — ну, скажем, тоской чужого одиночества. Не знаю, впрочем, испытывали ли вы когда-нибудь подобную тоску.

— ...так да или нет? — снова спросил Тулупов.

— Да, отцепись.

— Что — да?

— Остаюсь.

— Заметано!

Шапкин уже показался в дверях участка. Тулупов, обрадованно впадая в руководящий раж, бросился наперерез, напористо заговорил, через плечо показывая на меня большим пальцем, а Шапкин отрицательно мотал головой и то справа, то слева пытался обойти пятящееся начальство. Так они приближались.

— Хочу пару дней за свой счет взять, — говорил Шапкин, — мне надо.

— Зарезать ты меня хочешь. — вот что! И без ножа. Не у одного тебя огород. Если все начнут... с меня же голову снимут!

— Да кому она нужна?

— И не думай! Другое дело, если б ты остался в ночную, расточил хоть бы пяток матриц... Нет, честно говорю, если в понедельник матрицы сдашь, тогда — да, даже сам просить буду. Останешься?

Шапкин приостановился и посмотрел на начальство, будто соображая что-то, но глаза были стылые, пустые.

— Жара невозможная, — сказал он, отирая лоб тыльной стороной ладони.

— Так идет?

— Ладно, попробую.

Тулупов, совсем обрадовавшись, побежал руководить дальше, а Шапкин остановился у штабелька подрезанных Славкой Моториным уголков. Штабелек был раза в три выше, чем вчера. Славка тут как тут — подскочил:

— Ну как?

— Намолотил!— признал Шапкин.

— А вы говорите: лодырь! Я, может, только в среду лодырь, а в четверг — ударник!— Славка гордо стукнул себя кулаком в грудь.

— Ну? Должок решил матери отдать за вчерашние танцы?

— Как это вы догадались? Непременно! Я утром проснулся и думаю: а почему бы и мне не забашлять? Достоевский, великий писатель, и тот говорил, что деньги хоть и не бог, а все же полбога. Вам это должно понравиться, а, дядь Миша?— и Славка, заметив, что я слушаю, подмигнул: «Смотри, мол, как я его подде- ну!..»

— Умный мужик,— бормотнул Шапкин и удивленно поднял на Славку свои блекло-серые глаза.— Слушай, а с чего это мы с тобой все про деньги да о деньгах?

— Как с чего?— изумился, даже как бы чуток отшатнулся тот.— Вы всерьез не помните?

— Ну?

— Нет — правда? Да мы ж с вами о счастье спорили, зимой еще, помните? Что, мол, надо для счастья? А вы говорите: денег надо, и как можно больше!

— Ну?— Шапкин расстегнул тенниску и потер рукою грудь.— Ляпнешь вот, а потом и гадаешь: чего он ко мне пристаёт? Жарко, юнош! Кваску бы холодно- го...— и отошел за шкаф переодеваться.

Славка дернулся следом:

— Так вы, выходит, согласны, что...

Тот высунул голову из-за распахнутой дверки.

— Как же,— сказал,— согласен. Жизнь, юнош, штука убедительная. Как даст по голове — так ты сразу на все и согласен.

Славка постоял, озадаченно и недоуменно топыря губу.

— Ладно,— сказал,— я пошел.

— Счастливо, Батькович!

От двери Славка еще раз оглянулся на своего сменщика и недоуменно дернул плечом: с ним, дескать, что-то не то, а что — не знаю. И в самом деле было что-то не то. Шапкин уже нагнулся, поднял одну из своих заготовок, но тут же и опустил, и стоял над ней, вздыхал, будто с духом собирался. А уж он-то был не из тех, кому надо собраться с духом, чтобы начать работу.

Когда все разошлись, он немного успокоился, выровнялся и чуть погодя принялся кроме своего станка

налаживать еще большой токарный, поставил там четырехкулачковый патрон...

— Чем решил заняться, Миша?— подошел я.

— Расточкой, старичок, расточкой. Начальство просило.

— Здесь?

— А что?

— Как же потом центровку поймаешь?

— Прimitивно. Выточу такую оправку с конусом, на ней буду крепить и поворачивать.

— Ну? Здорово!

— А что делать? Леня шевелить руками — шевели мозгой.

Так мы с ним часов до девяти и работали. И я, между прочим, совсем не жалел, что остался.

Для меня, знаете, смотреть, как люди работают,— это иной раз лучше любого театра. Не все, конечно. Но те, кого работа не горячит, не волнует, а как бы успокаивает, и даже тем более успокаивает, чем она сложнее, напряженнее. В движениях их проявляется что-то звериное, я бы даже сказал, прекрасно-звериное.

Вот недавно по телевизору показывали сайгаков. Они бегут со страшной скоростью — поезд, говорят, обгоняют! Но присмотришься в замедленной съемке, как ноги у них при этом работают, как голова закинута,— ни тебе напряжения какого, ни сбоя малейшего...

Вот и шапкинской работой я любовался почти как сайгачьим бегом. И еще думал, что люди, умеющие так работать, должны так и думать — трудиться умом без вспышек и озарений, но неотступно и неумоимо. И не надо этих людей подталкивать, теревить, спрашивать, о чем они думают. Когда их слово созреет, они произнесут его сами.

В девять на наш участок зашел Кузьмич.

— Перекусим, мужики?

— Жарко,— сказал Шапкин,— да мы через часок и закруглимся, а?

— И то,— подтвердил я.

— Все торопишься куда-то, Константиныч, опять два станка запустил.— Кузьмич присел на ящик, положил на другой сверток с бутербродами.— Я у вас поем. Жара мне ничто, а там у себя не могу. Вроде как собака выходишь — один в углу. Охо-хо!.. Куды все торопятся? Слыхали, нет, историю?

— Какую?

— Да на танцах сѣдни. До покрасочниц одна девка забегала: танцы, говорит, толком не начались, а уж задрались и один другому нож под ребро.

— Насмерть?— спросил я.

— Вроде нет. Но кровищи, говорит!.. И что с нашим соплячем делается, скажи? Чуть что — уже у них мордобой.

— Из-за чего задрались-то?— спросил Шапкин.

— Из-за чего? Всё девок делят,— сказал Кузьмич.— А чего их делить? Все одинаковы.

— Так это ж, чтоб понять, надо их, как ты, всех перепробовать,— сказал я.

— Хэ-э,— выдохнул Кузьмич, в довольной улыбке прикрывая черные огарыши зубов.— Хэ-э... Я — не-е. В войну разве маленько, а по безделью от своей старухи не баловался, нет.

— Ну, до старухи.

— И до не баловался. Меня ж молодым женили. До свадьбы, считай, и не кортило.

— То-то ты сейчас такой строгий.

— За девок, паря, и у нас дрались. Но не так чтобы, а в меру. Жили-то жидко. Чуть подрос, тебя и впрягут. А на сенáх где косу бросил, тут и сам упал. Эт нынче до каких лет всё только учуть. На иную глянешь — ба-тюшки!— тройню б могла родить, а все в фартучке бе-гает, школьница.

— А ты на школьниц не поглядывай, тебе не по возрасту!

Так мы поговорили. Не слишком складно и мудро, зато ко взаимному удовольствию.

Кузьмич поел и двинулся к себе. Я пошел следом, включил верхний свет. Когда вернулся, Шапкин стоял у своего станка, крепко ухватясь рукою за заднюю бабку. Лоб его был в крупном поту, глаза опять стылые, невидящие.

— Миш,— окликнул я.

Он вздрогнул.

— Ты что?

— Так, задумался. Помоги-ка снять. Последнюю расточу — и двинемся.

— Да брось ты! Что, обязательно все сегодня? Ту-лупов и так решит, что мы с тобой до утра пахали.

— Тулупов Тулуповым, а совесть тоже не лишняя штука.

— Да ты ж чувствуешь себя плохо. Я вижу.

— Нет, ничего. Душно просто, томит,— сказал он как бы извиняясь.— Наверное, опять гроза будет.

Из цеха мы вышли в одиннадцатом часу. На грозу что-то было не похоже. Стояли светлые весенние сумерки без ветерка. Солнце село. В зеленоватом небе блеклым просом проклюнулись звезды. Шли мы молча. Он даже не спросил, почему я пошел с ним, его дорогой. А сумерки постепенно заливали низины; Волга шла беззвучно и невидимо, затканная легким туманом; бледная луна медленно выплывала за нею из голубой мути горизонта.

— Приятель у меня один был, Санька Мосин,— сказал вдруг Шапкин,— так его в полнолуние всегда выпить тянуло.

— А тебя?

— Меня? Пока нет. Сплю вот плохо.

— Думы замучили?

— Вроде того!

Минут пять шли молча, наконец он чуть замедлил шаг.

— Знаешь,— сказал,— о чем все думаю? Вот жизнь наша,— она в чем? Вкальваешь всю дорогу, гоношишься, рыщешь за тем, за этим. Я зимой за одной румынской спальней сколь побегал... А так подумать: на кой она мне? Душу мучаешь, пупок надрываешь. И что тебе со всего этого в конце отвалят? Дети будут жить по-своему, да и уже живут... А тебе, тебе самому — что?..

Ответить я не успел, да он, может, и не ждал ответа — просто помолчал полминуты и заговорил о другом.

— Самое,— сказал,— худое, что выходит всегда не то, для чего стараешься. Замечал? Вот задумаешь что-то и все ради этого делаешь, жизнь кладешь, а оно...

Мы как раз вывернули из-за последнего дома к наплавному мосту. На перилах его под фонарем сидела девушка в голубом платье, и парень, стоя рядом, держал ее за талию, как бы сторожа от падения.

— Глянь-ка, похоже, твоя?— удивленно спросил я.

Он поднял голову — девушка уже бежала вверх по откосу.

— Папуль!..

— Похоже, моя.

— Ну, будь здоров! Мне сюда,— и я торопливо зашагал в сторону, в тень.

Пашка сидел на кухне и с брезгливой миной ковырялся в тарелке с холодцом. Морщиться было не перед кем, и холодец был хорош, да изнутри, как и все эти дни, что-то подкатывало, мутило.

Страх? Да, господи, какой страх? Чего им бояться? Они так ловко прикинулись дурачками, что ничего ж всерьез не будет. Ну, на собрании обсудят, ну, по выговорешнику... Подумаешь! А хоть бы и хуже! Что — хуже? Колония? Плевать ему на это, хоть батя сегодня и обозвал его трусом.

Нет, пока дергали, пока таскали их к директору, пока допрашивал его мильтон или батя подскакивал с кулаками, то есть пока грозили, — ничего не боялся, с ухмылочкой лепил всем горбатого, валял ваньку... А вот когда и бояться уже вроде нечего, когда ты один, в тишине — тут-то и начиналось. И не то чтобы страх возникал, а просто застывало что-то внутри, останавливалось, и опять были те же сумерки за Серегиным сараем, тот же запах размятой молодой крапивы, и Воз через силу, с трудным грудным всхрипом отрывал себя от земли, размазывая по щеке песок с кровавой соплей... Это вот и подкатывало, мутило.

Ветер налетел вдруг, с напористым шорохом, со звоном разбитого где-то стекла. Пашка вскочил, ловя заметавшиеся оконные створки, прямо в лицо дохнуло ему черное, змеисто треснувшее небо, стегануло наотмашь холодом первых капель. Стремительный ливень набегал с гулом, пригибая и ероша впереди себя деревья.

Пашка кинулся в свою комнату, втащил вылетевшую на улицу штору и закрыл окно. Стало по-осеннему хмуро; пустой, сотрясаемый громом дом казался неприятно огромным. Железная кровля туго гудела, погромыхивала под напором летящей воды. Пашка невольно отступил от окна подальше, с ногами забрался в угол дивана, подтянув колени к подбородку. Грозы он и пацаном никогда не боялся, но в тесной бабкиной избе под дранковой крышей в непогоду было все ж как-то уютней.

Да и вообще жилось ему там неплохо. Баб Маня его любила, давала потачку. Даже позволила в шестом еще классе выгородить отдельный угол. Он сам развернул бокѣм к печке старый посудный шкаф со множеством

щелей на задней стенке, затертых, чтоб не водились тараканы, серым хозяйственным мылом; сам оклеил эту стенку картинками из «Огонька», сам поставил раскладушку, столик, протянул лампочку; мамка повесила меж шкафом и печкой занавеску, и получилась почти комнатешка. Все его хвалили, один батя, приехав в отпуск, смеялся:

— Ну, таракан, как за печкой живется?

А за печкой жилось по-разному. Не хуже в общем, чем в этой отдельной комнате, а иногда и очень даже любопытно. Сидишь этак тихонечко, делаешь уроки, все про тебя забудут, придет тетка или кто из соседок, и такие у них с бабкой пойдут разговоры, что у тебя только щеки горят и ноги делаются как ватные.

Взрослые — они ж только на словах правильные. Чуть что — «мы в ваши годы...» Тетка Лиза — та все Светку ругать любила: «Надо, милая, о физике думать, не о мальчиках!» А сама? Да у нее ж об одном этом весь разговор — о мужиках. Бабка станет ее стыдить, так она: «Отстань! Я не какая-нибудь хлячка, мне надо!» — «Скаженная ты, тьфу!» — сплюнет бабка. Вроде б и с презрением, да в голосе проскальзывает что-то неожиданное, чуть ли не зависть.

В общем, таракан запечный видел жизнь не с того присахаренного края, что выставляется деткам. Не напудренное ее личико, а затрепанный подол лез там в его глаза и уши. Стыдный, грязный, да хоть без обману.

И еще там, в запечье своем, он твердо решил никогда не верить красочным сказочкам о любви и прочих «возвышенностях». Пусть этим других дурачат. Его не проведешь.

Очень он вовремя это решил. В прошлом году все мальчишки их класса точно взбесились — бегом повалили влюбляться. Из-за девчонок вспыхивали драки, распадались компании, а вчерашние трусихи учились презрительно фыркать и воротить нос, уверенные, что леща ты им уже не отвесишь. Пашку это злило. Выходит, мясá тут и там нарастили, фигуристые стали, так это что — заслуга? С чего они завоображали вдруг? Или уже примериваются, как тетка его, завести пару мужей да обоих обогатить?

На этом своем знании потайного, неказового края жизни, на презрении к сладким баечкам о любви они с Длинным и сдружились.

Тот девчонок вообще за людей не считал. Как-то зимой, когда Колька Вяткин из одного конца коридора все пытался разглядеть, кто это там, в другом конце, остановился возле Малитвиной, Длинный сказал:

— Не вывихни глаз, сэр! Я все объясню, плиз! Пред вами, господа, животное вида гомо сапиенс, подвид сучкус вульгарис, то бишь типичная баба. Спорим?

— А чем докажешь?— Колька аж покраснел от смущения и злости.

— Делом. Наглядно и понятно. За вполне умеренную сумму, передаваемую из рук в руки, она поцелует меня при всех, угу?

— Врешь!

Пашка тогда промолчал, хоть и надеялся втайне, что тут-то Серега хватил слишком. Уж Малитвина... Нет, оказалось, не слишком. И Малитвина, какую из себя ни строит, а чмокнула-таки его прыщавую щечку!

— Вот так,— сказал им Длинный.— Все дело в сумме. За большую можно и больше. Еще пари, сэр?

— Иди ты, хватит!— буркнул Вяткин.

Он был весь встрепанный, морда в пятнах — не то сейчас в кулаки кинется, не то заплачет. А Длинный, коротко хохотнув, выкатил на него свои немигающие:

— О, сэр Колинз, да вы, оказывается, еще и жмот, у?

Вот так! Это Светка-дура может читать сказочки и обводить красным карандашиком: «И сказал ей царский сын: «Вспомнила тебя душа моя!»

Пашка эту историю с лейблами нарочно рассказал ей да матери: вот вам! вот все какие! А те раскуксались: переживает мальчик, как же! За что и получена была с матери пара рваных. Дескать, проспорил Длинному. Умеренный штраф, чтоб уши не развешивала. Законно! Надо бы еще и со Светки содрать. «Ты, говорит, не думай, не все такие». Ага! А сама, когда Бочков за ней приударил, небось и не вспомнила, как звала его Жиртрестом. Другие они, как же!

Гроза вроде б уже отходила за Волгу, а ливень все не ослабевал, стал лишь глуше, размеренней. Из окна было видно, как вода, потоком скатываясь с крыши, то и дело перехлестывает воронку водосточной трубы и широким веером летит прямо на дорожку.

Какое-то тоскливое нетерпение нарастало в Пашкиной душе от дождя и от всех этих воспоминаний. Словно надо было ему что-то делать с собой. И как можно

быстрее, немедленно. А то — что же выходит? Его даже батя сегодня обозвал трусом, отвернулся, как от последнего, а он смолчал. Ведь это же...

Если б вчера мать не вбежала, ходить бы Пашке с хорошим фингалом! Да это — ладно. Хотя тоже: а что он такого сказал насчет труда, чтоб так взбелениться? Сам всю жизнь ездит, ищет работу побашлевитей, а тут, вишь, перекосило его: «Что ты понимаешь в труде, сопляк!» Дескать, сам я такой правильный, такой труженик... Но это — пусть! Утром-то, утром за что он такую морду скорчил презрительную: «Так ты еще и трус?» Пашка чуть не сказал: ладно, мол, пусть трус, зато не предатель! Положим, хорошо еще, что смолчал. А то пришлось бы объяснять, почему предатель, да почему... С ними ж только заговори по-человечески — всю душу вынут.

Что же до трусости, то Пашка вообще никого не боялся, тем более Серегу. В классе седьмом боялся — это точно. И то — не кулаков. Дойди до них, неизвестно бы еще, кто кого. Только с Длинным почти ни у кого до кулаков и не доходило. Он брал другим.

Когда Фомичев разбил в уборной стекло, а Серега, имевший на него зуб, честно предупредил: «Продам!» — тот засмеялся: «Шуруй!» У них в классе никого не выдавали. Сказать про стекло — значило наплевать на всех. Кто мог на это решиться? Но пришел Герман Степанович, Длинный поднял руку и спокойно все выложил. «Ну, ты и дерьмо! — подошел Фомичев на перемене. — Счас я тебе устрою!» Длинный спокойно оглядел его своими выпуклыми немигающими глазами и хмыкнул, дернув на сторону рот: «Когда сможешь — устроишь! Все вы, когда сможете, устройте мне, да боюсь, ждать долго».

И все! И Фомичев как-то сник под его взглядом, скукожился. Да Пашка и сам, когда Длинный так на него смотрел, частенько ни с того ни с сего начинал чувствовать себя мелочью, шмакодявкой.

Потом, когда сдружились, понял, отчего так. Серега большинство людей считает... ну, просто слизью какой-то. Люди это чувствуют и как-то теряются перед ним, пасуют.

Зато уж с кем Серега друг — тому как скала! Всю драку с Возом взял перед мильтоном на себя: «Я, — заявил, — один бил! Он меня фашистом обозвал».

А если по-честному, так Вова, может, и не били бы, если б не Пашка. Он первый толкнул, потом уж Вов закричал: «Фашисты вы все!» А почему толкнул — это черт его знает! Какая-то непонятная злость выскочила, обида.

Восьмого марта, на ту самую вечеринку, где Галка поцеловала Длинного, собирались у Лупишина, в новых домах. Было всего пять бутылок сухого, больше лупишинская мамаша не разрешила, а все равно так постепенно разошлись, так разорались, расстанцевались, что сделалось жарко. Открыли балконную дверь, смели оттуда снег и время от времени выбегали поостыть, хлебнуть легкого морозца, а может, и целоваться. Место укромное: на улице темно, а от комнаты ты отделен коричнево-красными шторами.

Пашка туда тоже дернулся. Да на пороге, за занавеской, вдруг и застыл, словно наткнувшись на невидимую стену. Рядом, не замечая его, шептались. Вов и Галка. Вов не приставал, а сердито ей что-то выговаривал да еще и отворачивался. И Галка не отбивалась со смехом, как от других, а хватала его за руки, бормотала покаянно: «Костик, это же просто шутка. Шутка, понимаешь? Шутка, и все. Ну, я прошу, перестань!» И потом: «Если ты так хочешь — вот, пожалуйста!» Она, показав что-то в кулаке, швырнула в темь, и Вов, повернувшись, взял ее за руку: «Только больше так не шути, ладно?» Голос у него дрожал, как у девчонки, готовой заплакать.

У Пашки был с собой карманный фонарик. Минут через пять, тихонько слиняв и воровски поглядывая, нет ли кого наверху, он обшарил палисадничек под лупишинским балконом. Снег был крепко схвачен настом, и один из Серегиных лейблов нашелся без труда.

Первое мелькнуло — показать Сереге: вот, мол, не очень ты и выиграл со своими лейблами. Но если показать, так надо и рассказать, как они там, на балконе... При мысли о том, что все это может стать известно другим, волна слепящего жара ударила ему в голову, щеки вспыхнули, будто Вов еще на балконе надавал ему оплеух, да не в драке, а как-то так, что Пашке пришлось стоять столбом, не смея сопротивляться. Он даже замычал сквозь стиснутые зубы — таким грузом легла на сердце внезапная ненависть!

И потом, через два месяца, в сумерках, за Серегиным сараем, когда Вов стоял перед ними тремя и пре-

зрительно топырил губу, эта дурная кровь, уже опалившая душу в лупишинском подъезде, снова ударила в Пашкину голову. «А я говорю, заплатишь!» — выкрикнул он и толкнул Возницына. Тот всей спиной шмякнулся о дерево и, побледнев, сам кинулся на них с кулаками.

Так началась вся их история, и Вяткин уже дважды об этом напоминал. Вяткин. Но не Длинный.

Пашка вдруг рывком поднялся с дивана, присел к столу и вытащил из нижнего ящика плоскую пластмассовую коробку. Сверху в ней для отвода глаз лежали всякие кнопки, скрепки, старые резинки — все это он нетерпеливо вытряхнул, а в самом низу, завернутые в белую бумагу, — тот самый ярлык и фотография, еще осенью украденная из комитета комсомола.

В комитете тогда делали фотомонтаж, фотографии набросаны были кучами по большому столу, все подходило, рассматривали их, тасовали, хохмили. И никто не заметил, что он сунул одну в карман.

Малитвина рвала на ней финишную ленточку, резко, как бы с вызовом подавшись грудью вперед, и легкие, ничем не схваченные волосы струей летели по ветру. От взгляда на эту фотку у Пашки холодели кончики пальцев, что-то их пощипывало, покалывало, точно он мог вот-вот прикоснуться к живой, к бегущей Галке.

Многие мальчишки при Малитвиной давно уже стали как-то глупеть, выкидывали неожиданные финты. Пашка чуть не первый ощутил на себе силу этого странного магнитного поля, порождающего беспокойную потребность выставиться, выломиться. Только Серегину присутствие, тонкогубая его улыбочка Пашку и останавливали.

Теперь рядом никого не было. Пашка смотрел на фотку, и все забывалось: отец, обозвавший его трусом, вся эта фанфаронистая торговля пленками, даже Воз, размазывающий по щеке кровь с песком, — вся муть оседала в душе, оставалась только эта девушка, с вызовом подавшаяся грудью вперед, да разбуженная ею жалость к себе. Жалость и беспокойство.

Он выглянул в окно. Дождь кончился, ветер ерошил мокрую сирень у ворот, ярко блестящую под проглянувшим солнцем.

Почти не замечая, что делает, Пашка быстро разделся, натянул плавки, джинсы и красную майку с «битлами». Потом сдернул ее и взял другую — бело-

голубую с четырьмя черными лохматыми мордами «Бони-М» и надписью: «Love for Sale».

До бора он почти бежал, легко перескакивая лужи и ни о чем не думая, кроме того, как сейчас, на пляже, кто-нибудь из девчонок спросит, что за надпись, и он этак небрежно пояснит: «Обычный женский лозунг — «любовь на продажу!»» А может, лучше сказать не любовь, а поцелуй на продажу?.. И Галка будет тут же. Да! Ничего... Пусть ей!

Пляж был пуст. На темном, схваченном влажной коркой песке еще и следов ничьих не было, да и быть не могло. Кто же идет на пляж сразу после дождя?

Пашка постоял над обрывом, вздохнул и не спеша потащился в другую часть бора, к качелям и танцплощадке, где еще с трех часов должен был ждать его Серега, а дело было уже к четырем. Было как-то удивительно, что он почти забыл об этом, да и теперь, хоть и вспомнил, а вот — не спешит.

На качелях почти никого не было, но музыку крутили вовсю, и вокруг былолюдно, к пивному ларьку стояла густая очередь, из-за которой Пашка не сразу заметил Длинного. Тот сидел на травке с Колькой Бочковым и еще каким-то парнем и звал его, махал рукою.

— Вы что же это, сэр, своих не узнаете?

— Народ на вас отбросил тень!— торжественно, в стиле их компании, провозгласил Пашка.

— А?— горделиво подмигнул своим соседям Длинный.— Красиво врет? За это и люблю! Садись, сэр, у нас деловая встреча.

Пашка опустил на мокрую траву, Длинный щедрым жестом поставил перед ним бутылку пива.

— Чем бы открыть, сэры?— спросил Пашка.

— А ты вот так!— незнакомый парень прищурился, приставил свою бутылку пробкой к глазу и стал вроде бы с натугой тянуть, корча гримасы. Бутылка зашипела выходящим газом и открылась.

— Ух ты!— восхитился Пашка.

Все захохотали, Колька Бочков хлопнул его по спине:

— Ну-к, попробуй!

Пашка хотел просто отмахнуться от него: пошел, дескать!— да рука неожиданно хлестко пришлась по Колькиным рукам.

— Ну-ну, укороти грабли,— обиженно буркнул тот,— а то...

— Чего?— Пашка удивленно повернулся к нему, привстал на коленки.

Такого еще не случалось, чтоб Бочков залупался в ихней компании. «Ах ты жиртрест,— подумал Пашка,— думаешь, так мы теперь всех и испугались?»

— Размахался, говорю, очень.

— Ах ты лапитунчик,— нежно сказал Пашка,— а по по не хо?

Оба вскочили.

— Ну-ка, ну-ка!— обрадованно засуетился Длинный.

Незнакомый парень, резво вскочив на ноги, просунул меж спорщиков руки и властно раздвинул их в стороны.

— Брэк! Брэк! Спокойно, джентльмены,— сказал он.— Деловые переговоры следует заканчивать в деловой обстановке. О'кей?

— Ишь, за папочкиной спиной расхорохорился!— буркнул Бочков.

— Чо?

— Ладно, он пошутил,— Серега за руку потянул Пашку вниз, на траву.— Мы таких не обижаем.

— Будем считать так,— сказал незнакомый.— А дельце, надеюсь, заметано?

— Сделаем им, Пашуля? А? Если Бочков не зазнается?

— Сделаем,— буркнул Пашка, не понимая еще, о чем идет речь.

— В таком случае чао, сэры!— Незнакомый сделал им ручкой.

— Э-эй,— закричал Длинный,— бутылку-то дай чем открыть!

— Держи,— тот, не поворачиваясь, через плечо швырнул им тоненькую отвертку с наборной ручкой. Она упала прямо возле Пашкиной ноги.

Длинный надолго замолчал, попивая пиво. Да и Пашке — чего было говорить?

Солнце пекло все сильнее; горячий, разленивающий пар источала земля, даже промокшие штаны ничуть не охладили. А пиво было старое, горьковатое. Когда отнимали ото рта и ставили на траву недопитые бутылки, в них до самого горлышка густо стояли радужные перегородки.

— О-о!— вдруг дурным голосом закричал Длинный, валясь на спину и раскидывая руки.

— Ты чего?— удивился Пашка.

— Так,— сказал тот, спокойно садясь.— А что?

— Народ пугаешь. Вон смотрят!

— Пусть. Надо же кого-то пугнуть, если мне скучно. А где это вы так задержались, сэр?

— Пока пошамал, а потом дождь.

— Ну? Я думал, ты, как сэр Колинз. Тот, размыслив трезво, решил с нами завязать. Так сегодня и объявил: фатер, мол, запрещает.

— А ты?

— А я? Я его вот так,— Длинный схватил Пашкину руку, дернул к себе, и они долго возились на траве, пока Пашка все-таки не вывернулся и не ринулся в ответную атаку. Тогда Длинный предостерегающе вскинул руки:— Ну-ну, шютка... Барбандия шютка! Фатер вас высек?

— Кто? А...— Пашка шумно выдохнул, усаживаясь на траву.— Не. Слегка по морде погладил.

— Это вам не вредно. Про деньги сказал?

— Сказал.

— Ну?

— Гну! Из-за тебя батю вообще из себя вывел.

— Э, да он у тебя еще и жадный? Нехорошо,— с сожалением причмокнул Длинный.— Мой бы даже обрадовался. Мой очень даже любит, чтоб отвалить башлей и — никаких проблем!

— Дурака мы сваяли,— серьезно сказал Пашка.— Из-за тебя! Учти.

— Не говори!— не слушая, продолжал сокрушаться Длинный.— Такой план провалили! Ведь я же для них старался, подсовывал лучший способ облегчить родительскую совесть, а? Отслюнил рваных, и...

— Из-за тебя, говорю, дурака-то сваяли!

— Точно, сэр. Но вообще, как посмотришь эдак с холодным вниманием вокруг, так мой предок еще не из худших. Колинзу папахен фигу выкрутил: вот тебе, говорит, деньги! Фрукт!

— С моим познакомишься, тоже не обрадуешься. Как говорится, примите заранее всяческие соболезнования.

— А что — угрожал?

Пашка кивнул.

— Хотел навестить. С чего это, говорит, тебе одному деньги нужны, а дружок почему не дает?

— Ну? Деловой мужик! А ты?

— А я как договаривались. Он и говорит: схожу посмотрю, чем у него так дома плохо, с чего ему в колонию захотелось?

— О-о!— дурным голосом опять закричал Длинный, валясь на спине. Тут же, впрочем, и сел, абсолютно серьезен.— Это я так,— сказал,— представил: приходит твой фатер, а у моей мутер как раз Хромой. Она у меня, поддавши, поговорить любит. Во было бы, а?

— Ты ж хвалился, что выгнал Хромого,— подкусил Пашка.

— Я выгоню, она другого приведет, пусть уж...— Длинный выругался так грязно, что Пашка невольно поморщился.

— Что косоротишься?— внезапно обиделся Длинный.— Ишь, интеллигент! Что? Может, еще скажешь: про мать так нельзя? А матери так можно?— он привстал на колени, упираясь руками в землю, и выкрикивал коротко, будто лаял. Дурачился или злился — разве ж у него поймешь?

— И все они дерьмо, все!— выкрикивал.— Думаешь, твой папахен лучше моего, да? Дескать, приехал, кучу дерьма всем накупил, да? Чего молчишь? Похвастался б: хороший папочка, как же! Бочкова за горло взял: зачем, мол, сыночка спаиваешь? Заботится, да? Вот тебе!— Длинный так сунул Пашке под нос фигу, что чуть сам не упал.— Плевать ему на тебя. Это чтоб соседи пальцами не тыкали. Понял? Им всем на нас наплевать, понял?

— А я чо?— успокаивающе бормотал Пашка.— Я ж ничего.

Когда Серега так взвизывался — ждать хорошего не приходилось. Мог такое отмочить, что потом и сам удивлялся. Но на этот раз он только помолчал минуту, остывая, и добавил совсем другим голосом:

— Все, все дерьмо. Пошли! Да отвертку прихвати, чо бросил? Еще небось отдать потребуют, крохоборы!

Пашка сунул отвертку в карман и побежал, догоняя приятеля.

Дома, в одном из которых жил Попцов, были те самые заводские двухэтажки, где Михаил Шапкин когда-

то так мечтал получить хотя бы комнату. И многие тогда вместе с ним обивали пороги заводского начальства, многие.

Но теперь эти дома у нас не любили. Да и в самом деле: дворы ничьи, позаросли бурьяном, огурца посадить негде, отопление печное, уборная, водопровод во дворе. Не город и не деревня, а так...

Как и все нелюбимое окружающими, дома быстро старились, приобретали запущенный, окаянный вид: штукатурка тут и там была облуплена, двери подъездов поломаны, фонари во дворах повыбиты.

Впрочем, к самому дому Пашка с Длинным и не вернули. Направились сразу к сараю. Этот дощатый сарай, тянувшийся непрерывной лентой вдоль всех четырех домов, внутри был разгорожен на клетушки по числу квартир. В попцовской клетушке внизу, как и у всех, кто не держал корову (а корову никто уже и не держал), лежали дрова, стоял мопед, а наверху, там, где по идее должен быть сеновал, Серега оборудовал себе «башню».

Стенки оклеил заграничными картинками, пристроил на полочке маг, проигрыватель, по углам повесил колонки, даже смастерил бар, где стояли пустые сигаретные пачки и разные бутылки, тоже большею частью пустые. В углу за дверью была еще полочка с книгами, только Серега не любил, чтоб туда кто-то заглядывал, даже Пашка. А главным шиком была, конечно, оклейка стен — все эти зазывно выставяющие свои прелести «герлз». Попадая сюда, мальчишки начинали подозрительно ерзать и жаться. Один хозяин был спокойнее, чем везде, и, если Пашка, не утерпев, отпускал замечанья о красотах, лишь досадно дергал плечом: «Брось, всем им треха цена!»

Зимой в «башне» включали электрокамин и, если не снимать пальто, можно было сидеть часами. Они и сидели. В «башне» с Серегой было как-то проще. На людях он все время дурачился, кого-то из себя строил, не всегда и поймешь его. А здесь, наедине, бывал ровен и грустен. После Ноябрьских, приехав от бати из Ленинграда и хвастаясь привезенным, вдруг сказал:

— А так вот, сэр, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, то мутер у меня человек. И пьет, и погуливает, конечно, да хоть кается. А фатер — тот все де-

ятеля строит. Как же — первый помощник, всегда при галстук! «Я, говорит, очень жалею, что ты без меня растешь, но море всего человека требует, понял? Если захочешь быть моряком, то учти!»—«Угу, говорю, учту, только у вас все не из-за моря вышло, а из-за триппера». Он сразу заткнулся. Едва и назавтра очухался. «Это, говорит, что ж — мать тебе сказала?»—«Допустим!»—«Скрывать, говорит, не стану, было такое несчастье. Будешь мужчиной, поймешь. Но и мамочка твоя хороша! Я тебя помимо алиментов всем обеспечиваю, сам знаешь, на что она алименты тратит. Был бы на суше, непременно б тебя забрал».—«А я, говорю, еще б сильно подумал». Четыре дня только и побыл у него вместо недели, надоело.

Тут, конечно, не история попцовских родителей Пашку поразила, он ее и раньше знал, а тон Серегин. Злости в нем не было, вот что. И даже вроде жалко ему было кого-то... Нет, с Длинным никогда не соскучишься, тем более в «башне».

И теперь в «башне» было свежо, прохладно, крыша не успела прокалиться после дождя. Негромко шелестела музыка, яркий солнечный свет лежал на стене длинной полосой, голые красотки улыбались по-свойски, как старые знакомые. И никуда не хотелось идти, ни о чем думать... Сидишь, и сиди себе!

— Бочков-то, а?— вдруг сказал Серега.— Слизняк, тряпка, а за горлышко взял так, что только гляди и учись!

— Кого?— не сразу врубился Пашка.

— Меня. И тебя немножко.

— Как это?

— Просто. Он чего, думаешь, этого мясника притащил? «Помнишь, говорит, я тебе колбасу доставал? Должок твой не мне — ему». Вот так. А денег нет, гони услуги. Мясники — они тоже музыку любят!

— Мясник — это который бутылку о глаз?

— Ну? А с такими, сэр, о денежках не шути!

— Так мы им, что ль, переписываем?

— Очнулся.

— Ну Бочков! Я ж ему на праздник еще все сказал. «Нельзя, говорю, нам сейчас, и не лезь».

— А ты думаешь, если им нужно, так очень они интересуются, лезь тебе или нет? Плевать им!

— Вот гнида!

Часов в шесть пришли с готовой бобиной к продмагу. Длинный нырнул куда-то в подсобку и через пару минут вернулся злой как черт.

— Так,— сказал,— по морде мы уже получили. Куда направимся еще, каких поищем приключений?

— Как это?— не понял Пашка.

— Фигурально, сэр, фигурально.— Длинный разжал кулак, показал скомканную пятерку.— А должен был я гаду всего восемь рублей. Но! «Поскольку, говорит, вами милиция интересуется, цены снижены!» Понял как? Учись!

— Да я Кольке...

— Тс-с! Я тебе говорил, что пока надо стать паинькой? Говорил или нет?

Так вот, базлая, двинулись вроде бы без цели, в никуда, но, покружив бором, вышли все к тому же обрыву, где должны были купаться девчонки.

Этой сумасшедшей весной на переменках только и разговору было, что о пляже. В прошлые годы купаться начинали уже на каникулах, когда класс распался на компании. А тут вдруг — такая весна, и все они еще вместе, и все уже взрослые, особенно девчонки, и вот — только и разговору, что пляж, пляж! Вода в Волге еще холодная, обжигает, зато на песке одуряюще жарко. Он липнет, золотит белые девичьи тела, и все головы кружатся, сердца бьются радостно, отчетливо — то ли это от жары, то ли от этих самых тел. Каждый день — сговаривались не сговаривались — а весь класс высыпал на этот обрыв. Кто приходил позже, кто раньше, кто купался, кто только загорал...

Сегодня, правда, по случаю недавней грозы народу было не так много: несколько девчонок да Воз. И те уже одеты, собираются уходить.

— Привет, орлы и орлихи!— сказал Длинный, поднимая сжатый кулак.

— Привет.

Без энтузиазма ответили. Длинного девчонки вообще боятся, не любят, а Воз — защита ненадежная. Вон он книжечку под рубашку прячет. Чудак! С девицами купается и то — одним глазом на них, а другим в книгу. На обрыв, правда, неплохо вымахнул, прямо как настоящий.

— Андрю-юш!— позвала снизу Малитвина.— Ты единственный кавалер, не забывай.

Воз стал послушно выдергивать на обрыв девчонок, точно те и вправду не могли подняться сами.

Последней ухватилась за его руку Галка и, выскочив, как бы нечаянно, как бы почти падая, налетела на него грудью. Воз густо покраснел.

Пашка вдруг почувствовал, что и сам он неудержимо заливается краской, а сердце мучительно торкается во все ребра.

— Садись на Воза!— срываясь с места, заорал он.— Но-о!— и кошкой сиганул на возницынскую спину.

Когда-то, в пятом-шестом классе, Возницын был толстым, вялым, всеми обижаемым мальчишкой и, чтобы подольститься, охотно позволял такие штуки. Теперь он так взбрыкнул всем корпусом, что Пашка, не удержавшись, шлепнулся в песок.

Тотчас вскочил.

— Ах, так?— спросил со злостью, с внезапной обидой.— Ты, Воз навозный, еще и брыкаться?

— Я тебе не Воз!— тот отступил на шаг, поспешно пряча в карман очки.— Лучше не лезь.

— Ты лучше должок гони,— подошел Длинный.— А то забываться стал. Думаешь, как насекотил, так и не должен?

— Да, и не должен! И вообще... Говорить с вами не хочу. Противно!

— Да ну?— Пашка, дрожа от ненависти, шагнул к нему.— Неужели?

Он уже нацелился схватить Воза за грудки, да тут Малитвина коршуном налетела откуда-то сбоку: «Не смей! Дураки!! Не трогайте его!»— и так шуранула Пашку, что тот едва устоял на ногах.

— Ладно, оставь,— хватая за плечи, сказал Длинный,— брось. А то опять насекотит.

Возницына тотчас окружили девчонки, и он, как последний трус, покорно дал себя увести.

— Зазнается,— сказал Пашка, стараясь успокоиться.— Зря ты!

— Не успеет. Где-нибудь еще не так встретится.

Пашка удивленно взглянул на Длинного. Свою ненависть к Возу он пусть и не совсем понимал, да все ж как-то притерпелся к ней. Но Серега с чего?

Солнце уже перешло за Волгу, и вода холодно слепила тысячами зайчиков. Лезть в нее не хотелось, они

все стояли на обрыве, одинаково сунув руки в карманы, скучливо посвистывая.

Зачем только шли сюда? Зачем он на Воза прыгнул? Ведь если б не Галка... И главное — совсем недавно, в «башне», было ему хорошо, музыка так расслабляла, нашептывала что-то. Нет, потянуло дураков на люди! И опять чуть не влипли, и опять всколыхнулась в груди старая муть, подкатывает к горлу. Зачем?

— Пошли, у тебя побалдеем,— сказал он.

Длинный молча кивнул.

До «башни» не дошли, завернули зачем-то на рынок. Здесь было уже пусто, тихо. Дворничиха граблями вытаскивала из-под прилавков мусор. Коопторговский магазинчик был, правда, открыт. От нечего делать зашли туда, выпили по стаканчику яблочного вина.

Толстая тетка, покупавшая сухофрукты, стала ругать продавщицу: зачем, мол, таким соплякам наливает?

Длинный допил стакан и, подойдя к толстухе вплотную, предложил сквозь зубы:

— Мадам, а не хотите ли со мной... за пятерку?

Та аж рот разинула.

— Ах ты мразь! Да я!..

Длинный ловко перехватил у лица ее пухленькую ручку и, улыбаясь, вылупил на нее свои немигающие.

— Итак, мадам, вы согласны?

Толстуха вырвала руку, сиганула на крыльцо и там завопила: «Хулиганье!» Пашка захохотал.

— Вы что себе позволяете, а?— придя в себя от такого, взвизгнула продавщица.— Ах, вы!.. Да я вот вас в милицию! Федя! Федя!— закричала она в подсобку.

Хохоча и толкаясь в дверях, они с Длинным вывалились на крыльцо.

— Все-таки ты зря,— сказал, отсмеявшись, Пашка.— Теперь и выпить негде будет.

— Чо? Негде? Жизни, мальчик, не знаешь. Да Польша... да она ж за рупь в церкви перднет. Все гады, все, а она... Стой, не веришь? Увидишь сейчас! Стой здесь!

Длинный побежал куда-то вокруг магазина. Пашка остался, посмеиваясь. Уж очень любопытно было: что Серега выкинет?

Минуты через три тот, открыв магазинную дверь, поманил его пальцем. На стойке стояли два стакана с вином. Никого не было, даже продавщицы.

— Во!— удивился Пашка.— Ты что — сам?

— Что вы, сэр? Как можно? Пейте! Наши родители богатые — они за все заплотуют! И все крайне культурно. Пришел... «Мне, говорю, тетя Поля, фатер немецкие трусики прислал безразмерные, хотел тебе предложить, а ты так со мной невежливо. Нехорошо-с!» Помирились.

Они смеялись и чокались.

— За дерьмо! Без них не проживешь!

Все казалось очень остроумно.

Потом опять шли бором. Длинный кулаком стучал по соснам и бормотал, что всех бы за рубль купить и морду набить. Пашка удивлялся, что он такой пьяный. С двух-то стаканчиков яблочного?

Когда вышли на люди, к качелям, к танцплощадке, Длинный малость утих.

Среди высоких сосен висели косые закатные лучи, сладко тянуло прелюю хвоей. Майский день все не хотел кончаться, хотя люди и торопились начинать вечернюю жизнь с ее танцами, музыкой, женским зовущим смехом...

У входа на танцплощадку уже кучковался народ. Здесь была довольно большая, до песочка вытоптанная поляна. Со стороны Волги ее окаймляли кустистые рябинки, а за ними начинался молодой ельник. Елки, впрочем, росли островками, оставляя большие прогалы.

На этой полянке и увидели снова Воза. Пашка свистнул, а Длинный для смеха поманил его пальцем. И тот пошел! Ну, зачем он, дурак, пошел? Ведь знал же, чем это кончится, знал!

— Чего вам надо?— спросил он угрюмо, останавливаясь шагах в пяти.

— Галку ждешь?

— Не ваше собачье!

— Ну-ну! Мог бы повежливей. Отойдем, поговорим?

— Мне с вами говорить не о чем.

— Боишься?— усмехнулся Длинный.— Посмотри, Паш, у него коленки ходуном ходят.

— Плевал я на вас! Пошли,— Воз двинулся на них, они отступили, пропуская его.

— Ну?— спросил он, останавливаясь у елочек и поворачиваясь к ним.— Хотите бить? Плевал я на вас все равно,— подбородок его плясал.— Я вас презираю!

— Это мы слышали. Ты лучше должок гони,— сказал Длинный.— Когда выложишь?

— Никогда! Еще чего?

Воз все поглядывал в сторону танцплощадки.

— Как невежливо,— усмехнулся Длинный.— Фи! Да не смотри ты туда. Она, хоть и увидит, не прибежит. Всякие шлюшонки обожают, чтоб из-за них дрались, а тем более такие...

Он не договорил. Воз сделал неловкий, чересчур широкий шаг вперед и влепил ему оплеуху.

Длинный до того оторопел, что даже щеку рукой потрогал, словно желал убедиться, действительно ли получил плюху.

— Так вот ты как...— протянул он.

А через секунду уже сидел на Вознице, заломив тому руку к лопатке. Воз молчал, извиваясь на земле и покряхтывая от боли.

— Сами возьмем должок,— бормотал Длинный,— не беспокойся, сами. Паша, давай.

Пашка полез в карман. Кошелек там не было, да и пускай! Воз-то зато как извивался, как мордой землю пахал!..

— А-а! Сволочи, фашисты! Убью-ю!— закричал Воз, изо всех сил пытаясь лягнуть его кедой.

— Скорей!

Здесь, у танцплощадки, не считалось приличным вмешиваться в чужие драки, но мало ли...

Пашка оглянулся вовремя.

— Бежим!— крикнул он, вскакивая, и метнулся к ельнику.

Длинный — за ним, но Воз, еще лежа, ухватил его за джинсы, и этой секунды оказалось достаточно, чтобы кто-то высокий, в белых брюках и темной рубашке с криком: «Стой!»— навалился на Серегу.

Пашка обернулся — Воз стоял на четвереньках, а этот белобрючник выворачивал Сереге руку. Больше никого не было. Он кинулся к борющимся — его отпихнули ногой, да еще так ловко, что он аж присел. И рука сама скользнула в карман, сжала отвертку.

— Гады, кишки выну!— крикнул он.

А может, и не крикнул. От мечущихся перед глазами оранжевых кругов все было еще смутно, неточно, словно и кричал не он, а кто-то другой.

Он даже не помнил, чтоб в самом деле ударил, только парень как-то странно охнул и с недоумением

оглянулся на него. Длинный уже был в ельнике, и Пашка, оттолкнув вставшего наконец-то Возницына, бросился следом.

За ними никто не погнался. Отдышавшись, вернулись к той же поляне перед танцплощадкой, только с другой стороны. Тут царил переполох, испуганно кричали женщины. Воз и еще какой-то парень вели под руки того, в белых брюках. Густая тень странно меняла цвета. Казалось, его рубашка и брюки широко, обильно залиты чем-то коричневым, вроде соуса. И где-то уже заливалась милицейская трель.

— Э! Глянь! Кто это его?— спросил Длинный.

— Я.

— Чем?

— Вот,— Пашка показал кулак, в котором все еще была зажата отвертка.

— С ума сошел? Псих! Брось сейчас же! Пошли, бегом...

Пашка уронил отвертку в траву и побежал за ним следом, но шагов через двадцать ноги подкосились, он сел на землю, и его вырвало. «Лечь тут, уснуть, и все пройдет»,— подумал он. Длинный поднял его, встряхнул и потащил дальше.

Долго шли, выбирая самые густые, нехоженые места, куда-то все время сворачивая, прячась, и всё не могли уйти от музыки, висевшей у них за плечами, как камень. Танцы продолжались, все происшедшее казалось сном, бредом.

У самого рыбхоза вышли снова к Волге. Пашка зашел в воду, брел вдоль берега по колено.

— Ты чего это?— Длинный пытался вытащить его на сушу.— Зачем?

— Собаки чтоб... не нашли...— подбородок у Пашки выбивал дробь.

— Дура!— крикнул Длинный.— Зачем им собаки? Воз нас знает как облупленных.

Тогда Пашка вышел на берег, сел прямо в песок, посмотрел на разлитую по воде закатную кровь и заплакал. Понимал, что это стыдно, но тело само дергалось, будто в икоте, и слезы катили по щекам. Длинный стоял перед ним на коленях, держа за плечи.

— Паша, не надо, слышь, не надо! Все чепуха, Паша,— бормотал он.— Ну скажем, я ударил. Темно, кому надо разбираться, а на меня поверят. Слышь? У меня и приводы были. Ей-богу, поверят, слышь? Пере-

стань, да перестань же!— он встряхивал его, тянул встать, а у Пашки только голова моталась из стороны в сторону.— Скажем, он тебя вот так схватил, а я сзади, нет, сбоку, слышь? Мне другой дороги все равно нет, даже мамка так говорит: «Ты, говорит, как черт злой, никого не любишь». Перестань, Паш, слышишь? Это я, я ударил. Тебе показалось, что ты, а ударил я, я!..

11

— Папульк, вот... познакомься, это Гера!— поспешно, как бы вместе с излишком захваченного на бегу воздуха, выталкивая из себя слова, проговорила Светка, а парень подчеркнуто энергично встряхнул протянутую руку.

— Михаил Константинович,— представился Шапкин.

Сказать еще чего-нибудь не успел, Светка подхватила его под руку:

— А мы тебя специально здесь встречаем, ничего? Гера вот за мной зашел после работы, и мы решили, то есть я вчера не решилась, у меня одной не вышло, и сегодня мы решили...

— Погоди-погоди,— попросил Шапкин, чуть поворачиваясь, всматриваясь в ее лицо.

Да, та же легкая задышка счастья была в этих полукрытых губах, в темном румянце, заметном даже в неверном свете покачивающегося фонаря. «Вот, значит, как?»— смутно пронеслось в его сознании. Он перевел взгляд на парня, лица было не разглядеть, а в общем лицо как лицо, темные усики. И рядом на долю секунды всплыло, словно снова выхваченное молнией, вчерашнее круглое, блудливое лицо Кольки Бочкова,— всплыло и с облегчением вновь отпало в темноту. «Вот, значит, что? А Ленка-то...»

— Погоди,— сказал он.— Ты у мамы была?

— Нет. Мы домой не заходили, а что?— мгновенная тревога еще шире распахнула Светкины глаза, не заглушив, однако, того сияющего, задышливого, чем живо было сейчас ее лицо.

— Мама не дома, она в больнице,— сказал Шапкин.

— Ой, а что, что с ней? Почему? Она ж на работу ушла?

— Ей на работе и стало плохо, вызвали «скорую».
— С сердцем?— Светка больно сжала его локоть.
— Да нет... Ничего серьезного. Обещали завтра до-
мой отпустить.

— Господи, как же так?— испуганно и вместе как бы с досадой пробормотала Светка.— Как же это я так? Я ж ничего не знала. Я завтра прямо утречком...

Мост перешли в молчании, он был слишком узок, чтобы идти троим в ряд, но, как только поднялись по круглому песчаному откосу в бор, парень одним шагом догнал их и, чуть приобняв, потеснил Светку, вклинился между нею и отцом.

— Михаил Константинович! Нехорошо, что так вышло... Ну, в смысле Елены Григорьевны, но все равно, я думаю, надо сказать... То есть мы со Светой...— на мгновение смешался он.— То есть, Михаил Константинович, я Свету очень люблю, и мы вот решили с ней пожениться.

— Так вдруг взяли и решили?— спросил Шапкин.

— Да нет, папульк,— Светка снова мгновенно оказалась между ним и парнем, крепко подхватив их под руки, как бы стягивая к себе,— и вовсе не вдруг. Мы очень давно знакомы, и вообще... Мы еще в школе вместе учились, правда, Гера? Он только на два класса старше был и в волейбол играл тогда лучше всех...

Она стала торопливо, сбивчиво пересказывать какие-то давние истории, казавшиеся ей чрезвычайно важными, Шапкин почти и не слушал, пытаясь как-то унять или хотя бы понять свою досаду, тревогу. Ведь все хорошо? Хотя бы с этой-то все хорошо?

Слитный гул музыки и множества голосов глухо доходил сюда от танцплощадки и каруселей; Светка все как бы пыталась забежать вперед, дергала руку, и Шапкину казалось, что эти двое волокут его туда, к свету, в тугое коловращение горячих молодых тел, а там будут мучить вопросами, на которые он не знает ответа. А главное вот что — радости не было. Умом понимал, что дочь счастлива, но сердцем... Хорошо еще, что Светка пока все говорила и говорила.

Потом луна зашла за облака, и сразу стало темней, укронней, музыка чуть отодвинулась.

— Не делаются, ребятки, такие вещи с кондачка,— сказал наконец Шапкин,— тем более мать в больнице, и вообще...

— Мы понимаем, конечно,— поспешно подхватил Герка, но и в самой поспешности его чувствовалось за-таенное упрямство, неуступчивость. Он чуть забежал вперед и полуобернулся к Шапкину, как бы готовясь в случае чего и совсем преградить путь.— Это конечно. А вообще вы же не против?— И еще поспешнее:— Да? То есть я хочу сказать, что, если и против, мы все равно... То есть не в том смысле, не все равно, а мы все равно поженимся. Правда, Свет?

— И вообще это ж не сейчас, папульк,— торопливо завершила та.— Мы только вчера заявление подали, нам еще целый месяц ждать.

— Да что вы наскочили: против — не против,— досадливо сказал Михаил.— Я тебя и не видал толком, может, ты весь конопатый.

— Что ты, он очень симпатичный, вот увидишь!

— А ты почему это увольняться вздумала?— вдруг вспомнил Шапкин.

— Я просто...

— А вы против?— опять встрял Герка.— Это я по-советовал.

— Я, может, и не против, да не люблю, кто, не подумав, с места на место скачет. Тем более с хорошего.

— А мы подумав. Тут у нее, конечно, всякий дефицит и все такое... Да что ж это за жизнь будет: она все вечера на работе — ни поехать куда, ни в кино даже? А когда я во вторую, так ей опять к одиннадцати. Как-то ни туда ни сюда. Какое удовольствие от такой жизни?

— А вам, значит, от жизни удовольствие подавай?

— Конечно! Я ее в наш цех устрою, будем в одну смену, все время вместе, разве плохо?

Шапкин ничего не ответил. Они как раз вышли на свою улицу. Дом весь стоял темный, пустой, только над крыльцом горела маленькая лампочка.

— Пашка, что ли, сидит?— вглядываясь сквозь кусты, спросил Шапкин.— Опять что-то у него стряслось, а?

— Да вроде...

— Я, я вас тут дожидаюсь,— сердито отозвалась с крыльца Мария Анисимовна.— Второй раз прихожу — никого. Или вы мать в больницу, а сами — в кино? Ба!— сказала она, вглядываясь.— Да это и не Пашка никак?

— Это, бабуль, Гера, мы с ним...

— Погоди,— строго остановила бабка.— Иди с ним, посиди там. Мне с отцом поговорить надо.

— Идите, правда,— сказал Шапкин, открывая дверь, а сам послушно опустился рядом с тещей на верхнюю ступеньку, спросил:— Пашка так, значит, и не прибежал? Вот паршивец, велено ведь было безвылазно...

— То-то он и слушает, что тобой велено!— фыркнула старуха.— Об нем вот и пришла, да об Ленке узнать. Как она там? А то мне Анька-то Лихачева сказала уже часов в восемь. Пойду, думаю, а там уже и нет никого.

Не хотелось, ох, ни с кем не хотелось ни ругаться, ни спорить, да как-то само с языка слетело:

— Я думал, вы заранее знали,— но тут же Шапкин и заглазить поспешил, перевести на другое:— А вообще-то у нее все вроде в порядке. Аркадий Соломонович сказал, завтра дома будет.

— Те-те-те... А что это ты вроде как и недоволен еще?— старуха даже наклонилась, чтоб заглянуть ему в лицо.— Думала, поумнел мой зять за эти годы, а он опять в ту же дуду: людям дай бог чудо, а нам чадо? А вот так тебя спросить: ну зачем вам дети еще? Что вы — этих, что ль, до ума довели? Ленка-то умней тебя, выходит. Она мне и не говорила, что беременна, ты на меня-то волком не гляди, зятек! А если не выкидыш, если сама что сделала, то хоть и не мой совет был, а прямо скажу: поумнела наконец моя дура. Ей-богу, вдвойне поумнела!

— За тем и шли, чтоб это сказать?— угрюмо спросил Шапкин.

— А ты не ершись, ишь! Я сама ершистая. Только не такое у нас с тобой время теперь, чтоб ссориться. Я к вам по доброте шла, а что ворчу, так это характер у меня такой, и ты терпи. Тихон Захарыч и тот терпит, а не тебе чета — персональный пенсионер.— Мария Анисимовна шумно перевела дух и вдруг улыбнулась.— Давай-ка в самом деле по-хорошему. С Пашкой-то что, а?

— А,— Михаил махнул рукой,— спутался с каким-то Попцовым, спекулировали на пару, да и попались, дурачье! Из-за Ленки не дошел сегодня до этого обалдея, до Попцова.

— Погоди! В школе-то был, в милиции? Что там?

— Хорошего мало. С ними еще один был, начальства сынок, Вяткина, так тот поперед меня всюду бегал.

Замнут, думаю. Мне ведь что обидно? Что вырос он этаким...

— Погоди за обиды свои!— перебила старуха.— На кого обижаться, раз мальчонка сиротой рос, при бабах одних? На себя и обижайся. А вот точно ль замнут? Может, сходить куда надо? У Тихон Захарыча в милиции знакомство, сколько раз там про войну выступал... А?

— Нет, не нужно,— сказал Шапкин и поднялся.— Может, я и плохой отец, да все ж с сыном сам разберусь. Чаю хотите?— и, не дожидаясь ответа, крикнул в дверь:— Светка, чайник поставь!

Теща тоже поднялась.

— Люди к нему с добром, а он... Ну и черт с тобой!— и пошла к калитке.

— Тихон Захарычу привет,— сказал он вдогонку.

Она даже не обернулась.

Стукнула калитка, Шапкин выключил свет на крыльце и стоял, настороженно вглядываясь в плотную, беззвездную тьму, подступившую к дому, вслушиваясь в слабые, тягучие шорохи ближнего леса. «Где же он в самом деле, Пашка этот?— думал он.— Завтра с утра опять им займусь, даже сегодня. Так и скажу: «Знаешь что? Мы не чужие...»

В доме было тихо, и по всей улице, по всему городу стояла тишина. Даже соседский телевизор молчал. Лишь слабый ветерок шевелил листву на кустах, потягивал прохладой.

Шапкин вздохнул. «Один ты, не один,— думал он,— так жил, не так — это все теперь значения не имеет. Все равно никуда не спрячешься, не отсидишься, не скажешь, мол, не умею... Так что давай: не разберешься ты — никто с ними не разберется. Твоя жизнь!» Думал именно потому, что не было в душе напора, уверенности не было. То ли он как-то внезапно отвык от собственной жизни, то ли она вдруг изменилась, а только надо было все время как бы подталкивать себя к ней, приучать.

Легкие шаги прозвучали по веранде, дверь распахнулась.

— Ты чего это здесь?— шепотом почему-то спросила Светка.— В темноте-то? Чай на столе уже.

— Думаю вот,— сказал Шапкин.

Она обняла его, прижалась к плечу.

— Папульк, вот ей-богу, все будет отлично, ей-богу! И с мамой, и со всеми, ты мне веришь?

Волосы ее пахли сухой ромашкой и еще чем-то легким, чистым, почти как Ленкины, пока та не стала подкрашиваться. Шапкин мимовольно погладил ее по голове, слегка подтолкнул:

— Ну, пойдём!

Сели пить чай. Молодые выжидающе молчали. За большим столом они как бы нечаянно оказались совсем рядышком, и по тому смущению и нетерпеливой радости, что волнами пробегала по их лицам, было видно, когда они касались друг друга локтями или коленями.

Михаил сидел напротив, обеими руками держа перед лицом свою большую чашку, следя сквозь тонкий парок за этой игрой молодой крови.

— Значит, так,— сказал он, вздохнув.— Решили вы пожениться... А где жить будете? Решено у вас?

— Конечно,— Герка оживился, явно радуясь, что может выказать себя вполне взрослым и предусмотрительным,— я даже с мамой уже говорил. Пока проживем у нас, а года через три, может, что и дадут. Я все-таки пятого разряда живописец, а если еще и Светка будет в нашем цехе...

— Дадут! Нынче все вы только и ждете, когда вам дадут. Ну, хорошо! А почему ж не здесь? Места мало? Или не хотите вместе?

Те промолчали, переглянувшись.

— Ну, может, оно и правильно,— сказал Шапкин.— Самому с тещей не нравилось. А вот... Машина у меня все равно почти без дела. Хотите, продадим и дом вам купим свой? Отдельный?

— Нет, что вы!— поспешно бормотнул Герка.— Зачем же? Нам есть где жить, и вообще дом — это, значит, огород, сад, всяческая обуза, а мы...

— Так и подмога, не одна ж обуза?

— Ну... В квартире все-таки легче, свободней.

— Вам жить, вам и решать. А по-моему, человеку вес нужен. А то ведь что? Дома не надо, в казенной квартире легче, ее даром дают. Без детей легче, чем с детьми, так?

— Почему ж без детей?— перебил его Герка.— Дети будут, конечно. Почему же?..

Шапкин скосил глаз на дочку. Та покраснела и, видно, турнула под столом своего жениха. Он поспешно к ней повернулся.

— Ну, чего ты, Свет, я ж по правде. Разве нет? Я уж и с мамой говорил...

— Так,— чувствуя, что тоже почему-то краснеет, сказал Шапкин.— Ну и что же твоя мама?

— Мама что? Давайте, говорит, вынынчу.

— Мама... А вы, значит, как птицы перелетные, легкие и беззаботные? Угу?— он покивал головой и поставил на стол допитую чашку.— Дело, конечно, ваше, а скажу я вам так...

Внезапный порыв ветра с треском распахнул окно, и в комнату с шорохом и влагой влетела длинная струя тюлевой гардины, затрепетала над столом почти горизонтально, отбрасывая серую тень на лица молодых.

— О, господи!

Светка метнулась к окну, Герка за ней, и, уже поймав, держа в руках створки, он выдохнул почти с восторгом:

— Ух и дождь сейчас врежет! Ух и дождь! А к вам идет кто-то.

— Кто?— вскочил Михаил.— Пашка?

— Нет, какой-то пожилой, в шляпе.

Светка кинулась открывать и через минуту пропустила в залу незнакомого парня лет двадцати пяти, а то и больше, в джинсовом синем костюме, при галстуке.

— Я к вам по делу,— строго сказал он.

— Присаживайтесь,— сказал Шапкин, а сердце у самого торопливо забилось, чуя недобрую весть.

Гость сел и стал протирать очки, заляпанные первыми каплями дождя.

— Дело такое,— водрузив их снова на нос, сказал он,— сегодня в драке у танцплощадки моего младшего брата ранили. Отверткой.

— Ой,— вставила Светка,— там, говорят, жуткая драка была...

Гость и глазом не повел в ее сторону, говорил медленно, чертя пальцем по скатерти и пристально глядя на этот палец.

— Брат, собственно, и просил к вам зайти, чтоб вы его навестили завтра.

— Ко мне?— удивился Шапкин.

— К вам. Он у вас учеником был, его Славкой зовут.

— Славка Моторин? Его ранили?— торопливо спросил Михаил.— Господи, вот не... Опасно?

— По счастью, удар получился скользящий, ранение только тканевое, ничего опасного, и при желании можно сказать — просто большая царапина, но...

— Слава богу!— вздохнул Шапкин и отер со лба холодный пот.— Я обязательно найду, мне вот... Я же не знаю, где он живет. Он ведь дома?

— Дома. Мы у рынка живем, налево второй дом, квартира четыре, только вот,— тут наконец гость поднял глаза и пристально глянул на Шапкина,— не знаю, стоит ли вам идти.

— В каком смысле?

— В самом прямом. Я сейчас шел из милиции и все думал: зайти или нет? Все-таки решил зайти, хотя брат, когда просил, не знал одного обстоятельства. Эти двое, ранившие его,— они как раз при мне и явились в милицию. Сами явились, кстати. Один, очень прыщавый, говорит, что ударил отверткой, а второй подтверждает, но все дело в том, что, когда случилась драка, было еще светло, и Славка отлично помнит, что его ударил не прыщавый. Того он уже держал, заломив руку. А второй. Вот я и решил зайти, взглянуть...

— Я не понимаю, при чем...— перебил Шапкин.

— Вот я и решил зайти,— с нажимом повторил гость и снова поднял на Шапкина пристальный, изучающий взгляд,— потому что этот второй — это, извините, ваш сын Павел.

Шапкин поднял было руку и уронил ее на коленку.

— Пашка? Славку? Вы шутите?— жалобно спросил он.

— Да вы что! Папа, он врет! Это вранье!— крикнула Светка.

— К сожалению, нет.— Гость поднялся и, не прощаясь, прошел к двери.— Извините.

— Погодите,— рванулся Шапкин следом,— а Пашка-то, Пашка-то где?

— Был в милиции, но думаю, ночью держать их не будут, отпустят.

— Папа, этого не может быть, он врет, я с тобой!— Светка выскочила в прихожую и все пыталась сдернуть с вешалки свой плащ.

— Да уйми ты ее,— сердито крикнул Михаил Герке,— не пускай никуда! Я сейчас!— и выскочил на улицу.

Монотонный шелест дождя, гул падающей и текущей воды — а больше и звуков никаких не было во всем спящем городе. Даже стук собственных шагов терялся в бесконечном этом бормотанье и всхлипах.

Шапкин почти бежал и уже на первом углу стал задыхаться, плащ показался тяжел, как шуба. Зонтик он забыл, вода стекала по лицу, по лысине, по жидким косицам волос, спина взмокла. В темноте под ногами асфальтовые дорожки то и дело терялись, ноги разъезжались в скользкой, как жидкое мыло, грязи обочин.

На углу Милицейского переулка, круто падающего к Борховке, он таки шлепнулся. Поднявшись, стал очищать пучком травы брюки и плащ, но тут же секундная эта задержка показалась ему ужасной, обдала жаром, он бросил траву и ринулся вниз, балансируя руками, чтобы удержаться на взмыленной тропке.

Комната дежурного ударила по глазам всей мощью своих ламп, замызганностью пола, крашенных до половины стен...

Дежурный сидел за барьером по всей строгости формы, в фуражке — очень молоденький, пухлощекий, с легкомысленным блондинистым чубчиком из-под околышка. Он ничуть не удивился ни столь позднему посетителю, ни его виду.

— Раз задержали, папаша, значит, за дело, — рассудительно сказал он. — До утра все равно не выпустим, незачем вам было в такой дождь и беспокоиться. Говоришь, подрались? Растите хулиганье, а нам работа! Утром, папаша, все равно утром. Придет Максимченко, ответит в нарсуд, там суточек по десять припаяют...

— Тошне-ехонько-о-о!

Шапкин вздрогнул и мимовольно отступил на шаг. Как ни ярко была залита светом дежурка, он, вбежав, не заметил никого, кроме сержанта, а там, за углом барьера, был еще мужичонка. Расхристанный, исцарапанный, грязный, держась обеими руками за скамью, он раскачивался и не кричал, а выл, как волк, подняв невидящие глаза к лампе.

— Чего безобразишь, Гаврилов? — строго спросил сержант.

А тот, еще выше задрав истрепанную, полуседую бороденку:

— Паску-удно мне! Тошне-ехонько-о!

— Цыть, Гаврилов!— вздувая на шее жилы и заливаясь от напряжения краской, заорал сержант, грохнув кулаком по барьеру.

Мужичок вздрогнул, посмотрел на него и сразу как-то весь сник, сжался.

— Во! Видали, гражданин папаша, какие у нас фрухты? Все водка! И твой небось... Да и что ж, как несовершеннолетний? Всех утром, всех только утречком, по солнышку...

За все свои сорок с хвостиком Шапкин не имел никаких дел в милиции, кроме прописки. Впрочем, нет. До армии было что-то. Кажется, даже ночевал однажды на милицейских нарах, но все забылось, а может, тогда и воспринялось по-другому. Теперь же этот резкий, не прикрытый ничем электрический свет, этот волчий вой, встрепанная бороденка Гаврилова, эти вздувшиеся до синевы жилы на цыплячье-молодой сержантской шее — все это посреди спящего, оглушенного дождем города предстало ему сплошным ужасом, как бы преддверием ада, пределом человеческого падения.

«И Пашка, Пашка тут же, как этот... Пашка, господи!»— рассеянно и бессвязно думал он, стремительно шагая куда-то прочь по раскисшим от дождя улицам. Только у бетонного моста, несколько замедлив шаг, сообразил наконец-то, что идет в больницу, чтобы сказать Лене, что... Впрочем, неважно. Это он вспомнит потом, когда увидит ее. Она мать, она что-нибудь объяснит, подскажет. Но кто ж его пустит? Ночью, грязного? Да и что он в самом-то деле скажет?

Он повернул обратно, шаги сами собой все замедлялись: поредевший и ставший холодным дождь все лил и лил и все стекал по волосам за шиворот.

Под фонарем на углу Гагаринской стоял парень с зонтиком.

— Пойдемте, Михаил Константинович, Паша уже дома, его отпустили.

Шапкин с минуту всматривался в это лицо с темными усиками и шевелил губами, словно никак не мог вспомнить что-то нужное.

— А,— сказал он наконец,— шел бы ты домой.

— У меня мама в ночную, никто волноваться не будет, а Света очень переживает, и вообще...

Пашка сидел в зале, за столом, похудевший, грязный, и, жадно отдуваясь, пил чай, ел булку с маслом

и колбасой. Он поднялся навстречу отцу, виновато опустив руки, и тот, ни слова ни говоря, отвесил ему оплеуху. Голова у Пашки мотнулась, несколько секунд он смотрел, неподвижно выпучив глаза, и вдруг неловко, жалко дернул горлом, сглотнув полупрожеванный кусок.

Шапкин опустил на стул и обхватил голову руками. Вокруг суетились, о чем-то все говорили, что-то все хлопотали Светка и ее парень...

Ему приснилось, что плачет ребенок. Сил не было проснуться. Вся голова была охвачена венцом давящей, горячей боли, вокруг покачивалась и плыла серая, тянущаяся, как сырая резина, бесконечная мгла, и единственное, что прорывалось сквозь нее, — это скрип не скрип, а, похоже, и вправду плакал ребенок. Бывает, знаете, вконец уже искричится кроха, сорвет голос, и только натужная икота да хрип сотрясают его тельце.

Пересилив себя, Шапкин сел.

Сумрачный полурассвет стоял за окном. Крупные, медлительные капли шлепались где-то в воду. И еще был этот — скрип не скрип, плач не плач...

Впрочем, Шапкин тут же понял, откуда он. Окно было открыто, и ветер, поскрипывая, шевелил створки. К тому же было и холодно, знобко. С трудом одолевая болезненную тягость головы, он встал и закрыл окно. Звук не исчез однако, только отступил, повторившись где-то в глубине дома.

Шапкин вышел в залу. Глаза его привыкли к полумгле, и все же он не сразу разглядел и вспомнил, кто это спит тут, на диване, да еще головой к двери. Диван стоял как раз между окном и дверью в Светкину комнату. Обычно закрытая, сейчас эта дверь была настежь; Светка тоже спала головой к ней, и тонкая ее рука, свешиваясь из-за низкой полированной спинки кровати, сплеталась пальцами с Геркиной рукой. Так они спали: каждый в своей комнате, но держась за руки.

Шапкин на цыпочках прошел мимо, закрыл окно и снова прислушался. Тишина была глубокая, ровная, ничем теперь не нарушаемая. От нее стало еще тоскливей и еще невозможней показалось уснуть. И он все стоял, все слушал, пока снова не услышал какое-то подобие стоны или всхлипа.

Дверь в Пашкину комнату отворилась бесшумно. Тот в одних красных трусиках сидел на своем диване, весь сжавшись, подтянув к подбородку колени. Он не плакал, только крупная дрожь пробегала время от времени по его тощему, смутно белевшему в рассветной полумгле телу, вырывая этот горький, беспомощно-детский всхлип.

— Ты чего, чего?.. Успокойся!

Шапкин опустился рядом, обхватил одной рукой его вздрагивающие плечи, а другой стал гладить по голове, по рукам, прикрывавшим лицо. И Пашка припал к нему с той же жадной доверчивостью, с какою кидался в отцовы объятия только очень давно, совсем маленьким, и зарыдал по-настоящему, дергая худыми лопатками.

— Успокойся,— бормотал Шапкин,— ничего еще не известно. Рана легкая. Может, еще и судить не будут...— и сжимал сыновьи плечи все тесней, пытаясь унять их пляс.

Пашка отрицательно мотал головой, размазывая по отцовскому плечу слезы. Вдруг, весь напряженившись, он вырвался и со всхлипами, сквозь икоту, стал выталкивать из себя какие-то кусочки, спотыкающиеся обрывки фраз:

— Нет, не надо. Я подонок! Ты не знаешь, какой я подонок! Я думал, он хуже меня, злей, а сам предал. И трус, да! Так испугался. Его вывели, а бок весь как томатом залитый, я глянул, и на отвертке... А Серега: «Я ударил! Вали на меня!» И я... Я трус, понимаешь, я трус!

Шапкин схватил сына за плечи и с силой опрокинул на подушку. Потом, придерживая одной рукой, натянул одеяло.

— Перестань,— бормотал он.— Какой ты подонок? Ты...

— Ты не знаешь!

— Нет, знаю! Все! Ты просто еще мальчик — растерялся, запутался. Тут я виноват, сынок. Раньше мне надо было, раньше, да что же делать? Господи, что делать?

— Я скажу пойду!— рвался Пашка.

— Скажешь, еще ночь, погоди, надо спать. Я тебя люблю и всегда буду любить, и мать, и Светка тоже. Она замуж выходит, но это все равно...

Он бормотал и бормотал что-то, не очень связанное и понятное: сыновьи плечи вздрагивали реже, Пашка

никуда уже не рвался, а, спотыкаясь, сквозь икоту, рассказывал ему о Серее, какой у него отец, и как Возницын стоял с кем-то на балконе... Шапкин слышал все смутно, с пятого на десятое — виски у него ломило, то и дело омаривало сном, и он лишь бормотал время от времени, что это ничего, так бывает и надо успокоиться. Потом все как-то сошло на нет, исчезло, и вдруг он очнулся.

Сын спал рядом, уткнувшись лбом в отцово плечо. В сером полусвете лицо его казалось вымученным и спокойным. Боль в голове прошла, наступила ясность, и по ясности этой Шапкин понял, что больше ему не уснуть. Осторожно, чтобы не разбудить сына, поднялся. Пашка переменял позу, забормотал, но не проснулся, а Шапкин, накинув в прихожей на голое тело плащ, вышел в огород.

Было совсем уже утро. Мутно-серая, с островками пены стояла меж грядок вода. Обтрепанные, всклокоченные кусты спиреи вдоль забора тускло поблескивали серой изнанкой листвы. Дорожка не раскисла, держала ногу, хотя в каждой выемке и стояла лужица.

Он прошел вниз, к самой реке. Борховка вспучилась от множества ручьев и уже не бормотала, не пришепывала, а сердито шумела на перекате у старой плотины. Рваные тучи шли низко, быстро солнце вставало над ними расплывчатым белесым пятном.

Было очень тихо. Кроме воды шумел разве что налетавший порывами холодный ветер да далеко, по-утреннему сонно, чуть слышно гудел, полязгивал завод. Шапкиному слуху, обострившемуся от бессонницы, все время, однако, мерещилось что-то еще, какой-то еле уловимый, но легко проникающий в душу гул — похоже, тот самый гул огромного бора, что когда-то томил нетерпением и обещал счастье.

Гул этот странным образом делал ощутимым, как бы приоткрывал то, о чем мы обычно не думаем, ибо не видим, — огромность, бесконечность окружающего нас мира.

Шапкин смотрел на блеклое пятно встающего за тучами солнца и почти видел, как далеко-далеко в той стороне бежит, погукивая, поезд, как мотается в нем на верхней полке Ленка Бочков, у которого, как и всегда после отпуска, не хватило на самолет. Еще дальше в той же стороне — так далеко, что там был уже вечер и, наверное, шел дождь, — сидела у окна на тихой ку-

хоньке маленькая женщина, так любившая его, Шапкина, и так бездумно им ограбленная; а еще дальше мотало в океане бескорневого, беспутного и справедливого Васькá Горбоносого, которому, быть может, нет-нет да и вспоминался тоже он, Шапкин.

И еще — совсем рядом — спала на больничной койке Лена, почти уже и не другой человек, почти он сам, а вместе с тем совсем чужая, тайком отторгнувшая его плоть женщина. И где-то еще ближе спал или не спал незнакомый мальчишка Сергей Попцов, мечтавший быть злее всех, а потом вдруг ринувшийся спасти товарища, подставляя под его вину свои плечи. И еще одному мальчишке (потому что какой же он мужчина — этот Герка?) снилась будущая счастливая, легкая жизнь, и он смешно, через дверь, держал эту жизнь за руку.

За каждым из них стояла своя особая, почти непонятная, неведомая другим правда, а вместе с тем все они были одно, как деревья в бору, каждое из которых выросло по-своему, ни на кого не похоже, но только так, как позволяли и помогали другие деревья, в густом переплетении их корней и крон, в борьбе с ними и в братстве.

«Да, это так, — подумал Шапкин, хватая себя за плечи, чтобы унять дрожь, — это так, надо жить за всех, быть всеми...» Мысль эта, видно, пришлась еще велика его душе и сразу исчезла, хоть и не совсем бесследно, потому что в оставленную ею пустоту хлынул тот давний, жуткий семейный колотунчик — рыдающая Ленка, Светка-кроха, обнимающая его обсыпанными красной ручонками, орущая теща — и он вдруг почувствовал во всем этом странный привкус счастья.

Да, было в этом колотунчике счастье, и самое настоящее — такое же, как и то, когда они с Ленкой, обнявшись, разглядывали важного красногрудого снегиря, разгуливающего по оснеженным веточкам бузины. Память была мудрей и справедливей всякой логики, когда хоронила во тьме целые годы и оставляла сердцу те краткие минуты, в которые человек всем трепетом души и плоти любил своих ближних. Любил сильнее, чем всегда, сильнее, чем мог и умел, и потому бывал счастлив. Дай бог, чтоб минуты эти и до смерти не покидали его!

Все утро ветер рвал и разбрасывал тучи. Часам к одиннадцати лишь легкие белые хлопки нестройными толпами тянулись куда-то за Волгу, а небо меж ними снова было высоким, густо-голубым и холодным. Ночной дождь словно смыл с него пыль и вялость ранней жары. Клинья ряби бежали по мутно-серой Борховке. Двое мальчишек резкими толчками весел гнали вниз по течению лодку. Оба были в ярких болоньевых куртках, застегнутых до горла.

«Ишь, сообразили,— с завистью подумал Шапкин.— Я-то, как дурак, побежал в тенниске...»

Здесь, в сквере, над обрывом, было особенно знобко. Кожу на руках обсыпало острыми пупырышками. Ивы шумели тревожно, влажно. Надо было уходить поскорее в тепло, а как уйдешь, если здесь, в тридцати шагах, сидит перед следователем Пашка и говорит правду? Правду, которая еще бог весть как для него обернется. Хорошо, что говорит, хорошо, что сам пошел, а все-таки страшно.

К следователю Пашка засобирился, едва проснувшись, даже есть не стал. Сначала, однако, пошли к Моториным. Те жили в таких же двухэтажках, что и Попцов, но по другую сторону рынка. Дверь отворила пожилая женщина в линиялом ситцевом халатике.

— Вы к кому?

— Я Шапкин,— представился Михаил,— а это мой сын,— и, поймав испуганно-любопытный взгляд, которым женщина окинула Пашку, твердо добавил:— Да, тот самый.

— Я... мы...— женщина зачем-то схватилась за отвороты халата, словно хотела прикрыть горло.— Даже не знаю. Если вы думаете, что мы простим, то... ведь шутка ли, что могло быть?! Слава потерял столько крови и вообще. Конечно, Слава говорит, что вас очень уважает, но...

— Я понимаю,— сказал Шапкин и остался стоять.

— Ой, даже не знаю... Витя, Витя!— позвала она.— Витя, вот ты поговори,— и отступила в глубь коридорной тьмы.

Вместо нее на пороге возник вчерашний ночной гость. Строго, холодно оглядел обоих и молча отступил, показав рукой: проходите.

Славка лежал на высоких подушках, без рубахи, весь перепоясанный бинтами, и улыбался. Разговор вышел, однако, неловкий и недолгий. Пашка, как вошел, так и стоял у двери, напряженно вытянувшийся, бледный. Почти следом за ними вошел и Виктор, сел в углу, сверляще поглядывал то на брата своего, то на Пашку.

— А этот парень, за которого Славка заступился,— спросил он наконец из угла,— его-то вы, собственно, за что?

— Не знаю,— сказал Пашка.

— Миленькое дельце,— начал было Виктор, но Пашка, еще больше побледнев и вытянувшись, заговорил снова:

— Он... девчонке одной нравится, и мы...

— Вот чудики!— весело перебил Славка.— Раз уже нравится, так чего ж лезть, тут уже не попишешь!

— Мы думали унизить. Да. Он нас ненавидел, а мы хотели его унизить,— медленно подбирая слова, проговорил Пашка.

Виктор взглянул на него недоуменно:

— М-да,— протянул,— а вы, однако, подонки...

Пашка промолчал, лишь, судорожно дернув горлом, сглотнул слюну.

— Ну,— сказал Шапкин, поднимаясь.— Поправляйся, всего вам доброго.

— Вы не думайте,— досадливо краснея, торопливо приподнялся следом Славка,— ни в какой суд я заявлений писать не буду. Что я — офигел? Вы не переживайте!

— А разве что зависит от твоего заявления?— спросил Шапкин.— В милиции же все известно и вообще... Разве надо заявление?

— Я... Я не знаю,— смешался Славка.— Витька говорит, надо писать.

— Что ж, раз говорит... Дело твое,— Шапкин вдруг усмехнулся,— а ты лучше скажи, что так срочно зайти просил?

— Да ну, глупости все, дядь Миш!— Славка покраснел.

— А все-таки?

— Я это... вчера с работы шел и подумал, знаете, что мы как-то не так все спорили с вами... То есть, может, как-то для вас обидно, а? Ну, вроде вы и вправду куркуль, а я вас разоблачаю, ну и я это... хотел сказать.

— Так срочно?

— Да я...— снова быстро взглянув на Пашку, Славка покраснел сильнее, смешался, но твердо выговорил:— Дело в том... Крови много было, вся рубашка перемазана. Ну, я сначала испугался, думал — помру,— он усмехнулся.— Вот и... Смешно, конечно.

— За это спасибо,— сказал Шапкин.— Поправляйся. Ужасно глупо все это вышло.

Виктор во время этого разговора сидел молча, пристально разглядывая и потирая свои бледные тонкие пальцы. Только потом, провожая гостей, почти уже закрывая дверь, сказал:

— Вы не надейтесь, заявление он напишет.

— Хорошо,— покорно сказал Шапкин,— я не надеюсь. Лишь бы поправился скорей.

И теперь, на обрыве, вспоминая все это, фразу за фразой, он никак не мог объяснить себе, отчего так вдруг успокоился в душе? Что из всего этого может выйти хорошего и утешительного? Вот разве одно хорошо — что Пашка сейчас у следователя говорит правду. Почувствует себя парень человеком, а это всегда хорошо, чего бы ни стоило.

Окончательно продрогнув, Шапкин спустился с обрыва и вдоль реки, кратчайшими тропками пошел домой. Он чувствовал ужасный голод. Со вчерашнего завтрака ничего ведь не было во рту, кроме чая.

В доме было тихо, и все-таки, переобуываясь в прихожей, Шапкин ясно почувствовал, что он не один. Не дойдя до кухни, тихонько, медленно приоткрыл дверь в спальню.

Лена лежала на кровати, до горла укрывшись простыней, и широко раскрытыми, почти испуганными глазами, ничего не говоря, смотрела прямо на него.

— Ты дома?— спросил он почему-то шепотом.

— Меня Света привезла,— она вдруг жалобно сморщилась, и крупная слезинка выкатилась на щеку.— Господи, если б я знала, разве бы я...

— Ну-ну, не надо.— Он присел и осторожно, ребром ладони вытер ей щеку.

Она, всхлипнув, судорожно прижала его руку к лицу.

— Миша, ведь я... думалось: пожить, отдохнуть, ведь никогда же, ничего! А тут... пустой же дом, пустой. Светка уйдет, Пашку засудят, пустой дом, как и не жили мы, Миша!

— Ничего, Ленок, ничего. Пашка — он не пропащий, ты не думай, он выровняется. Я за него не боюсь. Да, может, еще и не засудят...

— Господи, господи... Ты-то хоть как? Устал? Приляг тут, поговорим.

Она подвинулась, и Шапкин, не раздеваясь, скинув нога об ногу тапки, прилег рядом, поверх простыни.

— Знаешь,— она взяла и осторожно покачала его руку,— знаешь, что я, дура старая, тут вот позавчера думала? Думала, что все уже, отвыкла от тебя, не люблю. А вчера лежу там вечером — больно мне, пусто. И вдруг стала вспоминать разное, как мы...— она снова всхлипнула.

— Ничего,— вздохнул он.— Любовь тоже не каждый день помнишь, это уж так.

— Вспоминала, вспоминала, и чувствую: слезы у меня так и катятся — до того мне жалко, что все прошло. А потом подумала... Слышишь?

Но Шапкин не слышал. Как только голова его коснулась подушки, так и стало все перед ним расплываться, подергиваться туманом. Бессонные ночи сказались — он уснул, точно провалился.

На югу

ПОВЕСТЬ



имой трактор расчищает в Юрятине всего одну дорогу: от Девичьего прогона к телятнику, а в противоположный волжский конец даже и не сворачивает — незачем. И так только к четырем калиткам тянутся от расчищенной дороги тропки, над четырьмя избами встают по утрам дымки, у четырех печей кормится и согревается весь поредевший местный народец. Все остальное засыпано снегом по уши, будто похоронено. Идешь по деревне — и разве что единственная собака обрадованно взбрехнет тебе вслед; а так — тихо, бело, пустынно.

И думается тогда, что совсем не зря по районным планам развития Юрятино попало в неперспективные населенные пункты, в те самые, что должны быть к восьмьдесят пятому году ликвидированы, а оставшееся в них население переведено на центральные усадьбы совхозов. Что там ни говори, а были, были основания у составителей этих планов. Важные основания, почти бесспорные. И все-таки...

То ли в людях планировщики чего-то недопоняли, то ли на карту не так взглянули, а все ж таки вышла у них неувязка. И долго еще, вопреки всем планам, простоит на земле приговоренная на снос деревня. Чтоб это предсказать, не надо быть мудрецом, даже расчетов никаких не надо — дождись только весны.

Едва пройдет Волгою первый катер, Юрятино оживает. Из Москвы, Ленинграда, из Калининна, из стан-

дартных сыновних двух- и трехкомнатных торопятся бабки домой, прогреть избы, сажать огороды, поджидать внучат. Внучата появляются в июне, а в июле, августе, глядишь, и дети приезжают на недельку-другую погостить, подышать родным воздухом. И дачники едут. Первым, в апреле еще, появляется доктор Герасим Самойлович — у него сад, клубника. Остальные — как бог на душу положит или когда начальство отпустит. Это уж у кого кто главней. Шумит тогда деревня, звенит до поздних сумерек ребячьими голосами, невнятно бормочет в потемках добрым десятком телевизоров, светит над Волгой длинной цепочкой уютных желтых огней... И так — до самой осени.

Все лето дважды в день подваливает к юрятинскому берегу катер.

Рано утром он идет из Порфирина. Валом валят с него горластые тетки с ведрами, старики с кузовками — грибники, ягодники. Плотной, торопливой толпой прокатываются они по улице до ближнего леса и раставляют в нем. Тогда только с опаской показываются во дворах юрятинские бабки, робко интересуются друг у дружки: «Прошла демонстрация-то? Ну, слава богу!» — и начинают неспешный свой, хлопотливый день.

Второй катер приходит в ранних сумерках и тоже полон народу — из Москвы едут, из Калинина. Этот встречают уже точно большой теплоход — ребяшня колготится, старухи стоят, смотрят с надеждой: к кому приехали?

Вот процокала каблучками по сходим Юлька, доктора Герасима Самойловича младшая; легко, не остановившись, не сбив дыхания, выскочила на обрывчик, чмокнула старика в щеку, схватила под руку и потащила к дому, о чем-то быстро лопоча, захлебываясь счастливым девчачьим хохотком. С остальными по городской привычке и не поздоровалась толком, только рукой взмахнула, но бабки заулыбались, ничуть не сердясь.

За нею не спеша поднялись два парня со спортивными сумками. Этих маныхинская Зинка встречает — к ним. Хотя и не похоже, чтобы родня, — за ручку с ней поздоровались, чин чинном. А последними сошло с катера целое семейство: невысокий мужичок с легкомысленными пшеничными усами, в клетчатой рубахе навыпуск, баба в штанах и с ними еще девчонка. Подняв-

шись на обрывчик, скинули рюкзаки, остановились перестать дух.

Девчонка сразу заинтересовалась чем-то на земле, каким-то жуком или травинкой, присела на корточки, а мужик, потирая грудь, вздыхал и озирался с рассеянной полуулыбкой.

— Леш, Ле-ша,— нараспев окликнула его жена.— Чего мы стоим, чего ждем?

— Погоди,— сказал он досадливо,— дай вздохнуть!— И еще раз огляделся кругом, словно ища что-то взглядом:— Ничего все-таки местечко, а? Тогда сад как раз доцветал... Тут ведь громадный сад, вон за теми избами, яблоневый. А воздух? Чувствуешь какой?

— Вечер уже, Леша.

— Ладно тебе! Сейчас все будет, все успеем...

Старухи переглядывались: к кому бы это?— но катер отвалил, и они разошлись, оставив приезжих на берегу.

Стояло начало августа, только что прошел дождь, и воздух в самом деле был чист, сладок. За деревней темнели леса, медленно густели сумерки, кое-где из труб тянулся дымок. Бабки юрятинские — старенькие, холода и сырости боятся и после дождика обычно подтапливают, а заодно и стряпню какую ни есть заводят.

А те, что не стряпались, сидели по лавочкам у калиток, смотрели, как челноком идет по деревне мужичонка с катера — от одной избы до другой.

На баб Дуниной лавочке народу было больше всего — четверо: сама бабка, дочь, зять и бабкина подруга Анна Никитична. Старухи беседовали, молодые молчали. Толят, зять, сидел, закинув ногу на ногу, барабанил пальцами по голенищу, курил. Мужичок дошел до этой лавочки, поздоровался, прикурил у Толята сигаретку и устало потер лоб.

— Вот,— сказал он,— как опростоволосился я, оказывается: думал, у вас избы пустые стоят, на месячишко запросто снять, а тут и переночевать негде.

— Летом людно,— согласился Толят и пошутил:— Зимой приезжайте.

Пришлый вздохнул.

— А ты вот, баб Нюта, все хвастаешься: полтора дома у тебя, то-се,— сказал Толят, непонятно кому

подмигивая. — Приютила бы человека — у них в городе летом хоть помирай, невпродых...

— Да куды мне, своих жду, — испуганно махнула рукой Анна Никитична.

— Ты-то ждешь, да оне не торопятся.

— Это как так — полтора дома? — спросил пришлый дачник и присел на лавочку.

2

Анна Никитична считала, что ей выпала счастливая старость. Иногда любила об этом поговорить, а чаще про себя думала — с удивлением, почти с оторопью какой-то: как все-таки быстро и внезапно поширела и забогатела вокруг нее жизнь. Шутка сказать, у Витьки, старшего, трехкомнатная квартира, у внучки пианино, телевизор цветной; у младшего, Лешки, хоть и одна комната, зато большая какая — двадцать четыре метра, хоть пляши в ней; и здесь, в деревне, у нее — полтора справных дома! Когда это все случилось, как сделалось? Нет, она помнила, конечно, что как получали, покупали, переезжали — не совсем ведь обеспамятовала, хоть и старая, — но уж очень все это казалось быстро по сравнению с остальной жизнью, которая шла тесно, голодно, суматошно...

Главное — тесно. В отцовской избе было их восьмеро погодков, она вторая. Полуведерный чугунок щей выхлебывали — оглянуться мать не успевала. Теперь то от всего этого народа никого не осталось. Давно уже никого, одна Анна Никитична. А было — тесно.

От тесноты этой, от жидких щей и отправили ее в двадцать седьмом в Москву нянкой. Там жизнь мытарилась все в той же тесноте, в почти непрерывной обиде. Нянкой была — понятно, по чужим углам прытыкалась, а замуж вышла — опять же угол снимали, за занавеской жили, боялись любиться, прислушивались, ждали, как захрапит хозяин. В свою отдельную комнату въехали уже детные, уже Витьке было месяца три, а то и поболее. Да и что была за комната? Разве с теперешними сравнить? Узкая, длинная, точно гроб, в деревянном доме у Сушевского вала.

Обуть, накормить, обстирать, сопли утереть... Жила как в заверти, ничего, кроме ближней заботы, не помнила, едва так и не померла, не опомнившись, не по-

чувствовав в затершемся, замаявшемся теле души. Спасибо, бог не дал да люди добрые не допустили.

Очнулась, вынырнула она из этой круговерти ранней весной шестьдесят четвертого — в больнице. Говорят, прямо с завода ее забрали — упала в цеху, у земледелки. Сама, понятно, не помнила, как упала. Было — словно долгий сон, черный такой, провальный, а потом немного развиднелось, стала себя ощущать — руки ныли, в грудях жгло; мотала головой, чтобы проснуться, и не могла. Вдруг приходил откуда-то покой, прохлада, она видела поскотину, всю седую, серую от холодной росы, солнце, встающее над Волгой, рыжую тяткину кобылку; кобыла тянула воду из колоды, поднимала голову, и с темных губ ее стекали розовые от солнца капли. Или еще — колодец с высоким журавлем и будто пить ей хочется, тянет она изо всей силы веревку, а тяжелое бревно не поддается, только бадейка раскачивается, капли шлепают в темноту, пахнет мокрым деревом; под левой лопаткой от усилия начинает ныть, но это совсем другое — это она уже идет босая по жесткой, бусой траве к мосткам дяди Якова, лодочника. На коромысле у нее два ведра: с творогом и сметаной. Бабы уже собираются, ждут переправы. Плечо от коромысла ломит, грудь жжет, и вместе с тем отчего-то легко ей, так отраднo и страшно немного. Солнце поднимается над Волгой, трепещет под закрытыми веками оранжевой сеточкой, и так ей делается совсем хорошо, что она, вздохнув, открывает глаза.

Прямо в окно светит солнце, остренько играет в нависшей сосульке, а у окна девушка в белой шапочке, запрокинув ампулу, тянет из нее шприцем золотистую жидкость.

— Мне бы перед смертью на Волгу, землей подышать, травой, навозом, — пожаловалась ей Анна Никитична.

— Зачем же перед смертью? Вы на поправку идете.

Девушка подошла и стала ей осторожно, холодными пальцами гладить руку у локтя.

И снова была прохлада, покой, юртинская поскотина с разбредшимися по ней овцами, с босоногой ребятней.

Потом, когда стала узнавать дежуривших возле нее сыновей, она и им твердила то же: надо перед смертью на родное место. Там подышать, там помереть. Все, чем жила, чем маялась, — Неличкина простуда, Витькины

нечиненные рубахи, Лешкины с Олей ссоры, Надины вечные недовольства — надо поскорей чем-то ее задобрить, забежать дорожку, занести им после работы молока, яичек, постоять за апельсинами,— все это исчезло так прочно, словно она и в самом деле померла, а потом воскресла для другой жизни.

Только и думала что о деревне, а ведь за всю жизнь так ни разу туда и не выбралась, позабыла всех начисто, да и ей, как еще в сорок шестом написали о смерти батьки, что задавило его на лесозаготовках,— так и молчок, ни полслова весточки. Об этом она вспоминала сначала с обидой, потом — наоборот, себя обвиноватила, подумалось вдруг: обиделись на нее, что она ни на похороны, ни хоть потом порыдать на могиле отцовской не явилась. А как ей ехать было, если у Лешки корь, если градусник, когда вынимала, пек пальцы? Пока подняла его, так кругом задолжала, что опять — куда ехать было? На что? Отпуск и тот дня не сидела, все по чужим домам — белье стирала, дачи убирать ездила, огороды копала. Так и цепляла жизнь одно за другое.

Кому об этом напишешь, как объяснишь? Вот поехать бы, так нашла бы кому рассказать все, с кем поплакаться. Краем ума она вроде понимала, что мечты это глупые, да так от них легко на душе делалось, что каждый раз, когда кто-нибудь приходил, она заговаривала о деревне. Не могла упустить.

Виктор на разговоры эти хмурился и разводил руками: куда она поедет, к кому? Ей не Юрятино нужно, а врач хороший, и Надя такого врача достанет, связи у нее есть, она уже кой-кому говорила и еще тому-то скажет. Найдут профессора. А Лешка сам плакал, дергал, стесняясь слез, кадыком, целовал ее в лоб и клялся, что все сделает, пусть только она поправится немного. Это не особо обнадеживало: Лешка фантазер и балаболка, не то что старший.

Но в апреле, как только выписали, Лешка перевез ее сюда.

До самого лета она была еще так слаба, что почти все время лежала. Вечерком приходила баб Дуня, подтапливала (Лешка ее упросил), чаевничали, а с утра Анна Никитична одевалась и так за этим занятием слабла, что опять ложилась, уже одетая, на час, на два, пока силы, подрастраченные в руках и ногах, потихоньку стекались куда-то в середку, копились... Наконец ре-

шалась встать, перейти к столу, поесть картошки с топленным маслом и соленых грибков. После еды долго сидела неподвижно — опять копила лениво сочившуюся, почти не гревшую руки и ноги кровь, чтобы открыть дверь в сенцы и по четырем доскам через недостроенную терраску выйти на крыльцо, сесть под навесом, слушать журчание ручейка, вдыхать влажные, жирные, пряные запахи только что выпроставшейся из-под снега земли.

В Первوماй шла через терраску — поплыли перед глазами черные мушки, закрутились, крутанули за собой окно и — страшная боль в боку, холод, черный провал...

Когда чуток выплыла из провала, поняла, что это — смерть. В могиле пахло сырой землей, древесной стружкой; шершавые доски гроба смутно серели над самым лицом. Она только удивилась, что смерть — это так больно, что ноги, бока, висок болят все сильнее и невыносимей, и от жизни смерть, оказывается, отличается только тем, что нельзя пошевелиться или еще что-нибудь сделать со своей болью.

Можно было, правда, — и она знала это — расслабиться, отпустить свою боль, этот жалкий остаточек жизни, с богом и тем умереть дальше, глубже, и тамто — в самой глубине, в середке смерти — все будет хорошо и спокойно. Но даже боли своей невыносимой было так жалко, что каждый раз, чувствуя, как наплывает могильный морок, она все сильнее, все яростней вцеплялась в нее, чтобы не отпустить в беспамятстве. И, выплывая из стылой тьмы, чувствовала, что к ней — к крупнице этой — стекается по жилам какая-никакая, а еще оставшаяся в ней жизнь. Собравшись с этой жизнью и с драгоценной своей болью, она застонала, перевернулась через бок и, снова выйдя из могильного морока, поняла, что жива, что просто свалилась в подпол недостроенной терраски и больно побилась о перемыты. Тут она заплакала.

Виктор приехал на праздники с вечерним катером и нашел ее стоящей перед кроватью на коленях, огибающей, пока соберется достаточно сил, чтобы забраться на постель. Он уложил ее, сбегал за фельдшерницей, делал какие-то примочки, страшными словами ругал идиотика Лешку, который все это затеял с изгой, чтоб довести мать до могилы. Она улыбалась, глядя на него.

Несмотря на боль и озноб, ей, в сущности, было очень хорошо и тепло возле сердца, и думалось, что вот она сама не захотела умирать, уползла из могилы, что теперь помрет не скоро, и это — слава богу, потому что за окном весна, земля пахнет оттаявшим навозом, а там будет лето, можно ходить босиком, ощущая ногами пыльную, прогретую и обвядшую траву или мягкий песочек родных дорог.

В самом деле, с того дня она пошла на поправку, даже огородик какой-никакой посадила — редисочки немного, лучку.

Тогда еще дачной моды не было, все было тихо вокруг, дремотно, только сны были еще шумные, заводские — проплывал над ней, позванивая, мостовой кран, гудела вагранка, подкрановые орали, взмахивая рукавицами, пахло горячей дымной землей, известкой, графитом. А наутро она просыпалась, немного стыдясь предстоящего почти целодневного безделья и радуясь своей свободе и тишине.

Терраску в этот год Лешка так и не достроил. У него с Ольгой совсем пошли нелады, не до того было. И как раз вышло решение о сносе их деревянного дома. Лешка бегал со смотровыми ордерами, Надя (они-то жили уже отдельно) звонила чьим-то женам, искала ходы, помогала, но все эти заботы, радости и беды доходили до Анны Никитичны сильно приглушенными. Когда старухи сходились на какой-нибудь лавочке, она если и говорила о сыновьях, то о чем-нибудь давнем: о болезнях, продранных штанах. И еще вдруг снова стал вспоминаться Иван — рассказывала о нем.

От рассказов этих в груди как бы светлело, легчало, как бы истончалась в ней какая-то перегородка.

Она даже наказала сыновьям увеличить фотографию отца, повесила ее на заборке и часто, придя в избу в густых сумерках и не зажигая света, подходила, смотрела пристально, словно внушить хотела: вот, видишь, мол, как вышло, и я у тебя никого не хуже, и дети в люди вышли, над другими начальствуют, так что, выходит, мы не зря с тобой жили. А наголо стриженный немолодой солдат глядел прямо перед собой строго и непроницаемо.

Потом, в следующие годы, как-то меньше стало старушечьих бесед на лавочках, только с баб Дуней иногда и сиживали, да у той свои революции были: Нинка

с Толятом сошлась, рожать думала... Не до разговоров было. И у Анны Никитичны забот прибавилось.

Половину пятистенка, в которой она жила, Лешка купил за триста рублей. И это деньги, но все же не скажешь, что дорого. А как стали ездить дачники, избы подорожали. Виктору через три года пришлось уже за плохонькую избенку напротив братниной выложить пятьсот да триста на ремонт ухлопать.

Так и оказалось у Анны Никитичны полтора дома, два огорода — все обихода требовало, а тут еще стала невестка ездить, внучки. Жизнь снова закружилась почти по-прежнему, но здоровьишка, слава богу, хватало, вот только в последнее лето Анна Никитична снова сдала, двигаться стала тихонько и с этой тихостью вновь пришла к ней настоящая старушечья страсть к разговорам.

То есть посудачить она всегда была не дура. У них на формовке одни бабы были, а бабы, понятное дело, чуть где в работе простой, так языки и пошли гулять! В душевой и то из кабинки в кабинку: ля-ля-ля. Да то какие разговоры? Кто с кем да что почем. Души в них не прояснишь, жизни человеческой не удивишься. Или в очередях тоже. Народ в Москве уторопленный, злой, насмешливый. Вот и казалось Анне Никитичне, что разговор бабий — одно баловство, разгулка времени; почти всю жизнь казалось, а тут вдруг открылось: нет, надоба это душевная. Только не о чужих делах надо — о себе. Потому что без разговора жизнь на черепушки мелкие рассыпается. Хочется под старость человеку понять: для чего родился, так ли землю топтал да на небо взглядывал; а сама с собой много не надумаешь, с памятью-то своей дырявой. Вот на то и разговор дан, чтоб, значит, помогали друг дружке.

Правда, говорить Анне Никитичне чаще всего приходится с баб Дуней, а тут не очень-то разойдешься. Вроде бы и подружка, а не знаешь, как с ней и что. До того на язык проста и решительна, что начнешь, к примеру, про Ивана рассказывать...

Про Ивана в последнее лето особо вспоминать полюбилось. Как началось у них все, как сладилось. Потом-то — что? Потом жили, как все, а началось на особку.

Жил он там же, на Патриарших, где вторые ее хозяева, только в соседнем дворе, снимал у кого-то угол. Зимой ходил в длинной шинели, а летом в пиджаке

и плоской кепочке. Чуб из-под козырька на сторону. Трезвый — тихий, пробежал бочком, а гулял гулко, ругал тогда всех недорезанными буржуями. В общем, мужик как мужик, не очень-то и видный, а семнадцатилетней Нюте глянулся сразу, хоть и не сказать чем.

С работы он приходил раньше ее хозяев; она норовила сесть с Яшенькой на ближнюю от арки скамейку, чтоб ему в глаза кинуться, но Иван трезвый вообще ни на кого не смотрел, а выпивший подсаживался к другим нянькам, постарше и помясистей. Она не обижалась. Если только начинал он с ними играть, тискать, то хотала как дурочка, аж в грудях заходилось.

Как-то в выходной — хозяева на Патриарших выходной ей давали каждую неделю, пожалуйста, не то что первые, — так вот в выходной она с другими няньками, что у них во дворе жили, поехала в Сокольники на гулянье, и там вдруг — Иван! Подошел с кульком семечек, выпивши был чуть-чуть, самую малость, стал всех семечками одаривать, а ее на качели позвал. Раскатывал страшно: сердце ухало и голова кружилась; когда сошли, подруг уже нигде не было, ноги подкашивались, она ухватилась за Иванов рукав, а он повел ее не к главным освещенным аллеям, а все дальше в темноту, в таинственный шорох кустов. Она шла испуганно, молча, неведомо чего ожидая, будто кто-то толкал ее в спину: «Иди, дура, судьба ведь». Там, в Сокольниках, под шорох палого листа и дальнюю музыку все у них с Иваном и вышло.

Станешь это рассказывать баб Дуне, и так захорошеет в груди, так поширеет, потеплеет, словно все это не былем поросло, а при тебе еще, в сердце, не отлетело. Рассказываешь — даже глаза прикроешь, рассказывая.

Так нет же, не вздохнет баб Дуня, не удивится: «Надо же!» Даже не спросит — дескать, потом как же? А пожует сморщенными губами, подождет их потоньше: «Да уж тут, девка, что говорить? Дело жизненное — была бы охота, найдет доброхота!»

Анна Никитична даже руки уронит на коленки от такого слова. «Да ты с ума, чо ль? — спросит. — Обо мне так-то? Мы ж сколько годов потом прожили, сынов ростили... Сердце-то, оно ведь все наперед чуяло — эт точно тебе говорю!»

Баб Дуня не слушает, посмеивается: «Брось, брось... у всех душа вещая, как потом на хорошее повернет. Ничо ты тогда не чуяла. Уж я знаю!»

Анна Никитична обиженно замолчит, насупит свои лохматые брови, и вдруг в самой ворохнется что-то, вспомнится совсем неладное, ненужное, давно позабытое — та боль, та остуда от холодной земли — ведь сентябрь уже был на излете, ольхи в парке осыпались, — те слезы, подкатившие к горлу и застрявшие там от стыда комочком, шершавость и тепло пиджака, пахнувшего табаком и керосином. «Что ж ты, дурочка! Хоть бы сказала, что девка. Что ж ты так-то?» Слова вроде утешные, ласковые, да ведь и отодвигающие, отодвинувшие уже, оттолкнувшие, с жалостью, как макроносого кутенка, но оттолкнувшие.

Вспомнится — и не знаешь уже сама: чуяло ли сердце чего? Или потом придумалось?

Домой шли уже ночью, кругом пусто, тихо, ни души. И мучительно хотелось сжаться, исчезнуть, спрятать свою помятую, изгвазданную о траву юбку. Иван вдруг схватил за плечи, притянул: «Да не дрожи ты. Не бойсь! Не обижу. Не подкулачник какой-нибудь, в самом деле».

А голос у него был на этом полуобещании невеселый. Сказал, будто вытянули из него. Она не ответила, молчала всю дорогу, и хотелось ей по-настоящему только одного: поскорее дойти, шмыгнуть в свою комнату — под одеяло, свернуться в комочек, угреться — промерзла вся, ноги болели; а завтра хозяева рано поднимутся, и она уже на ногах должна быть, картошку должна пожарить. Да и казалось: нырнешь под одеяло и — все! Никто ничего не увидит, не дознается.

Такая вот грусть всколыхнется, даже обида вроде, а баб Дуня все посмеивается рядышком, рукой машет:

— Брось, брось! Не помню я тебя, чо ль? Чать, и на гулянье вместе ходили. Я уж на выданье друго лето была, а ты совсем соплюшка, но такая совкая — куды там! Как кто подщипнет чуток, так и хохочешь! Да ты помнишь ли хоть, где гулянье-то было?

— Да как же! Где конюшня, ветла та и посейчас стоит.

— Ветла-то повыше гулянья была, от ветлы по тую сторону, там вода теперь. Так что на нашем гулянье, девка, одне рыбы тешутся!

— Рыбы! Скажешь тоже! Каки теперь рыбы?

Так и пойдет разговор петлять, с пятого на десятое перескакивать, забудется, потонет в нем мимолетная обида, но и радости настоящей от него все же не будет. Потом, ночью, просыпаясь, тоскуешь, слышишь, как шуршат мыши в подполе, как что-то оседает в трухлявых бревнах и скрипит, постанывает заборка, словно у нее болят кости, не у тебя.

Уж Анна Никитична для разговора и словечки разные подпускать пробовала. Одно такое словечко про сынов было — даже в Москве в очередях и то соседки с расспросами накидывались: как, мол, да что, и вздыхали, слушая ее рассказы.

«Мои-то, считай, на кровушке и выросли, только ей и поднялись» — вот что за слово было.

Ввернув его к месту, Анна Никитична даже глаза прикрывала — готовилась: сейчас, мол, посыплется — что да как? Не вурдалаки ж они? Но баб Дуня и такому не удивилась, не вздрогнула, спросила быстро и сухо: «Долго сдавала? По сколько ж?.. Вон в Порфирине моя кума Лизка Нечаиха лет шесть все бегала. Кажну неделю. Как срок подходит, аж в голове, говорит, шумит».

Анна Никитична тоскливо кивала головой: точно, точно, мол, и у меня так было. Да точность эта и угадливость сердце не грели. Вот в Москве как-то рассказывала она о своем донорстве доктору, молоденькой такой вострушке, так та все вздыхала сокрушенно, даже глаза платочком промакивала, и сказала под конец: «Да вы герой! Вас дети на руках носить должны».

Конечно, они тебя на руках поносят! Это уж как водится... А только почему бы и не сказать старому человеку такое, чтобы он и погорился и погордился?

А вчерашний вечер и о сыновьях наговорились вдоволь, и о другом всяком: о старике Жаворонкове баб Дуня рассказывала, как он перед смертью маялся, силится дожить, пока сад его расцветет, и всего-то дней трех-четырёх не дотянул; а Анна Никитична — про литейный свой цех, про то, как ее приемником награждали и речи говорили...

Пришлый дачник Алексей Иванович, пока жена его устраивалась в Викторовой избе, все сидел с ними на лавочке и слушал, переспрашивал, даже пригибался эдак и снизу в лицо заглядывал. Все рассказанное при нем казалось от этого удивительным, почти неправдо-

подобным. Даже баб Дуня помягчала и, когда он ушел, сидела еще до самой темноты, слушая про Ивана разное.

Было совсем темно, когда всем довольная Анна Никитична вернулась к себе и, не зажигая света, легла в постель. Устраивая поудобнее ноющую спину, привыкала к сыроватому холодку настывшей за день простыни, к тихому, покойному ворохканью и шуршанию в стенах, в траве под окном.

Вдруг, почти уже сквозь сон, отчетливо ей вспомнилось, как укладывалась спать молодой. Нет, не в пропитанной кухонным чадом комнатке в няньках, не с Иваном на тощем тюфячке за занавеской, а еще раньше, почти что в другой жизни, здесь же, в Юрятине, в тятиной избе, которая стояла на отшибе, там, где теперь телятник. (Сгорела она уже после войны, уже заколоченная, пустая, от чьего-то мимохожего озорства.) Как шмыгала в темноте в обитую кошмой дверь — босая, легкая, беззвучная, как тень, даже лесенка на печку, бывало, не скрипнет; как быстро, хлопотливо складываясь в комочек, подтыкала под себя холодную ряднину, и ряднина тут же становилась горячей, нагреваясь от нее, обволакивая ее каким-то родным, гнездовым теплом, и — только руки под голову, зажмурься — полетит все кувырком, и вдруг, как главное, медленно выплывет и подержится в памяти гулянье, чей-нибудь щипок шутейный, взгляд ласковый — и уснешь с этим быстро и спокойно-спокойно.

Давно уже не засыпала Анна Никитична с такой легкой, успокоенной душой, оттого, наверное, и вспомнила себя совсем молодой, а вспомнив, подумала, что долгие разговоры в старости заменяют молодую гулянку. Тогда был дорог взгляд, щипок чей-то. Да ведь не сам по себе, а тем, что успокаивал, обещал: все-то у тебя впереди, все как надо устроится, сбудется. А теперь все уже сбылось, и надо душе снова успокоиться: все-де у тебя было, все как надо. Вот для этого и разговор. С этими просветленными и нечаянными мыслями она и уснула.

Проснулась вроде бы тут же, спокойно и легко. Окошки уже голубели; она полежала немного по привычке, чуть шевеля то рукой, то ногой, как бы вспоминая свое обмершее за ночь тело и проверяя, живо ли оно.

И вдруг нечаянный страх вошел к ней в душу. «Ах ты, господи,— подумала она.— Ведь насчет дачников ничего Виктор не говорил. Сказал только, что вряд ли сами приедут в августе. А как на выходной надумают? Хоть на выходной даже... Ить ко мне не захотят».

Она представила свою невестку Надю, так любящую поговорить с гостями о своем «маленьком деревенском домике», и поняла, что даже предложить ей побыть два дня в своей избе не наосмелится. Куда там! Она если на пять минут заходит, и то нос морщит: «Чем это у вас так пахнет? Какой еще избяной дух — вот глупости. У меня тоже изба, а духа никакого». Вспомнила, как в недовольстве она молча гремит посудой, как начинает мрачнеть при этом Витька, сопеть сердито, на мать гыркать,— и подумала с настоящим ужасом: «Ах ты, господи, что же это ты, старая, наделала, хоть людей выгоняй!» Ах, зря она, зря...

Не ее дом, не ей и квартирантов пускать, это уж как водится. А все баб Дуня. Она своими командует, так думает, все материнского крику боятся. А оне на него, крик этот, и ухом не ведут. И не у одной Анны Никитичны так. У всех. Как паспорт получил, так мать ему не хозяйка. А уж женатые... Ах ты, бог ты мой, как же это все вчера сделалось, что и не заметила она и не подумала ни о чем?

Торопливо оделась и, не зажигая керосинки, не ставя чайника, вышла на крыльцо.

Утро только занималось, легкий ветерок дотянулся от Волги, лизнул ей щеки; она даже не вздохнула как следует — так торопилась, словно могла в чем-то исправить вчерашнее.

Посреди улицы, опираясь рукой и тощим задом на клюкастую свою палку и разглядывая крышу избы, стоял ее сосед, богатый ленинградский старик Самосейкин, всю жизнь проработавший на базах и все умевший достать, всех на кривой козе объехать. Анна Никитична и всегда-то таких людей робела, а Самосейкина в последнее время — особенно. Хотела мимо проскочить мышкой, пригнула голову, да не вышло.

— А, Никитична,— не здороваясь, позвал он.— Вот поди, поди-ка сюда.— И когда она подошла, так быстро вскинул вперед палку, указывая на крышу, точно ударить хотел:— Вон, вишь, как на твою сторону тянет, вишь... Сколько раз говорил уже, предупреждал: меняй

венцы, совсем дом покривился. Из-за тебя ведь и наша крыша течь стала.

— Может, зиму-то простоит, Михалыч?— полувопросительно, с заискивающей улыбочкой сказала она.— На тот год обещал Лешка — подрубит.

— Он который год обещает. Прикидываетесь всё — денег нет, а тут всего-то пару венцов надо. Хотели б — давно сделали! Ты вон и дачников пускаешь, а все бедная?

— Да что ж я? Переночевать людям негде было...— быстро сказала она, почти веря уже, что это правда.— На одну ночь грех не пустить, Михалыч,— и торопко двинулась в сторону баб Дуниной калитки, при каждом шаге загребая по пыли разлатыми, низко срезанными валенками, заменявшими летом ее распухшим ногам любую другую обувь.

Вокруг баб Дуни привычно кипели дела. В терраске на газу грелась вода, мокло в корыте белье, парила сваренная в ведре картошка для поросенка, а на стенке сарая, в холодочке под застрехой стояло, дожидаясь покупателей, разлитое по банкам молоко. Сама баб Дуня, высоко задрав передник, сыпала через прясло бычку яблочки-падалицу, и тот громко, влажно хрупал ими, подбирая с земли шершавым языком и хлопая ушами от удовольствия.

— Молодец,— похвалила хозяйка, стряхнув последние яблоки и почесав у бычка за ушами,— хрумти. А то Андрюхины приедут, начнут с тобой бои играть, так не больно зажиреешь.

— А что — гости к тебе?— спросила Анна Никитична.— Что Андрюху-то вспомнила?

— Обещались на недельку. Да Катька еще недавно отписала: практика, мол, кончилась, так жди, бабка, готовь хлебá.

В другой раз Анна Никитична, может, и поняла бы, что сердитый баб Дунин голос — это от желания похвастать, как много к приезду внуков делается, и расспросила бы, но теперь она была слишком занята своими мыслями, и известие о внуках в ее голове пошло по другой дорожке.

— Ах ты, господи! До чего ж нескладно выходит все!— всплеснула она руками.

— Что ж нескладного?

— Да я просить хотела: не возьмешь ли к себе моих дачников?

— Что они, твою избу за ночь пролежали? Чо дуришь-то?— строго прикрикнула баб Дуня.

— Изба-то не моя...

— Дак не приедут же твои, что ж гулять ей?

— А как надумают? Нет, уж и не знаю. Чужую избу сдала, так от совести и заснуть не заснула толком. Все маюсь.

— Ну и шевутная ты девка,— удивилась баб Дуня.— И что в мозги-то вбила? Что ж тебе Витька — чужой, что ль?— Она принялась толочь картошку, перебивать ее с отрубями, и слова вылетали в такт — отрывисто и хрипло.

— А как обидится? Или с Надей приедут?— Анна Никитична сокрушенно помотала головой и опустилась рядом на порожек сарая.

— Дак ведь сказал же: вряд!

— Мало что сказал. Вдруг Надежда удумает?

— Приедут — уедут. Скажешь: деньги нужны, вот и пустила. Вона Самосейкин — дурак старик, а правильно талдычит, венцы тебе менять надо. А то так меня позови: я ему все растолкую, твоему обормоту.

Анна Никитична только вздохнула:

— По деревне, что ль, спросить: може, пустит кто? А то ить и спать не сплю.

— Да ты что?— от изумления баб Дуня приостановилась.— Согнать людей, что ль, хочешь? Вчерась договаривались... Твой грех будет, девка, твой! Грех, грех,— дважды повторила она напоследок, сильно вонзив колотушку в приготовленный корм, и, подхватив ведро, скрылась в сарайке.

— Экий у вас род черемисинский робкий!— сказала она, вернувшись.— Этак вот и батька твой, считай, от страху помер.

— Что мелешь-то?— удивилась Анна Никитична.

— А то не помню? Не его черед ехать-то был, а Трешкин накричал, Черемисин и поехал. С него через крик и рубашку снять можно было, до того был старик тихой.

— Ну тебя, пойду,— сказала Анна Никитична, вставая.

— Молоко не забудь. Вона банка твоя.

Идти Анна Никитична хотела домой, а завернула к сыновней избе. В деревне был самый пустынный, тихий час: свои все ушли, дачники еще не подымались. Пришлые ее тоже спали. «Я так только,— разрешила

себе Анна Никитична,— в окно загляну, беспорядку какого нет ли, а если встали, то насчет терраски предупреджу. За избу Надька еще, может, ничего, а уж ежели на терраске что...»

От улицы Викторову избу отделял палисадничек с высокими, почти до середины окна, золотыми шарами и остро по утреннему холодку пахнувшими флоксами. Еще от калитки Анна Никитична увидела, что дачник ее уже не спит, стоит боком к окну по пояс голый, выкладывает из рюкзака книги с потрепанными закладками, толстые тетрадки... Вона, заметил ее, толкнул оконные створки.

— Доброе утро, Анна Никитична,— сказал он, высовывая из окна кудлатую голову.— Вы войти хотите? Я сейчас открою.

— Та не, не... Я так,— замахала она руками.

В глубине избы было еще сумеречно; громко тикал невидимый будильник, на терраске оранжево светила зажженная керосинка и на ней стоял чайник. От всего этого жизнь в избе показалась Анне Никитичне совсем чужой, по-другому заведенной; она смутилась. Ниточка ее мысли оборвалась, потерялась; она поспешно ухватила за другую, не зная и не думая еще, куда она выведет.

— Вот, парное,— неожиданно для себя сказала она, выставляя на окно банку с молоком.— Принесла. Вам, значит.

— О! Спасибо! А где же? Или отказался кто?

Разговор о молоке был вчера; сильно пришлый дачник сокрушался, когда узнал, что в деревне всего две коровы и молоко давно разобрано. А теперь он, сняв обмятую по банке газету, покрутил над молоком своими широкими ноздрями:

— Пахнет! А? Спасибо.

— Я каждый день беру,— улыбаясь его радости, сказала Анна Никитична,— а не велика любительница. Так я вам через день отдавать буду.

— Если вам не в ущерб, то я с удовольствием. Спасибо.

И все смотрел на нее, и все улыбался. Ей даже неловко стало. А молоко ей и в самом деле было вроде бы как не нужно. Была еще баночка сквашенного.

Вернувшись к себе, Анна Никитична поела, макая холодную картошку в постное с зеленым луком; запила кислым молочком. Она в деревне никогда не думала

особенно ни о завтраке, ни об обеде; всегда находилось что-нибудь такое, необременительное в готовке и вкусное. Сидя за столом, решила вдруг, что хорошо сделала, пустив дачников. То придешь, возишься в саду, возишься, а дом пустой — так и заходить боязно. Пусть хоть голосок девчачий звенеть будет. Виктор если один придет, то и ничего, а Надя никогда об эту пору не появляется.

Потом мысли легко отлетели от сегодняшних забот и привычно, как серый мелкий песочек сквозь пальцы, потекла ее долгая-долгая жизнь...

Выплыли из прошлого, из небытия закопченные, пыльно-черные стекла цеховой конторки, та теснота и неловкость от множества людей в грязных спецовках, когда ты одна среди них в чистом, в лучшем своем платье. И ты улыбаешься и принимаешь от старшего мастера Сергея Кузьмича маленький приемничек с блестящей никелированной антенной (потом Лешке подарила — он то ли разбил где, то ли пропил). Люди вокруг хлопают в ладоши и говорят что-то, от чего хочется плакать...

Это уже зима после первого юртинского лета; она почти совсем оклемалась и отвыкла от литейки, от маслянистого запаха спецовок. Ее провожали на пенсию, было торжественно. Запах горячей земли (горячей не от солнца, а от расплавленного дымного металла) дурил голову, сердце начинало тукать, и никак не верилось, что именно здесь провела она чуть ли не полжизни и что все те красивые слова, что говорил поплешивевший и поседевший Сергей Кузьмич, — о ней.

Вроде бы и приятное это было воспоминание — о проводах на пенсию, — а делалось обидно и хотелось плакать, жаловаться кому-то. Да и то... Конторка эта чаще бывала для нее другой.

Вот она сидит в ней, плачет, а Сергей Кузьмич бега-ет из угла в угол мелкими шажками и, взмахивая рука-ми, отрывисто выталкивает из себя, что здесь не бога-дельня, здесь завод, и что заработала, то и на тебе, то он и закрыл, а брак покрывать и приписками занимать-ся он не может, пусть она плачет не плачет, его не раз-жалобишь. «Да я ведь что? Я так... — робко говорит она и даже улыбнуться пытается. — Я что? Конечно, что заработала...» А из головы нейдут Лешкины ботинки:

с заплатками, вечно мокрые его носки; и она плачет еще пуще, глотая слезы. Сергей Кузьмич садится за стол, машет на нее рукой и что-то там переправляет в нарядах; она подписывает не глядя, и жгучий стыд ест душу, но когда выходит из конторки, то уже знает, что ботинки будут, и, вытирая слезы кончиком платка, невольно улыбается счастью своего младшенького.

Все это, разделенное на самом деле многими годами, теперь упрямо сливалось в одно воспоминание, в одно чувство — горя и радости, унижения и гордости, и казалось ей всей ее жизнью, со всеми потрохами. И — господи! — неужели же все это было, неужели она одна через это все прошла, одна и та же? И зачем надо было идти сквозь все обиды, труды, заботы, — идти, чтоб стать больной и старой и не иметь кому погордиться своими бедами?

Ну, да бог с ним со всем. Анна Никитична поспешно промокнула глаза и доела торопко, ругая себя, что растрясла все утро в безделье, в балаболстве, а были дела...

Дела и правда что были. День без них не бывает.

За телятником у самого леса сколочен навес, под которым сушится зимнее лакомство баранов — березовые веники. По решению сельсовета каждый двор (дачники, не дачники) должен свезти сюда шестьдесят веников. А Анна Никитична даже сто двадцать, потому как дворов-то два, а кто же кроме нее этими вениками займется?

Березки разрешалось рубить недалеко, в старом саду. Когда-то этот сад был знаменит на весь район, давал колхозу доход, но со смертью своего создателя и ревностного оберегателя старика Жаворонкова стал хиреть, зарастать кустарником и молоденьким березняком. Потом из бывших колхозов сделался совхоз, бабки повыходили на пенсию, рук было мало, план по яблокам, слава богу, не спускался.

Старик Жаворонков умер лет за пять до приезда Анны Никитичны. Когда приехала, забор вокруг сада был везде порушен, а яблок по осени еще собирали много, на грузовиках вывозили.

Каждый раз, когда она задами мимо полуразвалившейся сеновни выходит к поскотине и, отодвинув жердину забора, оказывается в заросшем, одичавшем саду,

ей вспоминается старик Жаворонков, даже не сам старик, а что-то очень давнее, молодое: гулянье у Волги, красавец гармонист, наяривающий на двухрядке елецкого, и Верка Юрушкина, виснувшая у него на плече. И какой-то шепоток, страсти какие-то давние. Жаворонкову и Верке многие тогда удивлялись, ругали вслед.

Он был примак, из Бабни. Странно было не то, что примак, а что на самый бедный двор пошел. У Юрушкиных и жрать-то нечего было, только Верке и оставалось, что хохотать и у мужа на плече виснуть. Да и не венчанная она была жена, только в сельсовете записанная. Потом, конечно, кто и венчался-то? А тогда странно было: записались и живут. На гулянье молодые Жаворонковы ходили уже тогда тоже как бы не по закону: женатые, а там все холостежь.

Анне Никитичне в то лето пятнадцатый шел, и парочка эта, приходившая на гулянье и уходившая всегда под ручку,— запомнилась. Как сама она баб Дуне. Говорит: хохотала больно визгливо. А она баб Дуню вроде бы и не видала, то есть видала, конечно, но как-то мимо глядела, ничего в душу не взяла. И поди разберись, почему так,— последний умишко свихнешь.

Через сад идет она наискосок, пересекая один яблоневый ряд, другой... Привычно оглядывает ближние ветки. Вон яблочко висит. Зацепить ветку топориком, подтянуть и сорвать. Крупное яблочко, граненое такое. Холодок от него в руке приятный. Серо-молочные точки под зеленоватой кожицей. Сунуть в карман черной спецовочной куртки, надетой поверх овчинного телогрея. Солнце голову печет, а душе зябко, телогрей не помогает. Опнуться маленько, посмотреть.

В последние годы тихо она стала двигаться, точно скупилась на каждый взмах, точно помнила постоянно, что осталось их мало, надо беречь.

А дальше, в низинку, к телятнику, и яблонь-то не видно, хотя здесь они, не убегли, стоят прежними рядами, и по рядам же полосами наступает от леса березняк. Каждый год совхоз взимает с дачников вечную дань, каждый год рубят его, а он только пуще разрастается и захватывает все новые и новые ряды. С краю-то, правда, все подрублено. Вон торчат высокие, почти по пояс, пеньки, валяются жердины. Видно сразу: Самосейкин рубил, бессовестный старик. А вот

вроде бы и по ней березка. И тонкая, и пушистая, веток много, и растет у прогалины — легко тащить будет.

Анна Никитична хватается рукой за шелковистый ствол, прилаживается. Топором взмахивает не сильно, но с расчетом, и он легко входит в трехслойную древесную мякоть — белую, потом серовато-зеленую, а внутри снова почти белую. Теперь — чуть по-другому, чтобы вылетел маленький обрубочек-клинышек.

Ноги дрожат, в плече начинает ныть, в груди становится жарко, сердце стучит навывлет, и стеклянные червячки все гуще, все быстрее плывут перед глазами. Еще и еще машет она топориком, пока измочаленный ствол не сделается таким хлипким, что за него уже и держаться страшно. Тогда встать, потянуть на себя березку, чтоб хрупнула, чтоб, цепляясь за соседей тонкими зелеными ручонками, упала к ногам. С поясным поклоном еще раз клюнуть топориком по древесному мочалу, отрубить совсем от пенька и, ухватившись, выволочь на открытое место.

Пот течет по щекам; сердце совсем зашло; не стеклянные червячки, а черные в радужном сиянии мушки выплывают перед глазами маленькие водовороты и свеи. Сесть на край канавы, развязать под подбородком платок — пусть обдувает. Ну, так. Хоть мушки не крутятся, как бешеные, а плывут уже, медленно покачиваясь.

«Охо-хонюшки, разве это здоровьишко? — привычно думает она. — Жидка стала, жидка. Куда все подева-лося?»

Ей вспоминаются восьмидесятикилограммовые чугунные опоки, которые она ворочала вручную, чтобы не ждать крана, успеть побольше. Тазы с бельем, такие привычно огромные и привычно легкие. Ров, что копали у Клина в сорок первом, — у других лопнувшие мозоли, стиснутые зубы, а она копала и копала, будто играючи. И спина не ныла.

Дальше, дальше несут привычные воспоминания. Как жила еще на Патриарших, как бегала с Яшенькой на руках за керосином. Тоненькая ж была еще, соплюшка совсем, а Яшеньку подхватит на одну руку, в другую бидон и бегом до дому. На третий этаж взлетит пулей, не запыхавшись даже. Носилась целоденно, колотилась во множестве порученных ей дел, а вроде бы и не замечала их, только щеки разогревались от работы. Вот какое здоровьишко было, а теперь...

Под вечер все няньки двора выходили посидеть на скамеечке. Тогда это еще обыкновенно было — работницы в доме. Человек с десять их на двор набиралось. И соплюшки вроде нее, и постарше, и совсем в возрасте. Лузгали семечки, жалились друг дружке на хозяев, на множество забот, на плохую кормежку, на то, что хозяйка сахар пересчитывает вечером, не слопали б без нее. Анюта помалкивала. Сахар и от нее запирали в буфет, работы хватало, да что ж на это жалиться? Кормежка все ж была не в пример лучше, чем за тятиным столом. За зиму раздобрела даже, жакетка на груди не сходилась, хозяйка свою подарила — старенькую. В летних медленных сумерках она слушала других, кивала, поддакивала, и так жалостливо отчего-то становилось в груди, так хотелось поплакаться кому-то, а слов таких не было, чтобы объяснить — на что, отчего слезы-то? Вроде бы все было хорошо, а тоска.

Приходила, пила с хозяевами чай, укладывала Яшеньку, почти уже родного, молочно-тепленького, с ручками-шелковинками, стирала на кухне, ложилась сама на топчан возле Яшеньки и тут вдруг начинала плакать, давясь сдерживаемыми рыданиями. Плакала, плакала, пока не засыпала с болью в груди. Отчего-то вдруг накатывал на нее этот ужас жалости и страха за самое себя и за всех, всех на свете.

Был еще такой душный июньский день. Летел по Москве тополиный пух. Прохожие спешили арбатскими переулочками к бульварам. Пахло пылью и грым камнем; узорные тени старых кленов пробегали по нарядному, в синий горошек платью девушки, которая зачем-то торопилась вверх, к Смоленской площади. Тихо было, даже сонно, только у нее вдруг перехватило дыхание от страха и жалости, она побежала, туфли защелкали по мостовой, и казалось, что это не ее туфли, что за ней — гонятся.

Вообще странно как-то все это помнилось. Куда и зачем шла, и почему в лучшем, только что подаренном платье — все забылось. Плавилась на солнце большие стекла магазинов. Она отражалась в их смутной глубине — она и не она: ее платье в синий густой горошек, ее косынка, и даже узелок на шлейке лифчика, резавший плечо, — все ее, но это была не она.

Она была далеко, бежала поскотиной к Волге, навстречу плыли коровы, а бык Черный вышел уже на берег, стоял, низко опустив лобастую голову в намордник

ке, по брюху стекали струи воды, поблескивая и бронзовея в закатном солнце... Она знала, с какой стороны его обежать, чтобы не погнался; знала, заранее слышала, с каким мокрым шорохом ткнется в берег плоскодонка и как брат Леха протянет ей ободранный до белизны и загнутый кругом ивовый кукан, на котором подрагивают поддетые под жабры красноперки, язи и подлещики.

Там была она, истинно она, это каждый мог подтвердить. А что за девка шла по Арбату, отражаясь в витринах, самовольно распоряжаясь ее платьем и телом,— этого она не знала, и страх сжимал горло. Никто вокруг не знал эту девку, так откуда же ей самой себя знать было? Она побежала, задышливо хватаясь за грудь, оглядываясь...

И — бульвар, хотя бежала в другую сторону. Пивной ларек с белеными планочками. Дальше скамеечка, дети в песочке копаются, няньки по лавочкам дремлют. Посидеть, господи, ноги вытянуть. Как гудят от бестолкового бега! Успокоиться, самой в себя вернуться...

А потом, через много лет, через всю жизнь, вдруг вспомнить и понять — было. Не пустой был страх, а душа покидала ее, отлетала. Без души всяк человек сам себе страшен — вот чего она испугалась.

«Вот ведь, значит, как душа-бедняжка металась,— думает Анна Никитична, то прикрывая глаза, то открывая снова, чтоб посмотреть, не рассеялись ли, не опали на землю радужные точки.— Вот ведь как».

Кажется ей, что этот неожиданно вспомнившийся июньский денек многое в жизни ее объяснить может. И плач по ночам, и жадно слушанные жалобы подруг, и даже смешок ее дурацкий, когда пьяненький Иван проходил по двору и походя лапал других.

Вокруг других еще вилась какая-то жизнь, надежды какие-то, толки, страхи, шепоты, а она была среди всего этого как подвешенная. Ко всему пристегнутая, ни к чему не пришитая. Отдельная. И надо было, чтоб кто-то схватил ее за руку, выдернул из этого прозрачного, мягкого мешка, надо было прижаться к кому-то, теплому и живому, чтобы и себя наконец ощутить, какая ты есть.

Когда Иван уводил ее от качелей в Сокольниках, и страх и радость — все это было ее, все это была она, впервые за много дней она, без всяких сомнений.

Вот ведь как оно было.

А баб Дуня зарешила сразу: «Была бы охота...» Охота, она вона какая была. Про нее и сама не сразу все поймешь, а другому вовек не расскажешь. Разве в том было дело, что не сразу сказал Иван, что любит ее, что женится? Да она и сама не думала ничего такого, и плакала только потому, что радость ее была мгновенной, а потом — только боль, сырость, холод аж до костей. И слова Ивановы уже долетают как бы издали; из другой жизни. Нет, этого не объяснишь. Она пыталась рассказать это на другой же день Катерине, няньке из соседнего подъезда, лет на пять ее старше, жившей у третьих хозяев и вообще уже пообтершейся по Москве. И видно, все не так говорила, потому что Катька, выслушав, сказала только: «Ничо, у всех так попервости. Сладость — она потом приходит, не сразу».

А Дуне и вовсе об этом говорить зря. «А,— скажет,— не приди он через неделю? А не поведи расписываться?» Как будто жизнь и туда и сюда вихлять может, и так и этак повертываться. Это ведь в молодости только так кажется, а как в старости раздумаешься, то и выходит, что жизнь была как жизнь и ничего другого быть в ней не могло. Потому что как мы прожили — это наше, а как не прожили — то чужое.

Вторую березку Анна Никитична рубила так же долго, потом отдыхала, ходила меж рядов, нашла три подберезовичка крепеньких. И все думала, думала о давнем, о Москве, Иване, ихней любви. За мыслями этими и пришлый дачник, и грех перед Витькой — все забылось; она повеселела, и, когда тащила срубленные березки к своему двору, вдруг вспомнилось ей самое веселое из всей долгой жизни: как работала она дворничихой и дали им комнату у Сущевского вала, и Иван, приходя с работы, первым делом подходил к Витькиной коляске, делал ему «козу рогатую», а Витька улыбался, пуская слюнки и суча ножками. Была ж когда-то и в ее жизни такая благодать!

Годные на веники ветки Анна Никитична обрубала у задней калитки своего двора, жердины складывала тут же, на дрова. Зачем добру гнить где-то? Жила она обычно до белых мух, почти до ледостава, а райтоп не очень-то охотно выписывал дрова дачникам.

Сидя на груде этих жердей, она подбирала веники, связывала их лычком. Отдыхала за этим занятием. Все

же махать топором, хоть и легоньким, специально привезенным Виктором, было ей тяжело.

— Здоров, баб Нюта!

Сердце у Анны Никитичны так и обмерло страхом от этого пропитого и прокуренного до густой, булькающей хрипоты голоса.

— Посижу с тобой,— не дожидаясь приглашения, сказал Журов и, опустившись на жердины, стянул кепку с бугристой своей, неопрятной лысины.— Веники вяжешь, будь они прокляты! Я к тебе — что? Стервоза моя не у тебя ли хоронится, а? — Он, пригнувшись, снизу пристально взглянул старухе в лицо.

Под этим тяжелым взглядом та засуетилась; не поднимая руки, мелко-мелко замахала на него одной кистью:

— Что ты! Что ты... Хошь, посмотри даже.

— Смотрел,— скучливо отводя свои водянисто-голубые глаза, ответил он.— Я эту курву, баб Нют, когда-нибудь порешу. Ей-богу!

Анна Никитична промолчала, не решаясь сказать что-нибудь. Митяя Журова побаивались. Знали: выпивши он на все способен. Правда, и Клавку его не любили, но иногда все же сочувствовали — частенько-таки в синяках гуляла.

— И дом сожгу,— пообещал Митяй, не повышая голоса.

— Что ты... Что ты...

— Я ей над собой кочевряжить не дам. Из-под земли найду.

— Что ты, господь с тобой!— сказала Анна Никитична.— Утих бы! Что ты!.. Девке-то небось полста скоро стукнет.

— Пятьдесят два!— сказал Митяй и зло сплюнул. Надел картуз, поднялся и тут же снова сел.— Пятьдесят два, а только ты, баб Нюта, этой сучьей природы не знаешь. И хоть люблю я тебя, а все ж ее не прячь, поняла?— он решительно встал.

Анна Никитична мелко закивала вслед: поняла, мол, поняла.

Митяй шел к сеновням, глубоко сунув руки в карманы и горбатясь. Он не шатался, хоть пьян был здорово, даже по спине было видно, как пьян.

«Ох, господи, вот ирод-то...»— старуха все еще сидела, бережно придерживая руками колотящееся от страха сердце. Панический, нерассуждающий страх пе-

ред пьяными был у нее застарелым и неизгладимым, как шрам. Да и то сказать: тридцать лет в таком доме жила, что только — ой ты, мамочки!

В доме этом до революции, говорили, был трактир, какие-то номера; во весь второй этаж тянулся сумрачный коридор. В день получки дверь из комнаты обязательно запиралась, и каждый раз кто-нибудь ломился в нее, стучал по ошибке, грозился кишки выпустить и наконец топал сапожищами дальше, глухо, всем телом стучаясь о бревенчатые стены. После войны остались на этаже почти одни бабы, а все равно — разные к ним шлялись и всякое случалось, даже до ножей.

И всю жизнь так, всю жизнь, когда только покой от этих иродов будет!

Солнце садится за лесом. Стекла в избах плавятся латунным закатным светом; клубы пыли, поднятой прошедшим стадом, розоватятся сверху. И пахнет в этот час по деревне хорошо — коровьей жвачкой, дымком и левкоями, пышно цветущими в палисадниках.

В сенцах у Анны Никитичны на керосинке дожариваются подберезовики с картошкой, на столе пофыркивает Лешкин подарок — электрический самовар, поыхивает из-под заварного чайника тонкими, почти прозрачными струйками пара.

И Анна Никитична сама сидит тут же, в распушенном по плечам платочке, заспокоенная всем этим уютом и благодатью. Поесть грибков, а там и Дуня придет, как с Павой управится. Чай из самовара она больше жизни любит, хоть и из электрического. Поговорят... Хорошо! Анна Никитична даже глаза прикрывает, так хорошо.

И все это в один миг рушится.

Стучат по крыльцу туфли, кто-то хлопает дверью и крючком тут же — клямк!.. Клавка. Ах ты, господи, принесла-таки нелегкая! Страх-то какой! Вдруг Митяй следом? Ведь приходил же... А не пустить, как не пустишь — потом хоть в магазин не ходи.

Клавка Журова фигура важная. С кем, с кем, а уж с нею лучше жить в ладах. Лешка сразу после покупки избы что-то там с ней в магазине поспорил, жалобную книгу требовал, так потом все лето возил матери масло из Москвы, хотя было известно в точности: масло в магазине есть. Другие брали.

Все лето Лешка порывался дойти до Порфирина, до торгового начальства, постучать там кулаком, вправить мозги. Да что в том толку? Разве что душу отвести. Анна Никитична все срочные дела ему находила, чтоб не ходил, не трепал души понапрасну.

А уж как маленько ожила, так заявила в магазин сама, с подходцем. Сильненькие — они ведь любят, чтоб к ним с подходцем. Сначала о сыне поговорила, посетовала на строптивость его, заполошность. В другой раз, стоя в очереди, стала шефов срамить — мол, пошли бы лучше проспались, чем жалобами грозиться. Шефы в сердцах быдлом ее назвали, дак что? От нее не убыло, а заветные запасы ловкой магазинщицы открывались перед ней с каждым разом все больше и больше. Ну, само собой, и услужить. Многое с полуживой бабки не требуется, а по мелочам: корову загнать, когда стадо придет, чужих курей из Клавкиного двора шугануть, грибков принести самых первых: тебе, мол, по лесу ходить некогда... Дань легкая и незазорная — уважение показать. Все показывают, а уж Анне Никитичне сам бог велел. Только вот прятать Клавку от пьяного мужа она не любит. Бойтся. Но — куда денешься?

Клавка не так чтоб и высока, а когда входит в избу, пригибается: у себя, дескать, к низким потолкам не привыкли. И не так чтобы очень толстая, а стул под ней взвизгивает жалобно, признаваясь в своей ничтожности.

— Посижу, — говорит она. — Охламон мой совсем сдурел. Может, хоть к тебе постесняется.

— Да был уже, — робко, словно винясь в недогляде каком, сообщает Анна Никитична. — Совсем пьянбый.

— Надо же, идиот! Весь ум пропил. И так-то не было...

— И когда угомон человека возьмет? Ведь не молодой.

— Он-то? Ох, тетя Нюта, и не говори. Ведь знает, что тут у меня весь, — потрясла Клавка кулаком, — а шебуршит. Вот засажу остывать... — Она вдруг шумно потянула носом: — Ой, а чтой-то у тебя? Пригорит.

— Ах ты бог ты мой, — грибки! Ах, ах...

Анна Никитична приносит сковороду в избу, ставит на стол. Достает вилки.

— Попробуй подберезники.

— Подберезники? Рано чтой-то.

— Дак в саду. Веники рубила и углядела. Всего-то четыре штучки. Да один еще червивый был, кусочек от него взяла,— как бы оправдываясь в чем-то, рассказывает Анна Никитична, а Клавка уже ест, стараясь за каждым разом поймать на вилку гриб, а не картошку. Когда и старуха принимается есть, в сковороде уже почти одна картошка... А что делать?

Дверь дергают. Вилка с картошкой застывает на полпути. Сердце навывлет тукает.

— Не открывай,— шепчет Клавка.

— Сшибет.

— Я в сарайку.

Губы у Клавки трясутся. Она бесшумно и не пригибаясь в дверях выскальзывает в сенцы; Анна Никитична за ней. И вдруг:

— Нют, да ты пошто запираешься, сдурела, что ль, девка?

— Баб Дуня,— облегченно вздыхает Клавка.— Вот напугала, зараза.

— Я-то думаю, что это — совсем девка тронулась? Запирается. А это ты тут прячешься,— говорит баба Дуня входя.— Нашла место.

— Ну, пойду я,— не глядя на нее, Клавка поспешно накидывает косынку.— Спасибо, тетя Нют, за угощение.

При баб Дуне она как-то сникает. Баб Дуня ей не услуживает и язык для нее в карман не прячет.

— Пойди, пойди!— кричит она ей вдогонку.— Лучше б хвостом меньше мотала, чем по чужим дворам от мужика бегать.

Дверь захлопывается, и баб Дуня сразу же, как ни в чем не бывало, мирно садится к столу.

— Налъешь, что ль, чайку? Уж я с тобой попоьюсь, а то замаялась совсем. Ох, не люблю толстомясую, прости господи!

Анна Никитична про толстомясую молчит, наливает в стаканы заварку: баб Дуне — не скупясь, себе — чуточку.

— Опять гольный кипяток ширкаешь, самовар переводишь?

— Сердце от крепкого гукает,— оправдывается Анна Никитична.

— Вона,— баб Дуня кивает через плечо на дверь с такой злостью, словно там все еще стоит Клавка,— вона у людей ни от чего не гукает.

— Да что уж ты про нее так-то...

— Не бойсь: я знаю — что! Я с ней еще после войны вожжалась. Тогда уже на чужом горбу в рай норовила. В Порфирине бывалоча стоим в рядах. Уж она про свой творог — прям поет: из молочка-то он цельного, и ко-рова-то колмогорская, особой жирности; а я тут же стою, так она, зараза, моргнула б хотя, шепнула: не для тебя, мол, вру. Зато, правду сказать, расторопная была девка — страсть, все в руках горело. С того, я думаю, к ней Митяй и привалился. Год всего повоевал, а пришел — бог тый мой! — и тощей, и простреленный весь, но девки млели — мужик! А он, вишь, к Клавке подвалил. У ней, конечно, не голодал. И откормили, и отогрели. Вот ты только скажи, Нют: что за человек мужик? Он же знал, за каки заслуги ее Трешкин в сорок восьмом в магазин-то устроил. Все знали, как ему было не знать, верно? Но — смолчал. Жить богато хотел. Хорошо. Каждому по его молитве — стали денежку сколачивать. Избу кто первый новую поставил? Она. У кого первого мотоцикл? У Митяя. Во как жить стали! Ну и живи, как захотел, как вымолил! Нет, пошло мужика корезить, повело куролесить.

— Дак она ведь...

— А то раньше думать надо было! От веку так: мужик с кругу спивается, а баба... Ой, да ну их! — вдруг махнула она рукой. — Помирятся! Как кошка с собакой, а друг за дружку держатся... Ты лучше скажи, Лешка-то чо, не отписывал: нашел он Иванову могилку? Там, сказывают, так в болотах и топли, без могилки... Под Синявином этим.

— Да не было письма еще. Витька говорит: только деньги раскатает.

— Деньги деньгами, а и душу помнить надо.

— Он у меня все хилый такой рос, худенький все, как воробышек. Моешь его в корыте, возьмешь за плечи, а косточки тоненькие. Сейчас-то мужик здоровый, а все как воробышек — поскокцем, — вздыхает Анна Никитична. — Как с Витькой съедутся: коса на камень. Один кричит, наскакивает петушком, другой посмеивается. Чисто черти.

— Известно: братцы, братцы — а первыми драться.

— Не говори! Мне вот вспомнилось недавно: Лешка когда в восьмом классе был, в соседнем доме девчонка жила. Витька-то уже работал и в институт поступил...

Анна Никитична откидывается на спинку стула и прикрывает глаза в предвкушении длинного рассказа о давней ссоре сыновей, которая через много лет вдруг снова стала занимать ее. Но тут опять хлопает дверь и звонкий девчачий голос спрашивает: «Бабань, ты здесь?»

— Здесь,— отзывается баб Дуня.

Входит Людка, баб Дунина внучка, приехавшая к ней на каникулы из калязинского техникума.

— Здравсте,— небрежно говорит она,— бабань, дай ключ от шкафа.

— Эт зачем еще?

— Платье голубое хочу.

— Опять в Девичье?

— Ну, бабань!!! Танцы же в стройотряде...

— Мотри, Людка, студенты — оне не здешние, им тебя обидеть, что плюнуть и растереть.

— Я что — маленькая?

— Дура ты большая, а все одно — дите! — строго говорит баб Дуня.— Кто идет-то?

— Зинка, Машка идет, даже Юлька докторова. Все идут. Ну, бабань!

— На уж! Но чтоб не допоздна!

— Бу спок! — Людка быстро обнимает сзади бабку, целует ее в морщинистую шею.— Ладно, бабань, не ворчи,— и исчезает.

— Чертова кукла,— улыбается баб Дуня.— Ее б замуж, а не в техникум.— И вдруг спохватывается:— Ой, девка, засиделась я у тебя. Толят, поди, приехал, кормить надо.

Анна Никитична не встает, взглядом провожает шустрюю свою подружку. Некоторое время сидит неподвижно, сложив руки на коленях ладонями вверх. Потом медленно усмехается и качает головой. Это ей подумалось: была б потеха, начни она свою Нельку учить, когда ей с танцев являться. Охохо-хохонюшки!

3

Поездку в родные края Алексей Иванович Бродников замышлял давно, да все как-то не получалось: то путевки подворачивались неожиданно, то зимой болела Наташка и тогда никто не мог убедить Аллу, что дети поправляются не только у Черного моря; то еще что-то.

Этой весной он заявил привычно: едем в Едимново! И столь же привычное услышал в ответ:

— Как же, в Едимново твое... Так я и повезла ребенка комарам на съедение! Сам говорил, там болота.

— Болота далеко.

— Все равно! Что за отпуск в деревне, если там даже речки нет?

— Ах, дело за речкой? Прекрасно!— неожиданно для себя сказал Бродников.— Можем поселиться в Юрятине. Волга, пляж, лес, парное молоко, все тридцать три удовольствия, даже магазин. Идет?

— Ну, разве что,— растерянно полусогласилась Алла.

— Все! Заметано,— подхватил Бродников, и жена, вдруг засмеявшись, ни с того ни с сего чмокнула его в щеку.

Оба готовились в душе к долгому спору, копили решимость и теперь, неожиданно легко сговорившись, были довольны друг другом. Весь вечер в доме царил приподнято-шутливое настроение, даже расшалившуюся Наташку никто не одергивал. Только совсем уже поздно, в постели, Бродников, перебирая в памяти весь разговор, с досадой удивился легкости своей уступки: «Будто и не о родном речь шла, а?» Неприятна была уступка не сама по себе, а именно то, что она оказалась для него такой... ничего не стоящей, что ли. Даже если уж быть совсем честным, то, назвав Юрятину, он почувствовал какую-то неожиданную легкость. Да, да, точно. Словно от чего-то беспокоящего освободился. И теперь, в темноте, наедине с собой, это вспоминалось с досадой и едва ли не со стыдом.

«Вздор,— сказал он себе сердито,— просто Юрятинская такая же родина, хожено-перехожено там. Оттуда на катере уехал, на катере и приеду. К тому же, может, обрывчику».

Чтоб окончательно успокоиться, стал вспоминать, как шел в последний раз юрятинской улицей с фанерным, крашенным под дуб сундучком в руке. Жаворонковский сад уже доцветал, ветер струил по прогонам целые свени опавших бело-розовых лепестков. Их было много даже на берегу — запутавшихся в молодой невысокой траве, привядших и посеревших от пыли. Он поднял один лепесток, обдул его и нацепил на губу.

Потом долгое бездумное ожидание, короткая суматоха посадки, и только когда катер отвалил, когда по-

шел разворачиваться и отплывать в сторону огромной яблоневого сад за серыми избами,— тут только и ожгло его душу разлукой, докатилось до сердца, что уезжает, отрывается навсегда. Он сидел, полуприкрыв глаза, на низенькой корме, среди узлов, корзин и квохчущих в клетках кур, такой маленький, беспомощный внутри самого себя, а ветерок, налетая, пытался сорвать присохший к губе яблоневый лепесток.

Это было ужасно давно, в пятьдесят пятом году, жизнь назад. А лепесток помнился.

Так он и уснул, чувствуя на губе его чуть горячий и чуть сладковатый вкус.

Через несколько дней Бродников полез на антресоли...

Алла, как и каждую весну, наводила в шкафу порядок, насобираала целый узел рваных колготок, отслуживших свой век платьев и прочего барахла,— и вот он полез с этим узлом на антресоли, а там наткнулся на толстые, обтянутые коричневым дерматином папки. Стоял на стремянке, задумчиво взвешивая их на ладони и улыбаясь. От папок исходил душный запахок лежалой пыли. В сущности, их следовало давно выкинуть — архивные выписки, сделанные еще для дипломной работы, никак уже не могли пригодиться,— да руки не поднимались. Он и теперь положил было папки на место, но вдруг раздумал, тщательно обтер пыль и понес в комнату.

Вряд ли он сам понимал толком, для чего затеял эту возню. Дел было по горло. Ждала толстенная стопка письменных работ девятых классов, проверить их надо было срочно, покласное совещание намечалось через неделю, а ведь тех, кому он сейчас поставит двойку или тройку, хочешь не хочешь, надо успеть спросить. И вот — срочное дело лежало себе в сторонке, а он все сидел за столом и не мог оторваться от своих папок, все поглаживал задумчиво их посеревший дерматин — и открывать не открывал, и отложить сил не было.

Вокруг папок этих когда-то вилось столько честолюбивых молодых надежд, столько нечаянных радостей, столько огорчений, что они и теперь словно завораживали взгляд.

Тема его диплома — «Развитие барщинно-помещичьего хозяйства Тверской губернии в первой трети

XIX века. По новым архивным материалам» — считалась одной из самых трудных. Бродников напросился на нее из-за поездки в Калинин. Думал, управится в архиве недельки за две, махнет в родные края как раз к тающему снегу, к первым ручьям...

Потом, конечно, все вышло не так. В архивных документах нужные сведения приходилось выковыривать по крохам, работа получалась слишком фрагментарной, отрывочной, а у него решался вопрос об аспирантуре, и надо было не просто защититься, надо было блеснуть; он все откладывал окончание работы, все морочил голову архивным девушкам, заказывая новые и новые «единицы хранения».

И вдруг — бац! — телеграмма: «Состояние здоровья Аллы тревожно». Ну, тут уж и сам диплом показался чепухой, ничего не значащей мелочью.

Шел мокрый снег, на проходящие поезда почти не было билетов. Он впадал в отчаяние, бестолково ругался с кем-то в очереди, чуть было не подрался, и вдруг, махнув на все рукой, выскочил на перрон к «Красной стреле». Поезд уже тронулся. Он, грубо оттолкнув проводницу, ворвался в тамбур спального вагона. Толстая тетка сперва испугалась и опешила от такой наглости, смотрела на него выпучив глаза, а когда раскричалась, вагон уже все веселее постукивал на выходных стрелках. «А вот что хотите делаете, — сказал он спокойно, — мне ехать надо. Надо, понимаете?» И то ли решимость эта на нее подействовала, то ли сунутая в карман шинели новенькая десятка, но до Ленинграда Бродников ехал со всеми удобствами в служебном купе.

А страшного в Ленинграде ничего не было. Алка просто оступилась, упала. Опасались выкидыша, но, когда Бродников примчался, было уже ясно, что все обошлось. И с дипломом обошлось. Даже не просто обошлось, а все хвалили его, будущее пророчили блестящее, единственному на потоке предложили аспирантуру. И как он был счастлив тогда этими похвалами! Какие были надежды! Казалось, вся жизнь уже решена, распланирована, — покатится дальше как по маслу.

Кто мог предположить, что меньше чем через год все эти успехи покажутся ему самому не то что несущественными, а попросту ненужными? Все как-то сбегалось одно к одному: у Алки грудница, у Наташки крохи что-то с желудком, она мучается, жизнь на во-

ლოსკე ი კაჟდა ჯივაჲ დესჲტკა ვ დოჲე დოროჲე აბსტრაქტოჲ ბუდუშნოსი. ონ უშელ იზ ასპირანტურე, ა პაპკი... დჲჲე ნე ზამეტილ, ნე პომნილ, კოგდა ჯ ეთო ონი პერეკოჩე-ვალე სო სოლა ნა ანტრესოლი.

ალლა პოდოშლა, ვზღჲანულა ჩერეზ პლეჩო ნა პაპკი.

— ვონ ონ ჩემ ზანიჲმეჲსჲ! ტყ ჲო, კ ოტპუსკუ ვ დე-რეჲნე გოჲოვიშჲსჲ, კაკ კ პუტეშეჲსტვიუ ვ ავსტრალიუ?

— ტაკ ტოჩო, — სკაჲალ ონ, — ისტორიუ აბორიგენოვ იზუჩაუ.

უ ნეე ხოროშეე ნაოსტროენიე — კ ჲეჲუ სპორიტჲ, პორტიტჲ?

ონა ოტოშლა. ბროდნიკოვ რავჲჲჲჲლ ჲესტკიე ოტ ვჲე-შეჲსჲ პყლი ტესემკი ი პრინჲლჲსჲ ჩიტატ ჲოსტოკ ჲა ჲოსტოკოჲ. ნა ტრეტჲემ ოპომინალოსჲ ჩერნობორჲე, ა ეთო ვედჲ სოჲსემ რჲდოჲ, პოჩი უჲე როდნაჲ ჲემლჲ, ტოტ ჲე ბესკო-ნეჩნჲჲ ჲავოლჲსკიჲ ჲეს — ტო ბოლოტცა, ტო სუხიე პესჩა-ნეი ხოლმჲ — ი რედენჲკო რაზბროსანნეი პო ჲესუ დერე-ვენჲკი. ჩერნობორჲე, ედიჲნოჲო, ბაბნჲ — ეტი სოჲსემ კროშკი, ა ვ ცენტრე პოკრუპნეე — დევიჩჲე, ა ნა იურე, პო-ნად ვოლგოჲ, იურჲტინო. ი ნაროდუ-ტო ვო Ბსეხ — მენჲსე, ჩემ ვ ოდნო ჲენინგრადსკოჲ დოჲე, ა კაკ პო-რავნოჲუ, კაკ ნეპოხოჲე ჲილი ვ კაჲდოჲ! კოგდა პრინჲელ ჩერედ კოლლექ-ტივიზაციი, ვ დევიჩჲემ რასკულაჩილი დენადცატჲ სემეჲ, ვ ედიჲნოჲე — ტრი, ა ვ იურჲტინე ოდნუ, და ი ტუ ბოლჲსე ტაკ, დჲჲა პორჲჲდკა. ი ვედჲ ეთო ნე სლუჩაიჲნო. ტაკ ოჲ დავნო ველოსჲ, მოჲეტ, დჲჲე ს სავოგო ნაჩალა, ოტ პერეჲოჲიტე-ლჲ... ა ჲო? იჲ ედიჲნოჲო, დოლჲჲო ბჲტჲ, პოჩალ ჲუჲიკ ოგრჲომჲჲ, ნეჲჲიჲვიჲი. პოლაჲლჲსჲ ს სოსედჲი, ოშელ ვ ჲეს, ჲა ბოლოტო, კორჩეჲალ პნი ვ ოდინოჩკუ. ედიჲნოჲო... ოგრჲომჲჲ ჲუჲიკ! ა დევიჩჲე სრუბილი, კონეჩნო, ნე დეჲკი, ეთო პოტომ ოჲე ონო დევიჩჲემუ მონასტჲრუ პრინადლჲჲჲ-ლო; ნეტ, პერეჲი სიუდა პრინჲელ დჲჲჲკა პრინჲიმისტჲჲ, Ბ-გადჲლიჲი, Ბსე რასჩელ, Ბსე ჲაპრინეტილ, ნე ტო ჲო იურჲ-ტინსკიჲ პუსტობროდ, Ბ კოტორო Ბ ჲემლჲ-ტო ოდინ სველო-სერჲჲ პესოჩეკ, ი ჲუგოვ პოჩი ნეტ.

დუმჲ ეტი ბჲილი Ბრეჲე ბჲ ო დელაჲ დავნიჲ, ნიკაკ ბროდნიკოჲ ნე კასაოჲსიჲსჲ, ა მეჲჲუ ტემ სტანოჲილოსჲ ემუ ჲალჲ სეჲჲ, ჲალჲ ჲეგო-ტო Ბოჲოჲოჲო, ნო ტაკ ი ნე-ოსუშეჲსტვიჲგოსჲ, ისჩეჲნუჲშეგო იზ ეგო ჲიჲნი. ნეტ, დელო ნე ვ ასპირანტურე, ნე ვ ნაუჩნოჲ კარჲერე. Ბერნისჲ Ბსე ნაჲად, ონ ი თეპერჲ ნე პოსტუპილ ბჲ ინაჩე. ა ოშლო, კაკ-ტო ნეჩუჲსტვიტელჲნო ისჩეჲლო იზ ეგო ჲიჲნი ჲო-ტო ბო-ლჲე ნეჲოჲოჲიჲო, ტონკოე. ონ, პოჲჲჲლჲ, ნე მოგ ბჲ დჲჲე სკაჲატჲ ჲო, ნო Ბსე-ტაკი ემუ სტო ჲეჲუმნო ჲალჲ ეტოჲ ისჩეჲნუჲშეგო.

— Алла,— вдруг позвал он,— а где мои книги, ты не знаешь?

— Какие?

— Ну, Скрынников, Зимин, Нечкина — институтские еще.

— А... Чего это ты вдруг вспомнил? По-моему, на антресолях, если Таха на макулатуру не стащила.

Еще несколько раз вечерами он принимался то перечитывать старые книжки, то листать архивные выписки, и каждый раз его охватывало это смутное нетерпение, как бы предчувствие чего-то важного, тоска по нему, но ничего особенного в голову не приходило, только спалось потом плохо, беспокойно.

Однажды приснился страшный пожар: амбары в лесу, охваченные ярко-соломенным, свирепо гудящим пламенем, убегающие люди со шкурами на плечах и ветер, пронзительно, со свистом тянущий серые песчаные swei через груды остывшей золы.

Проснувшись, подивился непонятному сну. Что это было? Люди в шкурах... «Ах да,— подумал он вдруг со злой, почти презрительной иронией,— по ночам историк у снислся неолит. Ужасно трогательно. Только тебе, брат, эти сны не по чину, тебе надо что-нибудь проще». И долго лежал, смотрел в потолок, не мог заснуть. Алла вдруг тоже проснулась, приподнялась на локте, посмотрела на него с каким-то сонным испугом.

— Что ты не спишь?

— Думаю.

— О чем?

— Да вот, что предком моим мог быть какой-нибудь мужик, сбежавший в Заволжье от Дюденева рати или, скажем, в Смутное время. И что он, понимаешь, думал, наверное, будто ушел в дикие леса, а ведь там и до него жили люди, по многу веков. А потом почему-то уходили, остатки их жилищ засыпало песком, на песке вырастали сосны, он затягивался корочкой подзола...

Алла опустила голову ему на плечо и потерялась кончиком носа о щеку:

— Чуда ты моя! Спи. Днем подумаешь,— и сразу же уснула сама.

А ему вдруг захотелось встать, закурить, отойти к открытому окну, прислушаться к звукам теплой, почти белой уже ночи. Но вставать — значило тревожить жену, отвечать на ее вопросы, объяснять... Он остался лежать и вскоре уснул.

Пока собирались, пока ехали, Бродников все чаще и настойчивее, точно оправдываясь перед собой, принимался думать, что, может быть, это и к лучшему — то, что они решили поселиться в Юрятине. Пусть! Наташке с Алкой лес, речка, грибы. Ему — не то. Он в первый же день... Нет, не в первый, потому что придут они вечером, а ему лучше всего выйти утром, почти на рассвете, и шагать обочь дороги по невысокой росной траве, оставляя на ней зеленые следы. И так — до самого едимновского колодца... Да, в первое же утро.

Но не получилось ни в первое утро, ни во второе.

Надо было все распаковать, научить Аллу обращаться с керосинкой, купить и принести ведро картошки, лично выбрать пологое песчаное место у берега и, медленно прохаживаясь, показать, что оно действительно пологое, без ям, — не убедившись в этом, Алла попросту не пускала Наташку в воду. В общем, тьма тех смешных мелочей, что, однако, держат нас цепче и неумолимей всего самого главного, потому что они — быт. Надо было устроить быт.

Но вот, наконец, устроил, наладил, вырвался.

Чудесное утро, зелень в росе, мягкая лесная дорога, легкий шаг — все как мечталось, как виделось заранее, даже колодец у конца дороги, весь черный и влажный от утренней росы, накрыт еще тенью старой березы.

А вместо обещанного себе сладкого волнения ныла в сердце тоскливая пустота неузнавания.

В какой-то момент показалось даже, что он, может, просто забыл и таким оно было всегда, их Едимново, — пять изб в одном порядке, три в другом. Но нет же! Он точно помнил: колодец был у прогона, в самом центре. Отсюда начинались две дороги: на Юрятино и ближняя, лесная, на Девичье — школьная их дорога.

Здесь у колодца они сходились: двое Васек, он, Костяка гундосый, еще кто-то... Девчонки сбивались в стайку чуть поодаль, у мишининских ворот; дальше шли кучно: мальчишки — сзади, пытаясь задирать и зубоскалить.

И здесь же.. Но как ее звали? Вот странная память: платье ее помнится — голубое, с белыми ромашками в розовых ободках, — а имя забыл. Так вот здесь же: девчонки стояли по ту сторону колодца, его не видели, он подходил отсюда и ясно, отчетливо услышал, как она сказала, фыркнув: «Вот щё! Он же дурной. И воняет от него, фу!» И сразу обожгло догадкой: это о нем.

Так потом никто и не дознался, отчего он вдруг двинул другой дорогой. Даже Васька рыжий, который ждал его так упорно, что опоздал на урок.

Да и как, кому хоть и сейчас расскажешь, что это платье с ромашками, старенькое, коротюсенькое, оставлявшее неприкрытыми белые, еще не тронутые загаром подколенницы, странно заколдовало его взгляд, — стоило посмотреть на подол, и сразу же не хватало дыхания, к сердцу подступала теснота, невнятное чувство счастья и беспомощности перед тем, чему еще не было названия.

Нюрка Мишинина — вот как ее звали. Отец ее был не колхозником, а работал в МТС, в Девичьем, еще какая-то тетка посылки им из Риги слала. В общем, совсем не то что Бродниковы, хоть и соседи. Мишининых был второй дом от колодца, а Бродниковых пятый.

Теперь молоденькие ольхи с той стороны подступали к самому колодцу, и казалось, что так было всегда, испокон веков: осевший, обросший зеленым мхом колодец, сразу за ним лесная опушка и никаких изб — ни бедных, ни справных.

Бродников пошел прямо, раздвигая руками ветки ольх, на которых было почему-то полно паутины, пригибая тоненькие березки, прыгая через налитые черной водой канавы. И почти сразу же вышел на остаток чьего-то глинобитного опечка: невысокий такой рыжеватый холмик. Он постоял, прислушиваясь к себе. Не было ни чувств никаких, ни мыслей — ничего кроме грусти и тянущей, светлой пустоты возле сердца.

«Бесчувственный ты, что ли, Бродников?» — спросил он себя. Ему было неловко, точно он нечаянно обманул кого-то. «Это оттого, — как бы оправдываясь, подумал он, — что и насчет дома я давно знал. Все знал. Тут ничего не попишешь. И вообще — разве ушло только это? Всю жизнь что-то уходит».

Он торопливо, чуть не свалившись в одну из залитых водой ямин, вернулся к дороге.

Деревня по-прежнему была пуста и тиха из конца в конец — даже куры не копались в пыли. Почти во всех избах окна были закрыты ставнями или забиты досками; на огородах буйно разрасталась лебеда. Только в одном дворе маленькая, сухонькая старушка возилась на огуречной грядке. «Смотри ты! Еще живут, — как бы даже удивился Бродников. — Чья же это изба была? Как все к черту забылось — точно стер кто-

то». Старушка разогнулась и, держась за поясицу, вглядывалась в прохожего. Серая ее фигура (один платочек — белый) у покосившегося забора выглядела так заброшенно, что Бродников невольно ускорил шаги.

От Едимнова идти ему было всего три километра лесом, но все время казалось, что идет он не так, знакомые приметы то будто показывались, то исчезали, растаивая в сомнениях.

Один раз мелькнул в молодом ельнике мальчишка-грибник.

— Эй, — крикнул Бродников, — на старый раскоп не знаешь как пройти?

— Куда? — недоуменно оглядываясь, остановился мальчишка.

— Ну, где археологи рыли когда-то.

— Не-е, не знаю. Видать, далеко, — и, дернув плечом, через которое на ременной петле висела корзина, двинулся в свой ельник.

«Ишь ты! — подумал Бродников. — А у нас все знали».

Минут через пять дорога все же вывела его к ручью. Он успокоился, уверенно пошел берегом и вскоре увидел обширную неглубокую ямину — старый раскоп. На дне ее стояла после недавнего дождя лужа, по буграм рос иван-чай, края были едва заметны — так они осыпались и оплыли за какую-то четверть века.

Бродников перешел на южную сторону (именно это направление Лазарь Львович считал перспективным для продолжения раскопок), повесил на сосну рюкзак, вынул лопатку с коротким черенком, совок, щетку — все тщательно припасенное в Ленинграде, — отмерил себе небольшую площадку — два метра на метр — на склоне, где дожди все равно уже сдвинули почву и спутали все археологические карты. Мешать будущей науке не входило в его планы. Затем, оттягивая главное удовольствие, присел отдохнуть, покурить, прислонился спиной к шершавому телу сосны.

Пахло здесь по-старому: вянущей от жары травой, свежей смолкой; паутина на молодых елочках ярко блестела на солнце; чуть потягивал ветерок, приносил горьковатый дух таволги. По спине щекотно ползла капелька пота. Бродников прикрыл глаза.

Господи, сколько, оказывается, было связано с этим раскопом!

Сначала — только неясный гул разговоров по деревне: «Эка, деньги к деньгам идут, богатым подваливают». — «А что?» — «Да вон, у Игнахи Бродникова поселились, дак двести рублей только что на сеновале спать...» — «Экие деньжишши!» — «Ну? Командировошные». — «Да куды командировошные, в колхоз?» — «Не, наука! Профессора!» — «Батюшки-светы!»

Все было интересно, всем завидно, все нечаянно бегали вечерком к Игнахе. У Лешки это летело мимо ушей. Хоть Игнаха был батькин двоюродный, бригадир, да, видно, была тут какая-то застарелая ссора, жили чужими, совсем врозь. К тому же богатство, везение — все это было так тогда далеко, что даже не вызывало зависти.

Мать болела; жили совсем скудно, особенно после продажи Маньки. Не продать было нельзя: сено вышло. Свели ее в январе, перед отелом. Лешка вздыхал: в последнее время ходил за ней сам, привык. А мать плакала.

Она вообще часто тогда плакала. Иногда просто посмотрит на Леху и заплачет. Ему и жалко ее было, и неловко.

Один раз, зимою еще, зашел — она с Анной Саввичной, учительницей, сидят, друг дружку через стол за руки держат и плачут. Выскочил пулей, долго бродил, соображая: что ж такое он натворил? Вроде бы ничего, да мало ли? В избу вернулся весь виноватый, нуря голову.

— Анна-то Саввична, — сказала мать, — вот человек. Кто б думал? Глянь, тебе расстаралась чем, — и кивнула на стол.

Там под глиняной кошкой лежали стопочкой синие талоны с сельсоветской печатью. По таким талонам дети погибших воинов на большой переменке получали в чайной бесплатные завтраки. Лешка раньше не получал: его отец был не погибший, а без вести пропавший.

Весь завтрак — стакан чаю да кусок хлеба с маслом или повидлом. Чаще с повидлом, яблочным, очень вкусным, чуть отдающим вином. К весне, когда дома, кроме картошки и соленых грибов, уже ничего не оставалось, завтраки здорово выручали.

— Вот, если помру... — начала мать и не договорила.

А Лешка сурово кивнул: понятно, дескать. Он и в самом деле понимал и то, что мать хотела сказать,

и то, почему не сказала, не пересилила себя. Ну, тогда-то, может, и смутно понимал, но и потом, сколько ни думал об этом, главное ощущение не менялось: то, что стояло между двумя женщинами, можно было понять умом, даже простить, а пересилить это было невозможно.

Анна Саввична приехала в Девичье в сороковом году. Лешкиному отцу было тогда всего двадцать; он был женат, была уже дочка Катя (в сорок втором умерла от кори)... В общем, мужик был как мужик, но тут, как на грех, нарядили его зимой в школу делать разный ремонт по плотницкой части, а там завертелось у него с молодой учительницей! Чем друг друга задели — бог их знает, а только так завертелось, что будто бы Лешкина мать хотела над собой что-то сделать. Что — неизвестно, бабы говорили об этом глухо, загадочно. Месяц лежала она в больнице; отец бегал туда, валялся под окном, клялся, а когда жена выздоровела и пришла домой, все вернулось на круги своя.

Такая была путаница, трагедия, колотун житейский. И разом — все стало пустяком, мелочью. Потому что война, проводы. А с фронта он успел написать только одно письмо, да и то не матери.

В октябре сорок первого родился Лешка, а на полтора месяца раньше появился сын и у Анны Саввичны. Лешка всегда знал, что Анны Саввичны Сашка ему вроде как брат; и то почти забывал об этом, то вдруг начинал исподтишка приглядываться к нему на переменках, искать сходство — все никак не мог поверить в это родство до конца.

К весне пятьдесят четвертого мать стала совсем плоха, почти уже не вставала, скулы заострились и обтянулись желтой глянцевиной кожей. Лешка поил ее отваром пустырника. Бабка Григориха посоветовала: от сухотки-де помогает. Фельдшер советовал другое — усиленное питание, масло, мед. Да где все это взять было? Разве что молочка заносили соседки Христа ради.

Лешка варил пустырник. От его рук, одежды, даже от книжек тянуло крепким больничным запахом.

Той тяжелой весной к ним дважды, на удивление всем, и приходила Анна Саввична. Один раз с талонами, а второй — почти уже летом — как раз под разговоры о таинственных командировочных.

Лешка в тот день все утро рыбачил: кукан нанизал довольно увесистый, хотя в основном плотва, окуньки — мелочь. Уха, однако, должна была выйти наваристая. В избу ввалился довольный.

— К тому же там не канавы рыть, — говорила учительница, сидя рядом с матерью за столом, придвинутым к койке. — Там не спеша копать, полегоньку.

— Он и так в чем душа держится, — и мать уголком косынки промокала глаза.

— Все равно в колхозе работает, а там хоть деньги будут. Ну что, Алексей, — увидела она вошедшего Лешку, — в экспедицию пойдешь работать? Четыреста рублей в месяц.

— Пойду!

За такие деньги он и к черту на рога бы полез.

— Ну, тогда — добро. Через полчаса к вам я или Лазарь Львович зайдем.

Сидели, ждали. И так велико было напряжение, так слабо верилось в подобное счастье, что не говорили ни слова, будто спугнуть боялись. А день был душный, угрюмо гудели и шелкались об оконное стекло мухи, мать отгоняла их от лежавшей на столе рыбы вялым движением руки. Быстро смурнело; стало слышно, как шорхают по стене, пригибаясь под напором ветра, ветки старой рябины, как старчески глухо где-то ворчит гром. Вдруг он ударил ближе, залил окно неживым синим светом, мать мелко закрестилась, и почти тотчас же затараторил крупный дождь.

— Пойду почищу, — сказал Лешка, поднимаясь и берясь за кукан. «Никто уже не придет», — решил он.

Но тут навстречу Лешке распахнулась дверь; маленький старичок в черном клеенчатом плаще перешагнул порог, откинул капюшон. Головка у него тоже была маленькая, сухонькая какая-то, с седоватой бородкой клинышком.

— Ух ты! — сказал он, пальцами очищая от дождя стекла очков. — Вот это ливень! — и потом только чуть согнулся в поклоне: — Здравствуйте! Так вы и есть тот Алексей, который горит желанием потрудиться на благо науки?

— Я! — испуганно выдохнул Лешка.

— А справитесь?

— Я? Вы не смотрите, я жилистый, я в прошлом годе...

— Вы садитесь,— сказала мать.— Я болею, уж извините, что у нас так...

— Ну, что вы! Сидите, сидите,— замахал старичок на нее руками.— А работа наша, молодой человек, требует вовсе не силы, а терпения и осторожности.

Он присел к столу и снова принялся протирать очки — на сей раз клетчатым носовым платком. Очки были толстые и, видно, тяжелые, потому что, как только оказывались на носу, принимались сползать.

— Слышали что-нибудь о каменном веке?— спросил старичок, хитренько улыбаясь и указательным пальцем подталкивая очки обратно.

— По истории проходили. Это когда в пещерах жили.

Лешка, следя за его манипуляциями с очками, отчего-то успокоился, решил, что дед — добрый.

— Не обязательно в пещерах. В наших краях, допустим, и пещер-то никаких не было, а люди жили, обрабатывали камень, охотились, строили селения. Потом они уходили, поселки разрушались, зарастали лесом и — как не было никогда ни людей, ничего. Обидно, правда? Вот мы с вами и раскопаем один такой поселочек, увидим, как люди жили, ловили рыбу, готовили пищу. Интересно?

— Ага!— сказал Леха довольно равнодушно. По правде сказать, ему интересно было тогда совсем другое.

— Ну хорошо,— маленький старичок встал.— Подробнее мы завтра договоримся. Знаете, где мы живем? Подходите часиков в семь. Идет? А пока,— он ткнул пальцем в переносицу очков, как бы поплотнее насаживая их на нос, и украдкой осмотрел избу,— пока, чтоб договор был крепче, выдам-ка я аванс. Большой, понятно, не могу,— он вытащил из-под плаща бумажник, отсчитал четыре десятки и положил на стол.

Уже у двери взял Лешку за плечо.

— Ну что? Не робей, воробей!— и посмотрел поверх очков хитро и весело.

Ах, какой был вечер! Лешка сварил картошку, нащипал пера на луковой грядке, полил все это купленной у Мишинихи жирной сметаной. Мать ела, на лбу у нее от слабости выступали мелкие бусинки пота. Она улыбалась, поглядывая на сына.

— Вишь, как мы враз справно зажили? Что значит работничек! Воложно едим, а?

Дух непривычно сытной пищи мешался с острым запахом мокрой листвы, втекавшим в раскрытое окно вместе с легким послегрозovým воздухом, и казалось, навсегда-навсегда вытеснял из их избы застоявшуюся в ней тесноту, затхлость.

Экспедиция состояла из Лазаря Львовича Ольшевского и двоих студентов. Студенты эти часто отсутствовали, ездили то в город, то в область. Иногда по несколько дней на раскопе работали только вдвоем: Лазарь Львович и Лешка. Такие-то дни больше всего и запомнились. Студенты обычно пели или насмешничали друг над дружкой, а без них стояла тишина. Такая же большая, полная, насквозь просвеченная косым солнцем, пропитанная смолистыми запахами лесная тишина, как и сейчас.

А Лазарь Львович сидит себе где-нибудь неподалеку — у него была редкая способность часами, не утомляясь, сидеть на корточках, — сидит себе, рисует что-нибудь в планшетку или осторожно, щетками, счищает песок с редкой находки — развала целого горшка — и говорит, говорит...

Наука Лазаря Львовича казалась Лешке чудной. Сидит над грудой черепков, дует на них, шепчет что-то, почти как бабка Григориха над своими травами. А то нашли какой-нибудь камень; студенты сразу принимают спорить: что это — нож, скребок, долото? «Минутку», — говорит Лазарь Львович. Берет камень, медленно закрывает глаза и начинает свои манипуляции: то так возьмет камень, то эдак, — старается ухватить его как можно удобнее; вот ухватил, застывает на минуточку, и вдруг рука его сама собой начинает подергиваться, двигаться. И сомнения у всех исчезают — в руке скребок. Это видно так ясно, что даже непонятно: из-за чего спорили? «Наше тело, братцы, — говорит он, открывая глаза, — та же земля, природа. Оно помнит множество вещей, забытых мозгом».

Это, наверное, странно и страшно: думать о своей руке как о земле, которая помнит, что было тысячи лет назад. Страшно и хорошо.

А самое лучшее, это когда студенты в отъезде и Лазарь Львович целыми днями рассказывает одному Лешке. Рассказы его похожи на сказку, но в сказке

этой слишком много вещей хорошо знакомых, существующих совсем рядом.

Например, «курий бог» — плоский камень с дыркой, подвешенный, как мать говорила, еще ее бабкой в хлеву под переметом, чтобы скотина не болела и хорь курей не поел и вообще от всякого дурного глаза. Этот обыкновенный «курий бог» оказывается вдруг боевым топором фатьяновской культуры. Сделан он несколько тысяч лет назад, просверлен специально зазубренной костью. Бабка, понятно, по суеверию его подвесила, хорь его не боится. Но суеверие ее не совсем от дури, как думал Лешка, а от того, что много, много веков люди помнили: зверье оружием их предков не раз было бито, должно бояться! И вывешивали его на страх всякой нечисти.

А был еще, оказывается, у древних скандинавов такой бог — Тор, вооруженный каменным топором, «курью богом», и топор этот назывался — «майолниор». Бог швырялся им во врагов, и тогда по небу пробегал огненный след — молния.

Молния — от «майолниора».

Это так запомнилось, что через год в первую же грозу Лешка принялся рассказывать о боге Торе пожилым теткам, с которыми асфальтировал улицы в Автове, новом районе Ленинграда.

Был июль, душно, от горячего асфальта всходило сизое мазутное марево, он ехал на запятках катка, протирая огромные колеса тяжелой мокрой тряпкой, и думал, как и почти всегда в то лето, обо всем сразу — о себе, матери, тетке Варюхе, у которой жил в тесной дворницкой на Кирочной, о слесаре Демьяне, ее хахале, — голова тяжелела и мутнела от этих дум хуже, чем от запаха солярки.

А тучи над ним густели, бабы торопились, покрикивали друг на дружку, матерились. Потом вдалеке что-то тяжело и протяжно хрустнуло, будто сразу, рывком располосовали кусок толстой парусины; пробежал, холода спину, ветерок, пахнувший не соляркой, а то ли огурцом, то ли арбузом — чем-то невыразимо свежим, новым...

Через десять минут все сидели в подъезде недостроенного дома. В дверной проем было видно, как туго, напористо лупили струи воды по только что уложенному ими, еще не остывшему асфальту, и Леха вдруг ни с того ни с сего стал объяснять про бога Тора, про каменный его топор, ставший «курью богом». Горластые

бабы из их бригады притихли, слушали, разглаживая на коленях косынки.

Женщины эти всего повидали и хлебнули в войну, пришедшуюся как раз на самые их хрупкие девичьи годы. Это были сильные женщины, широкие в плечах и в бедрах; пережитое делало их только горластее и хватче. Лехе немало от них доставалось, особенно от одной, Груни Карташевой, которая при всех ловила его в могучие свои объятия, тискала и предлагала пройтись с ней во время обеда в укромный уголок, а когда он от нее прятался, хохотала жутким, раскатистым басом. Но и она загрустила о чем-то после его рассказа, примолкла и только шумно, печально вздохнула, когда кто-то посоветовал: «Учись, Леха, видишь, как все хитро склеено, а?»

А гроза была короткой. Когда вышли на улицу, от теплого асфальта слоями всходил тонкий желтоватый туман. В нем Лешка вдруг до боли ясно, яснее чем когда рассказывал Лазарь Львович, разглядел неширокую лесную речку Топорок, летний закат и поселок, в котором жили четыре тысячи лет назад.

Он стоял за версту от Волги, укрытый лесом, хотя жили в нем рыбаки. У воды возилась голопупая ребятня, высекая на розовой от закатного солнца воде «блинчики» плоскими отщепами, что грудой лежали у каменной мастерской. Горбатились мостки из белых березовых жердин; сохли сети с круглыми глиняными грузилами, почти такими, как у юртинского дяди Паши; берег был усыпан стружкой, рыбьей чешуей, отбросами, в которых рылись сыто ворчащие собаки. Собак было так много, что даже амбарчики, в которых висели связки сушеной рыбы и вяленого мяса, ставились на столбики. Псы бродили под ними, бессильно принюхиваясь к людским запасам. Еще дальше от воды, на поросшей редким сосновым лесом песчаной дюне стояли длинные дома, разделенные шкурами на мелкие клетушки.

Камень жители поселка сверлили костью, дерево долбили камнем, в кострах обжигали глину. Жизнь их была проста и понятна. А если их близких посещала смерть, то горе выгоняли в причитаниях и громких плачах у погребального костра. Не сжимались они, не замолкали и не несли нерасплесканной эту страшную тяжесть — память и горе.

Лешкина мать умерла в начале весны.

Летом, пока работала экспедиция, пока в доме водились сметана, масло, она было даже посвежела немного, стала выходить во двор, копаться в огороде. Но осенью, чуть зарядили дожди, снова слегла и больше уже не вставала. И так ослабела под конец, стала такой легкой, сухонькой, что Лешка, когда надо было оправить постель, на руках переносил ее с койки на лавку и обратно.

На похоронах все сделалось как-то само собой. Лешка сидел на лавке у окна и без всякого любопытства смотрел на улицу. Он сам не знал, жаль ли ему матери, грустно ли, или только скучно?

Страх, черная провальная тоска — это пришло потом; а тогда все в нем просто застыло. Застыло — и все! Сидел себе у окна, не понимая и не интересуясь тем, что делается в избе, зачем заходят и уходят эти люди и кто они такие. Только однажды его вывела из этого оцепенения тетка Зина Мишинина. Подошла, сказала, что на гроб и все прочее нужно двести рублей; у него было семьдесят пять. Он сказал и даже показал их — семь потрепанных десятков и синенькая хрустящая пятерка. Тетка подержала деньги в руках, странно двигая ртом. Потом, сунув их обратно в карман его куртки, махнула рукой и пошла прочь. Больше никто ничего у него не спрашивал.

Пришла подвода, и гроб, осыпанный еловым лапником, вынесли из избы. Народу было немного, человек семь. Бродников ничего не запомнил, кроме того, как мерно, всегда на одном и том же месте попискивало вихлявшее тележное колесо и что в придорожной канаве кое-где еще лежал снег, почти совсем черный. Мать зарыли в Девичьем; обстучали лопатами, выровняли холмик земли, придав ему форму гроба, и разошлись. Бабы, уходя, целовали его в щеку. Пошел дождь, холодный и тихий, а он все стоял, то вспоминая, что ему, верно, надо куда-то идти и что-то делать, то снова застывая в тяжелом бездумье.

Чья-то рука легла ему на плечо и мягко поворачивала, подталкивала. Он оглянулся. Лицо у Анны Саввичны было усталое, мокрое, она что-то говорила ему, губы шевелились... Надо было куда-то идти, и он пошел, не сопротивляясь.

У Анны Саввичны пили чай с сахаром. На столе лежала ажурная скатерка, вязанная из желтоватых тол-

стых ниток по тогдашней моде, тикали ходики с привешенными на гирю кусачками. Ели городские баранки с маком, наполнявшие рот блаженной хлебной сытостью, но такие хрусткие, что он закрывал глаза, прежде чем отломить зубами кусок. Закрывал глаза и все-таки каждый раз внутренне вздрагивал от этого резкого хрупа. Анна Саввична опять что-то говорила, он кивал, не понимая, не слыша, но соглашаясь. Чувствовал, как разливалось по животу тепло чая и как что-то отмякало в груди, ослабевало, теплело.

На комод в резной рамочке стояла фотография полной, нарядной дамы. Что-то в ней было знакомое. «Это артистка?»— спросил он. «Это моя сестра, в Москве живет, Марина Саввична, помнишь, как я рассказывала, что вместе с ними попала на Красную площадь, на гостевую трибуну? Мы были совсем близко от Мавзолея, и я видела...»

Анна Саввична рассказывала еще что-то, Бродников уже не слышал. В окнах синело, дождь монотонно ширкал по драночной крыше, свет помигивал в лампе; временами все куда-то отодвигалось, потом снова делалось близким, ярким: Сашка стоял рядом с ним, держа за плечо, и что-то спрашивал. Бродников вспоминал, что это как-никак его брат, хотел напрячь внимание и понять, но не смог и только кивнул, как бы соглашаясь. Сашка обрадовался, хлопнул его по плечу и исчез, а Анна Саввична повела его за заборку, где висел черный коврик с изображением Красной Шапочки и под ним стояла кровать с никелированными дужками и шариками на спинках.

Назавтра Бродников проснулся поздно, солнце било поверх задернутых полотняных шторок, лежало на одеяле рыжей полосой, и ногам в этом месте было жарко. Анна Саввична и Сашка ушли в школу; сухая, шуршащая, потрескивающая тишина наполняла дом. Бродников рассматривал коврик, нарисованный на крашеном байковом одеяле по трафареткам: красная шапочка на девочке сидела лихо, на палец съехав с золотистой головки.

Вдруг вспомнилось: мастер, делавший такие коврики, жил лет шесть назад в Кириллове. Все ездили, отвозили одеяла, заказывали. Мать тоже мечтала о таком коврике, а денег все не хватало. От Едимнова до паромы было так далеко, что нечего было и думать возить на рынок молоко, она возила только творог да сметану;

раз в две недели отправлялась с двумя ведрами на коромысле и, вернувшись, подолгу леживала на теплой печке, отогревала поясницу; лоб ее покрывался мелким бисером пота, пальцы плясали.

Только теперь, лежа в тепле и вспомнив это бледное от слабости лицо с запавшими щеками и почти беззубым ртом, Бродников окончательно понял, что смерть — это навсегда. Это непоправимо.

Хотелось расплакаться. Вместо этого он быстро встал, застлал койку и вышел в большую комнату. На столе для него стояла кружка молока, покрытая большим куском хлеба с яблочным повидлом, но есть он не стал. Принес свой пиджак с терраски — как только пришли вчера, Анна Саввична повесила его там сохнуть, — достал из кармана тонкую пачку писем, перевязанную ленточкой, и, разложив их по столу, нашел одно, нужное, — от тетки Варюхи из Ленинграда.

Красивая полная женщина с фотокарточки на комод, улыбаясь, следила за тем, что он делает. Она и в самом деле была очень похожа на Анну Саввичну, только совсем из другой жизни.

Словами не сказать почему, но оставаться жить у Анны Саввичны Бродникову было невозможно: нельзя было жить с Сашкой, хотя он ему как-никак брат и вообще неплохой парень. Надо было ехать в Ленинград к отцовой сестре, которая работала дворничихой, по слухам, важно зашибала и распутничала, к тетке, которая еще неизвестно как его примет.

Жалко было расставаться с теплом и тихостью этого дома, Анной Саввичной, даже с девочкой на коврике, но он все-таки несомненно знал, что оставаться ему нельзя, надо ехать. И Анна Саввична, пожалуй, знала это, почти с ним не спорила, только все вздыхала и подкладывала ему куски повкуснее.

В конце июня он уже заливал асфальтом ленинградские улицы.

Ему не было еще и пятнадцати, работать он должен был шесть часов, но мастер сказал, что это дудки-с, вот семь — это он еще согласен. Ходить было некуда, сидеть у тетки невыносимо скучно, тяжело, — он работал восемь, как и все, и мастер Иван Трофимович быстро его полюбил, выписывал обычно лишние полсотни, а Лешка, получив их, дул в ближайший магазин за двумя поллитрами. Бригада устраивалась где-нибудь в тенечке, тетки выкладывали хлеб с салом, вареную

картошку. Выпив по стаканчику, бегали за подмогой, пели песни, матерились и плакали. Сначала ему было с ними очень стыдно, особенно если Грунька Карташева начинала вроде бы шутя тискать его к своей могучей груди, потом пообмялся, пообтерся, сам выпивал четверть стаканчика, и все делалось обычным, даже уютным.

И первой его женщиной стала все-таки Грунька, только это было уже глубокой осенью, в недостроенном доме, на полу, усыпанном мелкой стружкой, под угрюмый шорох дождя. Судорога любви, ватность ног потом — все показалось необыкновенно, оскорбительно противным. Было так худо, что даже Грунька что-то почувствовала. Сперва она все хихикала, потом притихла, сидела рядом, гладила его по плечам, по голове. Руки у нее были неожиданно легкие, жалостливые. Потом, когда расходились, сказала, вздохнув: «Бесстыжая я, а? Верно? А что делать, Лешенька, жить-то хочется. Ты не смущайся — привыкнешь». Ему было пятнадцать, ей — двадцать восемь. В их связи было что-то неестественное, какое-то безмерное унижение человеческой сути. Он понял, почувствовал это в самый первый раз, но, как ни странно, это ничему не помешало, он привык. Вожжались почти год, до самого поступления Бродникова на завод.

Да и, господи боже мой, к чему только не привыкает человек, с чем не сживается, в чем только не находит своего уюта, утешения и чуть ли не поэзии... Можно привыкнуть к затхлому воздуху подвала, к бесцельным и бестолковым выпивкам, к любви Груньки Карташевой, даже к дружбе Демьяна, теткинго хахаля, необыкновенно длинного и тощего мужика, жэковского слесаря со шрамом на носу.

Шрам этот, утверждал Демьян, от минного осколка, а Леха был уверен, что ему просто прокусили нос в драке. Любви без выпивки Демьян не признавал, а осушив приготовленную теткой маленькую, становился необыкновенно ревнивым. Придя из кино — Лешка всегда уходил в кино, когда приходил Демьян, — он частенько находил новое украшение на теткиной физиономии.

Один раз Демьян при нем стал кричать на тетку: «Шлюха! С племянничком спишь!» Леха не выдержал и схватил его за грудки. Демьян был сильно пьян, отлетел легко, голова сухо, как яичко о стол, цокнулась

о стенку. Лешка даже испугался: не убил ли?— но Демьян поднялся, сказал с непонятной угрозой: «Значит, так? Ну, ладно...»— и ушел, а тетка тоже была порядком дунувши, принялась рыдать, рвать на себе волосы, кричать, что не звала его вмешиваться в ее дела и лишать последней радости, вообще не звала! Лешка сидел, ничего не понимая; она металась по комнате, наконец подскочила к двери, рванула ее и завопила: «Вон!»

Эту ночь и еще около недели он провел в строящемся доме близ места, где работала их бригада, подружился со сторожем, даже устроил в одной из комнат то ли постель, то ли некое подобие гнезда из старых рваных ватников, которые в избытке водились во всех конторках стройки и пропажи которых (если, конечно, не жадничать и не сгребать все) никто не замечал. Все-таки когда тетка нашла его и позвала назад, кочевряжиться он не стал.

Демьян с того раза его зауважал, даже говорил, что он сделал правильно: за своих вступаться надо, а то кто и вступится, если не свои? Тетка и нашла-то его по настоянию Демьяна. Выпив, он теперь рассказывал о фронте и приставал обидчиво:

— Чего не пьешь? Все равно привыкнешь, куда не денисси. Или брезгуешь?

Бродников встал, прошелся, разминая ноги, прислушиваясь к окружавшей его тишине, наполненной мелкими шорохами и скрипами лесной жизни. Вдалеке закричала кукушка; он замер, считая. Насчитал двадцать семь. «Ну, что ж...— подумал.— Тоже неплохо. Почти три десятилетия»,— и, опустившись на колени, принялся срезать дерн. Через минуту кукушка послышалась снова, дальше и глуше. «Это уже года старости,— решил Бродников,— не стоит и считать».

Куски дерна он складывал по краю отмеренной площадки. Запах влажной свежей травы мешался с запахом сырого песка, гниющих корешков. Запах жизни и тления, бесконечного времени. Работа была пока чисто механической, внимания не требовала, и мысли сами собой соскальзывали к растревоженному прошлому, сдвинутому вдруг с того места, которое оно давно и привычно занимало в душе.

То, что всегда казалось понятным и само собой разумеющимся, представало вдруг своей удивительной стороной.

Почему, в самом деле, эта жизнь с ее напористым, неоспоримым «ничего, так у всех, привыкнешь», с ее Груньками и Демьянами, с ее уютом выпивок в тепле полуподвальных котельных, с поэзией пьяных дружб и клятв, почему она подминала, засасывала взрослых и дюжих,— пусть не всех, но ведь многих!— а его, такого еще лопоухого, зеленого и мягкого, не осилила? Раньше это казалось естественным, как кажется естественным все хорошее в собственной жизни, а теперь вот вдруг — удивило.

Жизнь напирала не шутя, обстоятельства гнули беспощадно, но в нем, зеленом и мягком, была, оказывается, какая-то пружинка, что, выждав своего часа, распрямлялась, отбрасывая эти обстоятельства на место, позволяла хоть бы на миг взглянуть поверх них, поверх ближнего круга жизни.

Когда прикручивало до упора, после всяких скандалов, обид, было очень хорошо, засыпая, думать о том, что завтра он вполне может пойти к Лазарю Львовичу и все рассказать, что он и живет-то где-то рядом, на Моховой, и бумажка с его адресом лежит в одном пакете с материнскими фотографиями и свидетельством об окончании семилетки. Иногда даже решал: все, завтра пойду обязательно. От этого как-то сразу тепло в душе, отпускало...

Но утро вечера мудреней, наутро обычно оказывалось, что не так уж и велика беда, чтобы не справиться с ней одному. А к Ольшевскому можно сходить потом, когда устроишься на завод, снова пойдешь в школу, когда ее закончишь.

Так все и отодвигалось.

К Лазарю Львовичу он впервые пришел уже зимой шестьдесят четвертого, второкурсником университетского истфака. Старик не изменился, только борода совсем поседела, стала изжелта-зеленоватой. Бродникова он не узнал, а когда тот назвался, то суетливо, по-стариковски обрадовался. Сразу спросил о матери, повел в кабинет, стал вспоминать Топорок.

Пили чай с ликером и домашним печеньем и говорили: Бродников о своей жизни, о планах, а Лазарь Львович о раскопках минувшего лета и вообще обо всем, например, о горшке, этом первом хранилище пищи, первом холодильнике, первом складе.

— Да-да, глиняный горшок был великим изобретением! Зажарить мясо можно и на углях. В горшке, до-

рогой мой, его можно оставить на завтра, освободить себя на целые сутки от забот о пище, дать волю оглянуться, подумать, побездельничать. Вы себе не представляете, Алексей, какое громадное значение имело в развитии человечества время безделья, свободы от изнуряющей заботы о хлебе насущном! Оно породило не только науку и искусство, оно подарило нам память, сознание прожитого времени, потому что для памяти и сознания тоже нужно время. И все — горшок. А к тому же именно горшок донес нам все самые древние орнаменты, а это, знаете, Леша,— это великое дело — орнаменты! Да-да, великое, не улыбайтесь!

Старик отчего-то так заволновался, что вскочил и принялся расхаживать по комнате. Говорил он, взмахивая руками, иногда почти задыхаясь, как от сдерживаемой страсти.

— Орнамент!— говорил он, поднимая зачем-то сухонькие руки к потолку.— Мы ведь не понимаем его по настоящему. Не понимаем! Мы знаем все типы, завели подробнейшую классификацию, но смысл — смысл нельзя классифицировать. Его можно постичь! И вот тут-то мы бессильны. Настолько, понимаете ли, Леша, бессильны, что даже склонны считать, будто его нет, этого смысла! Орнамент-де просто знак принадлежности к определенному времени и племени, вроде нашей фабричной марки. А все почему? Потому что он, видите ли, повторяется без изменений. Так ведь он не сам повторяется. Его повторяли. И, значит, видели в нем смысл.

— Магический?— спросил Бродников, чтобы как-то приостановить старика.

— Что вы! Господь с вами!— замахал тот руками.— Другое дело — обрядовый. Это еще куда ни шло. Но обряд — просто способ запоминания, обучения. А магию мы раздуваем сами. Древние вовсе не были мистиками. Это практики почище нас с вами. Наоборот, магия — она отчасти из орнамента и родилась, вернее, выродилась. Орнамент был не заклинанием, а творчеством, высказыванием о самом важном, самом сокровенном. Он был способом осмысливания жизни. Понимаете? Одним из дописьменных способов, да-да. Возьмите простейший орнамент — менандр. И скажите, почему эта нехитрая ломаная линия повторяется бесконечное число раз, покрывает тысячи квадратных метров? Не знаете? А вы к ней приглядитесь. Приглядитесь и увидите: в ней есть идея. Идея самой жизни — беско-

нечной, неожиданно изменчивой, повторяющейся, гибнущей и возрождающейся. Идея важнейшая для человека, для его самосознания, для осознания течения времени. Создавая орнамент, человек творил, организовывал мир, выявлял его закономерности и — главное! — сообщал о них другим.

Бродников вежливо поддакивал, не понимая, почему старик сбился на эту тему, почему горячится. То, что он говорил, было настолько понятно, что даже казалось, что и сам давно так думаешь. Непонятно было другое: что здесь такого важного и интересного? Он уже хотел сказать об этом, но почему-то удержался, ввернул только:

— Вы сами же говорите: тысяча метров одного и того же?!

— Ну и что? Вы считаете, что повторение это не творчество?

— Конечно.

— Прекрасно. А как быть тогда с мифами, сказками, былинами? Даже не с исполнителями, а с их структурой, внутренней сущностью? Там же сплошные повторы: повторяются словесные формулы, ситуации, группировки ситуаций. Три попытки, три дороги, семь поклонов, двенадцать перьев из крыла... Ведь это все тот же орнамент, вы не находите? Так сказать, орнамент проглядывает сквозь ткань уже совершенно новой формы творчества. А Библия? — старик победно взглянул на него поверх очков, как бы обещая, что раз уж не помогло предыдущее, он двинет в бой свой главный резерв. — Об орнаментальных приемах этой великой книги я могу вам хоть трехчасовую лекцию прочесть. Правда, в этой особенности текста мы уже не улавливаем смысла, считаем ее данью традиции — так-де было положено, повторяли-де, чтобы легче запомнить, потому что все было устно. Но это все, милый мой, чушь! Леность мысли! Мы просто этого не понимаем. Эта грань мышления нами утрачена, а в жизни древнего человека она была так важна, что проявлялась повсюду.

— Да-да, конечно, — сказал Лешка.

Они расстались, договорившись, что будущим летом Лешка поедет в экспедицию с Лазарем Львовичем и вообще будет заходить. Обязательно заходить, как можно чаще.

Заходить без дела было неловко, а к будущему лету

в жизни Бродникова появилась Алла. Она уезжала со стройотрядом; стройотряд — это было так ново, интересно, заманчиво. Расставаться с Аллой на все лето казалось вообще невыносимым. У них то будто налаживалось, то снова было холодно, зыбко на грани разрыва, и нужно было искать пути к примирению, к ее улыбке, к возможности обнимать это тонкое сильное тело и видеть себя в черном провале зрачков, окруженных темным малахитом радужки. Это было важнее и интереснее всех археологических эпох, вместе взятых. Ну и, конечно, деньги были нужны. Рядом с Аллой невозможно было представить себя в рваных туфлях или потертых брюках.

А в квартиру Ольшевского он позвонил снова только через два года. Открыла ему та же старушка, но, когда он спросил, нельзя ли видеть Лазаря Львовича, она заплакала и пошла в глубь коридора, ничего не ответив. Он пошел следом.

Оказалось, Лазарь Львович умер еще зимой. Старушка так растрогалась сокрушенным видом Бродникова, что подарила ему книжку «Неолит Среднерусской возвышенности. Записки археолога».

— Лазарь Львович так и не дождался ее выхода, — говорила она. — Говорил, правда, что не совсем она научная, но очень ждал. Вот, возьмите на память.

Эта старушка, как выяснилось тут же, была Лазарю Львовичу не жена, — жена его погибла в блокаду, — а домработница. Горе ее было безутешно.

Книжечку Бродников прочел между делом, в метро, даже не прочел, а по скверной тогдашней привычке пробежал, ни во что не вникая.

Во всяком случае, когда совсем недавно, перед отпуском, она снова попала ему в руки при разборке какого-то домашнего хлама, он очень удивился, найдя там подробный рассказ о раскопках стоянки на Топорке близ деревни Едимново.

«Как странно, — подумал он теперь, усаживаясь на краю вскрытой площадки и с наслаждением закуривая, — это, пожалуй, тоже похоже на орнамент. В бесконечной ткани одна ниточка ухватилась за конец другой, велась ею, поддерживалась. Впрочем, нет. Было бы похоже... А так — как только старая нитка кончилась, новая вильнула в сторону, ничего не продолжила. Какой же это орнамент? Это обрыв, путаница. Был бы орнамент — как было бы просто».

Обратно Бродников пошел лесом прямо на Юрятино. День на раскопе утомил и опустошил его. Выйдя на волжский откос, он с удовольствием скинул с плеч рюкзак, в котором были упакованы находки: фатьяновский сверленный топор, наконечник стрелы с обломанным острием и несколько черепков толстой синевато-красной неолитической керамики, сплошь покрытой коническими ямками.

Солнце садилось за лесом; над рекой стоял тот тихий синеватый час, когда даже на самые беспокойные души слетает божья благодать покоя и умиротворенности. Юрятино светило уже желтоватыми огнями из-за легкий туман наполнял низинки, и над рекой далеко-далеко была видна его жидкая, живая кисея. По течению величаво скользил белый трехпалубный теплоход, цепочки его огней были четко опрокинуты вниз, в темную, лаковую воду. Играла музыка, и голос затейника, усиленный мегафоном, звучал с натужной бодростью: «Напоминаю: у нас конкурс на лучшую танцевальную пару. Танго. Готовьтесь, товарищи, готовьтесь!..»

Было странно, что есть люди, которых в такой час занимает танго, выкрики затейника и все прочее столь же секундное, пустое — будто не над ними бесшумно плывут и исчезают века и эпохи, будто не они продолжают десятки других жизней, страдания и радости, бесконечные поиски истины и счастья, будто все вообще в мире мелко и сиюминутно, а не связано в бесконечный, непостижимый узор.

«Нет, им сейчас хорошо,— думал Бродников,— уехали из дома, от неприятностей по службе; все это за кормой, ото всего оторвались, а рядом — только музыка, чего-то ждущие женщины, призывный аромат их духов — вся прелесть легкого, сиюминутного счастья. Когда отрываешься — это ведь всегда легкость, свобода...» Вдруг вспомнилось, как той радостною суматошной весной, когда все казалось впервые, потому что они с Аллой впервые должны были ехать вместе — пусть другие думали, что они едут, как все, в стройотряд, но они-то знали, что вместе, — какой докукою висела тогда над ним эта необходимость идти на Моховую и объяснять, что планы его изменились, потому что... Да разве старик мог понять почему? Начнет говорить о науке, о горшках и орнаментах. Вот тягомотина-то! И как его вдруг осенило, что к старику можно совсем не идти — и все! И пусть он как знает! О, как замечательно ото-

рваться от того, что тебя держит, имеет на тебя право. Как заманчиво спросить: «А что, собственно, за право? И не пошли бы вы...»

«Сейчас-то им хорошо,— думал он о тех, на теплоходе,— оторвались, вспорхнули! А что будет потом, они еще не знают».

Бродников снял ботинки, подкатал брюки и вошел в воду. Она неслышно поднялась почти до колен и опустилась, с тихим шорохом скатываясь по прибрежному песку. Первая волна, поднятая теплоходом, докатилась до берега. За нею вторая — так же неслышно лизнула колени. Это влажное поглаживание было как ласка. Сама река успокаивала, зализывала старую ранку.

И новая волна с влажным шорохом накатила на берег и отхлынула, будто перелистнув невидимую страницу.

И снова был вечер, и он сидел на том же откосе. Так же опускались сумерки, только более туманные. Рядом с ним на одеяле лежала жена, они тихо переругивались, тщательно делая вид, что просто разговаривают, как это часто у них бывало.

— Что за деревня, господи,— говорила Алла, досадливо морща нос,— ни молока, ни овощей. Мы с Тахой всех обошли и даже яиц не купили. А огурцы по рублю кило! В городе и то дешевле. Не знаю, чем вас завтра кормить буду.

— Свари картошки с тушенкой,— сказал Бродников.

— Нет, я удивляюсь твоей беспечности,— она приподнялась на локте.— Как будто с тобой нет ребенка, которому нужны витамины и вообще правильное питание! Если бы ты чувствовал себя отцом...

— Я не понимаю,— Бродников встал. Ему хотелось почему-то смотреть на жену сверху вниз,— не понимаю, мы что — весь год так плохо питаемся, что в отпуске обязательно нужны яйца и свежие овощи? Нельзя ли смотреть на эти вещи попроще?

— Нам, может, и можно, но ребенок есть ребенок. Она должна окрепнуть перед школой.

— Окрепнет, пусть вон с мячом бегает.

Алла Максимовна повернулась и посмотрела в сторону дочери:

- Natasha, where is your ball?
— Тут, вон он.
— No, you must answer me in English: where is the ball?
— It is here, mother.
— Перестань ее муштровать своим английским, у нее и без того пятерки,— сказал Бродников.
— Мне не пятерки важны, а знание языка. Я хочу, чтобы она выросла культурным человеком, а не просто получила диплом.
— Да, не просто диплом, как я. Так? Договаривай, что ж ты не договариваешь?
— Да, господа, при чем здесь ты? Вовсе не имела в виду. Я только не могу понять,— не поворачиваясь к мужу, быстро проговорила Алла Максимовна,— ужели нельзя любить родину, отдыхая в Крыму или на Кавказе, пользуясь удобствами...
— Нельзя,— сказал Бродников и пошел в сторону, крича:— Таха-птаха, буцай сюда, я поймаю.
— Ну вот, теперь он будет учить девочку играть в футбол!
— Буду,— сказал Бродников, останавливая ногой мяч.— Обязательно. Это очень полезно. Лови, Таха!

А Анна Никитична здесь же на берегу все ждет, все высматривает кого-то. Слабый вечерний туман совсем тонок, невидим у берега. Подальше он чуть заметно всплывает над водой, колеблется, как кисея, а над нижнею протокой уже плывет в синем воздухе сумерек густыми разводами. Нытье моторок странно растекается, путается под этим туманом. Вот вроде бы точно с того берега, усиливаясь, наплывает звук, и тень вроде бы движется под туманом от Плосок; сердце начинает стучать сильнее, но лодка неожиданно и пугающе вырывается сбоку, от Зуевки, за ней на веревке докторова жена на водных лыжах: одна рука в сторону — красуется... Тоже вот удовольствие: проволоочь свою голую бабу по всей реке, перед всеми мужиками.

Анна Никитична глядит вслед лодке, осуждающе качая головой. Потревоженная река, как ребенок во сне, чмокает мокрыми губами, вздыхает, медленно укладывается. Приплеск становится совсем тихим, журчащим. Слышно, как бултыхаются, кричат, хохочут в Зуевке мальчишки. Вода там совсем теплая, теплой,

чем в Волге; домой не зовут — хорошо! А придешь, тебе бабка молочка парного с хлебцем — так уж чего лучше.

Вот снова лодка — вроде бы от Плосок; сердце начинает стучать свое, но — нет, это из Малой протоки, с сеном. Выплывает медленно, целый стог на ней. Мотор ноет поглуше, с натугой. Должно, кто из бабнинских мочажинника накосил. А кто — не разглядеть.

Кисель сумерек загустевает, лес за Зуевкой уже стоит сплошной темно-синей полосой. Десятый час. Виктор так поздно не может уже. Последний автобус в семь пятнадцать. Да в субботу он почти никогда и не приезжает. Если едет, то в пятницу. Значит, можно бабке на целую неделю успокоиться насчет своих дачников.

Вот они: он в плавках, бегаёт с дочкой за мячом, хохочет; жена сидит на одеяле, скрестив ноги. Нет, хорошо, что она их пустила. Хорошие люди, как не помочь.

У баб Дуни все еще сидят на скамеечке у ворот: сама Дуня, Нинка и Толят.

— Куды, Нют? Садись, посумерничаем. Нинк, семечек ей сыпни.

Нинка сыплет семечки в подставленную ладонь. Только прокалила, еще тепленькие.

— Лешка-то когда прибыть собирается, тетя Нют?— спрашивает Толят.

— Уж как из Ленинграда приедет. Недели через три вроде.

— Ты ему напиши: уток на Петровском озере нынче много. Мы в «Строитель» ездили, опытом меняться, я спрашивал. Говорят, много, а я там два таких болотца знаю — куда! Ты ему напиши, так он к первому сентября как штык будет. А то мне охотиться не с кем.

— Ну и хорошо, что не с кем,— не терпит укорить Нинка.— Тебе бы все охотиться, да по грибы! На корову еще не напасли.

— Не возникала б ты,— лениво тянет Толят и после паузы добавляет, сплевывая шелуху:— Тьфу, пропасть! Все настроение сбила.

И уходит. Длинный, худой, он, стукнув калиткой, растаивает в подызбной тени, будто и сам тень.

— Ну и язык у тебя, Нинка!— удивляется баб Дуня.— Совсем без ума.

— Чо — и сказать нельзя? Сколько просила, просила...

— Просила! Ничо с тебя не опало, что ты просила. На вот,— гремит ключами баб Дуня.— Иди хоть пивка, что ли, налей, а то там у меня и водочка в буфете есть. Иди, иди...

Нинка что-то ворчит, потом поднимается и тоже растаивает в густеющей темноте.

— Охо-хо,— вздыхает баб Дуня,— все их учи! У той одни пляски в уме, у этой язык как помело. Так за ними и помереть забудешь. Охо-хо-хо...

Сухо трещат на зубах семечки, желто светятся окошки, синё, туманно клубятся сады и палисадники, и медленно, торжественно догорает над жаворонковским садом узенький проблеск заката.

Хорошо!

4

Когда тебе восьмой десяток, а встаешь все еще на брезгу, шебуршиться начинаешь в раннем сереньком тумане, то руки твои, ноги привыкают жить как бы отдельно; они хлопочут уже, двигаются, а голова на ходу свой сон добирает. Иной раз вроде бы только из морока сонного вынырнула, руки-ноги на месте обнаружила — ан, глядишь, они-то давно уже при деле: и корова у тебя подоена, и Толька с Нинкой накормлены, стоят уже на улице, у машины, договариваются о чем-то. А ты у окошка стоишь, на них смотришь, и сердце тебе теснит не по-хорошему: что это они все договариваются, договариваются? Это после десяти-то лет жизни! К добру ли? Нинка чему-то засмеялась, села в кабину — Толят ее, значит, до телятника подвезет. Ну, слава богу, все у них в порядке, а то на старости лет чтой-то сердце совсем робким стало.

Баб Дуня медленно, с натугой разгибается, отрывая локти от подоконника. В избе еще сумрак, а заглянешь за заборку, в угол,— там и вовсе темно.

Людка, прикрытая одной простыней, спит, закинув руку за голову, бесстыже открыв глубокую и темную девчачью подмышку. Лица не видно, но вроде бы улыбается, и ноги чуть заметно подрагивают, дергаются под простыней. Вот чертова кукла! Прибежала вчера в песий голос, а все ей мало — и во сне танцует!

Бабка опускает занавеску, идет на терраску. На лето Толят переносит туда газовую плиту, чтоб в избе было прохладней. По дороге она останавливается у шка-

фа: из дверок торчит уголок голубого Людкиного платья. Пришла вчера, сунула в темноте наспех, как попало. И до чего же они одежи не ценят! Так таскают, будто им каждую неделю по платью справлять можно. Им бы, чертям, по талонам выдавать. Талдычишь им, талдычишь...

Она открывает шкаф, бережно вынимает платье, расправляет, оглаживает его на плечиках, осторожно вешает. Платье-то дорогое. Антонина сказывала: по двадцать рублей за метр. «Шутка ли — такие деньги не беречь, — думает баба Дуня, — взять бы вицу...» А до конца не додумывает. Нет в душе злости; грусть и тепло разлиты возле сердца: ишь, вчера наглаживала, наглаживала... Бабка, вздохнув, запирает шкаф, покачивает своей седой, с утра еще не чесанной головой.

К добру ли Людка на танцы так зачастила? Нонешние студенты жох-ребята. Гладкие да хваткие. За месяц отгрохали коровник на триста голов — шутка ли? А как стемнеет, так все равно — танцы. Дурешки наглаживаются и летят. Не было бы потом слез. «Ох, нехорошо, — думает баба Дуня, но тут же вспоминается ей темная, горячая внучкина подмышка и мысль от этого странно меняется. — Нет, хорошо, — думает она, — хорошо, только страшно. Антонина приедет, так по-настоящему надо рассказать ей, да у нее — нервы. У всех нервы. Накричит без толку на девку. Уж лучше как проснется, я ее сама выругаю. Сама выругаю, а Антонине — не скажу!»

На дворе — будто и не ободняло ничуть. Так же серенько, так же тянет знобкой свежестью. Вроде и туч нет, и солнце не пробивается: наволочно. От этого и в костях такая тоска.

Пришлый дачник идет от Волги, голый по пояс. Волосы мокрые, сам жирный, белый. Приседает на ходу, руками машет. Заяб, видать, а фасон держит. Чуть свет встает и — в Волгу.

— Доброе утро, Евдокия Петровна.

— Доброе, доброе. Подь-ка сюда.

Тот огибает угол двора, заходит.

— Здравствуйте.

— Здоровались уже. Замерз-то, чай?

— Я? Ну что вы! Хотя не жарко.

— А что ж в воду полез?

— Для бодрости.

— На вот молока девчонке.

Баб Дуня протягивет ему двухлитровую банку. Пришлый дачник расплывается в улыбке:

— Вот спасибо.

— Маныхиных дачники в Москву уехали, так можешь каждый день брать.

— Ну? Замечательно. А то меня уже загрызли: завез, говорят, в деревню, молока нет...

— Така у нас теперь деревня. Две коровы да коза. А то всё дачники.

— Дачников у вас много стало. Погода вот только...

— Сѣдни, должно быть, к дождю опогодится, а? — бабка взглядывает из-под руки на небо. — По радио-то чо сказывали?

— Я не слушал еще. Мои спят все.

Уходит.

Этот-то еще ничего. Сейчас придет, камнями своими обложится, книжками — и сидит. Или на Топорок пойдет, новые рыть. После войны старичок один рыл, так тот помощников нанимал, а этот все один. Хотя — и старичок был душевный. Сколь охламонов здоровых к нему просилось — не взял, а взял у Даши Бродниковой мальчонку. Дарья шибко уже болела, на другую весну померла, а мальчонка ее сгинул неведомо куда, без всяких следов. Сколько вообще после войны разбежалось от них по свету народу — так это на целый район хватило бы. Сейчас вон дачники едут, да много ли с них толку? Этот-то, Нюркин, труженик хотя, а остальные-то?

Ведь это сколь же зарабатывать надо, чтоб потом все лето байбачить? Ну, Самосейкины — те на пенсии, понятно. А с другой стороны — что ж у них, и внуков нет, что ли? Старик языкастый, законы все знает, объясняет: я, говорит, для общества прожил сколь полагалось, теперь желаю для себя пожить, право такое мне вышло. Это понимай так: наворовался на своем складе, что больше, наверное, и боязно уже. Да Самосейкины хоть старики все же, а вон у Маныхиных дачники? На «Жигулях» приезжают: мужики в коротких штанишках, бабы в длинных. На «Жигулях» и за грибами едут. Грибы — вона, за телятником. Нет, едут на «Жигулях», к Бабне. Всей компанией ходят — полкорзинки привезут и то у всех спрашивают, может, поганки? А вечером к Волге. Начинают друг другу шарик такой беленький кидать. Кидают, кидают, пока не стемнеет. И всё хохочут! «Чисто дети, — думает баб Дуня, вспоминая про

этот шарик.— Приятно эт, чо ль? Вроде щекотки? А пришлый дачник — он ничего. Баба у него с гонором, все не по-нашему с дочкой, а он — сразу видать — тружденик».

«Тружденик»,— произносит она почти вслух. Так у нее получается: «Тружденик».

Больно ей слово это нравится. Как будто даже не слово, а длинный, длинный рассказ о хорошем человеке, трудившемся каждый день с утра и до вечера,— тружденик. Дни и труды, труды и дни. Жаркий пот сенокосов, неподъемные навильники, колючая полова, пыль, забивающая дыхание, жара... И долгие зимние дороги, саночки на лямке через плечо, пласты остро пахнувшего силоса, которые она раскидывала по кормушкам; весенняя навозная жижа и под ней — горы душно и сухо пахнувшего лежалого навоза,— его грузили сначала на телеги, потом на тракторные сани, на самосвальные тележки. А стирки сколько, готовки, колки дров... Ах ты, господи, труды и дни, дни и труды без счету и роздыху.

Антонина вон жалеет: «Ах, мама, ты у нас герой, тебе орден дать надо». Это уж она обязательно как придет, так за столом и скажет. А на улицу выйдет, и опять то же: «У нас мама герой! Пятерых без отца подняла. На ённые руки молиться можно». Ох, любит поговорить девка, только спит до солнышка и еще по солнышку немножко. И все на болезни жалуется. У нее там в райпо работа сидячая, может, от этого и болезни. Все ж хорошо, что хоть Людка ейная в отца уродилась — не болеет, хоть ей что!

Вот и баба Дуня почти не болея жизнь прожила. Первый раз в сорок четвертом свалилась, в августе. Изза колосков. Ночью с Иваном, старшим, настригла полनावолочки. Обмолотила, запарила в чугушке и ораве своей на стол: ешьте! А тут, как назло, председатель тогдашний, Селезнев, черт одноногий. «Все, говорит, за понятыми иду! Думаешь, говорит, ты на поле настригла? Ты из солдатского котелка вынула». Она орде своей только мигнула: «А ну, быстро!»— так пока Селезнев с понятыми пришел, они и чугунок вымыть успели. Сколько он рачьи свои глаза ни лупил, где ни шарил, ничего не нашел. Все же повели ее в Девичье, в сельсовет. Анна Маныхина повела. Конвоирка тоже — идут и ревут обе. А баб Дуню все омаривает как-то, омаривает. Ногу опускаешь, и будто она земли не достает — подламывается. Селезнев тогда сразу сказал: в тюрьму

сдам, — так она больше и не ела дома. Все ребятишкам лишних пару картох, а ей и в тюрьме какой-никакой баланды плеснут. А повели только на третий день, совсем оголодавши. Так и не дошла до сельсовета. У церкви ноги подкосились, осела в теплую ласковую пыль, что-то пробормотала: отдохну, мол... И очнулась в больнице.

Потом еще только раз в больницу попала, в пятьдесят седьмом. Шла с базара, попала в метель и обморозилась. А так все при доме была, дел хватало, когда и неможется, а кто за тебя что сделает?

Труды и дни, дни и труды. А чего еще и надо человеку? Она бы и сейчас... Только что отрухлявела, совсем отрухлявела. Спина гнется с трудом, руки дрожат, поднимая ведро с картошкой, запаренной для подсвинка.

А все же: пока о своем думалось, свое и сделалось. Телка на задах привязала, накидала ему свекольной ботвы. И у Павы подчистила. И подсвинку колотушка готова. Остынет — можно нести. Нет, она еще ничего, еще руки-ноги шевелятся.

Память, правда, подводит. Опять чуть про огурцы не забыла. Три дня уже не выбирала, а они об эту пору так растут, отвернуться не успеешь — уже... Забывчива стала. Да и то сказать, ведь старуха, ноги вон какие — все в гулях, пальцы кривые, синие.

Кожаные тапочки она оставила на дорожке, по грядке пошла не спеша, просовывая босые ноги под жесткие лопушистые листья, холодные и влажные после ночи. Земля мягко и ласково подавалась, пожимая ступни. Прикрытая густыми огуречными листьями, она еще хранила остатки вчерашнего тепла, только на меже была совсем холодной. Так-то и ладно. Холодная роса для огурца хуже смертыньки, листья, значит, ему вроде близких — от всего до времени укрывают, греют. А уж какой за край если вылезет, так тому сколько соков ни гони — без толку. Ударит холодная капля, он в этом месте сразу корочкой схватится и вокруг нее скручивается, прикрывает ранку, вроде бы как сам себя согреть хочет. Только это уже не огурец — рогулька. А под листом он, вишь, ровный-то какой? Думаешь, маловат еще, прячешься от бабки? Полезай все равно в фартук. Таких-то, как ты, Толят и любят. Он человек дорожный, шофер. Зимой приедет намерзшись, сам красный, губы синие, руки черные — чинил по дороге, значит. А легко

ли на морозе с железом? На него посмотришь — сразу видно: душа зашлась. А я ему сразу на стол стопочку и тебя, голубчика, соленьенького. У него глаза и отойдут, затеплятся, уже он на Нинку, значит, эдак посматривает... «Эх, говорит, что значит домой приехать. Ба-альшее дело!» Нинка дура еще, она этого не понимает. Ей все хочется, чтоб он от порога ласковым был. А где же человеку и душу отогреть, как не дома? И что тогда ему дом? То-то от них, молодых, сейчас мужья и бегают, что ни согреть, ни приветить толком. На трех дочек пятеро зятьев уже было — разве порядок?

Ну, Нинку она не винит. Павлуха, первый ее, три года в доме был, а всего и оставил что Катку да пустые бутылки. Баню начал рубить, так и ту потом сжег, паразит! Ночью пришел: видать, жалко стало. Хорошо еще, что проснулись и хоть сарайчик свой отстояли, корову спасли. Не мужик был. А уж как стал к этой густомясой в Бабню бегать, так она Нинке первая сказала: разводись, чтоб тут и дух евонный выветрился! Все старухи сокрушались: и не молоденькая, мол, уже Нинка, и с дитем никто не позарится, а она сказала: режь! Мужик — дело большое, а чем душу корежить, так лучше без мужика вековать. И что? Ведь по ее вышло?

Или как с Толятом у Нинки закружилось? Тоже — чего только не говорили: и пришлый, и Нинки младше, и сидел, и лесоруб вообще, удерет. Бабы лесорубов тогдашних не любили — страсть! Больно на девок были злы и бессовестны. Но она Толята сразу поняла: зазяб человек на своих дорогах, отогреть — и будет мужик. Сама и привела его в избу. Не Нинка. Пошла прямо в клуб — командировочных и тогда в клубе селили, — вызвала его: «Вот как, мил человек, я тебе скажу: она не телка, чтоб ты ее в телятнике шупал. Увижу, возьму дрын — бока пообломаю. А по душе пришлась, так приходи и живи, как люди!» И что? Помолчал, насупился: «Ладно, говорит, спасибо, маманя, за совет». В тот же вечер и пришел с чемоданчиком. В чемоданчике, значит, комбинезон рваный, носки и двадцать пачек «Беломора» — все богатство. Зато — мужик. Год так пожил, потом расписались. А сейчас на тех порубях, где тогда сосну валили, уже и лесок подрост, по грибы ходят. Максимке десятый на Покров стукнет.

Вроде бы все хорошо, а тревожно. На сторону он гульнул, что ль, а Нинке донесли? А может, и не гуль-

нул, а донесли. Все она чтой-то обижается. Как молоденькая. А ей-то пятый десяток. Понимать должна.

Вчера Толят с Митяем выпили маленько. Пол-литра на двоих мужикам не в грех, да Митяй, видать, и раньше клюнувши был. Пошел домой, в заулке какой-то шеф командировочный. Ну, Митяй на него: «Опять до Клавки ходите, сволочи!» Слегу от забора оторвал; командировочный к своим, в клуб. Митяй — за ним. Крик, шум. Все туда так и посыпали.

Толят с пришлым дачником воду на баню уже возил. На сегодня, значит. Это у него тоже хитро обставлено. Поставит фляги в машину, прямо в Волгу въедет и давай ведром черпать. Как шум услышали, Толят ведра бросил и побежал.

Она сразу в избу к Нинке: «Беги, там мужики дерутся, и Толят там». А у ней эта ветврачиха новая сидела, Ирка, носик наморщила: фу, дескать, гадость какая! И эта дура старая, Нинка, туда же: «Как, говорит, без меня напились, так без меня и подерутся». У баб Дуни прям сердце зашлось: «Ах ты! Кому мать говорит?» Пошла... При Ирке-то пошла, потом и побежала. Привела. Плечо немного расцарапано, а так цел, здоров. И чо там говорено было — то незнамо, а только сегодня друг на дружку сердца, видать, не держат.

Охо-хонюшки. Все бы ничего эта старость, одно плохо: в наклонку — никак! Вон еще и грядки всей не прошла, а спина ноет, печет прямо. Распрямитесь, что ль? Постоять, что ль? Огурцов полон фартук, сильно огурцы идут. И ведь смешно сказать: ни у кого об этот год их и нет почти, а у нее вон как идут. В мае у всех повымерзли. И у нее тоже. Шутка ли, такой заморозок был — бело все, мохнато, иней в палец толщиной. Прям до слез. А конец мая, Максимка уже и в школу не бегал, и вдруг — такая беда. Ну, какие и рукой махнули: не будет-де огурцов — так проживем. Пусть уж их — что вырастет... А баб Дуня все перекопала и посеяла заново. Семена в мокрой тряпке на печке проращивала. Вона как из тех семян теперь прет!

У пришлых дачников стукнуло. Чтой-то рано они сегодня. Да нет — то Нюта от них бежит, сапоги тащит. Видать, вчера принесла все ж таки Витьку нелегкая.

— Никитична! Приехал вчерась, что ль?

— Ой; Евдокея, тороплюсь, тороплюсь. Приехал!

Но подошла к заборчику.

— А ты огурцы собираешь?

— Злой-то приехал? Ругалси?

— А что ж не ругаться, как мать на старости совсем повихнулась: не спросясь чужое продала.

— Да ты скажи: эт я тебя подбила.

— Если так тебе, говорит, деньги нужны, так мне бы сказала. Нашли б!

— Ага, нашли. Держи карман.

— Да что!— Анна Никитична махнула ладошкой у лица, словно отгоняя воспоминание о том, что и вправду говорила сыну о деньгах.— Дал бы, говорит. Даже вот в свою избу зайтить не захотел. Обиделся. В лес пойдет.

— Эт на мать-то обиделся? Что ты на его избе со-роковку заработала? Ах, он у тебя...— баб Дуня даже руками хотела всплеснуть от возмущения, да вовремя вспомнила про фартук и огурцы, перехватила концы фартука другой рукой, а правой, кулаком, погрозила кому-то.— Ну, уж я зайду, я ему мозги вправлю!

— Да он в лес идет!

— Зайду!..

— Может, остынет. Седни уж не так ругалси.

— Зайду!

Ах ты, бог ты мой, Нюрку-то жалко как: лица на человеке нет. Сыночек называется. Мужик называется. И что с людьми делается? Не поймешь ни в мужиках ничего, ни в бабах! Нет, повезет же так старухе: двое сыновей — и оба без толку.

Лешка — тот еще туда-сюда. Пустоброд только. Вечно приедет тощий, как черт, штаны на заднице как пустой мешок болтаются. Тогда зимой примчался — баб Дуня еще в совхозе работала, чтоб пенсию выправить. Везла с маслозавода обрат на ферму, шесть фляг. На дорогу выехала — бежит впереди мужик не здешний и вроде не командировочный, смешной. Уши красно-черным шарфом замотал, а сверху кепочка кожаная. «Так, говорит, на Юрятино пройду?»—«Да чего тебе идти, садись!»—«А вы сами юрятинская? Черемисиных знаете?» — «Были такие, да все вышли». — «Мать моя Черемисина по отцу. Из ваших мест». Доехали. Выскакивает из саней у магазина. «А где ж Волга ваша?»— спрашивает. «Вона!»—«До лозин?»—«Да не, лозины — то остров. За ним сама Волга и начинается. А туточки протока. Вон, на том берегу деревня...» Он аж присел. «Вот это, говорит, да! Ой-ёй-ёй! Здорово!» Чисто ребенок. «Ну, говорит, места у вас! Действительно ожить

можно». Сидели потом, пили чай. Уши он салом гусиным растер — пылали по бокам, как фонарики. «У нас в Москве, говорит, тепло, тает все, вот я так и вырядился». — «Да как же твою мать звать-то?» — «Анна Никитична». — «Старика-то, верно, Никитой звали. После войны уже лесиной придавило на заготовках. А Анна — это ж которая его — младшая, что ль?» А он плечами пожимает: «Наверное, говорит, она не сказывала».

И тут вдруг подкатило: Анна, Анюта, Нюта, давнее, близкое, тутошное, гуляночное что-то, хохотливое... Запах свежей щепы, гармошка Сережи Жаворонкова, мягкий стук босых ног. Ах, господи! И еще сеновня в грозу: почти темно, только молния вдруг как затрепещет бело-синим, как плеснет во все щелочки. Дождь ширкает по крыше, налетает, как петух. Все это так внезапно: и темнота, и резкий холодок ветра, а в духоте сарая, в разгоряченном теле — еще день, жара. И рядом кто-то жметя с каждым ударом молнии: «Ой, мамочки! Мамочки, помилуй!»

Тут баб Дуня и рассмеялась. «Ох, грехи, грехи, — да знаю ж я твою матку. Знаю! Нютка Черемисина, как же, Она ж в Москву уехала, нянькой была. Ах ты, бог ты мой!»

Очень в тот раз Лешка баб Дуне понравился. Она ему и избу присоветовала. Старуха Отавина продавала. Уезжала в Ленинград внучка нянчить. Тоже бессовестная. Сперва: «Хоть бы две сотни выручить». А увидала по глазам, что человек загорелся, — три, говорит, и ни копейкой меньше. Самосейкину потом вторую половину в Ленинграде за две с половиной продала, а он куды Лешки богаче.

Когда Нюту привезли, тогда баб Дуне уже Виктор больше поглянулся. Лешка — тот все шебаршится. Прямо черт в нем какой-то. Тогда на Клавку в магазине кулаком стучал: «Дайте мне жалобную книгу!» Она сперва испугалась, потом видит: он ничо, только кричит, так руки в боки, оки в потолки и похохатывает. Прямо до слез довела парня. Так разозлила, что он потом все лето в Девичье за хлебом бегал. Видеть ее не хотел.

А Виктор, сразу видать, — мужик. Раз приехал — все оглядел, все приметил. В магазин идти — отчество Клавкино узнал, в Девичье на пилораму — все про бригадира выспросил. В сельсовет и к директору совхо-

за не ходил, а за два приезда и тес достал, и дранку... И руки у него при месте оказались, не то что у Лешки. Когда Нюта в подпол сверзилась, в один день почти всю терраску застлал. Одним словом — спокойный. С мужиками если и пьет, так по делу. Выставить надо — выставит, но так, значит, чтоб и не много и не обидно, а в самый раз. Рубля лишнего из руки не выпустит. Одним словом — мужик!

Когда и он решил себе избу покупать, баб Дуня даже обрадовалась. Дачник к тому времени уже густо пошел, избы подорожали, она сама сторговала Витьке за пятьсот рублей у соседки своей порядовой хоть и сильно покосившуюся, но в верхних венцах еще очень прочную и ладную кирченую избу. Он очень такую хотел, чтоб, значит, внутри обоями не оклеивать, а дерево само по себе было. Красивей так, говорит.

Очень он ей сперва нравился, Виктор. А как стала Надежда евонная ездить, так — все! Все и выказалось. Не зря говорено: иная баба мужика хуже дырки в голове портит. И эта из таких. Не молоденькая — девка в школу ходит, зад шире печки, а в брюках. И крашенная. Как приехала, так для начала давай носом крутить: и запах, и печка большая, и терраску прирубить надо. «Домик в деревне — это прекрасно! Но не такая же развалюха!»

Ну, это, положим, все дачники так: избой брезгают и в избу же едут, точно их гонит кто. Можно было и не обижаться, а все же не глянулось это баб Дуне. Захотелось осадить малость, чтоб не пфыкала.

— Мужик купил, — сказала баб Дуня, — ты и сиди. Твое дело бабье.

Дак та как обиделась!

— Напокупался он, — говорит, — на мои деньги.

— Как на твои?

— А так! Не на его ж сто двадцать без премий? На его деньги без штанов бы ходили.

Во как! И Виктор тут же, но — молчит, улыбается. Вроде и не обидно ему.

— Она, — говорит, — баб Дуня, маникюрша. У нее одних чаевых больше моего оклада. И знакомых пол-Москвы.

Еще и похваляется, значит. Сразу он в баб Дуниных глазах сник.

А Нюта невестки своей страсть как боится: не то что та скажет что, а и промолчит — так беда. И Лешка ее

боится. А чего, спрашивается? Денежная баба — все ей должны: и свекровь, и деверь. Все на крючке. Чуть ли не муж родной — и тот должен. И всех тем попрекает. При чужих свекровке: «Лешка ваш тоже хорош. По могилкам разъезжать есть деньги, а долг отдать — так нет!» Уж баб Дуня тут не выдержала: «Тебе-то, говорит, могилка что? Овца не помнит отца. У ней сено с ума нейдет». Обиделась. Губки эдак поджала. А Нюта заметушилась сразу, зализывать давай: «Я, говорит, что — я за Лешку не вступаюсь...» Баб Дуне наплевать, конечно, — пусть обижается. Она таких отроду не терпела — богатеньких.

В комсомол вступала — чтоб, значит, таких всех передали. Да, видать, не в раскулачке дело. Есть такие — и денег у него много, а он все ж человек. А другой — чуть зад прикроет, уже в богатенькие на корячках прет.

Ну, да ладно. Все вроде. Огурцы вымыты и в большой банке засолены. Укропчику, чесночку, листа хренового — все положено. Еще бы дубового неплохо. Он огурцу хруст дает. Вот она Людку подымет, — а то заспалась, заспалась девка, пора и совесть знать, — и пошлет к сеновне за дубовыми листьями. А сама — к Нюте, Витьку выругать. Нюта баба робкая, так он ей за свою избу всю душу выймет, сынок этот.

Вот те раз! Людки-то уже и нет. Кровать застлана, девки и след простыл. «Вот чертушка! Надо, надо ее выругать. И куда податься могла? Придет, уж я возьму вицу... — думает баб Дуня привычно. — И сама ушла, и Максимку уволокла. Хоть блинов на кухне поели. Пусть уж гуляют. Вицей — это завсегда не уйдет».

К Анне Никитичне зашла она по дороге от сеновни, прямо с дубовыми веточками в руках. Да так вовремя зашла — даже сама испугалась. Доктор потом сказал: еще полчаса, и можно было бы поминки заказывать.

Анна Никитична, видно, как сидела у стола, так и повалилась боком на кровать, когда прикрутило. Глаза у нее были открыты, а не смотрели; зеленоватая бледность заливала лицо. Одни брови — рыжие ее, лохматые и будто бы суровые брови — еще казались живыми. Они сбежались в кустики у середины лба и мелко-мелко подергивались, словно их владелица не помирать засобиралась, а жалостливо заголосить.

Хорошо еще, что доктор был дома. Сидел на терраске в полосатых голубых штанах, пил кислое молоко.

Побежал сразу, едва баб Дуня, задыхаясь, отхакиваясь, выговорила, кто, где и что. Так в голубых штанах и побежал, с чемоданчиком. Она хотела идти за ним, да сил хватило только до ворот. Там и стояла, держась за веревку, унимая дрожь в ногах и внезапный, противный, незнакомый прежде страх. Ах ты господи боже мой, до чего же все хрупко: раз! — и собирай поминки. А боров этот толстошей за грибами ушел. Чего натворил — и за грибами ушел, видели такого? Ну, погоди, голубчик! Придешь — все тебе баб Дуня скажет, все! Ничего для тебя не пожалеет, все как есть выложит. У нее это дело недолгое!

Злость и решимость немножко ее оживили, дыхание улеглось, и она потихонечку пошла, шаркая кожаными тапками по пыльной траве. Тут только, чуть успокоившись, поняла, отчего задышка у нее такая: наволочь, два дня закрывавшая небо, потемнела по-над Волгой и в воздухе сгустилась предгрозовая истома.

— Жива? — спросила, почти переваливаясь через порожек и опускаясь тут же на лозовый стул.

— Как будто, — как-то сомнительно сказал доктор, опуская желтую руку Анны Никитичны на одеяло. — А что было-то? Понервничала?

— С сыночком поговорила, чтоб его, борова толстошеего! Недоволен, вишь, что дачника пришлого пустила. Ну, он у меня придет!

— Охо-хо! — вздохнул доктор. — Взрослые дети, взрослые дети. Вы, Петровна, при ней уж не заводите, да и вообще не наше это с вами дело. Знаете: в каждой избушке свои погремушки.

— Погремушки, верно, свои, — согласилась баб Дуня. — Он совесть всякую забыл, а я, значит, молчи и рот корытцем делай?

Доктор ничего на это не ответил, встал и защелкнул на чемоданчике замки.

— Ну-с, — сказал, — укольчик я сделал. Вы посидите немного. И если что — не церемоньтесь, пожалуйста!

Баб Дуня осталась сидеть, поглядывая то в окошко, то на неподвижно лежавшую Анну Никитичну, с лица которой сползала мертвенная зелена. Веки подергивались, брови трепетали себе тихонько, но грудь уже поднималась и опускалась ровно.

За окошком сгущалась, темнела по-над Волгой серая наволочь, пыль из-под колес ехавшего в Едимново трактора летела по улице низко, волоклась, не отрыва-

ясь от земли. Деревья затихли, уронив ветки. Дождь должен был начаться вот-вот, а где Людка? Где Максимка? Вот черти-то! Куда побрели, у кого спросили? А тут, как назло, сиди себе знай и поглядывай!

Она еще раз взглянула на подругу и прислушалась: вроде спит. Ровненько так похрипывает воздух, раздвигая проржавелые ребра. Ну, бог милостив; а дождь вот-вот сыпанет, надо хоть постирушку в избу убрать да воротца в сарай закрыть. Рыбка опять же под застрехой терраски вялится, к чему ей вода? Успеть бы прибраться, а потом снова сюда.

Успела. Постирушку грудой на стол свалила. Рубашки волглые еще, да от того, что намокнут, суше не будут. За заборкой на кухоньке кто-то ложкой цербал. Пошла, откинула занавеску да так и остановилась. Ах ты, счастье ушастенькое, жизненочек! Ишь, серьезно-то как! Уши-то как ходят!

Десятилетний Максимка, последышек, утешеньице Нинкино, чинно, по-мужиковски сидел у стола и хлебал кислое молоко с покрошенной булкой. Ишь ты, важно-то как! Она подошла и схватила его сзади за уши, не давая повернуть голову.

— Не балуй, бабань, пусти,— строго сказал Максимка,— какая ты!

— А какая, какая, ну!— она опустила на скамейку напротив «андела» своего ушастенького и уперлась в него насмешливым взглядом.— Ну-к, кака бабка, ну-к, скажи!

— Как Людка!— заявил он серьезно, продолжая с присвистом с хлебывать с ложки тюрю.— Насмешница!

— Ай обидела тебя Людка-то?

Максимка степенно кивнул и, только пропустив ложки три, перевел дух, пояснил:

— Хитрая. Стой, говорит, тихо, слухай: растут грибы, а? Я послушал — не слышать вроде. Такие уши, говорит, лопаторы, а грибов не слышишь. Я от нее и ушел: сам, говорю, собирать буду, не больно и надо слышать-то!— и снова принялся цербовать тюрю.

— И набрал сам-то?— спросила бабка.

— Вона,— Максимка кивнул на корзинку.— Красноголовки и подберезники.

— А белые?

Максимка промолчал.

— Ну, ладно, и то грибы. Дак а Людка-то где?

— На старые вырубки подалась. Лисички, говорит, там. А разве ж, бабань, на старой вырубке когда лисички были?

Она взъерошила его выгоревший и сильно отросший за лето чуб:

— Уменьшкой мой! Ну, сиди дома-то, дождь с-за Волги идет, то-то Людку намочит... А я к баб Нюте побегла.

— А грибы чистить?

— Чисть, чисть. Миску подчистишь и за грибы берись.

— Жарить будем?

— Жарить, жарить,— пообещала она, поспешно оправляя косынку и выходя на крыльцо.

При виде внука все страхи и горести из головы выскочили, а тут вдруг вспомнилось безжизненно-желтое Нютино лицо и как-то нехорошо сжалось сердце. Ах ты господи бог ты мой!

— Не случилось чего?— в голос спросила она, открывая дверь в Нютину избу.

Хриплое старушечье дыхание на секунду оборвалось. Анна Никитична повернула голову на подушке, следя за гостьей размыто голубым взглядом.

— Эт ты, Евдокея?— спросила.

— Я-я... Как ты-то?— наклоняясь и заглядывая ей в глаза, спросила баб Дуня. Мутная их голубизна была подернута серой дымкой. Больная смотрела прямо на нее, но ее не видела. Виделось ей другое, страшное.

— А как видел он?— с хриплой задышкой выговорила она.— Вдруг видел-то?..

Так выговорила, что у баб Дуни холод по спине пробежал.

— Кто видел-то? Ты кого это, деушка?— робко спросила она.

— Да...— жалобно сказала Анна Никитична.— Тебе што? Не твое дитя, не твой и грех, а мне-то, мне-то, ты подумай,— и две крупные слезинки, набухшие в уголках глаз, оборвались и покатались по дрогнувшему страхом и тайным стыдом лицу.

Этого внезапного и необъяснимого проглянувшего в лице подруги стыда баб Дуня больше всего и испугалась. Отчего-то подумалось: видела Нюта смертыньку свою и перед ней чего-то стыдилась. Быть при этом стало так страшно, что она выскочила тотчас же на крыльцо, подалась за доктором. Когда прикрывала ка-

литку, вдруг в полной тишине резко и коротко дернул ветер, глухо прошумев в деревьях, швырнул под ноги песок и мертвые листья. У нее перехватило дыхание от внезапной смертной тоски; она побежала пригнувшись, придерживая юбку рукой, и, верно, побежала быстро, потому что только на обратном пути увидела на земле черные оспочки пыли и тут же почувствовала на лице прохладные, тяжелые, облегчающие душу дробины дождя, налетевшего с новым резким порывом ветра.

5

За-ради чего Анна Никитична всю жизнь маялась, чего ждала? Радостей? Какие радости, что вы?! То есть были, конечно, и радости, самые настоящие, да и как им не быть, пока человек жив, пока солнышко ему светит? А все же — не дай вам бог таких радостей. Да и не помнила она многие годы, что положены ей радости, не о них заботилась — одно на уме было: дети, комочки теплые, единственная в мире плоть, дороже и более собственной. Были бы здоровы, радовались бы они, а уж там как-нибудь и она сбоку.

Для них пошла она глотать горький, зеленоватый от выгорающей серы, пыльный дым формовки, им таскала молоко, положенное за вредность; для них лились жгучие вдовьи слезы перед начальством, перед комиссиями всякими — разжалобить бы на лишнюю десятку, на какой-нибудь талон промтоварный — чтобы обуты были, одеты и пусть не сыты, так хотя бы и не голодны.

Да что там молоко, слезы, — а кровь? Ведь ни разу она донорского обеда своего сама не съела, ни рубля из тех денег на себя не пустила. А сколько с нее кубиков этих взяли — бухгалтер и тот не сочтет. Дважды в месяц, по вторникам. Всю войну и много позже. Так привыкла, что уже что-то маятило ее к этому дню, будто набухало около сердца. Возьмут кровь — и сразу в теле делалось легко и пусто, будто с мужиком побывала. Так сдуру лягнула один раз подружкам своим на формовке, те потом зубы скалили: «Сходила-де? Получила свою удовольствию?»

Такие вот были у нее удовольствия. Других не было. Радости были — это точно. Встретит, к примеру, после работы Марину Саввичну у магазина: «Анюта, вы не зашли бы к нам постирать?» — и в тот же вечер бежит, несется сама не своя от радости. На стирке что зарабо-

таешь? Десятку, двадцатку от силы... Но — и то деньги, и с них сынам что-нибудь лишненькое перепадет.

А в субботу вечером — уборки, особенно по весне. Бывало, как ни суббота, так уже зовут куда-то. Знали: сделает все на совесть и лишнего не спросит, вот и звали; и хорошо, что звали, спасибо им, потому что ни одной субботы не помнится, чтоб не нужна была та тридцаточка до зарезу. Потому никто и не спрашивал: тянешь ли? Или у тебя, может, к концу смены от одной трамбовки руки отваливаются? И хорошо, что не спрашивали, не замечали, как ей иной раз гнуться тяжко, как кровь к лицу приливает, сердце стучит. Заметили б — позвали другую, попроторней, а ей тогда как?

Из-за побегушек этих и ужинали-то вместе редко, очень редко, оттого и запало на душу: вот сидят они оба, кровиночки ее, за столом, чистят картошки в мундирах, перекидывают из руки в руку, пар над чугуном... и тут же на сковороде шипят еще, потрескивают шкварки с луком — макай и объедайся! Они и торопятся, а она вдруг опнется, сидит, смотрит на них, и плакать ей хочется — так хорошо все. А то и всплакнешь. «Что с тобой? Что ты?» — «Да так, папка ваш вспомнился...»

Но это ей редкая награда, теплынь праздничная. А так ведь смешно сказать: жила, чтоб детей растить, а как они росли, знать не знала. Была их жизнь, как рыбка за стеклом: вроде бы видно, любоваться можно, а что там у нее за жизнь, за стеклом этим, — непонятно. Иногда только вызывали ее в школу, стыдили. Она плакала, хваталась за отцов ремень, сыновья исчезали куда-то до позднего вечера. На том все и кончалось.

Или вдруг приносил Лешка из Дома пионеров голубенькую с золотом грамоту, она долго по складам разбирала, за что эта грамота дана, и все слова вроде понятные были, но общий смысл как-то ускользал, да и не все ли равно за что? Был бы плох — так грамоты небось не дали б. На следующий день прихватывала грамоту в цех, хвасталась.

А то просыпается однажды после ночной: за столом Виктор сидит, незнакомо насупленный, серьезный, нарочно, мол, ее ждал, чтобы посоветоваться: хочет в техникум. Во-первых, стипендия, во-вторых, специальность, а в-третьих, там, в техникуме, оркестр свой духовой и его обещают выучить на бейном басы, он уже пробовал.

Ну и, конечно, когда болел кто, или ботинки каши просили, или что зашить — с этим к ней, а остальное — мимо. Многого вообще не знала. А все же до одного случая была уверена: сыны ее оба люди отличные, между собой дружные, родные... До одного случая.

Впрочем, случая-то она как раз и не знала: так только, догадывалась кое о чем.

Большие уже были оболтусы. Витька работал, в дом больше матери приносил, да и себе еще оставалось, а Лешка девятый заканчивал, только и знал: мам, дай! На ту книжицу, на эту, на кино... Это не в упрек, конечно. Раз есть, что ж не дать? Так просто, вспомнилось.

Тепло уже было, окно открыто, чай пили. Она его еще на лестнице услышала: так летел, словно гнались за ним, дверь ногой нараспашку — бац! «Виктор дома?» Тот только газету опустил — в чем, мол, дело? Лешка подлетел и по роже: вот тебе! Брата-то старшего! Виктор вскочил, поймал руку: «За что?» Лешка вырваться силится, дергается: «Сам знаешь!» — вдруг вывернулся, присел и головой его в живот! Что тут пошло, господи! — и вспомнить-то стыдобушка. Чашки на столе побили, стул поломали, ей влетело — ровно ослепли оба. По полу катались. Она повалилась на них, подмяла под себя, оттеснила Лешку: «Уйди, — кричит, — Витька, Христом молю: уйди!» Тот ушел. Пиджак взял: «Я тебя еще проучу, дармоед», — и вышел. А Лешка — в крови, в соплях, рубаха драная — все рвется: убью его, и только. Еле привела в себя.

И хоть бы один паразит сказал, что промеж них вышло. «У Витьки спроси, он знает!» А Витька: «Откуда я знаю! Псих он просто».

Уж потом она сама догадалась, летом уже, да и то смутно. Леночка Шестова из Лешкиного класса подстерегла ее после ночной смены в скверике у завода; сидели обе, обнявшись по-бабьи, плакали. Жалко ей было дурешку, ох как жалко, а что она могла? Так и сказала: не послушается он меня, не женится, Виктор-то. Та еще сильнее в слезы: и не хочу, чтоб женился, не люблю, сама не знаю, как вышло, но его не люблю — это точно. «А что ж хочешь?» — «Не знаю. Ничего не хочу». — «А ждала-то меня зачем?» — «Не знаю...» Такая телка! И своей-то матери такое открыть, верно, страх берет, и молчать не вмоготу. Уж она ее как могла утешила, Витьку по-всякому обругала и даже всплакнула. А у самой на языке все вопрос вертелся: а Лешка-

то, мол, при чем тут? Он-то с какой стороны? Все вертелся, а так и не спросила, не осилила.

Вот как вошли в жизнь ее меньшенького девушки, любовь, взрослость всякая... У Виктора — у того эта Леночка не первая и не последняя была: он такие делишки умел держать тишком. А у Лешки — все навзрыд, нараспашку — и любовь, и ссоры, и развод. И все не как у людей. Шутка сказать, чтоб не бабу, а мужика с годовалым дитем бросили! Это ж бывает такое...

Ох, сыновья ее, сыновья. Мирились они после той драки долго, с натугой. Лешка из школы документы забрал под конец года, со скандалом. Директриса ее стыдила, а что она могла? Устроился он в типографию, какие-то бланки печатал, в вечернюю бегал. А зачем? Мог бы и дневную закончить, как все. Нет, уперся: «Не хочу на его деньги жить!»—«Да почто на его? Живи на мой».—«И на твои не хочу». Гордость парня взяла. Так по сю пору от гордости этой и мается.

Что недоглядела она, как сыны росли, как ссорились и мирились,— в этом Анна Никитична себя не винила. Время было такое. У других и с отцами росли так же. В школу за ручку, как теперь, никого не водили. Но был другой, тайный стыд, другая ее вина перед сынами.

Впрочем, и тут не так просто ее овиноватить-то, не так просто. Может, перед божьим судом она и оправдалась бы, перед людским и подавно, да ведь совесть-то, сердце материнское — не свой брат, ничего не прощает.

Не месяц, не год жизнь в одной маете ее держала, душа стыла, наливалась тоской, мраком. Иной раз заплакать бы по-бабьи, пожаловаться, а оглянешься вокруг — кому, господи, кому? Разве что бабам с земледелки. Она и плакалась им иногда, да эти дурьи слезы души не облегчают, от них только злее делаешься.

И была такая ночь: опок не было, земледелка стояла, сидели на ящиках в углу у потрескивающих паровых батарей, лузгали семечки и говорили о новых деньгах. Только их увидели тогда, первый день или второй... Красивые, большие и будто что-то обещавшие, сулившие скорое богатство. Старых у нее оставалось семьдесят рублей. Тридцатка красная, желтые рубли. Сходили на те деньги в баню, помыла своих оглоедов — и все дела. Говорили, что вот ежели в сберкассе деньги, то тогда меняют не один к десяти, а так на так. «Да у кого

ж они есть в кассе-то, я чтой-то про таких и не слыживала». — «А не скажи, Нюта, денежные люди завсегда есть». Стали рассказывать про какую-то бабку, видом нищенку, у которой четыре сберкнижки в разных районах заведены, про какую-то торговку с Трубногo рынка...

От батарей несло сухим железным жаром, а по ногам ледяным сквознячком тянуло. Высоко в черной тьме, под невидимой крышей висели, чуть покачиваясь, лампы, отбрасывали желтые конусы света. Прошипел где-то сжатый воздух или пар, и кран, всю дорогу стоявший, вдруг, тихо тренькнув, гулко покатился над головой в другой конец пролета. Цех отдыхал после недавнего штурма, сонно потягивался, разминался. И кто-то тоже потянулся, зевнул с подвывом: «Ах мы дурочки бабы, курочки рябы...»

Она встала, разминая ноги, которые тогда еще не болели, легко носили ее костлявое и жилистое тело. Встала и пошла. Куда? Зачем? Куда-нибудь — от могильного сквозняка в груди, от черной тоски, шевелившейся по всем цеховым углам и надвигавшейся, надвигавшейся на нее. Шла и чувствовала, что пуста, что душа ее отлетела в какие-то запредельные выси, а тело томилось этой пустотой, сиротствовало.

Вернулась душа через час, когда все уже сделалось и они, сидя в каморке дежурного электрика, пили чай с сахаринoм из помятых жестяных кружек. Николай держал кружку двумя руками прямо перед собой и, шумно в нее дуя, рассказывал, как выходили из окружения через днепровские плавни, какие там деревья чудные — каждое до пояса в сухой тине, как в шалашике маленьком.

Она сидела напротив, так же обхватив кружку, но не чувствуя заледеневшими руками ее тепла, не слушая, не слыша ничего — только стыд поднимался в груди, как густой, все скрывающий туман, и звенящее, повторяющееся в ушах, как эхо, бессмысленное: «Ах, дурочки мы бабы, курочки мы рябы...»

Николай отставил свою кружку, потянулся через верстак, погладил ее по щеке: «Ну-ну, — сказал, — ты ж не девочка, слава богу, сама себе хозяйка».

Вообще этот Николай, дежурный электрик из ихнего цеха, когда не запивал, — а запивал он очень редко, раз-два в году, — был мужик добрый, степенный, жил бобылем и немало ей потом помогал потихоньку: то на

курточку какому огольцу подбросит, то ботинки принесет. Не так чтоб все время, но если уж сокрушалась она из-за какой-то нужды, то пособит. И может, она с удовольствием, с теплом вспоминала бы об этой поздней любви, если б...

Года два они уже грелись друг возле дружки. Когда работали в вечер — он к ней захаживал, пока ребятишки в школе. Много ли бабе надо, когда ей под сорок? Последнее добирает. На руке полежать, щекой о него потереться, духом подышать мужицким. Простирнуть ему то-се. Ребятишки все равно не догадуются — мало ли она чужого разного стирала.

День был ветреный. Пока утром бегала за картошкой и молоком, надроглась, как в январе, а был март в самом конце, и солнце с пронзительно голубого неба лилось ярко и щедро. К полудню сосульки под застрехой сверкали нестерпимо, глаза резали. Кровать у нее прямо под окном стояла. Солнце сквозь стекло казалось почти жарким; оно лежало полосами на одеяле, подушке и открытой груди Николая, поросшей седым волосом. Такая была бабья нега, покой, теплынь, какую она и с мужем-то не часто знавала.

И тут вдруг кто-то стал дергать дверь, пытался просунуть ключ. Она не шевельнулась, только сжалась внутри, а Николай напрягся всем своим длинным худым телом. Лежали, не смея дышать от страха. Постучали громче. «Спишь, что ли, мать?» — крикнул Витькин голос. Дверь еще подергалась, Витька ругнулся негромко, но матерно, грязно. Никогда она таких слов от него не слышала. Зазвучали шаги, удаляясь по скрипучим доскам коридора...

Через минуту, когда Николай, прыгая на одной ноге у стола, натягивал брюки, она вдруг дернулась к окну — помстилась ей там Витькина серая кепочка, и сердце так сжалось, что она только вскрикнула и опустила на постель. Николай бросился к ней, долго уговаривал, растолковывал, что он все время глядел в окно и никого там не видел, да и второй же этаж, смешно! Она кивала, соглашалась, лишь бы ушел скорей.

Назавтра утром Витька сказал, что у них заболела русичка, он приходил раньше, и чего это она запирается, когда спит, украдет ее кто, что ли, а потом-де он пошел к Салько, и там его накормили блинцами с повидлой, так что спешить домой было нечего. Но все-таки

она не успокоилась до конца, затаился в ней перед сыном какой-то тайный страх, и потом, чем дальше, тем больше стеснялась она его пристального, похожего на отцовский, взгляда. Курить начал, и то смолчала. Лешку увидела потом с папиросой — так врезала, что рука целый день ныла, а Витьке — смолчала. Николая она больше и близко к себе не подпускала, как отрезала: так и осталась та ее бабья утеха последней.

Вот и теперь, после разговора с сыном, в бреду, мучило ее это сомнение, сверлило, вонзало раскаленный буравчик в сердце — вдруг видел-то?

6

Дождь хлестал минут десять. Косой, резкий, не полетному холодный. Потом вдруг ослаб и с замирающим гулом стал сваливаться за лес, к Девичьему.

— Ну-с,— сказал доктор Герасим Самойлович,— я, пожалуй, пойду, а то ведь на этом не кончится, надолго зарядит.

Анна Никитична пошевелилась на кровати, позвала слабо:

— Петровна...

— Молчи, молчи, нельзя тебе говорить, что ты!— замахала руками баб Дуня.

Доктор удивленно поднял бровь: ничего такого он не говорил, что нельзя, но что ж... может, без разговоров и лучше.

— Ну, если что, Евдокия Петровна, вы не стесняйтесь,— сказал он уже на крыльце.

И пошел по дорожке, неловко увиливая грузным телом от холодных мокрых веток.

— Дождь-то какой, господи, Витька-то как же?

— Не размокнет,— сердито прикрикнула баб Дуня,— а чуток охолонуть ему не мешает. А ты-то как, что?— спросила она, присаживаясь на стул у кровати.

— Отпустило вроде, только чикает.

— Чо чикает?

— В голове. Навроде часы.

— Охо-хонюшки, господи бог ты мой,— сокрушенно вздохнула баб Дуня.— Что ж мне-то делать? И тебя не оставишь, и своих бегти кормить надо.

— Да иди, я — бог даст! Из подполу, из готовой могилы не взял, так уж и тут потерпит. Я там небось не к спеху.

— Не вставай только. Супчику я тебе принесу.

— У меня Виктор,— робко напомнила Анна Никитична.

— Ему бы я дала супчику! Он бы у меня слопал,— погрозила баб Дуня, сжимая сухонький кулачок.— Ну, пойду!

И надо же, выйти не успела, у самой калитки столкнулась нос к носу с Виктором. Под худшую руку и попасть нельзя. Он это сразу понял, попробовал мимо прошмыгнуть, да она за рукав схватила. Остановился покорно, слушал, голову нурил и все просил погодить. А чего годить-то? И так из-за борова этого толстошеего чуть подруги не решилась, обед не готовлен, все придут, а бабка опозорилась. Все она ему выдала! Проглотив первую порцию, Виктор, впрочем, уловил-таки момент и проскочил бочком в калитку, она только и успела, что черта вдогонку пустить.

Но — выговорилась. Полегчало в груди. Решила: «Будет помнить!» С удовольствием этак решила, с сознанием выполненного долга, хоть если по правде, то знала, что нет, не будет. Не такой мужик, чтоб ему бабий крик на душу лег. Да уж это — бог с ним, а она свое сказала.

Людкино платьечко и кофта висели на веревке. Промокла-таки чертовка, прихватило, но — молодец, только пришла, уже лисички намытые, в решете горкой лежат, на газу вода греется, а сама навстречу бабке с подполу лезет. С картошкой.

— Вымокла, дуреха?

— Не-а!

— Чо — неа, неа?

— Ну, чуток.

— То-то же! Матре скажу — будет тебе неа.

— Да тут у телятника толечко, чуток совсем. Зато, бабань, жаркое какое будет! Там на старых вырубках столько лисичек, хоть косою их. И все — кучами, кучами.

— Кучами,— передразнила баб Дуня.— За луком-то сбегай. Кто ж без луку лисички тушит? И платье на крыльцо перевесь, а то хуже намокнет!— крикнула уже вдогонку, и потише, как для себя, пояснила:— Дождь-то не весь вышел.

За окном вроде бы и развиднелось, и солнышко вот-вот должно было проглянуть над Нютиной избой: этакая даже желтизна уже светила там сквозь волглую

серость туч, вот-вот солнце должно было проткнуться, но все не протыкалось, а главное — не было еще в поянице той отпускающей легкости, которая бывает после дождя. Оттого-то баб Дуня и знала: не весь еще дождик вышел. Молодые этого не чуют. Их жизнь — она ото всего отдельная, ни в чем еще не повязала. Вона идет меж грядок — чуть не пританцовывает. Что ей дождь?

Людка не пританцовывала, а напевала. Про преданность и нежность, которых не заменит внешность. Но это было только так, сверху. А внутри каждая жилочка в ней жила еще вчерашними танцами, и это было видно даже по тому, как она обтирала на крыльце налипшую на ноги грязь.

— На! Хватит?— спросила она, появляясь в дверях с мокрым блестящим луком.— Ой, бабань, музыку, что ли, завести? Только все пластинки у вас старые. Дома как заведу проигрыватель — у меня и битлы, и «Но то цо»...

А ведь молодец девка, язык свое мелет, а руки — свое. Чуть ли не быстрее бабки с картошкой расправляется.

— Вчера, что ль, не наплясалась?

— Не-а! У них такой ансамбль, бабань! Мировой! Фирма! Три электрогитары, сакс... На саксе Сашкин приятель играет. Такой хохмач! Я вчера так смеялась, так смеялась...

— А Сашка — эт твой, что ль?

— Ну да! Два вечера потанцевали — уже и мой? Ну, ты даешь! У тебя, бабань, и понятия — я те дам!

— Дак он кто, Сашка-то? Студент?

— Ну да. На третьем курсе. А сам из Кимр. У него там мать, братишка...

— И девка небось?

— А какое мне дело?— изумилась Людка.— Я что — спрашивала?

Но чуток поутихла: как бы тень облачная по лбу ее пробежала. Может, девка впервые почуяла, что не весь он, этот Сашка, тут, на танцах, что много у него, верно, есть такого, о чем она и понятия не имеет. Тень эта только чуть махнула над ней темным своим крылом, тотчас душа сама перескочила на другое: веселое, радостное — она вдруг засмеялась, аж вся затряслась мленько.

— Ой, бабань, представляешь? Пошли они нас вчера провожать. Меня и Юльку докторову...

Баб Дуня слушает ее вполуха: не поймешь, о своем думает ли, о внушкином? А может, и вовсе ни о чем не думает. Может, только чувствует, как вдруг ворохнулся в ней тот давний-давний, но не замятый, не затертый жизнью человек, что так охоч до пляски, любви, дождей и солнца, работы и детского визгу... Тот счастливый человек, которому самому в себе тесно, распирает его, на других хочется перекинуться, в себя других принять, перемешаться, слиться со всеми! Эх, далеко он ушел, этот человек. Мерцает где-то смутно. Уж он так себя по жизни раскидал, так другим людям раздарился, что дай бог хоть перед смертью воедино собраться, осмотреться — весь ли тут?

— Слышь?— баб Дуня вдруг откладывает нож и быстро, с усмешкой обнимает внучку за талию.— Слышь? А как Сашка руку сюда кладет, в груди-то замирает, а?

Ничего не понимая, Людка отводит ее руку и вдруг прыскает, да так, будто у нее полны были щеки смеха и не выдержали наконец, лопнули.

— Ой, бабань, ты прелесть! Откуда ты знаешь?

Баб Дуня тоже смеется, покачивая своей седой, насупенной головой.

— А помню,— говорит она и снова смеется.— Все-о помню. Не вы выдумали, до вас все было.— И вдруг серьезнеет.— А только ты у меня — смотри!

Людка дурашливо округляет глаза и шепчет как бы испуганно:

— Грех?

— А ты думаешь? Как в бога не веришь, так тебе и грех отменили?

— Ой, бабань, давно!

— Дура ты давно! Грех-то не тот, что тебя ругать будут. Когда пусть и поругают. Если правду свою знаешь, чего б не послушать? Поругают — забудут. А грех — эт когда вернуть чо захочешь, наново переделать, ан — нет! Сделано дело, с ним и живи. Тут-то, милая, и грех, тут-то и горе!

Людка тоже задумалась.

— А разве ты сама ничего не хотела бы назад вернуть? Исправить?

— А чего исправлять-то? Я по сердцу зла никому не делала, если только по дури.

Баб Дуня замолчала, свесив голову; картошку принялась резать. И проплыл в душе жаркий июльский день, грозовая туча, сладко запахло белой кашкой. Был сенокос на больших буграх... Первые остужающие капли щекотно тронули горячую кожу. Все бегут к маныхинской сеновне, а она — на верху только что сметанного стога — машет рукой, кричит, чтоб слегу ей подали спуститься; Андрей внизу — смеется: прыгай, мол, так, поймаю. Она прыгает. Точнее, съезжает по краю стога, по осыпающемуся колкому сену, пытается придержать задирающуюся юбку. Руки поймавшего ее Андрея оказываются на голом теле. Холодные — на горячем. «Пусти, п-пусти, черт», — колотит она его по рукам, толкает в грудь, рвется, а он словно и не чувствует — окаменел, застыл, глаза остекленели и только приоткрытый рот дышит так жарко, что у нее мутнеет в глазах и слабнут руки. Вдруг небо раскалывается с тяжким проседающим треском, ветер швыряет сеной трухой в лица, и Андреевы руки тоже ослабевают, отпускают ее... Они вбегают в маныхинскую сеновню последние, и им отчего-то мучительно стыдно глядеть друг на друга. Может быть, оттого, что оба наверняка знают: то, что не случилось сегодня, обязательно случится.

Баб Дуня мотнула головой, отгоняя, рассеивая это видение, вздохнула:

— Вернуть — иное отчего б не вернуть? А другого не надо. Пусть бы все опять, как было.

— А я бы многое в жизни хотела исправить, — вздыхая, говорит Людка. — Я бы сейчас в техникум ни за что не пошла.

— Что так?

— А! — Людка махнула рукой. — Мурня там все. Неинтересно. Вот исполнится восемнадцать, я на завод сбегу.

— Ну, сбеги, — согласилась баб Дуня. — Тебе мать так сбегит. Эй! — постучала она вдруг в окно терраски. — Эй! Ну-к сбегай спроси тетку твою, что эт она, дура старая, под дождем мокнет, в дом не идет? Да с дитем еще. Вот я ей, скажи!

Посветлевшие, облегченные дождем тучи отходили ввысь, светлели, казалось, вот-вот распогодится, но перед самым обедом снова пошел дождь, только совсем другой, теплый, мелкий и тихий.

Нинка принесла на плече круглую корзину с травой — урвала минутку, подкосила в лесу для бычка. Максимка семенил сзади, таща на плече тяжелую косу. Трава, лезвие косы, лица — все холодно поблескивало, смоченное дождем и освещенное сбоку не совсем еще скрывшимся солнцем. Бычок медленно подошел к самой загородке, шумно вздохнул, опустил морду в корзину с травой, а есть не стал. Стоял, нуря голову и шеvelя ушами. Мокрая шерсть делала его гладким и блестящим, словно облитым металлом.

— Ма, а ему холодно? — спросил Максимка.

— Кому?

— Миньке.

— Не... Дождик теплый, помоем маленько, — сказала Нина и неизвестно почему вдруг добавила, нежно почесывая бычка меж ушей: — Сей год держать тебя, дурака, не будем: с первым холодом на тушенку пойдешь. Ешь, дурачок, ешь.

Странно было: дождь, платье хоть выжми, а в дом идти неохота. Стояла, озирая пустынную серую Волгу, тот берег, таявший в дождевой мути, коней, тоже тихо стоявших под дождем, положив друг дружке на спину тяжелые мудрые головы. И сын рядом притих, смотрел вдаль так серьезно, точно никогда раньше не видел ни коней, ни темно-серой, занавешенной дождем Волги.

Не думалось ни о чем, никаких слов в душе не было. А между тем в этом душевном бессловесье странным образом было собрано многое. Ирка Васильева, бывшая ее молодая сменщица, хохотушка; далекий город, за пять лет превративший ее в видную совхозную фигуру — ветврача; и то, с какой гордостью любила она этот город вспоминать, говорить, что там — вся культура, а без культуры какое может иметь человек понятие и удовольствие от жизни, разве что выпьет после работы да подерется. И тут же рядышком, нераздельно — вчерашняя драка, то, как ловко все ж таки орудовал ее Толят, расшвыривая шефов. И то, как он сказал, когда уже вела его домой, на ходу успокаивая, поглаживая оцарапанное плечо: «А мне Митьку жаль, что все с жизни евонной смеются, дурака из него делают? У них, что ль, бабы загулять не могут?» И вся жизнь Митьки Журова — громкая жизнь, скандальная, а все же в самой своей середке односельчанам, верно, неизвестная и непонятная.

Вчера фраза эта насчет Митьки только проскочила в голове от уха до уха — думалось-то о другом, — но сегодня, вспомнившись, вдруг задела что-то, застряла, тихонько царапая, рождая смутное беспокойство. «С чего это он в самом деле так Журова вдруг пожалел? — думала она. — Свою, может, первую вспомнил, гулящую? И к добру ли это, что вспомнил? Может, не к добру?»

Это была первая мысль, выразившаяся словами, и с нею в душу, разрушая, отодвигая сонный покой дождя и тумана, вошла привычная забота.

— Ну, пошли, — вздохнула она, беря сына за руку, — пошли, ждут нас. Вона Людка зовет. Идем, идем! — крикнула она племяннице. — Задумались чтой-т с Максимкой. Да и дождик-то, а? — прям благодать божья!

Жаркое из лисичек, заправленное обжаренной мукой с луком, удалось на славу. Толят, едва войдя, так смешно и голодно потянул носом: «У-у... Никак грибки? Сто лет мечтал». И такой с ним вошел тоже вкусный бензиновый и табачный запах мужской работы, в такой это слилось дух домовитости, семейности, устойчивого человеческого житья, что как-то само собой ушло, осыпалось, отшелушилось окончательно все, что было в этот день у баб Дуни неприятного, даже страшного, — осталась только чистая радость: вот все вместе и все хорошо! А послезавтра приедет Антонина, а через неделю Андрюхины двое, да Нинкина старшая, Катька, заявится со своей практики — дом будет еще полнее, теснее, радостнее. И все вообще будет хорошо, потому что не может быть по-другому, потому что такая уж суждена баб Дуне старость.

В избе было сумеречно, тихо шелестел по окнам дождь, и разговоры велись тихо, едва прорываясь сквозь дружный постук ложек.

Уже все давно ели, когда баб Дуня, вдруг подхватившись, метнулась к буфету и вытащила оттуда до половины наполненный графинчик. Толят засуетился, радостно заблестел глазами, отыскивая на столе стакан, протягивая его навстречу теще.

— Мама, ему ехать еще, — недовольно сказала Нинка.

— Куды? — старуха прижала графинчик к груди.

— В Едимново.

— Ну, тут милиции нет, пушай,— и налила стакан больше чем наполовину.

— А тебе все жалко,— с веселым ехидством бросил Толят жене.— Твое здоровье, баб Дунь!

— Пей уж, какое здоровье... Было бы здоровье, так и сама б выпила.

Она постояла, следя, как зять медленно, не морщась, ни разу не дрогнув лицом, втянул в себя водку и так же медленно, со вкусом выгнал из груди воздух через трубочкой сложенные губы.

— Ух ты!— восхищенно сказал Максимка.

Баб Дуня спрятала графинчик, вышла на терраску взглянуть, не закипел ли чайник. Там постояла минутку, глядя в законную муть дождя. Постояла и, промокнув уголком платка бог весть зачем набежавшие слезинки, снова пошла в избу. Молодые думают, что только молодость бывает счастливой, так на то они и молодые: какой с них спрос?!

Как только поутих дождь, уехал Толят, Нина с Людкой пошли мыть баньку — Толят любил, чтоб она до топки еще была вымыта наново холодной водой,— баб Дуня снова зашла к своей подруге. Та спала.

Хотя дождь почти перестал, было смуро как-то. Баб Дуня села у окошка; деревня была тиха, пуста, как вымерла, только низко над землей торопливо летела серая пелена облаков. У магазина собирались лужи; баб Дуня знала, что дождь будет еще и что к утру лужа займет всю улицу; тропинки и огороды раскиснут, и надо будет надевать резиновые сапоги, а ноги к вечеру от них будут гореть, точно в аду. Смутное стариковское предчувствие длинных тягот и бед заползло в душу. Заливало все ее уголки. Но все же не осиливало того ровного света счастья, который ощутила она во время обеда.

Тут скрипнула кровать, Анна Никитична зашевелилась, и баб Дуня тотчас повернулась к ней:

— Ну как, Нют? Полегчало?

Анна Никитична чуть кивнула: полегчало, мол, и улыбнулась. Улыбка эта тотчас же отразилась на губах баб Дуни как бы увеличенной.

— Что ты! С нашим-то доктором полбеда болеть. А уж зимой... Да что снилось-то, скажи.

— Снилось, Лешка навроде приехал. Катером. Я стою на бережку, а он с-под обрыва так выходит и навроде с ним девка какая. Ладная. А он про нее молчит, кто такая, мне не рассказывает.

Сон был путлявый. Да баб Дуня и слушала-то его вполуха. Какая-то жалость ко всему и ко всем волнами проходила через ее сердце. К Нюте, к Лешке ее беспутному, даже к Виктору, к доктору... Тоже ведь старый, простреленный весь. И жалость эта была так сильна, что мешала слушать, вдумываться. Чтоб не обижать больную, она все же сказала:

— Может, это он там искал могилку, а нашел девку?

— Оно бы хорошо,— вздохнула Анна Никитична и прикрыла глаза.— Что ж беспутному так-то жить?

— Ну, спи, а я пойду!

На крыльце она снова встретила Виктора. Он, стоя на две ступеньки ниже и снизу по-собачьи заглядывая ей в глаза, долго говорил о чем-то, оправдывался, что он-де дому не хозяин, жена купила, на ее имя и записан, ее и деньги были, он и сам как квартирант и потому не виноват, что все так глупо вышло.

— Да что вы за мужики такие пошли?— в сердцах сказала баб Дуня.— Мать оборонить, что ль, не можешь? Тьфу!— и пошла.

Надо, надо было его не так выругать, да не было в сердце злости — одна жалость.

7

Первый, самый жаркий пар потихоньку охлаждался, оседал туманом в сумеречных углах баньки. Толятово тело, отмучившись этим жаром, обмякло, истекло и омылось потом. Веник лениво, с потягом прохаживал над ним, и гонимый веником пар сладко, томиительно покручивал суставы, покалывал кожу.

В сложном банном ритуале наступал лучший, блаженнейший момент лени и легкой одури; в голове, открытой от жары старою шапкой, становилось пусто и гулко, а в сердце оставалась только снисходительная жалость ко всем, кто не понимает, не знает этой лучшей банной прелести, этой сладкой муки — первого пара. А пахло-то как хорошо!— мокрой кленовой доской, березовым распаренным листом.

— Гости, эй!— позвал он.— Ну, что вы там? Уже даже и холодно, ей-богу!

Тускло, синевато осветился проем скрипнувшей двери; колыхнув пузом, в банный сумрак погрузилось белое тело доктора Герасима Самойловича. За ним, на пороге, прикрывая зачем-то грешное место веником, стоял Алексей Иванович, баб Нютин пришлый дачник.

— Однако у вас, Толя, и понятия о холоде!— сказал доктор, невольно пригибаясь под навалившимся жарким паром, и со вздохом опустился на нижний полоч.— В аду прохладней. Стоять же нельзя!

— Да вы там зря садитесь,— хохотнул Толят,— вот у меня тут душевно...— Он провел веничком над грудью, чуть пощелкивая себя нежно трепещущими листочками.— Ху-у... Полезай хоть ты, Алексей Иванович, не пожалеешь.

— Чуть погода. Дай привыкнуть.

— Кого мне действительно жаль — это Анну Никитичну,— сказал доктор, продолжая свой прежний разговор с пришлым дачником.— Сынок у нее...— Он шумно вздохнул и покрутил головой то ли от жары, то ли от чего иного.— Знаете, есть люди, которые и в полупустой трамвай входят этак растопырившись, отвоёвывая жизненное пространство. Не могут без этого.

— Таких-то знаю, но что бы ему было спокойно зайти к нам, сказать: так, мол, и так, мать была не в курсе. И кто бы спорил?

«Витьку ругают,— думает Толят, вполуха прислушиваясь к разговору внизу.— Мужик точно крепкий, зимой льда не выпросишь. Чего-то у них со старухой вышло, баб Дуня чего-то говорила...»

Он совсем уже от жары размяк; в голове этакий гул легкий, пустота. Лень даже соображать: о чем они там, гости его? Говорят — и хорошо. Хорошо, что вот сидят рядом люди, его гости, рассуждают по-умному.

Зимой от бани удовольствие не то. Во-первых, пар после холода только согревает, а мягкости той телу не дает, а во-вторых — тихо тогда очень. Лежишь и слышишь, как снег за стеной шуршит. А баня, она дело такое — без разговору какое в ней удовольствие?

Он гонит себе веником пар на грудь, на живот, под мышцы. Веник ведь не для того, чтоб хлестать. Это дураки хлещут. Вот так надо: остороженько, не веником о грудь, а паром, паром, чтоб он до последнего зако-

улочка в душу проник. А потом так только, провести венником; чуть-чуть, листиками... Ах, хорошо, зараза!

Чтоб сладость такого пара понять, надо в жизни замерзнуть. А кто не намерзся — тому и внизу пар. Вон спины-то розовые от жара, даже за паром видать — розовые. Только на докторовой четко — мертвенно-белым — видны шрамы. Два узластых у самой хребтины и длинный рваный через лопатку. Кому и вправду досталось — это доктору! И ведь не то что иные: Звезду свою не таскает, не бряцает ей там и сям. Бегает, бабок лечит, с Толятом парится.

Никто в Юрятине и не знал, что он Герой, пока в газете не напечатали. После того как заметка эта вышла, они разок вместе в Порфирино ездили. Толят возьми и спроси сдуру: все ли, мол, правда? Доктор даже на сиденье заерзал — так ему неловко сделалось. «Тут, — говорит, — дело в том, что у нас о живых героях как пишут? — либо хорошее, либо ничего». — «А о чем же не написали-то?» — «Да знаете, как в бою бывает: момент был — испугался и бежать хотел, и побежал даже, да вернули. А считаешь про себя: прямо как скала стоял».

А что ж? Может, это и правильно, думает Толят, глядя на изуродованную докторову спину, что не каждое лыко в строку. В жизни случается по-всякому. Иное и не хотел, и не думал, а выходит. Что ж тебя потом — так и корить этим всю жизнь?

Он переворачивается на полкэ, гонит пар на спину, блаженно охает, но блаженство уже немножко нарочитое, нет уже прежней расслабленности и пустоты в голове. Мысль эта, последняя, она ведь не о докторе, — о нем самом. Давняя мысль, зудящая, нехорошая. Есть в жизни его чем ему в рыло тыкать, есть! Раньше об этом не думалось как-то и над головой не висело, а теперь вот лезет в душу. Только и его ведь тоже нельзя во всем виноватить.

Гости его, допустим, ребята тертые, а все же и их жизнь не о каждый угол стучала. Этот воевал, тот ФЗУ хлебнул, улицы мостил... Да ведь потом-то жизнь им, случалось, и маслила, подмягчивала. Учились, то-се, в Ленинграде оба жили. А отчего? В иную узость небось и бочком пролазили, подмыливали. Это Толят сдуру пер сквозь жизнь, как обезумевший лось сквозь сухостой: треща, ломая все на пути и оставляя на обломанных сучьях клочья шерсти и мяса.

Понять бы хоть, что тебя гнало, — может, не так бы и за бока обидно было б. Жизнь штука хрупкая. Чуть где задел — она и треснула. Еще и не сразу заметишь: обо что задел, как треснула. Это все потом. Вначале, когда дает она трещину, чувствуешь только боль. Боль и пустоту.

В первый раз она, неладная, треснула совсем ни с того ни с сего, в один прекрасный вечер.

Для других вечер и в самом деле был отличный: теплый, наполненный запахом сирени, тишиной.

Но то для других. У него этот вечер был с бзиком каким-то, с жжением под глухо, навывлет колотящимся сердцем, с жутковатым желанием, чтобы все, что рушится, рухнуло до конца.

А ведь до него, до вечера этого, как было хорошо!

Жил он тогда — второй уже год после ФЗУ — в Никополе, городке маленьком, по-хохлацки уютном, с домами и даже бараками такими беленькими, чистенькими, так укрытыми пышной зеленью, что в любом из них хотелось поселиться не меньше, как на всю жизнь.

И работа была отличная, на зависть работенка. Клади стены нового цеха. Приходилось, понятно, задерживаться, спешить, прихватывать часика два-три после смены; зато рядом, в старом цехе, выделили им душевую с холодной и горячей водой. Вымоешься после смены и — как не работал, в каждой жилочке силушки погуливают... В город выходили чистенькие, причесанные, в черных брюках и белых рубашках по тогдашней моде, пиджаки на плечах или через руку, рукава у рубашек закатаны, воротники распахнуты. И пусть уже солнце садится за барачным поселком, поблескивая на гребнях крыш, пусть сумерки подступают — все равно чувство такое, будто день только начинается; ребятам расхотеться не хочется, в ларьке пиво, а нет пива, так и газводы можно выпить не спеша, со смаком, обо всем поговорить и как бы со стороны на себя посмотреть: ах, черт, что мы все-таки за молодцы!

В тот вечер — а это была суббота — ко всему прибавлялось еще бодрящее чувство победы. Не бог весть какой, а все-таки...

Их уговаривали поработать две смены, вывести стенку под крышу; они, как водится, поорали и согла-

сились, а потом все так ладно, споро пошло, что вышло не две смены, а едва ли полторы.

И в ранних сумерках стояли уже у ларька, цедили пиво, говорили о премии. Премия нужна была всем, а Толяту прямо-таки до зарезу. Ленка его купила себе к экзаменам платье из эпонжа, голубого в серую клетку, красивое до чертиков и до чертиков дорогое, а хозяйке было уже два месяца не плачено за комнату, она ругалась. Хотя Ленка и говорила, чтоб не обращал внимания, выгонять-де их все равно не выгодно,— долг этот очень его заботил. И еще заботы всякие были. Только обилие их не тяготило, а радовало, как бы прибавляло телу пружинистой легкости: все ж таки был он уже семейный человек, не для себя одного были заботы.

— Ну, старички, еще по одной? Я ставлю!— Он собрал кружки, пошел к ларьку.

У них в тресте жилье возводили методом народной стройки. Чтобы получить комнату, надо было отработать двести смен. Толят бегал всю зиму по выходным и после работы; много дней еще не хватало, и если бы разок вышла вся бригада... Об этом он и собирался попросить за пивом. Просить ведь совсем не трудно, если заранее уверен, что никто не откажет, и пиво надо было не для согласия, а для широты души.

Вечер был такой теплый, влажный, музыка из парка доносилась чуть слышно, но так соблазнительно, что он не удержался и, с полнехонькими кружками на всех пальцах, сделал меж столиками быстрый поворот, лихо щелкнув каблуками и ни капельки не пролив.

— Просю!

Хлопцы загоготали. И Мишка, сосед, уже без него подошедший к компании, тоже захохотал и хлопнул в ладоши.

— Ну, артист! Баба на пяточке, а он тут с кружкой танцует! Ну, артист!

— Ага!— засмеялся Толят.— Она алгебру сейчас танцует. А тебе все чужие бабы мерещатся?

— Своей нет — потому,— Мишка смущенно хохотнул.— Может, и обознался. Они нынче все по моде рыжие, все кудрявые.

— Ну-ну... Моя-то натуральная!

Купив пачку «Беломора», Мишка исчез. Пили пиво. Ребята спрашивали, к сколько ж завтра подваливать? К десяти? Прекрасно! Выспимся на все бока. Он еще

что-то говорил им, объяснял, а в груди у самого уже сидел этакий горячий гвоздик, уже поворачивался.

Шли через парк и все вдруг вздумали идти на танцы, ему это было ни к чему, он попрощался, свернул в боковую аллею домой, а минут через десять все-таки вышел к танцплощадке, только с другой стороны, где на возвышении сидел оркестр. Постоял там, вглядываясь в медленно тасующиеся по кругу пары,— Ленки, конечно, не было. Музыка оборвалась, все пошло по местам, и он на секунду увидел ее платье — голубое с серыми клетками. Оно мелькнуло, ударило по глазам и растворилось в толпе. Толяту стало стыдно, что он вроде бы подсматривает, и он торопливо пошел прочь.

«Померещилось, конечно,— думал он.— Мало ли баб такой материи понахватало? Сейчас приду домой, она дома и все хорошо...»

Дома ее не было, да и быть не могло: часы показывали десять, занятия в школе еще не кончились. Присел на диван, потом прилег, закинул ноги на валик, повернулся, закурил. Что-то мастило изнутри, не давало покоя, хотя все было нормально, все как всегда. Он встал и подошел к окну. Сладковатый, томительный запах ночных фиалок показался неприятен, почти нестерпим. Он торопливо высунулся, чтобы закрыть окно, и мельком в чистом лунном свете увидел под навесом летней кухни их детскую ванночку. Там, должно быть, мокло белье, приготовленное для завтрашней стирки. Все было как всегда.

Пришла она в начале двенадцатого. Толят стоял на крыльце. Эта сторона улицы была в тени, а противоположную ярко заливала луна. Она шла по той, лунной стороне, рядом шагала какой-то парень; уже на границе тени он наклонился и что-то сказал ей на ухо. Она тихонько засмеялась и помахала ему рукой. Вскинутая рука ее вырвалась из тени и в лунном луче показалась неестественно белой, как приснившаяся птица.

Толят попятился, открыл спиной дверь, зажег свет в комнате и, встречая жену, стал в дверях, как обычно. Он был спокоен, ни злости, ни гнева, только большие портняжные ножницы, неизвестно где и когда прихваченные, сухо шелкали в руке.

— А... Ну, как в школе?— спросил он, сторонясь и пропуская ее в комнату.

— Нормально.

— А на танцах?

Она была уже у этажерки, где на верхней полке стояло круглое зеркало, и уже вскинула руки, чтобы расстегнуть сзади на платье пуговку (она всегда, придя домой, тут же это платье снимала, берегла), но не расстегнула, а так, с поднятыми руками и повернулась к нему.

— Это ты что же, сам шпионишь за мной?— спросила, опуская руки.— Или донесли?

— Сам. Я...

Толят не договорил и невольно сделал шаг назад, испугавшись чего-то, мучительно сжавшего сердце. Он ведь только так спросил насчет танцев. Он был уверен, что все это сейчас же и объяснится, окажется чепухой, бредом. И вдруг по мучительной боли в груди почувствовал: нет, не бред это. Хуже.

— Вот как? Ну и что? У нас не было двух последних уроков, химичка заболела, девчонки все пошли на танцы. Или, может, ты за домострой? Ну?— она протянула ему руки, как делала всегда, предлагая мир.

— А это кто был?— спросил он, кивая в сторону двери.

— Ты что — ревнуешь? Вот не знала! Ну, проводили меня... Ты же не встречаешь, а мне по темноте страшно. И вообще ревность — это пережиток, спроси у кого хочешь.

Она говорила еще что-то. Он молчал. Она была рядом, говорила, стаскивая через голову платье, а он видел ее почему-то далекой и маленькой... Она ускользала от него, улыбаясь, как ускользает из руки, чуть шевельнув хвостом, только что пойманная рыбка.

Но ведь — господи!— это же была она, Ленка! Родней и ближе никого, и что без нее его жизнь, мечта о своей комнате, сегодняшняя победа, премия? Он сам, наконец? Для чего? И что же это она — улыбается, когда ему так худо?

— С кем же ты танцевала?— хрипло спросил он, с трудом глотнув что-то шершавое, горькое.

— Со всеми, кто приглашал. Я просто люблю музыку.

Она стащила еще и рубашку. Оставшись, как всегда дома, в одних только трусиках и лифчике, с рубашкой в руке, чуть повернулась, чтоб хоть беглым взглядом скользнуть в зеркале по сильному своему, стройному телу и, швырнув на диван рубашку, победно усмехнувшись, снова протянула ему руки.

— Ну, Толя!.. Не думаешь же ты злиться на меня за такую чепуху?! Ну?!— и даже ногой притопнула.

— погоди.

— Как хочешь!

Она повернулась к зеркалу и при этом так высокомерно и небрежно, как она одна умела, тряхнула рыжим рассыпчатым хвостом, что он почти непроизвольно вскинул руку. В другой руке были ножницы.

Что было потом, помнилось смутно, путано. Оба что-то кричали, не слыша, не понимая. Она хотела выскочить в окно, обо что-то запнулась и закричала еще сильнее, зовя на помощь.

Потом он сидел в заброшенной части парка, на краю окопчика, обвалившегося и заросшего за мирные годы до размеров маленькой ложбинки. Сжимая руками голову, качал ею из стороны в сторону. Ножницы и рыжий Ленкин хвост лежали в кармане. Он был уверен, что совершил самое непоправимое и ужасное: убил! Все, что было, он, впрочем, помнил, но чувство вопреки памяти было именно такое, будто убил.

На суде в первом ряду пустого зальчика сидела ладная, коротко остриженная рыжеватая женщина с надменно яркими губами. Толят не сразу ее и узнал.

— Затем вы накинулись на потерпевшую и стали ее избивать,— говорила прокурор, сурового вида тетенька в кителе.— Результаты медэкспертизы показывают, что ей нанесено несколько ударов в лицо тупым предметом. Скажите, обвиняемый, что это был за предмет?

Он долго смотрел на свои руки, как будто припоминая, что же в них было, наконец говорил: «Не помню!»— и сел на место.

Адвокат спрашивала:

— Скажите, ваша ревность была вызвана каким-то конкретным поводом?

— Не помню.

— Вы должны все помнить. Ваша квартирная хозяйка показала, что...

Чужая женщина в первом ряду яростно вскакивала, кричала, что это не имеет значения, что он мог развестись, а не набрасываться с кулаками.

— Это дикость! Он ненормальный!

Странно, в суде были одни женщины: и прокурор, и адвокат, и судьи. Они о чем-то спорили, горячились, энергично протягивали в его сторону руку... Но он сам по себе был безразличен даже той, что сидела в первом

ряду. Спорили они между собой, доказывая что-то свое, очень, наверное, важное. А он думал: почему нельзя было в самом деле спокойно уйти от нее, потом развестись? С этой вот, стриженной, все это было вполне возможно. А другая... Была другая или не было? Может, не было? Или была все-таки и другая, родная до боли, дороже себя,— только что-то не выдержало в нем, перегорело, и в разлюбившей душе его было темно, как в доме, где выбиты пробки.

Срок свой — два с половиной года — Толят отбывал в Казахстане. Колючая проволока, вышки, конвоиры по бокам колонны — ко всему этому можно так же привыкнуть, как и к вечно зажиренным алюминиевым мискам, солоноватой воде, как к белому, маленькому, тяжело давящему на затылок солнцу.

В общем — жили. Бетонировали какую-то шоссейку, строили дома, два раза в неделю смотрели кино. Страшное было только во снах. То детдом снился, то Ленка, то свои же эки, особенно Егор Рублик, небольшой мужичонка с акульным ротиком и тонюсенькими, змеящимися в усмешке губами. Часто снились бараки, погони, драки, прыжки через какие-то пропасти. Но страшным было не все это, а то, что пронизывало сны, делая их тайным мучением. Что бы ни снилось, чувство было одно — вот ты идешь и знаешь: рядом знакомый, родной человек — вдруг поворачиваешься к нему, а это чужой... Чужой, загадочный, недобрый. И просыпаешься всегда с тем тяжким, непереносимым чувством, которое может быть порождено только одним: вокруг — чужие. Просыпаешься — а над тобой низкий потолок с косыми балками, тяжкий портяночный дух, разногласый храп сильно помятого жизнью народа. И ты среди этого — один!

Он еще не знал, что сны эти и страхи — все, в сущности, один обман. Все обман, если думаешь, что нельзя жить без Ленки или без чего-то еще, если решишь, что вот-де тут вся твоя жизнь. Нет, сгинет одно — приходит другое, лучше или хуже, а тоже твое; жизнь нигде не кончается, и новое болит и греет так же, как старое, только по-новому.

Кончился срок, он завербовался на Север, в Карелию. Там оно и пришло — новое.

Оказалось, что к холодной, то дождливой, то снежной Карелии можно привыкнуть и считать ее своей, как и теплое Приднестровье; можно почти забыть, что когда-

то клал дома; возить сосновые хлысты по дурным карельским дорогам так привычно и бездумно, словно всю жизнь только этим ты и занимался.

Ну, привык — и живи, и чудесненько! Так нет же — сидит в тебе старое, как заноза, нарывает, дергает. От этого и к новому прирастаешь как-то неловко, боком, не видя, к чему прирастаешь. Потом оглянешься: ах, черт! — прирос! Как к Христе той же...

Ох, Христя! Не любил тебя Толят, почти, можно сказать, брезговал тобой, а все ж таки вросла ты в его душу, сидишь там вечной ранкой — ноешь.

Христя была толстенькой коротконогой хохлушкой, неизвестно каким ветром заброшенной на берега Кеми, в столовку леспромхоза. Толят с ней вроде и не знакомился. Во всяком случае, такого не помнит. Как-то она сама в подходящую минуту оказалась рядом, привела к себе — она снимала полдома у одних карелов, — ну, и потом все как водится. Вечно напрашивалась то постирать ему, то баньку протопить, — к баньке-то он у нее пристрастился, — в буфете у нее всегда стояла для него маленькая. Прилепилась к нему, может, думала: на всю жизнь счастье нашла, берет бабий? Кто их вообще знает, что они про наши с ними дела думают?

Только ему все это было и невдомек, и недосуг. Деньги, время, бабы — все было тогда шалое, ни на что не нужное, потому что и сам он себе казался таким: богом потерянным и собою забытым. Один был отдых душе: в дощатом шалмане посреди поселка пивными кружками продавали крепкое яблочное вино. Заваливались сюда с ребятами прямо после работы, гудели разговоры, стучали сдвигаемые кружки, — и все были в доску свои, не то что сквалыжный и жадный семейный народ, забредавший в шалман случайно, словно из другого мира. Северная холостая вольница-алкогольница жила по своим законам, никого не то что не празднуя — даже не замечая. Каждому было уже не по восемнадцать, каждый от чего-то отломиться успел, а что там кровоточит внутри или нет — то сверху не видно; но, может, оттого и жались в кучу, что бока были у всех битые, калеченые.

Шалман закрывался в семь, расставаться было немислимо, шлялись еще по поселку, затевали дурные шутки.

Он иногда звал: «Пойдем к моей Христе, ворованное

мясо жрать!» И: «Го-го-го-го!»— и друг друга по плечам: хлоп! «Пойдем?»—«Пойдем!» Весело!

Встречала их без звука, даже улыбалась, ставила на стол две громадные сковородки залитой яйцами жареной свинины: «Кушайте!» Они наваливались, гогоча и причмокивая: во, мол, жратва! «Да что говорить: ворованное — оно всегда слаще!» А Христа стояла у двери, теребила фартучек.

Только если уж слишком разойдутся — под стол начнут куски кидать, окурки в жратву тыкать — тогда уходила на кухню, за занавеску, а что она там делала, о чем думала — это им было наплевать! Они уже и себя-то не очень помнили.

Только под утро... Проснешься раздетый, аккуратно уложенный в белехонькие простыни, а она полусидит рядом на кровати, и лицо у нее выжатое какое-то, заплаканное — тогда уже ни куража вчерашнего, ни пренебрежения, одна только — сквозь головную боль — вина и жалость. «Да ладно тебе, — пробормочешь, — побузили, и ничего! Бывает!»— и тянешь ее к себе, она что-то шепчет, гладит щеки небритые, целует.

Ну, помилуются, и убегает Христа в свою столовку — ей к полшестого, — а Толят остается досыпать. А на другой день придет к ней — она ни слова, будто и не было ничего. Все и проходит, остается одно только, скотское: вот, мол, ты какой — что баба ради твоих мужских статей позволяет!

А последний раз этот мясной жор попал под Христин выходной. Утром она не ушла, после любви лежала рядышком, тихая, съезжившаяся вся, как мышка. Толят было задремал; разбудил его тихий вой не вой, плач не плач... Точно громадное ночное осеннее поле в тоске, как, знаете, перед снегом бывает; и крошечный звзрек — один во всем этом поле!— дрожит и жалуется. А это ведь баба ревела в постели, рядом с мужиком, с которым только что любилась, называла родненьким...

Ох, как заныло вдруг от этого плача сердце, как гладил он ее по волосам, целовал в голые веснушчатые плечи. Она благодарно повернулась к нему, прижалась лицом к груди, ревела уже в голос, как нормальная баба, обильными и теплыми слезами. И бормотала меж всхлипов о каком-то супе из листьев редиски, о распухших ногах, весне сорок седьмого, солонине и снова о супе...

Толят никак не мог понять, что за суп и почему из-за него надо плакать.

— А за что ж вы меня?— спросила она.— Приходите, под стол кидаете? Хиба б я так жила, колы б воровала?

И тут он как бы впервые увидел голые стены ее комнаты, желтоватые, потертые обои, дешевый круглый стол под клеенкой, маленький пластмассовый приемник и матерчатые цветы в полупустом буфете. Это был уже шестьдесят второй год: не только воришки, и честные люди жили в большинстве куда богаче. А Христа, ты-чась мокрым лицом в его грудь, всхлипывая, продолжала бормотать, что осенью купила у хозяев полсвиньи, он может пойти и спросить, и засолила, и еще что-то о вырезке, которую зава сама всем в сумки кладет, кому сколько хочет, и что многие у них в столовой масло таскают, а она очень редко, она все любит на сале жарить. И колбасу домашнюю она просто салом топленным заливает — и все, так и стоит всю зиму.

И вдруг приподнялась на локте: глаза круглые, выпуклые, блестящие от слез.

— Боюсь я,— прошептала,— все время боюсь: шо зробыться... Лякаюсь.

— Чего?— шепотом спросил Толят, и вышло тоже почему-то испуганно.— Что случится-то вдруг?

Но она уже упала, уткнулась ему куда-то под мышку, и он снова гладил вздрагивающие плечи, успокаивал.

Подумалось: какой же она была той самой весной сорок седьмого, когда ела суп из листьев редиски? Наверно, совсем маленькая, тощенькая, некрасивая. Конечно. Сколько ей могло быть? Лет десять, двенадцать? Светящийся от худобы носик, блеклые косы, изъеденные гнидами, отечные ноги. В ту весну многие ходили на опухших ногах. Он сам отлично помнит, как это, когда надеваешь поутру просторные ботинки, а к вечеру они жмут и пекут немилосердно.

И это маленькое собственное воспоминание вдруг как огонек раздвинуло тьму ее путаного рассказа. Все было будто знакомо, видно однажды: барачная комната с косым потолком, девчонка, вшивые тонкие косы, мать на топчане под лоскутным одеялом, желто-красный свет каганца, отражающийся, трепещущий в незашторенной, бездонной глади ночного окна. Такая была жизнь! А у них, у Христи, к тому же почему-то оста-

валась только одна карточка на двоих — детская. А почему — она и сама не помнит.

Она варила супы из листьев редиски. Сама редиска была еще как мышинный хвостик, а листы уже много. Суп выходил вкусный, особенно пока была соль, но ощущения сытости после него хватало на полчаса, не больше. Особенно худо было ночью. Она вдруг просыпалась и понимала, что ничего не сможет с собой сделать — опять будет тихонько, как воровка, красться через освещенную луной середину комнаты в дальний темный угол, к комоду, и там, затаив дыхание, чуть вытаскивает ящик, запустит в него руку и отщипнет от утренней пайки самую масенькую, самую крохотуленькую дольку и потом долго будет жевать, перекачивать во рту липкий комочек, обладающий таким волшебным вкусом и запахом хлебной сытости. А рядом будет чернеть полувыдвинутый ящик, соблазняя и угрожая.

Однажды она нечаянно съела ночью обе пайки — и свою, и мамину. Кто его знает, как это случилось. Может, даже не съела, может, хлеб просто исчез куда-то, испарился, украли его — мало ли? Матери она так и сказала: украли, они поплакали вместе, обнявшись. Слезами сыт не будешь, и Христя накормила мать супом из редисочных листьев. Сама она ела его уже несколько дней — и ничего, а мать через пару часов начало пучить и рвать кровью. К ночи она померла.

Часа за два до смерти, вконец измученная кровавой рвотой, вся зелено-желтая в неверном свете каганца, мать погладила руку сидевшей рядом девчонки, как бы успокаивая ее, и сказала: «Правильно, хорошо, а то я измучила тебя совсем... Хорошо».

После похорон Христя перебралась к тете Марфе, соседке и дальней родне, потом ее приняли в детдом, там она потихоньку, с осени, отъедалась, приходила в себя. Однажды ночью поднялась, стала ходить по палате и говорить маме, лежавшей, как всегда, в углу за печкой, что она не права, что Христя вовсе не хотела ее отравить, сама много раз ела этот суп, а хлеб исчез, она не знает как; встала, а его нет; и зачем же на нее говорить, что она отравила? Проснулись другие девочки, поднялся рев, прибежала воспитательница...

Потом все это забылось. Профессию ей дали хорошую, какую сама выбрала. Да и все прочее стало не хуже, чем у других. Мужа вот никогда не было, так это у многих нет, а то есть разведенки, с детьми, — тем еще

хуже. Но — как заноза, как болезнь — сидит в ней этот проклятый страх. Она спать не может, если в подполе у нее не все запасено на зиму или на лето. А под койкой у нее стоит ящик стирального мыла. Конечно, не ящик купила, постеснялась, а целый месяц ходила то в один магазин, то в другой, покупала по нескольку кусков и складывала. Если бы она знала — зачем? И спички стоят у нее так же — ящиком.

В тот день Толят ушел от Христа только к обеду; голова мучительно раскалывалась. Бродил по поселку, сгребал со штакетников свежий снежок и тер виски. Вечером снова пришел к Христе, а глубокой ночью, когда она спала, сидел у окна, курил и клялся сам себе и звездному морозному небу за окном, что больше нигде не уйдет, распишется с ней, будет вечно жалеть, любить! Ведь должен же кто-то жалеть и любить женщину, пережившую все, что есть в жизни самого страшного.

Но к восьми утра он был уже в конторе, упросил дать ему расчет и трехчасовым автобусом уехал в Кемь, а оттуда взял билет на поезд до Ленинграда. Сбежал.

Не по мерке сердца его оказалась ночная клятва — велика.

Ночью в поезде он никак не мог уснуть, то и дело прыгивал с полки, выходил покурить в холодный тамбур, и там, — как неясные тени за замерзшим стеклом, — шаталось, ворочалось, никак не могло улечься в его голове все это — о матери, решившей в предсмертный час, что ее отравила дочь, и простившей, одобрившей этот поступок, даже попытавшейся утешить ее на прощание. От этого голова трещала сильнее, чем с похмелья никак нельзя было понять: если любила, то как же подумала? А подумавши — как простила? И главное: зачем же, простивши, сказала?

Ох господи! Дай нам по мере сердца нашего, в котором поровну намешано добра и зла. Дай нам, господи, по мере этой ношу любви и ненависти. Так он молился той ночью в поезде, молился, хотя никогда в жизни не верил ни в бога, ни в черта.

После Карелии Толят долго не мог нигде прицепиться: и в Белоруссии работал, и в Сибири, и в Архангельской области — везде понемногу, везде было не по себе, нигде не сходился он близко ни с мужиками, ни с бабами; жил отдельно ото всех, и сдувало его с места легко, как соринку, как камыш на приплесках — под-

катывала вода повыше, слизывала, и плыл себе дальше, ни о чем не думая.

Любимым его занятием стало лежать на койке,— а если летом, то где-нибудь на траве,— кверху лицом, полузакрыв глаза, и вспоминать, вспоминать до одури. Из жизни своей помнил он на удивление много, так много, что казался себе стариком. Помнил ремеслуху, детдом, даже смутно помнил, как их эвакуировали: на нарах в товарном вагоне полно детей, плач и смех, дымит печурка, а он приподымается и с усилием сдвигает железную заслонку окна. В лицо шибает горячий ветер, горький запах горелых трав... Поезд как бы выгибается на повороте, и в обе стороны видно, какой он длинный-длинный... А дядька, впрягшийся в двухколесную тележку с узлами, стоит на дороге. Усатый, старый дядька. Он сильно наклонился вперед, сдерживая тяжесть тележки, и, не поднимая головы, ничуть не интересуясь ими, ждет, пока пройдет поезд.

Это, пожалуй, было самым первым, самым давним воспоминанием. Было, правда, еще одно, но уж такое давнее, что даже как-то неловко было сказать себе: помню. Может, вычитал это в книгах, видел в кино, во сне — мало ли? Хотя какая разница? Приемные воспоминания душа может любить так же искренне и нежно, как и приемных детей,— только подошли бы ей, только срослись бы.

Виделось это давнее, ощущалось как ожидание радости, освобождения, как нечто, пред чем надо притихнуть, а потом — кричать. Это — был вечер, комната, что-то темное сбоку, может, окно; и корытце с желтоватой водой, поблескивающей крохотными волнами, полный, белый женский локоть, осторожно опускающийся в эту воду, чтобы проверить, достаточно ли ее тепло. И еще — кисловатый запах мокрых отрубей. В общем, купают маленького.

Это воспоминание сидело в нем всю жизнь где-то глубоко, скрытно и невредимо, как главная пружинка в механизме.

С первой же премии, после того как они с Ленкой расписались, он купил оцинкованную детскую ванночку, нестерпимо поблескивающую на солнце. Приволок ее на голове, как шляпу. А Ленка встретила его, стоя на крыльце, аж сгибаясь, аж приседая от смеха.

— Ты чего? А как же ее? — оправдывался он. — Под мышку не взять и так не взять...

Смеялась она совсем не поэтому, а потому что — комнату они снимают, надеть нечего, у него одни штаны и те латаные, а туда же, как порядочный, детей ему захотелось! Не жирно ли?

Он не обиделся, не успел, так как, говоря все это, Ленка стояла ступенькой выше, держала его за уши и между смехом целовала то в щеку, то в шею, а через пять минут они уже оказались в постели... Ему было двадцать лет, много чего успел он хлебнуть и понюхать, а все же был такой еще пентюх, что верил: раз баба с тобой ложится, значит, хочет от тебя детей, а как же иначе?

Потом баб у него в жизни хватало, никогда о них не думал, оттого, наверное, и сходился легко. А вот к единственной, которая таки родила, кормила и купала его ребенка, его чуть ли не за руку привели, чуть ли не носом ткнули, как кутенка слепого. Он-то думал, что все как всегда, без всякого серьезу, но пришла баб Дуня, выругала, ему стало неловко перед нею: что в самом деле так-то? — он собрал чемоданчик и пришел. И оказалось, что на всю жизнь.

Несло его, как сор по реке. Зацепится где за сухую камышинку, постоит, потом повернется и дальше. Тут его вдруг на берег выкинуло, на такую землю, где и соринка корень пускает. А с корня уже не сорваться. Было ведь и здесь уже дело: закружилась головушка, но как дернулся, так и почувствовал: крепко. Держит.

Отчего ж тогда такая тоска иногда подкатит, и главное — без причины: подкатит, хоть волком вой. И сердце тогда теснит, и жалко кого-то, и себя жалко, вроде как умалили тебя в чем-то, обрезали. Что ж: этот двор, совхозный грузовик, жена, Максимка — неужели ты весь в этом, весь до капельки? И все час-то хороший эта тоска выбирает — вот в чем еще штука. То сумерки на лавочке, то даже тут вот, на банном полке, где сплошное блаженство плоти и духа и ничего больше.

— Не-е, Герасим Самойлович, баба — она и есть баба. У них в крови жадность. Вот Нинке моей скажут, что я вез кого-то, видели, мол, — она сразу на дыбки: чего, мол, она к тебе в кабину полезла? А я ей рупь на стол: бац! Вот, мол, зашиб для семьи. Тут же стихнет... — Толят подмигнул и засмеялся.

— Это ревность, а не жадность.

— У нас однажды в учительской разговорились,— сказал пришлый дачник, заранее крутя головой: дескать, я вам сейчас такое выдам — только ну и ну.— Они к нам с физруком привыкли, двое ж всего, так и за мужиков не считают, чешут вовсю! Разговорились, значит, какой от мужиков в доме беспорядок. Одна, Марта Михайловна, и говорит: «Ах, девочки, так он надоел! Ну, приносил бы получку, да еще одну штучку, а больше ничего и не надо».

Толят пил пиво — так даже захлебнулся от смеха, пригибаясь, откашливался и отплевывался под лавку.

— Во, Самойлыч, во! А то ж интеллигенция, чего ж с наших тогда?

— Ну вас к дьяволу,— сказал доктор, тоже посмеиваясь,— что вы все о бабах и о бабах?

— Ну, давайте о мужиках поговорим — третьего природой не дано.

Сидели полуодетые в предбаннике, на холодке, у приоткрытой двери. Пили домашнее пиво с изюмом и время от времени утирали полотенцами свои напитанные жаром тела, а светлый легкий пот все тек с них и тек, даруя блаженную расслабленность. То говорили, то так же легко смолкали на несколько минут.

— Скажи вот, Самойлыч,— спросил вдруг Толя после такого молчания,— а может человек сам о себе понимать: хорошо ему или нет?

Пришлый дачник удивился:

— Вот-те раз! А кто ж за него понимать будет?

— Сложный вопрос, Толя,— сказал доктор.— Я бы так ответил: может, да не всегда. Далеко не всегда.

— Я это к чему? Вот иной раз все вроде у человека: и баба хороша, и хозяйство, и дети... Вон как у меня Максимка — шустрый же страсть, вовек с ним не заскучаешь. В общем, все тип-топ, а что-то его точит, гложет исподтишка. Спросишь его: какого тебе рожна?— так не ответит. А мается.

— Чего ж ему все-таки хочется?— усмехнулся доктор.

— А бес его знает, чего-то такого... Вроде жизни другой. Чтоб и эта осталась только, и другую ему подай.

— Это уже высшая жадность,— сказал Алексей Иванович.

— Нет,— доктор склонил голову набок,— нет. Бывает, теснит иногда своя жизнь. Вроде бы и сам выбирал, а теснит.

— Разжирел, значит,— уточнил Алексей Иванович со смешком.

— Почему же? Может — вырос?

Толят их словно бы и не слышал. «Теснит»,— повторил он вполголоса, словно прислушиваясь. Точно: теснило его. «Интересная штука: назовешь — и уже вроде понятнее, легче»,— он поднял на доктора глаза, выжидая, когда можно будет еще спросить, но тут в дверь предбанника застучали.

— Ну, вы и размываетеесь, мужики!— закричал Нинкин голос.— А мы же когда будем?

— А чтоб тебя черти!..

— Да мы уже помылись, Нина Андреевна,— сказал доктор,— выходим.

Натянули рубахи, накинули пиджаки, вышли. Небо висело низко, все в тяжелых тучах, было почти темно.

— Никакого у тебя ни нюха, ни понятия,— сказал Толят жене,— врываешься в самый разговор, гостей выгоняешь.

— Да я что? Вон на терраске посидите, пивка еще попейте.

На терраске посидели, пива попили, но уже молча. Доктор поднялся первым.

— Кстати насчет воспоминаний!— поспешно сказал Алексей Иванович, поднимаясь следом.— Давайте я вас провожу немного. Я вам говорил, что в юности работал на раскопках? Так вот, у нас был руководитель, Лазарь Львович Ольшевский. С ним удивительная произошла метаморфоза, точнее, не с ним, а с моими воспоминаниями...

Толят молча проводил их до калитки, вернулся к столу, налил себе еще стакан. Женщины ушли мыться, дом был пуст, тих, окна совсем почернели, и какая-то звенящая пустота стояла вокруг. Вдруг вспомнилась ему докторова спина. «Вот ведь с чем человек живет — как решето весь,— сказал он себе.— Тебе-то что же не жить? Силы навалом, здоровый, пацан у тебя, Максимка... А что теснит, так это, может, душа, как железо от тепла, расширяется, большего требует. Но чего? Куда развернуть ее? И притом как бы не зашибить, кто отогрел? Тоже ведь бывает. Видно, мала была моя молитва, не по мерке надо было просить, с запасом».

Это он говорил — вроде как поглаживал себя, а беспокойная теснота в груди не ослабевала, тоска наваливалась на него, как сырая ночная тьма на маленький костерок где-нибудь в безоглядной степи.

— Максимка, — позвал он отчаянно, — ты где?..

8

Девять утра, а солнца не видно. Серая пухлая наволочь, сколько ни взглядывай на небо, висит неподвижно, тяжело налитанная холодной, скучной влагой. И на земле — ни ветерка.

Деревня пуста из конца в конец. Местные давно разошлись по делам, а дачники... Что дачникам в такую погоду делать? Спят. Пусто. Один доктор сидит на магазинном крылечке, курит, ждет.

Ему бы давно перейти дорогу, стукнуть Клавдии; кому-кому, а ему магазин открывается в любое время, без разговору. Но доктор в кожаных тапочках на босу ногу, а громадную серую лужу перед магазином можно обойти только по узенькой кромке сухой земли по-над самым заборчиком. Хлопотно и неудобно, да и зачем? На крылечке чей-то керосиновый бидон и мешки. Значит, за магазинщицей уже пошли, можно покурить, подождать.

Во всем поношенном докторовом теле ходит и покручивает кости какая-то невыразимая вялость, разбитость, непреодолимое отвращение к необходимости двигаться, спешить. От погоды ли это, от того, что переволновался вчера? Волноваться по-настоящему было не из-за чего. Старость это, старость. Молодые понервничают, да тут же и забудут. У Жанны какие были неприятности на работе, даже на выходные не всегда могла вырваться, бедная, расстраивалась как, а вот всего три дня в отпуске и — пожалуйста! — затеваются гости с катаниями, с шашлыками, и — словно не было ничего другого, никаких забот — уже это самое главное. Молодость — это способность к перемене, переключению. Старость упорнее: ее с беспокоящей мысли и колом не свернешь.

Сигарета к концу становится какой-то медно-кислой; доктор, страдальчески сморщившись, отшвыривает ее в лужу. Секунду она покачивается, потом медленно тянется на середину, иногда ненадолго цепляясь за ка-

кие-то травинки, мусоринки. Видимо, и в луже есть свои подводные течения и верчения, как везде в жизни.

Ага, вон, наконец, и Клавдия. В оранжевом платье с разводами, в синей вязаной кофточке — такая неожиданно пестрая, яркая; зато старушка, семяющая сзади, совсем серенькая — так и сливается с землей, разглядишь не сразу. Клавдия вопросы бросает резко и небрежно, через плечо, а старушка все старается забежать то с одной, то с другой стороны, все ей хочется не просто ответить, а глядя в лицо, иначе неудобно.

— А зимой-то как будешь?

— Да что зимой, можно и зимой, — бабка на ходу подтягивает концы платочка. — Колодец вот у меня мелкой. Бывает, замерзнет, так снег топить надо. А ноне у нас в трех домах дачники, детные все. Дак весело.

— Зимой-то одна. Не страшно?

— Как метет иной раз, томно как-то, а так-то привыкла.

— Чудачка ты, баб Мань! У сынов бы по месяцу пожила у каждого, вот и зима вся, да у Насти месяц.

Бабка молчит, только руками разводит.

— Здрасьте, Герасим Самойлович, — говорит Клавдия, подходя. — Что ж ждете тут, шумнули б, я мигом...

— Я не тороплюсь.

— А это все твой? — кивает Клавдия старухе. — Как же дотащишься?

— Мои, мои... — как бы извиняясь за обилие причиненных хлопот, старуха принимается отодвигать бидон и мешки подальше к краю крыльца. — Ништо! Меня Евдокии зять обещался обратно добросить. К десяти, говорит, заеду, готовься.

— За рупь?

— Не, я давала, — не берет.

— Ишь ты! — возмущается Клава. — А ведь меня, жмот, так никогда даром не подвезет. Даром, говорит, и чирий не вскочит.

— Дак с меня — что возьмешь?? Одна пензия.

— Ну-ну, не прибедняйся. Тебя ежели потрясти...

В магазине темно; ставни Клавдия не откидывает — для этого опять выходить надо, туда-сюда, — а зажигает свет.

— Вам что, Герасим Самойлович?

— Я подожду, ничего.

Клавдия отсчитывает старухе плитки чая, взвешивает карамели, наливает в трехлитровую банку постного и тут же доктору рассказывает, какая она, эта баба Маня, смешная. Позапрошлым годом забирал ее сын в Ярославль. Он инженер, три комнаты имеет, детей нет, жила бы бабка, как сыр в масле, а вот вернулась в свое чертово Едимново, бросовую деревню, отсюда верст шесть; зимой живет там вообще одна на всю округу.

Слушает доктор плохо, зачем-то подсчитывает в уме все цены и, когда Клавдия называет сумму, машинально отмечает, что так и есть, восемьдесят пять копеек лишних. Сказать об этом неловко, а настроение портится.

— Почему ж все-таки вы от сына уехали?— спрашивает он бабку.

— Понуки не было,— смущенно улыбаясь, поясняет та.

— Как это?

— А скажет хозяйка: садитесь, баб Маня, обедать. Она меня маманей не зовет, а все: баб Маня. Скажет: садитесь, баб Маня. Ну, я: спасибо, не хочца чтой-т. А другой раз она и не говорит, не понукает. Ешшо Петька и сердчает: хватит, мать, нам некогда, а ты турусы разводишь.

— А без понуки нельзя разве?— спрашивает Клавдия.

— Неловко, вроде и не позвали.

— Вот, что прикажете с таким народом делать?— разводит Клавдия руками.

После полудня стали съезжаться гости.

Сначала на «Москвиче» и двух «Жигулях» прибыли Жаннины приятели по институту и клинике, люди солидные.

«Шобла», как называла свою компанию Аня, добиралась автобусами, моторкой, а потому подвалила позже и сразу же образовала свой шумный кружок поближе к воде, с костерком и гитарой.

Приятели самого Герасима Самойловича не ожидалось: это был народ рыхлый, обремененный внуками и потому тяжелый на подъем.

Пока надо было встречать и занимать гостей, то есть водить показывать сад и лодочный сарай на берегу,

было еще ничего. Свое дачное хозяйство Герасим Самойлович любил, слегка им гордился, и потому даже явно фальшивые ахи и охи приехавших были ему чем-то приятны. Но ближе к ранним сумеркам стало его снова познабливать, покручивать пальцы на руках и ногах, потянуло лечь.

Уйти было неудобно, он натянул толстый свитер домашней вязки, уселся с трубкой под навесом кухни и был рад, что гости уже освоились, уже маленько выпили и закусили, утолив первый голод и первую жажду; для каждого наступил тот самый момент благодушной уверенности в себе и довольства окружающими, в который человек ведет себя наиболее вольно и из-за которого больше всего, пожалуй, ценится всякое коллективное застолье. Доктор мог с чистой совестью сидеть в стороне под навесом, покуривать и следить, как возится у двух мангалов небольшой лысоватый и полноватый человечек в модных массивных очках — Климыч.

Этот Климыч был, пожалуй, больше всех собравшихся знаком Герасиму Самойловичу, так как давно мелькал у них в доме. Еще позапрошлой зимой, когда Жанна много болела, сидела безвыходно, он забегал, весело потирая с мороза маленькие изящные ручки, рассказывал новости. На кафедре кипели бои вокруг диссертации какого-то Лухмина. Лухмин был жуткий человек, в Жаннином кругу его иначе как «железный мальчик» не называли. Возмущались, говорили, что диссертация его — мыльный пузырь, надо бы написать в ВАК; вообще было много разговоров, и все же Лухмин защитился, воспользовавшись отсутствием одного, обольстивши другого. «Прошел», — говорил Климыч и делал волнообразное движение рукою.

Последней зимою разговоров о Лухмине стало еще больше: он кого-то давил, кого-то тянул, отнимал часы, давал часы...

Герасим Самойлович этой зимою тоже вел кое-какие занятия в институте, консультировал в клинике, но с Лухминым нигде не сталкивался, даже не знал в лицо, и тем смелее, как и все мы грешные, делил участников боев на порядочных, то есть тех, на чьей стороне была Жанна, и проходимцев.

Климыч был в Жаннином стане и потому казался очень приятным интеллигентным человеком: Герасиму Самойловичу нравилась его манера рассказывать, все время как бы посмеиваясь над тем, что вот он-де, уче-

ный, принимает такое горячее участие в склочном деле, да ничего не поделаешь — надо! «Надо, Жанна Викторовна,— говорил он, иронично кривя губы и просительно прижимая к груди маленькие ручки,— надо вам, голубушка, написать. Или позвонить...»

Единственная неприятность с этим Климычем была та, что Герасим Самойлович никак не мог запомнить: фамилия это или отчество — Климыч? И всегда чувствовал себя неловко, когда надо было о чем-то его спросить: экал и тянул слова, пока, наконец, выстраивал вопрос без обращения. А Климыч, видимо, считал это проявлением барства и потому, отвечая, принимал почтительно-иронический тон. Странно, что такой пустяк очень настойчиво вносил в их отношения элемент раздражения и фальши.

И теперь Герасим Самойлович смотрел, как Климыч, растопыривая мокрые, женственно-розовые пальцы, насаживает на шампуры куски баранины и кольца лука, слушал, как он, причмокивая, учил окружающих жарить настоящий кавказский шашлык. И, морщась, думал, что шашлык этот будет жестким и невкусным.

— Воздух!— говорил гость.— Воздух у вас какой — нектар, рахат-лукум! Нет, товарищи, вы правильно делаете, что удираете на лето. За день так устаешь...

«Господи,— думал Герасим Самойлович,— нельзя же чувствовать чистоту воздуха у мангала, где чадно, как в кабаке»,— и незаметно для себя приходил во все большее и большее раздражение.

— Маркес!— кричали в Анином кружке.— Да что вы там понимаете? Маркес внес совершенно новую струю!

«Внес струю». Фу-у!.. Герасим Самойлович, морщась, выдыхал трубочный дым. А ведь это филолог говорит, филолог!

И уже не только этот рыжий дылда-филолог, но и собственная дочь чем-то раздражала его. Тем, вероятно, что согласно и глубокомысленно кивала и, снизу вверх, бог знает чего ожидая и заискивая, заглядывала в волосатую физиономию дылды.

Конечно, девке двадцать шесть лет, а этот дылда, кажется, одна из надежд, которых было уже слишком много, чтобы пренебрегать еще одной, но — господи!— для чего же так откровенно?

— Ты что это, папочка, приуныл?— Жанна, подавая ему тарелку с шашлыком, взяла за руку и, пригнувшись, заглянула в глаза:— Ты что это, папуть?

Он ничего не сказал, потому что тут же откуда-то сзади возник Климыч с двумя стаканами и коньяком.

— Вам нездоровится, Герасим Самойлович? Ну-ка, пожалуйста пульсик. И цвет лица...

— Бросьте!— осадил его доктор.— Какой вы можете видеть цвет? Уже сумерки, батенька! Давайте лучше подкрепимся и развеселимся.

Мясо, кстати сказать, было отменно сочным и острым, но доктора это не смягчило.

— И прекрасно,— поблескивая очками, суетился Климыч.— Чудненько! Давайте в таком случае за ваше дражайшее. Мы, знаете, решили: сегодня будем пить только за здоровье. Так сказать, на лоне...

Сначала коньяк действительно согрел и развеселил. Герасим Самойлович даже сказал Климычу какой-то комплимент насчет шашлыка. Потом Климыч растаял, шашлык остыл, покрылся белыми мраморными разводами жира, и доктор снова смотрел, покуривая, как тасовались гости, уже начиная потихоньку переходить от Аниной компании к Жанниной и обратно, и это почему-то напоминало рисунок из учебника физики: два магнитных полюса и силовые линии между ними. Он думал, что у них в доме все, в сущности, напоминает этот рисунок, так как ничто в природе не в силах погасить соперничество двух молодых женщин, живущих в одной семье. «И боже мой, какие ими тратятся на это соперничество усилия и, собственно, для чего?»

Впрочем, этот вопрос остался без ответа и показался неинтересным, потому что тут же вспомнилось совсем другое.

«Замечательный старик! На орнаментах совсем чокнулся. Считал, что древние в них выражали свое понимание смысла жизни, переплетения судеб. Не высказывались, а вычерчивались, что ли. Я теперь вспоминаю — безумно интересно. Силовые линии влияния одного человека на другого, взаимные притяжения и отталкивания — все это будто бы образует этакий единый, сложнейший, нигде в точности не повторяющийся узор движения жизни, орнамент. Понимаете? И, по-моему, это были его самые главные мысли. Быть может, он передавал их мне как сокровище, хотел наследника, а я не дал себе труда понять, решил свысока: старик чок-

нулся. Вот ведь в чем стыдобушка! Тогда не дал себе труда, а теперь и не могу: забыл, отвердел, черт его знает что. Вы понимаете?»

Это Алексей Иванович, или пришлый дачник, как звали его по деревне, говорил вчера у самой калитки, уже при прощании, торопясь. «Силовые линии влияния», — именно так он и сказал.

Оттого, кстати, и ломота в теле, наверное, что вчера после бани слишком долго пробыл на улице, на ветерке. Он, пожалуй, умница, этот Алексей Иванович, хотя немного смешной, все время торопится... Впрочем, насчет орнамента — это, кажется, не ново и довольно наивно.

Доктор встал и, хоронясь за смородиновыми кустами, ужасно почему-то боясь, как бы его не остановили, не спросили: куда? зачем? — пошел со двора.

В словах пришлого дачника смутно проглядывало что-то близкое, дорогое, как бывает в лице старухи вдруг померещатся давние, молодые, исполненные прелести черты.

Он вышел на берег Волги. Дождь, весь день собиравшийся, все приглядывавшийся к земле с высоты и несколько раз принимавшийся крапать, так и не собрался. Теперь тучи распадались и, торопливо обгоняя друг дружку, рваные и клочкастые, сваливались за горизонт. Иногда в узкий просвет между ними выглядывало закатное лимонное солнце, ложилось на воду — точно осыпало ее рыбьей чешуей. И все сразу же исчезало.

Доктор шел не спеша. Волны накатывались на гладкий приплеск, обильно вскипая серыми пузырями, и, когда уходили назад, пузыри некоторое время держались на мокром песке самостоятельно. Он постоял, припоминая, к чему эти пузыри приметой, но так и не сообразил.

Вот кто бы мог предсказать погоду не только на завтра, но и на неделю вперед, так это Ванча, дорогой земля, друг его самый мимолетный и близкий.

Сердце до сих пор никак не хотело смириться с этой потерей, случившейся так давно, на заре жизни. Стоило произнести про себя имя, как тут же возникал в памяти двухэтажный желтый дом с надписью «Спальный корпус» и гипсовым пионером у входа, холодные ясные утра, строй полуголых солдат, парок от их тел, зеленоватый на солнце посверк густой орудийной смазки, глухой шлепок, с которым снаряд входит в казенник... И снова:

«Отставить!» И снова: «Первое орудие, к бою!» И озорное, скуластое, с закушенным усом улыбающееся лицо: улыбка расплывалась по нему тем шире, тем веселей, чем отчаяннее ныли руки и пот заливал глаза.

А на закате короткие сорок пять минут личного времени, все пишут письма, шьют, чистятся, один Ванча Бродников сидит за казармой, на запасном крыльце, привалившись спиной к шелушащейся, прогретой за день дверной филенке, жмурится, улыбается и потягивается на солнышке, как кот.

— А ты что ж, земля, письма не пишешь — жены нет?

Он открывает один глаз:

— А-а, Гераська, давай лучше споем. «Мыла Марусенька белые ноги...» Ну, чего ж ты? Подпевай.

Гераська сперва подпевает чуть-чуть, не разжимая губ, потом замолкает и вовсе, только слушает, как свободно, легко парит над ним песня, словно не выходит из человеческой груди, а сама собой рождается из чистого, просвеченного косым солнцем, холодного воздуха.

Когда смолкает последний звук, Бродников сидит некоторое время спокойно, не открывая глаз, потом резко хлопает соседа по коленке:

— Ух, Гераська! Все-то у меня есть... Одна беда — баб сверх боекомплекта набрал!

— Это как?

— А вот подрастешь — узнаешь, как это бывает. «По дорожке неровной, по тракту ли...» — снова запекает он.

А ночью их срывает с коек тревога. Сеется мелкий дождь. Машины долго ползут куда-то в темноту, как уточки переваливаясь по яминам раскисшей дороги. Вокруг невидимые люди, приглушенный стук металла, жвяканье многих сапог по грязи...

— Куда нас?

— Так думаю: отучились, — говорит Иван, зевая, — воевать пора. Для начала давай поспим, земля.

Они прижимаются друг к другу и ненадолго, до новой колдобины, погружаются в зыбкую дрему. Кисло пахнет мокрым сукном.

Вот так. И всей их дружбы, учебы, всей жизни рядышком было пять с половиной недель.

Ванча, Ванча, иван-чай,
У дороги не скучай...

Весь следующий день копали, оборудуя позиции своих орудий километрах в двух от крохотной деревушки Пенье, на лесной опушке. Их бросили сюда для создания какой-то то ли второй, то ли третьей линии обороны, немцы были далеко, чуть ли не в сорока километрах. Серенький октябрьский день прошел тихо, мирно, не было даже дождя.

В сумерках, почти уже в темноте, они шли вдвоем лесом, тащили на батарею здоровенные заплечные термосы с кашей. Похрустывание под ногами сухих веточек было слышно, казалось, на всю округу. Термос был тяжелый, лямки резали плечи. Гераська Вязов то и дело останавливался, чтоб эдак маленько подбросить его спиной и ухватить поудобнее. От Ванчи он порядком отстал и только хотел крикнуть, чтоб тот подождал, как какой-то странно усиливающийся вой нажал ему на уши, что-то лопнуло и черный высокий куст взметнулся на полянке. Он машинально бросился на землю; тяжелая ноша больно толкнула в спину, комья глины забарабанили по термосу. И еще, и еще раз нажал на барабанные перепонки тугой, сжимающий душу вой, земля дважды содрогнулась и выпрямилась. Все стихло. Он встал. Полянка была пуста; посреди нее кислым дымом курилась неглубокая воронка.

Хотел крикнуть, позвать, но тяжелый, неизвестно откуда навалившийся страх перехватил, зажал в груди крик. Он машинально двинулся не прямо к воронке, а вокруг поляны и вдруг увидел ногу. Она лежала в ботинке, в обмотке, рваное мясо ее как будто вздрагивало, и кровь толчками выходила из него. А главное — больше ничего не было: только нога.

Никогда не мог он определить, сколько же простоял над ней. Казалось, очень долго, хотя, должно быть, это длилось всего несколько секунд, не больше. Он словно застыл, занемел.

Единственный в его жизни бой начался на следующий день, под утро.

Потом, через много дней и лет, он, конечно, сообразил и разузнал, что было к чему; на разных встречах с солдатами и пионерами рассказывал складно, даже в подробностях, но все это он именно потом разузнал и сообразил.

Запомнил он, пожалуй, только первую, самую начальную картину: сизый полурассвет, трава за бруствером густо посолена выпавшей ночью изморозью;

дальше, почти теряясь в полумгле, чуть проступают, сереют сиротливые ветлы, избы... Сбоку от изб и ползут эти леденящие душу коробочки. Длинные дульца их вздрагивают, выбрасывают короткий огонек; где-то в стороне и сзади ахает земля...

Потом все смешалось.

Кто-то бежал мимо их позиций; Николайченко страшно матерился, размахивая револьвером; катили на руках пушку, били прямой наводкой; танки шли уже с другой стороны, не справа, а слева от деревни, из березовой рощицы; Сашка Белов сидел у колеса, беспомощно бросив руку между колен. «Уберите», — приказал кто-то. Гераська тронул его за плечо, и Белов неловко, кулем шлепнулся на землю. Пилотка его свалилась, открывая чистый, нежно-прыщавый лобик городского мальчика, а глаза уставились в небо бессмысленно и мутно, как серые стекляшки.

Какой-то провал, полная пустота, ничего не помнится, и вдруг — страшное, в крови и черных разводах копоти лицо Николайченко, орущее: «Ты один, понимаешь, один! Один, черт бы тебя побрал!» И снаряд, который Николайченко сует ему в руки.

Небо синее — то ли еще утро, то ли уже вечер; нога — как не своя, в ботинке тепло, мокро. Наконец, звенящая, тенькающая пленка в ушах лопается, мир наполняется грохотом и гулом, он дергает шнур.

Ближний, уже посреди поля, танк вздрагивает и застывает, медленно окутываясь черным дымом. Он видит, как из горящей машины выскакивают человечки, бегут, бегут, один катится по траве, пытаясь сбить пламя со своего комбинезона. Руки работают, будто чужие, о них он не думает. Он видит танки, разрывы своих снарядов; и только злая радость живет в его душе — никаких мыслей. Вдруг — будто палками хряснули его по спине...

В самый последний момент непостижимым боковым зрением он отметил уродливую пустоту на месте деревушки. Сизый дымок курился, да черные огарки торчали — печные трубы. Черные на фоне латунного заката.

На какую-то долю секунды над ним снова очутилось лицо Николайченко, испачканные сажей усы шевелились, но это было уже далеко, страшно далеко. Все заволакивалось серой мглой покоя.

Серая мгла, долгая серая мгла, красные нити, в беспорядке скрещивающиеся, тянущиеся к нему, тре-

пещущие... Он даже покачивается на них, ощущает их упругость, толчки; они тянут его куда-то, тянут, вытягивают из серой беззвучной ямы; возникают звуки, неясные и гулкие, как на дне колодца, а нити все тянут и тянут его, покачивая, куда-то вверх и в сторону.

Он открывает глаза и видит над собой совсем синее, почти ночное небо, усыпанное мелкими звездами. В холодном воздухе звезды светят ярко, иглисто, их льдистые лучики в набежавшей на глаза слезе вытягиваются навстречу друг другу, тянутся, почти соединяясь.

Его несут на носилках. Он чувствует это по покачиванию, по приглушенным голосам, по стуку сапог о подмерзшую глину. Несут неровно, спотыкаясь и матерясь приглушенными голосами. Толчки не причиняют боли, но иногда после самого резкого он снова проваливается куда-то, и снова сетка красных нитей, покачивая, тянет его наверх, под холодное звездное небо.

В небе над колодцем плавает родное лицо с прикушенным светлым усом. Радостно и почти страдальчески, как всегда при пении, заломлена его левая бровь. «Плыли к Марусеньке белые гуси...»—«Ванча,— обрадованно зовет Гераська,— земля, ты живой? А я вот, видишь...»—«Ничего, донесем». Вдруг он пугается: «Подожди! Как же ты идешь?» Лицо над колодцем только подмигивает, только раздвигаются усы озорной улыбкой: «Руки-ноги поломают, мы на ниточках пойдем, а до милой, до овина хоть на пузе доползем...» И растворяется лицо, уходит в вышину, к льдистым звездочкам. Гераська тянется изо всех сил следом, только бы не оборвались нити.

Где-то далеко ухают редкие взрывы. Тошнотно пахнет шинелями, махоркой, запекшейся кровью. «Ну, взяли!»—«Да он живой ли?» Кто-то наклоняется, дышит в лицо табаком: «Живой, зенки тарашит... Ну, взяли!» Носилки плывут дальше, покачиваясь. «Зачем меня несут, куда я ранен?»— думает Гераська. Теплая, липкая мокрота в ботинке вспоминается ему, он пробует пошевелить ногой и не может. Внезапный ужас сжимает сердце. И отчаянное усилие подняться, опершись на локоть, посмотреть, что у него там с ногами, надолго проваливает его в черно-красную тьму.

Проходит какое-то время — может, секунда, может, несколько дней,— он этого не ощущает, только видит,

что серая мгла вокруг него устоялась и что это еще не смерть, ибо и здесь тянутся, пульсируют красные нити. Они покачивают его и подрагивают в странном каком-то, вагонном ритме: та-та-та-та, та-та-та-та. На лицо ему капает теплое. Гераська хочет слизнуть, попробовать, что это такое, но губы у него острые, как терка. Он пытается раздвинуть их, разжать — по телу разливается тупая усталость и погружает его в серо-красную боль так глубоко, что на самом дне он плавно отделяется от нее, точно от груза, и легко всплывает на двор бывшего пионерлагеря «Динамо», на заднее крыльцо их учебной казармы.

— ...а я ногу твою видел,— говорит он.

— Это хорошо.

— Деревушку немцы сожгли. И меня убили.

— Нет,— улыбаясь, покачивает головой Ванча,— ты живой. Разве не видишь?

Гераська оглядывается и видит, как отовсюду тянутся к нему остренькие розовые лучи. Такими они бывают самым ранним утром, когда впервые пробьются куда-нибудь на дно леса, сквозь густую зелень.

— Это что?

— А нитки. Мы же все сшитые. Или не замечал?

— Не, не замечал. А ты мертвый?

— Я живой, только по-другому. Как песня. Помнишь? «Мыла Марусенька белые ноги...»

— Как песня — это хорошо, легко.

— Эй, земля, берегись!— кричит Ванча.

Воющий, нажимающий на душу звук бросает их в разные стороны.

И снова красные нити боли и жизни куда-то тянут, покачивая Гераськино тело. «Боль — это хорошо,— думает он.— Боль — это жизнь. Это лучше, чем песня».

Та-та-та-та! Та-та-та-та!.. Пляшут, покачивая, подергивая его, красные нити. Душно! Прокуренный голос: «Вот этот?»— и женский: «Нет, верхний». Та-та-та-та! Та-та-та-та!..

Спасительная прохлада касается его губ, его лба. Он открывает глаза. Желтый свет коптилки мечется, помешивая густые вагонные тени, вонь и духоту. Вот мелькнули перед ним чьи-то белые руки, вот лицо, девичье лицо. «Маруся!»— зовет он еле слышно. Он хочет спросить, живой ли он, хочет приподняться и снова срывается в вязкую, душную пропасть.

Окончательно он очнулся, вспомнил себя, вспомнил все, что было, уже в госпитале. За окном лежала тихая зима. Редкий снежок вился в воздухе, оседая на черный штакетник под окном. В палате было тепло, сухо, покойно.

Он почти еще не шевелился, когда однажды к койке подошел главврач с листовкой.

— Вязов, ведь это ты, а?

Вверху, в рамочке, серела сильно увеличенная фотография из его солдатской книжки. «Наводчик Герасим Вязов...» — так начинался текст. До конца он не дочитал — лист выскользнул из ослабевших пальцев.

— Так ты? — спросил главврач, приседая, чтобы поймать бумагу.

— Похоже.

— Что значит похоже? Все ж совпадает. Ты и есть. Танки-то подбивал?

Вязов, соглашаясь, прикрыл и открыл глаза.

— Надо, считаю, Калинину написать. Так, мол, и так, ты живой, идешь на поправку. Пусть Золотую Звезду сюда шлют, а?

Тут только в сознание проник смысл слова, по которому равнодушно скользнул его взгляд: «посмертно».

— Надо домой, — попросил он, — испугаются.

— Домой само собой напишем. Я распоряжусь.

Главврач вышел.

Вязов лежал и радостно улыбался. Радовало вовсе не то, что стал Героем. Он вспоминал холодное ночное небо с лучиками-иглочками и тьму, из которой его выволокли красные нити, и думал, что это все совсем не бред. Нити, лучи тянутся от одного человека к другому, по ним может идти доброта и злоба, они могут выручить и погубить! Ему казалось, что он понял самое главное в жизни.

В госпитале он провел еще больше полутора лет. Сначала весь в гипсе, потом на костылях, под конец — с одним костылем и палочкой. О возвращении на фронт ему запретили и думать. И он — стыдно признаться, да что делать? — не очень этим огорчился. Были ребята, что переживали, торопились, скандалили, были и такие, которые рвались показушно, а сами с тревогой прислушивались к своим ранам: какого черта они заживают так быстро? Всякие были.

Но Вязов...

— Вы извините, Герасим Самойлович,— услышал он сзади.

Обернулся. Анны Никитичны сын, Виктор, стоял перед ним и просительно улыбался.

— Да, Виктор Иванович, я вас слушаю,— замедленно сказал доктор.— Что-то случилось?

Вчера этот самый Виктор приходил, пробовал совать деньги, и доктор его довольно грубо выставил. Теперь оба чувствовали себя неловко.

— Так что случилось?

— Да ничего. Я вот уезжаю,— развел руками Виктор.— Цех, знаете, на мне, никак нельзя. А матери вроде лучше, но очень просила передать, чтоб вы завтра зашли,— и, помолчав, повторил:— Она очень просила сказать вам.

Доктор склонил голову набок.

— Разумеется... Разумеется. Всего хорошего.

Виктор еще что-то пробормотал и пошел вниз, где ждала его моторка с парнишкой, сшибавшим рубли на перевозе. Доктор смотрел сверху на то, как он сутулится, пригибается под тяжелым рюкзаком, и думал с неприязнью: «А... картошечки или яблочек прихватить не забыл, так-то».

Он стоял на берегу и машинально следил, как растаивала в вечернем слоистом тумане моторка. Туман все поднимался, заливая реку, подбираясь к ногам. Из собственного дома, скрытого зелено-морковными рябинами, доносилась музыка, шум. Там кипела жизнь, затевались, наверное, танцы; молодые, здоровые тела после сытной пищи требовали движения.

Было время, когда именно так рисовалось ему счастье: сидеть в сторонке и бездумными, влюбленными глазами следить за радостно-бессмысленным шевелением молодой жизни, за мимолетными взвихрениями ее радостей и горестей, эфемерными и обжигающими, как языки костра. Да, глядеть, видеть, бесконечно упиваться этой bestолковой и прекрасной пляской — молодой жизнью.

Что ж... Все как задумано: дом в родных местах, у Волги, красавица жена, всем обеспеченные дети, почтение соседей; вся эта «у гробового входа младая жизнь», — все, пожалуйста! Нет только радости. Вернее, есть и она. Почему бы и нет? Но — за: за раздражением, заботами, тяжелыми мыслями. И дело, конечно, не в младой жизни — в нем самом.

В госпитале он очень долго лежал как раз напротив окна. Ночь и день смешались; жизнь делилась на погружения то в дрему, то в бесконечную ноющую боль. Окно было единственным развлечением, отрадой. Движение солнечного и лунного света, малейшее изменение окраски воздуха — все это необыкновенно его занимало в те редкие минуты, когда боль притуплялась, а сон шел.

Однажды лунной ночью он наблюдал, как ложится на стекло морозный узор. Сначала потянулись тонкие линии — от краев к середине — из крохотных звездочек, потом пошли толстеть, обрастать ответвлениями, ползти по незанятому пространству... Он засыпал и просыпался, луна смещалась от одного края окна к другому, в ноги тянуло холодом, а узор на стекле становился все плотней и осмысленней, уже ясно различались хвощи, папоротники... Он пытался все это про себя дорисовать, но, просыпаясь снова, видел, что дорисовалось все не так — неожиданнее и прекрасней.

Потом он понял, отчего это. Каждая линия продолжалась сама по себе, никто ее не вел, не гнул, не тащил. Эти линии существовали на стекле всегда. Мороз только проявлял их, как проявляет фотограф уже сделанный снимок.

И так же, наверное, всегда существуют кровные нити общей жизни, которыми сшиты меж собой люди. Они неощутимы, пока не грянет беда и не проявит их. Только ведь может быть и поздно. И вообще: так не годится. Надо их провести прочно, стремительно, навсегда.

И снова это окно, уже открытое. Влажная прохлада вливается в палату, шурша полосками пожелтевших газет, еще висящих кое-где на раме. Там, за окном, только прошел дождь; куст спиреи будто встает на цыпочки, тянется к подоконнику, держит в каждом крохотном, бледном от юности листочке по крупной, сверкающей капле.

Зимой он этого куста не видел, ни единой веточки. А теперь видит, потому что смотрит сверху вниз, потому что стоит!

Ноги еще не гнутся, но ничего, не все сразу. Он переставляет костыли, хватает их покрепче, наваливается и лихим, винтообразным движением всего тела подтягивает ноги. И снова — костыли вперед... Он пошел! Он уже ходячий. Сейчас всем в палате раздаст градусники, потом пройдет еще раз и запишет температуру. А под

подушкой учебник химии, принесенный сестричкой. И он кое-что уже повторил, а записав температуру, сядет повторять снова. Он может сидеть теперь целыми часами — и ничего, ноет вполне терпимо.

Нет, вы посмотрите на него, люди! Он пошел... Нет, он пошел не по палате, а к цели! Он будет врачом, он знает, как жить. И ради этого в мире весна, солнце, ради него горьковато-медовый запах черемухи перебивает застарелый больничный дух.

Он пошел. И не станет ждать, пока сама собой проявится его судьба, незримо существующая в пространстве и времени будущей жизни, а сам проведет ее властной, нетерпеливой рукой. Ничто, никакие болячки и беды не смогут этому помешать!

Это утро так было свежо и ярко, что даже теперь, вспомнив его, старый доктор невольно разворачивает плечи, выше поднимает голову, глубже затягивается дымом — так глубоко, резко, что слышно, как хрипит и потрескивает воздух, прогоняемый сквозь тлеющий в трубке табак.

Одно смущает в этом воспоминании: учебник химии. Обыкновенный школьный учебник с помятыми уголками обложки, завернутый в газетку, с параграфами, подчеркнутыми цветными карандашами. Его, наверное, принесла Катюша. Если не она, то кто же? А между тем в этом весеннем звонком воспоминании, в этом предощущении пути Катюши не было.

Теперь, через тьму лет, через всю жизнь, ее отсутствие казалось постыдным, как тайный порок. Даже, черт возьми, не вспомнить, как она выглядела! Закрываешь глаза — она возникает в каком-нибудь темном, гладком платье, гладко причесанная, с густой проседью. Это ведь — потом, а там-то она, наверное, была в белом халатике, в косынке? Ведь ей было двадцать два, не больше. Но ничего такого он не мог себе представить, будто никогда и не видел.

Катя вошла в его жизнь незаметно, бочком, как входит тихий человек в комнату, полную спору и ору. Его сначала почти никто не замечает, а потом вдруг выясняется, что он-то и есть здесь хозяин.

В сорок пятом, когда вдруг пришло решение о возвращении института в Ленинград, он был уже студентом третьего курса, работал в том же госпитале, жил у Кати на квартире и, хотя они не были расписаны, ни разу не усомнился, что поедут они вместе. Когда это

решилось, как? Говорил ли он ей когда-нибудь о любви, о свадьбе, даже любил ли ее — ничего не помнилось. Так сложилось — они оказались вместе.

В Ленинграде жилось поначалу трудно, порой впроголодь, а если не впроголодь, то все равно в расходах, как говорила Катя — «пальцы себе резали». Он учился: ничтожная стипендия, еще меньшая пенсия... Он гнался за ускользящим призраком признания и смысла жизни, не хотел отвлекаться, а все самое тяжелое падало на ее плечи. Надо было получить комнату — она пошла работать дворником, сгребала с крыш снег. Он, дуб, ни разу даже не испугался, что она упадет! Потом работала медсестрой, вечно на полторы ставки, вечно всех подменяла, домой прибегала поздно, ставила на стол авоськи, присаживалась на минуту, безжизненно свесив руки, и тут же встряхивалась, исчезала на кухне то ли по делам, то ли чтобы ему не мешать. А он сидел, зубрил английский, надо было сдавать кандидатский минимум. Да как он смел, черт бы его побрал! Почему не вскакивал, не целовал в холодную щеку, не брал авоськи из рук?.. Как он, врач, мог не заметить начала ее болезни: блеска глаз, худобы; не принимать всерьез глухие жалобы на усталость?

У него была учеба, было дело, — он был надут, как индюк. Как же: добывал людям самое драгоценное — жизнь! А она? Разве она добывала не жизнь? Разве ее неугомонные руки хлопотали о другом? Разве среди тех нитей, что выташили его из могильного мрака, не было и ее ниточки? Да и не в том дело, что спасла когда-то. Может, и не она спасла. А в том, что спасала ежечасно, ежесекундно изо дня в день, в том, что любила.

Только когда навалилась болезнь, он понял по-настоящему, что значила в его жизни Катя. Анька была уже большая, ходила в школу, но все равно — какая груда быта рухнула на него! Сколько она, оказывается, держала на себе до самого последнего.

Дело не в быте, хотя что такое это вечно презираемое нами и мучающее нас чудовище — быт? Разве не общий первоначальный труд добывания жизни? И все-таки быт — чепуха, с ним можно справиться, его можно упростить; он и справлялся, пока Катя была жива, хотя и в больнице. Может, только эти полгода, которые она провела в больнице, и любил ее по-настоящему. Потом, когда ее не стало, обнаружился страшный провал в его существовании, пустота. То есть было все то же, что

и раньше, те же занятия в институте, консультации в клинике, операции, чтение книг по вечерам, беседы с дочкой об отметках и рядом с этим — зияющая брешь в бездну, из которой по сердцу тянет ледяным сквознячком одиночества и незащищенности. Семнадцать лет он был прикрыт от этого сквозняка человеком, которого почти не замечал.

Теперь он как бы осторожно оглядывался, озирался в собственной жизни, как в полузнакомом лесу, пытаюсь определить, туда ли вышел, куда стремился?

Отыскал Николайченко. Бывший политрук оказался совсем рядом, работал в Ленинграде же, в военном музее, но о Бродникове ничего не помнил. Герасим Самойлович описывал: с усиками светлыми, пел замечательно. «Кажется, припоминаю. Запевала, да-да. Постой, так вы же с ним земляки, откуда-то с Волги?» — «Вот именно, что откуда-то».

Николайченко объяснял: надо послать запрос. Он кивал: да, мол, обязательно, и все откладывал. Неудобно морочить людям голову неизвестно по какому праву и — главное — непонятно зачем. Потом он и Николайченко стал избегать. Тот все затягивал его на какие-то встречи, беседы с допризывниками. Дело полезное, а для Николайченко еще и работа, служба, но Герасиму Самойловичу это было ни к чему. Прошрое интересовало его совсем с другой стороны. И сквознячок, открывшийся со смертью Кати, все погуливал по сердцу, делая его все нелюдимее и замкнутее. Даже об институтских делах он рассказывал только Аньке, которая была в четвертом классе.

Так все и шло, пока не встретил Жанну. Совсем молоденькая, всего два года после института, к тому же замужем, ребенок (Юльке было около года). Он ничего о ней такого не думал, тем более что вообще не собирался ни жениться, ни сходиться с какой-либо женщиной до Анькиного совершеннолетия.

«Очень рад, — сказал он при первой встрече. — Красивый врач — мощный лечебный фактор. Улыбайтесь в палатах почаще». Она покраснела и буркнула что-то вроде «рада стараться». Его в клинике считали солдафоном, новенькую соответственно проинформировали. Это бы наплевать, дальше пошло хуже.

Сталкиваясь с ней, Герасим Самойлович испытывал какое-то беспокойство: после обхода палат ему всегда казалось, что он что-то забыл в клинике, чего-то не сде-

лал, тянуло вернуться; он все чаще придумывал, чего же именно не сделал, и возвращался. Жанна вряд ли догадывалась, что это ради нее. Увидев ее, он снова успокаивался и становился привычно сухим, насмешливым, придирчивым, а за малейшее упущение выговаривал так жестко, что у нее, бедной, даже слезы на глаза наворачивались.

В то утро, когда он вдруг пригласил ее к себе домой выпить кофе, он был счастлив. Удалась сложная операция, обширная резекция желудка и части поджелудочной железы. Весь вечер и всю ночь еще решалось: удалась ли? Висело на волоске. Он не пошел домой, только позвонил Аньке, и Жанна, чему-то улыбаясь, слушала их разговор. Потом сидели в ординаторской, молча пили чай, прислушивались. «К шагам судьбы», — пошутил он мрачно. Она серьезно кивнула. Иногда кто-нибудь молча поднимался и выходил. Потом возвращался. За всю ночь они обменялись десятком чисто служебных фраз, не более.

И все-таки именно этой ночью что-то произошло, потому что утром, когда стало ясно, что все уладилось и пожилой шофер этот, фронтвик, будет жить, жить долго, будет ездить, радоваться, — движения, радости неудержимо захотелось и самому; он легко, бездумно пригласил ее обмыть удачу кофейком. «А если не возражаете, то есть и коньячок». И она так же легко, бездумно сказала: «Нет, не возражаю».

Через два часа он уже твердо знал, что если эта женщина не будет принадлежать ему всегда, ему и только ему, то он будет несчастлив.

Все произошло неожиданно. Они оба как будто даже растерялись от того, что с ними случилось, расстались почти без слов.

Когда Жанна ушла, он ходил по квартире, бесцельно снимал с полки книги и, подержав в руках, потрогав переплет, ставил на место. Подолгу стоял у окна, чертил на стекле вензеля. То нежная радость, то безотчетная и бессмысленная тревога волнами проходили по сердцу. Господи, смешно сказать: ему шел пятый десяток, а он, оказывается, не знал, что такое женщина, никогда не понимал, не чувствовал этого так остро, и если уж судьба решила одарить его этим... то почему же так поздно? Почему все в его жизни перепуталось, почему юная телесная любовь поменялась местами с холодной зрелостью? Ведь так не бывает...

И все же он ни на минуту не сомневался в том, что же будет дальше. Она должна была стать его женой. Не могло быть иначе. Он, правда, не предполагал, сколько войдет в его жизнь ненужного, жестокого, даже мучительного. Все эти разговоры за спиной, разбирательства... Нет, даже не это, хотя озлобленность людей вовсе посторонних всегда его удивляла и обескураживала. Все-таки всем этим людям совершенно не за что было на него злиться. Но не это худшее.

Приходил ее отец, Виктор Карпович, теперешний нормальный тесть и добрый приятель. Седой, грузный, приходил и плакал, сидя у него в кабинете, просил не ломать жизнь единственной дочери.

— Но ведь...— медленно подбирая слова, спросил тогда Герасим Самойлович.— Жанна говорила, кажется, что муж ее знает... обо мне?

— Вы не знаете,— задыхался гость, хватая его за руку,— это замечательный, чистый мальчик! Он все простит, только бы она вернулась! Это такая пара! На них все наши знакомые любовались.

Герасим Самойлович смотрел в стол.

— Но решать-то должна она?

— Она вас так уважает! Она сделает все, что вы скажете. И подумайте, одним словом вы можете все поправить, счастье столько людей...— бормотал гость, уже, видимо, чувствуя нелепость того, что говорил, и не зная, куда отступить.— Подумайте о них. И о себе: ведь лет через десять вы старик, совсем старик, а ей только тридцать пять, а?

Герасим Самойлович поднял голову.

— По-моему,— сказал он, жестко, в упор глядя на гостя,— хуже всего можно испортить жизнь, внушив человеку, что она поддается исправлению. Что можно, например, вернуться к мужу, который знает о твоей измене. Нет уж, что сделано — то сделано. Жизнь неотратима — это истина.

Он чувствовал себя еще достаточно крепким для подобных истин.

А разговоры, шепотки, истерические письма — все это тянулось очень долго и после того, как Жанна подала на развод и перебралась к нему. У него каждый такой пустяк вызывал ярость, желание немедленно и всем что-то доказывать, обороняться... Его даже Жанна не могла унять, хотя она сама только усмехалась в ответ на все и ему советовала не тратить нервы.

При этом небрежно дергала плечом и чуть опускала уголки ярких губ, отчего лицо ее становилось заносчиво-презрительным и одновременно детски-обиженным, беззащитным. И это ужасно ему поначалу нравилось, а потом вдруг стало казаться наигранным и раздражать, когда однажды, на свою беду, он додумался, что Жанна просто оберегает его своим показным презрением; оберегает, потому что давно уже догадалась о его бессилии защитить, отстоять, прекратить... Да-да, догадалась, но любит, а потому жалеет, прощает и не подает виду.

Хотя на деле-то все, возможно, было и по-другому — Жанна ведь действительно, как он потом не раз убеждался, умела жить как-то не интересуясь, что думали об этой жизни другие, — так что она, может, и не понимала, зачем он тратит нервы на чьи-то дурацкие пересуды, а он никак не мог заставить себя успокоиться. Не мог именно потому, что сам отлично чувствовал все бессилие своей ярости, всю невозможность хоть как-то защитить Жанну от рухнувшей на них грязи.

Единственно, что он догадался и сумел сделать, — это поменять квартиру и уехать в Москву.

Жаль, поздновато додумался. Уже стало дергаться веко, потом — произвольно вздрагивать руки. Хирург, у которого дрожат руки, — это не хирург. Он еще барахтался, лечился, надеялся, преподавал и консультировал, и все ясней чувствовал: это уже не то, жизнь прошла перевал.

И тогда он снова крепко о ней задумался — о своей жизни.

Что ж, решил он, судьба рано его состарила — пусть! Пусть будет долгая, прекрасная старость. Он выхлопотал участок в родных местах, на берегу Волги, стал строить дачу, а еще через два года вышел на пенсию по инвалидности. Да-да! «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть», а он, мудрый дед, будет ею любоваться, растить.

И вот она играет, эта молодая жизнь, а он не может себя заставить по-доброму любоваться ею. Холодно ему, зябко у ее костра, тянет в сторонку, в темноту. Молодая жизнь тут не виновата, дело, конечно, в нем, хотя... хотя...

Тут мысль его мимовольно замаялась, запуталась в каких-то вялых словах и вдруг вильнула в сторону. Словно перед ней, как он сам когда-то перед слишком

решительными практикантами, предостерегающе взмахнул рукой: «Нет-нет, терпение, коллега! Мы с вами еще не исключили другие возможности».

Она долго набухала в нем, эта мысль, казалась важной, а потом вдруг растаяла, как бывает, тает в жарком небе одинокое облачко, и он безо всякой видимой связи с предыдущим стал думать, что зря вчера заторопился и ничего не сказал Алексею Ивановичу.

Утешить парня легко. Насчет своего археолога он был прав все-таки в юности, а не теперь. Об орнаментах — это не сокровище, а красивая окаменелость. Этакое старческое стремление к какому-то окончательному итогу. Все хотят последнего вывода, рецепта, обеспечивающего полную гармонию. А полная гармония, полное слияние с окружающим, растворение в нем — это же смерть. Живое всегда противоречит живому.

«Да, надо будет сказать ему. Нити, орнаменты, счастливая старость — все миражи, обманы той лучшей, праведной жизни, которой мы все взыскуем и мимо которой проходим, не зная в лицо. Чертим схемы, воображаем себя великими мыслителями... А жизнь наполняет эти схемы совсем другим, не тем, чем нам воображалось. Мстит за недоверие. Мы этого даже не замечаем, только удивляемся: хотели одного, а вышло — на тебе!»

И еще одно всплыло вдруг и чуточку задержалось в череде мыслей: у этого баб Нютиноного постояльца очень милое лицо, почти знакомое. Впрочем, удивительного в этом не было. Вполне могли видаться где-нибудь в Ленинграде.

От дома доносилась музыка, сад был ярко освещен выставленными из окон переносными лампами, но жизнь, кипевшая там, казалась чем-то очень далеким.

— Дядя Гера! — сверху, взмахивая рукой, бежала Юлька.

Он ждал ее улыбаясь. Она, не добежав нескольких шагов, затормозила и очень мило и грациозно — как мать когда-то, — повернулась, взяла его под руку.

— Ты почему один? Тебе грустно?

— Нет, — сказал он, успокаивающе погладив руку, сжимавшую его локоть. — Совсем нет. Просто у нас шумно, немного разболелась голова, и я решил пройт-

тись. Ты посмотри, туман сегодня какой — почти осенний.

Юлька за пятнадцать лет так и не выучилась называть его папой, да, может, это и к лучшему. Они и без того любили друг друга, даже больше — дружили.

— А мне грустно,— сказала она.— Мне, знаешь, всегда грустно, когда туман. А тут еще танцуют.

— Это потому, что сама не веселишься.

— Да ну их!— она махнула рукой.— С кем веселиться?

— Ну, есть же молодежь...

— Анькины? Они какие-то дебилные. Думают, как аспиранты, так обязательно выпендриваться.

Не спеша шли вдоль берега.

— В общем, тебе стало скучно со стариками и ты решила пройтись со мной?

— Ага, а что?

— Да ничего. Мне просто показалось, ты бежала что-то сказать?

— А... Да. Мама послала. Я думала, ты баб Нюту лечишь.

— К ним заходила? Как она?

— Ничего. Бойтся.

— Чего?

— А! Вдруг невестка приедет, то-се. Невестка у нее та еще гримза. Вампирчик.

— Ну-ну... А если мама за мной послала, то почему ж мы от дому идем, а не к дому?

— Потому что я раньше хотела тебе одну вещь сказать. Можно?

— Конечно.

Юлька молчала.

— Так что за секрет?

— А,— она махнула рукой.— Лучше потом скажу. Слушай, ты мать не пускай никуда, ладно?

— Куда?— он остановился.

— В город. Ей этот скользкий-сладенький, знаешь?

— Климыч?

— Он самый. Он ей что-то напел, и она говорит, что у них в среду какое-то собрание и надо обязательно... А ты ее не пускай.

— Вот те раз! Почему?

— А вовсе ей ни к чему там быть. Она в отпуске.

— Ну, милая моя,— сказал Герасим Самойлович,

снова беря падчерицу под руку.— Так нельзя рассуждать. Это же работа. Раз надо, значит надо.

Было любопытно и почему-то тревожно: что она хотела спросить? Какие-то девичьи тайны? Или, может, о матери, о нем? Ладно, торопить не надо, не надо подталкивать. И почему-то очень было приятно, что ей так не нравится Климыч.

9

Когда лодка выходила из протоки в большую Волгу, Виктор оглянулся.

Доктор все еще стоял на косогоре; руки в карманах, в зубах трубка. Слегка задернутый волокнистым туманом, он казался величественным, как памятник.

«Народник чертов,— неприязненно подумал Виктор.— Герой! На ходу бронзовеет».

В груди тяжело, как отрыжка, колыхнулась вчерашняя обида. Как он руки спрятал, каким барски-брезгливым жестом! словно испачкаться мог о протянутую Виктором десятку. «Ну, что вы! Разве берут за помощь? Я до этого еще не дошел, что вы!» Дескать, другие, я знаю, дошли, да я им не чета.

Эта балаболка старая, баб Дуня, небось всем уже растрезвонила: он-де с Толята за шланг взял двадцатку. А он что эти шланги — делает, что ли? С завода принести — это ж не так просто, как им кажется, он же не сам несет. А баб Дуня — та на одних огурчиках больше выручит, да про это молчит.

Он тяжело вздохнул и сплюнул за борт.

Как в этот приезд все выходило неудачно — как на зло! Хоть с доктором тем же. Шел ведь к нему не с десяткой — спасибо сказать, поговорить, оправдаться. Ему небось и так про тебя черт те что наплели, а тут еще с матерью такая петрушка, и ты опять вроде бы по всем статьям виноват. Так легко ли, через все это переступив, идти с поклоном и благодарностью? А тебя еще такой усмешечкой встречают, губу топырят: дескать, потому только с тобой и разговариваю, что хорошо воспитан, выгнать не умею. Да тут поневоле десятку вытацишь — не тебе ж одному оплеванному ходить?!

Доктору — что? Ему от десятки нос отвернуть легко. Хоть он и на пенсии, а кандидат. Зимой небось шабашки еще те сшибает. И жена кандидат. Тут ведь что? Тут

только объявление повесь: «Кандидат наук готовит...» — тебе сколько захочешь, столько и принесут. Еще и с поклоном: на, только чадушку наше любимое выучи, пусть потом задок в тепле держит!

«Ах, что вы! Я до этого еще не дошел!..» Дескать, у людей совесть разная. А у людей не совесть — у людей жизнь разная. Все — разное! Даже деньги. Доктору, допустим, десятка — мелочь, а мать вон с сыном на ссору пошла, постояльцев пустила — из-за чего? Сороковки ради. Ей эта сороковка покой жизни решает: протрухшие бревна сменит и никто над ней зудеть не будет, никакой Самосейкин, а то старуха и в заулок боится выйти.

Виктор покачал головой и снова выдохнул так шумно и протяжно, словно изнутри распирало его чем-то уф-ф!

Ох эти люди, легко и непринужденно лепившие из своих богатых возможностей красивую маску бескорыстия, благородства! С самого детства вызывали они в Викторе дурное чувство; не зависть, нет — ненависть! Показная их щедрость, непрактичность оскорбляли его, язвили именно потому, что он ничего такого позволить себе не мог: ни бескорыстия, ни тем более непрактичности.

Впервые он почувствовал это еще в пятом классе.

Сосед их по дому, одноногий пьяница Григорий Петрович, получил вдруг письмо от брата, кажется, из Бельгии. Разговоров тогда об этом письме было много: жалели Григория, боялись, что его потянут куда следует, и так в этом уверили беднягу, что он по пьяни стал уже рассказывать: да, мол, тягали, да меня на испуг не возьмешь — я им там все выложил: «А па-ачему, грю, мне, инвалиду, мануфактуры нет, а?» Все это чепуха, все в памяти смутно, полустерто. Ярко — неожиданное счастье: марки. Две с королевой какой-то и одна вообще невиданная, треугольная.

Вовчик Салько пристал как банный лист: подари хоть одну!

Все считали, что они с Вовчиком друзья. И Салько так считал. А Виктор в душе терпеть не мог его, презирал за неумение драться, за белые пухлые ручки, а если не шпынял, как другие, и даже оберегал слегка, так это потому, что, во-первых, мать всю дорогу каркала: дружи, дружи, он из хорошей семьи; а во-вторых, тот по-

стоянно таскал из дому булки с повидлом или со смальцем, Виктору отламывал щедро и беззаботно. А тут решил, что Виктор ему тоже обязан отломить, если не жмот, ходил за ним, канючил, губы дул обиженно.

Жмотом Виктор никогда не был, но разве можно было сравнить будничные булки, которые дома Салько скармливали без счету каждый день, и неожиданное фантастическое счастье, один-единственный раз привалившее Виктору?

Вот когда еще он почувствовал, что люди не просто живут кто бедней, кто богаче, а что богатство их несоизмеримо, они живут как бы в разных мирах.

Дело не только в деньгах. Между их четверками по алгебре разница была не меньше, чем между завтраками.

Виктор сидел над задачками до боли в заднице, мозги вывихивал, а Вовчик только присаживался бочком к столу, дрыгая от нетерпения толстыми ножками, строчил, щелкал примерчики, похныкивал от лени, а чуть наткнувшись на твердое, бежал в соседнюю комнату к отцу, а тот, сдвинув очки на лоб, скашивал один глаз в задачник: «Ну-ну... Не торопись. Попробуй так сгруппировать, чтобы был квадрат суммы и квадрат разности». Это называлось не подсказать, а натолкнуть на мысль, хотя после такого наталкивания что оставалось делать? Сесть и записать? Зато он, Виктор, мог бы весь дом свой обегать, не только квартиру, и не найти человека, который кумекал бы, с чем едят этот самый квадрат суммы. А все же тянулся. Иной раз даже на горку не выходил; ребята катались, свистели под окнами — он сидел, обхватив голову руками, задачки вымучивал. И хуже Вовчика оценок не носил.

В самой несоизмеримости усилий таилась громадная несправедливость, которую никто не хотел замечать, а меньше всех сам Вовчик и такие, как он.

Марина Саввична, Салькова мать, говорила ему в передней, вздыхая: «Ты бы повлиял на Вовчика: он такой неусидчивый стал, ему нужно помочь в этом смысле». Или: «Передай маме, не поможет ли она мне с уборкой?..»

Такие это были люди: благородные, непрактичные — и вечно им надо было помогать, и все им помогали. Так и видится эта большая темноватая передняя, зеркало в ореховой раме, чуть желтоватое по краям, а в самом темном углу, между зеркалом и шкафом,—

мать, принеся узел с чистым бельем и смущенно завязывающая в платочек полученные деньги.

«Твоя мама удивительная женщина. Я так рада ей помочь!»— говорила Марина Саввична, разливая чай за кухонным столом. И мать сидела тут же, смущенно краснела и мелко-мелко откусывала от сладкого пирожка, чтобы успеть с ним выпить весь чай, чтобы не оказалось, что ей нужно предлагать еще один. Хотя ей бы, конечно, предложили. С удовольствием! Почему бы и нет? Пирожки эти и псу Бульке давались так же легко и щедро, как замечательной женщине, Викторовой маме.

Мать на Марину Саввичну намолиться не могла. Она и теперь иной раз вспоминает: «Вот-де славная женщина — и усадит всегда, и угостит... Я бы вас без нее и не вытянула».

Между матерью и Мариной Саввичной всегда стоял этот обман, эта тайная несправедливость, которую он много раз принимался ей объяснять, а она все равно не понимала. Ее вообще было трудно сбить, если уж она считала кого-то хорошим человеком. А обман состоял в том, что деньги, переходя из рук в руки, меняли цену. Для матери это была сумма, на которую можно неделю тянуть до полочки, а для Марины Саввичны — мелочь. Салько на книжки, марки и переводные картинки тратил не меньше. Мать сердилась, когда Виктор начинал говорить об этом. «Да как тебе не стыдно! Женщина от души помогает, такие люди, а ты...» Хорошо, пусть от души. Но почему эта помощь всегда выражалась в том, что мать стирала ее рубашки и мыла полы? Или ему давали доносить Вовчкины штаны, «совсем целые, вот тут только немножко, но это легко залатать».

Баб Дуня вчера накинулась на него: мать не жалеет, такой-сякой. Она-де жалеет, а он нет. В чем же ее жаленье? Посидеть, покалякать? Да если хотят знать, его жизнь очень долго в том и состояла, чтоб мать пожалеть, избавить от унижения, от этих жалких слов благодарности, когда завязываешь в уголок платочка несколько мятых пятерок. Он, может, носом землю рыл из-за этого, а они...

Мотор смолк; лодка, описав дугу, мягко шаркнула брюхом по песчаному приплеску. Виктор торопливо расплатился, молча вскинул на плечи рюкзак и зашагал

знакомой тропинкой через поскотину, мимо чьей-то баньки.

На автобус он за всеми хлопотами опоздал, до последней клинкой электрички оставалось всего часа два. А надо еще до Клина добраться. Так что приходилось торопиться. Ботинки тяжело вязли в мокром песке, и он старался шагать обочь тропы, по траве; брючины внизу быстро намокли, тяжело, холодно хлопали по ногам.

Здесь, на низком берегу, было сыро и более сумеречно. Туман стоял в сизом воздухе плотными разводами, как молоко в черничном киселе. Легкий, почти неощущаемый кожей ветерок вытягивал длинные пряди тумана через увалы, между копешками бурого льна.

Шоссе было безлюдно. Неясные тени застили горизонт, делали все предметы расплывчатыми и как будто скрывающими что-то. Познабливало. Казалось, чьи-то холодные пальцы забираются за воротник, под свитер.

Машины возникали внизу, в белом тумане, двумя желтыми огнями, похожими на яичницу. Приближались, наваливались сгустком тьмы и гула и, не тормозя, проносились мимо машущего рукой Виктора.

Поймать попутку здесь всегда было непросто. Из Порфирина шли в основном огромные груженые КраЗы, а это не такая машина, чтоб ее, разогнав, тормозить по пустякам. Обычно Виктор спокойно ждал что-нибудь помельче, но сейчас эти с гулом пронесившиеся чудовища усиливали весь день кипевшее в нем раздражение, невнятную обиду, и даже рюкзак с вареньем и картошкой от каждой прорывавшей мимо громадины становился тяжелее, влипал в плечи.

Бывает такая полоса в жизни — смутная и ненадежная, как размокшая бумага. Где ни схватишь — все рвется, хочешь поправить, а она расплывается еще хуже. Точно смеется над тобой кто-то, шуточки подстраивает вроде той, популярной когда-то, с кошельком, лежащим на тротуаре. Ты к нему, а он — фьють! — и вверх. И в окне гогот.

Так вот и тут. Начинаешь, скажем, самый добрый разговор, а выходит безобразная сцена, при воспоминании только трясешь головой и глотаешь горькую слюну. И с каждым днем, с каждой попыткой — все хуже, хуже, будто бы нити какие-то лопаются.

И вот — ты черт-те где, тебе знобко; туман, тьма, машины проносятся мимо — только успевай отскакивать, ни одна даже не притормозит ради твоей жалкой фигуры.

Что тут прикажешь? Сникнуть, пустить слезу? Нет, так не посмеешь! Будешь все нахальнее бросаться под колеса, отскакивать и снова метаться, и только отрывочные воспоминания — обидные, недоуменные какие-то, — только воспоминания вместе с проклятым рюкзаком будут все больше наваливаться на душу.

Дочь, например.

Ведь что дочь? Это ж твоей жизни кусок — самый ближний, теплый, самый кровный кусище. Когда-то ты ее сажал на шею, мчался галопом вокруг стола, а она визжала от восторга и колотила тебя в грудь розовыми теплыми яблочками пяток. А еще раньше — бегал ночью за четыре остановки, звал тещу, пусть придет, поставит ей клизмочку, а то она еще не спит, хнычет, смотреть на нее нельзя без боли.

И вот эта дочь — здоровенная уже девица — стоит перед тобой и эдак спокойно, с усмешечкой, как бы свысока, сознавая тайное твое бессилие, врет.

Тебе не правда ее нужна — правду ты и без нее знаешь, видел ее с этим охлагоном. Случайно пошел не на тот автобус, надо было к приятелю заехать... Да и спросил ты ее поначалу просто так; этого охлагона ты так же не знаешь, как и всех прочих; это уж ей разбираться, какой лучше, какой хуже, — слава богу, шестнадцать лет девке. А все-таки: скажи она сейчас правду — и тебе праздник.

Но ей на то наплевать, ей не до тебя, не до праздников твоих. Ей важно скрыть то, что считается нужным скрывать по каким-то мелким соображениям, а может, и просто так, без соображений.

И вот она смотрит на тебя честными, преданными глазами, вот она клянется: «Спроси у кого хочешь! Ну, вот возьми, возьми позвони Таньке: была я у нее или нет?» — и врет, врет... И слезы-то искренние какие! «Почему ты такой, почему ты мне никогда не веришь?» — «Да потому, — говоришь, — и не верю, что врешь!»

А самое худшее тут что? То, что уже думаешь: может, и не зря врет. Если скрывает, то, может, и есть что-то, что надо скрывать. И лезут тебе — как бабе какой-

то! — в голову всякие истории о таких вот дурах сопливых, и сердце сжимается стыдом и страхом: а вдруг?

Да нельзя же такое о дочери своей думать! Конечно же нельзя!

Но ведь эта девица, что стоит перед тобой, — ведь ты ее не знаешь! Вот в чем весь обман. Маленькую знал, любил, а когда она такой вот стала, как — этого не заметил, это мелькнуло мимо за делами, за заботами ежедневными, душу съедающими. И вот она стоит перед тобой — врет, плачет, клянется, — а ты задыхаешься от бессилия, не знаешь, что сказать, чем пронять...

И тут как раз приходит жена, мать, черт возьми!

У нее до семи работа, у Надежды. Приходит всегда якобы страшно усталая. То есть в самом деле усталая, но поверх настоящей усталости есть еще и демонстрация, подчеркнутый ему упрек: вот-де, пришел насколько раньше, а ничего не сделал. Хотя — елки-палки! — он и уходит раньше.

Ну, да все это не сюда, это в другой раз. Теперь, растерзанный тайной обидой и бессилием, он сам кидается навстречу, помогает снять плащ, берет из рук сумку — все, пожалуйста, все, чтобы только заглянуть в глаза, перелить в них немного жалобы и тревоги. А глаза прячутся за той же усталостью, за показным спокойствием:

— Ну, хорошо! Допустим, она была в Ботаническом с Генкой Козловым. Что ж здесь такого?

Да ничего, господи. Ничего, конечно. Ничего он против этого Генки не имеет, впервые о нем слышит. Да ведь врет она, вот ведь что! Зачем же тогда она врет? Но эта тревога, как горох от стенки, отскакивает от ее усмешечки спокойненькой, от презрительно, тонко поджатых уголков губ. Дескать, ты тут дурью маешься, а я на это силы последние тратить должна?

— Что же она такого плохого скрыла, из-за чего сыр-бор такой?

— Так если не плохое — зачем же скрывать?

— Ну, по глупости. По глупости. Успокойся. В меня уродилась.

— При чем здесь в кого уродилась? Она ж и тебе врет!

— Ай, перестань. Не срывал бы злость на ребенке — было б время ужин приготовить, а то все ждешь: придет раба, подаст на стол...

И тут надо замолкать, замолкать надо, объяснять

ничего нельзя, тебя уже не слушают, не слышат. Сквозь эту усмешечку не достучишься. А если душу свою не зажмешь, попробуешь достучаться — тогда скандал, тогда выкрики со слезой, с обидой неподдельной: какая-де с тебя в доме польза, с твоих-то ста шестидесяти без прогрессивки? И еще надсадней — о твоей чересчур честной родне, которая презирает чаевые, а в долг из этих чаевых все набирают и отдавать не спешат; и о твоей мамочке, которая... И вообще ты можешь катиться к ним, никто не держит.

Наутро просыпаешься на диване, в проходной комнате — случайный, из милости не выгнанный гость в собственном доме. На душе скверно, а надо идти с повинной. Не пойдешь — тебя могут и месяц обходить, точно пустое место, с молчаливо поджатыми губами. Ей такая жизнь хоть бы что, это пусть тебе черти душу дерут.

Лежи, думай, терзайся, головой бейся об стену — ничего не поможет! Один выход: встать, вытащить из бумажника заначенную полсотню — премию за соцсоревнование — и с нею в руке, улыбаясь как ни в чем не бывало, войти в спальню: «Вот, Надя, забыл вчера сказать: премию давали...» Конечно, ни в какое «забыл» она не поверит, не такая дура, но мир в семье будет восстановлен.

А полсотня бесследно потонет в Надиной сумочке, и ему уже никогда не узнать, во что она превратится, потому что только дуры советуются о покупках с мужьями. И вообще сейчас не покупают то, что нужно, а то, что выбросили или что удалось достать.

Впрочем, не все ли равно? Бревнами для материнской избы этой полсотне уже не стать никогда. Матери надо будет что-то снова врать, обещать... О бревнах и заикаться нельзя Надежде — такого звону задаст, никакой полсотней не утихомиришь! Ладно уж: перекрутится он как-нибудь, в другой раз выкроит.

Это все в среду, а в субботу, добираясь к матери, он вдруг напился посреди дороги, в Клину. Черт его знает, как это вышло!

Ждать было долго, думалось, что мать, как обычно, стоит уже где-нибудь на бережку, его высматривает; надо будет сразу сказать, что денег опять не привез; сразу легче проходит, премию, мол, обещали, да вот... И так от этих своих сочинений стало горько и обидно, потянуло сказать кому-то, как все это худо, перед кем-

то оправдаться. И он сам подошел к каким-то ханыгам: не хотят ли на троих?

Потом еще за одной сбегали и еще. Сидели за павильоном, на груде досок, ханыги откуда-то принесли зеленого лука, наверное, надергали в чужом огороде, — лук лежал тут же, на досках, земля еще влажно чернела на беленьких корешках. Один из ханыг, оборвав луковинку и скручивая перо, бубнил, что с бабой все равно ничего не сделаешь, лучше и не связываться. У них чуть что — сразу в милицию, а ты потом улицы подметай!

Было еще жарко, закатное солнце пекло затылок; он чувствовал, что уже поплыл, но — не все ли равно! — ехать было не домой, а мать всякого примет.

Проснулся он рано, голова раскалывалась. Вышел, умылся дождевой водой из бочки. По воде бегали жуки-плавунцы, пахло сырым, осклизлым деревом. Вода была теплая, освежала плохо.

Он долго стоял, наклонившись над бочкой, смотрел, как нечто туманное, тьма каких-то дрожащих осколков складывается постепенно в его лицо и вдруг снова разбивается сорвавшейся с волос каплей.

Когда он приехал, что говорил — ничего было не вспомнить. А мать уже шаркала в сенцах, зажигала керосинку. Сейчас выйдет, начнет зудеть...

Он покрутил головой, стряхивая с волос последние капли, отражение его снова раскололось, исчезло в хаосе мелких желтоватых бликов, и тут вдруг вспомнилось из того, что говорила вчера мать: дачники. Она дачников пустила.

С этим вошел в избу, об этом — чтоб не спросила о чем-нибудь — сам спросил тут же: как же, мол, так, не договорившись? Про себя подумал, что оно, может, и к лучшему: вспомнит про обещанное — можно сказать, чтоб взяла пока с квартирантов, а там видно будет.

Мать так жалко засуетилась, ни про ремонт, ни про деньги не вспомнила, а поспешно, просительно, рабски как-то стала объяснять, что вот-де Надя не говорила, что приедет, она и не знала...

— Ну и не говорила, — сказал он, — у кого хозяйке спрашиваться? Ладно. Как бы мне сапоги взять? В лес хочу, а твои жильцы небось спят.

Сел пить чай, мать побежала за сапогами: он видел ее в окне, шаркающую по влажной, лежалой утренней

пыли своими разлатыми обрезанными валенками, согнутую, в беленьком с синим платочке,— и что-то сжалось в его груди сначала стыдом и раскаянием, а потом — злостью. Вот так она всю жизнь прожила, под всех вроде подлаживаясь, все дорожки забегая, а между тем все гнула по-своему.

И еще вдруг вспомнилось, что Надежда и вправду собиралась пожаловать сюда в следующую субботу. Он же ее и уговаривал в то утро, когда мирились: конечно, мол, конечно, отгулы у нее есть, надо собраться дней хоть на пяток, к чему себя совсем загонять?

Такой он, значит, был нежно-внимательный муж.

А теперь — что же? Ей про квартирантов не скажешь. А как иначе отговоришь? Придется врать, что-де на работе не отпускают. А если сама поедет? Как надоело все, господи! Нет уж, хватит!.. Хватит! Каждый делает, как ему надо, а он меж всеми крутись?

Матери, когда вернулась, заявил жестко:

— Ну, вот что, мать! Сама квартирантов брала, сама и решай с ними. Пока уж пусть живут, но чтобы к будущей субботе и духу ихнего здесь не было.

— Да как же? Людей-то не выгонишь...

— А как — это твое дело. Как пускала — так и выгоняй. Очень даже просто.

И ушел в лес. Побродить, голову проветрить, грибов собрать. А когда пришел — тут на него весь этот ужас и навалился, вся свистопляска.

Накатываясь, разрастаясь, неслись из-под угора желтые фары. Виктор без всякой надежды вышагнул в дергающиеся, подпрыгивающие конуса их света, поднял руку. И тут — взвизгнули тормоза, крохотный «уазик» прошел немного юзом по мокрому асфальту, клацнула дверка, и веселый мальчишеский голос прокричал:

— Куда, дядя?

— В Москву. До Клина подвезешь?

— А хоть и дальше, только наверх полезай. У меня тут есть уже пассажир,— из кабины, как бы подтверждая, что там пассажир уже есть, послышался веселый девичий смех.— Не замерзнешь?

— Да нет.

— А то презент возьми.

И не успел он перекинуть через борт вторую ногу, как дверка снова клацнула, грузовичок дернулся и помчался сквозь туман.

Виктор устроился у кабины, привалившись боком к какому-то мягким тюкам, накрытым брезентом. Водитель был парнишка лихой и нервный: «уазик» летел, легко подскакивая на выбоинах, на подъемах смело шел на обгон тяжелых КраЗов и резко тормозил, когда над очередным увалом вспухало желтоватое зарево встречных фар.

За Угоршином туман осел, прижался к земле. Машина то ныряла в него, опускаясь в очередную низинку, то выскакивала, и тогда было видно, как он сползает поближе к ручейкам, речушкам. Над головой летело серое рваное небо с редкими просветами пронзительно-густой синевы и блескучих звезд.

На земле было безветренно, черными глыбами стыли неподвижные леса, а в небе шастал ветер, не до конца отжатые рыхлые тучи рвались под его напором, перебегали из табуна в табун. В прорехи раза два выглянула спокойная и презрительная морда луны.

«Небо к утру должно очиститься, похолодает, значит, что тогда в деревне делать? Может, она и не поедет, что она — дура, что ли?» — думал Виктор. Мысль эта маленько ободряла, хотя рядом с нею непрерывно и неостановимо нарастало в душе какое-то гнетущее, тянущее беспокойство. Он следил за тучами, отыскивая взглядом какой-нибудь истончившийся участок, слабины, и с замиранием сердца ждал, когда пелена прорвется, раздвинется и глянет на него другое — бесконечно просторное ночное небо.

Вдруг точно и в душе что-то лопнуло, навалилось неожиданно — господи, ведь ему уже сорок пять! Пятый десяток на перевале. А давно ли сорокалетние казались такими старыми! И правильно казались. У детей начинается юность, у родителей — старость. Естественно.

Неестественно, оскорбительно то, что время от юности до старости, бесконечное время самого долгого возраста, оказалось коротко, как взмах руки. Уже и волосы из ушей лезут, седины, морщины — а что внутри? Внутри все тот же мальчик, только обманутый, жестоко обманутый временем, сулившим так много.

Такая же была ночь, только более светлая, облака почти молочные и звезды теплые, весенние. Шли под руку длинной шеренгой поперек всей мостовой и пели:

Хвастать, милая, не стану,
Знаю сам, что говорю.

С неба звездочку достану
И на память подарю...

Девчачьи голоса взлетали высоко, чисто, а они, в общем-то, только бубнили, но песня все равно была их, рвалась из груди: это они не собирались хвастаться, да и зачем, если надо только напрячься, рвануть — и действительно звезду с неба ухватишь? В теле, в душе — все было готово к этому рывку.

Выпускной вечер в техникуме двадцать пять... нет, даже больше — двадцать семь лет назад.

А теперь что? Трясется на каких-то дурацких тюках пожилой дядечка, второй день с похмелья ноет у него печень, и хочется ему не за звездочками прыгать, а высказать кому-то вот это, давно накипевшее: «Да, невысоко прыгнул, да! Ну и что? Все-таки прыгнул, и к тому же сам, никто меня не подсаживал, на блюдечке ничего не подносили, как некоторым».

Вообще, если хотите знать, он с пятого класса жил одним ощущением: вот-вот, сейчас, сию секунду надо напрячь все мышцы, всю волю и выломиться, вырваться из круга! Только там, за этим кругом, только там и начинается настоящая жизнь. И сил у него на рывок хватало. Он вырывался... За кругом оказывался новый, а за ним — еще.

Первым его прорывом в настоящую жизнь был техникум и оркестр.

Пять новеньких полусотен, их хрусткий холодок в кармане, их прекрасный, тщательно выложенный на комодке веер, придавленный глиняной кошкой. Первая стипендия — вот: любуйтесь, берите, ему не жалко! Стипендию он и потом всю до копейки отдавал матери. Ему лично и того хватало, что перепало в оркестре. Аркадий Сергеевич, руководитель, когда бывал пьян, вынимал из кармана две открытки, умиленно разглядывал и посылал им воздушные поцелуи: «Ум-мм! Кормилцы вы наши — Шопен и Мендельсон!» После этого надо было уже как можно скорее тащить его домой, а то начинались приключения!

Зато как, черт возьми, хорошо, встретив кого-нибудь из своего класса, со двора, угостить его беломориной из полной пачки — врассыпную, дескать, не берем! — или, небрежно пощелкав по горлу, повести пить пиво... И пусть горит в его глазах зеленый огонек зависти! Он освещает путь и дает силы.

А он тогда вспыхивал у многих — этот огонек, — даже у Салько. Перейдя в техникум, Виктор заглядывал к нему редко и уж обязательно при деньгах, при какой-нибудь новой авторучке, карманном фонарике, ножичке. Они упоенно развинчивали это, свинчивали, щелкали. Марина Саввична заглядывала, просила иногда по старой памяти: «Витюша, передай маме, не поможет ли она мне с уборкой?» Но он только бормотал, глядя в сторону, что, мол, не знает: и маме некогда, и вообще...

Отдав первую стипендию, он сказал матери: «Вот, и хватит тебе чужие гóвна таскать!» Мама умиленно расплакалась, а назавтра снова приволокла чью-то стирку. Она была неисправима. И, воротя у Вовчика нос, Виктор знал, что Марина Саввична не успокоится, зайдет сама. И мать конечно же побежит и будет потом благодарить в темном углу передней, заталкивая деньги в вырез платья, в лифчик, по старой привычке, с которой он тоже не мог ничего поделать.

— Послушай, — злясь, что надо идти самой, говорила ему Марина Саввична, — тебе не кажется, что стыдиться матери — это и есть самое постыдное? Ее труд так же честен и почетен, как любой другой!

— Ну и занимайтесь им сами, — бурчал он не слышном громко.

Назавтра мать плакала и говорила, какой он неблагодарный.

...А потом был еще институт.

Бессонные штормовые ночи перед сессией, вечные хвосты, тонны пота. Институт, разумеется, заочный. Очный — это не для него, это для таких, как Вовчик, — гладеньких и благополучных. К тому же уже на первом курсе появилась Надя.

Надя была тоже из другого, богатого мира, хотя тут богатство было вовсе не таким, как в квартире у Вовчика. Тут были никелированные спинки кроватей, кружевные подзоры, вышивки по стенам, густой пахучий борщ и обязательный запотевший графинчик на тяжелом круглом столе, за которым ежедневно собиралась многочисленная родня, горластая и плечистая, всем видом своим заверявшая: если что — в обиду не дадим. Мир Вовчика Салько манил и отталкивал, вызывая зависть и безотчетную ненависть, а Надин — сразу показался заманчиво-теплым и вполне доступным.

Она тогда была очень красива: крепкая, стройная, быстрая. Одевалась модно, пестро, держала себя вольно. Многие нажглись на этой мнимой вольности. Головы она никогда не теряла, а одного не в меру осмелевшего кавалера турнула с лестницы так, что ей же пришлось вести беднягу в травмопункт.

Вокруг нее густо кипели вечные страсти соперничества и борьбы мужских самолюбий, она резвилась среди них, как рыба на плесе, легко гася обострения и до поры всем предоставляя равные возможности ее завоевать. Рядом с ней он, как и другие, постоянно был настороже, на взводе, постоянно — как перед дракой.

Весной эта неизбежная драка все же случилась. Он сам, кажется, был и зачинщиком. Началось все из-за пустяка, в своей же компании, а закончилось ночевкой в милиции.

Наутро Надя прибежала к нему домой; он был один, в постели; держал на шишке огромный царский пятак. Присев на одеяло, Надя потрогала шишку и стала говорить, что если дойдет до института, она поможет, есть ход. Он целовал, тянул ее к себе, она вырывалась, бормотала что-то о жене профессора, которая уже год у нее педикюр делает, даже на дом приглашала, вполне можно ее попросить...

В общем, его поведение было признано рыцарским, и награду он получил сполна. Но завоевание на этом не кончилось, он только как бы ворвался на чужую территорию.

Завоевывать нужно было еще долго. Как раз входили в моду разные молодежные кафе, было одно на улице Чехова, не вспомнить даже, как оно называлось, теперь там шашлычная, все по-другому, а тогда были какие-то черные дырчатые колпаки на лампах, голубой пластик столиков и плакат: «Скуку сдай в гардероб!» Это считалось очень современным, чуточку западным. О вечере, проведенном там, говорили: «Вчера приобщнулись!» Приобщаться было не так просто, приглашительные шли по большому благу, и некий Гарик за десятку (слава богу, еще на старые) пропускал их через кухню. Были еще и другие места, какие-то стекляшки, казавшиеся тогда безумно фешенебельными.

Он был уже гальваником четвертого разряда и получал совсем неплохо, но для такой жизни надо было жутко вертеться. Выручали мимолетные приятели. Зва-

ли их Фима и Женька, а может, и не Фима, а Дима. Они делали и куда-то сбывали особые наборные замки, а Виктор, прибегая пораньше и прихватывая обед, хромировал им разные штучки-дрючки. Фимы-Димы были, впрочем, ребята прижимистые, платили не очень, начальство к его деятельности относилось плохо, но — наплевать! Все это ведь пока, временно. Надины дядя уже хлопотали об устройстве его на свой завод, где «деньга шла гуще». Так они говорили. Они вообще относились к нему прекрасно и чуть ли не раньше самой Надежды стали его отличать в толпе ухажеров.

Осенью они расписались. Круг снова разорвался и снова сомкнулся. В новом были те же безостановочные хлопоты, то же напряжение жил, то же «вырваться во что бы то ни стало».

Доставали холодильник, ходили на переключки поздно вечером, почти уже ночью, к восьми было на работу, да час дороги — в центре деньга густо не ходит. Потом была еще эпопея с квартирой. У кого только не назанимали, чтобы заплатить первый взнос, даже у матери он взял; чего только не делали, чтобы расплатиться! И все казалось: это только пока, вот устроимся и тогда — заживем. Заживем, как... Ну, высоко-то они не залетали, говорили: «Заживем, как Зубцовы».

Жена Игоря Зубцова была Надиной школьной подругой; о них было много разговоров одно время, Виктора водили к ним якобы в гости, а на самом деле — показать, какую Зубцов купил польскую кухню или как выложил ванную цветной плиткой. Если уж Надя загоралась какой-нибудь вещью, то так, что жизнь не в жизнь была без этой барахлины! Потом Зубцовы как-то незаметно отпали, были другие приятели, Сутуловы. Много чего было! Да и куда от этого денешься, если это жизнь?

...Тучи летели по небу, приоткрывали и прятали звезды: синеватый туман по пояс укутывал придорожный кустарник, седыми клоками летел у самой дороги. Виктор сидел на холодном брезенте и думал, что другие, верно, устраивали жизнь как-то проще, с меньшими усилиями, не отдавая на это всей молодости.

Но как, как это им удавалось? Почему им, почему не ему? Он ведь не жадный, лишнего не хотел. Хотел не хуже других — и только.

На какой-то выбоине «уазик» подпрыгнул, тюки под Виктором сдвинулись, он невольно повалился на спину, раскинул руки, да так и остался лежать. Тучи сильно поредели, небо за ними стало еще выше, просторней, звезды блестели холодней и призывней. Луна, вываливаясь из-за туч, освещала черные стога, гребенку леса и поля, залитые низким и плотным молочно-сиреневым туманом.

Въехали в Клин. Тут надо было высматривать поворот к вокзалу, стучать в кабину, чтоб остановили. На последнюю электричку Виктор успевал даже с запасом. Но как-то не хотелось поворачиваться на бок, следить за дорогой, вообще видеть что-либо, кроме этого величавого, пышного действия в небесном театре. «И не все ли равно куда?— смутно думал Виктор.— Пусть... Куда-нибудь привезет. Пусть и не туда. Что такое «туда» и «не туда»? Чепуха...»

Город проскочили быстро; снова медленно раскрывались, поворачивались поля, залитые туманом; за кабиной не дуло, дорога стала ровней; Виктор даже задремал: какой-то лес привиделся ему, мокрые голые ветки, вроде бы глубокая осень, кружится лист, и вдруг яркая, не тронутая ничем трава, а среди нее — крупный гриб-красноголовик. А он, Виктор, вроде бы еще и не срезал, но уже знает: внутри гриб чистый и крепкий.

Машину встряхнуло, дрема отлетела, оставив только удивительное и неуместное чувство радости. Виктор сел, передвинул тюки, устроился меж ними со всеми удобствами, барином. Надвинул поглубже кепку, прикрыл глаза.

«Наплевать,— устраиваясь, угреваясь меж тюков вдруг решил он еще непонятно о чем.— Наплевать! Почему вечно я должен искать примирения, поступаться чем-то, а она?.. Нет уж, дудки-с, пусть и она попляшет маленько. Так и скажу: незачем тебе ехать. Не разрешаю! Сдала мать. Кто разрешил? Я разрешил».

Он представил себе, как бы выслушивала Надежда эту тираду. Утро. Он торопится, бросает все это на ходу, не оборачиваясь, и в то же время видит ее лицо — вялое утреннее лицо, еще без косметики, обиженно и растерянно помаргивающее белесыми ресничками... Он беззвучно захохотал, подрагивая животом.

Машина летела к черту на рога, в неведомую и от-

чаянную страну; небо было бесконечно просторным, и казалось, стоит машине еще немного наддать, как — лопнет какой-то круг, они окажутся в небе, и тогда-то на сердце станет по-настоящему легко.

Шофер растолкал его уже в Останкине, около пивзавода.

— Эка я у тебя ехал здорово, даже уснул, — сказал Виктор, спрыгивая на землю. — Спасибо.

— На спасибо не проживешь, гони, — шофер пощелкал пальцами.

На стоянке такси машин не было, пришлось ждать; он все поправлял осточертевший рюкзак, потом плюнул, снял, поставил его рядышком и, запрокинув голову, принялся разглядывать небо. В городе оно было совсем не таким: ни звезд, ни облаков — все ровного пепельно-розового цвета, как остывающая зола.

Был второй час ночи. Очень хотелось спать.

10

— Ну, папка, отпусти! Больно же...

Бродников разжал пальцы и с удивлением посмотрел на дочку. Та, виновато опустив глаза, потеряла освободившуюся руку: прости, дескать, если не так себя повела, но вправду больно.

— Извини, — пробормотал он смущенно.

Аккуратные холмики с одинаковыми красно-зелеными пирамидками лежали перед ними. Две бронзовые таблички с завитками в углах: «Анна Саввична Мерцалова. 1917—1971» и «Дарья Михайловна Бродникова. 1919—1956».

О чем это он так задумался, что чуть Наташке руку не сломал? Что-то тяжкое стронулось, ворохнулось в душе, а вот упустил на секундочку — и все! Оттого, верно, что думалось не словами, а как-то так, вообще — давнею радостью, и теснотой возле сердца, и невнятным стыдом...

Радость эта шла еще от тех утренников, что устраивала Анна Саввична перед каждым праздником. С играми, конкурсами, призами — ручками, линейками, книгами... Натянут поперек коридора веревку, подвешат к ней бумажки на ниточках — номерки; и ты бродишь с завязанными глазами, пощелкиваешь ножницами, растопыривая руки; хохот стоит, крики: «Мазила!.. Тепло, холодно, нечестно...» А тебе легко, весело, и ты,

конечно же, все равно срежешь в конце концов номерок. Только легкий озноб нетерпения: ну, ну, когда же? И что там будет — на этот номерок? Хотя тут-то и гадать было нечего: всегда выигрывалось то, что нужно. Не было ручки — выигрывал ручку, любил рисовать — получал краски, а Борьке Хроменькому из Бабни, читавшему на всех утренниках стихи, доставалась какая-нибудь книжка. И, уже ликуя, уже предвкушая запах новеньких тетрадей или темно-желтой, мягкой стружки карандашей — ровненькой, гладкой, с цветными крайчиками, — ты бежал со срезанной бумажкой к большому окну, где Анна Саввична говорила всем, с удивлением и восторгом качая головой, экой ты, однако, ловкий, замечательный приз тебе достался!

И до сих пор где-то глубоко живет в тебе эта радость, трепещет теплом и светом, а если отдает сейчас горечью, так это потому, что не писал, не писал ни разу! Уехал — как в воду канул, как сбежал!

Объяснить, почему не писал, конечно, можно. Кто она ему? Пригревшая на несколько дней учительница? Так многие ли пишут учителям? Он и сам три года назад выпустил десятый — и что? Кто-нибудь звонит, пишет? А тут еще эта история с отцом...

Объяснить можно, да что объяснения? Если б это не с тобой было, они бы еще, может, и сгодились, но было то все с тобой, и ты помнишь, отлично помнишь, как шли вы в последний раз мимо церкви, мимо этого кладбища... В церкви и тогда была уже пекарня. Маленькая дверь в боковом притворе распахнута, у крыльца повозка, и оттуда, из церковного нутра, тянет густым, кисловатым запахом свежего хлеба, черной корки с ноздристыми румяными закраинами, сытнее которых ничего не бывает.

Шагали молча; и только уже за маслозаводом, у корявого, опаленного молнией вяза, Анна Саввична остановила его, тронув слегка за плечо.

— Ну, давай прощаться!

— Ага, — сказал он.

— Что-то тревожно мне за тебя, Бродников, душа не на месте, — вздохнула она. — Конечно, большой город — большие возможности, все сейчас едут. Мне вот не оторваться — молодость моя здесь, любовь, вы все; а молодые все едут. И ты езжай, ищи судьбу. Только если что, помни — здесь тебя всегда ждут.

Она ухватила его мягкими, теплыми руками за щеки, за уши притянула и поцеловала в лоб.

— Ну, будешь помнить?

Он невнятно пробормотал — конечно, мол, будет, а про себя думал, что о любви она могла бы и не говорить, он ведь все знает про отца-то.

— И пиши, слышишь, пиши!

Это она прокричала уже вдогонку.

— Обязательно,— он обернулся, да так в полуобороте, на ходу, и увидел ее в последний раз.

Она была в обычной своей кофте, вязанной из домашней серой шерсти, с большими, полукругами отвисшими карманами, в черной старушечьей юбке, а улыбка и то движение, которым она вскинула руку для прощального взмаха, были очень молодыми, мягкими, женственными. Да она и была тогда молодой женщиной — сорока не было.

А мать?.. Мать прожила всего-то, оказывается, тридцать семь лет, хоть он и помнит ее старухой.

И вот теперь они лежат рядом — две женщины, меж которыми была, казалось, пропасть, непроходимее которой и сыскать трудно. Но той страшной голодной весной они нашли в себе силы, сошлись и сидели, держа друг дружку через стол за руки, плакали... Нет, не примирились с судьбой, а спорили с ней, пересиливали, не давая любви обернуться жестокостью и тем спасая, быть может, не только его от голодной смерти, но и себя, и память о том, кого обе любили, и еще что-то, что, не стыдясь высоких слов, следовало бы назвать высшею человечностью, благодаря которой переплетения человеческих судеб пусть и трагичны, но не просто жестоки.

А он? Ничего такого не посылала ему судьба, да и куда ему! Он и на низких-то порожках спотыкался, высокие и вовсе обходил. А теперь оглядывается, и жизнь за его спиной рваная, клочковатая какая-то, без стержня. Но отчего же так вышло? Все последние дни думает об этом, думает и ничего не может придумать. И как это все...

Он вздохнул, а Наташка потянула его снизу за палец и вопросительно заглянула в глаза. Потом медленно присела, положила на бабушкину могилу собранные ими по дороге цветы, о которых он совсем забыл почему-то.

— Давай посидим,— сказал Бродников, опускаясь на шершавый плоский валун, вросший в землю в изножии могил.

Старые вязы тихо шуршали над головой гроздьями созревающих семян. Стал было накрапывать дождик, но, так и не пробив насквозь тяжелой листвы, ушел куда-то в сторону. Дочка подлезла под руку, прижалась к нему, и тепло ее худенького тельца как бы отвлекало Бродникова, мешало его печальным размышлениям.

— Вот,— неожиданно сказал он,— видишь, вот здесь я родился, потом поехал далеко, в Ленинград, и снова вернулся сюда,— хворостина описала петлю.— А вот, скажем, доктор Герасим Самойлович, тот тоже здесь родился, поездил и вернулся. И Анна Никитична тоже.

— На цветочек похоже,— сказала дочка, глядя на его рисунок.— А бабушка? Она никуда не уезжала?

— Она никуда. И баб Дуня никуда. Они как стебелек или корень.— Бродников провел еще линию.— Такой, значит, орнамент. Знаешь,— сказал он,— был один старичок, он учил меня, что такое орнамент. В нем все повторяется и все изменяется, как в жизни. И это очень важно, чтобы все не только менялось, но и повторялось. Он был археологом, этот старичок, а я... вот,— Бродников развел руками.

— Ты и стань, что тебе стоит? Будем ездить. Я люблю ездить.

— Я тоже. Я весь в тебя. Правда?

— Правда,— она засмеялась.— А почему ты не стал?

— Не знаю. Так все сложилось.

— Это я тебе помешала?— спросила она очень серьезно и очень огорченно.— Мама говорила, что ты хотел еще учиться, а тут я родилась.

— Нет,— сказал Бродников,— что ты! Дети никогда ничему не мешают. Это если у больших что-то не получается — они любят сваливать на маленьких.

— А так нехорошо.

— Очень!

Обратно шли молча.

Думалось о пустяках. Например: зачем он все время пытается говорить дочке о том, чего она еще просто не

может ни понять, ни запомнить? В сущности — странно... И еще — о вчерашнем.

Они вышли пройтись по бережку, там же играли ребята, и Алла вдруг остановилась.

— На нашу посмотри, какова?

Мальчишка показывал Наташке каких-то жуков или пауков — черт их знает, что у них там было в спичечных коробках. Жуков Наташка никогда не боялась, ловила их сама, но мальчишки показывали с явным намерением поугагать, и она пугалась, ойкала, обиженно дула губки.

— Как все-таки в девчонках сразу видны будущие женщины, в мальчишках это не так, — улыбнулась Алла.

Он кивнул, соглашаясь, и пошел дальше, а потом еще несколько раз оглядывался на дочку.

А сейчас, вспомнив это, вдруг подумал, что если Алла права и будущие женщины видны рано, то Наташка будет кому-то славной женой. Что-то в ней есть такое, какая-то особая струнка. Он, улыбнувшись, скосил глаза вниз; дочка шла тихо, чуть загребая носком левой ноги. Плечи были опущены — устал человек, уж тут не до кокетства.

— А мы еще приедем сюда... потом? — вдруг спросила она, поднимая голову.

— А как же! Обязательно, Таха.

Когда пришли домой, у них сидела Анна Никитична.

— Конечно, мы знали, что не будет мяса, — говорила ей Алла, — прихватили тушенку, но чтобы в деревне яйцо ребенку нельзя было купить — это уж я не знаю, никак не думала. А, явились? Где вы так долго? — повернулась она к ним. — Well, Natasha, go and wash you hands! Сейчас я вас кормить буду, — и вышла на терраску, отчего-то обиженно и гордо неся голову.

Анна Никитична осталась сидеть. Бродников все никак не мог сообразить, о чем бы с ней заговорить. Речь, как он понял, шла об их отъезде, и тут все вроде уже было сказано. Алла не преминула поворчать, конечно, да теперь — что сделаешь?

— А что мой тезка, — спросил он после паузы, — что пишет? Нашел отцовскую могилу?

Старуха мелко кивала, словно непроизвольно трясла головой, потом вздохнула:

— Не пишет он, уж и не знаю...

— М-да,— сказал Бродников,— непростое дело, конечно. А мне вот и могилу искать негде. Мой батя без вести пропал.

Старуха еще раз вздохнула и поднялась.

— Я вот вам гостинчик принесла,— она кивнула на глиняную плошку с огурцами.

— Спасибо.

— Кушайте на здоровье, я уж пойду.

«Это она Алку смягчить хотела, огурцами-то»,— подумал Бродников.

Минут через десять, за обедом, Алла пересказывала свой разговор с хозяйкой, пересказывала почти беззлобно, разве только насмешничая слегка.

— Представляешь, говорит: «Я уж и возьму с вас за полмесяца, только в субботу съезжайте». Как будто мы больше жили. Или она рассчитывала, что я от умиления заплачу ей лишнее?

— Ничего она не рассчитывала. Сказала, как сказлось.

— Ах да, я и забыла,— Алла насмешливо подняла глаза к потолку,— у тебя все старухи прекрасные, святые люди, особенно твои землячки, как же!

— Перестань!— угрюмо попросил он.

Жена обиженно замолчала, а он, не доев, молча вышел на крыльцо, машинально сунул в рот сигарету, но курить не хотелось. И так было в душе горько и муторно, будто накурился сверх всякой меры.

11

Заболевала Анна Никитична всегда внезапно, будто в ней что-то надламывалось, а выздоравливала медленно. За всю жизнь не было с ней такого, как другие рассказывали, чтоб вот проснулась и почувствовала: здорова. Из болезни нужда выгоняла, поднималась через силу, хватаясь за стол, за стены, начинала гоношиться, подлатывать, подпирать повихнувшуюся без нее домашнюю жизнь, а там тело снова привыкало двигаться, забывало о боли, и она, не дожидаясь решения докторов, просилась на работу.

Так и теперь: сын уехал, и, проснувшись в понедельник, она с тайным облегчением поняла: надо вставать. Выпростала осторожно ноги, ухватившись за спинку

кровати, села, пережидая, пока покачнувшаяся комната станет на прежнее место.

А дальше уже пошло легче, привычней. Сунула ноги в обрезанные катанки, поверх рубахи накинула ватник... С портрета на заборке расплывчато и оторопело смотрел на нее Иван. «А вишь, мое дело какое,— сказала ему Анна Никитична,— пока живем — тереблюсь помаленьку».

Мир тоже выходил из непогоды медленно и натужно. Солнце плавало белым холодным пятном за сероватой облачной мутью; ветер дергал порывисто, с присвистом; по жаворонковскому саду, точно озноб, пробегали волны шороха и смятения. Так пусто было в деревне — ни квохтанья куриного, ни собачьего бреху,— так пусто, что душу щемило смутным страхом: вдруг все ушли куда-то, а про нее забыли?

Несколько раз Анна Никитична подходила к калитке, высматривала: нет ли кого хоть вдальеке? Но только ветер, налетая, морщил рыжевато-серую воду луж по всей деревне.

Уже ближе к полудню окликнули ее вдруг со стороны сада:

— Баб Нют! Баб Нют!..

Она заспешила, шаркая катанками по непросохшей дорожке. У калитки стоял Максимка, никак ему было крючок не откинуть.

— Баб Нют! Бабань спрашивает: тебе, может, супцу принести иль чего?— быстро выпалил он, увидев приближающуюся хозяйку.

— Проходи, проходи. А супу не надо, я сыта, ты проходи. И что ж это ты отсель-то пришел? — обрадованно говорила Анна Никитична, открывая калитку.

— Ты только бабане не сказывай, ага? Она меня послала, а девчонки говорят: айда в прятки играть.

— Ну, и нашел ты их?

— Кого?

— Ну, в прятки-то?

— Не... Они хитрые: в сеновню спрячутся, а потом стукаются за себя.

— Ишь ты, бессовестные!— возмутилась она.— Да ты погоды!.. Ты это — знаешь что? Ты бы огурчиков мне присмотрел, а то бабке гнутья трудно, а?

— Эт мы мигом,— степенно согласился он.

Ходил по грядке Максимка обстоятельно. Не спеша раздвигал ногами листья, осматривал плети ботвы. Потом вдруг что услышал или вспомнил из своих дел, застыл на секундочку, вскинул лопухую головушку и бегом кинулся за калитку. Только и успела старуха, что поймать в подставленный фартук пяток огурцов.

— Куды ты, Максим, куды?

И даже не оглянулся! Ишь, шустрый!

А огурчики были крепенькие, ровненькие, в остреньких матовых пупырышках. Старуха не утерпела, отерла один тут же о юбку, ногтем скovyрнула остаток увядшего цветка и торопливо, с хрупом, с жадностью какой-то надкусила. Да так при этом остро почуяла запах, так захотелось салатика с лучком, с маслицем, что поняла: жизнь впереди еще есть. Какая — это бог знает, а есть.

Потом доктор заходил, потом баб Дуня. Чаевничали, грызли привезенные Витькой баранки, вспоминали отчего-то, как дети у них болели, какие их доктора лечили. У баб Дуни Антонина лежала за Волгой, в Низовке еще больница была, а всяк воскресенье ездила. Даже свечку в церкви ставила. Мало что не верила, а вдруг как он есть все-таки? «Точно,— кивала Анна Никитична,— как заболеют — тут уж не до ума». Она своих в больницу отдавать боялась. С дизентерией хотели было забрать, так на крик кричала, а не дала. Дома выходила. Один раз только Виктор и лежал в больнице — аппендицит резали — и то большой уже был, в техникуме.

Хороший вышел разговор, утешный. И все ж проводила Анна Никитична подругу с тайным облегчением: все боялась, что та о Витьке заговорит, о дачнике пришло. Это все казалось далеким, путаным, вспоминать не хотелось.

Уже совсем в сумерках, как прогнали стадо и осела пыль, она, накинув теплый платок и ватник, вышла за калитку. Скамейка у баб Дуниных ворот была пуста, видно, еще не поужинали, и было хорошо сидеть одной, смотреть, как наливается за ее избой малиновым соком закат, как поджигает он края медлительных сероватых облаков, и думать, что завтра, должно, опять будет дождь, а там, может, и потеплеет. Такие были мысли — спокойные, спокойные.

Вышла баб Дуня, высыпала в подставленную ладонь каленые семечки: они прошуршали сухо, тепло, покойно.

— Умаялись, старые,— сказала она, вытягивая и поглаживая свои ноги.

— Толчешься весь день.

— Да как не толчешься: тому это надо, тому то, а тут еще Антонина в пятницу приедет — цельный колхоз!

— Оно верно. Накормить всех и то...

По реке, не видимый ими, прошел теплоход, наплыла и растаяла музыка, деланно бодрый голос командовал весельем. Теплоход прошел, и еще слышней стала тишина, нарушаемая только шарканьем двуручной пилы во дворе у Самосейкина.

Долго сидели, перебирая разные случаи и за все друг дружку жалеючи: за роды неудачные, детские болезни, за вечный, непрекращаемый круговорот готовки, стирки, готовки.

Перед сном, угреваясь в настывшей за день постели, Анна Никитична все думала о своей подруге, даже не о ней, а о Нинке, Толяте, Антонине, Максимке — множестве людей, без которых баб Дуню и представить нельзя и которые все на нее чем-то похожи, даже Толят, все от нее неотделимые.

«А у меня?» — вдруг подумалось. И как перед глазами встало: сыновья, может, ее и любят, бывает, и заботятся, а давно уже живут совсем по-своему. Не в том, конечно, печаль, что по-своему — по-своему у всех живут, — а что как бы в сторонке от нее, вдалеке как бы. Не разглядишь, не поймешь, в чем печаль их, в чем радость? А ее жизнь — что ж? — она ведь все равно в них, больше-то — где? Вот когда были маленькие...

Она попробовала еще, как всегда, вспомнить перед сном что-нибудь теплое, утешное, но память заупрямилась и выкинула вдруг совсем другое: как батя, бывало, перебирал на коленях сетку, ковыряясь в ней большой деревянной иглой, и все растягивал ее на пальцах перед глазами: «Поглянь, Нютка, нет дырки?» — «Нет». — «Ишь ты! А куды ж рыбка уходит?» — и посмеивался тихонько так, добродушно, в бороду посмеивался.

«Куды ж она ушла?» — повторила Анна Никитична совсем тихо, думая о неладной своей жизни, и больше уже ничего не вспоминала. Вздохнула только и так, со

вздохом, безвольно погрузилась в сон, как в воду. Снился Виктор. Будто зима, они с Надеждой выходят на кухню пить чай; старуха, значит, ставит на стол чашки и вдруг видит: Виктор-то с бородой. То есть она вроде знает, что это Виктор, а это старик с бородой, с запавшим ртом и желтым кривым зубом, все время вылезавшим из-под верхней губы. И тут же почему-то Лешка и Иван. Она говорит: «Это наши дети, Иван». А он молодой, моложе Лешки, который почему-то лыс,— и смеется, качает головой, вроде не признает их, а голова его наголо острижена, со смешными складками кожи за ушами, которых в жизни никогда не было. Она и вообще раз в жизни видела такие — у Самосейкина.

Проснулась вся в поту от страха, сердце бухает. Полежала, поглаживая под грудью, успокаивая себя: ничего, мол, такого и не было, чтоб пугаться. Так, пустая чепуха крутилась. Но страх отходил тяжело, медленно, то и дело вспоминалось, как это все-таки жутко, когда никто на себя не похож.

Поднимаясь, решила вдруг, что дачников своих надо ей просить, умолять, хоть на коленки встать, а только чтоб к субботе они съехали, потому что никак ей нельзя ссориться ни с Витькой, ни с Надей. Все утро ходила, сочиняя про себя, как и что скажет. Даже к баб Дуне зашла, и та против ожидания одобрила: «Правильно,— сказала,— свои они все ж таки свои. С ними жить!»

К обеду насобираала Анна Никитична полную плошку огурчиков и пошла. С пустыми руками было неудобно, получалось, вроде как выгонять пришла. А так — принесла огурчиков, да промеж делом и свое сказала.

Дачника с девчонкой не было, а жена его и гостинцу не обрадовалась, и просьбе не удивилась. «Да,— сказала,— Леша уже говорил. Я, кстати, и рада: привезенное все подъели, здесь ничего не купить. Огурцы и те у всех свои, а дороже, чем в городе. Да и погода...»

К концу недели погода стала добреть. В пятницу снизу по Волге потянуло теплом, и к вечеру темные рваные облака, плывшие над деревней, сбились в кучу; быстро, почти без сумерек, легла ночь, и во всех избах заснули под монотонное шуршание неспешного теплого

дождя. Когда проснулись, на небе не было ни тучки, солнце жарило, точно в июле, и тонкий парок всходил вдали над вымытой, обновленной травой поскоотины.

Все это пахучее, теплое, парное утро Анна Никитична промаялась в избе. Казалось, выйдешь — получится, вроде со двора людей гонишь... А в избе не сиделось спокойно: вдруг, думалось, забыли, раздумали вдруг? То и дело подходила к окошку и, отогнув занавеску, поглядывала, чем дачники ее заняты.

Первым там проснулся хозяин. Сбегал на Волгу умыться, сел у окна, что-то в бумажки заворачивал, надписывал.

Потом — солнце уже стояло высоко — пошли умываться дачница с дочкой, а хозяин на терраске возился, две керосинки у него там горело. Совсем непохоже было, чтоб люди съезжать думали.

Чтоб себя не маятить и людей не подгонять лишними думами, Анна Никитична занялась снова вениками, на передний двор вернулась нескоро. Дачники как раз запирали избу. Сердце ее совсем от страха упало. Шли они явно в лес, с корзинками... Потом опять чуток отлегло: ходики показывали без десяти одиннадцать, а катер уходил в пять.

Так весь день и жила — страхами, пока, часа уже в четыре, не прибежала дачникова девчонка: мама, мол, спрашивает, зайдет Анна Никитична или ей деньги сюда принести?

— Зайду, зайду, — обрадованно засуетилась она, — счас, счас, скажи, зайду, не сомневается пусть, что ж ей сюда бегать-то?

На терраске еще горела керосинка и в большой кастрюле кипели грибы.

— Это я сейчас солью и кастрюлю вымою, — пояснила дачница. — Проходите, посидите минуточку. Решили вот мои напоследок собрать да и засолить дома. Проходите.

В избе на столе стоял огромный рюкзак со многими карманами, туго набитыми разным добром. Анна Никитична вроде нигде взглядом не задержалась, а все заметила: было прибрано, посуда на местах, кастрюльки на полках прямо светили начищенными боками и пол был вымыт чистехонько. «Обиделись», — окончательно решила она, на эту чистоту глядя.

— Присаживайтесь, — сказал дачник. — Сейчас со-

чтемся,— и крикнул на терраску:— У меня тут не помещается. Возьмешь в сумку?

— Нет уж. Грибов знаешь сколько? Наверное, обе банки полны будут. Сейчас пойду отцежу — увидим.

Дачник взял со стола приготовленный конвертик и положил перед Анной Никитичной.

— Вот,— сказал он.— Спасибо за гостеприимство. Договаривались мы с вами за сорок пять, по рублю пятьдесят в день, прожили четырнадцать дней, значит, двадцать один рубль и два за картошку. Всего двадцать три. Вот, пожалуйста,— и он еще чуток подвинул к ней конвертик.

Анна Никитична смотрела, приоткрыв рот, ослабив нижнюю губу и мелко-мелко подрагивая своими кустистыми рыжими бровями, а денег не брала.

— Как же?— сказала она наконец.— У меня не так выходило. Вы ж пятнадцать дней жили. Второго приехали.

— Ну, правильно! Сегодня шестнадцатое,— сказал пришлый дачник, с натугой засовывая еще один сверток в рюкзак.— Шестнадцать минус два — четырнадцать.

— Как же четырнадцать?..

Она уже и сама сообразила, что да, четырнадцать. Приехали они вечером, уезжают днем. Тут, конечно, и одного дня не набрать, не то что двух. И все же обида по-прежнему щекотала и теснила грудь: сколько было переживаний, как она этим людям добра хотела, как боялась сказать «уезжайте», как нравились они ей с их чистенькой, неизменно тихой девочкой, и вдруг...

— Я понимаю,— сказала она,— вы половинки сложили. Я только не додумалась.

— Какие половинки?

— Ну, того дня, как приехали, половинку и сѣдни. Вот оно и получается четырнадцать.— Она говорила и чувствовала шершавый комок, подступающий к горлу, и боялась: заплачет, а пришлый дачник подумает, будто из-за рублевки.

Он опустил руки, затягивавшие рюкзачный ремень, и тоже смотрел на нее с растерянностью и болью.

— Да о чем вопрос?— пробормотал.— Если вы так считаете... Я просто не подумал. Одну минуточку,— и выскочил.

Она осталась сидеть, совсем сбита с толку. Слушала, как он разговаривал с женой, чистившей песочком кастрюлю у крыльца. Что он говорил, было не разобрать — только бу-бу-бу. И дачница отчетливо так, негромко, со спокойной, уверенной в себе злостью: «Ну и что? Везде так считают. На юге, в Прибалтике». И снова: бу-бу-бу-бу. «И не подумаю...» — Бу-бу-бу-бу.— «Да пусть слышит, господи! И так весь отпуск перепортила своими дурацкими страхами...»

«Ох ты бог ты мой, стыд-то какой! Что ж я сижу, за рублевку, что ли?» — думала Анна Никитична, а с места не двигалась, словно оцепенела.

Вошел дачник. Положил на конверт мятую, обсыпанную табачными крошками рублевку и мелочь.

— Вы уж извините. Я просто не подумал.

«Из заначки,— догадалась старуха, глядя на эту рублевку.— А та, значит, не дала. Нравная».

Мысли эти текли от нее как бы в сторонке. Она боялась пошевелиться, словцо сказать, чтоб вдруг не заплакать. Надо было отказаться, обидеться: мол, не нужны они ей — этот рубль с полтиной, не из-за них заговорила; да стыд и обида сдавливали горло. Она только кивнула.

Попрощались. В окно было видно, как стояли у калитки дачник с женой. Она звала дочку, а он угрюмо, обиженно горбатился под тяжестью рюкзака, уронив длинные руки. Дочка была где-то за избой, кричала: «Сейчас, сейчас, мамочка...» — и уговаривала баб Дуниного Миньку: «Ну, быча, еще штучку съешь. Я ж уезжаю, не приду к тебе больше».

Уехали они пятичасовым, а встречный катер, как и всегда в субботу, привез в Юрятино множество гостей.

Анна Никитична его не встречала. Собралась пойти, да потом прилегла на минуту отдохнуть, и вдруг дошло, прояснилось как-то, что, слава богу, все — хоть Надежда пусть приезжает, хоть кто, — все у нее в порядке, все уехали, все прибрано, даже веники на сдачу и те готовы. И впервые за две недели такой полный, безмятежный и праведный опустился на душу покой, что она незаметно уснула — легко, без сновидений, как и ночью-то не часто случалось в последние годы.

А разбудила ее Нелька.

Она ворвалась в избу, как весенний сквознячок, — счастливая неведомо чем, взбудораженная. Старуха сесть на постели не успела, как она уже чмокнула ее в щеку, затормошила, затараторила.

— Здорова уже? Ну, молодец у меня бабка, фирмá! — внучка отскочила от нее, закружилась по комнате. — Как мы ехали, я тебе расскажу, совершенно хохмово! Ой, это у тебя молочко? Здорово, а то все в горле пересохло. Пылища у вас, — и, вытянув единым духом пол-литровую банку молока, стоявшую у Анны Никитичны на ужин, она принялась, похохатывая, рассказывать о каких-то ребятах, ехавших с ними в электричке.

«...Собственная у вас дача?» А я: «Не, дядина. Добрый дядя подарил». Он говорит: «О!..»

Анна Никитична слушала улыбаясь. Нет, не словам — они как-то мимо ушей проскакивали, — а уж очень она на Витьку была похожа. Так вот тоже прибежал из школы или с горки и начинал все разговоры разом выкладывать. Ничегошеньки не поймешь, бывало! И эта сыпала про парней в электричке, про платье, что заказали на отцову премию, про какую-то ссору с подружкой — и все по избе кружилась, никак ей было на месте не усидеть, не устоять.

— Ой! Я ж за лукошком пришла, а все болтаю, — Нелька метнулась через сени в сарайчик — аж ветерок, поднятый ее крутнувшейся юбкой, скользнул по избе. И тут же снова появилась в дверях: — Ну, ты даешь! Вениками заложила. Не знаешь, на старых вырубках красноголовики не пошли?

— Да я не ходила еще. Кто ж его знает, должны б!

— Совсем не ходила? А я завтра прямо с утра.

Проводив внучку, старуха совсем успокоилась. Раз никто, кроме Нельки, к ней не зашел, значит, все там в порядке. Ополоснула лицо, пожевала огурчик, лучку зеленого. Есть не хотелось, да уж так, для порядку, чтоб ужин над душой не висел, вечер не портил.

Сумерки еще чуть только начинались, а суета, ворвавшаяся в деревню с приходом катера, уже улеглась. У сына в избе тихонько играл магнитофон, где-то неразборчиво бормотал телевизор, да у Маныхиных во дворе смеялись, оттуда тянуло костром, паленым жи-

ром — веселье, видать, затевалось нешуточное. Да Маныхины — это далеко, почти на другом краю деревни, а в баб Дунином заулке было тихо.

Вышла на лавочку и баб Дуня, но только присела, пожаловалась на гудящие ноги, как тут же прибежал Максимка, стал канючить какие-то шарики, получил подзатыльник. Людка выскочила в голубом платье, покрутилась, попросила, чтоб маме не говорили, а Антонина, как назло, на эти слова и вышла: «Как это маме не говорить?»—«А уж это наше дело, как захотим, так и не скажем, верно, Людка?»— подмигнула баб Дуня. И Нинка вышла к матери за ключами, да так на лавочке и осталась, Толят вышел. Народу у баб Дуни была полна изба, у всех было до бабки дело, бабка на всех поварчивала. Разговор шел свой, семейный.

Анна Никитична сидела молча, слушала не столько этот разговор, сколько то, что у Виктора в избе делалось; Надежда там недовольно громыхала посудой, покрикивала на Нельку, но та — слышно было — только лежала на диване и отбрехивалась. О дачниках слова не говорили. Будто и не жили они. И бабку не ругали ни словечком. Будто ее и не было. Волна теплой, покойной, серой горечи поднималась у Анны Никитичны в груди, все ровненько заливая вокруг.

Из Девичьего по прогону шел доктор со своей младшей, та держала его за локоть и что-то торопливо пересказывала, то и дело взмахивая у лица рукой.

— Ну-с, как чувствуем себя?— спросил доктор, подходя к лавочке.

— Слава богу! Спасибочки, опять на тот свет бабку не пустили.

— Ну-ну! До этого далеко было,— доктор промолчал.— А что дачники ваши — уехали, значит?

— Уехали,— сказала Анна Никитична тихо. Вот уж про что не хотелось говорить — про дачников. Да еще под открытым окном у Надежды.

— А вы не знаете этот, как его... Алексей Иванович, а по фамилии?

— По фамилии? Я и не спрашивала вроде...

— И адреса они вам не оставили?

— Так проводила, Самойлыч, один срам,— сказала она еще тише,— какой тут адрес?

— Вот жалость!— доктор вздохнул.— Я все думал: очень лицо знакомое, может, встречались где. Понима-

ете,— сказал он,— сегодня вдруг дошло: это ж копия мой однополчанин. Бродников такой был... До того по-хож! Я подумал: уж не родня ли?

Лицо у доктора было такое огорченное, что Анна Никитична снова почувствовала себя без вины виноватой. Даже не знала, что и сказать.

— Так он вроде местный, Алексей-то Иванович,— сочувствуя доктору, сказал Толят.— Говорил откуда, да я забыл. Из Бабни, что ль? Так что придет еще.

— Хороший человек, труженик, видать,— отозвалась и баб Дуня.— Должен приехать!

Они попрощались и снова под ручку пошли дальше, растаивая в густеющих сумерках. И вместе с ними растаивало, отодвигалось, уходило все это — пришлые дачники, невнятная на них обида, ссора с Витькою,— все, чем жила последние дни. Все тонуло в прохладных сумерках, все заливалось ровною серою мглою, тихо поднимавшейся к спокойному густо-голубому небу. Почти стемнело, над магазинным крыльцом ярко вспыхнула лампочка. Клавка там долго гремела ключами, засовами, потом подошла.

— Моего не видали?

— Нет, а чо?

— Да Самосейкин, хрыч старый, сказывал: на пилораму подался. Боюсь, пьяный явится.

— Ну, ничо, Клавк,— весело сказала баб Дуня,— не бойсь! Я тя в подполе спрячу, хотишь?

Та ничего не ответила. Отошла, обидевшись.

— Ой, мама, нехорошо так,— сказала Антонина,— тоже и пожалеть человека надо: с пьяницей жить — легкое ль дело? И с ножом гонялся. А мало ли пьяному что стукнет, когда с ножом?

— Он за ней тридцать лет гоняется, да все не зарезал,— сказала баб Дуня.

— А я вообще не люблю, когда пьяниц жалеть начинают! Сколько от них горя...

— Ну, и жен их тем более жалеть нечего,— встала Надежда. Также не выдержала гонору, вышла на лавочку язык прогулять.— Умела бы каждая своего одного унять, не так бы все хлестали!

— Ты, известно, себя похвалить не забудешь, а вот, гляди, загуляет Витька...— сплевывая семечки, сказала баб Дуня.

Надежда не смутилась:

— Не загуляет. Он знает, как у меня загуливать!— и погрозила кулаком кому-то.

— Ну, тебе бы хоть десяток, и всех бы ты доила да молочко не делила.

Анна Никитична все отодвигалась и отодвигалась в густоту серой тени.

— Ну вас к дьяволу!— сказал вдруг Толят.— Гнете хреновину — уши вянут,— он вскинул вверх руки, потянулся до хруста в суставах и (никто ему даже ответить не успел, а собирались — и Надежда собиралась, и Нинка), сбросив руки вниз, меж колен, заорал, пригибаясь, дурашливо громко:— Максим!

Тот мгновенно возник в окне.

— Я!

— Айда, верши поставим.

— Ура!

Толят не успел в калитку войти, как сынишка уже повис у него на шее, болтая ногами. Они о чем-то пошептались, расхохотались и пошли в глубь двора, взявшись за руки.

Серая стывшая мгла наполнила все лощины и медленно всходила над Анной Никитичной, гася густую голубизну вечернего неба. Ничего не хотелось ни слышать, ни говорить.

12

Катер, на котором уехали Бродниковы, был в это время уже далеко.

Алексей Иванович сидел на верхней носовой палубе. Еще в Юрятине, едва устроив своих внизу, в салоне, он поднялся сюда. Катер как раз разворачивался, чуть кренясь на борт. Берег был еще совсем рядом, за узкой полоской вспененной винтом воды. На самом обрыве, поглядывая на Бродникова сверху вниз, паслись маньхинские козы. Потом, все отдаляясь, проплыла перед глазами докторская дача, показалась Толятова баня, такая же отсюда ладная и крепкая, а возле нее бродил полюбившийся Наташке бычок Минька.

На самом юру, скрестив на груди руки и попыхивая трубкой, стоял доктор Герасим Самойлович. Бродников поднял руку, помахал прощально, но тот не заметил, видимо, смотрел не на катер, а поверх — вдаль, за голубоватую зубчатую стенку Вахонинского леса.

Юрятинский берег все удалялся, все понижался, точно таял в застилавшей его голубоватой дымке. Мерно стучал движок, подрагивала под ногами палуба, скрипуче кричала чайка. И тихо было, удивительно тихо! Бродников боком опустил на скамейку, положил руки на деревянные перила, а на них — подбородок.

Долго сидел так, неподвижно; все ему денек один вспоминался.

Осенний был денек — липы на бульваре шумели уже жесткой, бурой, словно проржавелой по краям, листвою, а клены пылали, — осенний, но добрый, насквозь прогретый и просвеченный солнцем. Да и не только солнце грело тогда; еще и в кармане, прямо у сердца, скрытно похрустывали и полыхали нечаянной радостью четыре новенькие десятки. Бродников был на первом курсе, только-только привыкал жить на стипендию, страшно ее не хватало, а тут еще Инга...

С Ингой познакомились на вступительных; она провалилась, но не расстраивалась. Чего ей расстраиваться? Жила у папы с мамой в шикарной квартире, увешанной коврами, и вся жизнь была у нее впереди, — что она, в институт поступить не успеет, что ли? не намучается? — а пока можно было отдохнуть после школы, развлечься. Он развлекал ее, сбегая с лекций. Вечером было нельзя. Вечером предки стояли на страже.

Все это накатило внезапно, длилось недолго; под Новый год где-то случайно столкнулись уже совершенно чужими, потом все и вовсе кануло в небытие, но тогда стояла еще осень, и еще казалось, что суть жизни — это их торопливые объятья на ковровой тахте, их внезапные страхи: лифт загудел, неужели мать? Нет, слава богу, к соседям... И их провожания по ночному бульвару; и все фильмы подряд: прекрасные и глупые, лишь бы повезло на билеты в последнем ряду и лишь бы сидеть, прижавшись, впитывая жар другого. И еще жизнь была вечным мелочным позором полного студенческого безденежья.

А в тот день безденежья не было. Оттого он так и вышагивал, не торопясь, блаженно жмурясь на солнышко и чувствуя себя наконец-то мужчиной, хозяином жизни и всех ее наслаждений. Начали разумно: где-то ели мороженое, пили сухое, а потом раздухарились, по-

шли ужинать в «Неву». Пили водку, ели цыплят-табака, Инга захмелела, хохотала от каждого слова. Откуда-то возник Борька Осмоловский, спорили о летающих тарелках, еще о чем-то таком же ненужном, диком, Инга танцевала с лейтенантом, Борька предлагал намылить ему шею, но Бродникову было не до чьей-то шеи. Он все прикидывал выпитое и съеденное, все сбивался, и то выходило, что денег все-таки хватит, то прошибало холодным потом предстоящего позора.

Так и прогудели эти сорок два нечаянных рубля, с неба свалившийся перевод. Еще весной было письмо из правления колхоза: согласен ли продать избу на снос, хотят ток строить, нужны бревна. Он написал «согласен» и забыл, а там помнили, и вот осенью выслали денежку.

Но в тот день он, кажется, так ни разу и не вспомнил, что это за деньги. Они даже не выпили за его избу, пили просто «за нечаянные радости — да валяются они на наши головы каждый божий день. Аминь!».

«Как же я так? — с тоской думал Бродников теперь. — Хорош. Изба, положим, не нужна, но — хорош гусь!.. Там же мама умерла, там отец родился, и вот так бездарно, без всякого даже удовольствия...»

Дочка подергала его за рукав.

— Чего тебе, Таха?

— Мама сказала, уже холодно и чтобы ты шел вниз.

— Сейчас... — он погладил ее по головке, такой маленькой, такой шелковой под ладонью, легонько подтолкнул: — Беги, скажи, он докурит и сейчас же придет.

— А ты не куришь.

— Это неважно. Сейчас закурю.

Он закурил и стал всматриваться в неторопливо скольльзящие навстречу берега. Юрятино давно скрылось за поворотом, и Вахонино со своей золотой луковкой скрылось, а Волга все тянулась серо-зеленым шелком камышей по одному и темной зеленью боров по другому берегу; наливалось малиновым соком, разбухало подходившее к горизонту солнце; а катерок шлепал себе и шлепал, тычась носом в песчаные пляжики, подбирая и старух в белых платочках, и ребят в джинсах, и даже шоколадно-загорелую даму в небесно-голубых штанах и немыслимом сомбреро... И эта неторопливая обстоя-

тельность умиротворяла. Никуда не девались ни стыд, ни боль, но и не застили уже свет. Оглядно было вокруг, просторно и хоть тем уже утешно, что одна родная земля представлялась бесконечной и вечной, а все, что копошилось на ней, преходящим и потому поправимым.

Уже в сумерках поднялась наверх Алла, присела, обняла сзади, положила голову на плечо.

— Душно внизу?— спросил он.

— Нет. Я так... просто,— она помолчала.— Мы в этой деревне будто чужие стали, да?— он сделал попытку освободиться, повернуться, но она еще плотней прижалась к спине.— Сиди, сиди, так лучше.

— С чего ты взяла?— спросил он.— По-моему, у нас все в порядке.

— А я думала, ты на меня злишься. Глупо действительно вышло с этим рублем. Просто я-злая была: только погода наладилась, только бы купаться — так нет: собирайся и выметайся из-за ее страхов дурацких.

— Чужие страхи всегда дурацкие.

— Так сердисься?

— Нет,— сказал он,— не за что.

Посидели некоторое время молча, почти не шевелясь.

— Знаешь, о чем я сейчас думала?

— Нет.

— Думала, почему бы тебе не перейти в институт? Помнишь, Шорохов звонил, предлагал?

— Это, милая, когда еще было...

— Ну и что? Мы же не узнавали, может, там ничего и не переменялось. Деньги, конечно, не те, зато — перспективы. И потом,— она понизила голос до шепота,— потом ты бы не маялся. Думаешь, я не вижу, не понимаю? Еще в институте все говорили, что у тебя талант. И если бы не я, не Наташка... Но сейчас мы бы могли, а? Я бы взяла больше уроков, мне бы дали, и даже с удовольствием.

— Чудачка ты,— сказал он.— Думаешь, стоит заниматься наукой — и все проблемы решены? Дело совсем не в этом,— и вздохнул.

— А в чем?

— Вот в том-то вся и задача — в чем?

— Ну, думай, думай,— Алла слегка шлепнула его по затылку.— Старайся, мыслитель!— и, вздохнув, до-

бавила:— Пойду все-таки вниз. Не всем быть мыслителями, а там Наташка одна. И ты приходи.

Он кивнул.

Волга была уже не та, берега сузились, потянулись невысокими безлесыми обрывчиками, а сумерки густели, наваливались, как бы пригнетая их к темной воде, делая еще однообразнее... Зажглись сигнальные огни, сразу стало темней, и даже огонек бродниковской сигареты теперь вспухал при затяжке ярко-малиновым светлячком. И было так грустно, точно река, по которой еще плыли, уже уходила от них постепенно.

Бродников все всматривался в дальние желтые огоньки изб, в смутные контуры берега, стараясь побольше вдохнуть этого сладкого, напоенного речной сыростью и туманом воздуха и чего-то еще, совершенно неуловимого и неразличимо разлитого в нем.

Только за Мелковым, когда на берегах совсем уже ничего не стало видно, кроме красных и белых сигнальных огней и щитов, он незаметно задремал.

И вдруг они очутились рядом — Бродников и давний его предок, придуманный предотпускною бессонной ночью, — тот самый, что бежал когда-то в заволжские леса, захлебнулся открывшейся взору ширью и поставил на юру первую избу.

— Ну как? — спросил мужик. — Славное местечко я выискал, а?

— Как тебе сказать, — начал Бродников осторожно. — Ты еще, может, и не знаешь, а земли здесь тощие, песок. И лугов здесь нет хороших...

Мужик вздохнул.

— Земля здесь — беда, это точно. Изломаешься на ней. Да зато станешь вот так, — он повернул Бродникова, и открылась перед ними вечерняя затканная туманом Волга и голубые леса за нею, — станешь, а на душе лёгко как-то... Земля во все стороны широка, и ты на ней не один. Чувствуешь?

— Чувствую, — сказал Бродников, но тут же спохватился: — Как же это легко, ежели изломаешься?

— Да не легко, а лёгко... Лёгко, понял? А земля душе, как и душа земле, всегда отзовется.

«...отся...отся, — пронеслось над водой, отразилось от дальней полоски леса и опять вернулось в душу, — отся... отся...»

Когда Бродников открыл глаза, катер разворачивался, тетка-матрос еще крутила ручку лебедки, все

выше задирая дощатый трап, а рядом с Бродниковым на верхней палубе стоял, прощально махая рукою, парнишка в болоньевой куртке с клетчатой спортивной сумкой через плечо. И, высвеченный катерным прожектором, мужик на берегу, уже задирая ногу, чтобы сесть на велосипед, кричал ему:

— Ну, а там гляди, как что еще повернется...
Понял?

И эхо разносило над водой гаснувшие окончания слов.

1977

Она ждёт
Ты
встретитесь

РАССКАЗЫ

СМЕРТЬ ЧУЖОГО ЧЕЛОВЕКА



ак и всякий человек тридцати пяти лет от роду, я не видел смерти на войне, смерти в громе орудий, насильственной и кровавой... Но, как и всякому, мне доводилось видеть то, иногда мучительное, иногда благостное, а чаще всего нелепо внезапное завершение земного бытия, которое, по-моему, производит впечатление даже более трагического, нежели смерть на войне. Впрочем, так мне кажется, быть может, именно потому, что смерти на войне я не видел.

Не видел я и той смерти, о которой хочу рассказать вам. Вообще эта смерть поначалу никакого особенного впечатления на меня не произвела. Умер совершенно чужой человек, ничего хорошего меня с ним не связывало... Было, конечно, жаль старика, но не больше. Да, поначалу — не больше. Правда, я был перед ним немножко виноват. Точнее, мне так казалось.

Но об этом — лучше по порядку.

Так вот.

Произошло все это лет десять назад, в маленьком верхневолжском городке, куда я приехал с юга, чтобы стать газетчиком районного масштаба и — это, правда, выяснилось много позже — провести там свои лучшие годы.

Знакомых поначалу было не густо, но был один довольно близкий приятель. Мы познакомились в Москве, где вместе учились на заочном отделении Литературного института. Причина эта вполне достаточная, чтобы

в маленьком городке сразу же отличить друг друга, сойтись довольно близко, а также считать самих себя талантливыми, умными и перспективными людьми... Уж это такой институт! Тамошние студенты, как говорится, все о себе очень хорошего мнения. По крайней мере, до получения дипломов.

Ему было двадцать шесть, мне двадцать четыре, а в этом как раз возрасте красивые юношеские мечты о непризнанности, о нищенской жизни и служении святому искусству, а также о посмертной славе понемногу перестают греть сердце. Они еще тешат, конечно, самолюбие, о них можно с пафосом поговорить, но рядышком уже потихоньку проскальзывает и теснит их жажда более земного и отнюдь не посмертного признания своих трудов и талантов. Слава богу, хоть аппетиты в этом возрасте еще очень скромны, особенно в провинции.

Друг мой, например, считал, что я черт-те чего уже добился — имею в кармане удостоверение корреспондента и трижды в неделю плоскочечатные машины районной типографии отстукивают мою фамилию в количестве восьми тысяч трехсот экземпляров.

Теперь, если ему об этом напомнить, он посмеется, пожалуй, но тогда именно так считал. Даже завидовал слегка. Работал он на заводе, не помню кем, кажется, техником-конструктором, с начальством своим рассорился, уволился и, поскольку в маленьком нашем городке найти работу было не так-то просто, с надеждой и нетерпением ждал, когда освободится место в редакции.

Я же тогда, как и всякий двадцатичетырехлетний человек, был обуян жаждой перемен, побед над бюрократизмом моего начальства, а для таких целей даже один друг и единомышленник в масштабе маленькой районной редакции — подспорье большое. Мы с ним планы уже строили, как будем вместе работать, распляля друг в друге розовые надежды и нетерпение.

В составлении этих планов шли недели и месяцы, всякие житейские резервы у моего приятеля истощались, он нервничал, а место... Место вот-вот должно было освободиться, но все не освобождалось.

Уйти из редакции должен был Александр Тихонович Чимбур.

Это был высокий мужик с крепкими, большими руками и крупным костистым лицом. Редеющие и от седины словно бы пеплом подернутые волосы он зачесывал

назад, но они, чуть приподнявшись надо лбом, распались на два косо подрезанных крыла. И когда крылья эти при ходьбе оживали, помахивали, то казалось, что какая-то птица все порывается взлететь. Быть может, от этого впечатление он всегда производил мальчишески-легкомысленное, а ведь ему было уже шестьдесят.

Вообще, мальчишеского, несолидного в нем хватало. Он очень любил, например, рассказывать о себе, о всяческих житейских приключениях. Я быстро узнал, что он местный. Когда-то, совсем еще пацаном, уехал, и потом, как он говорил, его «всю жизнь дёргало да об жизнь дёрло». Где-то кого-то он раскулачивал, что-то строил ускоренным методом, еще ускореннее чему-то учился, воевал, отступал, наступал, выходил из окружения, а после войны вроде бы осел в Донбассе — редактором районной газетенки наподобие нашей.

Время было горячее, шапки давали через весь разворот огромными шрифтами, а в остальном бумагу экономили. И не так, как теперь. По-настоящему. Если, скажем, клише не занимало целую колонку, то сбоку давали текст «в оборку», то есть узенькой такой колоночкой, в которую слово и то иногда целиком не умещалось. Одним прекрасным утром, просматривая подписанную им ночью «в свет» газету, Александр Тихонович, как сам говорил, «открыл рот, да так и остался». При переносе набора или при переверстке выпала маленькая строчечка из официального сообщения, а когда читали последний оттиск, этого не заметили.

Александр Тихонович очутился на Крайнем Севере. Работал в шахте. Прижился и, когда его восстановили в партии, хотел там и остаться. Но вскоре жизнь его опять дернула. Врачи нашли у него силикоз легких и под страхом смерти погнали в края потеплее и помягче. Тут-то Чимбуру и вспомнился тихий верхневолжский городок его детства.

Обо всех этих необъяснимых вывертах насмешницы жизни он очень любил посудачить при случае, но настоящим вдохновением загорался, только рассказывая о том, как работали в газетах раньше, в тридцатых годах или после войны. Какие были тогда авралы, как до трех ночи ловили по приемнику очередное сообщение ТАСС, а типографщики терпеливо ждали, не смея печатать даже внутренний разворот.

Вообще-то, свою работу любят все газетчики. Все, без исключения. Есть в ней что-то такое заводное, заразительное. Но вслух они предпочитают поругивать засасывающую их текучку, жаловаться на капризы начальства... Этого требуют неписанные правила журналистского приличия.

Александр же Тихонович в своей любви никаких приличий не соблюдал. Он мог, например, всерьез, захлебываясь, спорить, что свежая типографская краска и волглая, только что нарезанная бумага пахнут лучше любых духов. Он обожал дежурить по типографии, и, забегая оттуда с только что оттиснутыми полосами, сияющими белыми пятнами будущих клише, радостно-суетливый и помолодевший, совал их нам, точно подарки: «На, почитай завтрашнюю...»

Для нас полосы были, конечно, вовсе не завтрашними новостями, а вчера или даже позавчера написанными заметками. Про это Чимбур как-то забывал.

Несмотря на почтенный возраст, лучше всего он чувствовал себя во всяком гаме, суете, маете. А как умел он дозваниваться в какую-нибудь тмутаракань, прорываясь сквозь сложную, многоступенчатую телефонную сеть нашего района! Он так весело стучал по рычажку, так настойчиво дул в трубку и кричал: «Озерки! Озерки! Девушка! Да вы не вешайте трубку! Понимаете, это же для газеты надо!»— что даже мне начинало казаться, будто от того, дозвонится он или нет, зависит нечто важное. Возможно, этой верой проникались даже сердитые девушки на коммутаторах. Во всяком случае, в отличие от меня, он всегда дозванивался.

И вот этого симпатичного старика Чимбура я тогда, честно говоря, терпеть не мог. Дело даже не в том, что каждое его достоинство оборачивалось массой недостатков,— с этим мы обычно миримся легко. Дело было в какой-то фальши, рисовке, мерещившейся мне в нем. К тому же, при всей своей влюбленности в газету, работал он удивительно плохо.

Был легок на подъем... Это для газетчика достоинство несомненное, но в нем и это скорее раздражало, потому что каждая его поездка обставлялась точно какая-то смешная для шестидесятилетнего мужика ребячья игра в дальние странствия. В любую погоду он надевал высокие резиновые сапоги и всюду таскал с собой рыжий такой, негнувшийся, даже не плащ, а...

балахон, что ли? Причем это была не просто смешная одежда — это был символ. Символ его готовности «ради нескольких строчек в газете» терпеть бедствия и преодолевать трудности. Но какие, к черту, трудности? Дороги в нашем районе вполне приличные, и даже после самого сильного дождя можно обойтись без резиновых сапог, а без плаща-балахона так и по-давно. Уж лучше переждать дождь где-нибудь под стожком или в сараюшке какой, чем таскать с собой этокое чудо-юдо.

Я тихо подозревал, что балахон нужен Чимбурю только для того, чтобы начинать свои репортажи так: «В Борцинское отделение совхоза я пришел в залубеневшем от долгого дождя плаще...» Это звучало как упрек. Вот, мол, я преодолел стихии, а они не преодолели. А может, и наоборот — как оправдание: не всякий, дескать, способен на такой подвиг!

Этот критический вариант обычного чимбуровского репортажа был еще наименьшим злом. Вообще-то, Александр Тихонович критику баловал не очень. Он любил пафос. Большинство его заметок заканчивалось так: «Преодолевая все эти трудности своим упорным, самоотверженным трудом на благо Родины, редкинцы (завидовцы, кирилловцы, мокшинцы) на 10-е число заготовили свыше... тонн сена».

То, что это «свыше» все-таки меньше плана, его не смущало. «Ну и что? — говорил он. — В такое, понимаешь, лето? Это же не лето, а стихийное бедствие!»

И что бы я ни возражал, он только усмехался терпеливо, словно знал про себя нечто очень важное, все объясняющее, но такое, что по молодости лет собеседника говорить бесполезно. Во всяком случае, я так понимал эту усмешку.

Я уставал от его упрямства, от собственной злости, махал рукой, вычеркивал «самоотверженным» и «на благо Родины» и ставил свою подпись. Он обрадованно высказывал в коридор, тут же возвращался.

— Слушай, — говорил он едва ли не возмущенно и уж во всяком случае обиженно, — а что ты на это слово взъелся: «самоотверженно»? И тут почему ты убрал? В этом же весь смысл!

— В чем?

— Да что народ, понимаешь, на благо Родины, а не только за всякие там поощрения матерьяльные, понимаешь!

— Александр Ти-хо-но-вич,— умоляюще растягивая слова, начинал объяснять я,— а в других совхозах не так, что ли? А мы с ва-ми?

— Правильно!— соглашался он.— Конечно! Все мы на благо Родины, везде...

— А раз везде, так что ж — об этом в каждой заметке талдычить надо? Так, что ли?

— Ну почему... не в каждой. А здесь, понимаешь, есть смысл. Здесь речь о трудностях идет. Понимаешь?

И чем, вы думаете, кончались такие разговоры? Ведь восстанавливал, восстанавливал-таки я эту вычеркнутую самоотверженность, и Чимбур уходил довольный, а я только обзывал себя тряпкой, да мне же в конце концов и попадало за отсыл в секретариат сырых заметок.

А его стиль? Боже, сколько мучений! Он умудрялся в один абзац втиснуть три предложения, начинающихся с «потом».

— Так нельзя же,— страдая, говорил я.

Он высоко вскидывал кустистые седоватые брови.

— Да? А почему? Ведь так и делают: это, потом это, потом это.

Ну, в общем-то, ладно, не о том речь.

И вот в июне нашему Чимбурю исполнилось наконец шестьдесят лет. По поводу этого заветного рубежа состоялось в редакции торжество среднего масштаба с поднесением виновнику настольных часов и с пожеланиями счастливого отдыха.

Я ни минуточки не сомневался, что старик тут же и побежит на пенсию. Тем более что оклад у него был всего девяносто рублей, а пенсии он мог огреть сто двадцать.

Нет, я не придавал тогда такого уж большого значения деньгам, и насчет морального удовлетворения я, в общем-то, все знал, и даже статьи об этом писал,— и не хуже чем у людей статьи выходили, а... как бы вам объяснить это все?

Мне как раз казалось, что Чимбур никакого такого удовлетворения, никакого удовольствия от своей работы иметь не может. Вот я — я имею! Я молодой, перспективный, способный. Пишу легко, быстро, меня все хвалят. Но если человек, мучительно пхекая и сипя большими бронхами, после десятикратных перечерки-

ваний вымучивает фразу: «Вследствие дождя сушение сена шло не на должном уровне», то какое, скажите, удовлетворение может получить он? Да он при первой возможности должен драпать от такой работы, бежать и не оглядываться!

Вот я и не сомневался, что он немедленно уйдет на пенсию, ну разве что два положенных месяца отработает. А тут мой приятель как раз уволился с завода, и я с легким сердцем посоветовал ему не торопиться с новой работой. Дескать, со дня на день должно освободиться место, а кому же на это место и претендовать, как не моему другу, студенту Литинститута, человеку талантливому и все такое.

И вот время шло, приятель ждал, а Чимбур наш продолжал жаловаться на боли в груди, на одышку и продолжал работать.

— Быть может, он просто забыл, что у него есть пенсия?— спросил однажды приятель.

Я только пожал плечами.

...Я тогда снимал комнатку у одной старушки, и в этой комнатке мы, сидя у окна, сумерничали, потягивая от скуки не водку, как местные жители, а дешевое алжирское вино. К тому же в подражание только что вышедшей и нашумевшей книге Хемингуэя о Париже мы даже вино разбавляли водой, и это странным образом поднимало нас в собственном мнении. И говорить мы пытались тоже на хемингуэевский манер — все больше намеками и умолчаниями. Не считая, конечно, тех случаев, когда нечаянно срывались в бурный, бесполовый и многословный спор о высоких материях.

— А может, ему стоит слегка напомнить, а?— снова спросил приятель.

Я пожал плечами, уже в том смысле, что я, пожалуй, с ним согласен, но...

— Как же это сделаешь?— спросил я.

— Да так! Просто взять — и сказать!

— Не знаю. Что ж... Так, что ли, подойти и бухнуть: «Иди-ка ты, братец, на пенсию!» У меня, например, так не получится.

— Ах, не получится?— с насмешливой театральностью воскликнул приятель.— Ах, какие мы все деликатные! Сказать человеку в глаза: ты плохо работа-

ешь — это, конечно, выше наших сил. Эх ты, гнилая интеллигенция!..

Вообще-то, насколько я его знал, приятель мой был человек мягкий, уступчивый, пожалуй даже трусоватый слегка. Ну, не то чтобы трусоватый, а скажем так: легко пасующий перед чужой решимостью. Но как раз такие вот, всегда тихие и мягкие, иной раз почему-то срываются и, с особенным смаком обозвав себя гнилой интеллигенцией, начинают так распалаться и надуваться своей будущей твердостью, решительностью, что вдруг отламывают штуки, до которых и жлоб-то не всякий дойдет.

Приятель мой, отругав как следует и себя и меня за подозреваемую мягкотелость, объявил, что все, баста! Он сегодня же вечером сходит к Чимбуру и все как есть ему скажет.

— Неудобно вроде, — проямлил я и тут же вспомнил, что это ведь не кто-то другой, а я сам посоветовал ему ждать чимбуровского места и вроде как бы заманивал его этим, соблазнял, что ли, и потому тоже не так уж тут чист. — Неудобно, конечно, — поправился я, — но, с другой стороны, почему бы и не сходить? Поговорить... Ну, хотя бы просто выяснить его планы, объяснить ситуацию. Так? Ведь он не может не понимать, что, что... Да и, строго говоря, все-таки чужое место человек занимает!

— Вот именно! — подхватил друг. — Пойти и объяснить, что дело обстоит так и так. Да? И спросить...

И так вот, перебивая друг друга и прихлебывая вино, мы в десять минут порешили, что вообще ничего нет на свете естественнее, чем пойти и спросить у человека: не собирается ли он увольняться? Дескать, место его другим нужно.

На другой день я пришел в редакцию очень рано. Чимбур уже сидел за столом, не снимая своего знаменитого балахона и болотных сапог. Искося смотрел в окно и монотонно, как заведенный, кивал, поглаживая указательным пальцем нос. Чрезвычайно сосредоточенный получался у старика вид! Даже величественный! И все это величие рассыпалось, едва только я сказал «Здрате».

Старик сразу весь всполоснулся, обрадованно взмахнул руками, крылья его прически тоже взмахнули,

балахон зашуршал, затрещал — и в этих мелких бес-толковых движениях сразу же проглянула жалкая рас-терянность, оглушенность какая-то.

— Что это вы так рано?— спросил я.

— Знаешь, твой приятель-то, оказывается, на мое место метит, а?— он сообщил это как-то жалобно, стараясь заглянуть мне в глаза.

— Вообще-то, знаю,— сказал я и сам почувствовал, что в этой деланной невозмутимости, небрежности тона слишком уж проглядывает желание спрятать внезапный стыд.— Он как-то спрашивал, не собираетесь ли вы на пенсию?— Я несколько замаялся и поспешно перешел в наступление:— А что тут удивительного? Он учится.

— Да, конечно, чего же... Место для него хорошее, кто спорит? Но ведь я-то...— Чимбур запнулся и махнул рукой.— Нет! Но понимаешь, приходит он вчера и мне прямо с порога: «Вот, Александр Тихонович, у меня двое детей и плохое материальное положение, и два месяца я уже не работаю, так, может, вы уйдете на пенсию, а я займу ваше место?» А я...

— Так прямо и сказал?— усомнился я.

— То есть это дословно, понимаешь?!— подтвердил Чимбур.— И главное, прямо с порога. Я говорю: «Пройди», а он прямо от двери давай выкладывать. Мое-то самочувствие понимаешь? Тут же жена стоит...

— Конечно, конечно... Как же он так?— согласился я и почувствовал, как мучительно, от шеи, краснею.

Почему-то вдруг подумалось, что приятель непременно рассказал старику и о моих советах, и о разговоре за винцом, и что Чимбур сейчас скажет: «А ты, мол, тоже гусь! Вчера сам подбивал, а теперь, видишь ли, он удивлен и считает, что слишком...»

Но Чимбур сказал другое.

— Вот ты за него краснеешь,— сказал,— а он и не подумал покраснеть. Я говорю: «Как же вы, Миша, ведь это все равно, что прийти к больному и спросить: не собираешься ли ты, старый, помирать?» А он: «Я, говорит, вам не помирать предлагаю, а на пенсию уйти, на заслуженный отдых. Ведь от вашей работы всем один убыток. И вам в том числе». Представляешь, так и сказал: один убыток! А? Что же выходит, что я... Понимаешь? А ведь я...

Он так и не договорил, а только, махнув рукой, сел на место. Я стоял к нему вполоборота и перекладывал на столе ненужные бумаги. Был как раз тот случай,

когда все, что ни придумаешь сказать,— все худо. И, может, самым лучшим было как раз то, что нечаянно и сказалось.

— Александр Тихонович, а в сторону Девичьего вы на днях не собираетесь?— вдруг спросил я.

— А что?

— Да у них все лето надолго в минусе. И вообще... Посмотреть надо. Мне в Заволжское ехать, не по пути.

— А что? Съезжу! Конечно, съезжу, у меня за просто,— зачастил он.— Сейчас вот прямо...

— Да вы хоть командировку оформите. Туда обыкновенной не обернуться.

— А! Плевать на командировку. Сейчас вот только жинке позвоню и поеду! Ничего... Поеду...

Вернулся Александр Тихонович только через день, когда вся эта неприятная история уже слегка подзабылась, и так как еще недели две все оставалось на своих местах, то можно было считать, что кончилась она ничем.

Я и сам так думал почти что год. Во-первых, так было удобно, а во-вторых, ведь и потом, когда старик стал увольняться, он ни разу не вспоминал о разговоре со мной или с моим приятелем. Говорил, что на пенсию его гонят врачи, и это было давно и всем известной правдой.

К тому же приятель мой так и не стал литсотрудником. Раньше наш редактор обещал обязательно его взять, а тут вдруг решил, что он «не потянет». Может, ввиду намечавшихся уже кое-каких конфликтов догадался, что мой приятель в редакции — лишние для него неприятности. Впрочем, и друг мой ничего, не пропал. Не таким уж безвыходным оказалось его положение. Устроился инспектором районного отдела культуры, стал писать очерки в областную газету и меньше чем через год уже наезжал в наш городок в недостижимо высоком звании собкора областной газеты. В общем, пошел человек в гору, да так круто, что скоро, как говорится, стало и рукой до него не достать.

Но это было еще впереди, а пока что дождливое лето, возведенное Чимбуром в ранг стихийного бедствия, по-доброму разгулялось. Яровое убирали и озимое сеяли при палящих душных зноях, и пышные высокие шлейфы пыли тянулись за сеялками. Потом враз заще-

котали землю морозы; картошку копали в звонкую сухую колоть, под белыми мухами. В общем, такая пошла круговерть, что стало ни до сотрудников, уходящих на пенсию, ни до чего...

Зимой старик Чимбур стал регулярно, этак к концу дня, заглядывать в редакцию. Теперь его рыжий плащ был напялен поверх овчинного тулупа и стеганых штанов, а на ногах были высокие черные катанки, неуловимо напоминавшие болотные сапоги. На узких полозках от детских санок он тащил за собой фанерный короб с привязанной сверху пешней и коловоротом. В редакции из короба с хвастливой неторопливостью извлекались скрюченные окуньки и подлещики, и Чимбур, подмигивая, объяснял, отчего они такие — выбросишь его на снег, хулигана этакого, он так и сяк извивается, норвит в прорубь ускакать и вдруг затихнет... В последний раз дернется, да и замрет этакой запятой — но это уже не запятая, а точка. Замерз голубчик, хана!

А потом незаметно подошла и всех втянула в свою торопливую сумятицу весна, весновспашка, посевная, опять стало ни до чего, и никто не заметил, что с приходом тепла Чимбур перестал показываться в редакции. Погоды стояли парные — с жарой и легкими дождями, — они гнали лето внахлест, не успела кончиться посевная, начался сенокос, а за сенокосом такие подоспели озимые, каких давно не видели в наших краях. Лето выдалось радостное и слегка суматошное от обилия забот.

В середине августа, не помню уж какого числа и за какими делами, вошел я в клетушку, служившую у нас кабинетом заместителя редактора. Сбоку от стола, на диванчике, сидела женщина в черной шелковой косынке.

— Здравсте,— сказал я.

Женщина мне не ответила, а наш зам, лысый и какой-то вечно обтрепанный человечек, будничным голосом сказал:

— Слушай, звякни ну-ка этому своему Быкову. Может, завтра автобусом у него разживемся?

Ни в словах, ни в тоне его не было ничего чрезвычайного, и я весело, даже как-то игриво согласился:

— Эт можно. А зачем вам целый автобус?

— Да вот, Александра Тихоновича хоронить надо,— сказал зам и, пристукнув карандашом, кивнул зачем-то на женщину.

Трубка, уже поднятая мною, с глухим стуком легла на рычаг.

— Как?— растерянно, не понимая собственного вопроса, спросил я.— Уже?

И это дурацкое «уже», бог знает почему, болезненно на всех подействовало. Даже зам как-то кисло сморщился, а рот женщины судорожно дернулся на сторону, и она, прикрыв его уголком черной косынки, поспешно пригнулась к коленкам — заплакала.

— Что делать,— услышал я как сквозь вату какую-то или стекло.— Что делать, Анна Макаровна? Все мы так: гоним жизнь, ругаем, вот, думаем, выйдешь на пенсию, заживешь наконец, а тут... Эх, да что говорить! А ты звони, звони, ничего...— разрешил он мне.— Жалость — жалостью, а дела — делами.

Квартира Чимбура была в одном из новых домов, на первом этаже. Часов в одиннадцать, теснясь, остулаясь в слишком узких дверях, вынесли оттуда обитый кумачом гроб, установили его на табуретках, и гражданская панихида началась.

Народу было не так уж и много. Съехавшаяся родня, соседи, да наша редакция, да несколько стариков — приятелей по рыбалке. Но когда зам наш стал у изголовья гроба и, глядя куда-то вверх голов, скрипучим голосом сказал: «Товарищи!»— все вокруг затеснились, будто на плечи каждому напирала толпа.

— Сегодня мы провожаем в последний путь Александра Тихоновича Чимбура,— торжественно провозгласил он.— От нас ушел коммунист, вся жизнь которого, нелегкая порой жизнь, была посвящена делу борьбы за справедливость, за дело партии и рабочего класса...

На старческой шее зама беспокойно дергался острый кадык, увенчанный на самом кончике несколькими невыбритыми седоватыми волосками. Это я видел очень ясно, так же ясно, как слышал и отмечал про себя казенную торжественность каждой фразы. А вместе с тем мне почему-то казалось, будто я и не слышу ничего, кроме затрудненного и хриплого от горя дыхания

тесно стоящих людей. И еще — будто сквознячок какой гулял между лопаток.

Сбоку от меня кто-то всхлипнул. Я быстро оглянулся, увидел толстуху, розовым скомканным платочком промокавшую глаза, и бог знает по какой логике, но вдруг подумал, что штампованность фраз меня раздражает зря, что никакая другая речь тут невозможна, не нужна и что, может быть, только это торжественное безличие слов соответствует тому самому глубокому, самому сокровенному, что знают эти люди про Чимбура и чего при жизни он так ни разу о себе и не услышал. Да и сам не сказал.

Истончившиеся в болезни губы Чимбура застыли в некоем подобии полуулыбки, и виделось, будто он, прикрыв глаза, слушал речь о себе с напускной иронией и тайным удовольствием. Крылья его беспокойной мальчишеской прически чуть шевелились, тревожимые ветром. А живые стояли вокруг него, сняв кепки и шляпы, и тот же ветер шевелил их волосы...

По новой части города гроб несли на руках.

Вышитый рушник, так старательно расправленный вначале, через несколько шагов скрутился в жгут, плечо ныло, потная рука судорожно пыталась удержать предательски скользкое полотно. Я старался на совесть, и мне было даже приятно, что гроб так тяжел, так неуклюж, а я все-таки несу и буду нести еще долго, быть может, пока не выбьюсь из сил. И в этой старательности я ловил себя на чем-то наивно-заискивающем, точно я пытался таким образом заранее загладить какие-то еще не объявленные мне грехи. Так в армии и маршируешь с особой лихостью, и вытягиваешься перед старшиной не когда-нибудь, а наутро после самоволки.

Может, я ошибался, но та же натужная старательность чудилась мне почему-то и в старике, несшем впереди нас на алой подушечке единственный орден и две медали покойного; и в той самой довольно миловидной, несмотря на свою необъятную толстоту, тетке, которая раньше все всхлипывала и промокала глаза своим розовым платочком, а теперь, шагая за мной, вела под руку Чимбуру с таким видом, точно та без ее опеки и шагу не смогла бы пройти... Да и в других — тоже.

День меж тем незаметно осмерк, еще на кладбище потянуло прохладой, стало потихоньку крапать. А когда автобус подкатил опять к чимбуровскому подъезду, дождь лил как из ведра.

— Вот я говорю, Анна Макаровна, что значит — покойник душевным человеком был! — улыбаясь, сказал зам Чимбурше, хоть до этого никому и ничего такого не говорил. — Какие слезы небо-то льет, а?

Я болезненно поморщился, но Чимбурше фраза понравилась. Она даже улыбнулась чуть-чуть, проходя, а зам наш уже подбадривал кого-то другого.

— Ничего-ничего, — говорил он, — это дождик окатный, быстрый. Пока подзакусим, все разгуляется.

К поминальному столу все готовили и подавали племянницы, но Чимбурше, видимо, все же не сиделось на месте, она ходила вокруг, зачем-то подвигала гостям тарелки: «Кушайте, кушайте!» — и, присаживаясь то тут, то там, рассказывала. Один раз она села совсем близко от меня.

— Ну шо, Аня, как же он-то, а? — тотчас же, словно понимая, как той нужно о чем-то рассказать, спросила ее незнакомая мне старуха. — Маялся?

— Маялся, как не маяться, — вздохнула Чимбурша и стала с готовностью перечислять: — И в грудях болело, и в животе, и все пугался, бывало, по ночам — вдруг так вот вскочит и сидит, в угол смотрит. А потом ничего... Отпустит немного, он мне и говорит: «Ничего, Аня, может, до зимы и доскриплю. А зимой полегчает». — «И то, говорю, Саша, зачем же мужику в шестьдесят лет помирать? Рано!» — «Рано, говорит, верно, да уж как есть. Меня всю жизнь, говорит, не спросясь выталкивали — то на Север, то с Севера, а то вот на пенсию... Так, глядишь, и на тот свет вытолкнут...»

— Это он верно, — сказала старуха и погладила Чимбуршу по плечу. — Я гляжу: все так и идет на этом свете. Не успела в девках нагуляться, уже детишки пошли, вырастить не успела — ан внуки подпирают, давай, мол, бабка... Вся жизнь такая — будто кто в спину толкает. Это он, Аня, верно, это он хорошо.

Вышли мы вместе с замом. Он постоял под бетонным козырьком подъезда, повздыхал, что вот утром не догадался взять плащ.

— Так дождя-то уже нет, — сказал я.

— Все равно, мало ли... А поминки они славные отгрохали. Я вот...— он провел пальцем по горлу,— сыт, пьян и нос в табаке. Ну, счастливо!

За два часа поминок что-то во мне настолько измучилось и одрябло, что даже эти слова меня не задели. Я вяло тиснул его руку и побрел восвояси.

Дождя уже, правда, не было, по краям асфальта, у поребриков, текли мутные, сероватые, как пена при стирке, ручьи. Растрепанные тучи волоклись над головой, и все вокруг, кроме свежевывытой блестящей зелени, было печального, дикого цвета. Все мне чудился кладбищенский запах влажной лежалой глины и обвядших цветов, парок от мокрых платьев и пиджаков, сдержанно разгорающийся гул поминок, бестолковое кружение Чимбурши вокруг стола и ее монотонные, будто заученные рассказы...

И один вопрос неотступно, раздражающе крутился в мозгу: кого имел в виду старик Чимбур, когда говорил, что его вытолкнули на пенсию,— врачей или все-таки меня с приятелем? Если последнее, то как это глупо! Не говоря уже о том, что я-то тут совершенно ни при чем, что, собственно, можно поставить в вину моему приятелю? Бестактность? Всего лишь? А можно ли во всем мире найти хоть одного человека, за которым не числилось бы столь малого греха? И право же, как это глупо, как обидно, что ни оправдаться, ни что-либо объяснить уже нельзя. Некому.

Вспоминались отчего-то и те скрюченные подлещики, про которых сам Чимбур еще зимой объяснял в редакции, как они дергаются в последний раз и замирают этакой запятой, но запятая эта на самом деле точка, потому что все, замерз голубчик!

Смерть — точка.

Тогда мне это казалось самым жестоким и страшным. Точка, не запятая... После запятой можно еще написать «но» или поставить это самое «или», тогда все, что было до нее, получит другой цвет и смысл. После точки ничего не поставишь и не попишешь.

То, что в смерти действительно самое страшное, я понял много позже. Лет десять, то чаще, то реже, вспоминалась мне и мучила меня вся эта история со стариком Чимбуром. И никак мне было ее не забыть. Ведь умершие вовсе не исчезают из нашего бытия — они продолжают незримо присутствовать и в думах наших, и в наших счетах с совестью. Да что там! Они да-

же меняются, и еще как! Из смешных становятся обаятельными, из наивных — мудрыми.

А вот нам, после поставленной ими точки, действительно ничего не добавить и не изменить. Мы с ними умираем такими, как были при них,— глупыми, злыми, виноватыми... И потом можем это понять, но никак не исправить. Это-то самое страшное и есть.

Давно уже растерял я из виду всех, кто упоминается в этом рассказе. Не знаю, где обретается теперь наш зам, жива ли старуха Чимбурша...

С одним только моим приятелем и однокашником по институту мы еще видаемся изредка. Он теперь большой человек! Когда мы встречаемся, он так ласково и дружелюбно треплет меня по плечу, что все, знаете, неудобно как-то спросить: вспоминается ли ему иногда верхневолжский наш городок и старик Чимбур?

1975

ЯШИНА ЖИНКА

1



У охоронке она не поверила. Соседка Нюся, уборщица на почте, принесла ее, когда все вокруг было уже вверх дном. За соцгородом время от времени бухали взрывы, серая пыль ходила тяжелыми тучами, и за окнами надрывно, утробно ревели отгоняемые на восток непоенные стада. Еще накануне, будто бы наступая, строем и с песней прошли через город свеженькие войска, а потом всю ночь и весь день ехали и брели назад — рваные, в грязных бинтах и такие пропыленные, что одни глаза посверкивали на черных, будто у негров, лицах. С утра горела вторая школа, никто ее не тушил.

Долго ли в такой вот суматохе перепутать что-то в серой бумажке, посылаемой безответной бабе? Да и слишком уж, выходило, мало повоевал ее Яша — недельки три. Разве так бывает? На него непохоже, он задиристый...

Она, конечно, поплакала, но и того не дали толком — опять прибежала Нюська, сказала, что милиции уже нет и умные люди таскают с элеватора пшеницу. Побежали в Суслицкое, но элеватор горел, пламя гудело, ухало, кто-то там истошно вопил — должно быть, не мог выбраться. Говорили: прилетал немец, бомбил; другие говорили: после завода подрывники успели заскочить и сюда... Но спора не возникало. Бабы стояли уронив руки, смотрели, как расплзается по небу жирный копотный дым, и, верно, не ей одной потом долго в самых страшных снах являлся этот запах горящего хлеба.

Через два года война с грохотом прокатилась назад. В оккупации вся жизнь заморозилась как-то, застыла: одни страхи, слухи, внезапные облавы, — и вот все отошло, повернуло на прежнее. С осени открыли школу, ее взяли уборщицей, или, как говорили тогда, нянечкой, выдали карточки на нее и девчонок, и стало ясно, что раз уж до этого дня дожили, то можно опять рассчитывать жизнь на годы вперед. Даже крыша над головой появилась. Нахаловкой вселилась она в барак для дорожных рабочих; сильно шумели, грозили, а назад в погреб ее с детьми все ж не выселили. И то — их дом сгорел начисто. Нечего было и мечтать поднять его одной, без Яши.

Чуток обжившись, опять она наладилась ждать, и теперь уже основательней, терпеливей. Штаны его и две уцелевшие рубашки выстирала, погладила и сложила в самом нижнем ящике комода. Раз все вокруг поворачивало к прежнему, значит, должен был и Яша прийти, а как же иначе?

После Победы жила какое-то время как в судорогах, часа не могла высидеть, бегала вечерами на станцию, встречала эшелоны, часто плакала от чего-то смутного, не выразимого словами. Солдатики угощали ее девчонок сахаром, хлебом... А потом и это все отошло. Был страшный сорок шестой, картошка сгорела, у Любки опухали ножки, Анка схватила воспаление легких, потому что топили кукурузными будылками, за которыми надо было ходить далеко в степь, таскать мешками. Той зимой хлебнула она, может, горше, чем в оккупации, и в лихую минуту, к весне, жадная толкучка подстерегла, выхватила из ее рук последнее Яшино барахлишко. Картошку, что на него выменяла, съели за два дня, но она все равно ждала, ждала...

Только в пятьдесят каком-то, уж не упомнить каком... К Тоне Ложилиной со второго поселка вернулся как раз тогда сын, перемещенный и побывавший аж в Аргентине, и была шумная встреча, много было пролито бабьих слез. Вот со встречи этой вернувшись и вспоминая рассказы о стране, что лежит по другую сторону земли и несхожа с нашей даже травой и деревьями, она вдруг заплакала и сказала себе: «Всё! Мабуть-таки Яшеньку убили!»— и стала потихоньку прилаживать себя к этой мысли, пока еще необозримой во всем своем объеме и страхе.

Девчонки были уже большие, учились в техникуме. Она так крутилась по разным делам, что на неделе и видела-то их редко. Когда в ближайшее воскресенье перед обедом она, собравшись с духом, все же сказала им, что «папочку нашего, мабуть, убили», они не заплакали, а переглянулись. «Мамо,— сказали,— та вы шо? Чи вы думали, шо вин жив?»

Девчонки ее выросли разными. Спокойная, обстоятельная Анка сразу же, через год после техникума, вышла замуж, а вот с Любкой-бесенком хлебнула она слез, но и той хоть не сразу, а тоже повезло на хорошего человека, и ее жизнь выпрямилась, потекла ровно, радуя материнское сердце. Внуки поспевали один за другим, занимая руки и мысли, не давая особо себя помнить и горе свое тешить. Только иногда, в свой день рождения или в какой большой праздник, когда все собирались вместе и было шумно, тесно, ребяшня затевала беготню и визг, когда зятя, красные от выпитого, уже боролись на локотках, а дочки выхвалялись своими домами... В самую такую минуту она вдруг исчезала из-за стола и, запершись в чуланчике, плакала, что Яши вот нет и никто ей не скажет: «Ну, Фроська, ты у меня и баба! Всем бабам баба!» А ведь теперь-то самое и сказать бы про нее эти слова — какую семью подняла!

Наплакавшись в чулане, успокоившись и умывшись, она возвращалась к столу и издалека, с подходцем, заводила, что вот надо бы съездить, поискать папину могилку. Люди многие ездят теперь, находят. Дочки не спорили, вздыхали: «Надо бы!»— да всё откладывали — своя у них жизнь кипела в самой золотой и сочной поре, недосуг было. Да и как ты найдешь ту могилку «в районе села Рогачек», когда там, может, и холмика давно нет и запахано все.

Все ж таки она съездила. Пожилые бабы, сидевшие на крылечке рогачинского магазина, вместе с нею заплакали, объяснили, что могилоч раньше было много по всей степи — «народу тут накрошили и отступая и наступая, насиделись мы, натряслись в погребках», — да потом все останки свезли до школы, сделали одну большую могилу с памятником.

Могила эта была на краю школьного сада — длинный ровный холмик, обсаженный березами. На большом сером камне выбиты и покрашены золотой краской фамилии. Их было много, фамилий. У тети Фроси даже голова закружилась, пока она, стоя на самом солнцепеке, читала весь список. Ващука Я. С. не было, но внизу, в конце списка самыми крупными буквами стояло: «...и многие, многие другие».

— Многие, многие... — повторила она вслух, опустила на коленки и заплакала, запричитала, припала щекой к жестким остицам выгоревшей травы.

Поездка эта совсем ее успокоила, даже по праздникам слезы не допекали больше. И было это шесть лет назад.

И вдруг, позапрошлым летом...

Она и на базар-то в тот день не собиралась — куда, мол, по такой спеке? Но Юлюшка, младшая внучка, закапризничала, не стала есть магазинного яичка, оно и в самом деле рыбой припахивало, пришлось идти искать ей «шось свеженьке, у бабив».

И пока тетя Фрося ходила с Юлюшкой по рядам, смотрела против солнца яички, зажимая их в кулаке, нюхала толстые и крепкие, чуть припеченные корочки на глечиках с ряженкой, он, старик этот, все ходил за ними в отдалении, ничего ни у кого не спрашивая. Приметив его, тетя Фрося нехорошо как-то забеспокоилась, не стала уже покупать ряженку, а крепко сжав внучкину руку, поспешно двинулась прочь. В конце рядов оглянулась: он еще сильнее надал ход и был уже рядом.

— Почекайте! — позвал.

Она хотела тут же свернуть за угол, в новую толпу, но остановилась. Старик подошел запыхавшись, держась за сердце, — присадковатый такой, в сапогах, серых штанах и грязной клетчатой рубашке. Шляпа из желтой соломки сбита на самые брови, а на щеке странный, узлом, шрам.

— Чи вы не Яши Ващука жинка будете? — спросил.

— Яшина...

— Та як же вы живы? Дитки як? — голос его дрогонул.

— Ничого... Дитки повыросли, замужем оби дочурки.

— Внучка?

— Внучка, Юлюшка. Любина цэ...

Она хотела уже спросить: «А вы сами кто ж будете?» — но запнулась и сказала, как бы отгораживаясь:

— А Яшу на фронте убили.

Глаза старика, посаженные близко друг к другу и совсем черные, с кровавой сеточкой в уголках белков, все время косили, прятались. В щеках его, в их непробритых морщинах что-то трепетало, какая-то судорога, которую он гасил, косо дергая жилистой шеей.

— Та знаю! — сказал он с досадой и как-то так, что внезапный страх связал ее по рукам и ногам дурной слабостью.

А он помолчал и тихо добавил:

— Знаю. Це ж я его вбыв, — и, сразу повернувшись, пошел прочь, загребая пылюку носками чуть внутрь повернутых сапог.

Она, приоткрыв рот, смотрела ему вслед, и ноги ее слабли, подгибались.

— Бабушка, — дергала руку Юлюшка, — не надо, бабульк, мне страшно!

Она очнулась, не дала себе упасть.

— Юлюшка, — прошептала, — та цэ ж вин!

Они побежали к воротам на Перевоз, за которыми скрылся старик. Да какая из нее теперь бегунья! Там его уже и следа не было.

По дороге домой она то плакала, то усмехалась, что-то бормоча, и Юлюшка тоже испуганно плакала. Еще с крыльца, увидав в окно дочку, крикнула: «Люба, папа наш жив! Жив папочка ваш...» — и опустилась на ступеньки.

Та перепугалась, заметалась без толку, поила ее какой-то пахучей дрянью и уговаривала, что все это ей померещилось, потому как этого не может быть — она ж сама была на могилке.

— Так як же нэ вин, — бормотала тетя Фрося. — Вин! Ось и Юлюшка бачила.

Сил не было объяснять, голова кружилась, она дала отвести себя в дом, уложить на койку. Но назавтра,

проснувшись очень рано, она в шесть часов утра была уже у старшей и опять уговаривала немедленно ехать, искать...

2

Вот сколько ни рассказывает тетя Фрося свою историю, а в этом месте всегда начинает плакать, винить себя, ругать дочерей и, если не отвлечь ее чем-нибудь, расстраивается ужасно, почти что заболевает.

Отвлечь же ее проще всего внучкой.

— Погляньте,— говорю,— погляньте, тетя Фрось, что это малое вытворяет!

Ничего особенного Юлюшка не вытворяет. Просто пытается приладить бинт на рваное ухо Жулика, ленивой, вечно сонной дворняги. Но мне — лишь бы бабка голову подняла, на нещечко свое глянула. А там уж она сама не может не улыбнуться, не позвать внучку... Схватит ее за плечики, притянет к мягким старческим коленям и фукнет в легкие льняные волосенки. Та, хитруля, выгибается, губки дует:

— Н-ну! Не балуй!

— Ой, и за что ж я так ее люблю, худобу эту, задоенное мое! — тормозит ее тетя Фрося. — Ну? С чего ты такая худоба, а?

— Не худоба я задоенная, пусти! Это коза у Люськи худоба задоенная.

— Коза? А ты кто у бабки?

— Я малое.

— Ой, малое ты мое дурное!

Когда старуха потрется наконец о внучкин нос собственным, расцелует и, шлепнув слегка, отпустит играть, глаза ее опять светятся так же молодо, как когда-то на барачном крыльце, где миловала она свою Любку.

Тогда она была худой, сильной, ширококостной женщиной; вскидывала Любку высоко-высоко над головой и ловила ее, хохоча. Теперь не то. В последние годы тетя Фрося нехорошо располнела, ноги у нее отекают, зимой она не встает с постели месяца по два, и Юлюшке давно наказано ни под каким видом не проситься к бабе на ручки.

После войны, до середины сорок восьмого, тетя Фрося жила рядом с нами. Наш барак назывался «плоским» — на весь поселок у него одного не было двускатной крыши, а их — «бабьим». Так уж там подо-

бралось, что жили одни вдовы и даже сынов у них почти не было — всё дочери. Тетя Фрося занимала угловую комнату — двор в двор, сарай в сарай с нами. Любка старше меня на год, а Анка на целых три, но играли мы вместе.

Больше всего нравилось мне тогда играть в «блинчики». Я был мельником, то есть вытирал, высверливал чем-нибудь ложбинку в обломке кирпича, осторожно ссылая красноватую муку, а Любка пекла — разводила ее водицей и аккуратными капельками выливала на кусок жести. Капельки быстро подсыхали на солнце и превращались в румяные лепешечки, которые в самом деле хотелось съесть.

Это была дневная игра, вечером было другое — чижик, прятки, ауканья... Во дворах дымили летние печки; в бабьем бараке печек, впрочем, не было — просто несколько кирпичин у крыльца и костерок между ними. Горит в этом костерке прошлогоднее будылье, кизяки, кипит чугунок, пахнет картошкой, дымом, а воздух становится все холодней, мы начинаем «ловить дрыжики» и всё отчаянней ждем, принюхиваемся...

После еды уже не пятнаемся, не стукалимся — просто сидим меж мамками на длинном крыльце, и нам тепло с ними, уютно. Разговор идет самый разный, но вдруг обязательно всплывет, что где-то то ли в Суслицком, то ль в Каменке — нашелся, вернулся еще один «погибший» и что это, следовательно, вполне возможное, даже обычное дело. С тем, что дело возможное и обычное, все сразу же соглашаются, потом все ж разгорается спор: у кого больше прав, к кому первой должен прийти убитый муж.

Тетя Фрося спорить спокойненько не умела — вскакивала и, оперев руку в костистый бок, кричала, что вот к ней-то первой и вернется, к ней, потому как она не какая-нибудь неряха, у нее двое, да ухоженные, не то что у некоторых, а к тому же она сама Яшку и научила, как любую смертяку перехитрить, не хуже ведьмачки!

И вот теперь, когда она отпускает Юлюшку, мы долго с ней говорим о тех бараках, о тамошних наших соседях, кто и куда из них делся, и я осторожно напоминаю о странном их женском споре.

— А шо ж ты думал? — говорит тетя Фрося. — Хоть ту же Зиновыху возьми: девчонка вечно у нее в соплях до пула, платьишко грязное, рваное, а мать все по сторонам зыркает: с кем бы это поджиться! Да разве ж то

было б по-божески, чтоб к эдакой да вернулся? А я хоть ведьмачить и не ведьмачила, но как я немцев его обдурить научила, так и вышло.

— Да откуда ж вы знали, как надо?

— А то нет! С чего баба умная — бо на базар ходит, а там всё знают. У Яшеньки ж сперва бронь была. Забрали его в августе, уже як завод увезли. Я его и научила: не повезет, попадешь в окружение, шоб сюды ни-ни. Сюды на базар с Каменки, со Знаменки ездят, то и гляди, признают та донесут. Он же там раскулачку проводил, а села были богатющие, куды!.. Ты ж не знаешь, а его еще до войны знаменские бабы на базаре чуть вилами не закололи за ту раскулачку. Вин вже на заводе робыв, вже его с партии выключили за них же, шо ему жалко их диток було, а воны бачь як? Я и наказала: «В плен, не приведи господи, попадешь — выкинь бумаги уси и скажи, шо не Вашук ты, а Федорченко (цэ моя фамилия — Федорченко). С Красухи, скажи, а там все моя родня, там все помнят, шо ты с партии выключенный, а шо восстановленный, так то и не знают».

— Выходит, он так и сделал?

— Назвался Федорченкой, верно. А в Красуху нашу не пошел, може, не було як, я ж ничего не знаю. Витька шось узнавал там, а молчит. Воны думают, як стара...

И опять она начинает сердиться на дочек и зятьев, не отпустивших ее сразу, как только встретила она на базаре своего Яшу и был он еще жив-здоров; на Любку, сказавшую тогда, что одна она с Юлюшкой и со старшим, Игорьком, лежавшим в больнице, не справится, с ума сойдет, и если бабка-де Игорьку смерти желает, то пусть едет. «Ото ж повертается дурный язык!» В общем, уговорили ее не спешить, послать вторичный запрос. «А шо той запрос? С тех же бумажек на новую переписали, та й выслали».

Только через месяц, плюнув на дочек, уговорила она Витьку Любкиного съездить, поискать. «Любка хоть и родная кровь, а скажу я тебе: такой Витька человек — куда ей! Должна богу за него молиться, а она на него: фыр-пыр! И юбкой круть-верть! Другой бы поучил бабу, а этот перед ней же на задних лапочках: «Любушка! Любушка!» Ну, то ладно, то их заботы, живут, як вмикють».

Повез ее Витька на своих «Жигулях» в выходной.

— А куды ехать? Едем ото и гадаем. И шо ты думаешь? Недалечко от того Рогачека, полчаса не проиха-

лы, е там такая Балочка, хутор, но добрый хутор, с магазином. Витька зашел курева купить и с магазинщицей ля-ля-ля, а она: «Дед Яша Федорченко, — каже, — як же! Вин не з Рогачеку тильки, а з Малого Рогачеку. От нас як по шоссейке, то другой поворот». Мы тут же в машину, туда приехали: «Где хата Якова Стефановича Федорченко будет?» И пацаненок, рыжее такое, малбе: «Вона, — каже, — хата, а сам деда помер». Я обомлела вся: «Давно?» — «С мисяц як». Ну вот... Узнали мы, шо жинка его ще зимой померла, а вин с мисяц назад погнав корову продавать, с недилю его не було, а там завернувся та й помер. — Тетя Фрося опять подносит уголок передника к покрасневшим глазам.

Кой-как успокоив ее, спешу заговорить о другом. Дальше я и сам все знаю, даже, наверное, подробнее; чем она, так как Виктор, все там разузнававший, кое-что от старухи скрыл, поберег ее нервы.

Для дяди Яши Ващука война была короткой и несчастливой: их разбили внезапно, на марше, не дав сообразить, что происходит, прийти в себя, окопаться... Он сам рассказывал мужикам в Малом Рогачике, что так ни разу и не выстрелил, а ранен был дважды: в лицо и в ногу. Слыхали мужики, что он и плена хлебнул; и выбраться ему удалось, а вот как — никто толком не знал.

В сентябре сорок первого, рассказывали, каждый божий день гнали через село наших пленных. Один раз у околицы что-то стряслось, переполох какой-то, и весь хвост колонны, человек тридцать, немцы уложили из автоматов тут же, близ кривой балочки. Куча эта, слегка присыпанная землей, и ночью еще шевелилась, стонала. Подойти было нельзя: всё новых и новых гнали по этой дороге пленных.

Но только по весне, когда беременность двадцатилетней вдовы Анны Майкоп давно была замечена, когда уже сажали картошку, у нее во дворе, сперва лишь в густых сумерках, полутаясь, стал появляться угрюмый, хромой и сильно кашляющий мужик с изуродованным лицом. Когда, откуда он взялся — тогда о таком не спрашивали, даже не видеть старались, а позже вроде уже и привыкли: живет и живет. Бабы, народ на чужую жизнь более памятливыи, рассказывали Витьке разное: и что Анна его у немцев за кошелку сала выменяла, и что сам он из кровавой той кучи вылез, а она лишь прятала его где-то зимой, и что он, наоборот,

прибился до Анны уже весной, прибрел из лесу, а старший сын вовсе и не его, мол, — от немца нагулянный... Говорили многое. Да все выходило как-то не так, непонятно. Если Анна его выкупила, то для чего ж прятала? А коль самому удалось сбежать из плена — зачем же сменил фамилию?

В общем, все тут было под вопросом, кроме одного: не жить бы ему на свете, если б не жалочая бабья душа этой самой Анны Майкоп. Она ему и ногу вылечила, — а нога, он сам рассказывал мужикам, сильно гнила, в ней даже завелись черви... Она и от кашля его отпоила молоком с нутряным салом.

Когда наши пришли, то по второму разу Якова Федорченко в армию не призвали. Оставили в МТС как опытного механика. Они с Анной записались, чин чин, сынишка их подрастал, через полгода после Победы появился второй. Но жили они, в общем-то, худо. Яков попивал круто и иногда, напившись, бил в собственной хате стекла, кричал жене: «Ты! Ногу она мне вылечила! А душу сожрала, да?» Она все прощала, никому не бегала жаловаться, как другие бабы, но жизнь ее чем дальше, тем сильнее шла враскосяк: старший сын уехал в училище да и хату забыл, младшего посадили, и оба они, пока не сгнули, сильно не любили за что-то отца, бывало, и дрались с ним.

О довоенной жизни его и тем более о прежней семье никто в Малом Рогачике и не слышал. Да и вообще жили Федорченки хоть посреди села, а все одно — на отшибе.

Вот, собственно, и все, что разузнал Витька.

Да, еще о корове... Как раз в те дни, когда тетя Фрося умоляла дочек срочно ехать искать отца, ходил по городу слухок о корове, непонятно кем и как брошенной на рынке и ни за что доставшейся одному хитровану, который просто взял ее за налыгач и привел на свой двор. Но кто именно был этот хитрован, Витька так и не дознался. И та ли это корова? Все ж таки больше ста тридцати километров... Забираться со скотиной так далеко слишком хлопотно, да и зачем бы?

3

После пяти приходят с работы Виктор и Люба.

— О, кто приехал! Здорово, здорово!

— Здравствуй, женишок! Витя, ты знаешь, что это мой женишок? А как же! Мы и целовались когда-то.

Только потом он — в кусты. Знаешь? Да... Стали на-завтра в куклы играть, я говорю: «Это будет доча моя!» — так он аж позеленел весь, бедный, вскочил: «Только, — говорит, — не от меня, только не от меня!»

— Ну! Скажи какой ты был умный пацан, а? Это ж во сколько лет?

— Ладно, — говорю я Любке. — Ты уже об этом рассказывала. И не раз.

— Ишь! — грозит она пальцем. — Рассказывала! А может, это ты виноват, что от меня потом и другие сбегали, а? С твоей руки... — и смеется, показывая мелкие, но необыкновенно белые, ровные зубы.

Ей уже под сорок, Любке, но замуж она вышла поздно, дети у них маленькие, и чувствует она себя молодой. Никогда не скажешь теперь, что у них со старшей всего два года разницы. Да и то — у Анки дочка невеста, не сегодня-завтра бабкою сделает.

Не успела жена отсмеяться, а уже Витька из погреба лезет, паутину оттирает с запотевшей трехлитровой бутылки: вино у него собственное, не покупное. На кухне жарятся уже кабачки... За столом разговор сам собою переходит в воспоминания, тетя Фрося опять и опять говорит о своем муже.

— Та шо он вам сдався, мамо, — с досадой перебивает Любка. — Не вертався до нас, та й нэ трэба!

Со мной и с мужем она говорит по-русски, но с матерью переходит на суржик — так здешние жители зовут свой язык, в котором украинское и русское смешано неразделимо, как в суржике рожь и пшеница.

— От бачь! — с обидой отзывается тетя Фрося. — Бачь, як она батька чортуге! А вин-то... Прибежит с заводу, бывало, сразу Любку на руки — хоп, и в голую попку — чмок!

— Мамо!

— А шо мама? Вся жизнь ему в них была, а им, бачь, «и нэ трэба»! — она вытирает глаза уголком передника. — А шо до нас не вернувся, так кто ж его знает, як там у него всё було — на то война!

— Правильно, Евфросинья Даниловна, правильно, — говорит Виктор. — Есть такая пословица: нужда не ложь, да поставит на то ж.

А сумерки сгущаются, гаснут, и перед сном выходим мы с Виктором покурить в холодке, на крылечке. Фонари почему-то не горят, звезд нет, ветерок еле слышно шуршит грубой виноградной листвою, и такая кругом

густая, бархатная, мягкая тьма, какой никогда не бывает у нас на Севере. Где-то далеко поют девичьи голоса.

— Где это?— спрашиваю.

Виктор молчит, потом отвечает:

— Вроде бы у кого на Котовского гуляют, далеко.

Глаза привыкают: становится виден сарай, беленые кирпичи вдоль дорожки, даже черная густая резьба виноградных листьев над головой смутно проступает на чуть зеленоватом небе. Сидим, курим.

— Ты знаешь,— говорит Витька,— я часто о нем теперь думаю.

— О ком?

— Да о дядь Яше, тестюшке моем нечаянном! Старуха-то, знаешь, с чего все о нем заговаривает?

— Ну?

— Казнится в душе: сразу, мол, не поехала, не спасла, не простила. Думает, руки он на себя наложил. Не говорит, но я нутром чую — думает.

— А разве он?..

— Та не-е! Обычное дело: сердце. Ему и вскрытие делали, мне потом все бумаги показывали. Тут — другое,— он затягивается так глубоко, резко, что я слышу треск сгорающего табака.— Тут... Она тех слов все не может забыть, что он ей на базаре сказал. Ну, что я, мол, его и убил, то есть себя же... И я, представь, не могу. Думаю все. Хотя, по-моему, это вовсе и не о том было сказано.

— В смысле?

— Да ведь «убил» же, а не «убью», так? То есть давно. То есть, я думаю, когда назвался чужой фамилией, отрекся от прошлого... Перерубил жизнь, понимаешь? Ведь это...

— Знаешь, Витя,— говорю,— нам с тобою об этом судить легко. Теоретически-то...

— Нет, не легко,— упрямо мотает он головой,— не легко. Я и не сужу — хочу понять: как это взять да и зачеркнуть все, что прожил, заставить себя забыть... Ведь это и в самом деле вроде самоубийства, а? Вот ты смотри: теща рассказывает, так он совсем другой человек выходит, ничем на того и не похож, что в Малом Рогачике жил. Неспроста это, как думаешь? Мне вот иной раз кажется, что он и не жил там, а мучился, умирал, не смог жить.

— Больно долгая смерть выходит.

— То-то и страшно.

Опять повисает молчание, я внимательно слежу, как малиновый огонек Викторовой сигареты уменьшается и бледнеет, подергиваясь пеплом.

— А теща-то моя!— вдруг хлопает он себя по коленке.— Вот ведь! Эта ничего не хочет от души отодвинуть, а? И ты не гляди, что вся хворая — она еще на земле постоит, поскрипит... Точно!

1984

РАССКАЗ О САМОМ СТРАШНОМ



их «рафике» я оказался случайно — ехал часа три, поневоле вслушиваясь в разговоры и злясь. С самого начала они мне как-то не глянулись, вся эта компания. И всех больше — главный их, некто Ральский. Или Уральский — толком я не слышал — из таких «вечных мальчиков», крепко за сорок, но все еще спортивный и ультрамодный. Он всю дорогу бил клинья к своей соседке — яркой блондинке лет двадцати пяти. То есть не в том дело, конечно, что бил, а в том, как не по возрасту настырно и бездарно это у него получалось. Блондинка нос к окошку воротит, а он ей и анекдотик с перчинкой, и то-се, и первый хохотать принимается... Ну, сам-то он — ладно, мужик в раж вошел, но и спутники его, солидные вроде люди, а тоже — вежливенько так ему подхихикивают, реплики подбрасывают. Усиленно делают вид, будто все с ним нормально, все как быть должно.

Вообще-то, они из себя какую-то комиссию представляли, где-то даже шороху навели... Но это лишь разок и мелькнуло, случайно. Самый пожилой из них, седоусый такой дядечка, сидевший ото всех чуть в сторонке, на боковом сидении, несколько минут чуть заметно ерзал, вежливо выжидая паузу в словоизвержениях Ральского.

— Гм-гм,— наконец-то дождавшись, прокашлялся он и зачем-то переставил свой пухлый портфель справа налево.— Я это... Надо бы нам это... обговорить, как писать о Гомзякове, потому что... Все-таки он...

— Да что он? Что? Прохиндей еще тот!— отмахнулась пожилая дама, молчаливо и вальяжно кутавшаяся

до этого в огромную пуховую шаль.— Сдать дом, не поставив даже коробки,— это надо же? У самой муж строитель, и все я понимаю, но уж это...— и она осуждающе покачала пышной седою прической.

— Ну все-таки,— мягко сказал дядечка,— человек он, Фаиночка, молодой, честолюбивый, нелегкая дернула, вот и... А думал, небось...

— Э-э, Аркадий Николаевич! Если брать в голову, кто и что думал,— менторски перебил старика Ральский,— так нам и вовсе нельзя будет работать. Так что — бросьте!

И вот тут где-то... Не помню только, как они к этому перескочили. Гомзякова забыли сразу же, но обе дамы, видимо по какой-то с ним ассоциации, в два голоса принялись костерить мужиков. Не присутствующих, конечно, а вообще: дескать, на глазах вырождаются.

В широких дамских кругах подобный разговор давно уже стал так же обязателен, однообразен и пошл, как и о погоде когда-то. Под него бы и выспаться можно отлично, время-то к полночи, хоть и светло, да Ральскому все не сиделось — в грудь себя мужик бил, клятвенно уверяя, что не совсем еще выродился! Соглашался любому испытанию подвергнуться, тут же! Ну и, само собой, напросился.

Вот раньше, вспомнила вдруг седая Фаиночка, мужчины, развлекая дам, целые словесные турниры устраивали. Читала, мол, у одного классика: сидят и по кругу самый свой дурной поступок рассказывают — только чтоб она посмеялась. Ну уж нет! — блондинка Оля даже руками замахала: пошлостей с нее и так хватит, а вот хорошо бы, ввиду ночного-то времени, о чем-нибудь страшном послушать, ужасном.

Сорокалетний наш мальчик и тут не спасовал, понес кладбищенски-мистическую чушь, явно вычитанную, да еще и с гаденьким каким-то намеком. Каким именно — это я продремал, но намек был, ибо закончив, он тут же хихикнул и спросил, до всех ли дошло?

— Дошло. Но скучно это — убиться венником! — вздохнула блондинка.— Теперь ваша очередь, Зыбин, давайте! — потрясла она за плечо рыжеватого толстяка, сидевшего впереди.

Тот обернулся. Несоразмерно маленькие очки придавали его плоскому широкому лицу выражение детски-обиженное, даже страдальческое.

— Чего? Самое страшное?— с готовностью переспросил он, почему-то краснея.— Ну, если все... Значит, история такова: два года назад попал я в вытрезвитель. Выпили не особенно, но, знаете...

— Хватит, хватит,— замахали на него руками.— Очень интересно! Вытрезвителя нам только и не хватало. Пусть уж лучше Аркадий Николаевич расскажет.

— А что вытрезвитель?— обиделся рыжий.— Хуже кладбища?

Аркадий Николаевич пошевелил своими седенькими усами-щеточками, будто пожевал что-то:

— Я-то при чем?— спросил.— Профессия моя будничная, страшной выговора со мной ничего не случается. Впрочем, если вы настаиваете, один случай давний могу рассказать, вот только...

— Валяйте,— сердито буркнул Ральский,— утрите нам нос.

Старичок опять пошевелил усами и переставил портфель слева направо.

— Дело было давно, еще студентом. В институт, надо сказать, я поступил поздно, за тридцать, а учился очно, в Москве, от семьи далеко. В общем, оправдываться не буду — была у меня одна, как сейчас говорится, знакомая.

— О!— высоко вскидывая брови, протянул Ральский.— Я думал, вы-то хоть человек нравственный.

— Доживете, Петя, до моих лет — тоже станете нравственным. Да! Так вот знакомая эта жила не в Москве, а в одном маленьком городишке. Сейчас туда электричка бегаёт. Теперешним студентам во всем легче,— он чуть-чуть усмехнулся.— Я же электричкой ездил примерно с полпути, а там пересаживался на рабочий подкидыш — этакое чудо-юдо из нескольких дачных вагончиков с мотовозом.

— Так сказать, любовь без подъездных путей? Тяжеленький случай,— хохотнул Ральский.

Никто ему не отозвался.

— На этой вот станции и случилось,— сказал, помолчав, Аркадий Николаевич.— Осень была, слякотно. Я в плаще. Тогда модны были длинные такие плащи дерматиновые, ужасно клеенкой воняли. Вы-то это небось и не помните, а я в таком долго фасонил. И вот, подъезжаю я к станции этой последней, а дождь — прямо стеной стоит!..

Портфель свой Аркадий Николаевич пристроил наконец на коленях, пальцами этак по нему чуть барабанит.

— М-да... Лично мне и плащу дождь, понятно, не страшен, зато единственный пиджак и голубой галстук, выпрошенный на пару дней, могли, как говорится, утратить товарный вид. Но деваться некуда — накрылся с головой плащом и пулей — в зал ожидания. Маленький такой зальчик там был, дощатый. Прибежал — сразу давай проверять потери. Галстук в порядке, пиджак тоже, брюки, конечно, заляпались, но это пустяки. Сел на эмпээсовский диванчик фанерный, ноги протянул к печке-голландке и думаю себе бодренько: сейчас брючата обсохнут, я их обомну, обтрушу — краше новых будут. До подкидыша времени у меня прилично, сижу так, подремываю и вдруг... То есть, — опять робко, просительно улыбнулся он, — никакого «вдруг» не было, можете не настораживаться. Просто шумная компания вошла. До того зал совсем пустой был, а тут — трое парней в ватниках, в кирзачах с подвернутыми голенищами, вероятней всего рабочие-путейцы, с ними пожилой мужик. Грязный, оборванный, но, между прочим, в шляпе. И если приглядеться, так это грязное и оборванное на нем не что иное, как синий габардиновый макинтош. А макинтош тогда, как бы вам это объяснить?.. Ну, года за два до этого в макинтошах и зеленых велюровых шляпах шеголяло начальство районное, решившееся снять полувоенные куртки, а уж за начальством потащили на себя макинтоши и другие-прочие, желавшие показать, что не лыком шиты. Престижная была штучка, вроде как Петин пиджачок нынче. Да... И пьян этот мужик был смертельно, и, судя по всему, не первый день. Парни усадили его в угол дивана, рядом деловито постелили газетку, хлеб достали, лук. К его бормотанию (а он все время что-то бубнил) они не прислушивались. Я от скуки послушал, понял мало, но, в общем-то, жаловался мужик на судьбу, а где на судьбу, там, естественно, и на бабу... Есть, знаете, у нашего брата такой жалобный стереотип: я, мол, на нее хрип гну, а она же меня «щунит и мерзавит». Сначала одни эти словечки и привлекли мое внимание, даже подумал: уж не земляк ли? Стал приглядываться. Мужик росту небольшого, в теле, а рожа так и вовсе — бурдастая, толстощекая, глазки заплыли. Сидит тяжело, комовато, вот-вот рухнет, а все же сила

в нем чувствуется, и немалая. Наш северный мужичок, он, знаете, может быть и толстым, и тощим, и даже больным, но такой подсадистый, что не дай бог разозлиться...

Рассказывая, Аркадий Николаевич незаметно преобразился: лицо его вытянулось, сделалось скорбно-сосредоточенным, и когда он смолкал между двумя фразами, из-под кончиков усов резко пробежали печальные морщинки.

Трудно объяснить, чем так уж западал в душу его рассказ: ничего страшного в нем пока не было. Может, тут действовал подрагивающий голос, выражение лица. А может, и то, что «рафик» наш под натруженный гул мотора забирался все выше, все ближе к грязному, залежавшемуся на вершинах сопok снегу и к серым тучам, идущим с моря. За стеклами его сгущалась туманная мрачность.

Все сидели тихо, даже Ральский присмирел.

— Вот так он и сидит, значит,— грязный весь, с брюк течет, рожа оплывшая, бормочет... Захотелось мне, знаете, подойти, положить руку на плечо: «Брось, мол, дядя! Не нужно это им — ни ты, ни боль твоя душевная». Они и вправду закусочку свою разложили и теребят его, толкают: «Давай, батя, не тяни, некогда!» Он не сразу понял, потом засуетился, достал из внутреннего кармана бутылку «Московской». «Давайте, ребятки, давайте, я уж четвертый день вот... Выпьешь — отмякнешь, а потом опять! А раньше не пил, ни-ни. За семь лет в рот грамму не взял, все в дом, все ей, а она, стерва... Нет, ты представь: я ж человек дорожный, ремонтник, зимой придешь домой весь каляный, прозяб тебя бьет, а она...» Нет, не слушают! Выпили быстренько сами, ему суют с полстакана. Он послушно проглотил, не дрогнув лицом. И зажевывать не стал. Заговорил, правда, чуток ясней. «Нет, вы, говорит, ребята, послушайте, как мне эта жизньяка боком выходит. Ты вникни! Я теперь пьян и все такое, а все равно понимаю: она решила, что я ей не нужен, да? Дом у нее есть... А душа, ребятки? Как же душа, вот тут-то,— он потыкал себя стаканом в грудь,— тут-то как?» Те хмыкнули, дожевали свой хлеб с луком и поднимаются: «Ну, дядя, бывай!» Он... Понимаете, он как-то всем телом заволновался, задергался и отчаянно так: «Не уходите, ребятки! Я сейчас еще на бутылку, а?» — зашарил по карманам торопливыми толстыми

пальцами. Один из парней, рыжий такой верзила, губастый, приостановил его руку: «Ша, говорит, голубь! Не воркуй, сиди тихо. Мы тебя в тепло привели? И — всё! Понял? Хватит с тебя». А второй, маленький, вскочил из-за его спины и запританцовывал: «Посиди пока что в холодке, папашка...» И все трое — в гогот! Мужик смотрит на них обалдело: «Ребята, говорит, а то посидели бы, а? На бутылочку...» И шарит по всем карманам, оставляя на макинтоше и костюме грязные пятна. Они пошли — он руку за ними тянет, тянет, и что-то такое в лице... Потом затих, вроде уснул. Я решил уйти, встал потихоньку, но он тут же почувал и, не открывая глаз, тянется этак ко мне, шарит в воздухе: «Парень, слышь, не уходи! Возьмем бутылку... Мне теперь эти деньги куда? Некуда мне...» И тут рука его, наконец, понимаете, в карман прорвалась, вывалила на скамью комок липких десяток, пятерок, полусотню... Я подошел, собрал, затолкал обратно. «Не разбрасывайся, говорю, пить я не буду, я так с тобой посижу, послушаю». Ведь он этих ребят, что с ним были, тоже подкупал водкой, чтоб выслушали, разделили беду, а они его... не знаю, как сказать, но точнее всего, наверное, будет — все-таки «ограбили», хоть и не тронули денег.

Пока они были, я этого, представляете, как-то не соображал, а тут дошло, и так стыдно мне стало — до боли в сердце. Главное, время-то мое все уже вышло, с минуты на минуту покажется подкидыш, а тут... В общем, стыд, досада, и жалость, и злость на него — всё вместе! Но думаю: «Минут через пять точно заснет. Посижу». А он все бормочет и бормочет. Не берусь пересказывать это бормотание, много там было всего, но суть его истории я, кажется, уловил. Обычная семейная драма, то есть обычная для тех лет. Понимаете, вот жизнь становится лучше, — а мы ж тогда чуть только вздохнули, поднаелись, приоделись... — жизнь становится лучше, а людям хочется в ней уже не просто тепла или жратвы, а любви, радости, света... Это, конечно, очень хорошо, это замечательно! Только для кого-то и оно бедой оборачивается, ломкой судьбы. Понимаете? И этакая беда — она-то человеку куда горше, чем когда, как поется, «на всех и беда одна». А тут история была самая простая. То есть мужик этот, насколько я его понял, женился сразу после демобилизации, взял беженку. Люди сошлись... То есть не полюбили, а именно сошлись, потому что вдоволь набедовались, набез-

домничались. Он вкалывал, гандобил, выстроил-таки дом, так? И тут оказалось, что жена его отогрелась, зашпоры военные у нее отошли. Так у нас говорят: «зашпоры отошли». Это когда замерзшие, онемевшие руки или ноги ототрешь, чуть отогреешь, и они лишь начинают болеть, озноб тебя такой бьет, что, кажется, прямо в печку залез бы — до того тебе холодно. Хотя, раз зашпоры отошли, значит, ты, наоборот, маленько уже согрелся, ожил, теперь у тебя поболит и пройдет, отрезать ничего не придется, все живое. Вот эти зашпоры военные и отошли у нее в доме, и просто в доме стало ей уже холодно, захотелось в печку, любви захотелось, верно? Винить в этом человека нельзя, да вся беда, что у него-то, мужика этого, ничего больше не осталось. Ни на земле, ни за душой. Если я, конечно, правильно его рассказ понял. Уж очень он бормотал невнятно, все время возвращался к какому-то несчастному утру, а я никак не мог понять, что ж именно в это утро произошло. Иногда он совсем засыпал, но чуть я, прихватив сумку, начинал осторожно подниматься, как какая-то смятенная судорога пробежала по его лицу, он вытягивал руку, шарил в воздухе: «Не уходи, парень, как же я один?..» — и снова, как заведенный, бормотал о своих бедах. Уже смеркалось, я сидел как на иголках, боясь прозевать подкидыш, который останавливался на дальних путях, за двухэтажной кирпичной диспетчерской. Тот край станции был уже едва виден сквозь дождь. Почему-то мне тогда казалось, что совершенно необходимо успеть на этот подкидыш. Хотя... Ну что случилось бы, приедь я туда часа на три-четыре позже? Любви-то там не было, никто за мной не убивался, — так просто. Но тут как раз прошел маневровый тепловоз с зажженным прожектором, и я с ужасом увидел, что зеленые вагончики уже поблескивают на дальнем пути, подхватил сумку, рванулся к двери и у самого порога словно споткнулся об это умоляющее: «Не уходи, парень! Куда же ты? Я тебе...» Споткнулся, махнул рукой и сиганул за дверь. Хоть на ходу уже, а успел-таки вскочить в последний вагон.

Аркадий Николаевич замолчал, вздохнул и прикрыл глаза. Казалось, он собирается с силами или ищет какие-то слова, чтобы рассказать самое главное, важное. Все ждали.

Так, в тишине, и подкатили к родничку, у которого летом останавливаются все машины, идущие по этой

дороге в Мурманск или обратно. Вышли, разминая ноги. Тонкая струйка родника с ворчанием разбивалась о камни, чуть ниже, на закраинах крохотного озерца, позванивал лед.

— А стаканчик — тю-тю! — обеда взглядом сбрызнутые снежком темные валуны, сказал наш шофер.

— Какой стаканчик?

— Да тут. Как утром едешь — есть, а к вечеру — тю-тю! Кто-то, видать, выставляет, упорствует, а кто-то и подбирает, не брезгует гривенничком.

Он кряхтя наклонился и, опираясь руками о камни, стал ловить ртом родниковую струйку.

Тучи были совсем близко над нами, почти лежали на вершинах сопки. Вялые снежные хлопья реденько тянулись к земле в прозрачной серости воздуха. С минуты на минуту могла сорваться настоящая метель.

Едва снова уселась, тронулись, блондинистая Ольга нетерпеливо спросила:

— Аркадий Николаевич, ну же? А дальше, дальше-то?

— Что дальше, Оленька?

— Вы же рассказывали...

— А... Нет, дальше ничего не было. К сожалению. Через станцию эту я ездил еще с полгода примерно, но его ни разу больше не встретил. Ни трезвым, ни пьяным. Думаю, узнал бы — уж очень у него лицо характерное, плоское такое, лунообразное. Но не встретил. М-да.

— А страшное? Вы ж обещали! Так даже нечестно.

— Страшное? — смутился Аркадий Николаевич. — Действительно, я как-то... Почему-то вот думал, что это страшно, а рассказал... Вы уж извините, такой я, видать, рассказчик.

— Если вдуматься, то конечно, — пробормотала седовласая Фаина и вздохнула непонятно о чем, — хотя...

Прощались мы в Мурманске, у вокзала. Пожимая руки своим, Аркадий Николаевич заглядывал в глаза и спрашивал:

— Так как же с Гомзяковым будем, а?

В ответ ему бормотали что-то невразумительное. Было совсем светло, но третий час ночи сказывался, всем очень хотелось спать; Ральский, правда, все же

пошел провожать блондинистую свою Олю, и она, всю дорогу его шпынявшая, не выказала никакого неудовольствия, так что поди пойми современную женщину.

Мне же оказалось по пути с тем самым Зыбиным, который пытался рассказать про вырезатель.

— Кстати,— спросил я,— кто этот старичок?

— Аркадий-то Николаевич? Начальник отдела нашего, а что?

— Да так.

— Мужик опытный, дошлый, только сильно добрый. При его должности это как-то и не к лицу, а?

— Как вам его рассказ?

— Ничего. Но бывает страшнее. Меня вот бабы не стали слушать, а зря.— Зыбин помолчал и вдруг взял меня под руку:— Я тут недалеко живу, хотите зайти? Кофе сварю и...

— С удовольствием, но в другой раз,— сказал я, останавливаясь.— Мне сюда, в «Полярные зори».

— В другой так в другой.— И Зыбин, уже отворачиваясь, сунул мне руку:— Будьте здоровы!

Поднимаясь по крутой своей улице с одной асфальтовой площадки на другую, я вдруг подумал, что он в сущности странный мужик: как-то слишком сутул, слишком угрюмо-молчалив для своих лет. Может, с ним и вправду случилось нечто такое, от чего погибает, не может переболеть душа? Конечно, смешно он это со своим вырезателем... Но — господи! — разве спрашивает беда, где человека настигнуть? А мы отмахиваемся брезгливо: с нами, мол, ничего такого и быть не может! Не хотим признавать чужую беду, не хотим слушать, в упор не желаем, как и того мужичка на станции...

Я вдруг остановился. Что-то во мне болезненно сжалось и ледяным комком скользнуло в глубину, к желудку. Вот ведь, подумалось, с этим старичком, Аркадием Николаевичем, один раз приключилось такое, единственный, и это он счел самым страшным. А со мной? Со всеми нами? Да что же это?

Бегом, почти задыхаясь от внезапно накотившего волнения, вернулся я к перекрестку, но все улицы и ближайšie дворы были пустынные, тихи. Город спал, напрасно освещаемый высоким, начинавшим уже пригревать солнцем.



аверху прогрохотали сапожищами, крикнули, и черные, подгнившие бревна причала, с занудливой равномерностью поднимавшиеся и опадавшие в метре от моего окошка, вдруг сдвинулись, пошли назад и вбок, по стеклу густо потек туман и скрыл все, даже воду. Мы сразу запутались в его серовато-сизой вате, зависли, и было непонятно, зачем дрожит под ногами палуба и потукивает дизель... Сонно протасилась серая полоса камыша, показался рыжий откос, и снова — туман, туман.

К шести утра стало вокруг робко светлеть, приобретать молочный оттенок, но берегов все еще не было. Лишь иногда среди кудлатых теней, скользивших за нашим туманным мешком, можно было различить то стожок, то одинокую сосну и догадаться, что берега совсем недалеко. Слышно было, как шуршит вода, трется о скуластые борта. И — туман, туман...

Я добирался в «Заречье» впервые, и этот пустой, ощупью идущий катер, эта угрюмость спящей реки мучили душу мою раздражением и дурными предчувствиями. Впрочем, для предчувствий были и другие основания.

В то лето в нашем районе вместо двух десятков мелких и бедных колхозов решено было организовать несколько крупных совхозов, и я, без году неделя газетчик, мотался по этим свежее испеченным хозяйствам в поисках отрадных перемен и передового опыта. В общем-то, находилось и то и другое, меня похваливали, все шло нормально, пока не пришлось мне поехать в это самое «Заречье».

Совхоз этот нашим районным начальством поминался не иначе как с тяжким вздохом. Вошедшие сюда колхозы были самые что ни на есть нищие, завальные, поля болотистые, и народ, говорили, жил там самый разгильдяйский, знать ничего не желал, кроме своей клюквы. А тут еще Шелудков, главный инженер головного молокозавода, посланный по весне директорствовать в «Заречье», недели через три запил и пил до упора, пока не сняли. Бросил на радостях, очутившись снова в городе, хоть и простым механиком. Месяц искали замену, наконец, к удивлению всех, напрорисил

туда Козлов, начальник нашей передвижной механизированной колонны, мужик молодой, холостой, бойкий...

И вот, продираясь сквозь туман, я думал обо всем том, что мне предстоит увидеть, и, разумеется, о Козлове, которого во всех случаях придется ругать, и раз от разу чувствовал к нему все большую неприязнь, что, впрочем, совсем не трудно по отношению к молодому начальству.

С утра я никого не застал в конторе и весь день самостоятельно бегал по бригадам, из деревни в деревню, тихо стервенея от виденного. Обратившись в Рождественно притащился часам уже к шести. Козлов, которого по всей округе искали и костерили немало разного люда, к моему удивлению, спокойно сидел у себя в кабинете, сложив на столе большие белые руки, а на них — голову. Вскинув брови, он пристально рассматривал блестящую железку, стоявшую перед ним.

Я представился.

— Та-ак! — он уперся руками в край столешницы и, медленно распрямив их, качнулся на задних ножках стула. — Та-ак! Редакции, видимо, фельетончик нужен? Надеюсь, материала достаточно?

— Да уж... — буркнул я.

— О чем же тогда говорить со мной, дураком таким? А?

Начавшийся так разговор вышел, разумеется, нервным и бестолковым. Заведясь с пол-оборота, Козлов вскочил и, отшвырнув ногой стул, заорал: «Да? А вы понимаете, что это такое, когда нет людей? Нет их, нет!» — и, уже не слушая меня, не давая рта раскрыть, понес о непоеных телятах, о разгильдяях, сидящих в Сельхозтехнике, и о пальце, из-за которого стоит зерносушилка и который он якобы выточил сам, пошел на завод и сам выточил, вот он, полюбуйте!

О зерносушилке я уже знал. И сказал, что не директорское это дело — точить пальцы, лучше бы он... Но он не слышал, он кричал уже о другом, кричал, что вся эта земля вообще пойдет в тартарары, если не закрывать на лето завод и...

Почти все жители Рождественно, кстати, работали не в совхозе, а на стекольном заводе. Был он стар, еще дореволюционной постройки, но давал план и закрывать его, разумеется, никто не собирался.

Козлов тряс передо мной листком, где в правом верхнем углу стояло: «В ЦК КПСС от...» О закрытии за-

вода он, видите ли, собирался писать в Москву! Мне все стало ясно, и я больше не пытался его перебить.

Он наконец выкричался и сел за стол.

Говорить, собственно, было с ним не о чем, но злость колотила меня изнутри, точно озноб, и хотелось что-нибудь такое врезать: не знаю, мол, поможет ли это нелепое прожектерство спасти его личную шкуру, да и наплевать мне на нее, когда на токах преет зерно, а в поле пропадает лен...

— Знаете что?— сказал я, вставая.

— Что?— быстро вскинул он голову.

В его светло-серых глазах мелькнуло какое-то детское ожидание. Наверное, в первую секунду он в самом деле верил, что я могу сказать нечто очень ему нужное, спасительное. Но это только мелькнуло, погасло, и осталось одно отчаяние — белое, ровное, пустое. То самое, которое, быть может, и кричало о заводе.

Он все смотрел на меня этими белыми глазами и, кажется, уже не видел, а я никак не мог начать приготовленной фразы. Мне делалось стыдно.

— Давайте отложим это все и...— выговорил я наконец.— Переночевать устроите?

— Что?— удивился он.— Переночевать?— и вдруг обрадовался, засуетился.— Да, конечно. Только это в Окуловке, вас устроит? В том конце, у старой плотины, спросите Тосю-пришлую.

Выше заводского пруда Созь была речушкой совсем небольшой, вертлявой. Тропа в общем-то держалась берега, но то спрямляла путь, то выписывала лишние петли.

Повороты эти были так внезапны, что я подумал, а не прокладывал ли ее кто-нибудь вроде меня, такой же в себе неуверенный? В самом деле: зачем это я вдруг остался, почему?

Возле Окуловки по-над Созью росли корявые ивы: некоторые давно подгнили и завалились, полоща ветви в воде, шумевшей глухо, будто у моста. Пройдя еще чуть выше, я увидел несколько бревышек, черных, криво торчащих из воды, точно огарыши зубов во рту столетней старухи, и понял, что тут-то и была когда-то плотина. Темная, припахивающая близким болотом вода с неспешным ворчаньем цедилась сквозь ее останки.

Избу Тоси-пришлой мне показали сразу. Это было совсем рядом. Калитка стояла распахнутой, а в щелястую дверь стоило чуть постучаться, и она сама собой со скрипом отвалилась на сторону, заманивая в душно-ватую темноту сеней. В избе никого не было. Я выставил на стол все, что удалось прихватить в рождественском сельпо — пряники, кусок сыру, бутылку дрянного яблочного вина — и сел ждать.

Стены были тесанные, темные. Линяло-фиолетовая ситцевая занавеска прикрывала бабий кут. Стол, самодельные стулья, плетенные из тряпочек половики. Широкая, врезанная в стенку лавка под окнами толсто застлана такими же половиками. Все как положено, чистенько, аккуратно, и все же чем-то нежилым, сиротским веяло тут, будто болотный дух запустенья залетал от реки, и никакие привычно избяные стоялые запахи не отшибали его. Только сухие травы, пучками заткнутые за матицу, подмешивали свой тонкий и тоже нежилой аромат.

За окнами было сумеречно, из-за леса напоззала хмарь. Я перешел на лавку, присел, потом скинул сапоги, лег на спину и закрыл глаза.

В давно не топленной избе было прохладно, сыро, и мне снилась осень.

Снилась разгвазданная, хватающая за ноги дорога и серый, смазанный туманом простор. Это была та глубокая голая осень, когда даль уже ничем не зовет, не манит, когда вряд ли выйдешь за околицу, если не погонит нужда. Она гнала меня, сапоги всхлипывали, выдираясь из грязи, морось холодом кропила лицо, и я шагал и шагал, а когда открыл глаза, вокруг был все тот же сумеречно-серый, непогодный свет и бормотал дождь.

Я осторожно повернул голову, увидел освещенное пламенем чело печи и темную женщину с розовыми волосами. Сидя на низенькой скамеечке, она выбирала поленья, как бы взвешивая каждое на руке, и бросала в огонь. Серые волосы ее были ровно, аккуратно подстрижены и собраны назад, под мягкую полукруглую гребенку. Я еще не видел в деревнях стриженных старушек, разве учительниц. И мне захотелось разглядеть ее получше, но она, видимо, почувствовала взгляд и легко, совсем не по-старушечьи поднялась:

— Проснулись?

— Да вот,— смущенно бормотнул я, садясь на лавке,— нечаянно заснул, вы уж извините.

— Что ж извинять-то, небось устал? Да и дождь морит. Он, гли, как занялся — со мглой, по-осеннему вовсе. Эвона, в пятьдесят пятом — или каком? Не помню уж — как об эту пору задождило, так до снега и не просохло. То бусит, то из ведра, а полного останову ему ни на день не было. Не приведи господь, какая напасть! И хлеб, как сейгод, в поле весь.

— Дела у вас нерадостные,— проговорил я, натягивая сапоги.

— У нас завсегда так,— согласилась она, задумчиво выглядывая в окно,— хребтину гнешь, а что получишь — один бог знает!— Тотчас и спохватилась, однако, отошла к печи, сказала оттуда с улыбкой:— А так-то и ниче! С совхозом-то, говорю, ничего, жить можно. Эвона, сорок два рубля отвалили мне за июль-от, да десятку за постояльцев. Не, жить можно! Не знаем, кому и свечку ставить, кто додумался? Раньше у нас, считай, с одной клюквы жили. Зимой в Москву пару коробов свезешь, продашь. Москвичи клюкву хорошо берут, за витамины... А ты к нам надолго ли?

— На одну ночь.

— Ночуй. Я хоть на лавке, хоть на кровати постелю, у меня хорошо. Подтапливаю вот, чтоб сыри не было. И картошка сейчас будет,— она кивнула на печь.— Эвона, кипеть занимается.

Сумерки за окном густели; в глубине избы, у печки, было почти темно, только розовые блики пламени скользили по хозяйкиному платку, по летучей ее седине. Двигалась она по избе не торопясь, плавно. Каждое движение без остановки переходило в следующее, и домашние дела, похоже, не стоили ей никаких усилий. Она не думала об этой работе и не замечала ее, как здоровый человек не замечает своего дыхания и не думает о нем. В словах ее, неспешных, округлых, было что-то умиротворяющее. Они завораживали, как в летние сумерки завораживает, бывает, далекая, еле различимая песня. Так бы вот все и сидел, чувствуя лопатками трещину посреди бревна, вдыхая сухое тепло и сытный картофельный пар.

— Я тут... Не знаю, не обидитесь ли?— поднявшись все же, я переставил бутылку на середину стола, как бы

предлагая ее всеобщему вниманию.— Сыр тут, пряники еще...

— А что ж обижаться? И выпей!— она неторопливо повернулась, вынула из посудной горки блеснувшую в пламени стопку.— Выпей, я и огурчика тебе принесу.

— Да что ж вы одну только? Разве не выпьете со мной за знакомство?

— Можно и выпить,— спокойно согласилась она.— До винца и коза охотница. Грешным делом, и я люблю, и белое, и такое.

— Белой-то у вас нет.

— Точно, нет. Директор через сельсовет запретил до конца уборки. Наши молчат, а заводские и мимо без матюка не ходят. А ему хоть ты что!

— И помогает?

— Кому?— недоуменно приостановилась она, словно споткнулась в своем безостановочном плавном кружении. На столе были уже огурцы, зеленый лук, хлеб, картошка в чугулке. Остановившись, она с удовольствием окинула все это одним быстрым взглядом и только потом повернулась ко мне.— От чего помогать-то?

— Да чтоб не пили.

— Ой,— отмахнулась она рукой и то ли чуть хохотнула, то ли просто хмыкнула.— Ой, тошнехонько! Да они когда ее пили, магазинную-то?

Выпили по стопочке отдающего яблочной гнилью винца. Она хукнула в кулачок

— Ниче,— сказала,— сладенько!— и принялась чистить картошку, перекидывая ее из ладони в ладонь.

— Сыру берите!

— Возьму, возьму.

— А вы не местная, верно?

— Ай видать?

— Да не то чтобы... А словечки мелькают. «Тошнехонько», вот.

— А ты думал, меня зазря пришлой зовут? Так и есть. В девках я, парень, на Оби жила и взамуж тамотка выскочила. А на старости вишь где очутилась?

— Дома не понравилось?

— Господь с тобой, кому дома не запонравится? Да не путя выходит, не ссудбилось. Жизнью мою порассказать — дня не хватит,— она подперла темным кулачком голову, вздохнула.— Такая жизнь выпала — где только не бывала, чего не видала, мамочки мои!

— Значит, из родных краев давно уехали?

— Ой давно...— махнула она рукой.— С войны! Войной сорвало,— чуть помолчала.— А по правде тебе сказать, так может и оттого, что взамуж поздно пошла. И чего тянула? Добро б, знаешь, заморышка, недомерок какой, а я баская девка была, могутная, разве глупая только. Игрища любила, хаханьки, припевки... В колхозе у нас справно жили, сытно, веселья много было. А хотелось, вишь, девке, чтоб кто ее за сердце взял, присуха чтоб, уж как хотелось! Да не фарт. И мать меня ругмя уже ругала: доневестишься, что и свататься перестанут, в христовенькие пойдешь! Она жалючая была, мать моя, ох жалючая! И в самой страх занимался: что ж, думаю, что не люблю? Может, и люблю, да не знаю? Может, другие тоже брешут всё, как они по своим-то млеют и сохнут? Ну я и пошла за Васю Казакова. На Николу-летнего мы в сельсовете записывались как раз. А через шесть недель война, а еще через две его и забрали,— она смахнула со стола какне-то невидимые крошки, вздохнула.— Он-то меня любил оченно, провожала — при всем селе плакал. А я как бесчувственная была, все хихикала: «Скорей, мол, воюй, а то придешь, и ничего тебе не обломится — на сносях баба». Я, вишь, знала уже, что тяжелая, а только все это было как-то еще в смех да в новинку, почти как не верилось. И скажи вот, накаркала себе: в августе возили снопы, телега в ручье застряла, так запонадобилось мне, вишь, вытаскивать-подсоблять! Ну и скинула. Отлежалась, Васе написала, на работу снова вышла, ничего вроде, а потом проснулась под утро, вот так же дождик зудит... И будто душа во мне проклянулась! Такая вдруг пустота, тоска. «Как же, думаю, жить теперя, до чего себя притулять?» По Васе своему заплакала, затосковала всякой жилкою. «Вот, думаю, дура! Не любила, покуда в руках был, у груди». Представила, как он там идет по дороге, под дождичком, грязыща... «Господи,— молю,— не убивай. Верни! Хоть на денечек! Хоть на ушко шепнуть, как теперь вот мил стал!» Ну и опять же, наревела себе, намолила — ни писем больше, ни весточки. Как отрезало! На всю зиму. А весной приходит письмо, не его рукой, но он так и пишет, что, мол, диктует, раненый в руки, в грудь, а лежит недалеко, в Омске. «Приезжай,— пишет,— одна ты у меня жизня, проститься хочу». Мне бы, дуре, сразу к нему летом, а я кинулась свинью резать, салцем думала его побаловать, на ноги поднять. Целых три

дня задержалась! Ну, поехала, прихожу в госпиталь — на неделю, говорят, опоздала, девка, помер. Даже рубашечки никакой от ево не дали. Охо-хо! «Кто же, говорят, знал, что приедешь?» Ну, заплакала я да и пошла в военкомат, там уж за день на всю жизнь выревелась, все углы слезьми обмочила, а куды там — и слушать не хотят. Только они свое, а я свое. Назавтра приходят, а я на крыльце сидю. Сидю и сидю. И на третий день — всё там же. Ну, начальник ихний и понял: ее, мол, не сбудешь. «Отправьте ее, говорит, надоела». Сальце я еще допрежь евоным помощникам раздарила, так они мне все бумаги враз сделали. Я ж у них все на фронт просилась, за Васю. Такая во мне тогда злость была, если б вправду на фронт — я б им глотки зубами перекусывала, фашистам этим. Жизни в себе все равно не чуяла — одну пустоту и злость. Да они меня за мое же сало и обманули, военкоматские, — она махнула рукой и чуть улыбнулась чему-то, то ли прощая давний этот обман, то ли предвкушая уже следующую фразу, ее эффект. — Послали меня, парень, в горем.

— Куда-куда? Гарем? — недоуменно переспросил я.

— Да в железнодорожники. Каждый поезд у нас своим ремеслом занимался. Связьрем — те связь, а мы и путя и такое всякое. Одним словом — головной ремонт, горем то есть. Я в этом не очень-то смыслила, так что сперва при швальне помогала, а потом проводницей в штабной вагон взяли. От бабьей доли и фронт не увел — топить, подметать, варить, стирать — все на мне. Наши какую станцию займут — и сразу туда мы: всё на ноги становить, в ход пущать. Полковник наш, что у меня в вагоне жил, над тремя эшалонами командовал. Вечно такой смурной, крикливый, черный, что жук. Разозлится — кричит: «Бурга не бурга, никакая гайка!» — и хлясть кулаком по столу. Непонятно, а пужливо. Я-то его как хотела, так и дурила. Все зенитчиков со штабного подкармливала, такая уж наша бабья душа жалючая! Три года с гаком все ездила, ездила...

— А зенитчики что — рядом стояли?

— Да не... У нас. Вот такочки наш вагон, а рядом они на платформе, и такая у них не то пушечка, не то пулемет с двумя дульцами. Война-то у нас, у ремонтников, вся в одну сторону: нас и бомбят и по-всякому, а по них одни зенитчики стреляли, и то для шуму. За всю

войну никого не подбили. Да и какие зенитчики?— куда им!— все опосля госпиталя, задвоенные, занюханые, худющие, в чем и душа-то есть. Не пожалеть нельзя, а конец у бабьей жали известный. Как первый раз случилось такое — сама себя убить хотела. «Ах ты, думаю, сучка. Такая твоя, значит, за Васю мечь? Я ж тебя, думаю, порешу!» Да страх взял: ну как покалечусь только, и меня за самострел судить будут? Нет, думаю, пусть уж лучше так убьют! Нас тогда еще сильно бомбили. А потом это все отмякло, махнула я на себя рукой, и думка моя другая пошла: надо ж для чего-то и на свете жить — вот, думаю, затяжелею пускай, спишусь и поеду домой ребятенка рости. Не так душе пусто будет. Разве ж бабе одной злостью прожить, если ее сам бог для жалю придумал, дуру этакую? И, думаю, если с ребятенком, так мать не прогонит, будем с ней, две старушки, рости его. Да... А может, и то, что на всякий грех себя уговоришь, коли хочется.

Она опять замолчала, не гася своей робкой улыбки, но мне почему-то казалось, что она может вдруг расплакаться — и что я тогда буду делать? От этого я и спросить ничего не мог: каждое слово казалось опасным, взрывчатым. Заговорила она сама, так же просто и ровно, как прежде.

— Вот так. А Павел мой — тот до меня притулился уже в сорок пятом, на чужой земле. Да так, что трактором не оттянешь. Он контуженый был и раненый и заикался сильно, совсем, бывало, слова не выговорит. А вот полюбимся, он лежит рядышком и говорит хорошо так, складно. Встанет — и пошел заикаться. Расформировали нас уже под конец сорок шестого, зимой. «Ну, говорю, Пашенька, давай прощаться!» А он: «Цыть отседа!»— слышать не хочет. «Да ты сам, говорю, раскинь башкой: я и старше тебя на пять лет, шутка ли? И не тяжелею совсем. А ты мужик молодой. Что нашей сестры незамужней, что девок — нынче как собак нестреляных: придешь — любая твоя. Жизнь-то свою не коробь, зачем?» Говорю, а самой реветь охота. Это уж всегда так: ум правду видит, а душе на тую правду — тьфу!— ей счастьяца дай тепленького, понежится ей. А тут еще Пашка мой уперся, что бык. Так-то он нешумливый был, ласковый, но упрется на чем — танком буровит! До своего, значит. «Хошь, говорит, к тебе едем, хошь ко мне, но — вместях». А я по правде и сама-то радешенька. «Ну, говорю, раз такое дело, до-

мой не поеду. Там я с Васей жила. И так перед ним грешная: полюбить как след не успела, опосля верной не вытерпела, кругом вина! Нет, тудой не поеду, а к себе хочешь — вези». — «Ничего, говорит, меня полюбить успеешь. Я человек характеру легкого, жить мне долго». Смеется. Так вот и оказалась я в пришлых.

Она взяла из чугунка новую картофелину, обчистила ее и принялась кусать, макая в соль, — крупно, но без спеху и жадности.

Дождь уже не гудел за окном, но осмеркло еще глуше и сиротливей. Осокори у соседней избы сливались ветвями с черным небом. Заслонка в печи была сдвинута, и красные отблески жара ходили по потолку.

Я разлил остатки вина по стопкам.

— Ну, — сказал, — давайте за вашу здешнюю жизнь!

— А что ж? Я и на эту жизнь, милоч, не жалуясь, давай! Всяко жилось, да настоящего горя я за Пашей не знала все ж. Чутливый он был у меня. Что на песню, что на иную душевную справу, а страсть чутливый. То же вот, с винцом этим. Другие мужики, сам знаешь, как пьют. А Паша, тот — нет, тот гольную выпивку не любил. Возьмет белоголовую — и домой. Я картох сварю, капустки выну, мы с ним вместях выпьем и ну петь! Все песни перепоем. На душе-то поширеет, будто светом опахнет всю. Так-то не очень было нам чему радоваться, не выпадало. Еще как приехали мы, до того мне тут не глянулось, прям сердце оборвалось: избы — одни малухи, коровы тощие. А у нас так и вовсе: мать его померла, окна выбиты, дверь сорвана. Ходили с Пашей по селу, свою же лапотину всякую собирали. Но худого не скажу: первый обзавод нам вернули. Паша работать пошел в МТС, в Рождествено, козу купили. Супряжно жить стали, в лад. Летом я всякой лесовины напасала. Зима сорок седьмого — она, сам знаешь, брюхо народишку подвела, а мы ничего, справней других вышли. Козу, конечно, пришлось за мясопоставки отдать, да ведь я и покупала ее зачем? Думала, может, какой ни есть ребяенок все ж заведется. А самим-то и без молочка ниче, прожить можно. Через год козу новую купили, избу перебрали... Так оно, может, и жили б людьми, да Пашу мово председателем поставили. Это, не соврать, как раз под пятидесятый год новый, да. Как проголосовали в клубе, он встал: «Ну, говорит, так: у меня чтоб от работы никто не отлынивал, ни под ка-

ким видом! А детишки сыты будут — это обещаю». Так и сказал, да. До сей поры тебе каждая баба скажет: только при Косошеине и вздохнули. Первое он что сделал? — на лето Дашу-одноглазую выделил, ребятню ей собрал, трудодни велел писать, будто сторожихе, и заладилась она с имя каждый день божий в лес. И мужикам на день подроду давал — ивняк резать, а зимой бабам — всё это в город, на базар. Тутошний народ — он же спокон не столь полем жил, сколь этой лесовиной всякой, клюквой особо, да этими ж корзинами, завсегда их мужики плели. Но, правду тебе сказать, и народ тогда старался, не то как счас. Первый год все нас газета похваливала: тут подтянули, тама. А урожай подвел. В пятьдесят втором зато как с поставками мы рассчитались, семена засыпали — пришел мой. Пашенька домой с белоголовой. Выпили мы, рыжиков я нажарила, а опосля до ночи на крыльце то пели, то хаханькались. Он все шутил: «Меж лопатками мне почеси — видать, крылья растут!» И то — по шестьсот граммов на трудодень оставалось, да овса еще, да картошки. Тогда это неслыханное дело было — по шестьсот граммов на трудодень! Да... Хорошо мы с ним в последний раз попели, душевно.

— Почему же... в последний? — растерянно и с робостью спросил я.

Она не заплакала и вообще никак не выразила своего горя, только вздохнула очень глубоко, продолжительно, будто нырнула куда-то за пределы собственной боли. Вздохнула, вынула гребенку, провела ею по волосам.

— Так ссудьбилось, что в последний, — сказала спокойно. — Молодой был мужик, молодше меня, а вишь... Назавтра до нас уполномоченный из району приехал. Жохов Фаддей Иванович. Походил он туда-сюда, опосля с Пашею заперся, и ну они друг на дружку орать и кулаками по столу грохать! Я было домой из правленья ушла: «Ну вас, думаю, ошалели совсем!» Я тогда учетчицей работала. А ночью уже... я и легла было... Паша приходит: «Лампу не затепляй, говорит, каганец вздуй за занавеской, чтоб на улицу не видать». Вроде тверезый, а шалый весь. Там вот и сел, — она махнула рукой в бабий кут, — сел, пишет. Я говорю: что пишешь? А он: «Поди, говорит, глянь: у Даши-одноглазой тёмно? Этот, что, спит?» Я сбегала. «Спит!» — говорю. «Ну, говорит, Тосенька, слушай так: завтра

меня с председателей, значит, сымают. Жохов требует, чтоб мы всё сверх плану сдали, а то район не выполнит, а я против». — «Как же сверх плану? — я так и села. — Всё?» — «Всё хочет. Всякие слова говорит. А я, Тосенька, може, и дурак, и в политике не тумкаю, но уж как седни ешшо председатель, то по совести и сделаю, как обещал, а завтра ты меня сымай! Поняла? Ну, поняла, так беги буди Фросю-кладовщицу и всех по очереди, а я туточки всё расписал: кому сколько по трудодням вышло. Да накажи, без шуму мне чтоб, свету не запалять и коней не брать, слышь?» Я перепугалась, вся в слезы: «Пашенька, говорю, да что ж тебе за это будет?» — «Что будет — то будет. Я, Тося, людям обещал, они жилы рвали, а поперек совести я не ходок». Ну вот, народ сразу почуял, чем пахнет, торопился дак. С мешками бегом бегали. А все ж кто-то и уполномоченному стукнул, забоялся. А может, он и сам почуял — тоже дошлый был мужик, настырный. Половины даже не роздали, он заявился, да с милиционером сразу, когда только в Рождествено сгонял? Паша кричит: «Я ешшо председатель!» А Федька кобуру расстегивает: «Нет, говорит, ты заарестованный!» — и бумажку ему сует. Покричали друг на дружку, но делать нечего. Амбар опечатали, сторожа приставили, а Пашеньку в контору повели как арестанта, Федька даже наган вытащил, сукин сын! Ну, и меня точно кто на веревочке тянет. Паша шумит: «Иди домой». А я следом, следом, села в сенях — там тихо, только разговор: шу-шу-шу. Да вдруг Паша мой как заорет — у меня аж внутри ёкнуло. «Ты, кричит, тыловая крыса, меня спасти? Ты — меня? Убью!» Дверь — тресь! Жохов выскакивает, руками голову прикрыл, Федька за ним, кобуру расстегивает... И Паша — следом, табуретку в руке вертит: «Убью, гады!» Оно, может, и вправду убил бы, да господь не допустил, значит, рученьки его замарать. Он замахнулся, а табуретка и выпала из руки, и сам он на порожек осел. Ну, думаю, пронесло! А смотрю — он дальше валится, на бок, лицо белое совсем, без кровиночки, и глазоньки у христовенького позакатились, — она промокнула слезу уголком платка, замолчала и снова мучительно глубоко, со сдержанным всхлипом вздохнула. Но голос не оборвался, не дрогнул... — Фершал из Рождествена прибег: уже, говорит, с час как мертвый. Он же у меня сюды вот раненный был, да. Через всю грудь шрамы, все рваное, а один осколок еще

с сорок четвертого, с весны, так невынутый близ сердца и сидел. Фершал сказывал, будто он от злости и ворохнулся, зарезал Пашу.

Мы помолчали с минутой.

— А потом что же?

— Да что потом? Всяко. Всяко, милоч, было. Хотела я спервоначалу уехать. Справку давали, еще и понуждали: уедешь, мол, разговору меньше будет. Да вот не уехала, не осилила я. Зимую кой-как пережила, бабы подкармливали. Я ведь и травы всякие знаю, и наговоры, зубы заговариваю, кровь. Чему мама выучила, чему фронт. И ребятенка принять могу, зря что сама не рожала, и, грешным делом, ослобонить. Так бабы, спасибо им, и подкармливали навроде как знахарку. И в пятьдесят шестом опять зима тяжелющая выдалась, злая, дак тут уж нас Кузькин выручил. Я ему рукавицы шила, а он хлебом платил, мукой.

— Кузькин?— удивленно переспросил я.— Тот самый, что ли?

— Тот-тот,— спокойно покивала она.— Жулик агромадный. И денег он с нашего горя много позаимел. Меня на суд свидетелкой вызывали, так я ему тама и говорю... Он уж обритый сидел за заборкой. «Вот, говорю, как ты, Тимофей Нилыч, спас меня, то я тебе поклонюсь, а что ты ворюга, так оно правда». Он ничего, покивал только, а судье не запонравилось. Квашнина его судила, которая в райкоме теперь... И бригадиркой я тоже была, раз даже в район на совещание маяков ездила, колбасы в буфете целый круг купила. А сейчас и вовсе, что не жить — с совхозом-то?

— Да как же с Кузькиным? Ведь он, говорят...

Но о Кузькине, организовавшем в нашем районе целый подпольный цех и нажившемся, как говорили, по самую маковку, я так ничего и не выяснил — в сенях послышался какой-то бряк и испуганный девчоночий голос:

— Баб Тось, ты дома?

— Дома, дома,— хозяйка плавно потянулась, для свету пошире отодвигая на печи заслонку.

— Ой, а я захожу — темно, дак я...— затараторила, появляясь на пороге, девчушка в мокром мешке, углом накинутом на голову.— Ой, здравствуйте! Баб Тось, мамка наказала бегом бегчи: Витьку живот прихватил, на крик кричит совсем.

— Да что ж с ним, ай съел чего?— накидывая на голову платок и ступая в стоявшие у порога огромные мужские сапоги, спросила моя хозяйка.

— Не сказывал. Кричмя кричит!

— Ну, побегли, что ж! Вы уж извиняйте нас, отдохайте ложитесь,— повернулась она ко мне.

Я тоже вышел на крыльцо. Со всех сторон сонно лопотал дождь. Мокрая тьма, то сгущаясь, то редая, неровными полосами проходила перед лицом. Где-то в ней сразу же растаяли две торопливо согнутые фигурки. Красновато светились избяные окна: дальние помаргивали, точно из последних сил не желали гаснуть, а еще дальше, в рождественской стороне, небо светлело, белесо вспучиваясь, как бы приподымаясь у горизонта. Там был завод, горели стеклоплавильные печи, у проходной и возле клуба светили фонари.

Вернувшись, я долго лежал на лавке без сна, но так и не дождался хозяйки.

Проснулся я на рассвете. Вышел во двор — небо еще не совсем прояснилось, но было видно, что дождю уже не собраться. В стайке вздыхала корова, певуче цвиркало молоко.

Когда я вернулся в избу, на прибранном столе стояли две кринки, прикрытые ломточками хлеба.

— Доброго утречка,— нараспев сказала хозяйка.— Почивали как?

— Спасибо, спасибо...

— Вот садитесь, подкрепимся на дорожку.

Теперь, при свете, она почему-то обращалась ко мне на «вы».

— Спасибо.

— Я вас вчера совсем заговорила, отдохнуть не дала небось.

— Ну что вы, отлично выспался! Как мальчик-то, кстати?

— Да что ему исделается? Поблевал, да и прошло. Ребяшня! Сколь их ни корми, а всякую дрянь в рот тянут.

Помолчали.

— Анастасия Дмитриевна, я вас знаете о чем хочу спросить, если можно, конечно?

— Да спросите, отчего ж нельзя.

— А почему вы не уехали тогда? Ну, когда все это с мужем случилось?

— Да уж не уехала,— она вздохнула.— Я, вишь, сперва избу хотела продать, чтоб хоть до места родного доехать. У нас-то кто купит? Дак я все в Рождествено бегала: може, заводские? И в район ездила. И вот, скажи ты, как не пойду — мне Анька Вдовина навстречу, с дочкою. А дочка ённая от Пашки моего, и до чего похожая! Ну, Пашка маленький и Пашка. И, скажи, пожалуйста, пока он был живой, дак я ж той Аньке окна бить бегала, срамила принародно, видеть рожу ённую не могла. А тут как посмотрю на Верку, так потом всю ночь реву. Даже ни на Аньку зла нет, ни на него. Ну, думаю, пожалел он ее, так ведь она ж такая, как и я, от всякой сласти бабьей отодвинутая. Сама-то ты, думаю, мало ль кого жалела? И куда, опять же, тебе ехать, чего по свету мыкать? Тут как-никак кровиночка родная — вот она, Верка. Может, на что-нито, а пригодишься. Отца нет, пусть хоть при двух мамках растет. Ну и вырешила: притулюсь тут.

— Так и остались?

— Оно, может, и не осталась бы. Я ж думать-то думала, а сама все избу продавать бегала. Думать-то что, думать легко, а как ты к им подойдешь, что скажешь? Да тут, вишь, Анька сама до меня прибежала: фершал, кричит, пьяный, а Верка помирает, синяя вся. Та и впрямь помирала: и простыла, горло в ей нарывало, душило. Я ее выходила, травками отпоила, а уж от ручек детских горяченьких куда ж бабе деваться, к чему бегчи? Осталась. Анька — та меня не любит, да и не за что ей, а Верка и посейчас письма шлет, на каникулы приезжает. Она у нас девка баская, грамотная, в самой Москве учится. Тую зиму я ей каждый раз, как приеду клюкву продавать — так десятку-две подброшу, да... А теперь-то при совхозе — че? Теперь и больше можно. В Москве — там денежка пташкой летит.

Все это она мне досказывала уже по дороге. У развилки остановились.

— Вам туда? А мне на телятник бегчи. Прощайте, спасибо вам за беседу.

— Вам спасибо.

И опять я двинул по бригадам, где вроде бы видел все то же, что и вчера, только зерносушилка работала.

День выдался жаркий, парило. Но дышалось и шагалось неожиданно легко, весело.

У Рождествоно нагнал меня директор Козлов, ехавший в одноконной легкой бричке-кошевочке.

— Как ночевали?— спросил.

— Спасибо. Хозяйка у вас замечательная!

— Тося-то? Ну, еще бы! Она меня вот так выручила!— он чиркнул по шее ногтем большого пальца.— Четвертый день телят обихаживает, а вполне отказаться могла — инвалидка все ж таки. Да ей и не приказывал никто. А? Как вам это? Я говорю: наряд выпишем, заплатим, а она: «За что ж платить? Я это оттого, как ревут жалостно». А? Хорошо хоть, ей на пенсию не скоро еще.

— Как не скоро? А сколько же ей?

— Да не знаю, пятьдесят есть ли. Верно, есть. А что старухой глядит, так ведь какая жизнь у нее была? Подумать и то...— он покрутил головой и замолчал, задумавшись о чем-то своем.

Я ни о чем не спрашивал его. Неизвестно, когда и как, но было уже решено, что фельетона не будет, как-нибудь отобьюсь. И думать мне теперь хотелось совсем, совсем о другом.

1983

ОСТРОВ УХОДОВО

1



а этом острове я был всего один раз — неприятно-ранней весной шестьдесят какого-то года, вместе с Улановым, редактором нашей районки. Делать на острове было нам, в сущности, нечего, но на балансе редакции числилась моторная лодка, и шеф время от времени устраивал такие поездки; дабы никто не мог сказать, что она нужна лишь для его рыбалки. А поскольку из любых, даже самых неблагоприятных для себя обстоятельств он, по собственному его выражению, любил «доить двойной жир», то в последний момент с нами оказалась еще и Галя, молоденькая практикантка из университета. Меня это не удивило, но слегка, как говорится, заело.

Все это, впрочем, к делу не относится, рассказ пойдет совсем о другом.

Выехали рано. Низко над рекою ползли густые облака, похожие на изнанку старого тулупа; налетал порывами северный ветер, гнал длинные клинья ряби. Я сидел на носу вполборота, прикрывшись от холодных брызг плащом.

Изредка облачная овчина рвалась, и тогда было интересно следить за солнечным пятном, быстро скользившим в отдалении: вот высветило оно сосны на обрыве, осеребрило серую, косо торчащую из-за них колоколенку, чуть погрело, погладило головы трем пацанам, спускавшимся с удочками по пологому взвозу. А как молодо вспыхивает в его лучах нежная, неполная еще листва рябин, как радостно светятся березовые жерди поскотины! Минута — и его уже нет, опять тянутся мимо плоские серые берега; проплывают песчаные кручи с торчащими поверху, как козырек, сосновыми корнями; склоняясь к воде, стоят вдоль лугового берега зелено-серые купы ив,— и все это однообразно сыро, холодно, простудно...

Наконец, повернув ручку, Уланов сбросил газ, и лодка, нехотя опуская нос, скользнула в длинную узкую бухточку.

— Прибыли,— объявил шеф.— Остров Уходово. Прошу любить и жаловать.

Я выскочил первый, подтянул лодку, чтоб крепче сидела на отмели и, не оглядываясь, двинулся в глубь острова.

— Ну и кавалеры пошли,— осуждающе сказал довольный Уланов.— Придется уж мне. Прошу, Галочка! Девушка засмеялась.

Остров Уходово считался в районе едва ли не красивейшим местом, но мне показался он неприятен, даже мрачен. В широких, поросших ивняком низинах, разделявших его округлые холмы, кой-где еще не сошла вода, сапоги выдирались из грязи с сочным чмоком. На холмах, раскинув во все стороны мощные сучья, стояли редкие приземистые сосны, вершины их глухо пошумливали, будто ворчали на ненужную, неуместную резвость ветра.

— Однако, работнички! А? Никого!— возмущался сзади Уланов.

— А что им тут делать?

— Ну, мало ли...

— А дойка уже кончилась?— чуть запыхавшись, догоняя нас, спросила Галя.— Представьте, я никогда не видела...

— Здравьте! Какая еще дойка?

Она обиженно вскинула бровки-ниточки:

— Но мы ведь...

— Да тут, Галочка, не коровы, а нетели,— любезно пояснил Уланов.

— Нетели? Это как?

Шеф обрадованно расхохотался и сказал, что нетели — это коровы-девушки.

Удивительно неприятен и неуместен показался смех под этим сырым небом, среди жалких, ерошимых ветром кустов и несчастной, жмущейся в кучу скотины. Шерсть на телках висела неровно, клоками, комками; куски навозных лепешек присохли к мосластым ляжкам. В последние полгода все складывалось против них, бедных: долгая зима то с вьюгами, то с внезапными сильными оттепелями, скудный запас кормов, снег чуть не до середины апреля, потом два или три по-настоящему теплых дня, когда все начало зеленеть, и опять — дожди, холода, дожди.

— Девушки — не девушки,— раздраженно сказал я,— а зря мы сюда и ехали. Надо найти пастуха, а он небось в Нововыселках.

— Туда так туда,— согласился Уланов.

— А это что же — силос им возят?— Галя подняла с земли и протянула мне несколько травинок.

— Это рожь,— несколько смягчаясь тем, что она все же обратилась ко мне, а не к Уланову, пояснил я.— Где-то подкашивают и возят.

— Ну, хозяева!— возмутился шеф.— Дошли-доехали! Тут же лучшее пастбище во всем районе. Ей-богу, всегда так считалось!

Так мы с ним говорили, и всё будто бы о деле, хотя попросту пикировались из-за девчонки, которая к тому же ни мне, ни ему по совести была не нужна. Странно это, не правда ли?

Снова сели в лодку и, описав большую дугу, подошли к так называемому Охотничьему домику, филиалу какого-то санатория, куда, говорили, частенько жалует областное начальство — пострелять уток, зайцев... Уланов даже приосанился и посолиднел, подводя сюда лодку.

Сторожиха полоскала белье, стоя на специальном плотике у лодочного причала.

— Пастух-то?— переспросила она, разгибаясь. Волна от лодки покачивала ее плот.— Филат, что ль? Да вона евонный дом в Нововыселках, вона! На отшибе чуток. Он мужик ничего, уважительный,— добавила она.

— Народу много у вас?— спросил ее Уланов.— Юрий Тимофеевич у себя?

— Да никого. А Юрка дома, кажись. Вчера приехал.

Помолчали. Шеф что-то обдумывал.

— Так поехали?— напомнил я.

— Да придется,— Уланов замялся,— гостье нашей скучать там три часа удовольствие маленькое, да что поделаешь?— и заглянул мне в глаза каким-то скользящим, косым взглядом.

Я не удержался, хмыкнул.

— Зачем же ей-то скучать?— сказал.— Я один съезжу.

«Черт с ними,— подумал,— мне же легче».

— Ну, валяй! А мы тут... посмотрим.

Оттолкнувшись от мостков и с трудом развернув нашу широкую посудину, я оглянулся, сориентировался по кривой сосне на вершине холма и пошел себе не то-ропясь, на веслах.

Лодка пересекала протоку наискосок, остров сползал в сторону, открывая противоположный берег реки — ярко-зеленое, высвеченное солнцем озимое поле, рощицу и за ней серую колоколенку двориковской церкви, покосившийся ее крест. Крест этот тоже отползал, как бы погружаясь за темный ельник, совсем как зимой. Только небо тогда было другим — глубокой и яркой голубизны, да на перекрестье огненной точкой горело морозное солнце. Я видел этот крест, когда поворачивался и пытался идти против ветра спиной, задом наперед.

2

Был конец декабря, какое-то срочное газетное дело. Машиной завладели ветераны, а молодежь, то бишь я, обходилась собственными средствами передвижения, что, впрочем, было мне по душе.

Из Двориков вышел до обеда. Дорога по льду была отличная, накатанная до слепящего блеска, день сол-

нечный. И мороз поначалу казался вполне терпимым. А под конец у меня уже и пальцы на ногах не болели, и зубы перестали стучать, а это плохой признак.

Только в Нововыселках, в чайной, в напоенном ее кислыми, сырыми запахами тепле, меня снова стало колотить, да так, что буфетчица невольно заторопилась, наливая перцовки. Я выпил и, прихватив каляными, негнушимися пальцами блюдечко с солеными грибами, пошел, натываясь на стулья, за печь-голландку, поближе к ее черному, потрескивающему от сухого тепла боку.

Чайная в этот срединной час была пуста и тиха, но как раз за печкой, где я устроился, сидел старик в повытертой, серой кроличьей шапке, в обтерханном полушубке. На столе перед ним лежала очищенная луковица, большая и злая даже на вид — с синевой.

— Замерз?— спросил он, угрюмо взглянув на меня из-под сползающей на глаза шапки.— А вроде и не так чтоб холодно, а?

— От Двориков шел,— простучал я зубами.— В-ветер.

— Эт да... На ветру прозяб еще тот. Налить?

— С-спасибо, я уже.

— И то верно. Частить не надо. Самое тебе посидеть.

Он налил себе с четверть стакана и, выпив не спеша, как воду, стал жевать лук, подперев небритую щеку ладонью. Завернутые вверх, но незавязанные, уши его шапки вяло помахивали. Блаженная волна тепла катилась во мне от желудка к ногам; я закрыл глаза и отдался дреме. Когда очнулся, старик тотчас же налил калгановой и в мой стакан.

— Что вы? Зачем?— удивился я.

— Филат!— крикнула буфетчица.— Не приставай к человеку, умаялся парень.

Старик отмахнулся: «Иди ты!»— и подмигнул:

— Давай! Для почину выпьем по чину, а пойдет веселей — так без меры лей.

Я засмеялся и не стал обижать его, выпил.

— От Шестакова, значит, идешь? Он мужик головастый, вникательный. Худо не скажешь, а все ж и он как ему положено гнет, а не как надо бы.

— То есть как?— не понял я.

— А так! Положено ему держать поголовье на должном, значит, уровне — он и держит. А я коровенок ихних знаю, старья много, которое жрет только.

— А у вас?

Он не расслышал.

— Да-а,— сказал,— совхозу, положим, нету расчетов держать, а ему, выходит, есть расчет, Шестакову-то.

— Какой же? Ему по должности положено о при- были думать.

— Должно да положено, да законы писаны, а жизнь себе, паря, криушает вольно: сюда рыскнет, туда... Ты ее вожжой потянешь, а она тебя — мордой в грязь! С норовом! — он сбил шапку на затылок и налег грудью на стол, приблизив ко мне лицо.— Вот ты говоришь: должно! Я согласный. А тогда пускай во всем как должно, чтоб жизнь вот так, как по рельсе, ходила. Бывает?

— Нет, наверное.

— В том-то и дело, что нет. Я вот на войну ушел — одного пацана оставил, а вернулся — их двое. Должно так?

— Н-нет,— невольно запинаясь и задерживая взгляд на его вдруг побуревшем злом лице, сказал я.

Теперь, кроме измятых щек и пористого носа картошечкой, был виден просторный его лоб, от половины совсем белый, без загара, с двумя запятыми крутых морщин над переносицей, и — главное — глаза: сверляще-маленькие, почти черные и так близко посаженные, что сама собой возникала мысль о нацеленной в тебя двустволке.

Мне стало неуютно, я надел шапку и приготовился смыться.

— Сиди,— сказал старик,— успеешь! Все нынче бегут, а куда бегчи? Вот так, паря! Родиться ему не положено было, а родилось. И живое. Маленькая такая, на кривых ножках по избе: туп-туп!.. Ясное дело: слабость бабья да жалость ихняя, будь она проклята! Жалостливая попадется — не женись, понял? И опять же: война, голод, а кровь своего требует. Ты погляди: после войны народ не народ был — одна изморина, а дети куда густей шли. Ну, ладно! — он неожиданно гулко, громко пришлепнул по столу громадную пятерней.— Что было, думаю, то ладно! Господь бабу из кривого ребра сшил — где ж ей прямо ходить? А сам ты, думаю, чем лучше? Тоже сердце с перцем, душа с чесноком.

Синельниково взяли, так я там одну малолетку притиснул. Конечно, сама, дура, целоваться на радостях полезла, а я и попользовался. Воин-освободитель, туды твою!.. А тут одно, что не стреляли, а война та же. Но война, опять же думаю, была! А теперь мир, ты домой пришел, у тебя изба пуста, даже курицы перевелись, дети голодные, так что ты должен? А?

Старик поднял свой стакан, но не выпил, а повертел его, повертел да и поставил. И рукой на него махнул.

— Э-э, что тебе должно — это, паря, ты завсегда знаешь и другим указываешь очень даже правильно, как в газетке. А вот не могу если, не могу — хоть головой об стену! Костя Жерихов из Двориков — тот пришел, на такое ж прибавление глянул: «Так, говорит, мы не договаривались!» — и ходу. Больше и не видели его. А мне нищеты ихней жалко стало, пропадут, думаю, если уйтить. Так не мог, и этак — опять же не смог. Вот кручусь целый день, хожу и уговариваю себя, уговариваю: виновата она, так повинилась, больно тебе, так и ей больно — ну и успокойся! Уговариваю, а внутри как крутит что-то, крутит, точно червь под ложечкой. Приду домой, гляну на нее: фу-ты, думаю, мать твою, как же она с ним-то?! Как заколодило меня, понимаешь? — старик махом выплеснул в рот водку и пристукнул по столу пустым стаканом. — Всё нараскосяк! Ото дня к ночи жил: днем уговорю, успокою себя, ну, все, думаю, простил. И то ведь — на одном прощении жизнь держится вся, больше ей не на чем.

— А на любви? — осторожно спросил я.

— От любви той, паря, вся и беда, — убежденно покивал старик. — Вот, к примеру, похожу я так день, иду домой. Прощать иду! А сам слова с добром-то не выговорю — как черт подсудобит — стукнет мне в голову, как она с другим-то, — так и собьет с пахвей! И — не могу! Схвачу шапку и вон! И выпью! Или сижу в избе и молчу, молчу. До того домолчусь, что она заплачет, а я тогда чем ни попадя в нее — хлясь! А все отчего? Сердце еще к ней кипело. Понял?

Он помолчал.

— Вот, значит, почти полную зиму Настька моя все это терпела, а весной я на день в город, а она от меня в Низино, к Андрюхе-кладовщику. Оно понятно: грех грехом и вина виной, а как каждый день виноватят, эт кто ж утерпит? Андрюха ее, значит, взял.

— Это от которого...

— Не, то пролетной, неизвестно куда и делся. А у этого в войну померли все: сперва баба, потом девчонка. Остался один, да беспальный, да постарше меня... Конечно, после войны ожениться плевое дело было. За него и девка б любая пошла, да он, вишь, с двумя мальцами взял. Федьке восьмой год уже был, так вот... Тогда уж и я немножко в ум вошел, смолчал. Ладно, думаю! Нагресли-накрошили, а вот как расхлебать-то? Меня в ту пору уже председателем наставили, ну, за делами оно само и пошло и покатилося. Дела лучше водки от самого себя отводят, а я тогда на работу лют был до ужаса. Чертомелили день и ночь, а мне все мало казалось, всё мне быстрее подавай. И все у меня у первого было — маяк! Конечно, когда с умом, так и соврешь, не без этого. Тогда всё на сроки жали. Такая мода была. Бывало, снег еще не сошел толком, а уже звонят: «Сев начали?»—«Начали, говорю, а как же?»—«Сколько?»—«Полга». За эти полга и в «маяках» ходил, и в прехзидиумах сиживал. А мне очень тогда нравилось в прехзидиумах сидеть, оченно я себе в них гляделся!.. В общем, хреновый мужик был, это точно!

— Почему же?— оторопело уставился я на него.— Разве это вы виноваты — время такое было.

Он выпил и, не спеша жуя свою луковицу, которая даже у меня вышибала слезу, спросил:

— Какое?

— Ну, жесткое. Разруха же. Нельзя было иначе, наверное.

— По-человечеству завсегда лъзя. А то одного мужика вытащили поперед всех: ты, мол, государственный интерес блюди, на прочих и не поглядывай, они так — мелочь. А грамотешки у меня шесть классов; я, конечно, и рад, что вперед всех выскочил: «Мне, мол, интересу нет, как вы живете, у меня интерес государственный! Во!» Коршуном кружил. А какой в том государственный, скажи, интерес, чтоб Федоров на райкомах меня хвалил да с собой в прехзидиумы сажал? Государству, так думаю, начхать, кто там сидит, ему самый интерес, чтоб детишки были сыты да мужик доволен. Я, к примеру, про государственный интерес речи говорю, а у самого в уме что? А то, что вы, мол, хаханьки за моею спиной хаханькаете, как баба Филата дожидалась, да дождавшись, убегла? Ну, так я вам за то покажу, какой я средь вас самый умный, я вам кажное поперечное слово припомню. Хозяина из себя стро-

ил, а сам воевал — не хозяйствовал. Колхоз был — ма-
як, а колхозники жили разве заречинских чуть лучше,
а то... Я им раз за разом: «Мне интересу нет, как живе-
те!» Эх! Бабы, говорят, на след мой плевались, да жаль,
вот такого, чтоб в морду плюнул, не нашлось, кишка
тонка оказалась. Хоть бы поклонился ему теперь. Мно-
го от меня людям обид было. Ох, много! С кладовщиков
я Андрея, положим, за дело снял, недостача была, дак
ведь он у меня и опосля из лесу не выползал, кажин раз
я ему там государственный интерес находил. По этому
интересу его отправлю, а сам все во вторую бригаду
норовлю, в Низино, мимо избы пройтись. Настюху
встренуть. Нищета у них была там гольная, ребятишки
сопливые вечно, она остарела совсем, хуже чем в войну,
а все ж для меня будто черт в нее ложку меду поклат.
Встрену и взглядом буровлю: попросись, мол, хоть миг-
ни, дура, не могу ж я первый! А она нос воротит. Изда-
ля увидит и — шась к бабе какой! Ну?

Он взял со стола остаток луковицы, понюхал, потом
вытер грязным пальцем серую слезу, катившуюся в се-
дой щетине.

— Да-а,— сказал,— пьян я, паря. Всё! Пьян. Лук
слезу вышибает, да-а... А ведь скажи — за меня много
тогда баб сватали. Мисютина тут одна старалась по
этому делу. Вечерком забежит в правление и давай то
про одну, то про другую: дескать, по тебе сохнет совсем.
Даже и девок сватала. Сижу, слушаю ее и думаю: пра-
ва старая карга, надо бы. «Ладно, говорю, иди, погово-
рили!» А завтра встрену, о ком разговор был и... ну, не
могу, с души воротит. Уж, думаю, не наговор ли какой
Настюхин на мне? Партейный был, а думал — вот те
крест! А всё ж одно... — он тяжело, со всхлипом, вздох-
нул, помял руками лицо. — Одно на меня зря говорят:
будто я Андрюху со свету сжил. Он сам вызвался го-
рючку везти в тот раз, сам. Их, вот те крест, четверо
у меня в правлении сидело. Я говорю: кто? Молчат.
А вот так надо было, самого Федорова приказ: завезть
горючку! Я опять: кто? Ну, он и встал: хрен, говорит,
с тобой, поеду. Так с санями, с лошадьё и утоп, бедо-
лага, царствие ему небесное! Золотой мужик был, не
мне чета. Настюха так даже умом тронулась. Или уже
любила его? А? Как где завидит меня после этого, так
вся дрожит и крестит украдкой, будто черта. Тощая
стала, глаза выкатились. А какая она, паря, в девках

была, эх! — он покачал головой, и глаза его затуманились. — Теперь и в городе таких нет.

— Она так одна с детьми и осталась? — спросил я.

— А я виноват? — он вздохнул. — Одна. Хошь — верь, хошь — нет, а все лето я думал, как с ней снова сойтись или хотя помочь. Через Мисютину денег давал — не взяла: «Боюсь, говорит, через евонные деньги беда горше выйдет». Да... И потом, как сюда вернулся, опять до нее ходил. Пошел, на коленки стал, все как один старичок меня учил, — а все ж без толку. Теперь что — теперь Настюхи и нету уже. Да... Федька кобелюет где-то, и матери не писал, не то что мне. Одна Ольга недалеко, в Кириллове, нагулянная которая. То же вот: была в городе замужем, да вернулась: на роже синяк, на руках дите. Видать, жизнь как спервоначалу пойдет враскосяк...

Он махнул рукой, встал. Лопухая его шапка оказалась рядом с лампочкой и на всю стену помахивала серыми крыльями тени.

— Все, — сказал он, — пойду! Извиняй за беседу, а к темноте на ферму мне надо, скотником я. Припозднишься — Аленкина ругается, не люблю бабьего визгу. Прощай!

И пошел, ничуть не качаясь, только излишне тяжело топая деревянной ногой.

— Забавный мужик, — сказал я буфетчице.

— Очеров-то, Филат? — удивленно посмотрела она на меня. — Пропойца он каторжный — какая еще в нем забава?

3

«Филат, значит, — в такт весельным взмахам думал я. — Филат, вот к кому еду. Как же он пастухом, с ногой-то?»

Нововыселки были пусты, тихи, одни гуси бродили по берегу огромной, почти во всю ширину улицы лужи, да из окон бывшего колхозного правления доносился девичий смех. Правление это располагалось когда-то над чайной, во втором этаже, и теперь там селили шефов — девчонок с Завидовской фабрики.

Очеровская изба стояла на отшибе, за ручьем, просторная и сама еще крепкая, хотя палисадничек перед ней, судя по всему, давно не знал хозяйских рук: черные стебли прошлогодней лебеды и крапивы тянулись до

самых окон, таких грязных, что сквозь них ничего нельзя было разглядеть.

Старик сидел на порожке подпертого избочинами сарайчика, перебирал сетку, ковырялся в ней длинной деревянной иглой.

— Это ведь вы на острове пастухом, да?

— Я, ну.

— Вас Филатом Максимычем зовут, Очеровым? Я ведь с вами знаком, помните? Из районной газеты я.

— Очеров, точно,— оставляя работу, согласился старик,— а насчет знакомства, то вроде как... извините.

— Да вы и не можете помнить, что я из газеты. Мы с вами в чайной однажды разговорились. Зимой, не помните? Вы еще говорили, что жизнь всегда идет не так, как ей должно.

— Может, и говорил,— нахмурился старик. Подумав, вытащил из глубины сарая скамеечку:— Садитесь вот, что ж как перед начальством? После бутылки, конечно, чего не скажешь. Зимой я маленько тоскую, а со своими калякать не люблю — ну их!— вот и цепляюсь к кому чужому. А если чего не так было — извиняйте.

По спотыкливой этой вежливости, по тому запущенно-прихорошенному виду, какой бывает у пьяниц, решивших начать новую жизнь, или у обретших кой-какие надежды старых холостяков, я решил, что старик на этот раз непроходимо трезв, серьезен и скорее всего, кроме «да» и «нет», ничего из него не выжмешь. Однако на все вопросы Очеров отвечал очень обстоятельно, спокойно.

— Вода в речке высоко стоит — вот в чем беда вся,— объяснял он.— Самая трава — она завсегда в низинках, а на холмах что — сопля там, не трава, чох один. Конечно, ежели б тепло... Нашей русской травке много ль надо? Ведь это вот все,— он повел рукой по двору,— за два дня повывлезло. Чуть ее пригреет, она уже и тут.

— Так, может, и не стоило еще везти телок на остров?

— А куды ж их?— удивился он.— Силос дочиста подъели. Либо на остров, либо уж на мясо прямо. Да еще и возьмут ли? До того достояли, бедные,— взглянуть жалко.

— А что же вас пастухом?— спросил я.— У вас ведь нога...

— Да сам напросился. Меня раньше летом на пилораму ставили, а тут, вишь, заотказывались все, скучно им на острове, а мне все едино, мне с ними калякать не о чем. Кабы не на остров еще, а на острове нога что? Дальше воды не уйдут, а я лодкой — момент, и в любое место. Вот, кручусь. В такую, говорят, весну от одной спины мужичьей тепло. Крутись, значит, гни ее. Да что! Бровцын тоже из кармана травы не вынет. А ржицы он мне подкашивать позволение дал, это точно. Сейчас вот сетку поставлю — опять займусь косить да возить. А все ж тепло — оно должно б... А?

Попрошавшись, сбегал я еще в отделение совхоза, в Борки, завернул на ферму и только часам к одиннадцати подался обратно. Очеров как раз тоже был у мостков, снаряжался в путь. У него был хорошо просмоленный широкий дубок с легкомысленным моторчиком на корме. Под банками лежала уже коса, веревки, и хозяин укладывал в «бардачок» — сухой ящик на носу лодки — какой-то узелок и тяжелую низку вяленых лещей. Я посмотрел на них с удивлением.

— Вы косить? — спросил.

— Пойду, — буркнул старик.

Потом, вернувшись с веслами, пояснил все же:

— Вот, — сказал, — отвезу кошевину своим дощачкам да и махну в Кириллово. У меня там дочка в больнице, спроведать надо. Ну, прощайте! — и, намотав на маховичок, дернул шнурок от мотора.

Движок застучал, лодка пошла в протоку; остатки прошлогоднего камыша на мелководье тихо зашелестели, зашептались, мерно кланяясь вслед.

«Дочка в Кириллове — это он что же — о той, о нагулянной? Точно, она в Кириллове, Ольга, кажется». Я долго смотрел вслед его неторопливой лодке, непонятно о чем задумавшись.

На острове я с полчаса ждал, кричал и опять ждал своего шефа, нервничал и даже стал думать, что нехорошо поступил, оставив девчонку наедине с ним. Хотя... кто она мне? К тому же человек она взрослый и должна бы сама понимать, куда и с кем едет.

Наконец они показались на тропке. Галя шла впереди, очень спешила, Уланов с этакой успокаивающей беззаботностью помахал мне рукой из-за ее спины. По этой наигранной беззаботности я сразу понял, что ни-

чего у него не вышло, даже близко не было, и обрадовался.

— А мы тут тебя ждали, ждали,— сказал Уланов,— да и зашли к Юрию Тимофеевичу, островному богу, технику-смотрителю Домика. Перекусили слегка. Народ тут, надо сказать, со вкусом живет, очень даже.

Девушка сразу и с подчеркнутой решительностью прошла на нос, уселась там, отвернувшись, так что Уланову и не оставалось ничего иного, как, вдруг проникнувшись интересами дела, начать расспрашивать меня обо всем с пристрастием.

— Значит, здесь одни доходячки?— переспросил он, оттягивая пальцами яркую, пухлую свою нижнюю губу.— Так... А может, поедем посмотрим и остальных?

— Не стоит,— сказал я.— Очеров не начальник, ему очки нам втирать незачем.

— Очеров?— вдруг удивился Уланов.— Филат, что ли?

— Филат.

— Надо же! Пастухом? Вот это умяла жизнь человека, ого-го!

— В смысле, что он председателем был?

— Если бы просто председателем, а то каким! Он же, знаешь, гремел, Федоров в нем души не чаял. Оба старой закваски мужики были: всех в бараний рог, а чтоб дело моментом! Да... Я тогда — это еще в пятьдесят третьем или даже в пятьдесят втором было — инструктором комсомола работал. И вот прихожу как-то в Нововыселки эти, еле добрался — весна, зажоры, тает все. Сразу к Очерову: надо, Филат Максимыч, молодежь собрать, провести работу. А он сидит... Этак рожу помял пятерней, а потом — на!— и фигу мне под нос, здоровенную. «Во, говорит, видал? Они у меня все сено возят с острова, пока река не тронулась, так там ты и проводи работу среди них!» И что ты думаешь? Пришлось сделать вид, вроде так и надо, шутка вроде, и пошел я себе в массы, сено возить, пример показывать. А на льду лужи уже. Везешь и не знаешь: доедешь — нет? Так я у них дней на десять застрял, как раз потеплело резко, все остатки дорог рухнули. Вот уж насмотрелся я на знаменитого председателя!

— А ведь он прав был,— подозлил я,— сено, оно...

— Ишь ты! Сено? А чего ж он его раньше не вывез? Да и знаю я, каким маяком этот Очеров на деле-то был. Зазнался, зажрался, только и делов, что водку хлестал.

А чуть Федорова сняли — он у Дошки сразу под суд загремел. Это при Федорове на него никто и пикнуть не смел.

— И вы, выходит, тоже?

— А ты думал? Да я пацан был. Я ж тебе говорю: сам Дошкин боялся! Зато потом так скрутил — восемь лет впаял, как одну копейку. И то — посчитали: он полколхоза разворовал, Очеров твой. Оттого, может, такой и гордый ходил, что набил карманы... Не знаю, правда, все ли отсидел. У нас добрячков везде много. А теперь зато Филатка-пастух, м-да! Стоило за тем возвращаться после отсидки.

И долго еще Уланов покручивал головой, все веселей усмехаясь. Видимо, та фига так крепко запомнилась моему самолюбивому шефу, что превращение грозного председателя в Филатку-пастуха вполне испуло для него срыв кой-каких планов.

— Ну что ж... — бодренько сказал он. — По домам, коли дело сделали?

Я не отозвался.

Странно, но меня ужасно занимало вот что: отчего же зимой, в чайной, Очеров ни словом, ни намеком не помянул тюрьмы? Если Уланов приезжал сюда после смерти Андрея-кладовщика, то как раз про тогдашний свой смертный запой Очеров и говорил. И вообще вытаскивались им на суд божий грехи не только, так сказать, удобопокаянные, нет! Вспомнил же он, например, солдатку синельниковскую, а? А тут уж такое, что тюрьма куда красивей. «Не-ет, — думалось мне, — что-то здесь не то...»

Я так глубоко задумался обо всем этом, что даже не заметил, когда сгустились и снизились тучи, разрослись почти на все небо... С каждой минутой они становились все гуще, темней, растрепанные их лохмы волоклись чуть не по верхушкам прибрежных сосен. Только на юго-западе меж осмеркшей землей и черным небом оставалась еще узкая щель пронзительной голубизны и кипящего солнца. Туда, напряженно задрав нос и подскакивая на волне, рвалась наша лодка, торопилась проскользнуть, пока не сомкнулись у горизонта темные челюсти земли и неба. И поневоле делалось страшно за тех, кто оставался у нас за плечами.

Месяца через полтора, в самый разгар грозового и знойного лета, шагал я из Кириллова, время от времени делая тщетные, а потому и робкие попытки остановить попутку. Тяжелые КраЗы с ревом пронеслись мимо, роняя на выбоинах щебенку; их шофера сидели так высоко над землей, что вряд ли и видели меня. Постепенно я примирился с этим, решил, что пять верст до шоссе дело небольшое, а там — можно подождать автобус. А когда примирился, то, как это часто бывает, судьба и смягчилась: нагонявший меня «козлик» скрежетнул тормозами, и мой приятель Генка Зуричин закричал:

— Куда идешь, пресса? В ногу ль с народом?

— О!— обрадовался я.— Моя милиция меня бережет!

— Садись, старче, в ногах правды мало. Вперед!

— В город?

— А куда же?

— Со следствия?

— А как же?

— Интересное что? Или пока секрет?

— Да как тебе сказать?— Генка задумался.—

И секрета нет, и интересного мало. Для газеты не подойдет.

— А все-таки?

— Так... Один чудак застрелился.

— В Кириллове?

— Да нет. Туда уж я последний лачок навести завернул. На острове застрелился, ночью.

— Кто?— и прежде чем Зуричин ответил, я уже знал это имя, знал все. На меня будто пахнуло холодным ночным ужасом, отчаянием.

— Кремневый был мужик, а на тебе,— помолчав, заговорил Зуричин.— Я ж сам низинский, с его Федькой до седьмого класса вместе дурака валяли. Федьку-то ты небось не знаешь?

— Нет.

— Вор в законе. Вместе росли, а вышли эвоно как,— Зуричин причмокнул.— Вот интересно: все тогда бедно жили, чего-чего только не ели... И сказать честно, так все мы тогда приворовывали, все пацаны. Обрат с фермы, горошек, морковку, колоски там. Только мы-то все не задумываясь, чтоб брюхо набить, а Федька со

злостью. И вот большущая с этого разница вышла! Как-то поймали нас в морковном поле, привели к Очерову: «Что ж вы, говорит, сукины дети?..» А Федька губу скривил: «Мы не сукины, а кобельи!» Тот аж сел. Посидел, поглядел на него. «Так, говорит, идите пока, потом разберемся».

— А не знаешь, за что его судили?

— Федьку?

— Отца.

— Не, точно не помню. Я ж тогда фактически пацан был, хотя и думал, что взрослый. А Филат... Месяца за два, как его посадили, я к нему за справкой как раз приходил. В техникум хотел, в Калязин. Он сидит за столом: и так-то мужик быковатый, а напьется... Разлепил он один глаз с трудом, смотрел, смотрел на меня: «Нет, говорит, не дам. Эдак все разбегутся, останется одна неработь, вроде твоего батьки». А батька мой — он что? Нас четверо было, всякий кусать-жевать требовал, так он и наладился плести — корзины, кошелки, всякую чепуху. Инвалид войны, а до самой смерти чертомелил так — аж кости трещали. Но то не про колхоз сказано. Там он минимум выработает и — отвалите! Сердит был с колхозом. Вот Очеров нас и доезжал по всем правилам. Справка — эт еще что! Он и огород нам урезал, и стожки батькины вечно колхозу оприходуует... Не у нас у одних, конечно, а всё ж чьи, если где на неудобии заметит, иной раз и отвернется, а Зуричина — хоть в лесу, хоть на болоте, хоть там полкопешки всего — отобрать немедля! Вот так. Я это все тебе к чему загибаю? Что мне его любить не из чего, Очерова-то, а все ж я не верю, что он, как говорили тогда, проворовался, пропил. Недостача — это, может, и было, и большая, поскольку счетовод у нас большой хитрован был.

— Вот, знаешь, и я почему-то не верю.

— А может, и зря не верим! — сказал вдруг Зуричин. — Дошкин-прокурор тоже честный мужик был. Старого закалу, еще Деникина бил. А ты Филата скотником застал?

— Конечно.

— Ну, это совсем не тот человек! После тюрьмы он чудесить пошел, даже к собственной жене опять сватался, прощения просил. А ведь она у него... Он знаешь за что ее выгнал?

— Слышал.

— У нас думали, он ее со свету сживает. Особенно как дядя Андрей утонул. Где ни встретит — так глядит, что сейчас, мол, горло перекушу! И вдруг — на тебе! — на коленки стал. Артист! Федька как раз дома был, тоже давай в театр играть: берет его под ручку, ведет к столу: «Давай, говорит, батя, посидим с тобой породственному, как ворюга с ворюгой». А тот: «Я, говорит, не вор и тебя не учил этому, хотя ругаешь правильно. Виноват, гордость свою тешил, из тебя человека не сделал — вот ты и вырос скотом». Федька озверел, его из избы вышиб — была потеха! У нас долго рассказывали. А как Федька опять сел, старик, веришь ли, посылки ему в тюрьму слал. Своеголовый был мужик.

— В Кириллово ты не к Ольге ли ездил?

— К ней, — Зуричин поморщился.

— Старик говорил, она в больнице?

— С неделю как вышла. У дочки ее какая-то болезнь сложная, так старик опять же чудесил: приезжал, врачей, нянечек задаривал, под Ольгиным окном стоял. Антонова, главврач, и скажи ему: внучку, мол, хорошо б в Евпаторию свозить, погреть на песочке. Старик мотор от лодки продал, сетки, еще что-то... Чанов говорит, и ружье у него торговал, да не сошлись в десятке. Ну, и как только Ольгу выписали, он к ней: вот, говорит. А та выгнала, осрамила на людях. «Ты, говорит, нам всем жизни испоганил: и мне, и Федьке, и матери, ты дядю Андрея в гроб загнал. Я по паспорту его дочь, Нюхина, не твоя. А теперь за три сотни хочешь обратно у черта совесть свою выкупить, чистеньким стать? Не будет этого!» Вот на другой день, ночью... А с другой стороны — похоже, что это у него и давно обдуманно было, место выбрано: высокое, мох чистый, сосны. Повесил он фонарь, переделался в чистое, сел, в оба ствола картечь и — бабах в рот! По фонарю его нашли, из Охотничьего домика заметили.

— И Ольга знает уже?

— Все знают. Но мне что удивительно: не его ж дочка ни по крови, ни по паспорту, а что-то есть. Ей-богу, есть! Я приехал сейчас — хоть бы у нее глаза там красные, хоть бы голос дрогнул. «Правильно, говорит, сделал. Давно ему пора». А? Напомнила мне покойничка.

— А ведь мощи ходячие, — сказал шофер, — не поймешь, где столько и злости-то умещается.

— Люди, Васильич, как этак посмотришь, и вообще народ злой, жестокий, и ни хрена в жизни к тому же не понимающий. Ведь пока он, Очеров, тут лютовал надо всеми, его еще уважали. Сам помню: хозяин, говорили, крепкий. Даже батя мой уважал. А стал человек человеком — пошли смеяться.

— Прошлого не простили.

— Это б еще что! Ольгу — ту хоть понять можно. Но мужики-то? «Высоко о себе понимал, говорят, пил в одиночку...» Эх, люди!..— Зуричин, стукнув себя по коленке, замолк и долго глядел в окно.

Я тоже молчал, представляя, как старик в темноте плывет к острову, вода кругом черная, он обстоятельно выгружается, отталкивает лодку — почему-то я решил, что лодку он оттолкнул непременно, — идет. Мох пружинит под ногами. Сосны глухо шумят и то ли тянут друг к другу свои мохнатые лапы, то ли отталкиваются. Он с фонарем... Да, умереть хотелось человеку обстоятельно, обдуманно — так, как не удалось прожить.

— Послушай, — толкнул меня Зуричин. — Старик еще писульку оставил. Как раз я проконсультироваться насчет одного словечка хотел. Вот, — он вытащил из планшетки оторванный от газеты угол. По белому полю стояли крупные изломанные буквы со странным наклоном влево: «Изблевала меня земля. Оч.»

— Изблевала, что ли? — говорю я. — Отторгла, значит, выкинула с отвращением. От слова «блевать», понял? В Библии, кажется, есть что-то такое: «Изблюю тебя...» Не помню точно.

— Надо же! Я и не знал, чтоб он с попами дружбу водил. Впрочем, шут его разберет! А нет ли еще такого здесь смысла, что вот, мол, обидели его, оплевали... А?

— Нет, — говорю, — такого нет.

— Жаль. Картину бы мне, это, конечно, портило... — Генка, странно ухмыляясь, обстоятельно разгладил и спрятал клочок газеты в свою планшетку. — Да, картинку бы портило, а все-таки жаль.

Много раз случалось мне потом проезжать мимо острова Уходово. Зазывали меня туда рыбачить, охотиться... Но так я и не решился больше ступить на его отделенные друг от друга болотцами одинокие холмы с одинокими соснами.

БОЛЬШАЯ ОСЕННЯЯ ТИШИНА



началом сентября поселок наш замирает. По ту сторону станции, где личные дачи, магазин и почта, еще копошится какая-то жизнь, но мы туда почти не ходим. На нашей же стороне — детские сады, лагерь: все тихо, пусто... В огромном «Салюте», на тридцати гектарах, мы остаемся вдвоем с дедом Яшей. Он сторожем, а я — просто так.

Живем дружно, я помаленьку помогаю ему в разных неспешных трудах. Сколачиваем дощатые халабуды над гипсовыми пионерами, стаскиваем под навес скамейки, прячем щиты со стендов в пустую столовую. Часик в день, вместо зарядки... Примерно после двадцатого и эта работа иссякает, да и не только у нас, видимо; смолкают последние молотки, пилы — наступает большая осенняя тишина.

Дни об эту пору стоят серенькие, по ночам иногда шуршит дождь, по утрам, лениво потягиваясь, уползают в распадки медлительные туманы — отлеживаются где-нибудь в болотах, пережидают, чтоб в сумерки снова вспухнуть и растечься по полям, как закипающее молоко. Солнца нет. Разве что ближе к полдню обозначит оно себя на минуту-другую смутным пятном оловянного блеска. Но, несмотря на ватное небо и хвосты туманов в кустах, видно так далеко, как редко бывает и летом. Да что туман! Сквозь беззвучную морось горизонт в эти дни так же заманчиво, засасывающе далек.

К концу сентября березы уже сплошь вызолочены, начинает желтеть липа, рябинки стоят вдоль забора — пылая одни и медленно ржавея, сворачивая и роняя в траву листья, другие. Дрозды ежедневно прилетают сюда кормиться, но пока без особого орудия, спешки и суеты.

Стол мой стоит у окна, и, незаметно для самого себя ускользнув от работы, я часами могу следить за несуетливой их трапезой, за парой сорок в щегольских белых жилетках, которые тоже всё крутятся вблизи моего домика, и я то вижу их, то слышу заполосные трескучие крики... Потом они улетают или просто смолкают, тишина густеет, день не догорает, а опускается, принакает к земле, на мягкую простынку тумана.

Очнувшись, я вижу, что так ничего и не сделал, а дня как не бывало. Это, конечно, стыдно. Но вместо работы я опять-таки долго и со вкусом пью чай, потом долго читаю в мягкой постели, слушая сквозь ночь писклявые вскрики электричек и глуховато-раскатистый постук товарняков. «Все,— говорю я себе строго.— Ты славно отдохнул, успокоился, но все уже — пора за работу...»

Ночи в конце сентября долгие. Спишь вволю, сладко, а встаешь затемно. Умывшись и включив чайник, сразу же принимаюсь перебирать, раскладывать бумаги. Занятие пустое, но так легко уговорить себя, будто это — необходимая подготовка к каким-то важным трудам.

Стоит засвистеть чайнику — появляется дед. У него особая манера гостеванья: переступив порог, сесть на ближайшую табуретку и молчать. Если молчишь и ты, он посидит и уйдет. Так и надо бы, но у меня не хватает духу играть до конца в эту молчанку.

— Что, по грибы?— спрашиваю, кивая на корзинку. И сразу — как камень с души.

Он не спеша стягивает картуз, медленно улыбается, вытирая серым платком плоскую лысину:

— Ну?

— Ох, пропадай моя телега!.. Идем!

— Ну?

Но сначала мы пьем чай. Сезон кончился, народ схлынул, никуда наши грибы не денутся. Дед любит чай с пылу, с жару — держит стакан на блюде у самых губ и втягивает в себя кипяток со странным звуком — всшир!.. всширр!.. Так это занятие у него и называется: чайку поширкать.

Лагерь наш он сторожит уже четвертый год — с тех пор как остался один, без старухи. Есть дети, но где их там мотает по жизни, старик знает, по-моему, смутно. Разве что телеграммку отобьют ему к празднику, да и то не всегда. Сын шлет ежемесячную десятку. Этим, однако, летом старик переводов не получал — получил сразу сороковку на днях. Взял маленькую, посидели мы с ним, выпили, посмотрели вместе корешок от перевода. Строки «для письменного сообщения» были девственно пусты.

— А все ж таки жив, значит, сукин сын, здоров,— сказал дед на прощанье.— Ну, и на том спасибо ему!

Сына его зовут Ким. Ким Яковлевич, тридцать третьего года рожденья. «Сам почти дед, да пустопляс,— говорит о нем дед,— нищеврод». Бездомность собственной старости его не огорчает, кажется почти нормальной, а вот сына...

Пока дед «ширкает» второй стакан, я одеваюсь, тщательно обуваюсь, натягиваю поверх простых носков еще одни, вязаные. Дед, глядя на это, хмыкает:

— Ишь ты!

Это «ишь» может обозначать у него все что угодно. Не всегда сразу и разберешь что. Поэтому я уточняю:

— В каком смысле?

— Сапог портянки требует,— наставительно говорит он.

— Еще собьется, натрет. Так удобней.

— Гляди!

На дворе вроде бы и светло, а все ж и не совсем. Сразу за хоздвором мы сворачиваем, спускаемся к ручью и бредем по пояс в тумане. Туман так густ, что почти мылок на ощупь. Тропа просматривается шагов на пять, не больше. Ручей чуть слышен. Еще раз свернув, поднимаемся из тумана и выходим на дорогу через лесопитомник. Дед останавливается.

— Ишь ты!— говорит он, делая лопатками и всей тощей спиной этакое почти кокетливое движение, будто тянется вверх, растет.— Ишь!

Это он, по-моему, о кленах. Слева от дороги растут саженцы каких-то особых, мелколистных кленов — канадских, что ли... И сейчас стоят они действительно... ну, прямо черт побери какие стоят! Нежно-розовые в свекольных прожилках листья почти прозрачны — так и горят, так и светят сквозь ошметья тумана. Кожича на ветках и даже стволах тонка и чуть розовата. Вообще что-то в этих деревцах есть такое девичье, стыдливо-прелестное, что их даже разглядывать неловко. Дед что-то бурчит, я переспрашиваю, он бурчит громче:

— Клен да береза — чем не дрова, хлеб да вода — чем не еда...

Следующая за кленами делянка уже пуста, саженцы убраны. У дороги насыпаны кучи торфа, на них, нахотлившись, сидят серые вороны. Когда мы подходим совсем близко, они тяжело срываются с мест и летят прямо

над головами, с сухим насосным звуком вороша крыльями застоялый воздух.

— Ишь бабье!— ворчит на них дед.

Ходит он вроде бы не спеша, но чем дальше, тем труднее за ним поспевать. А нам еще пилить и пилить.

У опушки я останавливаюсь. Раскидистое дерево влево от дороги словно не пожелтело, а выцвело. Листья его почти белы, тонки, бесплотно-прозрачны. Что же это? Ведь я здесь и летом ходил... Нет, не вспомнить!

— Дед,— окликаю,— что за дерево?

Он оборачивается.

— Черемуха... Ишь ягоды-то!

Поднимаю голову. Вершина белесой кроны полна черных, мелких, точно мушки, ягод.

— Понизу цветом отеребили, а наверху вызрело. Был бы моложе, на пирог нарвал.

— А кто печь станет?

— И то верно!— вздыхает дед. Бабка его, видать, пироги с черемухой пекла неплохие.

Не пройдя просекою и сотни шагов, дед сигает в сторону, через канаву.

— Ты куда?

— Грибы соберу.

В реденькой жухлой траве повыскакивали тут дождевики. Большие, плотные, обтянутые грязно-серой мохнатой кожицей, точно теннисные мячи.

— Тоже мне, грибы нашел!— говорю я с презрением.

— И нашел! Ишь ты: «нашел»...— огрызается дед.

Грибники мы с ним разные. Я беру с разбором — что сушить, что повкуснее в жарехе; дед же гребет подряд: солюхи — давай солюхи, сыроеги — сойдут сыроеги, зеленухи берет, опятки желтые. Даже вот дождевики...

Я жду его на дороге, разглядывая белесое небо, и вдруг снова, даже яснее, чем там, на опушке, вижу над собою бестелесую воздушную крону, полную черной ягоды. «Че-ре-му-ха,— произношу по складам,— черемуха, черная муха». Надо же!.. Как похоже! И смеюсь счастливо.

— Ниче!— обидчиво говорит дед, выходя на дорогу.— Еще посмотрим, кто зимой посмеется. У зимы рот большой, подберет все — и соленое, и горькое.

— Так солюхи еще ладно бы! — подхватываю я. — А эти тебе на что? Жарить?

— Ну?

— Невкусные ведь, со сладинкой.

— Ишь какой вырос! — вертит дед перед моим носом самый большой дождевик. — Ишь! Ну, как ты его не съешь? Рос, рос, а вырос — и пропадай?

— Грех, что ли? А, дед?

Но дед уже будто не слышит. Шагает себе впереди.

Полузаросшая просека уходит вдаль прямо, точно ее по нитке отбили. Летом здесь довольно угрюмо — идешь, идешь, а все как на месте. Теперь же каждая березка и осинка видны издалека, тяжелая зелень сосен и ольх как бы разбита ими, раздвинута, и путь кажется пройденным быстрее, чем на самом деле. Молодые елочки с макушки до пят усыпаны веснушками дареного листа.

— Насчет греха, так я и сам неверующий, — внезапно обернувшись, говорит дед, — а все ж нехорошо, да и край! Раз уж вырос... Это вот: вырастает девка, а ее не любит никто. Что ж тут хорошего? Всяк злак на земле для своего вырастает.

— А если девка твоя некрасивая? Не всех же подряд любить.

— Ишь какой! — ворчит дед. — Так вы и живете, как по грибы ходите. К электричке сойдется и ну морду в чужие корзинки совать: «У вас сколько белых?» И носятся за этими белыми, что лоси: обувь рвут, лес портят... И носятся! А всё для хвастовства, чтоб друг перед дружкой...

— Ты зря так уж все-таки, — говорю я. — Белый — он белый и есть. Главный гриб, царский.

— Чем он тебе один такой царский? — ворчит дед несогласно. — Возьми вон рыжик или масленок — в жарехе они еще вкусней будут. А в засоле — груздь. Или сыроежка опять же — мне без нее все одно суп не суп и грибом не пахнет. Привыкли просто: ля-ля-ля, сколько белых? Хоть ты их в сервант выставляй!

Ну все! Сворачиваем, наконец, входим в лес, и теперь деда ни в какие разговоры не втянешь, пока не набьет он свою корзинку. Грибы он собирает всерьез, истово, молчком.

Завтракать мы устраиваемся на остатках какого-то фундамента из мощных красногранитных глыб. Лес кругом реденький, молодой, видно далеко. Влево от нас, все углубляясь, тянется распадок. В самой глубине его над рыжей болотной травой стоит голубоватый туман.

Дед пьет чай не спеша, шумно отдуваясь. Лицо его, осунувшееся от долгой ходьбы и поклонов, разглаживается, добреет.

— Финский был хутор, видать,— поясняет он, поглаживая фундамент.— Финны народ основательный. Ишь ты, каких каменюк наворочал!

— А наши чем тебе не угодили? Русский мужик тебе плох?— подзуживаю я.

— Так-то мужик он, конечно, ничего, да живет неосновательно. Финн — тот вишь как строит? А наш — чтоб только в тепло быстрее залезть, да в тепле том дитенка завести. Эт точно. Вот у нас, в Щеглах... Еще перед войной клуб покосился. Ну и что ты думаешь? Парни его двумя бревнами подперли — и весь ремонт. Клубач уперся было: не открою, пока венцы не смените, но какое!.. Самогонки в него пару стаканов залили, взяли ключи и опять — пляс-перепляс.

— И завалился?

— Кто?

— Клуб, говорю, не завалился?

— А... Не, его уже после войны растащили — ко ровник перебирать. Ну, это время тяжелое было, я не охаиваю, да и гнил без пользы. А до войны-то у нас парней было, мужиков! Мама моя! Полна деревня. Что б им тот клуб сделать? Нет, ты им пляс подавай, а с делом отскочь. Плесни-ка еще, чаек у тебя лечебственный. С травкой небось?

Чай у меня не с травкой, а с коньячком. Не так, чтоб пьянило, но граммчиков пятьдесят на термос заливаю. Усталость хорошо снимает.

Бутерброд я умял, крышечку чая выпил да и повалился, где мох посуше. Лежу — в небо гляжу, гудеж в ногах слушаю. А дед все себе жует да чаек ширкает. Не спеша, потихонечку, все время будто прислушиваясь к чему-то далекому. Щечки у него от пьяного чаю зарозовели, мычки желтоватой седины у висков взмокли. Он тщательно утирается, вздыхает.

— Вот ты говорил: каждому только б поперед дру-гого забежать.

— Я не так говорил.

— Это верно,— кивает он, явно меня не слыша, не слушая.— Вот у нас в Щеглах была девка одна. Такая, знаешь... Где она ни есть, так вокруг хоровод. Рыжая коса — во! Мордень без веснушек, сама в теле — всяк так тиснуть и тянется, а она и сама не отказчица. Я тогда еще с мамкою жил, в Красухе, пацан, в Щеглы на игрища бегали. И вот давай я тоже до нее — во все игры, в горелки, в лычки, в кольцо-кольцо — все я к ней норовлю, все куда бы ее выманить... А ведь если по сердцу, так она мне и не нравилась, да и чуял, понимаешь, что добром это мне не кончится, но — как бес под ребро: ее да ее. Ну, выманул разок за овин. Только мы там почали целоваться, а меня сзади по уху — хлясь! Она — бегом, а мне — куда? При девке-то не побежишь. Так меня отволтузили, что с росой только и в память пришел. Ну, и Настюшка, царствие ей небесное, спасибо, на речку шла. «Это, говорит, ты, что ли, Яшенька?» Воды принесла, кровищу обмыла, руку завязала и все плачет надо мной, все плачет. И тут ты вот что скажи: ведь она-то мне и нравилась, Настя! Ну? Иду, бывало, в Щеглы и все об ней думаю, какая она маленькая, да тихая, да улыбается как. Хорошо так думаю, иду... А пришел — и к рыжей.

— Бывает такое.

— То-то и бывает, что шуму в человеке много, лишнего всего, сору. Ему бы вот так вот, во... Ты послушай!

Я прислушиваюсь. Тишина стоит — даже неестественная. Хотя звуки какие-то есть. Дятел стучит далеко, пичуга свистнула... Звуков даже и много, но каждый слышен в отдельности, не смешанный с другими, и тишина кажется нерушимой. Хотя... вон уже что-то стрекочет, поцокивает железно, торопливо, как бы самое себя обгоняя.

— Электричка?— удивляюсь я.— Ведь мы километров за десять от дороги учапали!

— Она! Человек один и шумит. Ишь как, ишь! На весь лес. Или опять же на войне возьми...

— Ну а что на войне?

Но дед молчит. Долго молчит, будто про себя рассказывает.

— Ну,— говорю,— чего? Чай выпили... Пошли обратно?

— Пойдем,— соглашается он, не двигаясь.

Я тоже лежу. Мне-то подниматься первым негоже. Он человек пожилой, может, устал, силы копит.

— А хоть ты и после войны возьми, — вдруг говорит он. — Хоть и меня, к примеру. Пришел я до своей Насти, дети живы, здоровы, Кимка уже прицепщиком, все чин чинарем — живи, как и все живем. Так? И сам не калекка. Чего еще? Нет, понимаешь! — досадливо хлопает он по острой коленке. — Потянуло сукина сына на любовь — порушил все, улег...

— К рыжей, что ли?

— Какое! Та давно сгинула. У скороспелок весь век с кискин пис и вся судьба кувырком, сам знаешь. А подросла одна певунья такая. Голосок что мед майский: чисто течет, тоненько, долго.

Старик потягивается, улыбаясь, жмурясь, и улыбка выходит у него совсем не покаянная. Такая улыбка, что сюда бы, мол, эту певунью, он бы, может, и теперь... Но говорит он строго:

— Ишь, поперед хлеба песен ему захотелось! Старому хрену да к сладкой морковочке. Оно, конечно, недолго и погулял, всего годок с небольшим. Песни песнями, а иной раз и совесть в тебе заскулит, так? Ну, вернулся, баба простила. Баба, которая настоящая, — она тебе что хочешь простит, если ты по сердцу ей, это так! А Кимка — тот до сих пор десятку сквозь зубы шлет, словца не вякнет...

— И дочка в обиде?

— Дочка? — поднимает он голову. Потом рукой машет: — Нет... У нее другое — ребят трое. Бабье дело кропотное: день отжила — и ладно, на то у них и ум короткий. А мужик — тот, паря, долгой думкой живет, на всю жизнь ее раскидывает, смотрит: так ли? Ну и как втемяшится ему что...

Дед безнадежно машет рукой, встает, охлопывает карманы и, отыскав сигареты, закуривает.

— Не-ет! — говорит он сокрушенно и наставительно. — Что ты ни говори, а одним нам, старикам, хорошо. К старости в человеке самое то остается, самое, чем по правде жить.

— Все молодые, по-твоему, не по правде живут?

— Правда, она, парень, в тишине заводится, в думках, а вы все норовите друг дружки поперед забежать, все шумите — где уж вам правду знать? Слабо вам...

Мы шагаем вниз. Влажная хвоя скользит под ногою, пружинит, рябит в глаза палый лист, прикидывается то

волнушкой, то лисичкой... Мы незаметно разбредаемся все дальше, и когда уже почти не видны друг другу, дед, как бы спохватившись, весело кричит:

— Эй! А насчет сапогов, так не учил бы ты меня, паря! Я в них опять-таки всю войну!

Возвращаемся обычно другой стороной, мимо озера. Грибов здесь нет и быть не может. Летом пляжники все так утаптывают, что непонятно, как и деревья растут. Каждый кустик, каждая сосна окружена извилистыми, до песка пробитыми тропками. Скучное место.

Озеро лежит на дне глубокой рыже-зеленой чаши. Непривычно пустынная, заброшенная, кажется она огромной. Уже далеко за полдень, но внизу, у давно никем не тревожимой воды, в серых кустах ивняка держится еще реденький туман и рассветная дрема. Горсть черных валунов брошена в воду у того берега. Сероголовые озерные чайки дремлют на них, не испытывая никакого интереса ни к нам, ни друг к другу, ни даже к рыбе, спящей под их валунами... Да и есть ли тут рыба?

Вниз, к воде, нам идти незачем. Просто стоим несколько минут, смотрим на чаек. Тишина...

Придя домой, включаю масляный радиатор, выделенный мне на случай холодных ночей, кладу его плашмя на табуретку и, застелив бумагой, раскладываю на нем молодые боровички — сушить. Такая вот у меня рационализация. Остальные грибы я тут же чищу, варю и жарю, позаимствовав у деда луковицу. Жарехи получается столько, что я даю себе слово хотя бы завтра ни за что ни по какие грибы не идти. Кормежки хватит, а пора и работать. Для чего, в самом-то деле, удрал я сюда? Не для грибов же — работать.

Поев, деловито сажусь за бумаги, но опять никак не могу вникнуть, войти в их беспокойный, когда-то придуманный мною мир. Сижусь и бессмысленно глазею в окно, на неподвижные деревья. Даже осиновый лист не дрожит нынче. Вчера были сороки, дрозды шумели в рябинах, а сегодня дятел — и тот нигде не стучит. Тихо... На сосне с сухою вершиною дремлет ворона. Я еще грибы жарил — она так же сидела. И все сидит, не ше-

лохнется, в сторону не поведет тяжелой черною головой. Как чайки на озере.

Вдруг встрепенувшись, она срывается с места и с криком перемахивает на соседнюю сосну. Что с ней: дурной сон? лапы затекли? Или птиц, как и нас грешных, беспокоит чужой пристальный взгляд? Береза, над которой она пролетела, роняет из дрогнувших рук золотые монеты. Медлительным широким винтом идут они к земле. Воздух сероват, густ. Подвывая моторами, уходит от станции электричка. Снова все застывает, и кажется, тишина становится еще глубже и полней, если это только возможно. Теперь уж точно ничто не шелохнет.

Я чувствую, как нарастает во мне неодолимое беспокойство, сладкая маета. Не могу больше сидеть, не могу. Поднимаюсь и выхожу на крыльцо. Воздух пьян и горек от палого листа, близкого тумана. Да вот он и сам, туман,— вспухает опять над ручьем, протекает сквозь редкий ольшаник... Так хорошо, что почти уже больно. Что же это такое со мной? Что? Эта тишина — она как высшее мгновенье любви, которое уже невозможно продлить; но она длится, длится...

Начинается морось. Светлая влага беззвучно оседает на землю, еле видимые язычки тумана ползут по траве, лижут мне ступни.

Господи, господи! Что же она такое — эта твоя тишина? Для чего она мне, чего от меня хочет, чего ждет?

Решаю вдруг, что надо топить печку, и с усилием сбрасываю оцепенение. Конечно! Непременно! Ведь сыро, грибы зачервивеют... Бегу к деду за топором, раскалываю несколько березовых полешек, невольно после каждого удара замирая и слушая, как сочно, будто налитое яблочко, лопается чурка, как долго перекачивается в сыром воздухе гаснущий звук.

Древесные волокна на свежих сколах кажутся мне необычайно выпуклыми, белыми, сахарными. Поднимаясь на крыльцо с охалкой поленьев, я не удерживаюсь и трогаю одно из них языком. Как будто и вправду сластит. А?

Тяга в печке прекрасна, всему вопреки. Пламя с газетного клочка прыгает на лучины, схватывается — и вот оно уже пляшет на белых поленьях, вгрызается в них с победным гулом и треском. Я выхожу посмотреть на трубу: голубоватый дымок ровненько встает над ней. Искра выскочила и тут же погасла.

Я слегка разочарован и, кажется, втайне надеялся на другое — помучаться, раздувая огонь, до слез наглотаться дымом... Мне, может, потому и не работает, что слишком уж все хорошо! Надо бы чуть похуже.

Засыпаю я в сухом тепле, даже без одеяла, под медленный шорох дождя. А просыпаюсь среди какой-то особой, слишком полной и потому подозрительной тишины. Сую ноги в сапоги, накидываю плащ, выхожу. Делаю несколько шагов по невидимой тропке и останавливаюсь в недоумении: куда идти? Тьма, как слепой, мягко ощупывает мое лицо сырыми пальцами. Желтый конус единственного фонаря у наших ворот далек и недвижим. Лужа под ним блестит черным шелком. И медленные шаги — ширк! ширк!

— Дед? — окликаю. — Ты?

— Ну я. Спужался?

Он приближается, как бы сгущаясь, уплотняясь из тьмы — странная фигура в длиннейшем дождевике. Останавливается, закуривает.

— Че не спишь?

Я молчу.

— Правильно делаешь, — говорит он после затяжки. — Так тихо, что даже моркотно. Точно покойничку...

В самом деле — никаких звуков. Только трещит, сгорая, табак в его сигарете. Наконец, где-то невообразимо далеко возникает тяжеловато-ритмичный цок. Идет товарный. Из Ленинграда. Я облегченно вздыхаю. Дед затягивается поглубже и говорит:

— Ну, пойду! Тоже и поспать надо.

Окурок малиновой дугой летит в сырую траву и гаснет с тихим шипеньем.

Шаркающие шаги растаивают, исчезают во тьме. Уже и поезд прошел. Тихо...

Я чувствую, как эта тишина ласково и настойчиво сжимает мне сердце. Чего-то она все ждет, куда-то тянет... Но — чего и куда? И зачем она вообще бывает на земле — эта немислимая, глубокая, сырая и теплая осенняя тишина?

ТОТ МОСКОВСКИЙ ЗАКАТ

Памяти Толи Кононова

...все не так просто, и
я лишь тешу себя фантазия-
ми об уже пойманном закате.

Хулио Кортасар



лица полого взбегает на холм и впадает в закат. Пока облака, тяжелые, будто разбухшие от сырости бревна, тлея и оседая, вдавливают багровое солнце за черные зубцы леса, я как раз успеваю пройти ее всю, до самой лесной опушки. Просто гуляю, дышу спиртовой сентябрьской сыростью, маршрут мне безразличен, но ноги ежевечерне выносят меня к этой улице, произвольно и безошибочно. Иду по ней до конца, а когда поворачиваю назад, земля уже тонет в молочном киселе тумана, и только дома и деревья плывут над ним глыбами тьмы. Я чувствую уже, что опять проснусь среди ночи и долго, с необъяснимо замершим сердцем буду вслушиваться в настырную суету мышей, все что-то грызущих, подтачивающих... Хозяйка дачи клянется: мышей у нее отродясь не бывало, а я слышу их каждую ночь.

Закат — обманщик; краски его неповторимы, текучи, он завораживает, и я, прекрасно зная прозаическую зависимость этих красок от силы ветра, температуры и влажности, никак не могу до конца подавить в себе сомнительную надежду хоть на секунду поймать в багровом этом зареве мягкую позолоту того московского заката; не могу, хотя у нас уже и сентябрь на излете, уже горит клен...

А был тогда в Москве август, теплынь. Москвички и в сумерки выходили на улицу Горького в полупрозрачных нейлонах и легких юбочках-парашютах. Еще не все было так перемешано и взболтано в жизни, как нынче; в любой толпе мы еще безошибочно выделяли москвичек по тряпкам и особому умению вызывать восхищенно-боязливо-почтительные взгляды юных провинциалов, отвечая на них улыбкою почти высокомерной, хоть и ободряюще исподтишка.

В Москве еще не было ни нового Арбата, ни нового

МХАТа на Тверском, ни многого другого, но, несмотря на это, а может, и благодаря этому, столица в ней чувствовалась как-то ясней, ярче... А может, просто куда больше провинциального было в тех углах, откуда мы добирались, по несколько дней изнывая от нетерпения на жестких полках поездов, еще влекомых кой-где яростно-отдышливым паровозом, еще пропитанных насквозь кислым угольным дымом. И когда, особенно тщательно в последнее утро отмывшись от паровозной копоти, в надраенных до блеска туфлях и моднейшей своей рубашечке ступали мы впервые под голубое московское небо или под быстрый московский дождик — это было совсем не то, что теперь. Не те надежды, не та зависть, не тот восторг.

Мы упивались столицей! Месяца вступительных экзаменов не хватало, чтоб убедить себя, будто вот этот товарищ, как у себя дома шествующий московским бульваром, не кто иной, как ты. А в то же время в мечтах мы уносились так далеко от простого этого факта, что, смущая москвичек, посматривали на них хоть и восхищенно, но не менее высокомерно. Как, скажем, мог бы Бонапарт, знай он свое будущее, поглядывать на членов Директории: о да, господин Баррас, я вами восхищен, но вообще-то, очень даже скоро... Это-то и делало замечательно интересной любую прогулку.

У институтских ворот я, помнится, постоял с минуту, выбирая: вниз, к арбатским ли переулочкам, по Малой ли Бронной направо? И почему-то пошел мимо аптеки, вверх, к памятнику, к вянувшим цветам на его граните, к бодрящей водяной пыли фонтана, мимо кинотеатра и потом вправо, на Пушкинскую...

И было это счастливым случаем, везением или даже судьбой, ибо он со своим тогдашним приятелем как раз поднимался по Пушкинской вверх и у магазина пишущих машинок окликнул меня:

— Ты куда? Пошли с нами!

— Куда это с вами?

Нет, мне не хочется называть его здесь чужим именем, а настоящим... Я-то честно расскажу, кем был он для меня, но подлинный ли, его ли получится это портрет? Кто знает... Пусть лучше будет просто ОН, мой друг.

— Да так, — загадочно он ухмыльнулся, — устроим себе последнюю упряжечку, пошли?

Я и понятия не имел, что за упряжка и чем она пахнет, но радостно повернул за ними, к веранде у кинотеатра «Россия».

Теперь этой веранды нет. То есть она есть, но это пустая и скучная цокольная площадка, вот и все. А тогда была на ней буфетная стойка, нарядно сверкали голубым пластиком столики, креслица из черных трубок оплетены были белым и голубым хлорвиниловым шнуром — мебель в наших палестинах еще невиданная и потому казавшаяся прекрасной.

Правда, шампанское, здесь продававшееся, было не по нашим шишам, но на другом углу площади, в магазине «Армения» полки ломились под «Октемберяном» и прочими недурственными винами за рубль с серебром. Всегда было можно, взяв мороженое и заняв столик, отрядить одного за бутылочную подмогой.

В тот вечер мы как раз и открыли это замечательное место, где не раз потом сживали дни напролет. Оно нам понравилось сразу: свежий воздух, можно курить... Так мы сказали друг другу, хотя было здесь кой-что и получше воздуха — была атмосфера. Голубоватый в сумерках дым сигарет сплетался и покачивался в ней над головами сидящих так завораживающе, точно и не дым это, а самая первая, еще очень неплотная материализация прекраснейших молодых надежд.

Когда теперь прохожу мимо осиротевшего этого места, мне делается неловко. Я чувствую себя почти виноватым перед нынешними молодыми, что лишены они прекрасной этой возможности — просиживать вечера на нашей веранде. Хотя еще неизвестно, пошли бы они сюда. У них, наверное, места свои. У каждого поколения бывают свои места, а наших уже почти и нет, особенно здесь, в районе Пушкинской площади.

А какие это были места!

Мы приезжали из общаги на «тройке» и, если не очень опаздывали, да к тому ж при хлопке по карману там что-то звенело, бежали вокруг площади в «Молочную», занимавшую почти всю лицевую сторону квартала между Большой Бронной и Тверским бульваром.

Возможно, для москвичей «Молочная» эта была вполне зауряд-кормушкой, но мы ее любили. Она каза-

лась нам весьма столичной и почти фешенебельной. Тут продавали взбитые сливки с тертым шоколадом, многослойное желе и другие вещи, неведомые в наших родных углах; мы иногда даже лакомились ими, хоть и тайком друг от друга, чтоб не ронять своей взрослости. Но главное — какая была тут публика!

Особенно нас занимал один старик — высокий, тощий, с царственной, седой бородой, в длинном пиджаке с заплатками из мешковины на локтях. Неторопливый и аккуратный, он появлялся всегда в половине девятого, брал школьную булочку, стакан молочного киселя и надолго усаживался за дальний столик читать английские и немецкие газеты.

Была здесь еще постоянная стайка девиц в одинаковых халатиках морковного цвета. Халатики как будто выдавали в них продавщиц соседнего магазина, но это, думалось иногда, была маскировка, ибо при первом же взгляде на них не оставалось сомнений, что это очень интеллигентные девушки, коренные москвички, так увлеченные собой и своею беседой, что где уж им нас увидеть! Даже перехватив на себе взгляд из-под моднейших ресниц, ты сомневался невольно: не по ошибке ли это она, не в рассеянности?

Они приходили в обед, но дед и в обед по-прежнему сидел здесь со своею булочкой. И всякий раз какая-нибудь из них брала лишние взбитые сливки или пару бутербродов и относила на его столик. Дед величественно кивал из-за своих газет: «Мерси!» Под его ласково поощряющим взглядом девушка смущалась и невольно изображала подобие книксена...

Нас все это восхищало. Меня больше девушки, его — старик.

— Осколок! — говорил он, значительно поднимая палец. — Небось зимой хоть и булочки не берет, а гардеробщику на чай, получая свою рванину, кидает гривенник. Пари?

Жаль, что я не принял это пари, что так ни разу и не повидал старика зимой, не узнал, кто он и за что так любят его продавщицы. Теперь и не узнаю, а в свое время, пожалуй, мог бы.

Мог бы, но мы были еще в том возрасте, когда все так легко откладывается на потом, до какой-то другой, правильной и праведной жизни, а она все не наступает, и по утрам в голове у нас частенько звенело куда гром-

че, чем в кармане. Тогда направлялись мы не в «Молочную», а в маленький полуподвальный буфет на Бронной. Все было здесь ускоренно-упрощенно, навстояк, но кефир лечил наши головы, а свежие пирожки с капустой утоляли голод за минимальную цену. И здесь почему-то проще было заговорить с девушками. Многие из них были в таких же морковных халатиках, но задорней и откровенней поглядывали по сторонам и не пытались делать книксен. Мы, правда, и тут лишь зубоскалили с ними слегка, за недосугом откладывая более решительные меры на потом, до другой жизни.

Если же в карманах у нас не только звенело, но и похрустывало, мы не спеша, — что лекция имеющему башли?! — направлялись на другую сторону все того же квартала, к ресторану «Эльбрус», прославленному среди нашей братии ароматнейшими шашлыками. Вкус их, правда, так и остался нам неизвестен, ибо массивные полуподвальные своды впитали дух пряного мяса так густо, что, сидя под ними, грех было тратить на закуску.

Да и что нам была закуска! Прилежный читатель толстовских трактатов, он, следом за классиком, делил свой день на пять «трудовых упряжек», и последнюю, заключающую в себе «труд человеческого общения», ценил так высоко, что с ним нигде нельзя было говорить, не напрягая извилин, а это напряжение прекрасно гасит алкоголь.

Славные были места!

Ни одного из них уже нет и в помине. Весь этот квартал кривостенных двух- и трехэтажек пожертвован Моссоветом под сквер. Сквер как сквер: кусты, деревья. Когда-нибудь они разрастутся, дымка чужой юности и непонятной мне грусти овеет коротенькие эти аллеи... Да и вообще это, наверное, мудрое было решение — должна же какая-то зелень поглощать рев и вонь взрывоподобно размножившегося автостада! Но каждый раз в этом сквере мне делалось так пустынно и зябко, так отовсюду продуваемо и одиноко, что, бывая в Москве, я стал обходить его стороной.

Но я все тороплюсь, забегаю вперед... В тот вечер все эти наши места и разговоры, вся дружба и временами вражда (ибо не бывает постоянной дружбы без

временной вражды) — все было еще впереди. Под тем золотым закатом все только начиналось, проклевывалось. Это там, на веранде, было, возможно, сказано то самое важное, что сразу позволило нам отличить друг друга и подружиться на два долгих десятилетия. Наверное, было, но я не помню. Так странно.

— Чудак!— сказал бы он.— Да что ж тут странно-го? Ведь мы...

И началась бы одна из его лекций — они так и сыпались из него, будто горох из мешка!— о том, что в моменты всех наиболее важных решений и действий природа, как правило, отключает наш разум, вверяя нас более древним силам, которые мы лишь по неведению называем судьбой. Вот мы ничего потом и не помним.

— Вот так!— сказал бы он.— А то: странно. Возлюбили словечко... А что значит «странно»? Это, старички, не объяснение, а бессмыслица, пустота.

Он был строг и справедлив, не любя это пустое слово, которое я так и не сумел разлюбить, что тоже, конечно, странно.

А в тот вечер...

Помню, закатное солнце било ему прямо в лицо, отчего морщины на лбу казались особенно глубокими, резкими. В темных стеклах очков покачивались у него изогнутые дома и пробегали, криво вытягиваясь, автомобили. Сидел он в любимой позе — поставив локоть на стол и поглаживая указательным пальцем вытянутую, слегка пористую картофелину носа, говорил похмыкивая.

Помню фиолетового оттенка тень, все удлинявшуюся, как бы всплывавшую с жарких мостовых, карабкающуюся с этажа на этаж, стирая с них самоварную позолоту заката. Самоварную не в смысле фальши, а очень такую теплую, домашнюю, без чрезмерности парадного блеска. Помню, как тень эта, восходя и густея, не скрадывала, а обнажала невидимые раньше пятна и трещины поношенных фасадов.

Вообще все, что было вокруг нас, помню настолько ярко, что мне иногда кажется, будто я и сам был где-то в стороне от нашего столика. Прекрасно вижу его немного сверху и сбоку: три молодые шевелюры, его наморщенный и ярко высвеченный закатом лоб, блеск оранжевого луча в зеленоватом стекле...

Так, похоже, со стороны я и смотрел тогда, не слы-

ша ни слова, и счастлив был как бы со стороны, подобно бабушке, до слез умиленной одним лишь видом внука, сидевшего рядом с большими. Да они и были большими — наши несомненные институтские таланты, само общество которых как-то выделяло и меня из обширной толпы прочих. Это, поди, душу мою и грело, это ее и успокаивало.

Но ясно ведь вместе с тем помню: о чем-то мы спорили, довольно жаростно. Вот только: о чем был спор?.. А потом он что-то рассказывал, я даже отдельные фразы повторял про себя, пытаюсь запомнить. Но — что за фразы, о чем?.. И почему тот я, который наблюдал за всем со стороны, помнит так много, а споривший за столом — все начисто позабыл?

Да и мог ли я уже тогда, в свой самый счастливый вечер, ощущать подобное раздвоение, то есть нечто довольно болезненное? Нет, пожалуй, вряд ли... Это опять-таки не моя, а его была любимая тема — о неистребимой нашей двойственности, о том, что мы никогда не можем избавиться от веры в то, во что совершенно не верим, и всегда сохраняем готовность поклониться тому, что жаростно отвергаем. Мне это долго казалось чудовищным вздором, я спорил до хрипоты, и даже ссылки на Монтеня не умирляли меня. Так что раздвоение это произошло вероятней уже потом, в памяти. Вот только — как это проверить? Ведь прошлое еще и потому невосстановимо для нас, что из того сложного сплава разных идей и людей, которым становимся мы к сорока, невозможно уже выделить химически чистую первооснову нашего двадцатилетнего «я».

И все-таки — о чем мы тогда говорили? Не о Монтене ли, кстати, его любимом? Монтеня мы и сами, разумеется, должны были знать, но где ты возьмешь его в наших медвежьих краях, да и кто же читает положенное по программе? Я прочел «Опыты» лет на пять позже, испытал при этом почти что разочарование. Не могу объяснить почему, но когда он, прерывая наши споры, возглашал: «Стой, старички! Не надо вставать на ходули — и на ходулях ножками двигать придется, ножками!» — это казалось мне мудрей и парадоксальней, чем подобная же фраза, мелькнувшая потом у великого философа.

Чуть не целое десятилетие я открывал умные книги в основном вслед за ним, после его рассказов. И мысли

знаменитых авторов не то что мельчали при этом, нет, но как-то чужели, как чужеет вдруг вещь, от долгого хранения не пахнувшая уже родным человеком. Мы и не думаем о ее запахе, просто разворачиваем однажды, — а это уже и то, да не то.

А может, он рассказывал тогда о подруге? Он был самым старшим из нас, уже за тридцать, и у него, естественно, была жена, дети... Но кроме них была и подруга. Подвыпив, он начинал: «А вот, старички, моя подруга...» И еще — о великих писателях, у которых тоже были не жены, а подруги жизни. Он знал о них подозрительно много, и теперь, задним числом, я понимаю, что это совесть его была беспокойна, постоянно ища оправданий в чужой жизни.

Но это опять-таки сейчас, а тогда рассказы о подруге были для меня вестью из еще не освоенной и потому особо прекрасной области жизни, вроде того, как самыми умными всегда кажутся еще не прочитанные книги.

Помню, как-то весной, сидючи под конец сессии без копыя...

Мы жили в институте небольшой коммуной — только это и позволяло ему благополучно дотягивать до отъезда, ибо по примеру любимого философа он охотно предоставлял другим заботиться о своем благополучии и хозяйничать в кошельке. Увы, без родового замка и штатного управляющего теория срабатывала как-то не так. Настолько не так, что даже умение прожить в день всего полтинник не всегда выручало, так как полтинника иной раз и не было.

Вообще-то вне института он был слесарем-инструментальщиком и совсем неплохо зарабатывал, но были дети, родичи, вечные долги, внезапные поездки, теория...

Все мы, впрочем, великими финансистами не были, общий кошелек тоже пустел досрочно, и в критическое такое вот утро, спустившись на вахту, я обнаружил внезапный перевод от его подруги. Как я обрадовался! Нет, не деньгам. Мы б выкрутились, я должен был кое-что получить, под это можно было занять... Но какая интуиция! Он ничего ей не писал, не ждал, они даже в ссоре, кажется, были, а она сама за тысячу верст почувствовала беду, и как, главное, вовремя! Нет, но бывает же такая любовь и настоящие ангелы-хранительницы ненадежного нашего брата!

Потом были совсем другие годы, когда я думал, что подруга-то и губит его талант, постоянно с ним ссорясь, сходясь, расходясь, требуя денег и всячески не давая работать. И были еще иные, когда я наконец понял, что ничем не может быть виноват перед тобой человек, которого ты любишь, ровно как ничто не может помешать сделать работу, если тебе суждено ее сделать.

Но все это было потом, а в тот вечер с его золотым закатом мы почти еще не знали друг друга, только приглядывались, принюхивались, и вряд ли он мог так уж сразу заговорить о подруге. Нет, нет, скорее всего, шел толк о делах. Ведь у них — у него и тогдашнего его приятеля, — в отличие от меня, были уже какие-то дела в московских редакциях, в театрах, что-то там намечалось, чтобы потом сорваться, опять наметиться и сорваться опять... Мне же казалось тогда, я был почти уверен, что в этих-то делах и таится самая соль и прелесть жизни, высшее ее блаженство. И понятно, как слушал я эти рассказы.

Говорят, все пишущие завистливы и хвастливы. Спорить не буду и головы на отсечение не дам, что они не привирали маленько, но... Я слушал их с чистым восторгом, без капли зависти. Честно! Я ведь был самым младшим и еще без горечи в душе откладывал свои победы на будущее, а их успехам радовался, само собой, как их успехам, и еще больше — потому, что они как бы предвещали и мои, будущие, указывали их срок и почти что гарантировали.

Впрочем, бог с ним, с тогдашним разговором! Кто его знает — вдруг там и в самом деле ничего важного не было?

Но бесконечно для меня важно, что тихо догорал вечер, поднимались сумерки, стирая со стен закатный румянец, и только над дальними крышами горело еще золотое свеченье, обещая прекрасный безоблачный день. Легкий ветерок шелестел вдоль бульваров, поглаживая, щекоча прохладными пальцами нажаренную за день кожу, троллейбусы урчали моторами неспешно и ласково, будто старые коты на лежанке. Совсем рядом с нами, на углу, провода их скрещивались, из-под пощелкивающих штанг вылетали длинные голубые искры, и чистый запах озона перебивал на миг духоту раскаленного асфальта.

Никогда уже во всю жизнь не чувствовал я такой защищенности и покоя! Такой всеобщей ласковости окружающего мира, такой надежности его и правильности.

И вот этот закат догорал, зеленца проступала в темнеющем небе — глубокая, чуть мерцающая зеленца с проколами первых звезд.

Он снял темные очки, спрятал в карман линялой ковбойки (единственный из нас, он уже тогда появлялся в столице вполне затрапезно) и вскинул голову к небу.

— Да-а,— сказал, потягиваясь и разминая плечи,— да, старички, грустное дело закат!

Я дернулся спорить: о чем, мол, грустить? Я всегда дергался с ним спорить и чаще, боюсь, просто из желания хоть как-то обозначить свою самостоятельность, ибо всегда при нем ощущал катастрофическое ее таяние.

Но, дернувшись, я тоже поднял глаза и почти в зените увидел одинокое, тонкое, как вуалька, облачко, почти уже исчезающее и все же хранящее в себе последний розовый отблеск. В нем была не грусть, нет, но что-то более краткое и сильное, как мгновенное предощущение какой-то пропажи, гибели и вины.

— Это облако, оно как-то...— сказал я и смолк.

— Да, старики,— торжественно произнес он,— вот так и писать надо, чтоб, как в облаке этом, вроде ничего и нет, а душа болит!

Конец золотого вечера был непременно таков, это уж точно! Ибо о чем бы, где бы и когда бы ни говорили, он все сводил на то, как надо писать. И только при этом глаза его загорались по-настоящему.

Той слякотной рижской осенью, когда его хоронили, все собравшиеся за поминальным столом сокрушались горестно и недоуменно: как же, мол, так? Почему, так здорово все понимая, он сам ничего, почти ничего... Почему?

Каждый говорил: нет, не верю, не нахожу объяснения — и тут же принимался объяснять. О женах его говорили за тем столом, о водке, о самолюбии столь непомерном, что оно не позволяло ему удовлетворяться обычным, то есть половинчатым успехом, о сомнении, из-за которого он брался за такие темы, что лишь великим и по зубам... И опять — о его водке, о бабах.

Мы искренне сокрушались и горевали, почти не чувствуя той гордости, что заползала уже потихонечку в наши сердца и речи. Смерть — она как гонг. И мы спешили подсчитать очки, чтоб убедиться в своем перевесе. Нет, я не сужу, дело не в этом, а просто: все объяснения всуе. Бабы у всех бабы, а водка... В последние годы пил он круто, но как тут решить: оттого ли он ничего не сделал, что пил, или оттого пил, что так ничего и не сделал? Да и все другое...

На тех поминках я отмолчался, но как отмолчаться перед собой, перед этим закатом, узким и кровотокающим вдаль, как рана? Как все это совместить: и золотой московский вечер, и рижские похороны, и семнадцать лет между ними? Семнадцать лет! Утек океан воды, выросли дети, полысели друзья, кое-кто из них вышел в люди, приобрел начальственный басок и горделивую осанку — а он все рассуждал, все устраивал свою «последнюю упряжечку», все учил нас, как надо писать, все собирался что-то начать...

После института мы виделись с ним не часто, писем почти не писали, но иногда, раз в год или еще реже, чувствовали, что как-то не так нам живется — преснее, что ли, скучней... И понимали: пора встретиться.

Если хотите, это были почти деловые поездки. Я привозил к нему вычитанное, понятое и придуманное так же, как заводы везут в столицу образцы для присвоения Знака качества. Он собирал морщины на лбу, потирал нос указательным пальцем, и мы говорили, говорили, спорили, ругались, и я уезжал, чувствуя себя помнящим.

Так как же понять то, что у всех нас, нищенски подбиривших крохи с его стола, у всех — хоть что-нибудь да получилось, хоть на копейку, да вышло, и только у него — самого умного и талантливое — ничего, нуль абсолютный, дубль пусто-пусто. Ни семьи, ни любви, ни дела. Ум, талант, работоспособность — а я знаю его работоспособность: мы с ним однажды в тайге кедровую шишку били, это вам не перышком водить! Всё сгорело бездымно и беззольно. Бесследно. Как же это понять? Нет, не хочу, не могу, душа моя кровоточит, не в силах примириться с тем, с чем хочешь не хочешь, а примириться надо, ибо произошло. Похожая боль знакома бывшим фронтовикам: «Я знаю, никакой моей вины...»

Но в нашей-то судьбе ни пуль шальных не было, ни случайных осколков, ни бед, кроме нами же выдуманных и сотворенных. Так, может быть, все-таки была вина?

Вот мы, допустим, встречались, говорили, спорили, и эти оры-разговоры служили мне такой подпиткой мозгов, что... А чем они служили ему, что давали? Проще всего сказать: что-нибудь да давали, раз звал он, раз приезжал. Проще всего, но... стоит ли говорить то, что проще всего сказать?

А если взять посложней и сказать, что мы, ближние, окружавшие, растащили его по копейке и рублику, промотали, того не заметив, как содержимое его кошелька проматывали когда-то, благо этот человек совсем не умел запираяться и отгораживать свое? А? Вдруг оно так и есть?

— Пойдем с нами!— сказал он тогда, на Пушкинской.

Я повернулся, пошел... И долгие годы мне шагалось беспечно, как всякому, идущему во второй шеренге,— знай себе попадай в ногу.

Улица взбегает на холм и там, вдали, впадает в закат. Иду по ней один-одинешенек.

Уже и сентябрь на излете, все больше в небе холодной густой синевы и тревожного багрянца, все меньше лимонного, золотого. Все холодней и гуще вечерние туманы, все дальше и слаже — сладко до слез!— слышен дымок сжигаемой ботвы, все больше под ногами листьев. Сухо, как мышки, скребут они асфальт, перегоняемые ветром, куда-то все торопятся на крохотных загнутых лапках, бегут, скребут, точат...

Я давно понял: никогда он больше не загорится для меня — тот московский закат. Не поможет ни август, ни поездка в Москву. Мы меняемся, и в сорок наши глаза уже не увидят того, что видели в двадцать.

Но ведь был же он, был! И может быть, стоит лишь оглянуться...

Иду не оглядываясь.

Я просто несу его за плечами. Вернее — он несет себя сам, как хлеб.

1984

ИНЖЕНЕР ГРИШКАН



онечно, он и понятия не имел, какую представлял для меня загадку, как много я о нем думал. Мы и знакомы-то не были; тропинки наши пересекались случайно, слегка, и лишь однажды было так, что заговори я с ним — он бы наверняка ответил, да я так и не сумел... Трудно сказать отчего.

На переходном мостике, над рольгангом, я остановился просто так, поскольку никуда не спешил. Есть, знаете, нечто завораживающее в прокатке, когда с гулом несется на тебя стальная змея — мягкая, она еще светится вся глубоким золотым жаром, еще шелушится светло-вишневыми струпьями окалины — и вот уже скользнула под тобой дальше, по ту сторону мостика, и ударная пила, как из засады выскочив из своего водопада, с коротким воем отхватывает первый кусок. Слепящий сноп искр взрывает цеховую полумглу.

В этом вот свете я и увидел его: он стоял внизу, совершенно один — нахохлившийся седой воробышек, ручки в кармашках. Я узнал его тотчас, хотя помнил совсем иным.

Никогда раньше не видел, чтоб он так стоял — совсем один! Правда, я и вообще видел его редко.

У нас в ремонтно-механическом Гришкан появлялся лишь во время больших перевалок или ремонтов, да и то поздно вечером, даже ночью. Внезапно бухала дверь — он возникал в конце пролета, маленький и стремительный. Цех вздрагивал и замирал в почти-тельном страхе. Сквозь тяжкий гул станков проступал летящий стук его подкованных полуботинок. Черные полы расстегнутого плаща вздувались и отставали, а за ними, шумно, загнанно дыша в гришкановскую спину, торопились двое-трое, а то и с десяток импозантных мужчин.

Уж не знаю, оповещали ль цеховое начальство об этих визитах, сердцем ли чуяло оно приближенье грозы, но Гришкан со свитой не успевал пробежать и трети пути, как мячиком выкатывался им навстречу наш Аббас Рустамович, что-то поспешно дожевывая и заранее

покаянно, преданно прижимая левую руку к полувоенного покроя тужурке. Гришкан, морщась, вслушивался в его клятвы и вдруг нетерпеливо взмахивал выхваченным из кармана кулачком — свита, загнанно дыша, устремлялась в направлении этого взмаха, плутоватый Рустамыш мгновенно оказывался в самых ее тылах и тоже трусил, утирая платочком жирную шею, чрезвычайно довольный, что он уже не пред гневным лицом, а за спиною начальства, где, как известно, гораздо уютней.

Но — бог с ним, с Рустамышем, ничем он не поможет, ничего не прояснит. Тут, как говорится, совсем иной случай.

Вряд ли кто-нибудь еще испытывал подобный душевный трепет просто при виде начальства. Особенно у нас, в большом пролете. Тут были не станки — машины, и такие работали асы, что даже директор, за ручку здороваясь с каждым, изображал самую свою широчайшую, самую сладкую улыбку. Нет, цену себе этот народ знал круто!

Я догадывался: цех замирает и следит за этим шествием не потому, что там главный инженер, а потому что — Гришкан же! Должность этого человека была заметна так же мало, как платье красавицы. И так же невольно притягивал он к себе чужие взоры и ожидания.

Но — почему, почему?

Есть люди, чья внешность внушает другим совершенно безотчетную симпатию. Ну, тут уж ладно! Это от бога. Но ведь Гришкан был почти что урод. Маленькая, суховато-костистая его головка была всегда заносчиво и брезгливо вскинута, нос трехколенный какой-то, а нижняя губа так мясиста, словно прилеплена по ошибке, наспех. От полного уродства его спасало разве что отдаленное сходство с каким-то быстроногим и благородным животным. Что-то в нем было оленье, сайгачье...

До конца он никого не выслушивал, фразы бросал отрывистые, скрипучие, нетерпеливо фыркал и даже когда молчал, то мясистая губа непроизвольно подергивалась так, будто он с трудом удерживался, чтоб не сказать что-то презрительное, уничтожающее.

И этот вот человек пользовался у всех какими-то особыми правами, потому что он, видите ли, Гришкан! Разве не обидно?

Едва лишь цеховая дверь, ухнув, поддавала под зад последнему из тяжело дышащей гришкановской свиты, все срывались, сбегались к станку, у которого он только что стоял: «Что? Что он сказал? Про кого?»

Я не подходил. Подумаешь, начальничек что-то им вякнул! Мне наплевать! Но и меня не миновало ни единое его слово, кто-нибудь да пересказывал — шепотом почему-то, многозначительно округляя глаза, — хотя по большей части Гришкан говорил вещи давно всем известные: пора-де заменить большой строгальный, на внеплановых ремонтах нужны бы аккордные наряды, Рустамыч наш дурак и трус... В таком вот роде.

И все же каждый раз, когда в конце большого пролета возникала его суворовская фигурка, цех вздрагивал и сердце мое зябко сжималось предчувствием неведомых перемен. Почти презирая себя за это, я вместе со всеми исподтишка ревниво следил за каждым его шагом, взмахом кулачка, поворотом седой головки.

Почему? Среди прочего тут было, наверное, еще и обаяние давней славы, тысячи и одного анекдота о необыкновенном гришкановском уме, хладнокровии и справедливости. Не знать их было у нас нельзя. Они все время кем-то да пересказывались, хотя главные были уже с бородой, тянулись за ним еще из Челябинска. Мы знали их с детства как важные события в тогдашней жизни отцов.

Зимой сорок второго челябинцы решили катать для танков нечто такое, чего нигде в мире еще не катали, — какие-то бандажи или траки, а может, и что-то еще... С ходу это дело не заладилось, а время было серьезное, Москва тотчас подумала: нет ли здесь какого вредительства? Прибывший оттуда товарищ имел три шпалы в петлицах, косую сажень в плечах и такой холодный, пристальный взгляд, что вызванные им разом припомнили все-все о себе нехорошее или же сомнительное, а после беседы в желудке у них долго не таял ледяной ком и пальцы никак не справлялись с газетным квадратиком и махоркой.

Так вот этого товарища Гришкан, рассказывали, выставил. Указал на дверь! Очень просто. Из вальцетокарной, где в углу, за тяжелыми станками, ютился его столик старшего калибровщика. Здесь, заявил Гришкан, распоряжается только он, инженер Гришкан! И отвечает за все он же. Ясно?

Трехшпальный онемел от такой наглости. Смотрел на инженеришку молча и так шурко, словно тот вот-вот должен был исчезнуть с лица земли, растаять. Но взгляд, пред которым бледнели службисты наркоматов, вдруг не сработал. Человечек в детской двухцветной бобочке лишь презрительно шевельнул пухлой губой.

— Извините,— сказал,— мне некогда. Пока не выбраны все припуски, я должен еще раз просмотреть расчеты.— И отвернулся.

— Ну-ну,— смущенно сказал трехшпальный его спине.— Иди гляди. Мы тоже... посмотрим.

Неизвестно, что бы из этого вышло. Грозные товарищи не любят смущаться прилюдно. Но через сутки дело с прокаткой пошло, а потом еще и Сталинской премией обернулось. Инженер-калибровщик Гришкан был в самом конце лауреатского списка. Впрочем, что премия! Вот то, как он, ничуть не смутившись, выставил за дверь трехшпального, что тот так и уехал, ничего с ним не сделав, было для моего бати любимой легендой о неслыханной смелости и дьявольском, необъяснимом везенье. Гришкан был для него полубогом.

А для меня? В ту пору мне было едва семнадцать, и уже по одной этой причине события шестнадцатилетней давности мне не казались столь важными и убедительными. Я был уверен, что и сам, случись, повел бы себя с трехшпальным ничуть не хуже. Да что! Я б ему такое высказал!..

За что же мне было любить Гришкана? За что прощать ему брезгливую губу, взмахи игрушечного кулачка и ту готовность немедленно все исправить и исправиться, что проступала на лицах у всех, едва он возник на пороге?

Нет, я его не любил. Он оскорблял мою гордость. После каждого его визита в наш цех мне становилось так муторно, что я с трудом дотягивал до конца смены.

Потом шагал домой, сунув тайком от себя кулаки в карманы, то и дело принимаясь почти бежать, чтоб взвихрились полы плаща. Обдуваемая ледяным ветром моя голова горела от обилия мыслей и быстроты сменявшихся картин. То всей спиной чувствовал я дыхание загнанной свиты, эхо шагов летело за мной пустыми дворами, словно шепоток тревожного любопытства: «Что? Что он сказал?..»— и смутно проступала вдали

какая-то толпа... То вдруг, спохватившись, я вспомнил, что не люблю начальства и вообще сам по себе,— тогда начинал представлять, как подходит Гришкан к моему станку, что-то мне говорит... Ну, не важно что! Главное, я слушаю его спокойно и холодно.

«Все?— спрашиваю.— Извините, я обойдусь без ваших советов».

«Как?— возмущается он.— Мальчишка!»

«Ах, вам не нравится? Так вот, как говорится, моя фреза, и работайте сами!»

Я был при этом высок и широкоплеч, как сам Маяковский. «Что? Что он ему сказал?— шумело вокруг.— Как?! Гришкану?!» И опять какая-то толпа возникала в сумрачных створах безлюдных улиц.

...Я вот о чем сейчас думаю: почему именно в начале юности так сильно влечет нас и раздражает чужая власть и слава?

В ту пору был жив отец, жил еще с нами, еще сестры не разлетелись, школьные друзья были рядом, соседские девчонки поглядывали так ласково... Круг любви и тепла ближних моих был до того плотен, что я почти не догадывался о его хрупкости. Он был само собой разумеющимся, вечным, пресным и обязательным, как хлеб. Но та жажда любви, которая вызревала во мне, рвала меня прочь из этого круга — к дальним, неведомым, безымянным. Не оттого ль и возник он на душевном моем горизонте — этот Гришкан?

Конечно, мне тогда б и в голову не пришло, что властный и сугубо, неприятно деловой старик имеет какое-то отношение к любви. Тогда... Но теперь-то я знаю, что и власть, и слава, и любое дело, и то, что мы слишком возвышенно именуем призваньем,— все от одного корешка. И самая глубинная его суть — все та же жажда любви далеких и безымянных, которая и гонит нас ранней юностью прочь из круга родных.

Так, может, природа все это так и предусмотрела? И жажда славы и власти совсем не случайно сильнее всего в нас тогда, когда пора покидать гнездовое тепло и нести накопленный жар крови дальше, в люди?.. Ведь человек приходит в сей мир, чтобы создать свой круг любви, широкий, как можно шире! А бесконечность этого круга не есть ли уже власть и слава?..

Я так долго воображал стычку свою с Гришканом, такие готовил фразы, так был уверен, что окажусь в ней и прав, и храбр, что когда она действительно произошла...

Впрочем, какая там стычка! Он просто стоял совсем рядом, возле Левки-долбежника, а я как раз прилаживался прорезать шпонку в трансмиссионном вале. Хитрость этой работы в том, что вал раза в четыре длиннее станка. Раньше их резали лишь на большом расточном, и я очень гордился,— и меня все хвалили! — что взял это дело на себя, приспособив под свисающий конец вала монтажный домкрат на колесиках. Конечно, пока врезаешься, приходится то и дело бегать от станка к домкрату, выравнивая вал по уровню, но...

Уже двинувшись к выходу, Гришкан вдруг сделал шаг в сторону, ко мне.

— Зажми стол!— выкрикнул петушком.— И шпинделем подавай, шпинделем.

Я гордо выпрямился:

— Обойдусь...

И осекся, потому что — какой же я идиот! Господи! Конечно... Мучаюсь, за полсмены едва пару валов сделал, а все, оказывается, так просто. Элементарно, идиотски просто!

— Что он тебе сказал?— подскочил Мишка Шейдабеков.

— Что все мы кретины! Понятно? — сжимая кулаки, выкрикнул я и кинулся прочь, на улицу. Мне нужно было немедленно оказаться вне этих стен, хлебнуть влажной тьмы и там, в тишине, как-то примирить свою гордость со всем происшедшим. Оно как бы нечто во мне прищемило; эта боль долго жила, затухая, в горестном и не слишком похвальном недоуменье: как же это я так и не сказал заготовленной фразы? Пусть трижды был бы не прав, а надо, надо было сказать! А так — что ж я теперь, как же я?..

Это был едва ль не последний гришкановский визит в наш цех. Его перевели куда-то выше, в главк, или — что там тогда было? Кажется, уже совнархозы, точно не помню... А вскоре и мои жизненные стези сменились, сталкиваться нам как бы не полагалось уже, но судьба

иногда странным образом подолгу кружит нас вокруг одних и тех же людей, подталкивая к ним, на что-то нам намекая...

Лет через пять я увидел Гришкана при пуске нового цеха высадки.

Репортаж об этом событии был первым поручением, данным мне республиканской газетой. Я очень этим гордился, суетился и возносился. Настолько, что, увидев Гришкана, тут же решил взять у него какое-нибудь интервью. Должности его толком не знал, понятия не имел, о чем спрашивать, и, как теперь понимаю, мне просто хотелось предстать перед ним в новом качестве, что было крайне, конечно, глупо, ибо он не помнил меня в старом.

Переходный мостик у главной клетки стана был превращен в трибуну — там и стоял Гришкан, как всегда на полшага впереди всех, хотя начальство было там и повыше. Нижняя губа его стала еще тяжелей, подергивалась еще презрительней. Казалось, он еле сдерживался, чтобы не плюнуть и не уйти.

Торжество и в самом деле срывалось. Подводил манипулятор. Накануне, при горячем опробовании, работал он здорово, а тут вдруг заколодило. Наладчики из бригады Левы Савицкого вертелись вокруг, как черти на сковородке.

Сам Левка, сбив с потного лба оранжевую каску, сидел на корточках перед распахнутым железным шкафом, в котором исправно щелкали и голубовато искрились сотни реле, и всматривался в их стройные ряды, ничего уже, видимо, не соображая.

— Савицкий! — скрежетнул вдруг под сводами усиленный микрофоном гришкановский голос. — У вас, мне кажется...

Дальше я ничего не понял. Но зато видел, как медленно разгибался Левка, придерживая рукой затекшую поясницу... Левкина бригада монтировала электронику по всему Союзу, он был в своем деле далеко не пацан, но недоуменье и детская обида проступили в его вдруг обмякших губах. Я без труда на них читал свой собственный, давний вопрос: если это так просто, то как же я сам не дотумкал, как?!

Брать у Гришкана интервью мне расхотелось.

А потом прошло еще лет пятнадцать, и снова оказавшись на родном заводе, я неожиданно увидел старика без свиты, совсем одного. Узнал его и замер, дожидаясь лишь следующей вспышки, чтобы удостовериться наверняка и тотчас же подойти. Ведь так интересно!..

Пила снова выбросила снап искр, это был он, вне всяких сомнений! У меня уже и фраза на языке вертелась.

— Я, видите ли,— хотелось сказать, подойдя,— один из тех болванов, кому вы когда-то объясняли, какие они болваны.

Ну и дальше, как разговор повернется... Но я почему-то остался стоять.

И опять пила выхватила его из тьмы — все такого же прямого, высоко откинувшего гордую сухую головку. Мясистая губа презрительно шевелилась, но что-то мне померещилось в ней верблюжье, долготерпеливое.

Верблюд — он тоже смотрит на мир свысока. Ни воспарить, ни терзать, ни гнать, как орлу, ему не дано, а глядит так же презрительно и устало, и ведь, пожалуй, с не меньшим правом, ибо может всегда смолчать, вытерпеть, дошагать. Тут, в сущности, сходятся какие-то странные, таинственные крайности жизни. Я невольно задумался о них, щурясь на сизоватое марево в конце пролета, где, медленно вращаясь на скошенных роликах, выпрямлялись и, серея, остывали стальные колбасы.

Когда, очнувшись, сошел я вниз, Гришкана уже нигде поблизости не было. Я испытал досаду и облегчение.

Но упрямая судьба свела нас еще, денька через три. Правда, тут уж заговорить было б труднее, но все-таки...

Накануне мы маленько гульнули с Толею Козаченко, когда-то токарем нашего ремонтно-механического, а ныне начальником сортопрокатки. Приятный вышел такой вечерок, и, снова шагая к Толе, я предвкушал шуточный, благодушнейший разбор малых мужских шалостей: кто как вчера добрался, да утречком подлечился, да как на кого пошумели...

Приоткрыв дверь кабинета, я было остановился — там кто-то сидел. Но Толя радостно закивал, замахал

мне рукою: заходи, мол, заходи... Из-за стола торопливо поднялся.

— Извините,— сказал,— Юрий Давыдович, у меня встреча назначена.

Сидевший перед столом Гришкан чуть повернулся и скользнул по мне взглядом, лишенным всякого интереса. Просто убедился: пришли уже, да. И взялся за подлокотники кресла, чтоб встать.

— Так короче,— спросил,— что вы решаете? Нет?

— Я не рублю на корню, Юрий Давыдович, вы меня знаете, но...— Толя развел руками.— Обсудим на совете бригадиров, подумаем. Подумаем, Юрий Давыдович!

— Думайте!— Гришкан поднялся и, не прощаясь, вскинув седую головку, пошел к двери.

Я поспешно уступил дорогу. В профиль верблюжье в нем было особенно заметно.

Дверь хлопнула, и Толя картинно упал в кресло:

— Уф! Прямо спас ты меня, старичок. Беда эти пенсионеры,— сказал сокрушенно,— сущее наказание. Ходит тут, ходит, хуже прокурора. Придумал вот: все планово-распределительное бюро перестроить. А ради чего? Я тебя спрашиваю: ради чего?..

— Сильно он постарел,— сказал я.— А кем он теперь?

— Никем, слава богу! Лет семь, как никем, на пенсии...

— Вот как? А ведь был где-то там,— я помотал рукой над головой.

— Был, да сплыл. Черт его к нам принес. На пенсию вышел и заявился: желает тут поселиться, надеется быть полезен. Квартиру ему дали, пропуск выписали... Зачем только? Я тебя спрашиваю: зачем? Создаем себе трудности по доброте душевной.— Толя встал и нервно прошелся по кабинету.— Он, видишь ли, душу вложил в этот завод! Ах-ах! Так что ж теперь — из меня душу вынуть? А старичина клещом, понимаешь, вцепился, записку директору, в народный контроль... И хоть бы по делу! А то — на адьюстаже сорок тонн затерялось, ах-ах! И что — при нем, скажешь, не водилось такое? А, ладно!..— Толя обиженно отвернулся к окну.

Глядя в его спину, я думал, что ведь и сам когда-то хотел, до дрожи душевной мечтал того же Гришкана срезать, оборвать, попросту ему нахамить... Ведь было?

Было, не отрекаюсь. Зачем же теперь так мне неловко, что старику вежливо указали на дверь? Отчего стыдно? Почему Толькины жалобы вызывают лишь неприязнь? «Нет, — внушал я его спине, — нет, так не годится, ты должен сказать о старике еще что-то другое, совсем-совсем другое...» Он повернулся и сказал. Да снова не то.

— А все потому, — сказал он, — что внуков нет. Точно! Когда-то за великими своими делами этого простейшего старичок не успел, вот и... Охо-хо! Да и мы, дураки, все ищем чего-то, сходимся, расходимся, та баба, эта, свобода, карьера, ё-мое... А старость в одночасье нас по балде — бац! И будем такими же вот... Да?

Я смотрел на него — лицо и в самом деле уже молодое, на висках седина, а женился совсем недавно, в третий, кажется, раз, и вчера, видать, некстати поссорился, попало ему за нашу гульбу, теперь вот досадно, хотя этого он, конечно, не скажет... Смотрел так и думал, что надо бы пожалеть мужика, сказать: плюнь, мол, не бери в голову! И рот уж раскрыл, чтоб это сказать...

— Нет, — сказал, — Толя! Если и будем мы одинокими старичками, то уж никак не такими. Такими быть у нас хысту не хватит. Знаешь, есть такое отличное украинское слово — хыст? А в нем тебе и кураж, и хватка, и смелость, и все такое...

Он огрызнулся:

— Понятия не имею!

Ну вот... Умер Гришкан года через полтора.

Принесла почтальонка пенсию, ей не открывают, она звонит, звонит... А старичок был обходительный, всегда ждал ее аккуратно, дважды бегать не заставлял — она и заподозрила неладное. Привела милицию, взломали замок, а он тут же, возле двери, вытянулся. Бидончик откатился в угол прихожей, молоко уже высохло.

Ужас ли смертного этого одиночества всколыхнул городок, старое ль вспомнилось людям — похороны вышли невиданно многолюдные, торжественные. Толя Козаченко прислал фотографию: идут во всю ширину мостовой, хвост печального шествия теряется вдаль, сливаясь с осенним деньком.

Есть у меня и еще снимок — сам щелкнул когда-то, на митинге в цехе высадки. Гришкан стоит там, как капитан, на мостике, рядом полно народу, но он отдельно от всех. Мясистая нижняя губа презрительно сдвинулась, детские кулачки в кармашках...

Давным-давно отношусь я спокойно к чужой власти и славе, молодые мечты бесследно отшумели и канули, но иногда я ставлю перед собою два снимка и, подолгу вглядываясь в них, гадаю о тайне этого человека, которому я так завидовал, которого так жалел...

1984

МАЭСТРО ШАХБАЗОВ

1



ней десять мотались по трассе, никак было в поселок не вырваться. Простыли оба, устали, даже пооборвались. И вот наконец едем. Дорога скучная. Плоская степь измызгана бесконечным дождем, в огромных лужах сор и серая пена. И вдруг... Я чуть не подпрыгнул:

— Сашка! Тормози, человека вижу!

В степи человеком именуют лишь женщину, существо экзотическое. Но Русачков до того, видать, простыл и умаялся, что только красным носиком хлюпнул. Без всякого интереса.

— Как бы их на первой же ухабине двое не стало, — говорит он чуть погодя, приглядевшись к маячившей у развилки фигуре. — Роды принимать ты будешь?

Но, само собой, тормознул. Девушка невысокая, толстенькая, в светлом плаще, платочке, с чемоданчиком... Ну, чемодан мне пришлось на колени взять. У нас на заднем сиденье движок от «Андижанца» ехал и книг шесть пачек. Еле она туда со своим животиком сама втиснулась.

Едем, я ее в зеркальце заднего вида разглядываю: на носу веснушки, волосы из-под платочка какие-то блеклые... Все же если б не так сильно беременная, то о мире и дружбе заговорить вполне можно. А так — молча едем. Ближе к поселку Русачков спрашивает:

— Так куда вас подбросить?

Она улыбается:

— К гостинице, пожалуйста,— без всякого говорит юмора.

— Куда?!

— К гостинице.

Русачков так тормознул, что я чуть ветровое стекло не клюнул.

— Слушай,— говорит,— ты откуда взялась, умная?

— К жениху приехала.

— Это,— он говорит,— хоть к полубовнику, мне-то что! А вот вызов у тебя чей, от какой организации?

Грубо, конечно. Но Сашку тоже понять надо. Март для механика не время, а гроб с музыкой. Солончаки раскисают, тяжелое глинистое тесто пустыни ползет, пластами наматываясь на колеса и гусеницы; лопаются тросовые жилы, скручиваются стальные пальцы, в дым горят фрикционы... Тут разозлишься! Он эти дни одной, может, злостью-то и держался, чтоб не завывать. Но девушка ничего этого, понятно, не знает, помаргивает на него растерянно и обиженно:

— Какой еще вам вызов? Мне надо — вот я и приехала,— пухлые свои распустила, вот-вот в слезы кинется.

Ну, стал я ей как можно мягче: ты, мол, не обижайся, ты пойми — у нас зона режимная, сюда и билетов без вызова не продают, а ты прилетела — не на этом же вот чемоданчике?

— На самолете...

— Ну? Значит, вызов-то у тебя есть?

— Дак, а че?— все она помаргивает.— Не люди у вас разве? Везде люди! Я в Махачкале одной девушке все как есть объяснила, она и дала билет, дело-то вполне человеческое,— и живот свой сквозь плащ оглаживает: вот, мол, какие могут быть сомнения?

— А жених,— говорю,— тебя, выходит, не только не встретил, но и не вызывал? Хорош гусь!

— Так он же не знает, что я еду! А то б он тут... Он у меня такой!— она оживилась, улыбнулась, даже волосы под косынку убрала как-то кокетливо.

Выяснили: жених ее, оказывается, думает, будто ей здесь жить негде и вообще тяжело, но она не барыня и дома жила не то чтоб в хоромах, да и братья насоветовали: что, мол, человеку на свет без отца являться? Не война же у нас, верно?

— Само,— говорю,— собой. А какой он хоть с виду? Может, мы его знаем?

— Он у меня армянин,— говорит с гордостью.— А тут у вас целому заводу начальник, только забыла, как называется.

— Армянин, значит?— Русачков мне в зеркальце подмигивает: влипли, мол, с дурой...— Черный такой? С усами?

— С усами...

— Брехло он у тебя с усами! У нас тут и заводов-то никаких нет!

— Как нет?

— А вот так! Не построили еще! Надул он тебя. Элементарно надул и удрал. И давай-ка сдадим мы тебя в милицию — пусть назад отправляет. Чтоб ты уши пред каждым треплом не развешивала, ясно?

Пассажирка наша рот приоткрыла — кругло так, глупо — да в рев!

— Высадите меня!— кричит.— Права не имеете, паразиты!— и ручку на дверке шарит, рвет на себя.

— Сашка, стой!— говорю.— Не дело так...

Выскочил прямо в лужу и силой ее в машине придерживаю, дверку открыть не даю.

— Пойми ты!— кричу.— Куда тебя тут высаживать? Дождь, гляди, грязь, до поселка чуть не пять километров, трубовозы сегодня не ходят — сама пропадешь и ребенка загубишь.

А погодка действительно... Так и хлещет! Ну, малость она обмякла, отошла, я ей чайку налил из термоса: попей, говорю, а то и не разобрать, что ты там сквозь икоту бормочешь. В милицию тебя не сдадим, успокойся! Только пойми, пожалуйста, ведь тебя без вызова ни в одну общагу и переночевать не пустят. К жениху — так когда ты его найдешь, да и стоит ли искать такого? Ты меня извини, конечно, да ведь явно надул тебя, паразит,—нет у нас никаких заводов.

Она уперлась: не мог ее жених обмануть, и все! Она его давно знает и никакая не дурочка, а раньше не расписались оттого, что ему еще паспорт менять надо. Вот, пишет, как только поменяю...

— А зачем?— Русачков допытывается.

— Чего — зачем?

— Паспорт менять. После заключения он у тебя, что ли?

Нет, говорит, сами вы эки, а он просто по паспорту русский, а на самом деле армянин, ему во время войны все неправильно записали. Если сейчас не сменять, так и сына русским запишут, а он после стройки хочет на родину ехать.

Я слушаю ее, киваю.

— В горы, — бормочу машинально. — В самые синие горы, к голубому озеру Севан.

— Точно, — она говорит. — К озеру.

— Фамилия его хоть как? — Русачков требует.

— Еще чего! Так я вам и сказала! Сама найду, обойдусь.

— Саша, — говорю, — свезем девушку в поселок, куда хочет. Только ты мимо СУ-15 поезжай, заглянем.

— Зачем еще?

— Да есть тут у меня одно подозренье.

Пассажирка опять рот приоткрыла кругло, но я ей сразу:

— Успокойся, — говорю, — успокойся... Подозренье не на тебя, а на одного крокодила. А в милицию, будь я жаба, а не матрос, ежели сдадим! Веришь?

Она вздохнула доверчивей, щеки утерла, и мы поехали.

Приезжаем в родное хозяйство — как раз Маэстро Шахбазов у разобранного бульдозера руками машет, публику под дождем потешает.

— Маэстро! — кричу.

Он оглянулся.

— А! — говорит. — Журнал! Здорово, змей! Вот хоть ты им объясни: у нас тут не завод, конички не... — И, рот приоткрыв, пятится от меня, пятится, на гусеницу садится. — Ешеньки! — говорит.

А девушка из-за моей спины прямо светлым своим плащиком да к его комбинезону:

— Коленька! Коля!

Он черные свои лапищи в стороны развел, чтобы ее не испачкать, бормочет смущенно:

— Ну ты даешь, ёшки, как ты сюда?

— Подвезли вот. Я им про тебя все объяснила, они и подвезли. Что ж, не люди у вас, что ли? Подвезли... Ты, Коленька, главное, не ругайся, ты послушай. И у вас тут люди, все утрясется, дело человеческое, чего тут... Ну? Не бойся ты, ну? — и гладит его по щеке, как

маленького, и улыбается, платочком масляное пятно на лбу его утирает.

— Поехали,— говорит мне Русачков,— поехали, на чужое смотреть — только расстраиваться.

Еще минуточку потоптались да и поехали.

Дорогой Русачков спрашивает:

— Как же это ты его вычислил?

— Маэстро-то? Не знаю... Подумалось вдруг.

— А он, однако, ну и брехло! Пряма-таки собачье.

— Почему?

— Привет! А я, что ли, мозги ей запудрил: директор, мол, завода, армянин, фити-мити... Ну, шут гороховый!

2

Русачков был всегда беспощадно логичен: соврал ты — значит, брехло. Струсил — трус, обманул — обманщик. О других людях, может, и можно судить эдак, но к нашему маэстро это как-то... То есть брехло он был еще то! Это точно! И само собой, шут. Но вот — клянись! — не так уж много довелось мне встретить людей серьезней его и честнее.

Тою весной мы были знакомы уже больше года. На стройке это, скажу вам, срок.

Познакомились оригинально! Ремонтная база, куда нас направили, оказалась просто огромным двором, забитым покуроченной техникой. В одном конце его пряталась земляночка, там сидело начальство, в другом — приземистый барак из дикого камня, в который нас и завели: с улицы темновато, пусто, у окон станочки... Вдруг за спиной как гаркнут:

— Подведите их ближе!

Обернулись — этакая фигура восседает на верстаке, поджав по-турецки ноги. В одной руке кружка, в другой — целый батон, кусищем колбасы прослоенный. И жует страшно, аж уши шевелятся под солдатской мятой панамкой.

— Ближе! — хрипит, — смелее. Живых не кусаю!

— Коля, — смущенно как-то говорит нас приведший товарищ, — это, сам понимаешь, кадры...

— Кадры? Ты уверен, что они не из детсада сбежали, а? И что их мамы, рыдая, не прилетят с Большой земли завтра? Уверен? Ладно! — Вскочив прямо на верстаке на ноги и чуть не потолка касаясь мятой па-

намкой, фигура повелительно указала батоном на дверь:— Вы свободны!

Приведший нас пожал плечами и вышел.

— Отныне для вас я один и царь, и бог, и воинский начальник. Ясно?— Фигура размахисто нас перекрестила:— Амины! Должность моя тут мастер, но я не любитель низкопоклонства и потому зовите меня просто: Маэстро Шахбазов!

Он спрыгнул на пол и спросил другим голосом:

— Жрать желаете?

Мы желали. За полдня хождения по инстанциям никто не удосужился подсказать нам, где тут столовая. Спрашивать же казалось неудобным — строить мы приехали или набивать желудки?

Этот батон с колбасой немного все сгладил и скрасил, а то мы совсем прибалдевши стояли. Мы ехали строить, закладывать основы и забивать колышки. На Большой земле нам так много и так торжественно о том говорилось, так все обставлялось значительно — проводы, напутствия... А приехали и — на тебе!

Так что приглядываться к маэстро начал я, можно сказать, по не зависящим от меня обстоятельствам — как-никак начальство. Хоть и маленькое, да свое. И нужно как-то понимать, что за человек. Ведь так? Да вот, оказывается, легко составить собственное мнение, если уже есть чужое. Ты с ним или соглашаешься, или споришь. А тут я как раз этого вот чужого, всеобщего мнения о нашем маэстро никак уловить и не мог.

С одной стороны, он был вроде бы признанной головою, авторитетом, с другой — шутком. Но у шута — какой же авторитет? С одной стороны, никто ему был не указ, начальника базы Сидорчука он не видел в упор; с другой — последний трактористишка мог им вертеть как угодно, нащупав какую-то слабость, а слабостей у него было — что блох у Бобика. Все знали: Колькино слово — железо, и тут же — ни единому его слову не верили.

Когда он, стуча кулаком в гулкую грудь: «Вот будь я жаба, а не матрос!»— клялся, что нельзя у нас сделать какую-нибудь муфту или шестерню (а много ли можно сделать в примитивной кузне, да на четырех станочках?), то все почему-то были уверены, что он врет, паясничает, и упрямо бубнили: за ними, мол, не заржавеет, пусть он не думает... С утра кто-нибудь

обязательно поджидал его у ворот, скромно пряча за пазухой поллитровку. (Что дураку сухой закон, ежели ему сто верст не крюк?) Целыми днями, бывало, таскались за ним, канючили, душу мотали. Он отбивался шуточками, потом, шваркнув панамкою оземь, выхватывал вдруг посудину и бежал в землянку к Сидорчуку.

— Во, змей,— кричал там,— распустил народ, понимаешь! Они мне уже взятки суют!..

— А ты не бери,— почти не шевелясь, лениво цедил тот.— Зачем взял?

И все, кто сидел в кабинетике, заходились жеребьчим ржаньем.

Конечно, если б Маэстро потребовал чего-нибудь всерьез... Но чужой смех действовал на него, как водка на пьяницу. Хлебнет — и тут же еще подавай. Сладко прижмурившись, он принимался вдруг выделявать над бутылкой какие-то уморительные пассы, кулаком ей грозил:

— У, змей зеленый! Погубитель ты наш! Как же тебя не взять, родненького?

Все ржали еще громче, он со всеми, с чем и уходил, ужасно довольный.

Он был обидчив, но обиды, как и гнев, шуту не по чину, а потому они никем не принимались всерьез. Тракторист, посрамленный с утра при попытке дать взятку, через час, явно кем-то подученный, являлся к нам за справкой:

— Сегодня он кто? Шахбазянц?

— С утра был Шах-Аббасом-оглу, турком.

Среди множества слабостей, впившихся в бедную шкуру Маэстро, эта, пожалуй, свербила чаще других. Фамилию свою перекраивал он с той же легкостью и изобретательностью, что модница платье. Вдруг начинал, к примеру, говорить с грузинским акцентом, рассказывать об отце-виноделе, усиленно демонстрировать бурную горскую кровь, даже заменял вечную свою солдатскую панамку на бог весть где раздобытую шапочку-сванку. Но проходило несколько дней, и когда кто-нибудь, чтоб подольститься, говорил, сладко прижимая руку к груди:

— О, Шахбазидзе, я вас просидзе...

— Как?!— вдруг взрывался Маэстро.— Как ты сказал! Шарабанов я! Смоленские мы, понял?

Уследить, когда и почему в его сдвинутых набекрень

мозгах происходило это превращение, было трудно. Многие, однако, пытались, ибо стоило попасть в точку, как щербатый его рот растягивался аж до ушей в самодовольнейшей улыбке и он готов был в лепешку разбиться, чтоб только услужить отгадчику.

Были, впрочем, и другие способы сесть на Маэстро-ву шею. Достаточно было прийти в обед со своим термоском, сесть у печки, сказать первым делом, что ты сирота и потому обижать тебя не годится. Вот у вас в детдоме...

Все знали, что это вранье. Какой там детдом, ежели человек вчера только посылкой от мамки хвастался? Один Маэстро с неизменной доверчивостью глотал наживку: «А вот в нашем детдоме...» Начинал он с чего-то безобидного и, вероятно, действительно бывшего, но затем капризное воображение распалось, родители новоявленного турка оказывались армянами из города Степанакерт, мчался под бомбами, увозя их с Украины, эшелон, визжали тормоза, горели вагоны, «мессершмитты» заходили в пике...

Тут было множество вариаций, красочных подробностей, но кончалось неизменно тем, что фамилию и имя пятилетнего раненого записывали со слов еле бормочущей соседки, естественно перевирая и тем самым навсегда лишая великий народ его лучшего сына.

Все щеки, туго набитые еле сдерживаемым смехом, разом лопались, мастерская минут пять лежала, дрыгая ногами, потом наперебой кидалась уличать Маэстро в воровстве эпизодов из книг и фильмов, издевательски выпрашивать подробности. Он обижался, он защищался, вскакивал, бия себя кулаком в грудь: «Да будь я жаба, а не матрос!» И только затеявший все это должен был слушать внимательно, вздыхать сочувственно.

— Ладно!— говорил Маэстро, тронутый такою преданностью и солидарностью.— Оставь, я погляжу.

Трактористишка мгновенно истаивал, положив на верстак свою железяку.

Остаток дня Маэстро, то и дело проходя мимо нее, морщился, мрачнел, скучнел...

— Видал-миндал?— спрашивал наконец кого-нибудь из нас с тяжким вздохом.— Видал, что этот змей мне подсунул?

— Наплюй!— строго говорили ему.— Не приучай, совсем на голову сядут.

Он отходил, подходил, вздыхал:

— Эт ты прав,— соглашался,— сядут, ёшки! Да ведь она мне ночью приснится, подлая! Что я — себя не знаю? Давай останемся чуток, похимичим. Ладно уж, пусть пьют нашу кровь!

И оставался, и в конце концов действительно что-то придумывал, какой-нибудь хитрый резец, который тут же сам и ковал, или оправку, позволявшую долбить шлицы на строгальном, или еще что-нибудь.

Другой бы это рацпредложением оформил, носился бы, кудахтал, получал похвалы и премии, а он... Нет, смех смехом, а иной раз ужасно было обидно, что все ездят на нем так безжалостно, да еще и издеваясь. Ведь он был талант, настоящий талант, а разве так должны держать себя таланты? Разве так мало себя ценить? Ронять себя по таким дурацким поводам? Выставлять на посмешище?..

— Чего? — тянул он в ответ на мои наставления. — Не учи дядю жить, салага! Чего они тут без меня видят? Одна киношка, да и в той непродых. А смех — он легкие прочищает, ясно?

Ну? Что с ним было говорить после этого?

3

Мы ждали лета, как манны небесной. Но оказалось, что зима на нашем полуострове еще и ничего, а вот лето... Степь отцвела и выгорела за несколько недель, с середины июня начало задувать.

Горизонт с утра задергивало желтоватую мутью. Воздух становился так сух, что колом входил в горло. К концу работы он был полон мельчайшей, крепко просоленной глинистой пыли, мгновенно схватывавшейся на губах черною коркой. Солнце почти исчезало, делались сумерки, и казалось, что не ветер, а вся земля гудит, вздрагивает и воет от тоски и непомерного напряжения. Пучки сухой травы и шары перекасти-поля с жалобным визгом неслись над землей. Сухой горчащий запах древних могильников проникал во все щели.

Как-то я работал во вторую, один. Вслушиваясь в застенный вой, думал, что придется ночевать тут же, на верстаке. Жутко, правда, как заживо похороненному, но... Не идти же?

Вдруг хлопает дверь и через порог вваливается сварочная брезентуха с тряпочным кляпом вместо головы на плечах.

— Вольно!— хрипит.— Отставить туш и всякое низкопоклонство.

— Маэстро!

Закрыл я за ним дверь, рубашку помог размотать с головы...

— Ты чего это?

— Да вот,— говорит,— пиво в ларьке кончилось, скукота. Форсункой решил заняться.

Форсунку изолировщики принесли еще вчера утром. Сулили ящик коньяка, золотые горы и бронзовый бюст в назиданье потомкам.

— Бюст — это вещь!— соглашался Маэстро.— Но чем я тебе расточу такой профиль, чем?

И начальство, специально прибывшее из поселка, только кивало печально: да, нечем.

А сегодня вот... Роба у него и под рубашкой оказалась вся в черных полосах, в пятнах. Мы на нее чуть не половину питьевого бачка вылили. Потом заварили солоноватого, поскрипывающего на зубах чайку — горлянки прополоскать.

— Пешки,— ворчал Маэстро, прихлебывая этот чаек,— что они понимать могут? А я все ж таки уральской выучки змей, не абы как!

Напившись, разжег он паяльную лампу, зажал форсунку в тиски. Через пару минут средняя шейка ее посинела, стала краснеть...

— Хватай пассатижами, змей, рви!— завопил он.

Я машинально дернул и чуть не сел на пол — так легко разошлась форсунка на две половинки.

— Что ж ты не предупредил, что здесь просто на горячо посажено? Все клоунничаешь?— обиделся я.

— И сам не знал! Ей-богу! Дома вдруг подумалось: не может быть, чтоб где-то больше моего умели. Небось схимичили.

Мы выточили каждый по половинке форсунки, посадили одну на другую. Маэстро тщательно зачистил, пошлифовал наждачком соединительную шейку. Так, чтоб и комар носа не подточил, не то что дубари-изолировщики. Делать это было совсем не обязательно, но он нетерпеливо приплясывал и что-то там напевал у станка — должно, репетировал завтрашний розыгрыш.

Часам к трем ночи, когда мы, профильтровав остатки воды, опять уселись чаевничать, Маэстро был спокоен и грустен, как всякий артист, хорошо подготовивший завтрашний номер.

— Не,— говорил, прислушиваясь к стихающему шуму ветра,— не-е, разве тут жизнь? При такой-то пылище? Не-е, это не по мне. Мне чтоб речка была, туман по утрам. А самое лучшее — знаешь?— это когда осенью ботву жгут на огородах, и тоже туман идет, желтоватый такой...

Мы улеглись; на старых ватниках было уютно и мягко, но не спалось. Мало-помалу стал он рассказывать про себя, что вот не знает точно ни имени своего, ни национальности, ни где и когда родился. В детдом попал пяти лет из госпиталя. Это по документам. А что было раньше, до детдома — ничего не запомнилось, ни вот столечко. И от этого все в его жизни выходит как-то ненадежно.

И странно! Я все это слышал сто раз и только смеялся до колик. А тут вдруг понял: все правда. То есть вокруг-то сплошное вранье, но тут вот, в самой середочке, в этой его тоске — она, кровная. Чтоб утешить его, стал даже говорить, будто все это не имеет значения. Ну, знаю я вот: на Украине родился. А что это мне дает?

— Ну, не скажи!— не согласился он.— Все ж таки душа — она до всего свой интерес имеет, прикидываешь с ней то так, то эдак. Вдруг я, к примеру, грузин?

— Да ты ж рыжий!

— Ну и что? Есть и грузины рыжие, и армяне, не исключено. И вообще все у меня как-то... Душа на месте только и была, что в армии. Иногда думаю: может, в сверхсрочники попроситься?

Служил он в Армении, танкистом. Кормежка, одежда — во всем порядок, никаких забот. Скажут: беги — бежишь; скажут: отбой — спишь. Ничего не скажут — опять спишь. Чем не жизнь? Умотаешься за день, потом сидишь вечером на казарменном крылечке, и такая кругом красота, что так бы вот и растекся по ней душою.

Только перекуры не очень, чтоб нравились... Нет, не потому что махра. Махру он и сейчас смолит бы за милую душу. А потому, что набьются в беседку или в умывальник перед отбоем и давай друг другу душу

травить: «А вот у нас...», «А у нас вот...». Послушаешь, так только и хорошо, выходит, что далеко где-то. А горы им, видишь ли, на душу давят и свет застыт. Или опять же — про дембель разговоры. Еще на втором году обсуждать начали: кто куда поедет. Одним — чтоб только домой, другим — чтоб от дому подальше, жизнь им повидать. А он этой жизни свьше ноздрей хлебал, и дом ему везде одинаковый — ему-то куда примкнуть, бедному? Да тут еще неудачно влюбился!

Нормальные люди нормальненько и влюбляются. Потанцевал там, притиснул — и все. Хоть в загс беги. А его заочно-журнально угораздило. «На первой странице обложки передовая доярка колхоза «Родина» Верх-Исетского района». Губы пухлые, красные, вот тут чуть-чуть веснушек и щеки с такой ямочкой, что хоть бери и кусай. И главное — ничего больше на этой фотке нет, один ее цветастый платок во всю обложку, а глядишь и думается почему-то: славно, мол, у них там, в Верх-Исетском этом районе, была бы там родина... И речка тебе уже видится, туман в кустах, голубой лес на той стороне. Отлепишься утром от этакой крали, на крыльцо выйдешь — не мир вокруг, а благодать божья!

Само собой, написал, переслали, она ответила. Фотку прислала уже не цветную, но и тут хороша. Ну и — понеслась душа его в рай! Через год переписки бумага аж дымилась — до того жарко на ней обнимались и целовались.

Дембель вышел ему поздновато — перед Ноябрьскими. И, само собой, он в колхоз «Родина» мотанул. А время какое-то неопределенное: и снег, и грязь. Опять же и край неопределенный, вроде Первоуральска; где он в ремеслухе учился: горы не горы, но и ровной земли нет. Лес вдоль дороги и тот — через две ямины сосенка.

— Ну наконец приехал. «Сама она, говорят, на дойке вечерней, посиди!..» Дома одни братья. То-се, познакомились, я им поллитру на стол. Они своего чего-то там выставили, мутного. Но много. Сидим, толкуем. «Это, говорят, хорошо, что ты на Дашке женишься, девка в самом соку». А сами, черти, пухлогубые, сидят — не шелохнутся, важные, будто министры, всё всерьез. Ну, я тоже всерьез так осведомляюсь: «В каком же она соку?» Молчат. Друг на дружку зыр-зыр,

луп-луп рыжими... «В томатном, говорю, аль в собственном? Нам частичка в томатном давали, скумбрию в собственном, так в томатном я больше уважаю». Опять они луп-луп друг на друга, наливают по стакану мутного. Оно сладенькое, без градусов почти, а в ноги шибает. «Давай, говорят, выпьем!»—«Это я завсегда и с дорогим удовольствием, говорю, поскольку служба моя окончена». Выпили. «А Дашка, говорят, в хорошем соку, кормленая, будешь доволен». Ну, слово тут за слово, стали мне вкручивать, какие они хорошие: мы, мол, построиться вам поможем, от колхоза телку дадут. Председатель обещал, мол, хорошую. И двух поросят, поскольку ты до техники специалист. «Откуда ж он, змей, это знать может?»—«Дашка все сказывала и даже фотку носила: вот, мол, колхозник новый». И тут как-то, знаешь, обидно мне стало: до чего люди хозяйственные — я еще не доехал, а они и в работу уже запрягли, и на двух поросят разменяли. Я-то, может, и одного не стою, а все одно! «Ладно, говорю, товарищи братья, поросят мы еще под водяру зажарим, а вот строиться мне на кой ляд? Что я — человек не советский? Куркуль я, что ли, чтоб собственность заводить?» Опять они друг на дружку: луп-луп... А братья-близнятки, мужички-боровички такие, совсем без росту, зато в плечах — во! «Дык, говорят, как же не строиться вам? Жить с Дашкой где будете?»—«А где койка у ней?»—«В той избе»,— кивают. «Ну, там и будем. Солдат человек походный: нынче здесь, завтра там, зачем ему барахло? Родина позвала — он вскочил, отряхнулся...» У меня, сам знаешь, слова не на привязи. А они, гляжу, всем мордovorотом багровеют, и один меня уже через стол за грудки норовит. Ну, я по рукам: не трожь, мол, танковые войска, они не таких бивали!.. Короче: невеста на порог, а у нас самый уже мордобой. Они меня в угол теснят, я еле бляхой открещиваюсь. Кинулась она братьев урезонивать, я шинель в одну руку, сидор в другую и... С такую, думаю, любовью да без головы останешься. И ходу! Через загородку козлом стреканул. К утру дошагал в район, покемарил чуток на вокзале и — к уполномоченному по оргнабору: так, мол, и так, выручай, потому что от всего сияющего одни фонари на морде остались. Пиши на Север, полярную ночь освещать стану. Мужик понимающий попался, офицер бывший. «На Север, говорит, набору

нынче нет, а на юг могу». Так вот я здесь и оказался, всяких, вроде тебя олухов, жить учу. Хоть и не мороз, но тоже не сахар.

4

Недели две-три после этого прожили мы с ним очень дружно, хотя при народе мне по-прежнему было за него и обидно и стыдно, и злость брала и смех разбирал. Зато почти каждый день мы оставались «химичить». В тишине и безлюдье с ним рядом было как-то очень спокойно, уютно. Чем бы ни занимались — любое ремесло в его руках казалось таким простым и удобопонятным, как будто приросло к ним с рождения.

Вообще его приспособленность к жизни была, по моему, почти абсолютной. Сейчас, правда, под этим понимается больше умение всюду пролезть, достать, найти и вход и выход... Но ведь это приспособленность не к жизни, а к ее недостаткам, которые преходящи. Неизменна лишь самая суть. Маэстро был приспособлен именно к сути: он все умел, никакая житейская надобна не становилась для него камнем преткновения, не вырастала в проблему.

Проголодались — он тут же, в горне, не отвлекаясь от дела, кипятил чайник и на прутке жаривал шашлык из колбасы. Горячая, чуть пахнущая угольным дымом, она бывала необыкновенно вкусна. Прихлебывая чаек, Маэстро принимался рассказывать — еда занятие приятное, за ней люди должны веселиться.

Было у него несколько любимых историй, смешных и нелепых, вроде журнального сватовства. Например, как его из ремеслухи чуть в московский хор не забрали. Дело, мол, только потому и не выгорело, что на самом решающем смотре, забывшись, запел на детдомовский лад: «Легко на сердце от каши перловой...» Вранье, конечно, чистейшее! Но пел он действительно здорово.

Впрочем, в эти последние недели был он грустней обычного, стал даже заговаривать о бессмысленности жизни: вот, мол, вкалываем, как папы Карлы, а для чего? К середине июля тоска окончательно его одолела, он вытребовал отпуск, накопил кучу рубашек, галстук с золотой ниткой, светло-серые английские туфли и укатил на Большую землю.

Без бдительного его присмотра жизнь моя, поскольку

знувшись на любви к российской словесности, сделала крутой зигзаг. Я стал бойцом культурного фронта, который у нас, как и положено каждой приличной стройке, был страшно запущен.

Маэстро вернулся несколько даже досрочно, без шикарного костюма и золотых часов, но необыкновенно воинственным.

— Ты что ж это, змей,— даже не сказав «здрасте», взял он меня за грудки,— дезертировал? Покинул педеровой участок?

Треск рубахи ясно говорил, что вопрос поставлен ребром.

— Погоди,— смиренно попросил я,— послушай.

Слушал он не очень, книжные передвижки явно не казались ему стоящим делом, но вдруг, уловив в лепете моем знакомое слово, Маэстро разлепил волосатые кулачищи и задумчиво почесал нос.

— Журнал — это, конечно, вещь! — он хмыкнул и покрутил головой, как бы вспоминая, как далеко может увести эта вещь человека.— Ну, черт с тобою, журнал! А я погудел славно. Представляешь, лечу в Свердловск, там гроза...

И пошла очередная его история — смешная, нелепая, без всяких границ меж правдой и ложью. Получалось, что он все летал и летал, везде были хорошие ребята, но долететь до места никак не удавалось.

Ну, а весной, как уже сказано, подобрали мы с Ручачковым у аэродромной развилки одного человека, и тут-то выяснилось, что до колхоза «Родина» Маэстро все-таки долетел.

В мае была свадьба, а с нею вкупе крестины Маэстрова первенца.

Стол устроили прямо поперек улицы — четыре доски-сороковки перекинули от крыльца до крыльца, от одного вагончика до другого. И было за этим столом так тесно и шумно, что сперва каждому казалось: он в минуту оглохнет или же вылетит отсюда, как пробка. Но проходило пять минут, десять, все утрясалось и притиралось, становилось свободно и весело, и уже думалось, что будь здесь чуточку попросторней, такого б веселья не получилось.

Маэстро сидел королем — отмытый почти дочиста, в свежайшей сорочке, он поднимал стопку, усиленно оттопыривая мизинец с золотым кольцом. Охотно пояснял: «А это я так и женат, правда, Даш, вот насто-

лечко!» — и, показывая полмизинца, заливался хохотом.

Хохоту вообще было много. Какое-то было у всех настроение — все только смешило, даже то, что Маэстро прошляпил неслыханное в наших краях счастье — двухкомнатную квартиру.

А вполне мог бы и оторвать! Комсомольские свадьбы были еще горячей новинкой. О них писали, за них хвалили. И наши комитетчики, не желая ударить лицом в грязь, решили лучшего своего бригадира оженить по самой передовой методе — с речами и поднесением ключей от капитального гнездышка.

Но еще раньше другое начальство, в области, наметило слет коммунистических бригад. Маэстро направили туда, снабдив прекраснейшей, тщательно отпечатанной на машинке речью. В общем, все шло как надо, но как-то ему показалось странно, что такие славные ребята — так хорошо вчера с некоторыми посидели! — а сегодня сидят, как сонные мухи, клюют носами под мерный бубнеж. Несправедливо это ему показалось, обидно!

Выйдя на трибуну, он начал с того, что, мол, собрав столько представителей светлого завтра, незачем сажать у газет старушку. Можно и жестяночку под мелочь поставить. Не зажилит светлое завтра свои две копейки, отдаст. В зале зашевелились, в президиуме самокритично захлопали, сдержанно улыбаясь. Маэстро чуть поклонился публике, ощутил прилив вдохновения и... — понеслась душа его в рай! Говорят, было все: и клятвенное биение в грудь: «Да будь я жаба, а не матрос!» — и скупая мужская слеза по безвинно загубленной жизни юного ленточного экскаватора, и много чего еще. Зал хватался за животы и сыпался под стулья целыми рядами.

В перерыве Маэстро ходил гоголем, окруженный поклонниками, даже из президиума один товарищ подходил, сказав, что по сути все правильно, только уж слишком... И неопределенно покрутил растопыренной пятерней.

Но... «Была,— сказали у нас в комитете,— не спорим, была такая идея насчет комсомольской свадьбы, обсуждалась, да ведь не все, что обсуждается...» Полвагончика и те Маэстро пришлось выбивать, пошумев в парткоме.

— Зато посмеялись! — горделиво подбоченясь, говорил он. — И вот, ёшки, смех смехом, а слесаря на

ленточном уже возьмется, бумага Сидорчуку пришла — враз зачесался. Поняли? Чуете, чем пахнет?

— Ох, Дашка!— кричала завитая, железнозубая жена прораба Прохарченки.— Наплачешься ты с ним, на тракторе спать будешь.

— Наплачусь, Катя, как пить дать наплачусь!— соглашалась помолодевшая после родов Дашка.— Ой, пропаду с иродом!— и висла на иродовом плече, так вся и светясь, так и тая.

В ту весну она, похоже, всем была счастлива — и полувагончиком, и мужем, а больше всего, быть может, твердостью нашей милиции, отказавшейся менять ему паспорт. На радостях выбрала сыну самое что ни на есть русское имя — Иван.

5

Господи, как давно это было! И какими мы были зелеными! Такими зелеными, что за неделю без бритвы становились не ржаво-колючими, а лишь пушистенькими, как персики.

И вот прошло столько лет, что и памяти нет; и давно уже во сне не бегу я, задыхаясь, степью к чему-то нестерпимо прекрасному, и забылись многие имена, лица, стерлись события. Все давно уже неинтересно...

Но вдруг выяснилось: можно поехать. В тот самый город! Запросто! Ничего не стоит, только скажи: туда.

И я сказал. Сперва сказал, а уж потом подумал: зачем? Ведь писано дураку: «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места». Но пока голова трезво об этом думала, сердце стучало все яростней и нетерпеливей.

Зеленого вагончика с антенной на месте, само собой, не оказалось. Аэропорт был, как и везде: солидный, бетонный, серый. Снаружи стояли светлые «Волги» с шашечками, совсем как в столицах.

— Вас в гостиницу?— спросил шофер без всякого юмора.

Потом я долго, до телеграфного гула в ногах бродил по улицам, по неведомой набережной... Город был — чужей не придумать! В сумерки наконец набрел. Сидел во дворе, у круглой чаши пересохшего фонтанчика,

и подозрительно разглядывал обшарпанную четырехэтажку: неужели та самая? Вот это полубарачного вида зданье без всякой архитектуры — это и есть первый наш капитальный? Наш сияющий, греющий душу, наш, видимый черт-те откуда, точно маяк?!

Нет, видимо, старенье есть то, что происходит не только с нами, но и с нашим прошлым. В нас оно живет так, вонне по-другому, с годами пропасть растет, контуры берегов перестают совмещаться. Вот почему «по несчастью или к счастью...». Скорее все ж по несчастью, ибо никуда не денешься: очень это обидно.

Ну, а к прежним людям и вовсе заказан путь. Дома разрушаются, люди растут. Назавтра вот принимал меня главный инженер стройтреста. Рассказывал про темпы, масштабы. Солидный басок, седоватый ежик над высоким загорелым лбом, вальяжные ухваточки. Будто он так и родился — в шикарнейшем, бесшумно вертящемся кожаном кресле. Извинился, повернулся, открыл в стене полированную дверку — там у него холодильник, оказывается. Запотевший нарзан, стаканчики, любезнейший жест: прошу!

Да, говорю ему, а когда-то здесь только подсоленный кипяток с утра пили. Помните, Жакен вас учил, сварщик, чтобы потом не потеть и не слабнуть на лютой жаре...

— Что-то,— говорит,— вроде припоминаю.

Неуверенно так.

А весну шестьдесят второго, трассу — в вагончиках дым, анекдоты, иногда теплая водка, грязь ползет по степи пластами?..

Он помаргивает; я смотрю — реснички у него выгорели, и такая под ними смущенно-незамутненная голубизна, что за версту видать: ничего не помнит! Меня даже в пот слегка кинуло. Не может, думаю, быть такого! Даже ведь на двери написано: Русачков Александр Авдеевич.

— А Маэстро Шахбазова,— говорю,— помните? Мастера механической мастерской, Кольку?

Ага, дрогнуло что-то, глазки зеленой вспыхнули.

— Ну, которому невесту вы привезли, помните?

— А!— говорит.— Как же! Он от нее еще сбежать хотел, наплел ей, будто большой тут начальник...

«Ладно, думаю, пусть будет хоть так».

— Так где он теперь, Шахбазов?

— Ну, что вы! — смеется. — У нас теперь такой городище, что и добрых-то знакомых не встречаешь годами. А его... Нет, даже не помню, когда и видел. Уехал, должно.

Повспоминали еще минут десять довольно вяло: я не помню одних, он — других.

Вышел от него — белесое небо пуще прежнего давит в затылок, рубашка липнет к спине, душно.

Долго, бесконечно долго шагал какой-то дорогой — по бокам решетчатый бетон заборов, густо и однообразно пропыленный, автобусные остановки у проходных, чахлые деревца... И только, откуда ни оглянись, округлые башни опреснителя так и царят надо всем, так и слепят, струятся в небе, ломкие от жары. А тогда над ними еще и кран стоял — рыжий аист.

Наконец выбрался к морю, бродил, искал заветную бухточку. Дно там когда-то почти сплошь было устлано плоскими камнями, поросшими зеленоватой слизью. Отвалишь такой — черный рачище сидит — не шелокнется, ошеломленный внезапным светом. А ты его — цоп! Нахватаешь с десятков и варишь прямо в морской воде — удивительная вкуснятина!

Камней и теперь хватало, но раков не было нигде. Я окончательно устал, искупался и долго лежал на песке, думая, что чужей когда-то построенного тобой города может быть только женщина, любившая тебя давно и вполне мимолетно. И потому — пора, мол, бросить сентиментальные бредни, заниматься делами.

И когда совсем уж не ждешь и не надеешься, вдруг происходит.

Тебя ведут по длинющему заводскому пролету, воодушевленно внушая, как славно принимают тут пэтэушников, закрепляют молодые кадры... И вдруг ты останавливаешься, сам ничего еще не понимая, просто хочется тебе посмотреть, как он руками размахивает — этот высокий лысый мужик, толкующий о чем-то юнцам, которых так и корчит от смеха. К тебе он спиной, только лысину ты и видишь, но на душе у тебя как-то непонятно ширеет, светлеет, точно это не лысина, а разгорающаяся лампочка, солнышко восходящее...

Невольный шаг:

— Маэстро!

Он оборачивается.

— А, журнал,— говорит как ни в чем не бывало.— Здорово, змей!

И вы, как в старые добрые времена, слегка тузите друг друга.

— Ух, растолстел, ёшки!

— А ты? Патлы-то рыжие куда делись?

— Да вот, гладит каждая: хороший ты мой, хороший...

— Ух ты, Шахбазянице! Как первенец?— спрашиваете.— Дарья как?

И осекаешься. Поскольку — мало ли что за двадцать-то лет...

— Да ничего,— говорит Маэстро,— живут, чего им станется? Ванька, змей, в люди метит, в столице учится, а Дашка — та еще выше взяла,— важно поднимает он палец.— Администраторша, во!— и хохочет.

...А потом, на закате, сидишь ты у него на кухне, перед распахнутым балконом — он сам по простоте южных нравов вышел туда в одних трусах и, взмахивая рукой, объясняет тебе, что раки в бухточке еще водятся, ты просто не туда вышел, надо было от опреснителя вон туда взять, левее, за орсовский склад.

— Что за склад еще, где?

— Ну, за те бараки, в которых раньше больница была.

— Какая больница?

Тебе немножко стыдно, что ты все позабыл уже, и не знаешь, как увернуться от этого разговора, но тут приходит Даша. Она теперь такая же яркая, холеная блондинка, как почему-то все — по всему Союзу!— гостиничные администраторши. И немудрено, что там, в гостинице, вы не признали друг друга. А здесь — муж еще и рта не разинул — она странным образом сразу же тебя узнает.

— Ой!— говорит.— Ёшки! Да то ж вы! Как же эта вас не признала, когда прописывала?— и, опустив на пол сумку, всплескивает руками.

— Точно!— смеешься.— Вы меня поселяли... Ну, ничего! Это, говорят, к богатству. А вы тут как, как живете, не ругаете, что я вас тогда к этому вот Шахбазяшке привез?

— Он у меня теперь все в Рустави переехать грозит. Уже и усы было завел, да я один ночью оттяпала!

Потом-то, за столом, после нескольких рюмок она

мужа, конечно, ругать принимается: жить, мол, не умеет, попросить нигде ничего не может, всем со своим языком сала за шкуру залил.

— У, змей!— грозит ему кулачком.— Вот вы не верите, а мы десять лет так в вагончике и жили, пока аж мне от горкоммунхоза не дали, потому и детей не завели больше... Да и сейчас!— машет она рукой.— У всех трехкомнатные давно, а у нас что? Мебели приличной негде поставить.

— Так вот на нее посмотришь,— склоняя голову набок, говорит Маэстро,— посмотришь: вроде вполне городская, советская баба. А замашки все одно из деревни, кулацкие. Всего-то ей мало, все мало...

— Уж лучше кулацкие, чем дурацкие!

Но через минуту она мирно его обнимает, наваливается на плечо пышной грудью, и все вы дружно поете...

— Раки еще есть,— успокаивает тебя Маэстро.— Это ты не нашел, а вот пойдешь со мной послезавтра...

И так тебе хорошо с ними, так отчего-то блаженно, как дома после баньки и то не всегда бывает. И не хочется ни думать, ни говорить о том, что послезавтра ничего уже не будет, потому что счастливая твоя командировка кончается завтра.

— А раки есть,— бубнит подвыпивший Маэстро.— Все, змей, меняться не может! Надо чему-то и оставаться, стержень везде нужен, крепеж. Вот мы с тобой пойдём...

1983

ПОСЛЕДНИЙ МЕЧТАТЕЛЬ



Взгляд у него странный — настырный и в то же время соскальзывающий, убегающий. Спросив, он не от тебя ждет ответа, а высматривает его где-то там, за твоею спиной. Это мешает, и я, уже приготовившись что-то вякнуть, лишь неопределенно подергиваю плечом.

— Вот то-то и оно!— удовлетворенно говорит он.— Даже если взять тебя, хоть ты у нас и молодец, но... сценарии-то пишешь?

— Какие?

- Киношные. Нет? А что ж так жидко?
- Почему жидко?
- Ну!.. Новый год помнишь? Последний наш.
- Вроде бы помню... — медленно говорю я.

Он и в самом деле откуда-то уже выплывает — тот Новый год у Зои Цаплиной, последний наш школьный, неповторимый. Мятным холодком скользит между лопаток... Холодком, в котором все: и мокрая, глубоко, вольно дышащая за окном ночь, как-то ясно, отрадно все время мной ощущаемая сквозь духоту и гам; и высокие комнаты, и белесая пыль, выбитая танцами из скрипучих полов старого дома; и липкое предательство ладоней, которые, стоит тебе подойти к девчонке, потеют и зудят, украдкой вытираемые о штаны... Все-все есть в этом знобящем холодке: и радость, что все же удалась наконец идеальная складка на моих черных дудочках, и таинственность появления первых девчонок — какие они, оказывается, под своими плащами нарядные, надушенные, завитые! — и страх за пластинки — брат голову обещал свернуть, если их разобьют... И первый тост, и смех, и ор, и гам — все-все, вплоть до физического ощущения Нового года, той совсем новой, счастливой жизни, которая входит в тебя с первым же глотком промытого за ночь воздуха, когда после всего этого гама ты оказываешься наконец на крыльце, и уже утро, и небо над морем редееет, и девушка вдруг доверчиво берет тебя под руку, чего никогда с ней еще не бывало!..

Вот только — при чем тут сценарии? Хотя что-то там, кажется, было... Была тесная комнатка, в ней тахта — этаким пружинный матрасище на козликах, — были свечи на пианино, так и не зажженные, ибо не велено. И вместо них — голубоватый свет ночника, и белые Вилькины пальцы, хищно присогнутые над клавишами, как бы нацеленные вырвать зараз целую горсть звуков.

— Вон ты о чем! — говорю я.

Да-да, это уже под конец, уже часа в три, когда веселье угасает, танцы поднадоели, а в открытую форточку выманивающе долетает то чей-то смешок с улицы, то нестройная песня, и все решают пройтись, девчонки уже разбирают плащики... Само собой, хохот, тысяча недоумений. И тут вот в дверях вырастает Вилька, звучным, полным своим голосом перекрывает галдеж: «Внимание, господа! Для оставшихся будет играть Виль Зуев, Советский Союз!»

Он был девчачий кумир и красавчик, наш Виля. И Зойка тут же, конечно, осталась. И Милка осталась, и я покорно потащился за нею, плюхнулся на тахту... И Шафига, и Зорик, и все в конце концов набились в Зойкину комнатку, как сельди в бочку. Вилька, погасив свет, чтоб все было как на концерте, сыграл нам сперва нечто короткое и бравурное, а потом долгое и печальное.

И опять все болтали, острили, хохотали, Зойка прищипала бумагу, все стали сочинять афишу нашего фильма, понаписали много глупостей. Постановщиком там значился, естественно, Вилька, автором сценария я, в главной роли — наша красотка Шафига Шарипова, заслуженная актриса Татарской и прочих республик. И Петька тоже чего-то там рисовал, вякал не очень для нас лестное, за что Шафига лупила его по шее, а он блаженно улыбался...

— Конечно,— радостно говорю я,— конечно, помню! И афишу, и...

И осекаюсь, сообразив, что у нас же с ним спор, он доказывает, будто ничего так и не вышло из наших тогдашних мечтаний, и эта афиша, следовательно, еще очко в его пользу, так как я не пишу сценариев, Виль наш спивается где-то в провинции актеришкой без речей, а Шафига и вовсе, кажется, погибла.

— Да, было времечко!— вздыхаю примирительно.— Ну, дурачки, ну, мечтали, хвастали... Так разве в семнадцать не положено быть хвастунами?

— В семнадцать-то...

— Брось, Петька!— говорю я.— Лучше давай выпьем. За всех, кто там был! За нас!

— За всех?— он как-то сомнительно хмыкает, но пьет, и мы с минуту молча оглядываем стол, соображая, чем бы притушить хмельное тепло, растекающееся в подвздошь.

— Эх, хорошо!

Сидим мы с ним в старой гостинице на ресторанной веранде. Ветерок шевелит над нами полосатый парусиновый тент.

Веранда эта — шестой этаж громадного дома, и, как ни разросся в мое отсутствие наш городок, отсюда он по-прежнему виден, будто весь на ладони. И еще видно солнце, стекающее багровою каплей в фиолетовые холмы у горизонта, и светлое еще море, и сумерки,

густеющие, точно кисель, под кронами молодых софор приморского парка. Все явственней слышен йодистый запах выброшенных штормом и подгнивающих на берегу водорослей.

Мне хочется расспросить его об этом шторме и еще каких-нибудь пустяках. Ну, скажем, до сих ли пор ловятся бычки на камнях и на что ловятся? Ведь это — черт подери! — та самая веранда, и город тот самый, и море...

Я жил здесь всего два года, потом не был почти четверть века, да и приехал лишь на неделю. Но те два года значили для меня столько, что было бы обидно не ощутить, не увезти опять чего-то тогдашнего. А ощутить все не удавалось.

Не слишком обремененный делами, с которыми приехал, я шлялся по улицам, приглядывался к домам, прислушивался к горластым дворам, увешанным постирушками, усыпанным чумазой ребятней; на закате брел далеко в степь, давно уже выгоревшую, мутную у горизонта. И все мне было что-то не то. Я задыхался, солоноватая белесая пыль щекотала горло, воздух был сух и горяч даже ночью. А ведь нигде в мире не дышалось мне так легко, нигде влажный ветер не наполнял грудь такую сладкой тревогой, как здесь когда-то. И говори не говори, что ты, мол, здесь ни при чем, это просто море мелеет и отступает, и с каждым годом дыхание его в городе чувствуется все глуше; говори не говори — а все-таки как-то обидно.

Бэллу Рудольфовну, старую нашу литераторшу, встретил я случайно, у рынка. Она всплакнула, когда я назвался, сказала, что не только, мол, помнит, а следит и даже слышала о моих успехах... Я не стал уточнять о каких. Приятно хоть так узнать, что есть и у тебя успехи. И пока нес я сумку ее с баклажанами и алычой, она рассказывала, кто нынче где и кем из нашего выпуска. Странно, но я многих не помнил. В том числе и Петю Симакова. То есть что-то такое мерцало, какие-то стихи, споры, бесцветные усики...

Но остальные были где-то далеко, он — здесь, старушка говорила о нем с гордостью, и я, поколебавшись, отправился с утра к нему на завод. Вопреки ожиданиям, он не только вспомнил меня, но и сразу узнал, обрадовался, попросил лишь чуть подождать, пока за-

круглит самые срочные из дел, после чего я около часу разглядывал весьма солидный его кабинет с четырьмя телефонами, электронным табло и прочими штуками.

И вот мы здесь, на веранде, чему я рад, и спорим, чему не очень.

Уже и сумерки выползают из парка, вдоль набережной повисает низка молочно-розовых бусин, пахнет полынью и морем, и вечер без нашего спора мог так быть хорош — прямо до дрожи. Но...

— Уж очень высоко мы замахивались! — обмакивая в соус лаваш, яростно провозглашает мой одноклассник. — Слишком! Помнишь, читали: «Кто мы — фишки или великие? Гениальность в крови планеты!» С упоением, а? Вот это-то упоение нам потом и отрыгнулось. Так или нет?

Что ему сказать? Так? Или нет?

Сколько себя ни помню, наше поколение всё судят, всё его ругают! Сперва жучили учителя, родители — за слишком раннюю зрелость, цинизм, иронию, самонадеянность и непочтение к авторитетам; потом писатели, журналисты — за инфантильность, чересчур долгое детство, нехватку задора и конформизм; а теперь уже и детки пошли потихоньку — за неумение жить, излишний романтизм, почтение к авторитетам, раннее старчество...

За долгие годы на этом деле обкаталось столько фраз, в которых вроде бы и ум, и наблюдательность, и если не правда, то все-таки что-то где-то... И такой в этих фразах соблазн для всех доморощенных философов, и столько раз я уже все это слышал, что послать бы его подальше, и...

Можно бы и послать, да я уже к нему пригляделся, уже передо мной не неведомый чего-то там начальник, а все тот же наш Петя Симаков, и любовь к спорам у него все та же, и так же пощипывает он усики, только стали они жестче и гуще, с сединкой, да на месте задиристого хохолка — просторная лысина, да голубоватое бельмо появилось на левом глазу. Из-за бельма-то он и глядит все время чуть в сторону, а это и придает его лицу чужое выражение недовольства, даже брюзгливости.

— Петь, — говорю я, — а что у тебя с глазом?

Отмахивается:

— Чепуха! Стружка попала.

— Когда?

— Давно. Работал на фрезерном.

— Как? Ты ж сразу в институт, с первого захода, я ж помню. И не куда-нибудь! Из нашего класса вообще куда-нибудь не поступали, а ты...

— Все мы с первого захода чего-то да оторвали!— не дослушав, отсекает он восторженные мои воспоминания.— Ну и что? Ничего ведь так и не получилось? В итоге-то?

— Да брось!— смиренно предлагаю я.— Что — так уж ничего и ни у кого?

— А у кого, у кого, ну?

— Да мало ли? Ну, я не помню, кто у нас там... Зорик, например.

— Казарьянец? С месяц, как виделась. В бакинском «Интуристе» на саксофоне дудит.

— Шутишь? Он же в консерваторию поступал.

— Ми-илай!— торжествующе тянет он.— Об чем и речь: все мы поступали куда-то. И не просто куда-то, а ого-го! Море было по колено. Ну и что?

Эх, надо было сразу отшутиться. Что ж, мол, что не великие? Зато и не фишки, никто нас не двигает, вот в кабаки сами пришли... А теперь уже и обидно: на весь наш клас да не сыскать ни одной воплощенной мечты? На наш, самый талантливый и хулиганистый?

— А Фикрет?— вспомнив еще одно имя, говорю я.— Он здесь?

— В Баку. Ну, его бы ты не узнал. Стал такой белый, полный, как будто завмаг, да? На тар совсем не играем, немножко математику преподаем, совсем чуть-чуть...

Я смеюсь. Так похоже вышло, даже нос у Петьки будто вытянулся и обиженно загнулся.

— В институте?

— Преподает? Нет, милай, в школе. Всего лишь. В науку пойти дерзости не хватило.

— Дерзости?

— Вот уж действительно!.. Да за что ж дважды исключали из школы нашего стеснительного и деликатнейшего Асланова, как не за дерзость? Они с математиком вечно цирк устраивали. Вызывая к доске Асланова, тот выискивал примеры невысказанной заковыристости. Фикрет чуток задумывался и писал ответ.

Сразу и начисто. «Тэ-эк,— удивленно сверяясь с бумажкой, тянул математик.— Но как же ты это получил? Нет, ты объясни!»—«Ай балам!— взмахивая руками, взрывался Фикрет.— Самому соображать надо! Чуть-чуть, да?» Ни дисциплина, ни застенчивость не могли пересилить в нем презрение к бездарности.

— А это, милай, не я так говорю,— заверяет меня Петька.— Это он так сказал, да!

За соседним столиком появляется знакомая Петьке компания, он трясет над головой сжатыми руками, приветствуя их. Этого мало. Подходят, жмут руку, улыбаются, восхищаются и, наконец, увлакивают его к себе.

— Извини,— говорит Петька.— Сам видишь...

Признаться, я рад возможности побыть одному. Спор наш чем дальше, тем тягостнее ложился на душу.

А веранда почти уже полна. На дощатой эстрадке устраивается местный джаз — четыре пижона с грузовиком аппаратуры. Публика самая разношерстная. Но Петькины знакомые явно завсегдатаи-солидняки. Официант склонялся над ними с преувеличенным почтением. Что не мешает им, впрочем, с еще большим почтением юлить перед Петькой.

Странно, что Фикрет стал учителем. Впрочем, тут, быть может, и нет ничего вынужденного, житейски случайного. Профессию, как и все в жизни, можно выбрать и от противного, вопреки чему-то. Но это, конечно, для Петьки не довод. Он вещает свое с таким напором, что тут пахнет уже не доморощенной философией, а страстью, личным интересом...

Грохнул джаз. Петька очутился в кругу, бабенка лет тридцати в малиновом бархате притопывала и трясла перед ним рукавами. Грудь ее так и искрила, густо вышитая чем-то блестящим. При Петькиной корпуленции пляска их выглядела смешно, даже жалко.

Впрочем, жалко мне его не было. Просто я думал; что солидное положение всегда навязывает человеку некоторое притворство, игру. Вот: Петьке, может, и хочется послать их всех подальше, а надо по-своему ублажать, хотя это не он, а они перед ним заискивают. Не потому ли люди с положением, хоть и гордятся собой, но втайне жизнью чаще всего недовольны и даже уверены, будто хотели и добивались чего-то совсем другого, неполучившегося?

Он отвел даму к соседнему столику, и там его опять умоляюще хватили за руки:

— Мэнэлим, Петр Саныч, мэнэлим...

Джаз грохотал.

— Уф!— сказал Петька, валясь в кресло.— Еле отмотался. Ты извини.

Он стал что-то рассказывать о своем младшем. Я плохо понимал из-за музыки. Да и что мне за дело до какого-то акселерата в сторублевых штанах! Я думал о нем самом, о Петьке. Чем ему так уж это улыбается — принадлежать к поколению неудачников? Возвыситься за чужой счет? Владельцы просторных кабинетов редко сомневаются в том, что являют собою пример положительный. Но, вероятно, быть положительным исключением еще слаще? Не одним из многих, а единственным — а? Подыграть ему, что ли, выманить на откровенное хвастовство и тогда...

— Что-что?— переспрашиваю я.

А! Петькино чадушко собирается в военные, а не в гражданские летчики только потому, что у военных пенсия больше. Действительно, неплох закидон для семнадцати лет.

— Ладно!— говорю, почти что ложась грудью на стол, чтоб он хоть чуть-чуть меня слышал.— Дай бог вашему теляти... Но можно отлично устроиться и все же остаться в дурнях!

— Вариант не исключен,— не обижаясь, соглашается Петька.

— А я тут знаешь что вспоминал, сидючи? Сочинение, которое в девятом писали.

— Что-что?

— Сочинение!— ору я.— Помнишь, Белла Рудольфовна придумала нам свободную тему? О будущем.

— А! Ну как же! Один товарищ еще накатыл: будет, мол, пурга на сибирской стройке, а он будет идти... идти... Забыл, куда он там будет идти? Но Белла читала с таким восторгом.

«Что? Получил по морде?»— спрашивает его улыбочка. Я креплюсь.

— С этим,— говорю,— товарищем суду все ясно. Был ему такой урок на тему: как не надо писать именно то, чего от тебя ждут. Потом пригодился.

— И больше он так не писал?— улыбочка еще ехидней.— Или бывало?

— Изредка. Но я, Петя, о другом. Я насчет маленького узла для гигантского самолета.

Еще не договорив, чувствую, что несу что-то не то. Хотел ведь ему подыграть... Уж очень он злится умеет, черт бельмастый!

— Не довелось, увы!— как-то даже радостно разводит он над столом пухлыми ручками.

— А почему? Выпускники МАИ...

— Поступал в МАИ, а выпускник я, милый, АЗИИ.

— Что ж так?

— Жизнь складывается непредсказуемо — как сами вы изволили выразиться.

— И куда распределился?

— Как всякий заочник... Но! Если желаешь, то и спорить не буду: в конструкторы я мог. Была такая возможность, но! Не переходить же со ста шестидесяти на голенькие сто десять? Семья — она презренную капусту любить!..

— Ну хорошо,— соглашаюсь,— не будем понимать наши мечты так буквально. Ты инженер, руководитель производства...

— Хи-хи!— он даже в кресле подпрыгивает.— Милый, не щекоти пятки! Снабжение и сбыт — это не производство. Это у нас цирк! Прохиндейство и черт вообще знает что! Я тебе про любимую службу могу не на фельетон, а на дю-дэктив порассказать. Роман века напишешь! Желаете?

— Ах, вам не нравится?— подхватываю я, опять мимовольно соскальзывая в издевку.— Тем более — зря в конструкторы не пошел. Легче кошелек — легче и совести!

— И представь: отлично я это знаю. И тогда еще знал! Да, милый ты мой, ну кто ж этого не знает? Но! Ученый, сверстник Галилея, был, как ты помнишь, Галилея не глупее. И знал, что вертится Земля, но у него — увы! — была семья. Вот так приблизительно. Кто заводит жен и детей, тот оставляет судьбе заложников.

— А это еще что за вирши?

— Не вирши, а философия. Бэкон.

— Не знаю, не читал. Но фамилия свинская.

— Ты, милый, всегда был дико необразован...

Где-то тут его опять утащила к себе компания с ма-

линовой красоткой. И хорошо сделала — иначе б мы вдрызг разругались.

Хотя бы потому разругались, что с некоторых пор известного рода шуточки действуют на меня, как на быка красная тряпка. Секрет этого юмора, получившего у нас широкую популярность в узких кругах, довольно прост. Берешь грешок, гаденький какой-нибудь, и ни в коем разе его не прячешь — наоборот, вертишь в разговоре у всех им под носом, как дорогой цацкой: вот, мол, да, некоторым образом приобрел-с, ну и что? И глядишь, ты уже не носитель грешка — ты уже выше этого, как человек широких взглядов. Ну, циник немножко, так в этом самая-то и соль. Стоит это недорого, в обращении удобно, эффект гарантирован!

Петькины шуточки о капусте и любимой службе были как раз в этом роде, и я уже набирался злости сказать об этом, но тут его увели, минут через пять он возник среди танцующих, и красотка в малиновом бархате опять вся искрилась, вскидывая и роняя пред ним долу роскошные свои руки. Он подпрыгивал, животик его тоже подпрыгивал, грозя вывалиться из фирменных вельветовых штанов. Австрийский батничек потемнел под мышками. Странно, но я за весь день как-то и не заметил, что Петька такой пижон — «весь в фирмэ».

Неожиданность этого открытия меня, наверное, и подкузьмила. Глядя на них, я стал думать, что человек, может, так и не привыкает к своему телу. Излишняя полнота, физические недостатки и болезни — это не мы, это на нас, как плохо сшитый костюм. А человек, каким он сам себе кажется, все-таки виден сквозь все, проступает. Так же, как может в нем самом проступить какая-то давняя боль — сквозь смех, ерничанье, танец... Не знаю, какое все это имело отношение к танцующей передо мной паре. Просто так: думалось — вот я и думал.

Петька пришел, плюхнулся в кресло и сказал, будто мы и не прерывали спора:

— Самым умным из нас был не я, а Октай.

— Гусейнов?

— Он, милай, он! В том сочинении один он написал правду: хочу, мол, дом — чашу полную. Без романтических затей.

— Ну у тебя и память!

— Провинция — она, брат, все помнить! К тому же разве мы не все того же хотели, только постеснялись написать? А? Скиснительные были — страсть.

Ну, ладно. Не стоит вспоминать всего, что было сказано. Думаю, приятного он почерпнул мало. Уж тут я и насчет шуточек его выложил, и что не все так уж любят капусту, ровно как и не все, знающие, что Земля вертится, искажают в отчетности этот смущающий начальство факт. Да и такими стеснительными, как он думает, тоже были не все. Даже красотка наша Шафига и та не постеснялась написать, что родит четверых детей, хоть все и ржали, как недорезанные, а Зоя — что у нее будет красивый и знаменитый муж... Не постеснялись? Так что ж помешало ему?

Все это я говорил, глядя в стол, чтобы не дать себя перебить. Но когда кончил, над нами повисло молчание, такое долгое, что мне стало даже неловко. Пригласил одноклассника поболтать, молодость вспомнить, а сам взял и к стенке его поставил — хорош гусь, а?

— Ладно,— забормотал я миролюбиво,— бросим эту тему и поговорим лучше о бабах. Где, кстати, наша Милка, где Зоя — ничего не слышал о них?

Он опять промолчал. Лицо его было бледно, лысина покрылась потом.

— Тебе плохо?— приглядевшись, с тревогою спросил я.

— Нет-нет. Это так... чисто алкогольное.

Достал платок, вытер лысину.

— Шафига... Шафига, если хочешь знать, была не красотка, а красавица — большая разница, милай! И уж она-то могла себе устроить любую судьбу, как теперь говорят. Стоило только пальчиком поманить... Да вот — не захотела.

— Да, я слышал... Она погибла, кажется?

— Погибла. Милка тоже недолго по тебе горевала, вышла замуж за одного тут... Потом в Невинномысск уехали. Ну а Зоя — Зоя моя жена.

— Вот как?— от удивления я чуть было не ляпнул про Вильку, да спохватился: мало ли кого кто любил четверть века назад? И только повторил:— Вот как?

И опять молчание повисло над нашим столом. Мне было как-то не по себе, будто я таки бог знает что ляпнул и теперь не знал, как выкрутиться. С радостью ухватился за первое подвернувшееся:

— Послушай,— сказал,— Октай — он ведь что? Здесь где-то?

— В Поселке.

— Ну?! Так давай возьмем коньячку, тачку... Нагрянем, а?

— Я адреса не знаю.

— Ерунда! В Поселке — да не найти? Давай! А то мы тут спорим...

— Визит к последнему, так сказать, мечтателю: осуществилось ли хоть у него? Пожалуй...— вяло полу-согласился он.— Я только должен тут пару слов с ребятами... Ты посиди.

Сидеть уже я не мог. Мне загорелось немедленно смыться отсюда, увидеть новые лица... Чтобы ускорить это, я кинулся на поиски нашего официанта. Он стоял у железной, увешанной вазонами с зеленью решетки, прикрывающей вход в кухню, и глубокомысленно выстукивал что-то на кассовом аппарате.

Насчет коньячку мы с ним мигом договорились, но чуть я вытащил кошелек, он замахал руками и попятился от меня, как от черта, жалобно бормоча, что очень Петра Саныча уважает, что гость у них святой человек и вообще «не могу, никак не могу, дорогой!». Я попробовал сунуть бумажки ему в карман, но он так дернулся, что чуть не уронил один из вазонов. На нас смотрели посмеиваясь. Я почувствовал, что выглядим мы со стороны довольно нелепо, и обида, как хмель, густо ударила мне в голову.

Когда вернулся, и коньяк и Петька были уже на месте. Что, мол, за дела, строго, не садясь, спрашивал я, почему меня выставили идиотом? Он тянул меня за руку и уверял, будто Идрис ошибся, поскольку я приезжий; у них старый уговор, но на меня он не распространяется.

— Темные делишки тут обделываешь?

Да, согласился он, темные, но на пользу производству и только ему одному. Все равно, гордо заявил я, за счет всяких там производств пить не буду — и выложил деньги. Мы их перепихивали друг другу, разбили фужер, официант тут же его убрал, а Петька сдался и спрятал мои десятки в карман, но как-то так, что мне опять стало стыдно.

Мы еще долго и темпераментно объяснялись, наконец дружно решили выпить за темные его делишки — чтоб они провалились!

— Вот именно — чтоб им провалиться! А пока есть, так кто-то их должен делать, да? — Петька сорвал станиолку и лил коньяк, щедро расплескивая на скатерть. — Выпьем за всех, кто их делает честно! По силе возможности, да?

Я придержал его руку.

— Постой. Что ж ты открыл? Мы что — не поедем?

— Куда? — удивился он.

Я и сам подумал: куда? Было уже совсем темно, фонари ярко подсвечивали снизу листву тополей, что когда-то прутиками свистели на ветру, а теперь глухо шумели чуть ниже веранды, на уровне четвертых этажей. Петька был пьян... Куда было ехать?

На улице, впрочем, я быстро пришел в себя, во всяком случае настолько, что поволок Петьку пешком, дабы не вышло с ним каких недоразумений в транспорте.

Дорогой он стал рассказывать мне, как погибла Шафига. Язык его заплетался, я понимал рассказ с пятого на десятое. Сразу после школы она провалилась в ГИТИС, вернулась домой и пошла работать аппаратчицей на комбинат. Петька тоже хотел вернуться, но мечта, проклятое зазнайство... И сама она не хотела. Кто сама — мечта? Ах, Шафига... Писала, что работа хорошая, всё, мол, в порядке. А в декабре случилась эта авария, утечка хлора или еще какой гадости. И, сам понимаешь, она кинулась спасать, ну и... Без противогаза кинулась; напарницу, которую она спасала, потом как раз и спасли, а ее... Вот так все наши мечты! Четверых ребят хотела родить. Все мы смеялись, как дегенераты, а она очень детей любила, говорила, в садик пойдет, няней, раз с институтом не вышло, но братья отсоветовали: на комбинате, мол, деньги большие, так соберешь на будущий год для Москвы...

— В этом я их не виню! Кабы знать, где упасть, да? — кричал он пьяно рыдающим голосом. — Но что никто мне даже телеграммы не дал, не написали ничего... Представляешь? Я пишу ей, пишу, думаю, что случилось... Знаешь, я и сейчас иной раз ей пишу, сяду вот и пишу, пишу...

И все время он пытался «упасть на холм и зарыдать в траву», очень ему этого почему-то хотелось, я еле до-

вел его до старого рынка. Здесь, на углу, поджидал его сын, совсем даже не акселерат, щупленький такой... Отца из моих рук он перехватил довольно привычно, видимо, не в первый раз встречал такого папашку.

— Пошли, пошли, чуда!— говорил, закидывая отцову руку себе на шею.— Вот будет тебе завтра от мамки!

— Что ты понимаешь! Я одноклассника встретил, друга, понял?— лепетал Петька.— Вот встретишь лет через двадцать, тогда и...

Они прошли несколько шагов. На всякий случай я плелся сзади. Петька вдруг повернулся, чуть не повалив пацана на землю, и поманил меня пальцем.

— Чего тебе?

— Думаешь, я такой пьяный?— спросил он, пытаюсь выпрямиться.— Нализался, думаешь, и не поехал к товарищу, да?

— Трезвый ты, трезвый, успокойся!

— А почему я к нему не поехал?

— Ну, почему?

— Боюсь,— сказал он без всякого куража, как-то вдруг тихо обмякнув.— Боюсь. Приедем — а там и вправду окажется, что все мы были дураки, а он один умный. И все у него, как хотел, да? Не-ет, пусть уж этот твой последний мечтатель так и сидит. В поленьковой своей чашке, накрывшись тарелочкой, пусть! Понял?

— Пусть!— согласился я.

— Шафига не зря его терпеть не могла, она людей знала. Она... она удивительная была... А ты: «красотка»! Эх ты!

Иду наугад. Во дворах темь, запахи пищи и мусора, неожиданные кусты; на улицах яркий мертвенный свет, кривые сучья и мелкая резная зелень ленкоранской акации. Пряный гвоздичный запах невидимых ее цветов. Окрепший ветер гонит вдоль поребриков песок, выдувает остатки хмеля. Еще один двор. Какая-то собака с лаем бросается под ноги. Здесь гаражи, прохода нет, сворачиваю влево и выхожу к старой автостанции, в которой теперь цветочный магазин. Где-то тут мы и гуляли в тот Новый год. Вон, кажется, те стрельчатые окна... В одном горит свет, виден фикус, красные обои. Или левее? Не помню.

Стою, разглядываю в чужом окне фикус. И тут что-то происходит с моей головой. Как будто чуть тлевшая во тьме спиралька вспыхивает и заливает ярким светом своим всю округу.

Господи, какой я дуб! Так бы и хватил себя кулаком по лбу! Ну как же это я все, совершенно все позабыл! Ведь Петька же, господи!.. Да он же одной Шафигой и дышал, мы же их врозь даже не видели. Ну да, ну да! И когда Бэлла, разбирая ее сочинение, стала что-то там говорить про четверых детей и карьеру актрисы, как он вдруг заерзал, наш Петька, как яростно выкрикнул: «Ну почему? А вдруг у нее муж будет хороший?»— и так покраснел, что даже из класса выскочил. Все заржали... Может, потому и заржали, что были уверены: Петька у нее и будет. Нам ведь тогда многое в жизни казалось решенным уже окончательно. Они и в Москву поехали вместе. На месяц раньше меня. Петька как-то, видать, уговорил своих, что ему надо, наплел небось что-то про курсы...

А в Москве... В Москве-то, наверное, и случилось что-то такое, о чем он говорит: ей, мол, стоило судьбу пальчиком поманить. Не поманив, она вернулась сюда, чтоб вскоре хлебнуть хлору, а он ничего не знал, учился себе конструировать самолеты, осуществлял мечту. И то, что он всё пишет ей письма, сидит вот иногда и пишет, это, может быть, вовсе не пьяный бред и не обмолвка...

Постоял еще минуту и пошел к морю. Ветер дул мне прямо в лицо. Я захлебывался, хватал его полным ртом, жадно и торопливо, чтоб как-то перебить то, что саднило душу. И он, совсем как когда-то, отдавал солью, водорослями и рыбой. Он туго наполнял душу прекрасной жаждой чего-то, чего не бывает на свете... Мне было горько и стыдно, а вместе с тем так отчего-то отраднo, как давно уже не бывало.

На следующий день я зашел проститься с Бэллой Рудольфовой.

Нет, сказала она, что ты! Зоя давно уже Симакова, дело у них, пожалуй, к серебряной свадьбе. Той осенью, после десятого, она родила. Сын был вылитый Вилька, но с Вилькою было плохо. Родители его уехали, сам он поступил на актерский, где-то, по слухам, даже снимался или собирался, что-то там такое, а Зое не писал

ни строчки. Бэлла всегда Вильке мирволила, и даже тут ей казалось, что это какое-то все же недоразумение, молодые пустяки. Она ходила к Цаплиным — поговорить, быть может, помочь, но ее попросту выставили. Вообще у Цаплиных было очень плохо. Зюечка металась, хотела отказаться в роддоме от ребенка, потом топилась, потом еще что-то... Словом, с ней было просто ужасно, а тут эта авария, похороны Шафиги,— с нею погибло еще двое, хоронили всем городом,— а через месяц, досрочно сдав сессию, примчался взмыленный Симаков. Родители его, конечно, все знали, а писали только: не встречаем, мол, не видим,— просто чтоб парня не срывать с занятий. Потому что первый курс — это же так важно, и родители есть родители. В институт он не вернулся, дома жить не хотел, с ним тоже все было плохо, вот Бэлла и попросила его «поддержать Зою морально». Так это вышло.

Что же касается Октяя, то он уже года два, как переведен на Украину. Служба его идет что-то не очень. Все еще майор, а детей много, кажется пятеро. Так что если дом его и полная чаша, то разве что в тех очень относительных, почти нищенских масштабах этого понятия, которые были в ходу четверть века назад.

— Вообще-то, действительно,— говорила она,— я не помню класса талантливей вашего, и столько у меня было надежд!.. Но какие-то вы оказались нежизнестойкие.

Я не возражал. Она старалась выглядеть бодро, хотя мешочки щек вздрагивали при каждом движении, сквозь седину проглядывала серая лысинка, а тесная и всегда нарядная квартирка старой девы уже производила впечатление некоторой запущенности. Силы были, видать, не те...

И молча на все это глядя, я думал о том, до чего ж неожиданно, путано и страшно складывается порой даже самая мирная и благополучная жизнь. Хоть у того же Петьки, к примеру. И как уж тут судить о жизнестойкости, и что это вообще за зверь — жизнестойкость?

Быть может, сведи меня вчера судьба-дорожка с тем, кто, несмотря ни на что, осуществил свою молодую мечту, было бы мне сейчас куда горше. Ведь...

«Осуществил, несмотря ни на что»... Да на что — не смотря? На смерть Шафиги? На Зойкино горе? Что ж... Были и среди нас умельцы шагать по несчастьям и тру-

пам, но, слава богу, не так уж их было и густо. А в нашем классе, может, ни одного и не было.

А Петька — Петька и теперь еще в чем-то мечтатель, последний мечтатель из нашего класса.

1984

ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ

1



последний раз, если не считать коротеньких полуразговоров где-нибудь в коридоре управления, виделись они в конце июля, когда Игорь наконец выбрался на дачу к Нечесовым.

Еще зимой, едва вернувшись с Севера, он случайно столкнулся с Вадиком в управлении, и, потискав на радостях друг друга, они с удивлением выяснили, что опять, как когда-то, пашут в одной конторе. Правда, «контора» была теперь громадная, целое объединение, а Вадька оказался довольно высоким, хоть и косвенным Игоревым начальством, что, конечно, будь это не Вадька, а кто-нибудь другой, неприятно напомнило бы об упущенных годах и многих житейских ошибках, но — Вадька, Вадька, надо же!.. Игорь только головой крутил от радости. Тут же договорились, что в ближайший выходной нагрянет он к Нечесовым с новою своею половиной, и тогда уж они...

Но потом прошла зима, Нечесовы переехали на дачу, промелькнула весна, а он все что-то тянул и сам не понимал, отчего тянет.

И вот они идут с Людой от станции, разморенные и слегка помятые в переполненной электричке, жмутся к заборчикам, невольно замедляя шаги на клочках блекло-серой, ни от чего не спасающей тени. На улицах душно, пусто и тихо. У перекрестка Игорь растерянно приостанавливается, и Люда промокает платочком пот на висках, вздыхает.

— Дорогу забыл? — спрашивает.

— Да нет, но как-то, знаешь, дико. Я ведь здесь — дай бог памяти — лет пятнадцать уже не был, если не больше. И как-то мне...

— А ты не нервничай,— говорит Люда.— Все будет хорошо, вот увидишь. Я им поправлюсь, они мне тоже.

— С чего мне нервничать?

Он хмыкнул и искоса, с интересом взглянул на жену.

Нет, он не то чтобы нервничал, с чего бы? Но какое-то внутреннее напряжение не отпускало его, поткивало, поддрагивало в нем. Правда, Люда здесь ни при чем. Уж она-то понравится, еще бы! Но как-то неудобно: так давно их звали, они все не ехали — и вдруг... «Ерунда, впрочем!— думал Игорь.— Какая, к черту, неловкость! Вот, скажу, ребятки, не было б несчастий, так и старые б друзья не встречались. Вера, конечно, испугается: что такое? А, скажу, подбросил мне твой благоверный этакое несчастье по фамилии Привалов...»

Привалов был новым начальником того цеха, где Игорь работал старшим инженером-технологом. Вчера после обеда на третий участок пришли рабочие и, с разрешения нового начальства, стали ломиками долбить пол. Игорь даже глазам своим не сразу поверил.

— Вы!— задыхаясь, кричал он.— Вы понимаете, что такое вакуумная технология? Да вы знаете, что грамм пыли сделает с любой нашей установкой?

Привалов, топыря губу, не торопясь осмотрел его с головы до ног, спокойно сказал:

— Знаю. Испортит.— И ушел.

Через полчаса рабочих, однако, сняли.

Вечером, рассказывая это Люде, Игорь вдруг сказал, что о таком конечно же надо бы срочно переговорить с Вадькой. «Так поехали,— сказала она.— Нас давно звали». И теперь он был, пожалуй, даже рад, что так вышло, ибо побывать у Нечесовых и особо на даче ему хотелось. В том-то все и дело, что очень хотелось.

Вадька Нечесов, в пижамных штанах и сетчатой майке, полулежал в гамаке, натянутом меж старыми соснами, в их жидкой тени. Увидя гостей, попытался бурно обрадоваться, вскинул руку:

— О! Кого вижу!!— Но, с трудом вывалив из гамака свое неповоротливое, жирное тело, вздохнул почти страдальчески:— О господи! Я, ребята, по такой жаре уже не человек. Растекаюсь...

Сосны, гамак — все было на своих местах. И просторный, в полтора этажа старый нечесовский дом был все тот же, вот только веранда... Игорь приостановился, оглядываясь.

— Да,— вздохнул за его плечом Вадька.— Вымер, друже, отцов виноград, вымерз. Еще при старике. Теперь такого не достать. Батя его с Дальнего Востока привез, уссурийский... Вот веранда и лысая. По такой-то жаре!

Поднялись на крыльцо. Вера всплеснула перепачканными красной смородиной руками (на столе у нее была привинчена соковыжималка), подбежала, подставила Игорю щеку: «О боже, ты все такой же!» — поцеловала Люду.

— Вот не ожидала! Какие вы молодцы! Как вы только добрались в такую жару? Людочка, я вижу, совсем еле живая...

— Ничего, сейчас оживим,— подмигнув, Вадька исчез в полутьме дома.

— Садитесь, садитесь,— усиленно суетилась Вера.— Вас, Людочка, я немного уже знаю, Вадик от вас просто в восторге.

— А ты совсем не изменилась, старуха!— сказал Игорь.— Немножко только...

Он чуть не брякнул о чем-то жалостном, растерянном, что появилось в ее привычно-суетливой худенькой фигурке, но она, слава богу, не слушала, говорила что-то улыбавшейся Люде.

Веранда была прокалена насквозь, пахло здесь перегретой, подтекающей краской, горячей пылью улицы и привядшими флоксами. Но все-таки, стоя у открытого окна, Игорь с мгновенной и тоскливой ясностью вспомнил, почти увидел за ним грозди мелких темно-фиолетовых ягод с налетом сизой металлической мути, нестерпимо кислых, и еще, тут же — шершавые лозы, остатки крупной ржавой листвы, октябрьский ветер, свистевший и тенькавший стеклами.

Еще не ходила сюда электричка, не было дачников, и Кузино, где он жил, было еще отдельной деревней за небольшим леском; они учились то ли в четвертом, то ли в пятом, школа была в бревенчатом бараке. Сюда он забегал рано утром, топтался на широкой влажной тряпке, чтобы не наследить, отогревал уши и ждал

Вадьку. Дом этот тоже не был еще дачей, здесь жили круглый год.

— О чем задумался, Игорек?— позвала Вера.

— О винограде.

— Да, отцы ели виноград, а у детей оскомина,— провозгласил Вадька, неся к столу стаканы и запотелый кувшинчик морсу.— Прощу, господа. Уфф!..

Когда-то любил он вот так же, ни к селу ни к городу, выпалить какую-нибудь «вумность» и так радостно, вкусно захохотать, что через полминуты вся компания лежала впокатушку. Теперь только вздохнул.

— А мы вот говорим здесь, какой Игореха молодец,— сказала Вера.— Возраст его даже красит, а?

— Еще бы!— отозвался Вадик.— Я его едва узнал, когда встретил,— идет красавчик, сияет. Думаю: Игорь — не Игорь? Да, Людочка,— вздохнул он,— в жизни нашего брата от вашей сестры многое зависит. Я вам скажу...

Игорь мимовольно напрягся, опять чувствуя в висках молоточки неясной тревоги. «Господи, да зачем же он?— подумал, быстро и незаметно взглядывая на жену. Она все улыбалась, но уже, показалось ему, как-то замороженно, отрешенно.— Ей же неприятно, ясное дело. И вообще, ничего не надо сравнивать с тем, что было. Неужели он не понимает?»

— Я смотрю, у вас тут перемены везде,— сказал он поспешно.— Обои вот понаклеили. А голое-то дерево красивей, а?

— Возни меньше,— пояснила Вера.— Дачу вообще гораздо лучше снимать, чем иметь.

— Bravo!— деланно хохотнул он и даже прихлопнул себя по коленке.— Ты прямо фразами Полины Карповны заговорила.

— Разве?

— Н-ну?!

— Точно!— заулыбался Вадик.— Мама всегда стонала, дескать, дом — это такая обуза!

— Прекрасно!— еще более оживился Игорь.— За переключку поколений непременно требуется выпить!

Он налил морс в стаканы и галантно поставил один из них перед Верой.

— Верунчик, я предлагаю тост!

— С морсом?— засмеялась она.

— Жара, Верунчик, в жару нет напитка прекрас-

ней...— Он остановился, набрал в грудь побольше воздуха:— Вот, ребята, сколько у каждого отшумело, какие у всех перемены! Эпоха канула! Динозавры вымерли! Но все-таки, все-таки, ребята, мы — вот они мы! Стоит за это, а?

Он затеял этот маленький театрик с тостом, чтобы отвлечь Вадьку, не дать ему сказать о прошлом что-то очень, быть может, ненужное, но, уже говоря, почувствовал вдруг, что и должен был сказать что-то этакое, что восторг его самый настоящий, и лучшей минуты для этого восторга может уже и не быть.

Вера всплеснула руками:

— Конечно стоит!— схватила стакан.— Ну...

— Узнаю!— Вадька поспешно поднялся, тяжело скрипнув креслом.— Узнаю лучшего тамаду политеха. Только минутку, друже, минутку! Что ж это я, как же...— засуетился он.— Надо же Жанку, сразу надо было, нельзя же!

— Какую Жанку?— сказал Игорь с невольным неудовольствием человека, в чью высокую, светлую минуту вторгается что-то совсем неподходящее.

— Что значит какую? Я тебе не говорил разве, что у нас...

— Жабку, что ль?

Короткий смешок колыхнул Вадькино пузо.

— Тс-с! Это ты не моги. Она теперь солидная мать семейства и не позволяет таких, знаешь ли, вольностей.

— Да-да, ты говорил...— вспомнил Игорь.

Жабка — это было что-то совсем смутное и, кажется, неприятное из дальней дали отрочества, детства даже: «Не надо ее сюда,— хотел сказать он.— Зачем?»

Но высунувшийся в окно Вадик уже звал каких-то Юрку, Кольку; тотчас во флоксах мелькнули и исчезли с веселым криком две рыженькие головенки, а через пару минут на веранде появилась и Жабка, то бишь Жанна Дмитриевна Зыбченко.

— По мужу, Игорек, я Зыбченко. Зыб-чен-ко!— зачем-то по складам радостно повторила она.

Она была в брюках, мужской полосатой рубашке, в очках с золотыми дужками — маленькая и скорее худая, но широковатая женщина с нескладно длинными

руками, совсем незнакомая... И все ж, случись, Игорь, черт побери, узнал бы ее в тысячной толпе, несмотря ни на какие годы, потому что рот был все тот же. Она весьма искусно красила его, только самую серединку тонких, подвижных губ, но стоило ей улыбнуться или заговорить, и сразу видна была прежняя Жабка.

— Как живешь?— спросил Игорь.

— Отлично!— со вкусом пропела она.— Вадька тебе небось уже рассказал. Хорошая работа, чудесные дети, муж...

— Не то слово — муж!— сказала Вера.— Даже сюда, на дачу, он без цветов не является, представляешь?

— А как ты, Верунчик, думала?— растягивая рот, пропела Жанна.— У меня — не у тебя. Зыбченко дрессированный. Я его вот так,— и потрясла над головой кулачком.

Игорь не удержался, захохотал — вспомнилось, как когда-то она скакала по этой веранде, воинственно припевая: «Замечательно живу, Вадьке уши оборву, Игорехе выбью зуб и нарву обоим чуб...» И еще — как Полина Карповна вносила ее письма...

— Ты чего?— удивился Вадик.

— Вспомнил!— хохоча, выкрикнул Игорь.— Письма!

— А... Было дело,— Вадик тоже заколыхал пухом.— Было...

Весной, когда они заканчивали, кажется, восьмой, а Жанка шестой, она куда-то уехала с матерью очень надолго. В сущности, с тех пор Игорь ее и не видел. Но Вадька потом все лето получал письма, где на обратной стороне конверта стояло неизменное: «Целую взасос!!!» Полина Карповна заносила их сыну, брезгливо прихватив за уголок мизинцем и большим пальцем, как нечто нестерпимо гадкое. Женщина деликатная, она не могла, конечно, открыть и прочесть, но... Если такое на конверте, то — о боже!— чего ждать внутри?

Пока Игорь пересказывал все это Люде, пока все смеялись, а Жанна вспоминала что-то еще, ребятишки ее притащили большую тарелку клубники.

— Сама вырастила, вот,— похвасталась Жанна.— В этом году редко у кого такая. Угощайтесь...

— Чего стало в поселке больше, так это клубники,— сказал Игорь,— а меньше — пацанвы. Совсем у вас тихо.

— И как всегда ты, Игореха, попал не по адресу,— хмыкнула Жанна.— Видел моих? Орлы! Я везде передоная.

Люда засмеялась.

Разговор у женщин теперь не умолкал, Люда рассказывала, как выращивают клубнику у них под Житомиром, как ее варят; Жанна что-то выспрашивала. Игорь прислушивался к разговору, не вникая в смысл, как к шуму, и шум этот был ему приятен.

Вадька тихонько ткнул его в бок шахматной коробкой и подмигнул:

— Давай?

— Можно.

Расставили, сделали первые ходы.

— Слушай,— сказал вдруг Игорь,— говорят, что с Приваловым — твоя идея. Верно?

— Нет!— Вадик вздохнул.— С Приваловым, старичок, комбинация сложная. М-да... Жертвуется фигура и пешка, а вторая проводится в ферзи! Привалов то есть,— он сделал ход.— Я же, как тебе известно, вообще предпочитаю игру позиционную, без жертв.

— Я так и думал,— сказал Игорь.

И больше ничего уже не успел. Жанна накинулась на них:

— Ну, нахалы! Уже уселись. Все на озеро собираются, а они...

Через несколько минут их и в самом деле потащили на озеро, даже доиграть не дали.

2

Тени перешли на другую сторону улицы, вытянулись чуть ли не до середины пыльной проезжей части, и уже, совсем как когда-то, носились мальчишки на велосипедах, а жара все еще не спадала. В лесу было даже суше, томительней.

Да и какой это был лес? От песчаной дороги, по которой они шли, то и дело отслаивались тропинки, кружили, скрещиваясь и переплетаясь, беря в кольцо чуть ли не каждое дерево. Толстые, обшарпанные сотнями ног корни выпирали из утопанной земли, и казалось, что старым соснам неважно, душно, они с натугой приподнимаются на цыпочки глотнуть вольного воздуха, но не дотягиваются и глухо ропщут на собственное бессилие.

Жара, сухмень и грусть маревом плыли по лесу и вместе с запахом горячей сухой хвои подбирались к слабеющему Игореву сердцу. Эта дорога помнила его босоногим мальцом, нескладным подростком, верзилкой-десятиклассником в рваных кедах, и теперь каждый шаг по ней давался ему с таким трудом, что не хватало сил вникнуть, о чем он говорит — идущий рядом Вадька, и все отчаянней была духота, и ясно было, что не спасешься купанием, а надо что-то сделать с собой — может, рвануть ворот, крикнуть, что все равно не веришь.

Но чему не веришь... Чему? Тому, что юность давно прошла? Что этот вот толстяк в задирающей на пузе хлопчатой тенниске — Вадька, а не один из тех дачников, что гуляли здесь четверть века назад?

Ах, как хорошо тогда мечталось дать деру с пыльных, тихих поселковых улиц, перевернуть, крутнуть этот шарик по-своему! Увы! — жизнь, словно в насмешку, дала полный оборот, и вот идет Вадька, привычно вытирая шею скомканным платочком, вздыхает, жалуется, с каким трудом удалось в прошлом году отремонтировать верх, как сложно теперь с материалами, так сложно, что он ничего бы и не сумел, если б не Жанна с ее связями и способностями.

— Уж этим-то летом думал отдохнуть, совсем отдохнуть, так на тебе — эта жара! В городе хоть в мороженицу зайдешь, холодной воды выпьешь, но тут...

— А помнишь? — перебил Игорь. — «Богатый нищий жрет мороженое...»

— Что? Ах да, Мартынов, чудесные стихи, да.

«Вадька, опомнись! — хотелось сказать. — При чем тут Мартынов? Ведь это ты! Ты! Молодой, еще не толстый, с пепельным чубом, совсем недалеко отсюда, у танцплощадки. И Вера, замороженно заглядывавшая снизу в твое бледное от ярости лицо, и я сам, и все наши первые мечты, любви и ненависти, вспыхивавшие сокрушительно и неожиданно».

— А что танцплощадка? — спросил он вместо этого. — Все там же?

— Не, та давно сгорела.

— Как сгорела?! — Игорь даже приостановился.

— Легко, как все деревянное. И давно уже, лет десять, там теперь малина вырослась...

— Слушай!— сказал Игорь.— А ты помнишь, как нас всех в милицию загребли с танцев?

— С танцев?

— Ну? Тогда твист-то запрещали. Мы его и не умели, но танцевали из принципа! И забрали одного Володьку, а мы пошли тоже из принципа — все! Нас всех и заперли, пока твой батя не приехал.

— Да-да, смешные мы были. Сколько щенячей гордости!..— Вадька вздохнул.

А Игорь замолк, пригорюнился, думая, что и те, давние дачники тоже, верно, иногда вспоминали, какими были смешными, вздыхали... Среди них было много толстяков, а толстяки любят вздыхать, принимая свой вес за тяготы жизни.

Женщины шли чуть впереди, оживленно болтая; рыжие Жанкины мальчишки носились по лесу, самолетно раскинув руки и гудя на все лады. И вообще все было очень похоже.

На опушке остановились. Внизу лежало светлое озеро, подернутое блескучей рябью. Купы зелено-серого ивняка то тут, то там припадали к воде, а дальше — по верху окрестных холмов — опять стояли леса, почти голубые и как бы струящиеся в жарком, обескрашенном небе.

— Взгляните, Людочка, правда, прелесть?— Вера с восторгом повела рукой.

Люда послушно улыбнулась, кивнула.

Улыбка получилась вялой. И на виске, возле голубой жилки, которую Игорь так любил, поблескивали бусинки пота. Ему хотелось подойти, взять за руку, спросить, не устала ли?

Но не подошел. Это тоже подозрительно напоминало бы известную по той, давней жизни картинку, которая называлась: «Молодая жена и пожилой муж, готовый ее на руках носить, ну, знаете, буквально на руках». Нет, он не Вадька, он еще побудет непохожим!

Когда раздевались,— Игорь был уже в одних брюках, без босоножек и тенниски,— вдруг резко дохнуло прохладой. Ветер прошерстил прибрежный ивняк, кусками выворачивая наружу серебристо-серую подкладку листы. Все оглянулись: большая черная туча быстро выростала по-над лесом, все время как бы перекипая своим светлым, вспененным краем.

— Господи!— испугалась Вера.— Ведь чуяло мое сердце! Как цуцки вымокнем...

Игорь же внезапно и беспричинно развеселился:

— Не мокрей воды будем, старуха, не мокрей!

— С Вадькиным сердцем только и купаться в грозу, много ты понимаешь!— Вера сердито схватила свой халатик, но бежать было бессмысленно.— Ох... Черт с вами! Но ведь все мокрое будет, грязное, ужас, ужас...

— Не будет,— Жанна вытаскивала из сумки объемистый рулончик полиэтилена.— Ну? Что б вы без меня делали? А? Шмутки сюда, и все будет тип-топ!

— Ты гений!— Вадька пытался перекричать ветер, который снова дернул и, словно примериваясь, наискосок стрельнул редкими каплями, бесследно исчезнувшими в раскаленном песке.— Ух он и врежет сейчас,— захохотал.— Спасайсь кто может!

Он бежал вниз, и белое пузо подпрыгивало впереди, почти отдельно от хозяина, а рука была вскинута так, будто на этом откосе все еще гремели лихие «чапаевские бои». Не хватало белого ивового прута, заменявшего тогда шашку. Игорь было хмыкнул, но тут же та, давняя радость колыхнулась в нем и будто толкнула в спину. Он побежал, гогоча, легко обгоня запыхавшегося приятеля.

— Господи, только не убило бы никого,— сказала Вера, стоя уже в воде, но тут же брызнула на мужа изпод руки и засмеялась.— Вадька,— закричала,— сколько лет мы с тобой не купались в грозу?!

— Сто, старуха, тысячу!

Косое солнце блестело в ее мокрых волосах, скрывая седину.

Гром гаркнул на них, распарывая тучу, приоткрывая на миг мрачную ее клубящуюся толщину, и оттуда, как из вдруг распахнувшегося громадного ледника, дохнуло зимой.

— Мамачки!— закричала Люда.— Бою-усь!— и бросилась прочь.

— Постой!

Тяжелые резкие капли высекли крохотные фонтанчики у самых его глаз, слепили, мешали крикнуть, а она уходила саженками, легко рассекая воду.

Дождь усиливался с каждым ударом грома. Солнца

уже не было. Серая вода кипела вокруг. Игорь хотел крикнуть жене, чтоб поворачивала, что там дурной берег, ил, но так и не крикнул.

— Ты чего это вздумала, а? — уже за кустами, наконец-то догоняя и пытаюсь ухватить ее, спросил он.

Она ловко увернулась, стала на ноги. Волосы ее выбились из-под шапочки, намокли.

— Ты что — всерьез испугалась?

— Не-а! Просто мне захотелось с тобой, а то ты все с ними и с ними...

Он крепко обхватил ее плечи, целовал в закрытые глаза.

— Дурочка, — говорил, — ревнючка.

— Вовсе нет. Вера милая женщина и даже очень похожа на мою маму, но мне с ней все равно скучно.

— Они тебе вправду нравятся?

— Кроме рыжей.

— Да? А кто тебя привел на озеро?

— Сама пришла.

Она присела, по горло прячась в воду от холодных струй, секущих по плечам, и еще плотнее прижалась к нему, вся мелко дрожа.

— Замерзла? — спросил Игорь.

— Не-а! Как ты думаешь, нам где-нибудь отдельно постелят или у них все сдано?

— На чердаке, наверное. Подойдет?

— Я уже жду, слышишь? — она шепнула и вдруг, хохотнув, с силой оттолкнувшись от него ногами, поплыла назад.

3

Опять стало над лесом солнце, уже низкое, бронзовое. Со всех сторон бежали к озеру ручьи, неся мелкий мусор и серую пену. Косые красноватые лучи пронизывали сосновые кроны. В низинках уже копился чуть видимый туман. Мокрый песок дороги приятно пружинил под ногами.

— Надо же, — говорил Игорь Жанне, — эх ты... с полиэтиленом-то! Кто бы мог подумать, что с нами такой гений?

— А ты думал — что? По-прежнему вы с Вадькой гении, а я дурочка? Дудки-с!

И все почему-то смеялись, даже мальчишки Жанны хохотали, приседая и показывая пальцами друг на друга.

К середине лесной дороги немного успокоились; женщины опять ушли вперед, а Вадька пыхтел рядом и, видимо, философствовал — взмахивал руками, вздыхал, даже забегал чуть вперед... Но Игорь никак не мог заставить себя вникнуть, о чем же он говорит. Слишком легко было на душе, покойно, радостно, и все, что шло извне, казалось ненужным.

Легче было поддакивать и исподтишка разглядывать Люду — ее цветастый, чуть смятый понизу сарафан с белыми кружавчиками и темными пятнами влаги на лопатках, ее красные босоножки, которые она несла, помахивая чуть согнутой у бедра рукой. И особенно следы — маленькие, узкие. «Какая походка, — думал Игорь, — какая легкость, настоящий дар легкости... И с обеими она уже как давняя подруга, надо же!»

Его всегда восхищала эта непостижимая способность жены — легко, быстро, радостно сходитьсь с людьми.

В середине зимы, когда они приехали из своего Заполярья, собственная комната, закрытая пять лет назад и заросшая паутиной, показалась ему такой дикой и грязной, а подозрительные взгляды соседей, каждый из которых уже, видимо, имел на его комнату свои планы, — такими недобрыми, что он невольно почувствовал себя настоящим извергом, когда вынужден был оставить Люду одну.

Вернулся часа через четыре; комната была уже совсем жилой, даже привычной: стол накрыт скатертью, на тарелке нежно-розовые бутерброды с колбасой... Но добила его соседка, старая карга Дина Сергеевна — она стукнула в дверь чуть-чуть, одним коготочком и почти пропела: «Людочка-а! Чайник вскипел!» — и такое было в этом голосе искреннее доброжелательство, даже любовь, что Игорь с изумлением посмотрел на жену.

И сегодня ему особенно счастливо думалось обо всем этом, ибо за каждой мыслью, как музыка за экранной картинкой, звучало еще и то, что она лукаво шепнула на озере. Он чувствовал себя молодым и легким не по чину, и тем, что это было все-таки не по чину, сверх всякой нормы, слегка тревожился.

«Господи, какой, должно быть, идиот был ее первый, бросивший... Зеленый идиот! Да и зачем он мне? С чего это я вдруг вспомнил о нем?» — думал он, как бы отталкивая и пытаясь не заметить этот неожиданно нащупанный на самом дне души крохотный, нерастворимый кристаллик горечи — то ли память о прежних, то ли предчувствие новых разрывов? Нет, скорее все-таки память... Ведь что за тоска подкатывала, мучила сердце его по дороге на озеро? Что она такое, если не память, не боль того множества разрывов, что отделяло теперь от него собственную юность и всю былую жизнь в этом поселке и этом лесу?

Но — к черту, к черту! Радость и легкость, исходившие от этой пружинящей под ногой дороги и мокрого, прошитого закатным солнцем леса, от Людиной руки, помахивающей красными босоножками, снова и снова, как бы волнами, омывали его сердце, истончая донную его горчинку и подсовывая совсем другие мысли: а так ли уж неизбежны эти разрывы? Вот Вадька, например...

Или безо всяких мыслей Игорь вдруг отчетливо, как на экране, видел Веру, бежавшую стометровку на школьном стадионе. Черные косы с белыми бантами вольно летели, струились по ветру... Она была такая легонькая, худенькая, отчаянно смелая.

Летом после десятого они с Вадькой наворовали ей яблочек у Иванченков. Она сложила их в корзинку и отправилась к пострадавшим. «Замечательные яблоки. Где вы их только купили, Верочка?» — «Угощайтесь, Марья Андреевна. Это мне мальчишки у вас натрясли!..» Что было! Сколько смеху...

— Чему ты все лыбишься? — спросил Вадим подозрительно.

— Тебе!

— В каких бы это смыслах?

— В тех, что вот... ты по-прежнему здесь, и женат на Вере, и по-прежнему один дружишь со всеми нами, разошедшимися, растерявшимися... А? Ты знаешь, я вот подумал, что все это из юности, без всяких потерь, протащить с собой до сорока четырех — это, по-моему, не просто везение, хотя тебе и везло, это...

— Э, друже, если бы еще и вправду без потерь, — перебил Вадька. — Нашу жизнь и вообще-то следовало бы изображать в виде разомкнутой кривой — уход и возвращение... Понимаешь?

— Не очень.

— А ты представь...

Но не было уже охоты это представлять, не было. Все было и без того прекрасно.

Ужинать сели на веранде, уже в сумерках, которые наступили досрочно,— небо вновь заволокло тучами, не шевелясь, стояли притихшие деревья, а флоксы пахли так, точно торопились отдать весь запах до дождя. Отчетливо был слышен чей-то далекий магнитофон: умерший певец заходился в неистовом хрипе предчувствий: «Не дожить, так хотя бы допеть...»

Все вокруг было грустным, а грусти не было.

— Помнишь иванченковские яблочки?— спросил он у Веры.

Та вскинула брови, но тут же и расцвела, всплеснула руками.

— Ой, конечно! Когда я их несла, меня прямо распирало от гордости. Они ж всему поселку свою собаку расхваливали.

— Какую собаку?— удивился Игорь.

— Барса, Барса,— сказал Вадька.— Не помнишь? Я его колбасой с люминалом угостил, а то б были нам с тобой яблочки!

— Точно! Но надо же: я и забыл! Думал, так все помню хорошо, а про собаку-то и забыл.

И вот тут, среди этого... Игорь потом даже вспомнить не мог: из-за чего это она? О чем говорили-то? Казалось, совершенно без повода Жабка вдруг ожгла его ненавидящим взглядом. Только на секунду встретились их глаза, но он успел ясно ощутить и этот болезненный ожог и недоумение: за что, почему?

— Боже мой,— сказала она с такою тоской и презрением, что он даже голову в плечи втянул,— да ты, я гляжу, все такой же! Всех учишь жить, шпыняешь, разглагольствуешь и даже не замечаешь, до чего это бестактно! Пора бы повзрослеть, мой милый.

— Ты же не повзрослела,— огрызнулся он,— все такая же язва!

— А ты что хотел?

— Ну-ну-ну, что вы,— ошалело пробормотал Вадик.— С чего?

Потом это как-то сгладилось. Кажется, Люда нашлась, как ни в чем не бывало спросила о чем-то у Ве-

ры, и опять посыпались воспоминания, хохмы... И утонула в них, забылась и эта непонятная вспышка, и отравная донная горечь лесной прогулки.

Вспоминали Михнева, Сидорчука, прочих институтских ребят, профессоров, первый стройотряд, Вадькины ссоры с отцом. Тот был мужик крутой, властный: сам пытался подбирать сыну книги, профессию, жену. Они ссорились насмерть и помирились лишь незадолго до смерти старика, лет десять назад.

— Да, были когда-то и мы рысаками. Ах, но все-таки золотое было это времечко — конец пятидесятых, — вздыхал Вадька. — Вечера поэзии, песни о кострах, у костров; у всех планы непременно куда-то подальше уехать! Даже сейчас — вспоминаешь, и сердцу просторней. Но если трезво, то — что мы, вырвавшись, нашли, к чему приехали? — Он причмокнул и развел пухлыми руками. — Наши геологи все по министерствам, туристов не осталось, а вот дачевладельцев поколение породило уже много. Вот так! Даже у Королева и Зорина, наших служителей муз, совсем неплохие дачи, а уж они-то — помнишь? — клялись, что назло всем умрут в нищете, ибо иначе музам служить нельзя. Так что... может, зря мы и ссорились с отцами?

— Да, кстати, где твой Аркашка? — вспомнил Игорь.

— В городе. У него консультации.

— Да, он же поступает! На филфак, да? Странно, понимаешь, что у всех взрослые дети, а у тебя самого...

— Пустяки, старина! Считаю, что ты просто моложе.

4

Спать их с Людой уложили действительно на чердаке, но не в том мезонинчике, что отводился гостям в былые времена, — там обитали теперь Жанкины ребяташки, — а рядом, в тесном чуланчике с косыми балками и незастекленным окошком. Рыжий, обитый сухой, потертой и потрескавшейся кожей диван, стоявший здесь с незапамятных времен, был просторен и мягок; падал в окно лунный свет, голубоватая тень березовой ветки лежала у Игоря на плече. Люда водила по ней пальцем. Влажный ночной воздух перебивал сухой запашок чего-то пыльного, лежалого. Слышно было, как

с крыши скатывались и падали в желоб последние медленные капли. Вдалеке отчетливо простучала электроричка.

— Как тут тихо,— вздохнула Люда.— Это последняя?

— Наверное. Не знаю.

— Все-таки, знаешь, хорошо, что мы поехали, правда?

— Я ж говорил, отличные ребята! У них я бывал и в свои трудные времена...

— Ты рассказывал. Вера совсем как моя мама — хлопотунья и за всех боится. Вадик смешной: такой большой, толстый, а все еще Вадик... правда? А Жанна, она им что — какая-то родня?

— Жанна? Тут сложно объяснить. Сейчас так, по моему, и не бывает.

— Как?

— Ну, сейчас домработница — это домработница, подруга — подруга, а тогда совмещалось. У Полины Карповны самой закадычной подругой и домработницей была Жабкина мать.

— Чья?

— Ну, Жанки, Жанны Дмитриевны! Это ее за рот всегда Жабкой звали, в детстве даже не обижалась.

— Подходяще!— хмыкнула Люда.— Вы были не лишены...

— Мерси! Так вот, она жила здесь с Жабкой сперва в домработницах, потом замуж вышла, но все равно летом приезжала сюда. Может, снимала, может, так просто...

— Снимала,— сказала Люда.

— Ты откуда знаешь?

— Вера говорила. Когда после смерти отца они с Вадькой тут первое лето хозяйничали, эта Жабка откуда-то и взялась. Пришла, то-се, воспоминания... Под шумок и сняла за полторы сотни в сезон, как мать ее когда-то. Так до сих пор и платит по нахаловке.

— Почему же по нахаловке?

— Цены-то давно другие. Люди за такие две комнаты дают пятьсот, а то и больше. А она — хоть бы хны. Вере сказать, конечно, неудобно...

— Ладно, это их дело,— перебил Игорь.

— А я что? Слушаю всех и помалкиваю,— Люда вдруг засмеялась беззвучно.

— Ты чего? Смешинку съела?

— Представляешь, из моих знакомых никто никогда не имел живой домработницы!

— Это ты просто молодая. После войны и не в таких уж богатых домах были. Тем более Вадькин батя был шишкой: директор завода!— поглаживая ее плечо, Игорь принялся рассказывать, как все здесь было когда-то совсем по-другому, какой, например, было сенсацией для всего поселка, когда у Вадькиного отца появился «Москвич».

Говорил он об этом почему-то шепотом и пока говорил, та, давняя жизнь дачного поселка, в юности вызвавшая лишь брезгливое полупрезрение, казалась теперь невообразимо прекрасной. И чем лучше она ему казалась, тем ироничней старался он говорить.

— А Полина Карповна писала картины маслом, одна даже у нас в школе висела: Черный ручей у поворота, только не очень похоже. Конечно, какая она была художница? Так просто: муж — шишка, деньжата есть... Но вечно у них всюду этюдники, кисти валяются, перепачканные красками тряпки, мольберт на веранде стоял...

— Одной, выходит, все очень возвышенное, для души, а черная работенка — другой. И называется: подруги. Ничего себе... Впрочем, у них, кажется, и сейчас похоже.

— У кого?— не понял Игорь.

— Да у Вадика твоего с Жанкой. Полы она им не моет, понятно,— сейчас черная работа другая: тес ворованный покупала для ремонта, краску; ходила скандалить, когда им участок хотели урезать... Что-нибудь там из-под полы достать — это тоже по ее части.

— Вадька такими делами никогда не занимался.

— Еще бы! Мамочка рук не марала, он — души.

— Не загибай, Людка, не загибай! Вадька знаешь какой человек!— Игорь немного даже рассердился, притиснул к себе жену:— Цыть мне!

— Пусти!— дернула Люда плечом.— Мне что? Если им так нравится... Только уж очень она некрасивая. Такой рот — еще она его только открывает, а уже будто гадость сказала. Как ее муж-то целует?

Игорь засмеялся.

— Вот это загадка! Впрочем, ее и Вадька целовал. Не веришь?

— Вадька? После Веры?

— Ну что ты! До... Задолго до. Мы еще совсем са-лажатами были. То ли между шестым и седьмым, то ли седьмым и восьмым. Где-то тогда. Лето дождливое — так вот вспоминаешь, и всю дорогу мы в сарае или на чердаке здесь, и все время дождь, дождь...

— Мы? Ты тоже с ней целовался?— Люда даже чуточку отодвинулась.

— Я — нет,— он прижал ее снова.— Слушай, чудака, это смешно. Слушаешь?

— Давай,— Люда сладко потянулась, зевнув,— давай.

— Я коротко. Так вот, Жабку эту — она на два класса нас младше была — пацанва всячески притесняла. В игры ее не брали, подзатыльники, насмешечки... Вадька, тот тоже на улице не котировался: жирноват, в очках, но у него был один беспронгрешный козырь — книжки рассказывать. Этим он всех брал. Читал уже романы и все такое, но еще как-то по-мальчишески. Прочтет и непременно хочется ему этакое и в жизни устроить. В «Идиоте» его поразила история одной девушки — помнишь, Мышкин рассказывает о ней генеральше?— которую все обижали... Ему тогда хотелось стать Мышкиным — ну просто вынь да положь! Даже жалел, что не припадочный. А так как больше всех у нас обижали, конечно, Жанку, то он и решил, что полюбил ее возвышенно и братски, точно князь Мышкин. И вот,— скажи, пожалуйста!— нам было лет по пятнадцать, а ей-то совсем ничего. Она, знаешь, еще и оформляться, ну, как девчонка, только-только начала, но сразу же объявила, что никакой любви «просто» не бывает, а если он в самом деле в нее влюбился, так надо целоваться. И целовались. Она еще Вадьку и учила, представляешь?

Люда не отвечала. Дыхание ее стало совсем бесшумно — только теплый воздух приливами щекотал Игореву плечо.

— Спишь?— на всякий случай спросил он.— Ну спи... Чего тебе, правда, до этой истории? Ты и родилась-то еще через четыре года...— он вздохнул, погладил ее плечо и тоже закрыл глаза.

Но не спалось. Думалось о Людином детстве, в котором все, наверное, было другим — игры, родители, чердаки... Каким? Странно, они никогда не говорили об этом — встретились уже взрослыми, битыми, не удержавшимися в прежней своей жизни.

Может, оттого их так и прижало друг к другу, что там, на Севере, каждый был совсем отдельным, ничем и ни с кем не связанным человеком, перечеркнувшим прошлое, еще без будущего... Вот уж состояньице — врагу не пожелаешь!

Он осторожно высвободил руку из-под отяжелевшей во сне Людиной головы, закурил — спать совершенно расхотелось — и стал думать о своей жизни, о первой жене, о том, как однажды, когда все с ней было уже слишком ясно, он заявился ночью к Вадьке, на его старую еще, крохотную квартирку у парка Победы — пьяный, растерзанный, с рассеченной губой — и как его раздевали на кухне, успокаивали, а он плакал, каялся в чем-то и все твердил: «Она меня топчет, топчет, топчет!» И так при этом бухал в пол ногами, что проснулся Аркашка и чуть ли не прибежали соседи. Он даже потрогал шрамик над верхней губой, оставшийся с той ночи, с той, неведомо с кем драки, но привычно-мучительный стыд так и не явился — все это уже стояло в памяти отдельно, точно и произошло-то не с ним, а с кем-то не очень близким.

Странно было другое: Люда все это в общих чертах знает, но больше всего он сегодня боялся, как бы Вадик или Вера не заговорили о тех годах. Может, он потому и не ехал сюда так долго, что прежняя жизнь и теперешняя давно разошлись в его душе, и встреча их казалась ему совсем ненужным, даже опасным делом. Его тянуло сюда, как тянет заглянуть под обрыв. Но встреча произошла, и ничего страшного, и Люда всем очень понравилась...

«Ну, это еще бы! — думал Игорь. — А что такое она о Жабке сейчас говорила... Она наблюдательная, Людка. Ну, бог с ними. Странно все-таки, что Вадька с ней дружбу водит, с Жабкой...»

Он не спеша загасил окурочек и, повернувшись, командовал себе спать. Сквозь крепкую дрему, сквозь какие-то плывущие уже перед глазами серо-зеленые линии вдруг опять вспомнилось, как здесь же, на этом диване, Жабка учила Вадьку целоваться в засос, а он со старым отцовским хронометром сидел в дальнем углу и от нечего делать засекал продолжительность поцелуев. Шуршал дождь, боялись, что может подняться Полина Карповна... И сердце стучало на вылет, хотя целовался не он, а Вадька, да и то — с Жабкой.

же помнить не хотелось, будто была еще какая-то, отдельная от всего этого, цель приезда. Да и стоит ли? Вадька не бог, а Игорь не мальчик, и, слава богу, не впервой ему приходится работать с дураками. «Не стоит,— решил,— уж как-нибудь...»

Но теперь в шевелении пухлого хоботочка Вадькиных губ ему почудилась скрытая усмешка, подкальывающая его чем-то давним и стыдным, и он, не думая, с автоматизмом самозащиты, уколол в ответ первым попавшимся на язык. А осознав чем, тотчас забыл о своем утреннем решении и весь подобрался, напрягся в ожидании спора.

Вадька даже голову поднял не сразу. Светлые, выпуклые, недоумевающе-бараньи глаза его уставились на Игоря поверх сползающих на потном носу очков.

— Ты про Привалова? Я его не двигал — просто согласился. Согласие же, друже, есть тот случай, когда глас твой, к сожалению, не перекрывает другие. М-да... — он взял двумя пальцами пешку и осторожно ввинтил ее в новое поле. — Вот так!

— Да ведь он дурак, — сказал Игорь.

Вялое Вадькино спокойствие как-то передалось, лишило фразу напора и злости.

— Возможное дело, хотя в служебных характеристиках это не значит. Там стоит: энергичен, старателен, может навести дисциплину, исполнительен... Вот про тебя никогда не напишут: «исполнительен», у? Ну, а как инженер — это, конечно, ноль, почему и примите наши соболезнования.

— Соболезнования — это уже кое-что.

— Чем богаты, чем богаты... — покивал Вадька.

Игорь уставился в доску, будто бы обдумывая положение фигур, но почти не видел их, поглощенный внезапной досадой. «Глупо! — думал. — Вышло, будто я почти жалуясь, так сказать, капаю руководящему приятелю... фу! Но и Вадька хорош гусь — этак спокойненько...» Досадно ему было именно это спокойствие, но он никак не мог понять отчего — тяжелый волнообразный гул у самого уха все время путал, сбивал с мысли. Черный, в оранжевой мохнатой жилетке шмель метался и с маху щелкал о стекло. Игорь встал, прикрыл одну створку окна и вяло махнул рукой. Шмель мигом исчез, протрубив победу.

— Ты чего? — удивленно поднял глаза Вадька. — Ход-то твой...

Садясь, Игорь подумал, что после партии надо бы домой: «Вчерашнее кончилось, хорошего понемножку...»

Но они даже доиграть не успели — у калитки показался Нечесов-младший, Аркашка, и Вадик сразу обо всем забыл, кроме сына.

Вера вынесла чадушке тарелку зеленых щей: «Сначала поешь!» Но Вадька торопил: «Ну же, что новенького?» И Аркашка, прихлебывая щи, принялся поливать родительские головы страшными новостями университетских курилок.

— На английскую литературу уже четырнадцать человек на место. Фимка Олесов посмотрел, забрал документы и отнес в пед. Нинка говорит, уже и списки вида. У нее знакомая в предметной комиссии...

— Фима?— Вера в ужасе прижимала пальцы к вискам.

— Да чушь! Списки! Какие списки?..— сердито фыркнул Вадик, бегая по веранде.— Экзамены не начались, а у них уже списки!

— Говорят...

— Говорят! Да ты сам бы подумал: если кого-то и берут по знакомству, так это ж тайком. Нет, ты посмотри, они списки выдумали! Пф!

— Перестань,— отмахивалась от него Жанна,— перестань! По благу идут многие, и ты ребенку мозги не пудри. Я ж тебя отлично знаю: ты сейчас просто прикрываешь свою беспечность.

— Какую беспечность? Он всю зиму с репетитором занимался!

— Иди ты со своим репетитором! Ребенок раз в жизни поступает, так он не мог...

— А почему раз в жизни?— перебил Игорь, все еще сидя за шахматным столиком. Он и сам оживился, глядя на этот внезапный семейный переполох.— Даже до армии Аркашка имеет шанс поступать дважды, а уж после...

— Господи!— всплеснула Вера руками.— Не дай бог! Типун тебе на язык.

— А что такого? Да ты себя вспомни!

— Оставь, Игорь, при чем тут я?

— Нет, ребятки, вправду?— он вскочил, прошел-

ся.— Ну что нам были конкурсы? Сам черт нам был не брат! Проваливались, поступали снова, эх!..

Вадик кисло улыбнулся.

— Набивали шишки, наминали бока.

— Ну и что? Какая ж юность без синяков, чудак ты? Вся прелесть жизни — чтоб чувствовать себя таким, знаешь,— уфф! А то оправдываются заранее: ко-онкурс-де, по благу много,— кривя рот, протянул он.

— Я не оправдываюсь, с чего вы взяли?— краснея, бормотал Аркашка.

— Батяка твой в свое время провалился, пошел в дорожные рабочие, да притом еще жениться не побоялся, а я...

— А что ты?— перебила Жанна.— Пример для молодежи?

— Пусть не пример...— Игорь повернулся к ней, замолк и невольно отступил на шаг, наткнувшись на вчерашний ее, ненавидящий взгляд.

— Ты всю жизнь из себя гения корчил, всех поучал, а что из тебя вышло? Обыкновенный инженеришка? Да?— она презрительно отвернулась, не ожидая ответа.— Ты, Аркашик, дерись, жизнь боками чувствуй, а папочка с дядечкой пока в шахматы поиграют! У них, видишь ли, теория... Да вы оба просто лодыри. И все ваши принципы и умные мысли от лени! Человеку помочь надо, а не сказками кормить, понял?— это она уже на Вадьку накиннулась.

— Да кто ж ему поможет, кроме знаний и некоторой доли наглости?— забыто усмехаясь, спросил Игорь.

— Вот-вот! Как, оказывается, удобно быть принципиальным! Никому не надо помогать, ничего делать.

Жанна стояла посреди веранды и, поворачиваясь то к одному, то к другому, коротко взмахивала кулачком, будто отбивалась.

— Из-за каких-то дурацких принципов портить жизнь собственному ребенку! Это ж надо!

— Да почему ж портить,— попытался заступиться Игорь, но Люда, оказавшись рядом, сжала его локоть: «Я тебя прошу...»

— Ну, допустим, нет у меня принципов,— Вадька повертел над головой растопыренными пальцами, как бы демонстрируя, что в них и вправду чего-то нет...—

Все, нет, выкинул, в карман спрятал! И что? Блат у меня появился в университете?

— Ах бедненький, знакомых у него нет!

— А представь!

— Так найди! Мужчины называются,— фыркнула Жанна.— Только и умеете, что рассуждать, какие вы хорошие, а другие-де проходимцы! Такие-де пролазы, у-у! А конечно! С таким-то животиком куда пролезешь? — ткнула она кулачком в Вадькину сторону.

На секунду повисла тишина. Игорь успел обвести недоумевающим взглядом согнувшегося над тарелкой Аркашку, Веру, Вадьку в кресле...

Когда, еще в десятом классе, Вадька начал полнеть, то в жизни его не было, кажется, худшего горя! Вся их тогдашняя компания — пусть в ней кое-кто уже и гонялся тайком за модными тряпками, так ведь это еще тайком! — сплошь бредила дальними походами, экспедициями, рюкзаками и свысока презирала всех благополучных, богатых, а следовательно, и толстых. И Вадька — больше, громче всех. Нельзя было уязвить его сильнее, чем напоминанием о собственной полноте. Вера тигрой кидалась при малейшем намеке...

«А теперь? — думал Игорь. — Да что же это? Или Люда вчера говорила правду, и они ждут, чтоб Жабка взяла на себя грязненькое дело приискания блата? А?»

— Вы всё: мы! мы! — говорила Жанна. — В наше время все было проще, а сейчас хочешь не хочешь — надо вертеться. Вот Зыбченко у меня — он знаете как крутится? Красивые ваши принципы хорошо за чаем развивать, а как до дела... Знаете, кому неудобно свои житейские дела устраивать? У кого принципы? Дудки-с. Все принципы оттого, что дела уже более-менее устроены. И не пытайся спорить, Вадька! Вот пожил бы с двумя детьми на шестнадцати метрах, так не постеснялся бы говорить за себя! И хитрить не постеснялся бы. А я с детства приученная, что за меня только я и говорю! — Жанна разошлась, стала зачем-то рассказывать, как они с Зыбченко выбивали квартиру, на что только не пришлось идти ради этого!

Все молчали, хотя, в сущности, один Аркашка внимательно слушал ее. Он даже отодвинул опустевшую тарелку и слегка приоткрыл рот.

Стоя у распахнутого окна, Игорь всем существом своим чувствовал давящий на затылок жар и какую-то

особую, наждачную сухость воздуха, от которой першило в горле и колотилось сердце. «Это ненависть,— вспомнил он,— это уже было».

Так же жарило по лопаткам солнце, до того злое и яркое, что там, куда он заглядывал через распахнутое окно, в глубине узкой, сумеречной угловой комнаты, все было обведено зеленоватой радужкой. Надо было закрыть и снова открыть глаза, чтобы четко увидеть застланную бумагой табуретку и рядом, на маленькой скамеечке сидящую Жабку, и губы ее — извилистые, перепачканные козьим жиром и соусом. Она сидела к окну боком, но не видела Игоря, потому что между ними стояла мать, гладила ее по голове и уговаривала:

— Ешь, дочуля, ешь! Наплюй на него. Ты худенькая, тебе поправляться надо хоть немножко... А он с жиру!

Жабка шмыгала носом от торопливой жадности.

— Только ты ему не говори!

— Что ты, что ты!..

Она ела Детку!!

Больше года жила у Нечесовых эта козочка с необыкновенно красивой, блестящей голубовато-серой шерсткой. В Вадькины руки она попала крошечной, бегала собачонкой за ним повсюду — в лес, на озеро — и до того избаловалась, что днем спала только на диване, а во время обеда могла, вдруг разогнавшись, запрыгнуть на стол, перевернуть чью-то тарелку... Когда этот бич семейный все-таки зарезали, Вадька проревел целый день и объявил, что ни за что, никогда не съест ни вот такусенького кусочка! «Друзей не жрут!» — заявил он.

И Жабка заявила. Тогда она еще не чувствовала себя такой умной, чтоб поучать Вадьку, и только тайком, у себя в комнате, ела Детку.

Игорь так никогда и не сказал Вадьке об увиденном. Не смог. А теперь вот снова и даже сильнее, чем тогда, окатило его давней ненавистью. И еще — жалостным презрением к этому самому Зыбченко, который «что, думаешь, такой уж энергичный? Я накручиваю, он и крутится!». И к Вере, к Вадьке, к Аркашке, который приоткрыл рот и чего-то ждет от этой злобной, бахвалящейся дуры.

— Послушай,— сказал он вдруг,— а тебе никто не говорил, что это шантаж?

— Чего-чего?— морщась, повернулась она.

— То, что вы устроили со своим Зыбченко, самый настоящий шантаж.

— О господи! О боже, какие слова! Жизнь прошла, милый, а ты кроме громких слов так ничему и не обучился. Помнишь, как он тебя обозвал тогда?

— Когда это?— удивился Вадик.

— После шестого класса, когда вы в лес сбежали. Ты-то сам вернулся, а его поймали и высыпали, конечно, чтоб не выдумывал.

— А, какие древности!.. Ренегатом,— Вадька улыбнулся.— Но это, учти, было вполне справедливо, ибо я отступил от учения великого Торо!— он торжественно поднял палец.— А ренегат и есть отступник.

— Надо же!— сказала Жанна.— Отступник! А я-то думала что-то желудочное, с похмелья...

Аркашка коротко засмеялся, прикрыв рот ладонью, почти хрюкнул.

— Ей-богу! Я же книжек ихних не читала, надо было уроки учить, матери помогать. Игорьь один был такой гений, что и не уча пятерки хватал. Еще бы, всякие слова умел говорить! А я, если хочешь знать, всю ночь тогда проревела, боялась, что Вадьку посадят.

— Почему?— удивился Аркашка.

— Я у матери спросила, а она: «Ренегат, говорит, это вроде Берии».

Аркашка опять с готовностью хрюкнул.

— Вот так. Но твоя беда, Игореха, что отстал ты от жизни. Слова давно никого не пугают! И ты, Аркашик, не бойся,— сказала она как можно ласковей.— Приедет сегодня мой Зыбченко, мы с ним что-нибудь для тебя придумаем.

— Правда?— с готовностью вскинулся тот.— А кого Николай Федорович знает?

— Кого-нибудь да знает. А нет — так узнает!

— Ишь как ты обрадовался!— медленно проговорил Игорьь.— А? Наметился, значит, эдакий маленький удобоупотребимый блатик, да?

Аркашка уставился на него, широко открыв глаза.

— Ну вот! Вот, видели?— кинулась ему на выручку Жанна.— Теперь он на ребенка напал! Слова у него тут вот,— она ткнула себя пальцем в грудь,— одни слова, ничего больше.

Вадька поднял голову:

— Да ты уж слишком, старик, надо все-таки...

Сердце глухо колотилось, толчками подбрасывая ненависть к горлу. Игорь сделал полшага вперед, собираясь что-то сказать, но Люда опередила его.

— Ой, Игорь, сколько уже времени?— спросила она вдруг.— Я ж совсем забыла: в три мама должна звонить! Да что ж это я? Вы уж нас извините, Вадим Сергеевич.

Игорь как-то обмяк, подумав: «Ну, Людка, выручила».

— Да,— сказал,— как же это и я забыл?

Прощались несколько смущенно, но с видимым облегчением. Вадик проводил их до калитки. Пожимал руки, заглядывал в глаза.

— Приезжайте как-нибудь еще, а, ребята?

— Обязательно, Вадим Сергеевич,— говорила Люда.— Непременно.

Когда проходили по улице вблизи распахнутых окон веранды, их нагнал скрипучий, нарочито громкий голос:

— Это он на меня обиделся. Не вынесла душа поэта тьмы низких истин. Ах-ах! Вот что я в людях ненавижу, так это ханжество!

Игорь приостановился.

— Мамина карьера ей икается,— сказал, напрягая голос.— Спешит всю грязную работу сделать. Морально грязную, потому как нынче...

Люда свирепо дернула его за руку, потащила прочь.

6

Давно ли это было: конец июля, жара, духота, внезапные грозы?

А уже и ноябрь на излете. Елки, ограды, плечи и головы — все присыпано легким, бесшумно скользящим, удивительно белым снежком. Он нежен, доверчив. Ложится на мягкую, не прокаленную морозом землю, а мы бредем понурой толпой и сотнями ног мнем его, вдавливаем, превращаем в грязь.

Дико, нелепо, невозможно понять, и все-таки это так: мы хороним Вадьку Нечесова.

Впереди всех длинноволосый юнец с меланхолическим равнодушием несет на красной подушечке его

единственный орден. Потом целая цепочка — венки с белыми и черными лентами, и, наконец, неровно, толчками, потому что несущие оскальзываются в грязи, плывет сам Вадька, смиренно скрестив руки.

Когда хоронили его отца, все было внушительней. Больше орденов, народу, военный оркестр и даже несколько солдат с автоматами для прощального салюта над гробом ветерана.

Да, у Сергея Давыдовича всего было больше, даже жизни. На целых восемнадцать лет — и это несмотря на войну, голод, три ранения... Обидно, что Вадька — Вадька! — умер так рано, и еще обидней, что так обыденно, чуть ли не по-чиновничьи. Конечно, мы всегда знали, что умрем, но допускали это только в такой редакции: «...постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом...» Он же просто понервничал на каком-то там заседании и — инфаркт, а в больнице, недели через две, — второй. И все, и нет человека.

Гроб опускают на рыжую глину. Несшие расходятся, вытирая красные, вспотевшие лица. Начинаются речи. Выходит кто-то совсем мне незнакомый, черняво-седоватый, маленький, в огромных очках на остром носу.

— Вадим Сергеевич был, — говорит он и судорожно глотает воздух, — Вадим Сергеевич был... он был... — и, махнув рукой, поспешно отходит, дергая, вырывая из кармана дубленки неподатливый носовой платок.

Речей много, но другие вовсе не так прекрасны. Сам Вадька слушает их равнодушно, лохматые серые брови его не шевелятся. В них запуталось несколько крупных снежинок. И еще — в уголках крепко сжатых губ. Беловолосая девушка, наклоняясь, смахивает их чистым платочком.

Я ее не знаю, никогда не видел. Может, это Аркашкина любовь?

Они вместе держат под руки густо поседевшую Веру. Под черным кружевным платком лицо ее уже совсем старушечье.

Аркашка выпятил подбородок, смотрит поверх голов — выражение у него скорее испуганное, напухшая губа чуть отвисла... Когда Вера начинает оседать, подгибая колени, на его лице ясно отражается физическое усилие, еще большая растерянность и почти стыд; но

Вера опять выпрямляется, сглатывая подкатившие рыдания. Не так воспитано наше поколение, чтобы рыдать на кладбище, целовать покойнику руки и спрашивать, на кого он покинул тебя. Ни на кого, Вера, держись!

Слишком много говорят все эти холеные, довольные собой мужички, которые — увы! — тоже наше поколение. А снег все падает и падает на Вадькино лицо. Девушка наклоняется со своим платочком, но и Вера делает шаг, опережая ее. Она стоит на коленях и гладит Вадьку по голове, по остаткам пепельных, намокших от снега кудрей, ощупывает нос, уголки губ. Движения ее быстры и легки, как у слепой, и она, как слепая, не смотрит на то, что под пальцами. Ее подхватывают, появляется откуда-то скляночка с нашатырем, валерьянка, которую она выпивает, стуча о стакан зубами.

Потом, в свой черед, я подхожу к гробу, сжимаю Вадькины плечи: «Прощай, старик!» Лоб его холоден и тверд, человека нет. Может быть, прощальное это прикосновение для того и нужно, чтобы убедиться: человека нет. Как и тебя не будет когда-то...

Игорь с Людой все время держатся чуть поодаль, во втором ряду. Лицо у Игоря напряженно-вытянутое. Только потом, когда венки уже сложены на могилу и свечи зажжены, они подходят к Вере.

— Игорь, — полувопросительно, словно с трудом узнавая его, говорит она, — Игорь, он так любил тебя, так любил... — и плачет, припав к его груди.

Игорь гладит ее по голове, что-то шепчет, лицо его медленно разглаживается, проясняется... Слезы катятся вдоль длинного носа.

На обратном пути к воротам я догоняю его и Люду, беру под руки.

— Вот и все, — говорю, — старичок. Вот и все...

Мы идем молча до самых ворот. Здесь останавливаемся, не зная, что делать и куда идти дальше. Множество народу так же, как и мы, топчется в нерешительности. Жанна быстро перебегает от одной группы к другой и, энергично взмахивая кулачком, распределяет всех по автобусам.

Снег перестал, и сразу заметно потеплело, слышно, как с сосен падают крупные капли. Весь снег исклеван ими.

— Дирижер смерти, — говорит Игорь.

— Кто?

Он подбородком указывает мне на Жанну.

Потом она подходит и к нам.

— Надеюсь, вы будете на поминках?

Мы молча наклоняем головы.

— Садитесь в «пазик».

— Да нет,— говорю,— спасибо, сейчас Санатский подойдет, он с машиной.

— А... Ну хорошо,— она уже делает шаг в сторону, чтобы повернуться, но приостанавливается и вздыхает:— Устала я! Вера все эти дни не в себе, Аркашка ребенок, на все я одна со своим Зыбченко. Но все как будто нормально, а?

— Да,— говорю,— ты молодец.

— Отличный похоронный распорядитель.

— Что?— она резко поворачивается к Игорю, и глаза ее делаются зелеными.— А ты? Не хотела, а вот скажу: ты про меня под окном гадость крикнул, а к нему потом ночью «неотложку» вызывали, знаешь ли ты это?

И, повернувшись, быстро идет прочь, энергично, как бы отбрасывая что-то, взмахивая правой рукой. Я делаю несколько шагов вслед — удержать, исправить, примирить. Но — куда там!

А Санатского с машиной все нет и нет.

— Пойдем вдоль дороги,— говорю я.— Догонит.

Мы идем.

— Господи,— бормочет Люда,— господи, что это с вами?

— Со мной?

— Со всеми. Я ничего не понимаю. Вы все друзья... ничего не понимаю,— судорожно бормочет она.— Мы три года жили на Севере, и он никогда не был таким, да-да, честное слово! Вы должны любить друг друга, а вы... И даже сегодня...

Я хочу сказать ей — отнюдь не расписываясь за все поколение, а только о нашей компании,— хочу сказать, что у нас было слишком трудное детство, потом романтическая, захлеб радостная, переполненная надеждами юность и слишком будничная зрелость, а это такие перепады, через которые ни один организм не может пройти без потерь. И еще я хочу сказать... Но она вот-вот заплачет, я спохватываюсь, и мне становится стыдно, что там, у могилы, я, оказывается, сочинял все эти слова. Всего лишь слова...

— Нервы, Людочка, это ничего,— бормочу я,— просто у всех слишком натянута нервы.

Она все-таки плачет, и я как можно ласковей сжимаю ее руку:

— Успокойтесь, Людочка, успокойтесь!— и беспомощно смотрю на Игоря.

Он весь напряжен, вытянут и, видимо, слишком занят тем, что происходит в нем.

Мы останавливаемся на краю лужи, я что-то опять бормочу; холодная морось оседает на наши головы, и вороны с криком пролетают над нами.

СОДЕРЖАНИЕ

КЕШКА И МАКЕДОН. <i>Повесть в семи рассказах</i>	5
УТРО ТРЕТЬЕГО ДНЯ. <i>Повесть</i>	97
НА ЮРУ. <i>Повесть</i>	255
ОДНАЖДЫ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ. <i>Рассказы.</i>	
Смерть чужого человека	422
Яшина жинка	437
Рассказ о самом страшном	449
Тося-пришлая	458
Остров Уходово	473
Большая осенняя тишина	491
Тот московский закат	502
Инженер Гришкан	514
Маэстро Шахбазов	524
Последний мечтатель	544
Давние друзья	560

Кавторин В.

К 12 Утро третьего дня: Повести и рассказы.— Л.:
Сов. писатель, 1988.— 592 с.

ISBN 5—265—00267—7

В книгу ленинградского прозаика Владимира Кавторина вошли повести «Кешка и Македон», «Утро третьего дня», «На юру», а также цикл рассказов «Однажды мы встретились». Герои книги — в большинстве своем люди того поколения, чье детство пришлось на первые послевоенные годы.

К $\frac{4702010201-391}{083(02)-88}$ 50—88

ББК 84.Р7

Владимир Васильевич Кавторин

УТРО
ТРЕТЬЕГО
ДНЯ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1988 г. 592 стр.
План выпуска 1988 г. № 50.

Редактор И. С. Кузьмичев. Худож. редактор
М. Е. Новиков. Техн. редактор М. А. Ульянова.
Корректоры Р. М. Данциг и Е. Д. Шнитникова

ИБ № 6240

Сдано в набор 15.09.87. Подписано к печати 22.12.87. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая
печать. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 32,46. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 1149. Цена 2 р. 30 к. Ордена Дружбы народов издатель-
ство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104,
Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградское производственно-техническое объедине-
ние «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Ча-
ловский пр., 15.